

Галина Серебрякова

---

6





# Галина Серебрякова

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1980

# Галина Серебрякова

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ШЕСТОЙ

О ДРУГИХ И О СЕБЕ  
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ  
НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ УЗОР

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1980



*Оформление художника*  
И. САЛЬНИКОВОЙ

**Серебрякова Г. И.**

**С32**      Собрание сочинений. В 6-ти т. — М.: Худож. лит., 1980.

Т. 6. О других и о себе; Из поколения в поколение; Незатейливый узор. 1980. — 592 с.

В том вошли новеллы из цикла «О других и о себе» — портреты деятелей литературы, искусства и науки, творческие раздумья и зарисовки, а также общественно-семейная хроника «Из поколения в поколение» и повесть «Незатейливый узор».

С  $\frac{70302-177}{028(01)-80}$  подписное 4702010200

**P2**

# О других и о себе

---

НОВЕЛЛЫ



## МАКСИМ ГОРЬКИЙ

В жизни каждого человека есть незабываемые даты. Они опрокидывают время, возвращая к минувшим событиям, неизменно значительным и дорогим.

Десятого октября 1928 года я впервые увидела Алексея Максимовича. До той поры при упоминании имени Максима Горького в памяти вставал гипсовый бюст человека с откинутыми назад волосами, с глубоко запавшими глазами, в расстегнутой косоворотке. Такой бюст много лет стоял на письменном столе отца и сопровождал мое детство. И вот я увидела живого Горького. Широкоплечий и сутулый, с грубоватыми чертами лица и прекрасной, освещающей лицо улыбкой, он мгновенно уничтожал стеснение и робость. Лев Толстой как-то писал, что люди, если они, улыбаясь, становятся отталкивающими, опасны; если улыбка не меняет лица,— посредственны; но освещаемые улыбкой,— безусловно, чем-либо хороши.

У Горького была особая, немного озорная, сразу располагающая улыбка, от которой лицо его мгновенно преображалось, становилось почти красивым...

Первые слова, услышанные мною из уст Алексея Максимовича, были о смерти Скворцова-Степанова. О ней сообщали газеты. Горький похвалил его как лучшего переводчика Маркса.

— Хороший был человек, не стар — и вдруг умер. — Алексей Максимович как бы отгонял от себя что-то назойливо-неприятное. — А я его за рыжие усы и сухопарость с банщиком как-то сравнил,— продолжал он. — Похож он был, очень похож. Но Иван Иванович за

сравнение не обиделся, засмеялся. Умный, образованнейший, прямодушный был человек, полный бодрости и веры в свое дело. Прекрасный пример жизни и работы революционера для молодежи. Вот умирают старые большевики... умирают... — Он развел при этом недоуменно руками.

За ужином Горький говорил о том, что уходят сверстники Ленина. Внезапно он встал и тихо произнес, обводя всех присутствующих тяжелым взглядом:

— Самое главное для будущего, для мира — единство, сплоченность. Ближе друг к другу, товарищи. Крепче дружба — больше силы! Берегите партию, как берег ее Ленин. — Голос его дрогнул, и я увидела слезы на приспущенных ресницах Горького. Он сел и медленно, долго вытирал влажные узкие глаза.

Очевидно, мысль о сплоченности старых партийных кадров не оставляла в эту пору Алексея Максимовича.

Через полтора месяца, 22 ноября 1928 года, уже из Сорренто, Горький пишет Семашко: «...ко всем вам, старым товарищам, зачинателям новой истории, у меня разгорелось... чувство духовного родства, чувство особенной близости... Большие вы люди на земле. И я не преувеличу, сказав, что хорошо жить с вами... Но, говоря глаз на глаз, ...не ладно живете, как-то далеко друг от друга... Отсюда и тревога».

Вместе с Алексеем Максимовичем была в первый вечер знакомства Екатерина Павловна Пешкова — друг, жена писателя.

Меня поразили яркие серые глаза на тонко очерченном, продолговатом лице Екатерины Павловны. Цвет кожи, золотистый и нежный, дополнял ее сходство с прекрасными женскими лицами на портретах великого русского художника конца восемнадцатого века Левицкого.

Алексей Максимович заговорил со мной:

— О женщинах французской революции пишете? А книгу Эммы Адлер читали? Не соблазняйтесь приводимыми ею фактами: вранье! Ищите первоисточники.

Алексей Максимович порастил меня тем, чем не переставал удивлять все годы, — глубокими и всесторонними знаниями.

— Не забывайте, — сказал он, — в исторической прозе, в описании событий, обстановки, бытовых деталей должны быть величайшая точность и правда. Стоит читателю усомниться, и он перестает верить писателю.



Горький отлично знал историю французской буржуазной революции. Ему были хорошо известны исторические исследования Матьеа, Мадлена, Тьера, Мишле. Он прекрасно помнил наиболее важные архивные материалы из этой эпохи и указывал, где они хранятся. Исчерпывающе знал он историю девятнадцатого века в европейских странах. Его советы помогли мне при работе над «Юностью Маркса».

— Используйте материалы, имеющиеся в архиве Парижской национальной библиотеки,— советовал он. — К сожалению, те, о которых я говорю,— автор их немец,— сохранились только в одном рукописном экземпляре. Известен ли вам обычай «вилкома и абшида»? В Пруссии арестованный в тридцатых — сороковых годах девятнадцатого века неизбежно подвергался телесным наказаниям дважды: когда его водворяли в тюрьму,— это и называлось «вилком» (добро пожаловать); затем его пороли, выпуская из тюрьмы,— это и был «абшид». Порка обычно производилась в присутствии врача и приглашенных знатных бюргеров. Фашисты сейчас снова воскресили эти унижительные обычаи в своих тюрьмах. Обязательно используйте эти факты в книге.

Говоря о Марксе, Алексей Максимович часто, естественно, вспоминал Ленина. В характерах обоих гениальных творцов учения о пролетарской революции он отмечал оптимизм, бодрость, веру в конечную победу.

Эти же мысли я нашла в его книге о Ленине.

«Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустраняемая основа бытия...

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку,— Человеку — с большой буквы».

— Нужно,— сказал мне Алексей Максимович,— писать так о Марксе и Ленине, чтоб за мрамором памятников встали во всем величии живыми эти люди. — И с неповторимой теплотой в глазах и голосе Горький добавил: — Надо ценить, любить Ленина за его всемирного, планетарного значения работу. Этот человек — подлинное чудо истории.

Я не могла надивиться многообразию знаний, пытливости ума Алексея Максимовича.

Как-то он спросил меня:

— Видите ли вы цветные сны?

Я ответила положительно.

— А объемные?

Я подтвердила и это.

— А я вот вижу только тени, как в кино. Недавно читал о снах Фрейда и других специалистов. Ничего путного мне ученые не сказали. Надо думать, аппарат сна — он же и радиоприемник в мозгу.

Пристально глядя на собеседника при каждой встрече, Алексей Максимович спрашивал:

— Что читаете?

Однажды в ответ я сказала:

— Джойса.

— Ну и зря теряете время. Книгу Завадовского, наверно, не читали, а надо. Более того: надо съездить в его лабораторию и послушать его лекции. Он с помощью корма из щитовидной железы меняет пигментацию кур, они седеют по его желанию. А опыты Сперанского знаете? Интереснейшие эксперименты предлагает талантливый физиолог. А вы Джойса читаете. Все это — одно пустословие и красоты, чрезвычайно для писателя опасные и соблазнительные. Красивости из своих книг изгоняйте беспощадно... Русскому языку, стилю учитесь у Алексея Толстого и Бунина.

В своем письме ко мне из Сорренто в апреле 1931 года Алексей Максимович писал:

«Я бы очень советовал писать проще, не очень часто прибегая к обычным приемам беллетристов, которые полагают, что искусно подобранные, красиво построенные слова — большое дело, и не чувствуют, что весьма часто этот прием — прямой ущерб пластичности, выпуклости изображения.

Писать просто не значит писать сухо. Наш читатель не так опытен, чтобы любоваться формой. Он прежде всего ищет педагогического содержания в книге. Не бойтесь деталей, они крайне положительны, хорошо схватываются читателем и усваиваются им».

Однажды долго сидели за столом, и я невольно испытывала напряженное чувство ученика на экзамене. Горький «впивался» в меня вопросом:



— Какого вы поколения интеллигентка: первого, второго или третьего? Книгу Артема Веселого читали? Как ее находите? Сильная вещь!

Потом внезапно:

— Вы что, тоже «галопом по европам» думаете промчаться? У нас, знаете, писатели решили, что очерк, мол, все терпит. А ведь это ответственнейшее, нужнейшее дело. Очерк должен быть зеркалом наших достижений. Критиковать, злословить многие мастаки, а вот показывать наши достижения, радоваться им — мало еще у нас любителей. Все потому, что мало культуры, работоспособности и идейной глубины.

Горький страстно любил жизнь, ненавидел смерть и мучительно искал примирения с ее роковой неизбежностью. Однажды за обедом, на котором присутствовал и профессор Сперанский, он заговорил о будущем медицины, казавшемся ему полным чудес. Внезапно он резко повернулся к Сперанскому с вопросом (Алексей Максимович подчас не задавал, а «нападал» на собеседника с прямым вопросом).

— Будет ли человек жить вечно? — спросил он.

Профессор Сперанский ответил отрицательно.

— Ну, тогда к черту вашу медицину! — отчеканил Алексей Максимович.

Горький страшился равнодушия китайцев к смерти.

— Что это, буддийское непротивление? Следствие нищеты и тягот, когда жизнь становится непосильным бременем? Философия? — спрашивал он и отвечал сам: — Все это, взятое вместе.

Когда я рассказала ему, что привезла из Пекина в 1925 году детские игрушки-гробики, в которых лежали куклы-покойники, и похоронные игрушечные процессии, Горький был очень заинтересован этой особенностью быта.

— Более того, — продолжала я отвечать на его расспросы, — молодоженам нередко дарят на свадьбе сандаловые желтые гробы.

— Трудно, трудно понять этих людей, — поразмыслив, сказал Горький.

Помню, стояли мы на террасе дома, занимаемого Горьким в Сорренто. Где-то во тьме, под обрывом, сер-

дито огрызались морские волны. Запах цветущих деревьев казался чрезмерным и душил. Алексей Максимович увлеченно говорил о раскопках Геркуланума, о величии древнего Рима, об истории Неаполя и Сицилии.

Вышел Максим, сын Горького, и начал, подтрунивая, рассказывать, как вез меня из Рима на гоночном автомобиле с неопишуемой скоростью, пугая этим на крутых поворотах. О том, что я вскрикивала и боялась.

— Умирать не хочется? — спросил низким голосом Горький. — Понимаю, мне тоже не хочется. Жить бы и жить. Каждый новый день несет чудо. А будущее такое, что никакая фантазия не предвосхитит. Жаль, словечка такого заговорного не знаю, чтоб не умирать. Толстой говорил: «Умру, когда сам того захочу, не раньше», — а я никогда умирать не согласен, тогда как?

Не видя, я угадывала его улыбку с хитринкой, пробегающей в глазах и под колючими усами.

— Если б я не был атеистом, то, верно, был бы язычником. Они умели любить и ценить жизнь, — закончил серьезно и тихо Алексей Максимович.

Мы перешли в столовую, очень белую от голых стен, без всяких украшений. Горький достал несколько тонко исполненных миниатюр работы сына и показал мне с нескрываемой гордостью. «Сюжеты мрачноватые», — добавил он, поясняя содержание рисунка, воспроизводившего нравы Западной Европы.

На прощание Алексей Максимович настойчиво советовал мне побывать в Помпее.

С шальной скоростью Максим Алексеевич довез меня до Неаполя. Мы расстались на набережной, откуда открывался вид на красивую бухту и Средиземное море. Богатые отели прятались за платанами и цветущими каштанами. Путь к Помпее лежал через город бедняков. Улицы, узенькие и кривые, казались непроходимыми от высушающего белья, развешанного на веревках, перекинутых из окна в окно, помоев, выливаемых на мостовые прямо из раскрытых дверей и окон. Запах чеснока и вяленой рыбы вызывал тошноту. Женщины, дети, измученные лишениями, бранились и шумели; уличные продавцы громко выкрикивали, навязывали свой убогий товар.

Дымящий паровозик дотащил несколько бурых вагонов до Помпеи. Его пронзительный свист святотатствен-



по нарушал тишину мертвого города. Несколько навязчивых гидов окружили туристов. Я пошла одна по пустым улицам города. Шаги мои гулко отдавались на камнях. В первом веке нашей эры погибла Помпея в течение нескольких часов: пепел, вырвавшийся из кратера казавшегося потухшим Везувия, морские титанические волны уничтожили все живое. Почти два тысячелетия пронесли над курганом, схоронившим древний город.

Пробоины на мостовой рассказывали, как долго существовал он до своей страшной гибели. Колеса телег, тысячи человеческих ног оставили на камнях следы.

Долго и растерянно смотрела, разглядывала отпечаток чудесной женской груди. В домах за пиршественными столами все еще сидели окаменелые трупы, и в лавке над высохшими кувшинами, видимо из-под оливкового масла и вина, поник мумизированный лавой продавец.

Город-морг предстал передо мной. И только равнодушные камни, омытые весенним дождем, подобно могильным плитам, поросшие травой, рассказывали о могуществе смерти и жизни.

В Москву из Италии я вернулась ободренная словами Горького. Он прочитал две мои книги, ответил на письма и даже пригласил в Сорренто. Хотелось не забывать смысл сказанного им:

— Работайте, искусство ревниво и деспотично. Чтобы учить других, вести их, надо неустанно расти самому, снова и снова изучать все наиболее передовое. Знать жизнь, быть в авангарде общественных дел и идей.

В одном из писем Горький писал мне: «Гете говорил, что в любви надо каждый день завоевывать все сначала, но это более приложимо к литературному труду».

Однако внезапно отношение Алексея Максимовича ко мне резко изменилось. И тут я узнала одну из черт его характера.

Горький в эту пору вернулся в Москву на постоянное жительство, и не знаю, как ему попался один из моих рассказов. Качество этого рассказа было много

ниже тех двух книг, которыми интересовался писатель. Я этого не знала, но почувствовала внезапно полное отсутствие ко мне интереса со стороны Горького. А совсем недавно он был ко мне очень чутким и внимательным. Тщетно пыталась я узнать, в чем причина. Меня не приглашали, я была явно отброшена. Это длилось около полугода. Вдруг раздался телефонный звонок. Алексей Максимович снова звал меня. В то время печатались первые главы моего романа «Юность Маркса».

Волнуясь и робея, я вошла в его маленький кабинет в нескладном, претенциозном доме, построенном известным архитектором Шехтелем для купеческого сына — миллионера Рябушинского — в стиле пошловатого декаданса, с множеством лепных лилий и профилей изнуренных, худых женщин. В то время мир богатых бредил английскими прерафаэлитами.

Алексей Максимович вышел из-за письменного стола и пошел мне навстречу. Он показался мне еще более высоким и сутулым. Лицо без улыбки было суровым, неровные брови и жесткие усы от поджатой нижней губы как бы ошетинились. И только глаза, светлые, прищуренные, добродушно и вместе лукаво поблескивали.

— Значит, решились этакую глыбину поднять? Молодец. Маркс хорош, и спички в книге горят кстати. А я было подумал, прочитав (тут он назвал мой неудачный рассказ), что, кажется, ошибся в вас...

Чувство долго давившей тяжести свалилось, и я облегченно вздохнула. Так вот в чем была причина постигшей меня опалы. Горький не прощал творческого снижения и не тратил времени на то, в чем «кажется, ошибся».

Алексей Максимович подвел меня к столу, на котором лежала большая карта СССР, и, широко улыбаясь, торжествуя, с обычным знанием того, о чем говорил, начал показывать стройки пятилетки.

— Вот они, чудеса. А, каково? — Он гладил карту большой костлявой рукой. — Кончите Маркса, ныряйте в живое, без этого задохнетесь. Учитесь у людей, у жизни. Смотрите, думайте. В Болшевской коммуне бывали? Обязательно отправляйтесь. Труд — это чародей.

Пришла Тимоша (Надежда Алексеевна, жена сына Горького) и позвала нас к обеду.

Как всегда, Алексей Максимович расхваливал рыбу, говорил, что это любимое его блюдо. За столом было многолюдно: сын Горького и его жена, врачи, какой-то многообещающий изобретатель, скромная фельдшерица — давнишний друг семьи, несколько литераторов самым непринужденным образом вели себя за столом.

Алексей Максимович — хлебосольный хозяин — усиленно потчевал присутствующих и сам с удовольствием осушал бокалы.

— Встретился я со стариками, прожившими свыше ста лет, — начал Алексей Максимович. — Спросил одного: чем он продлил жизнь? Тот ответил, что «никогда не пил спиртного, кроме кваса, ничего не пивал». Другой старичок объяснил свое долголетие тем, что дня без водки смолodu не проводил.

Горький, рассказывая это, весело, молодо смеялся:

— Вот и поймите, в чем же секрет долголетия, а раз так, то и выпить не беда!

Во время этого рассказа дверь в столовую открылась, и на пороге появился небольшого роста пожилой человек, растерянно улыбающийся всем, кто поворачивал к нему голову. Алексей Максимович, недоуменно и вопросительно поглядел на сына, на секретаря, и усы его недовольно зашевелились. Он не знал вошедшего. Надежда Алексеевна, сидевшая в центре стола, перегнулась и тихонько шепнула: «Это К. Вы его не знаете, у него умерла жена...»

И в ту же секунду Горький преобразился, всем корпусом повернулся к непрошеному гостю, вытянул обе руки и басом заговорил:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой! Очень жаль, сочувствую. Садитесь, не горюйте.

Когда закончился обед и из зала с лепными голубыми лилиями, похожими на девушек, и девушками на стенах, похожими на вянущие лилии, мы перешли в большую, очень просто обставленную рабочую комнату писателя, появились новые гости. Их с искренним радушием встречал Горький. Страстный жизнелюбец, он не уставал выискивать и вглядываться в самое интересное на земле — человека,



Алексей Максимович тяготился всякой посредственностью, но все из ряда вон выходящее приковывало и волновало ненасытное его воображение.

Один из вошедших был старик, о котором Горький сказал восхищенно, представляя его окружающим:

— Это самородок, творец чудеснейших скрипок, Страдивариус, Амати наших дней.

Он спросил мастера музыкальных инструментов, сколько лет следует высушивать дерево.

— Лет двадцать пять — тридцать, — ответил тот уверенно.

— Вот-вот, итальянские великие мастера высушивали не менее тридцати, — подтвердил Горький.

В тот же день Алексей Максимович слушал, как шестилетний мальчик читал наизусть «Одиссею». Мать чудо-ребенка сидела важно около писателя. И когда ребенок закончил без запинки, Горький спросил, есть ли у нее еще дети. Женщина ответила небрежно:

— Как же, у меня есть годовалая девочка. Она тоже читает наизусть стихи.

Восторгу Алексея Максимовича не было предела.

— Нет, каково, — говорил он, потирая руки.

Он мог подолгу, не отрывая проницательных глаз, слушать исповедь расстриги-монаха и терпеливо искать разгадки души преступника. Но искорку подлинной гордости, даже счастья я подметила в его взгляде, когда он рассказывал о работнице, в шестьдесят с лишним лет обучившейся грамоте и приславшей ему воспоминания.

Горький неумоимо отыскивал своих подлинных друзей. В его доме можно было встретить фельдшерицу Черткову Олимпиаду, когда-то в Нижнем Новгороде оказавшую писателю много услуг, и других, кто хоть раз пришел ему на помощь в годы бедствий и унижений.

В большой загородной усадьбе, где жил подолгу Горький и его семья, не было никакого «своего» лица. Комнаты казались необжитыми; мебель была случайно подобрана, и только стены да потолок точно отражали былые вкусы прежних хозяев. Всегда у Горького толпилось много людей, со стола не исчезали самовар и закуски.

Горький, окруженный книгами, журналами, картами, часто просиживал целые дни в своей рабочей комнате, встречаясь только в столовой с многочисленными посетителями его дома и друзьями молодых членов семьи.

Иногда он казался мне очень утомленным и печальным. Однажды я застала его за чтением итальянского поэта девятнадцатого века Леопарди. Горький сказал:

— Нельзя правильно понять догарибальдийскую Италию, не прочитав этого мрачного и талантливой поэта. Глубоко и умно чувствовал свое время, хорошо писал.

Алексей Максимович вслух прочел несколько стихов, и глаза его увлажнились. Он был крайне впечатлителен и легко плакал.

Павел Петрович Малиновский, старый большевик, видный архитектор и давнишний друг Алексея Максимовича, рассказывал мне, как однажды он зашел к Пешковым в Нижнем Новгороде и был поражен: Алексей Максимович горько плакал над книгой.

— Что с вами, над чем вы плачете, почему? — допытывался Малиновский.

— Читаю свой рассказ «Девочка» и, знаете, невольно разрыдался, — ответил Горький.

В маленьком, как все комнаты, где жил и работал Горький, очень скромно обставленном кабинете, в бывшем доме купца Рябушинского, я увидела прекрасно исполненные индийские миниатюры, почему-то прибитые на внутренней стороне высокой входной двери.

— Хорошо, — сказал Горький. — Каково искусство! А ведь все это безымянные художники, народ. — Он достал из книжного шкафа маленькую статуэтку из слоновой кости и с восхищением разглядывал ее, не переставая удивляться мастерству, с каким она была сделана.

Потом откинулся на спинку кресла и стал спрашивать о моем детстве и юности в пору гражданской войны. Когда я вкратце рассказала ему об этом, он, подумав, сказал:

— Пока не пишите автобиографических повестей. Не всем дано, как Толстому, начать гениально с описания детства, отрочества и юности. В молодости легко загубить эту большую тему. Писатели обычно начинают с книг о самих себе. Получается часто свежо, подчас увлекательно, но редко умно. Книги такие педолговечны. Писатель с дарованием пишет лучшие произведения

в пору творческой зрелости. Тогда и следует браться за автобиографические вещи. Лет эдак не раньше сорока.

Разговор зашел и о женщинах русской революции. Горький восторгался их героизмом и самоотверженностью.

— Пишите о женщинах, не следует прятаться, как Жорж Санд, за мужскими псевдонимами. Но всегда пишите только о том, что знаете, что выносили, как мать ребенка. Тогда найдутся и слова, и образы, и нужные мысли. Не отрывайтесь от жизни людей, наблюдайте, читайте, следите за всем новым, чем обогащается наука. Академика Павлова читали? А Джинса «Вселенная вокруг нас»? Обязательно прочтите.

Говоря о том, как надо оценивать художественные произведения, Горький советовал учитывать высшую точку, на которую сумел подняться писатель, так как именно она может послужить ему трамплином для следующей книги.

Алексей Максимович охотно лечился и не боялся проверить на себе новые, малоиспытанные лекарства. Раз, узнав, что я прихварываю, он сказал:

— Я вообще верю в медицину. Лет сорок назад меня объявили безнадежно больным, так оно, вероятно, и было, но, вот видите, я жив. Врачи помогли. Медицинская наука хитрая, но могущественная. Немножко бы протянуть, а там болезни на земле выведутся, и можно будет жить эдак лет сто пятьдесят. А то рано мы умираем, слишком рано!

Толстой находил выход в разрешении многих безответных вопросов в вере в бога. Атеист Горький верил в конечную победу учения Маркса и Ленина, в могущество знаний и науки, в неиссякаемые силы народа.

...Мать моя была хорошей музыкантшей, и от нее унаследовала я сильный голос. С детства все, кто слышал мое пение, пророчили мне славу певицы. Я тщательно училась петь, и когда Николай Семенович Голованов, проходивший со мной партию Ярославны, предложил мне поступить солисткой в оперный театр, я растерялась, не знала, что предпринять.

Все мои интересы, воля устремлены были к литературе. Я напечатала уже несколько книг. Благодаря им

завязалось мое знакомство с Горьким. И я решила предоставить ему решить мои сомнения.

Он прослушал меня и похвалил мое пение, но сказал решительно:

— Творчество писателя существеннее, нежели певца. На сцене в основном артист только передает чужой замысел. Ни в коем случае не уходите от литературы, но помните, искусство не терпит половинчатости. Оно забирает человека целиком. Более того, советую, чтобы никто не знал из писательской братии, что вы поете, а то начнут говорить: «В литературе — певец, в пении — писатель».

Я строго выполнила этот совет.

Вспоминаю, как в 1935 году собралось у Алексея Максимовича несколько писателей. Говорили о новых книгах. Горький вдруг повернулся ко мне и сказал:

— «Юность Маркса» кончили... а теперь надо на время отойти от этой темы. Знаете, куда надо бы вам заглянуть? В тюрьму! Это зеркало кривое, но в него смотреть надо с особым вниманием.

Согласившись с Горьким, я решила обратиться в Наркомат внутренних дел за пропуском, чтобы заняться изучением жизни и быта заключенных. Могла ли я тогда думать, что очень скоро сама окажусь за решеткой? Судьба бросила меня на долгие двадцать лет в тюрьмы и лагеря.

В последний раз я видела Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Я провела там почти целый день. Алексей Максимович казался озабоченным и грустным.

Меня поразили землисто-пепельный оттенок его лица; глаза казались светлее.

Он прихварывал, впервые жаловался на старость, собирался, по настоянию врачей, в Крым. В доме было тихо и как-то необычно малоллюдно. Летом минувшего года умер Максим Алексеевич. Я знала, что смерть сына тяжело придавила Горького, и невольно сопоставляла это с биографиями Гете, потерявшего взрослого, тоже



единственного сына, и Анатоля Франса, похоронившего дочь.

Алексей Максимович за весь день не обмолвился ни одним словом о постигшем его горе, о страшной потере. Он как-то сжался и, казалось, гнал мысли о смерти, всегда притягивавшие его.

Мы долго ходили по сырому парку, такому же грустному, как дом и его обитатели в этот день.

Позднее приехали работники издательств, и за длинным столом, за чаем, началась беседа. Оживился и Алексей Максимович. Редакторам из издательства «Молодая гвардия» он говорил:

— Издавайте снова серию путешествий Стэнли, Ливингстона и других, да не забудьте «Путешествия вокруг света» Коцебу — интереснейшая во всех отношениях книга.

Повернувшись тут же к Михаилу Кольцову, которого всегда очень хвалил, он продолжал:

— В серии «История молодого человека», кроме Альфреда Мюссе, хорош и Шатобриан.

Кому-то из руководителей издательства «Академия» он предложил издать скорее Лукреция и Катулла в новых переводах.

— Литературу японцев мы знаем плохо. Это упущение, — продолжал Горький. — Есть, знаете ли, чудесная книга японского средневековья, записки этакой японской мадам де Севинье, придворной дамы. Умнее, пожалуй, чем Севинье, это, скорее, японский герцог Сен-Симон в кимоно. Издавайте, издавайте. Наш читатель развивается не по дням, а по часам, давайте ему все лучшие сокровища, созданные литературой всех стран, всех веков.

В серой, как опустившиеся сумерки, маленькой гостиной Алексей Максимович долго молча ходил из угла в угол. На всех столиках стояли вазы с багрово-красными розами, такими же, как на клумбах перед домом в Сорренто. Задумчивый, печальный, Алексей Максимович удивительно походил на свой портрет работы Павла Корина, который я часто и подолгу разглядывала в одной из городских комнат писателя.

Русский рабочий, сурово вглядывавшийся в даль недоверчивыми, пронизывающими жизнь глазами. Плоть от плоти своего класса.

Прекрасные руки Горького, казалось, и не отвыкали от тяжелого молота. Плечи ссутулились, широкие, худые плечи грузчика. Сколько тяжестей пронес он через жизнь. Тяжести физические и духовные. Он нес на себе заботы, дерзания, горести и радости эпохи, своего народа, своей страны.

Этими плечами он пробился к знаниям, к творчеству. И они вдруг показались мне сложенными крыльями, столько раз поднимавшими его ввысь. Не случайно художник Корин рисовал его на фоне неба.

Горький, говоря о чем-то, улыбнулся, и глаза, усталые от чтения, работы и дум, отразили его многознающую и противоречивую душу.

Прощаясь с Горьким, я испытывала необъяснимое чувство беспокойства. Оттого ли, что он был в этот день очень грустен и, очевидно, тосковал о сыне?

В город я ехала с Екатериной Павловной Пешковой. Был угрюмый, дождливый день. Екатерина Павловна везла горшки с примулой на могилу своего и Алексея Максимовича единственного сына. Она говорила, глядя на дорогу потемневшими, скорбными глазами, о том, что просила скульптора, делавшего памятник, снять мраморную плиту с изголовья могилы.

— Мне кажется, Максиму тяжело, ведь камень давит на его голову и сердце...

Мы отвезли на могилу Максима Алексеевича Пешкова цветы. Екатерина Павловна много, тихо говорила об умершем и плакала.

...Как-то зимой 1936 года мне довелось с другими писателями — Бруно Ясенским, Я. Берзинь, Киршоном, Бабелем, Кольцовым — быть у Алексея Максимовича. Он спрашивал каждого из нас, над чем мы работаем, что пишем.

Выслушав мой ответ, Горький сказал:

— Вам следовало бы написать книгу о девушке из чуждой революции, не пролетарской, не крестьянской среды, девушке эдак тысяча девятьсот первого — тысяча девятьсот второго года рождения, ставшей хорошей, целеустремленной коммунисткой.

Я ответила, что вряд ли сумею написать такую книгу, так как сама выросла в семье профессиональных революционеров и родилась позднее.

Алексей Максимович продолжал настаивать.

— Я думаю, что вы справитесь, — сказал он. — В одной из ваших книг вы сумели показать, как приходят люди к революционному мировоззрению. Повесть об интеллигентке из иной среды, о «подкидыше» в революции, очень, очень нужна.

Попытку осуществить пожелание Горького я приняла лишь в 1957 году и написала повесть «Одна из вас».

...Горький уехал в Крым. Один из моих знакомых, который был с Горьким последнюю весну его жизни в Крыму, рассказывал о том, что однажды ночью увидел Алексея Максимовича, вылезшего из окна в сад. Двери его комнаты запирали на ключ, оберегая писателя от простуды. Но Горький перехитрил близких и врачей. В полночь тайком он вышел в сад, смотрел на небо и обнимал деревья, прижимаясь к их жестким стволам. Он плакал.

Что это? Прощание? Предчувствие смерти?

Было не в меру жаркое лето 1936 года. Казалось, никогда не появятся тучи, не освежит раскаленные мостовые Москвы желанный дождь. Алексей Максимович заболел. Он болел часто, и никто не предполагал, что в этот раз болезнь приведет к смерти.

Стоя в почетном карауле и вглядываясь в удивительно спокойное, даже слегка улыбающееся в усы лицо, я все еще не могла поверить, что Горького нет.

Вспоминалась его жадная любовь к жизни, к людям.

Нескольких писателей, в том числе меня, позвали на хоры, чтобы прочесть там письма, которые получили мы от великого писателя. Волнуясь, читал письма, полученные от Алексея Максимовича, Бруно Ясенский.

С хоров хорошо был виден возвышающийся среди цветов на высоком постаменте гроб, сменяющийся почетный караул и длинным поясом растянувшаяся, непрерывнодвигающаяся шеренга людей, прощающихся с Горьким. Слезы застлали мне глаза. С трудом дочитала я письма Горького ко мне — эти бесценные реликвии.

Часто смотрю я и теперь пожелтевшую от времени полосу «Комсомольской правды» от 20 июня 1936 года — дня похорон Горького. Юрий Жуков и Крушинский по-

дробно и точно описали все, что происходило в те дни скорби в Доме Союзов и затем на Красной площади. Они запечатлели для истории истину.

«Учитель был суров, но справедлив и внимателен, — пишут они между прочим. — Он требовал от каждого художника простоты, искренности, глубины чувства и мысли. Галина Серебрякова снова и снова перечитывает адресованные ей письма Алексея Максимовича.

...Как много из собравшихся здесь опечаленных людей получали такие «педагогические» письма.

Но Горький принадлежит не только русской литературе. Он принадлежит всему человечеству. У гроба стоят в почетном карауле... Луи Арагон... Иоганнес Бехер, и Вилли Бредель, и Эрих Вайнерт. Все они одинаково глубоко переживают великую утрату».

Ночью в крематории мы ждали гроб писателя из Дома Союзов. Писателей было не много. Мысли наши, естественно, возвращались к Алексею Максимовичу. Каждому было жаль неиспользованных, утраченных навсегда часов общения, жаль не высказанной в должной степени благодарности за то, что он дал каждому, кого знал.

Проницательный, мудрый, щедрый, он отдавал нам большой мерой свое время и мысли. Сколько часов он потратил на чтение наших, часто несовершенных, произведений и делал это так тщательно, что исправлял даже грамматические ошибки и знаки препинания. И это в пору работы над «Климом Самгиным».

Как всякий большой писатель, Алексей Максимович был всегда не уверен в себе, нуждался в одобрении, похвале, внимании к своему творчеству.

Артист, выходя на подмостки театра, видит знаки одобрения зрителя, ощущает его признательность за вдохновенную игру, писатель же, творящий в тиши кабинета, одинок. Он часто не знает, как приняты его творения. Немало замечательных прозаиков и поэтов умерли, так и не порадовавшись тому, что полюбились и стали дороги народу.

Горький был знаменит и почитаем, многие из нас, его учеников, в тридцатых годах, нередко эгоистически поглощенные собой, не воздали ему сполна, как великому писателю. Перелистывая журналы и газеты тридцатых годов, нельзя не поразиться тому, как мало профессиональные критики и литераторы писали о «Климе



Самгине», этой поистине эпохальной, талантливейшей книге. Искорки радости зажглись в глазах Горького, когда однажды один из критиков принялся подробно анализировать одну из только что опубликованных глав чудесного романа. Значительно позже мне приходилось не раз перечитывать «Самгина», и каждый раз с горечью вспоминала, что никогда в дни жизни Горького не сказала ему ничего о его книгах, не поблагодарила. Было ли это от застенчивости или от уверенности, что великий писатель и так знает себе цену и устал от поощрений? Однако только творчески немогущий человек самодоволен и уверен в себе. Настоящий художник всегда томим сомнениями, и похвала для него как духовный витамин, без которого засыхает сердце.

Потеряв, мы осознали, каким необычным, удивительным человеком он был. Всегда чуждый зависти и мелочного славолубия, радующийся каждому таланту, кропотливо и заботливо возвращающий все то, что казалось ему обещающим и полезным людям.

Сколько времени, сколько терпения тратил он на каждого из нас!

Гроб Алексея Максимовича медленно внесли в зал и установили на крышку люка.

Тихо, горестно играл орган. Все молчали. Было полутемно в колумбарии. Свет скупо освещал фигуры близких и друзей.

Из полутьмы, четко вырисовываясь, в траурном платье появилась Екатерина Павловна Пешкова — неизменный друг Горького. Тяжело опиралась она на руку невестки. За ней шла Мария Федоровна Андреева с сыном, кинорежиссером Желябужским. И поодаль, совсем одна, остановилась Мария Игнатьевна Будберг. Все эти три женщины чем-то неуловимо походили одна на другую: статные, красивые, гордые, одухотворенные.

Медленно опустился гроб в пасть люка.

Вскоре все было кончено. Выйдя из крематория, я повернулась к серому, суровому зданию.

Из трубы крематорной печи поднимался легкий дымок. По обе стороны дорожек были могилы, такие маленькие, что казалось, только человеческое сердце могло

уместиться под надгробными плитами. В земле лежали урны. В ушах вдруг отчетливо прозвучал голос Горького:

«А я вот никогда умирать не согласен!»

Но смерть не лишила его бессмертия.

На следующее утро замуровали урну с прахом Горького в кремлевскую стену на Красной площади.

Маленькая табличка с именем и датами рождения и смерти писателя исчезла за грудой венков.

Вспомнилось, как в 1924 году тут же, на Красной площади, у деревянного тогда Мавзолея Ленина, увидела я венок, на котором морозный январский ветер тихо раскачивал траурную ленту. Черными буквами на ней было выведено:

«Прощай, друг. — Горький».

## БЕРНАРД ШОУ

В декабре 1929 года угрюмым, туманным утром высокий буро-серый дом на Гровенор-сквер внезапно ожил. Много лет стоял он, окутанный траурной каймой угольной пыли, необитаемый, безмолвный, прежде нежели был снят на год прибывшим из Москвы советским посольством.

Маленький круглый сад, заросший жимолостью, с железной оградой, запертой на замок, предшествующие годы редко видел на своих желтых дорожках коляску ребенка, пушистую собачку или дряхлого старика, опирающегося на сложенный дождевой зонт. Наглухо закрытые ставни красноречиво подтверждали безлюдие домов, медленно разрушающихся от сырости, туманов и одиночества: в двадцатые — тридцатые годы владельцы охотно сдавали большие холодные дома внаем. Они тяготились этим наследством и уезжали в колонии и материковую Европу.

Гровенор-сквер, такой веселый и нарядный в царствование тучной королевы Виктории, пережил свой расцвет, уступил первенство светлым кварталам вокруг Кенсингтона, где выстроили свои особняки современные богачи и знать нового века. В наши дни знаменитый Гровенор-сквер — чопорная, скучная улица в центре кипучего Лондона.

В начале 1930 года в парадных залах дома на Гровенор-сквер на одном из шумных приемов в посольстве СССР я впервые увидела Бернарда Шоу. Он вошел, уже старый по возрасту, но с неожиданно легкой походкой и широким жестом больших рук, по-детски быстрый в движениях, весь устремленный вперед. Беловолосый, с золотистой сединой светлого в прошлом блондина, с очень свежим, розовым лицом, с глубоко упрятанными под мохнатые брови серо-голубыми, смеющимися, мудрыми и очень привлекательными глазами, с большим, грубым носом и широким ртом, прячущимся в усах и бороде, он, как и Лев Толстой, казался выходцем из народа, из крестьянства. Шоу был некрасив и вместе с тем, резко выделяясь из толпы, приковывал к себе внимание. У него был выпуклый открытый лоб под непокорными волосами, мягкими, тонкими, как у ребенка.

Как и о Толстом, кто-то сказал, что чертами лица Шоу похож на большого, нервного и умного пса. В тот же вечер на приеме в посольстве был еще один крупнейший представитель английской литературы — Герберт Уэллс.

Становилась понятной их давнишняя, часто вспыхивавшая антипатия друг к другу — так разительно непохожи были эти два больших писателя.

Англичанин Уэллс, с свекольно-красными щеками, рыжеватыми, жирно примазанными волосами и торчащими усиками, коренастый, спокойный, самодовольный, являлся полнейшей противоположностью легко возбуждающемуся, подвижному, всегда как будто изнутри освещенному ирландцу Шоу.

Особенно разнились их руки: немного короткопалые, красные, полные у Уэллса и бледные, острые, с длинными, большей частью беспокойно двигающимися костлявыми пальцами у Шоу. Один земной, чванный; другой взъерошенный, худой, как будто взлетающий вслед слову, мысли, весь — олицетворение пытливости, насмешливого разума.

Это было тем более неожиданно, что именно Герберт Уэллс в фантазии бродил по планетам, а Шоу вглядывался в человечество на Земле.

В эту первую встречу Шоу с огромной настойчивостью спрашивал об СССР, главным образом требуя цифр.

— Люблю статистику, — повторял он многократно.

Его интересовало народное образование, положение писателей, художников, советский театр. К концу вечера я спросила, есть ли у него дети.

— Дети? — удивился Шоу. — Конечно, их у меня нет. Иметь идиотов или посредственные натуры? Видите ли, — продолжал он, — когда природа дошла до предела, дальше она может лишь начать сначала... — Он по-детски весело рассмеялся и стал удивительно симпатичен.

Итак, создав его, природа дошла до предела. Этот парадокс оказался бы нескромным в устах каждого, но только не Бернарда Шоу: он так считал, так и говорил. Не всякий бы на это решился.

В следующую встречу — в столичной квартире Бернарда Шоу — я познакомилась с его женой, Шарлоттой Шоу, самым близким и верным другом великого английского писателя.

Квартира Шоу находилась недалеко от Вестминстерского аббатства — суровой усыпальницы королей и героев. Рядом с этим пантеоном истории громоздился парламент, почерневший от угольного чада миллионов каминов, отстроенный более ста лет назад, после пожара, таким же, каким был раньше, похожий на готическую молельню пуритан кромвелевской поры. Парламент, добытый в жестоких боях с королями и аристократами, залитый кровью вольнолюбцев, погибших за свободу, когда-то опасный и жестокий соперник деспотов, ставший теперь только цирковой ареной, на которой разыгрывается давно надоевшее представление.

Низенькая, полная миссис Шоу встречает нас на пороге гостиной, где на открытом рояле — шопеновские прелюды, бетховенские сонаты и партитуры Генделя, композитора, чей прах бережет Англия в Вестминстерском аббатстве. Приятное лицо у жены Бернарда Шоу. Ей, как и ему, уже за семьдесят, она на два года старше мужа. Но старость не страшна, когда видишь этих полных жизни, мысли и творчества людей. В седых пышных волосах миссис Шоу еще много русых прядей, глаза ее умны и добры, лицо свежо, а красивого тембра голос звучен. Она вышла замуж за Бернарда Шоу, когда обоим было уже за сорок, и брак их оставался счастливым до конца. У нее высшее образование, но, выйдя замуж, она посвятила

все время мужу, стала его помощником в любом начинании.

— Не правда ли, трудно быть женой гения? — спрашивает кто-то миссис Шоу.

— Не могу сравнивать, так как никогда не была женой не гения, — то ли шутя, то ли серьезно отвечает живо Шарлотта Шоу, улыбаясь своей широкой, как у мужа, заразной улыбкой.

В доме Шоу нет и тени напряженности или напыщенности. В книжных шкафах книги писателей разных стран. Шоу не знает иностранных языков.

— Ирландский и английский я знаю неплохо, — поясняет он.

Миссис Шоу говорит на многих языках и следит за всеми новинками, заслуживающими внимания.

В одном из книжных шкафов — Шекспир.

— Европа раньше нас оценила его необъятный гений оттого, что он был переведен на немецкий язык Шлегелем и другими; нам это дается труднее, — говорит Бернارد Шоу, доставая редкое издание величайшего драматурга. — Язык Шекспира нуждается в переводе на современный, — англичане его не понимают.

Я рассматриваю нарядное издание «Фрейи семи островов» Джозефа Конрада. Шоу говорит:

— Талантливый славянин. Единственный недостаток Конрада — его чересчур правильный английский язык.

Джозеф Конрад, как известно, научился английскому языку семнадцатилетним юношей. Шоу спрашивает меня, читала ли я Лоренса.

— Прочтите, — говорит он. — Этот несчастный человек покинул Англию, как некогда Шелли и Байрон. Тупомозглые англичане нашли его непристойным. Это их конек, как всех тех, кто действительно бредит непристойностью, но только шепотом.

Отойдя от книжных шкафов, я осматриваю выполненные с большим художественным вкусом пейзажи.

На одной из стен у двери гостиной висит прекрасно нарисованная смеющаяся обезьяна.

— Наш предок, — говорю я, разглядывая рисунок.

— А может быть, наоборот — обезьяну породил человек, — смеется Шоу.



Я спросила его, как он относится к ультрамодернистским, совершенно невразумительным произведениям в искусстве и к их производителям. Прищурившись и тряхнув золотисто-седыми пушистыми волосами, Шоу указал на голову гориллы и ответил задорно:

— Они пишут для обезьян.

Разговор коснулся того, над чем работает Шоу.

— Пишу пьесу «Плохо, но правда».

Госпожа Шоу добавляет:

— Английская поговорка: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — но мистер Шоу переставил слова, изменив суть.

Шоу был доволен, что в СССР знали его пьесы и ставили в эту пору «Ученика дьявола».

— Я пришел к выводу, — говорит Шоу, когда кто-то из гостей чихнул, — что мы напрасно оговорили бациллы. Почему не представить себе, что не они, а мы, люди, заразили их гриппом?

За столом писателю и его жене подают совершенно различную еду: Бернард Шоу с двадцатипятилетнего возраста вегетарианец, в то время как Шарлотта Шоу — любительница мясных блюд.

Они сидят на противоположных концах стола, добродушные, нежно заботящиеся друг о друге, и каждый шутя расхваливает свой режим питания.

— Я ненавижу кровь и убийство, я не ем даже яиц — эти зачатки жизни, — говорит Бернард Шоу, с аппетитом поглощая саговый пудинг. — И вот мне семьдесят четыре года, я работоспособен и силен физически.

— А я ем каждый день бифштекс и тоже не могу пожаловаться на недомогание, — парирует миссис Шоу, с удовольствием отрезая кусок жареного мяса.

После завтрака Бернард Шоу говорит о своем огромном преклонении перед Советской Россией и Лениным.

— Ленин — величайший ум и сердце этого столетия, — говорит он, и его голубоватые глаза становятся особенно добрыми и задумчивыми. — Я обязательно приеду в Россию, это решено. — И уже шутя добавляет: — По правде сказать, меня смущают ваши нравы: русские бодрствуют ночью, в то время как я уже почти пятьдесят лет не ложусь спать позднее десяти с половиной часов.

Через несколько дней я получаю от миссис Шоу при-

глашение приехать к ним на week-end<sup>1</sup> в их загородный дом.

Было редкое для Англии светлое небо, и, по-весеннему чистая, зеленела трава вдоль прекрасного шоссе.

Англия — страна полутонов. Ее небо, светло-оливковое в ясные ночи, ржавое в непогоду, днем окрашивается, как вода пролива, в блекло-серые, матово-голубые и розовые цвета. Как и Япония, на полотне Англия лучше всего воспроизводится акварелью и пастелью.

Ирландия — «страна картофельной шкурки», как говорят о ней сами жители, — богаче Англии природой и красками: она не лишена таяния снегов, полноводья рек, отчаянной пляски весенних, умирающих с засухой ручьев. Но зима там угрюма, и одутловатое небо сурово затянуто подолгу тучами, о которые бьется колючий ветер с моря.

Ирландия дала миру трех великих писателей, самобытность которых осталась во времени неизменной: Джона Свифта, Оскара Уайльда и Бернарда Шоу.

Все эти бунтари, чье непревзойденное остроумие дивило и пугало англичан, гордились своей маленькой родиной, отстаивавшей независимость в неравных боях. «Я ирландец», — говорил каждый из них с гордостью.

Ирландия — страна песен, сказок, красноречия и мужества. Как гулливеры среди лилипутов, томились они в Англии, пронзая острым словом и мыслью лицемерие и тупость буржуа.

Оскар Уайльд писал: «Мать с детства приучила меня к открытым окнам, к свежему воздуху, и всю жизнь я томился от духоты тех домов, в которых приходилось мне бывать и жить».

Духота моральная душила Шоу, и он рвался к ветру, к свежести морской бури.

Мы подъехали к скромному загородному коттеджу Бернарда Шоу. Широкий простор полей успокаивал и смягчал серые, обвитые плющом стены дома.

Служанка проводила нас наверх по деревянной лестнице в чистенькую комнату, где всюду была заметна гостеприимная забота. Стояли свежие тюльпаны в вазочках, и на почной тумбочке лежала книга под подсвечником. Это был роман Лоренса.

---

<sup>1</sup> Конец недели (англ.).

В открытые настежь окна с зелеными жалюзи врывался с ветром запах лугов, зацветающих кустов и первых цветов.

Безлюдно и тихо вокруг. Несколько часов гости остаются в чужом доме одни. Велика мудрость такого приема: гости не мешают отрегулированному течению дня, не вносят утомительной сутолоки. Они включаются в распорядок быта хозяев, оставаясь приятными и желанными.

К семи часам (час обеда) спускаюсь вниз по коричневой лесенке и вхожу в столовую. Только теперь вижу я хозяев, мистера и миссис Шоу, и их старых близких друзей — Беатрису и Сиднея Вебб.

Сразу окунувшись в доброжелательное гостеприимство, я с интересом приглядываюсь к четверем замечательным людям, усевшимся за стол. Бернард Шоу и его жена Шарлотта сидели, как всегда, на двух противоположных концах стола. Между ними, обнаружив отличный аппетит, разместились супруги Вебб, Беатриса Вебб — высокая худая старушка за семьдесят, с очень острыми чертами лица и умными глазами. Нос, рот, подбородок, щеки и даже глаза треугольной формы, как и седой пучок на макушке. Однако ничего отталкивающего, злого не было в ее лице. Наоборот, она привлекала необычайной живостью движений, голоса и, особенно, колким умом. Сидней Вебб, ровесник Бернарда Шоу, был полнейшей противоположностью жены: значительно ниже ее ростом, тучный и весь какой-то почти женственно мягкий. Его черты лица могли бы быть обозначены только округлостью. Круглые глаза, нос, подбородок, живот, спина. Округлость жеста. Он больше молчал, добродушно поглядывая на всех из-под круглых стекол пенсне. Как и Бернард Шоу, Веббы были в прошлом создателями фабианского общества. Одну из книг Веббов (они писали всегда вместе) перевел Владимир Ильич Ленин.

За обедом у Шоу зашла речь о гениальном переводчике книги Веббов, и Шоу задумчиво сказал:

— Я бесконечно жалею, что не знавал лично Ленина. Народ, имевший Толстого и Ленина, не может быть посредственным.

Когда подали кофе, женщины перешли в другую комнату, а мужчины остались, согласно английскому обычаю, одни. Нельзя было не восхищаться миссис

Вебб и Шарлоттой Шоу, так полны жизни и молодости оставались их интеллект, их интересы.

Разговор переходил с парламентских дебатов на новые книги и театральные постановки, с политических событий на предстоящее путешествие Шоу в Европу и СССР.

Позднее шумно растворилась дверь, и в комнату ворвались довольные и сытые на вид собаки, а за ними, широко раскидывая худые ноги, легко вошел высокий Шоу и, как-то переваливаясь, маленький Сидней Вебб.

Прохаживаясь по комнате, Бернард Шоу поправлял большой рукой непослушные пряди серебристо-розовых волос. Иногда, слегка сутулясь, он прислонялся спиной к камину, согревая узкую спину, но потом снова начинал ходить, поддразнивая то старого друга Вебба, то жену, уютно устроившуюся в глубоком кресле.

Мистер Сидней Вебб взял на руки круглого, упитанного и низенького, как он сам, пса Санди, которого привез тоже в гости к Шоу, и стал ласково — по носу — разговаривать с ним:

— Ну как же нам ехать в Россию без тебя, старина? Как объяснить тебе, что мы вернемся, чтоб ты ел и не зачах...

Пес в ответ замахал хвостом и приблизился вплотную мордой к лицу хозяина. Все засмеялись — так велико было сходство между шотландским терьером Санди и его хозяином.

— Кто сказал, что человек тиран собаки, — наоборот, собака — тиран человека, — пошутил Бернард Шоу.

Чернобородый шотландский терьер Бернарда Шоу мягко улегся у его ног.

— Собаки — абсолютные интернационалисты, — усмехнулся писатель. — Ни один другой шотландец не проявил бы ко мне, воинствующему ирландцу, столько симпатии, сколько этот.

За окном стало совершенно темно, и Беатриса Вебб зажгла свечи в канделябрах. Огонь в камине разгорелся. Миссис Вебб говорила об опасности империализма в Японии и ее возможном нападении не только на Китай, но и на Австралию. Господин Вебб расспрашивал о кооперации в СССР. Собаки Веббов и Шоу дремали на ковре.

Шарлотта Шоу подошла к роялю и тихонько наигрывала фугу Баха.

Несколько дней, проведенных в обществе супругов Шоу и Вебб, навсегда уничтожили во мне страх старости. Нет старости для людей с живой душой и разумом, людей, вбирающих жизнь всеми чувствами. Старым можно быть и в молодости, но можно прожить долгую жизнь, так и не познав ее. Мозг, мысль имеют счастливую способность, обрастая опытом, закаляться и крепнуть с годами, и мудрость приходит поздно. Человек часто умирает раньше, нежели исчерпал все свои духовные и умственные силы. И если молодость — стихия страстей и эмоций, то старость — стихия мысли, творчества, разума.

Толстой написал «Воскресение», когда ему было за семьдесят. Гете в восемьдесят лет орлиным оком мысли обзирал мир. Карл Маркс и Энгельс никогда не знали умственной старости.

Мысль, взлетающая в мировое пространство, пробиваящая века, не может стареть, она приобретает вечный блеск.

Каждый день Бернард Шоу, встававший очень рано, работал в своем кабинете до часу дня. Затем, после завтрака и недолгого отдыха, хозяева и гости отправлялись на прогулку пешком по окрестностям. Не служил помехой и дождь. Жители острова привыкли к нему, как эскимос к снегу и бедуин к знойной пустыне, песчаному бурану и солнцу.

Быстрее всех шагал Бернард Шоу. За ним обычно поспешала Беатриса Вебб, а позади, за Шарлоттой, отдуваясь, с неизменным Санди сбоку, шел Сидней Вебб. Так гуляли несколько часов, проходя не менее шести — восьми миль.

В утренние часы все обитатели дома работали, наступала совершеннейшая тишина. К пятичасовому чаю приезжали соседи, и семья Шоу часто, забрав своих гостей, отправлялась куда-нибудь по приглашению.

Вечера проходили в чтении вслух или импровизированных концертах.

Шоу называл меня Медорой, по имени одной из женщин байроновского «Чайльд-Гарольда», и с тех пор в его семье и в доме Веббов меня иначе не называли.

Интересы Бернарда Шоу были самыми разнообразными: прения в парламенте, очередные стычки у лейбористов и фабианцев, события на всей планете, новости мировой драматургии, выставки графики, музыка, современная и классическая,— все это интересовало его. Но особенно зорко следил он за делами родной Ирландии. Он с восхищением говорил о доблести своего народа и высмеивал англичан.

— Ирландцы, как и советские люди,— сказал он однажды,— не переносят никакого чужеземного ига, они храбры и сбросят его снова ценой жизни, если понадобится.

В 1932 году я побывала на премьере пьесы Шоу «Плохо, но правда». Ее бурно одобряли зрители, но Шоу, находившийся в зале, несмотря на дружные вызовы и рукоплескания, на сцену не вышел. Впервые я увидела его смущенным, покрасневшим от волнения и даже растерянным. Он сказал нам, что боится всякого «скопления людей» и не знает, как вести себя перед рампой.

В семье Шоу я слышала о театре, кино и нравах издателей в Англии и Америке.

Пьесы, фильмы и книги так же подчинены там заранее установившейся моде, как и автомобили или галстуки. Уголовные темы периодически надоедают, сыщики набили оскомину, отчеты о сложных преступлениях публика предпочитает поглощать в газетах.

Средний писатель — клерк издательства — добросовестно выполняет заказ, но нередко при этом терпит крах.

— Книга опоздала. Пишите что-нибудь о кризисе, увяжите сюжет с банкротством, акции обесцениваются, банкир стреляется, его вдова выходит удачно замуж.

Кинопродукция подчинена той же системе. Американский Голливуд потрафляет главным образом своему зрителю — представителям мещанства, которое заполняет кинозалы и снижает кино до своего часто низкого уровня.

Директор кинокомпаний заявляет поставщикам сценариев:

— Сексуальные вопросы надоели, путешествия, чернокожие девушки, джунгли, лев, поедающий мальчика, через два месяца не будут иметь спроса. Дайте-ка что-нибудь новое, например, миллионер имеет невесту, ее отец разорился на кризисе. Паденье спроса на каучук.



Девушка отказывает миллионеру, так как они больше не ровня, идет в кабаре танцовщицей. В нее влюбляется бандит, типа Джека Даймонда. Девушка страдает, запугана. Миллионер в это время разорен, поступает на службу. Видит бывшую невесту в кабаре, спасает ее от преследований бандита — happy end<sup>1</sup>. Или: кризис затянулся, но эта тема слишком болезненная, требуется что-нибудь сентиментальное, — героиня должна быть титулована, а конец драматичный. Читатели теперь требуют эмоций. «Он» «ее» убивает. Или лучше — его покинутая жена убивает любовницу мужа.

Говорящее кино сыграло роль разоблачителя всей той жирной пошлости, необъятной тупости, бездонной фальши, которую укрывало принужденное молчание немых фильмов.

Краткие надписи оставляли у зрителя иллюзию того, что «герои» не так глупы, их чувства не так окончательно неинтересны.

Но вдруг «герои» заговорили. Заговорили плоскоголовые калеки буржуазного мира с вывихнутой этикой, мерзкими предрассудками. Выложили свои мелкие мыслишки ищущие мужа развязные девицы с приданым и обойденные судьбой робкие девицы без приданого. Убогость идей, пустота желаний богачей, клерков, княгинь, пошлость их жизни, ничтожность их чувств видны четко на киноэкране, словно показанные под лупой.

«Среднее сословие» хотело экзотики, и кинофабрики поставляли ее в чудовищных дозах. Борнео, приготовленное под Лондоном, африканские леса, снятые в Лос-Анджелесе, Таити, Огненная Земля — стали фоном для всегда одинаковых любовных коллизий.

Потом экзотику вытеснили салоны аристократок, яхты американских миллиардеров, кабачки — притоны гангстеров. Таитянка из баронессы и американской танцовщицы превратилась в «ночной цветок» баров.

Но на всех широтах земли, во всех костюмах, под вой голодных львов, под гавайскую гитару, джазбанд или под стрельбу бандитов, она высказывает те же мысли, теми же словами, с той же улыбкой и жестикуляцией.

Кинофабриканты могут создать Малайский архипелаг на Темзе, могут устраивать снежную вьюгу и ливни, мо-

---

<sup>1</sup> Счастливый конец (англ.).

гут слепить любую форму, но бессильны наполнить ее осмысленным содержанием, потому что для этого нужен другой зритель и, главное, потому что для этого вовсе не нужны они.

Кино в Англии, как и во всем капиталистическом мире, является орудием пропаганды и торговой рекламы. Кино должно внушить английскому зрителю, что он принадлежит к «первой нации» на земле и знать занята ответственным «коммивояжерством» и страпствует по свету для распространения английских товаров.

С помощью своих «звезд» кино рекламирует шляпы, платье, автомобили, мебель, игорные дома и морские пляжи. Рекламная роль кино настолько значительна, что выдвижение актрис зависит в большей мере от оценки их парижскими портными. Две трети модных кинозвезд служили раньше манекенами Пакена, Ворта и Пату. Уменьше носить — «показать» платье ценится кинопостановщиком значительно больше, нежели четкая дикция и сценический талант.

Кино протаскивает в обиход, утверждает моду — хитрейшее измышление все учитывающих законодательствующих портных и стоящих за ними текстильных фабрикантов. Когда парикмахерам выгодно распродать купленные за бесценок благодаря введенной ими же стрижке женские волосы, киноактрисы демонстрируют вместо бритых затылков накладные косы, прикалывающиеся локоны и шиньоны. Прогорающие фермы по разведению страусов пытаются спастись, воскрешая моду на украшенные перьями шляпы. Кино приучает глаз зрителя к новой торговой затее, и очень скоро поставщики страусовых перьев опять завалены заказами.

Клиенты английских кинематографов терпеть не могут трагедий, вспарывающих их покладистый, удобный, как перина, быт, ставящих серьезные проблемы, воссоздающих гигантские по устремленной силе характеры. Шекспир, чтимый по традиции, кажется им чудаковатым фантастом, устаревшим и громоздким, как средневековье.

Мелкий буржуа издевается над всем, чего не понимает, оплевывает все из ряда вон выходящее, обвиняет в патологических извращениях, лживости все, не влезающее в затхлую клеть его мировоззрения. Уверенность в своей судьбе, точное знание своего пути от рожденья до смерти подменяет в его глазах мудрость и провиденье.

Отрицая правду, осмеивая не только неудавшуюся, но и подлинную трагедию, толпа посетителей кино любит и поощряет сентиментальные басни, аллегорические сказки и фантастические приключения. Рождественские пантомимы усердно посещаются не только детьми, но и взрослыми.

Английское кино создало свой сказочный жанр, мультипликационные фильмы, героем которых долго являлся созданный Диснеем Микки-Маус — зверек с мышинной мордочкой и повадками котенка, его друзья и враги — мышата, коровы, пингвины, человечки из спичек и неведомые хищники, полудраконы, полупауки. Вся эта труппа является, в сущности, символом «среднего сословия» — людей с мышинными мозгами, мышинной настойчивостью, мышиным аппетитом и трусостью.

Страна без кризиса и падающего фунта — олицетворение невозмутимой старой Англии; бравый мышонок, хитростью победивший туземный остров и его обитателей, разве не идеальный британский герой? Микки-Маус делает все точно так же, как сделал бы на его месте любой зажиточный британец, разъезжающий по чужим землям, он удачливый скотовод, пилот, странствующий на самолете в поисках достойной стать его женой безупречной девицы на двух макаронах-ножках.

Фильмы неизбежно завершаются счастливым концом. Эта традиция, поколебленная было, опять укрепилась. Пульс охваченного беспокойством мира учащен, и кино должно действовать подобно камфаре и предвещать благополучие. С трудом добытый развод, иногда наследство или удачливая спекуляция, развязывающая узел семейного конфликта. Если фильм кончается разорением богача, то из этого делается утешительный для аудитории вывод, что быть миллионером по меньшей мере утомительно и беспокойно, уют скромных коттеджей противопоставляется скуке и холоду дворцов. Кинопостановщик знает, что он угождает таким путем одновременно жалующемуся на «плохие времена» среднему сословию и крупному капиталу, который легче общипывает младших братьев, когда они наивно готовы прослезиться над «горькой участью» богачей.

Борьба с сильными конкурентами — кино и мюзик-холлами — принуждает театры к частой смене репертуара. Новая пьеса идет непрерывно, день за днем, покуда

есть зрители. Затем ее ставят в театрах лондонских окраин и отправляют в провинцию, откуда она или не вернется вовсе, или возобновится на центральных сценах по истечении ряда лет. Артисты подписывают договор с дирекцией на каждую пьесу отдельно. В случае провала премьеры им причитается оплата четырнадцати несостоявшихся представлений. Игра английских актеров старательна и посредственна, редко вовсе плоха, еще реже выдающаяся.

Со смертью Эллен Терри лондонские театры не выдвинули ни одной сколько-нибудь крупной драматической актрисы.

Постоянной оперы Лондон не имеет. Весной в течение двух-трех месяцев в Ковент-Гарденском театре гастрوليруют европейские и американские, наиболее знаменитые, разрекламированные своими же граммофонными пластинками, певцы. Их выступления совпадают с разгаром «светского сезона», и посещение оперы включено в круг обязанностей избранного общества, так же как балы, королевские приемы, гарден-партии, благотворительные базары и салоны живописи. Король и знать имеют постоянные, абонированные на протяжении многих лет ложи и кресла. Высокие цены и правило, обязывающее посетителей являться в «вечерних» туалетах, ограждают буржуазную аристократию от нежелательных встреч с простонародьем, которому доступен лишь оперный раек, совершенно отделенный от нижних ярусов и партера, имеющий особый вход и фойе.

Англичане, в массе чрезвычайно охочие до всякой, преимущественно церковной или несложной, музыки, сами скорее немзыкальны. Обладая точным восприятием ритма, они, как правило, лишены каких бы то ни было вокальных дарований.

Хотя пение — обязательный предмет, но климат и особенность произношения в английском языке пагубным образом отражаются на голосовых связках.

Национальным инструментом Великобритании, кроме шотландской пастушьей волынки, является электрифицированный орган, без которого не обходится ни церковь, ни кинематограф. Под его шуршащие, глухие звуки, имитирующие то виолончель и флейту, то колокольный звон и человеческий голос, проходит вся жизнь англичанина.

Англии принадлежит честь изобретения нотописи.

Не меньшим успехом, нежели кино, пользуются на острове радио и патефоны. В их репертуаре наибольшее место отведено церковной и джазовой музыке, в угоду вкусам старшего и младшего поколения зажиточного «среднего класса». Фабрики, производящие пластинки, подобно кинодельцам, спешно воспроизводят каждое годное к музыкальной передаче событие в стране: речь королевы на открытии парламента, поздравления нового лорд-мэра к Новому году, перезвоны колоколов, отправляемых миссионерами в Африку.

Патефон и радиоприемник — неразлучные спутники английского обывателя в его загородных прогулках и послеобеденных развлечениях. По вечерам под звуки джаз-бандов танцует молодежь, читает газеты «глава дома», проверяет счета домохозяйка.

Я спросила как-то Бернарда Шоу, много ли он странствовал по свету.

— Нет, — ответил он. — Я всегда испытываю разочарование, так как мои представления о том, что я увижу, значительно интереснее, чем действительность. Но я надеюсь, что в вашей стране я найду нечто совершенно новое.

Бернард Шоу с женой собирались отправиться в Советский Союз.

На одном из балов присутствовали многие политические деятели Англии, с которыми был издавна коротко знаком Бернард Шоу. Ллойд-Джордж, Гендерсон, Макдональд, Чемберлен, Болдуин достигли почти семидесяти лет, но никто из них и не помышлял об отдыхе-отставке. Наоборот, их «карьера» подошла к зениту.

Дни вождя либеральной партии Ллойд-Джорджа подчинены были строжайшему режиму, и свою исключительную работоспособность он объяснял тем, что в течение сорока лет ни разу не опоздал к обеду и не лег спать позже одиннадцати часов.

Шоу познакомил меня не только с Ллойд-Джорджем, но и с лидером рабочей партии Макдональдом. Для своих шестидесяти шести лет тот казался очень моложавым. Вкрадчивый и вместе настороженный взгляд, волевая линия жестокосердных, подобранных губ, надменно высящийся нос с раздувающимися ноздрями властолюбца и к этому чуть согнутые крепкие плечи, умеющие мгновенно распрямиться, деспотический жест сжатой в кулак

руки и выжидательный, лжепокорный наклон головы производили внушительное впечатление.

Журналист — человек беспокойный и хищный на новизну, ему всегда хочется увидеть все значительное на земле.

Меня заинтересовал Мосли — руководитель немногочисленной группы английских фашистов. Шоу, смеясь, сравнил его с быком, на которого Мосли был очень похож.

— Он ярится, когда торeadор показывает ему красное, — добавил Шоу, щуря молодые глаза. — Лорд «чистой голубой крови», Освальд Мосли так же откровенен в пожирающем его честолюбии, как Макдональд скрытен.

Мосли не привык преодолевать барьеры. Нетерпение избалованного аристократа прорывалось наружу, в то время как Макдональд, шотландский учитель, обладал стальной выдержкой готового к прыжку, закаленного неудачами мелкого буржуа. Мосли считался украшением знати. Породистый, большой нос, надменно смотрящие глаза, тонкий стан, сильный вибрирующий голос — все эти воображаемые черты вожаков масс были у Мосли.

Лишенный принципов, опыта и последовательности в мировоззрении, Мосли воспринимал политическую борьбу лишь как вид спорта. Мечтая о звании чемпиона, он пересел в тридцатых годах с консервативных скамей парламента на лейбористские. Звонкое имя, деньги сделали свое, и признательные лейбористы преподнесли ему кресло министра. Однако Мосли было этого мало, и он решил увенчать себя лаврами Гитлера и Муссолини. Говорили, что Освальд Мосли унаследовал характер своего прадеда, проведшего жизнь в тщетной погоне за политической властью в палате лордов. Мосли-правнук, уйдя от лейбористов, создав фашистскую партию, был многократно освистан на митингах в Лондоне. Английский обыватель, преклоняющийся перед титулами, простаивающий в слякоть и туман у церквей, чтоб мельком увидеть бракосочетание миллионера, изучающий геральдические знаки аристократов, повторяющий с упоением сплетни о происшествиях в королевском дворце, безучастен и невосприимчив к уговам аристократов-авантюристов. Как ни старался Мосли стать вождем большой партии, он терпел неудачи и оказался слишком беспомощным, чтобы обманывать народ.

Я не раз видела, как к концу вечера Бернард Шоу



начинал уставать, утомление смирало его. В десять часов он обычно прощался и уходил.

— Чтобы жить долго, надо думать об этом смолоду, — шутил он, отправляясь домой.

Приехав в Лондон из Москвы, я послала Бернарду Шоу письменный настольный прибор работы превосходных палехских мастеров. Прошел месяц, два и больше, а в ответ на подарок я не получила от Шоу ни одной строчки. Меня беспокоило предположение, что вещь не понравилась писателю. Наконец мы встретились в театре на премьере Шоу.

Не выдержав, я спросила Бернарда Шоу, понравились ли ему миниатюры палешан на письменном приборе.

— Спросите у миссис Шоу, — сухо ответил писатель. — Ни одна вещь не принадлежит мне, если она также не принадлежит миссис Шоу.

Я вспыхнула, поняв, что допустила бестактность, послав подарок лично Бернарду Шоу, не упомянув или не адресовав его прямо миссис Шоу. Пришлось извиняться.

Осенью того же года Общество англо-советской дружбы давало большой бал. Миссис Шоу была больна, и Бернард Шоу приехал один.

Мы сидели рядом, и, как всегда, Шоу по-детски громко смеялся, неуклюже поправляя падающие на лоб волосы, и шутил по поводу нескромных больших вырезов на платьях проходивших мимо нас женщин:

— В годы моей молодости, когда женщины носили наглухо закрытые платья, носок туфельки, прорешка в перчатке вызывали в нас, мужчинах, гораздо больше эмоций, чем любая обнаженная спина красавицы на этом балу. Современная мода лишает наше воображение какой бы то ни было пищи.

В последнюю нашу встречу Бернард Шоу говорил о том, как близки ему идеи и цели Советского Союза.

— В конце концов, самое дорогое и редкое — это счастливые люди. Я — друг Советского Союза, потому что его цели, цели Ленина, — счастье наибольшего числа людей на этой несчастливой планете.

Не знаю, известно ли было ему, что он повторяет слова юного Карла Маркса, писавшего в сочинении на аттестат зрелости: «Опыт считает самым счастливым того, кто сделал счастливым наибольшее число людей».

«Великие души подобны горным вершинам,— писал Роллан,— на них обрушиваются вихри, и их обволакивают тучи, но дышится там легче и привольнее. Свежий и прозрачный воздух очищает сердце от всякой скверны, а когда рассеиваются тучи, с высоты открываются безграничные дали и видишь все человечество».

Человек доброго ума и чуткости, Роллан стал знаменосцем человеколюбия в мире.

В «Воспоминаниях идеалистки» друг Герцена — старушка Мейзенбург — писала о юном еще Роллане как об одном из самых благородных людей, каких она встречала за долгую свою жизнь.

«Поглядим же вслед за всеми, что боролись в одиночку или разбросанные по всем странам, во всех веках. Уничтожим преграды времени. Воскресим племя героев...» — призывал Роллан.

Среди величайших гениев земли Роллан особо выделяет Ленина.

«Мысль Ленина, чистая и острая, как меч», рассекла сомнения Роллана, открыла после долгих лет исканий и мук новые пути, по которым он шел до конца жизни.

Вера в гений Ленина и его учение привела писателя в 1935 году в Советский Союз.

Он остановился у давнишнего друга своего Алексея Максимовича Горького в загородной усадьбе.

Шел проливной дождь, когда мы, человек сорок писателей, на нескольких автомобилях отъехали от Москвы. Роллан знал наши произведения по переводам на французский язык и звал к себе.

Ехали долго. Шины завязли в размытом дождем суглинке, едва автомобили свернули с Можайского шоссе на проселочную дорогу. Пришлось идти по промокшей земле. Холодный ветер пронизывал, одежда намокла. Мы устали и роптали на дорожные неудачи...

Наконец подошли к большому дому бывшей усадьбы купца Морозова. В светлом холле было тепло и уютно, особенно по контрасту с ветром и дождем все еще не умирившейся непогоды. Мы с удовольствием раскрывали для просушки дождевые зонты, когда появился доктор и шепотом заявил, что Роллан болен, уложен в постель после тяжелого сердечного недомогания. Нас попросили

пройти в столовую обогреться, попить чаю и возвращаться восвояси.

Мы подчинились, не пытаюсь, впрочем, скрыть глубокого разочарования. Но вдруг на площадке лестницы, соединявшей холл с верхним этажом дома, раздались голоса и шум. Тихий, но властный мужской голос настойчиво повторял по-французски:

— Я обязательно приму их, они так долго ехали, так устали ради этой встречи. Это невозможно — отпустить их сейчас.

Голос жены писателя, Марии Павловны, просил тихо:

— Роллан, ты болен, тебе вредно.

Врачи настойчиво и сердито гудели, пытаюсь вернуть в постель больного.

Однако Роллан победил, и мы увидели его спускающимся вниз по лестнице. Темный плед прикрывал его плечи, падал вдоль длинного, согбенного, крайне исхудалого тела.

Он шел неуверенно, чуть покачиваясь, держась крепко за перила лестницы.

Чем ближе он подходил, тем тоньше, бескровнее казалось его узкое лицо, слабее его хилое тело. Усиливалось впечатление немогущей плоти и приковывавшей беспредельной силы духа, струящейся из глубоко ушедших под надбровные дуги, покрасневших глаз.

Вслед за Ролланом и его маленькой, гладко причесанной, фарфорово-бледной, похожей на инокиню женой мы вошли в длинную сумрачную столовую и расселись за столом.

Роллана усадили в большое кресло; плед был наброшен на его плечи и ноги.

Подвижной, розовощекий, бодрый Кашен, любимец парижских предместий и Французской коммунистической партии, весело и громко приветствуя нас, прошел по комнате и уселся в стороне.

Роллан ласково улыбнулся большим умным ртом. Он казался изможденным аскетом, проницательным мудрецом.

Его движения были изящны и четки, как у врожденного артиста. Я смотрела на его руки, руки музыканта, с худыми, гибкими пальцами. Они двигались, точно извлекая звуки из всего, к чему прикасались, даже из воздуха.

Как все неподдельно большие люди, он был прост и особенно скромен. Это тотчас же передалось каждому из нас. Все почувствовали себя как у давнишнего друга и заговорили свободно. Есть люди, которые своим присутствием, взглядом очищают души, поднимают их, пробуждая самые лучшие чувства и стремления.

Таким был Ромен Роллан, полный благожелательности и всепонимания.

Его глаза говорили: «Каков бы ты ни был в своих поступках, я верю и знаю, что ты хорош и можешь быть еще во много раз лучше».

Писатели рассказывали о себе и о своих творческих планах. Роллан внимательно слушал, иногда переспрашивая переводчика и задумываясь.

Мне казалось — и это, очевидно, в какой-то степени так и было, — что каждый из нас под пытливо-доброжелательным взглядом утомленных глаз Роллана открывал в себе лучшее и спешил поделиться этим. Велико моральное воздействие человека на человека.

Его очень интересовали и Маркс и Энгельс, о которых я писала. Он сказал мягко:

— Образ Фридриха Энгельса мне понятнее и ближе, нежели великого Карла Маркса, перед которым, однако, я тоже преклоняюсь.

Говоря о себе, своих творческих планах с необычайным воодушевлением, мы позабыли, что перед нами один из чудеснейших писателей века. Никто не спросил его даже, что он пишет. И это не было только эгоизмом каждого из нас, нет. Его подлинный, глубокий интерес, поразительное умение слушать и внутренне откликаться на мысль и стремления другого заставляли забывать, что перед нами старший, большой брат по профессии. Он скорее ощущался нами как отец, как учитель.

Когда мы кончили, заговорил Ромен Роллан. Голос его казался таким же глубоким и усталым, как и внимательные карие глаза.

Он слегка задыхался, но дикция оставалась четкой, отработанной. Он говорил, обращаясь к тем, кого называл «дорогими своими товарищами»:

— В ваших книгах я ищу правильного понимания слова «культура», ведь вы основные ее носители в народ, к людям.

Одни понимают под этим словом паличие галстука и

зубной щетки. Это неправильно. Другие определяют им возведение домов и метрополитена. Это очень важно, но гигиена и строительство только путь, база, подсобное хозяйство культуры.

Культура — это взаимоотношения людей. Это честность. Это бичевание и искоренение клеветы и лжи, это уничтожение сплетен и невежества, это чистка человеческой души, а не только быта. Это дружба и любовь в самом высоком смысле. И главное — это величие служения идее и людям. Я ищу их в ваших книгах. Вы призваны сделать людей лучшими, достойными высших целей эпохи, добра, мира.

Мне больше не пришлось видеть Роллана, сказавшего полные огромного смысла и значения слова. На всех этапах жизни я вспоминаю их, все глубже понимая.

Ромен Роллан говорил с нами в середине тридцатых годов. Прошло свыше тридцати лет, и история доказала, что новая, истинная культура и взаимоотношения людей, как это понимал Роллан, возможны только в странах, строящих социализм, где мечта становится действием, претворяется в жизнь.

Вспоминаются слова Писарева, часто повторяемые Владимиром Ильичем: «Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать... если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками,— тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни».

И Роллан, повторяя эту мысль, добавляет: «Надо, чтоб мечта была действием».

### ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

В 1923 году, осенью, со студенческой скамьи, пришла я работать в Госиздат редактором календарей. Впервые пришлось задуматься, как составляется страничка календарного листка.

Меня окружили авторы календарных строчек, люди особого склада. Старушка в салопе на лисьем меху приносила рецепты засола огурцов, помидоров и грибов. Она говорила меланхолично:

— Вместе со старым миром уходят секреты солений. Скоро некому будет писать об этом.

Дряхлый учитель писал, кто изобрел первую закрытую булавку. Он был чрезвычайно сведущ и знал множество курьезов из области истории и техники.

Тщательно подсчитав строчки крохотных статей, стихов, советов по домоводству, я относила их к редактору Гиза Дмитрию Фурманову. У него было несколько женственное, слегка румяное лицо, обрамленное превосходными вьющимися каштановыми волосами. Большие серые глаза смотрели строго, упрямо поджимались узкие губы. Он всегда носил защитного цвета гимнастерку и в зимнюю пору — большие ворсистые валенки.

Я часто видела, как Дмитрий доставал из портфеля и ставил на стол бутылку молока и круглую булочку, поясняя с грустной полуулыбкой:

— Вот, видите, воин питается молочком. Природа — хитрая, злая штучка — надсмеялась надо мной. Болен я, отекаю, а жить хочется.



Просмотрев календари, он часто заговаривал о литературе, проявляя большую осведомленность. Он очень любил стихи Блока и хорошо читал их наизусть. Однажды Фурманов признался, что пишет военный роман, именно так он определил свою книгу «Чапаев».

Как и у многих писателей, когда в них отстаивается, зреет новое произведение, у него была потребность говорить об этом. Будущая книга заполнила его, рвалась наружу, требовала словесного выражения, проверки. Фурманов говорил о своих героях, о Чапаеве, а затем, увлекшись, вспоминал империалистическую войну.

Он противопоставлял и сравнивал эпохи. 1916 год был в его рассказах особенно мрачен. Развал, предательство, взяточничество и мучения солдат царской армии все еще волновали его.

Мягкий тенор, несколько певучая, образная речь делали его рассказы навсегда запоминающимися.

Фурманов был умелый оратор. В этом я убеждалась снова и снова, вслушиваясь в его речи на партийных собраниях. Когда Дмитрий говорил, лицо его бледнело, исчезала женственная мягкость и крепко сжатый кулак, рассекающий воздух, воскрешал неизменно картины минувших боев, в которых он столько раз геройски сражался.

Однажды, читая календари и морщась над справками о том, как пересыпать нафталином ковры и портьеры, он сказал:

— Хорошо бы издать календарь «Ленин», с хронологическими датами и пояснениями истории пролетарской революции, партии и ее великого учителя.

Фурманов же посоветовал издавать календари бичующей советской сатиры. В них наши лучшие сатирики и юмористы уничтожали безжалостно бюрократов и нэпманов.

Дмитрий умел как никто не только рассказывать, но и слушать. Его внимание к рассказчику, неподдельный интерес, замечания тотчас же раскрывали сердца. В Госиздате к нему постоянно приходили со всеми сомнениями, за советом сотрудники и товарищи.

Зная, что четырнадцатилетней девочкой более года провела я на фронте, в Красной Армии, он выпрашивал

меня с особым интересом, как развивалось самосознание в этих необычных условиях, как складывалась жизнь.

Однажды он попросил дать ему на прочтение письма периода гражданской войны, сохранявшиеся у меня как священные реликвии. Я передала ему целую пачку писем. Одно из них после смерти Фурманова оказалось изданным в последнем томе его произведений. Оно называется «Письмо смертника». Этот удивительный душевный порыв коммуниста написан и прислан мне двадцатидвухлетним комиссаром одной из бригад 2-й Конной армии — Семеном Унтерслаком, убитым в бою через несколько часов после отправки письма.

Уйдя из Госиздата, я реже встречала Дмитрия Фурманова. В одну из последних встреч он принес мне своего «Чапаева». На заглавном листе красивым, четким почерком автора было написано:

«Галине. Главное:

Зоркость — орла.  
Сердце — льва.  
Воля — человека».

Великое горе соединяет людей более радости. Я видела плачущего Дмитрия Фурманова в дни, когда человечество потеряло своего лучшего из лучших сынов — Владимира Ильича Ленина. В эти незабываемо тяжелые дни мы плакали и молчали: слова казались такими маленькими по сравнению с нашей скорбью. Сгорбившийся Фурманов в шинели, с теплым шарфом на шее, краем которого он вытирал глаза, навсегда запечатлелся в моей памяти. Мы стояли ночью у костра на снежной улице Москвы, у Дома Союзов, ожидая момента последнего прощания.

## САКЕН СЕЙФУЛЛИН

Воздадим должное памяти замечательнейшего сына советского народа, выдающегося поэта, писателя, публициста, общественного деятеля, безупречного ленинца Сакена Сейфуллина.

Наша литература потеряла в нем одно из чудесных своих украшений. Ничего нет дороже человека на земле,

а особенно человека, приносящего пользу людям, работающего, творящего для них.

Мне посчастливилось знать Сакена, считать его своим другом.

Наше знакомство произошло в пору первой казахской Декады литературы и искусства в 1936 году в Москве. Из Союза писателей мне позвонил А. Фадеев и сообщил, что у него в кабинете находится редактор казахского перевода моей книги «Юность Маркса» Сакен Сейфуллин. В тот же день мы встретились.

Сакен передал мне напечатанную по-казахски в Алма-Ате мою книгу, ящик пунцовых сладких яблок и приглашение казахского правительства посетить далекий солнечный край. Сакен Сейфуллин, которому было тогда немногим более сорока лет, поразил меня своей мужественной, красивой внешностью. Он был очень высок и статен. Смуглое сильное лицо его часто меняло выражение. Особенно запомнились искрящиеся, умные черные глаза. Смотрел он прямо, честно, смело и походил на олицетворявших отвагу и волю воинов с древнеперсидских фресок.

Не меньше, нежели природной красоты, было в нем и человеческого обаяния. По-русски Сакен говорил даже чересчур грамматически правильно, отлично владел чисто литературными оборотами и часто цитировал многих выдающихся классических и современных поэтов.

Особенно вдохновенно и любовно рассказывал он мне о многообразии и красоте Казахстана. Незнакомый далекий край впервые полюбился мне, когда я слушала пылкий и красочный рассказ Сейфуллина.

Он страстно и самоотверженно любил свою родину и до мельчайших подробностей знал ее историю.

От него я услышала многое об Абае. Сакен не только близко знал свой народ, но и верил в его великое будущее.

Спустя несколько дней после первой встречи Сакен приехал ко мне на подмосковную дачу. И снова он звал меня в Казахстан и с увлечением рассказывал о том, как изменилась эта страна при советской власти.

О себе он говорил очень сдержанно. Это была скромность большого человека. Я уже знала, что передо мной один из самых замечательных людей Казахстана, основоположник казахской советской литературы, борец и коммунист.

Я сказала ему, что горжусь тем, что именно он редактировал книгу «Юность Маркса». Сейфуллин смутился.

— Это могли бы сделать не хуже меня и другие,— возразил он. — Вы знаете, как даровит наш народ, как богат он талантами во всех областях искусства и науки.

Сакен Сейфуллин назвал мне нескольких писателей, на которых возлагал большие надежды. Я услышала от него о Сабите Муканове, которого он называл своим другом.

Из короткого рассказа Сакена Сейфуллина о себе в эту вторую и последнюю нашу встречу мне запомнилось, что родился он в кочевом ауле Нильдинской волости (ныне Жанааркинский р-н) и с детства полюбил напевные стихи акынов.

— Одиннадцатилетним мальчиком услышал я в тысяча девятьсот пятом году речи русских революционеров. Я тогда плохо знал русский язык, и только переводчики донесли до меня смысл их слов. И, однако же, я был потрясен и запомнил их навсегда,— говорил Сакен.

В 1916 году он окончил учительскую семинарию и стал учителем. Но тотчас же после революции принялся за организацию Советов депутатов трудящихся и был избран комиссаром народного образования в Акмолинске, теперешнем Целинограде. Так, связав жизнь с большевиками, Сакен стал борцом.

Летом 1918 года Сакен Сейфуллин был арестован отрядом белого атамана Анненкова. Но и закованный в кандалы Сакен продолжал писать стихи. В январе, в сорокаградусные морозы, под конвоем анненковцы погнали Сакена и его товарищей в Петропавловск. Там они были помещены в «вагон смерти» и отправлены в Омск. Но Сакен выдержал пытки, и палачи ничего не добились.

Я уже знала от Фадеева, что стихи Сакен писал с юности и был широко известен на родине. С первых дней Октябрьской революции он посвятил ей свою лиру. Сейфуллин был не только талантливый писатель, но и человек большой души, честного сердца, настоящий ленинец.

Есть люди и встречи, которые не исчезают из нашей памяти никогда. Не раз за истекшие три с половиной десятилетия я вспоминала наши беседы с Сакеном Сейфуллиным.

Позже я ближе узнала Казахстан, этот замечательный богатый край, имела возможность познакомиться со многими казахами и поняла, как прав был Сакен, веря в

большое будущее своих соотечественников и своей страны.

Когда я ранним утром выходила из маленького саманного домика в Джамбуле, городе, где столько раз бывал и Сакен Сейфуллин, и любовалась порозовевшими от солнечных лучей вершинами гор и бескрайними фруктовыми садами в цвету, я снова вспоминала нежные и вдохновенные строки стихов Сакена Сейфуллина, которые он читал мне когда-то в Москве.

И нигде в мире не видела я ничего столь прекрасного и величественного, как горы Алатау.

Все в Казахстане грандиозно, необъятно и богато: плодородные земли и тучные стада, неисчерпаемые недра, бурные многоводные реки, поражающие красотой горы, и, главное, люди, щедро одаренные природой.

В Сакене Сейфуллине я видела как бы частичку Казахстана и поняла, что он был плоть от плоти своего народа и своей страны, один из лучших ее сынов.

Были и есть еще, к несчастью, попытки приуменьшить его роль, талант, заслуги перед советским обществом как несомненного зачинателя молодой советской литературы Казахстана.

Пытались даже, наперекор истории и безусловным фактам, доказывать, что Сакен не является родоначальником этой славной ветви всего нашего многонационального искусства. Я не забыла тридцатые годы и являюсь живым свидетелем обратного.

Мы глубоко чтим выдающийся творческий дар тех крупных писателей, которые жили и творили рядом с Сейфуллиным, знаем, что именно Сакен Сейфуллин открыл первую страницу истории советской казахской литературы.

## ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Бывают талантливые люди, которые, как цветы, красивы, броски, чарующи. А у иных клад их дарования, точно алмазы, прячется глубоко, и нет в них внешней притягательной силы.

Когда я впервые повстречала Павла Васильева на квартире своеобразного и вдумчивого критика Елены Усиевич, поэт мне не понравился. Не потому, что он был

нехорош собой. Наоборот. Тогда, с зоркостью, присущей первому впечатлению, заметила я и гармонично правильные, юношески чистые, строгие черты его лица, и темно-серые, слегка запавшие, яркие глаза с неожиданно озорным, жестким, недоверчивым и недобрым выражением. Так смотрят на мир беспризорные дети.

«Не легко, видно, дается ему жизнь, мается, плутает, серчает!» — подумала я, вспомнив рассказы о прошлом молодого сибирского поэта, с первых шагов в Москве приковавшего к себе внимание. О Васильеве много болтали в ту пору. Слыхала я, что рос он в Омске, в семье педагога, скитался, был матросом, хулиганил, пил, участвовал в какой-то сече, не все понял в нашей революции. Знала, что недавно вышел из-под следствия и в заключении, как Орфей под землей, пел стихи, пленив судей.

С виду чем-то неуловимым походил Васильев на Есенина и очень дорожил этим сходством. Но еще больше разнился он от великого рязанского самородка. В Есенине, каким я его знала, сохранялась почти детская непосредственность, и удаль его была не злой, а грусть — чистой, волнующей.

В Васильеве под тонкой оболочкой бурлили различные страсти, было нечто трагическое в его проказах и вспышках. Трудный это был человек и для себя самого, и для окружающих, как, впрочем, все недюжинные люди. Груз таланта не всегда легок, он немыслим без тяжелого труда, упорных поисков, неизбежных разочарований, ошибочных увлечений, способности печалиться и радоваться, и, главное, никогда не знать покоя...

В первый вечер нашего знакомства Павел Васильев почти не участвовал в общей беседе, а если вставлял слово, то задиристое, вызывающее. Но вот он начал читать свои стихи. И будто распались стены дома и ворвалась с гиком и песней былинная, стихийная, могучая матушка-Русь. Промчались сибирские казаки, легла под копытами коней рожь, упало и поднялось пылающее солнце. Павел Васильев перевоплотился. Холодные, шалые глаза его потеплели, волчий огонек в них погас.

Как всегда, когда человек соприкасается с настоящим талантом, с высоким, подлинным, а не мнимым искусством, он как бы сбрасывает с себя груз мелких чувств и суеты. Лица слушателей осветились вдохновенной мыслью, радостью. Редко упивалась и я столь превосходными стро-

фами: шолоховского масштаба и самобытности был перед нами чудодеем.

Васильев, худощавый, стройный, казался нам одним из тех, кто в далекой древности, в Элладе, заставил поверить в божественное происхождение поэзии. Напевность его стиха, сочность, новизна словесных оборотов, красочность пейзажей, буйная, богатырская эмоциональная сила полонили всех. Стало понятно, почему Горький прозрел в Васильеве большого и своеобразного поэта.

«Однако,— тревожилась я,— станет ли Васильев нашим единомышленником до конца, подымет ли до самых высоких идей эпохи, не сорвется ли? Нет, это человек сильный».

В душе поэта явственно боролись противоречивые устремления. Он болезненно искал в жизни и творчестве своих особых дорог, истины, не зная, однако, сама, какова же она, эта его жар-птица.

Но был он предельно честен в каждом слове, вырывающемся из сердца. Да и как могло быть иначе? Подлинно одаренный писатель и поэт никогда не лжет. Талант и правдивость неотделимы. Притворство и лицемерие мстят за себя. Они убивают душу творчества.

В начале тридцатых годов Павел Васильев нередко бывал у меня в доме. Держался он почти всегда ершисто, но за этой грубостью я вскоре усмотрела своего рода «защитную функцию». Поэт склонен был видеть в людях желание унижить его. Павел был очень вспыльчив и горд, но отнюдь не самонадеян. Он, как Байрон, то считал себя гением, то бездарностью и мучился этим, стремясь к все большему мастерству и не успокаиваясь. С нескрываемой жадностью вглядывался он в каждого внутренне интересного человека, рвался к знаниям. Напряженно морща переносицу, сводя русые брови, слушал споры о судьбах советской литературы, о текущем дне страны. Он читал самые разнообразные книги и как-то сказал, что любит превыше других писателей за русский язык Лескова и за сюжеты — Джека Лондона. От встречи к встрече мне казалось, что Васильев обретает внутреннее равновесие и смягчается сердцем.

В последний раз, после довольно долгого перерыва, судьба свела нас с Васильевым на небольшом литературном вечере, устроенном редактором газеты «Известия»,



старым большевиком и добрым другом писателей Иваном Михайловичем Гронским. Эти часы навсегда запали мне в память. Тогда же я снова встретила Валериана Владимировича Куйбышева. Никогда не казался мне этот прекрасный человек более веселым, бодрым, полным сил и важных планов...

Гронский подошел к нам и пригласил к ужину.

Но прежде чем пойти к столу, Куйбышев, дружески положив руку на плечо Васильева, попросил его прочесть стихи. Особенностью поэта было то, что он всегда читал их, не заставляя себя просить. И в этот раз он тотчас же начал несколько суховатым, негромким голосом свою «Песню»:

В черном небе волчья проседь,  
И пошел буран в бега,  
Будто кто с размаху косит  
И в стога гребет снега.

На косых путях мороза  
Ни огней, ни дыму нет,  
Только там, где шла береза,  
Остывает тонкий след.

Шла береза льда напиться,  
Гнула белое плечо.  
У тебя ж огонь еще:  
В темном золоте светлица,  
Синий свет в сенях толпится.  
Дышат шубы горячо.

Я взглянула на Куйбышева. Стихи его захватили, как музыка. Васильев прочел еще не одно свое произведение и, по просьбе Валериана Владимировича, закончил «Повествованием о реке Кульдже»:

Мы никогда не состаримся, никогда,  
Мы молоды, как один.  
О, как весела, молода вода,  
Толпящаяся у плотин!

Мы никогда  
Не состаримся,  
Никогда —  
Мы молоды до седины.  
Над этой страной,  
Над зарею встань.  
И взглядом пересеки  
Песчаный шелк — дорогую тканьь.  
Сколько веков седел Тянь-Шань  
И сколько веков пески?

— Хорошо! Лучше не напишешь! — тихо, с чувством сказал Валериан Владимирович, когда Васильев смолк. — Вот она, подлинно эпическая сила. Очень хорошо.

Павел Васильев обратился ко мне:

— Ну как, Галина, помните наши схватки? Кажется, ваша взяла? Нравятся ли вам мои стихи?

Ответ был в моем рукопожатии.

Нам, четверым, как-то не хотелось идти в соседнюю огромную комнату, где за столами шумели, пели, шутили собравшиеся писатели, артисты, редакторы. И никто из нас не предчувствовал тогда печального будущего Павла Васильева.

Он прожил всего двадцать шесть лет.

## СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Есенина привел к нам в дом в 1925 году наш частый гость, талантливый критик и редактор «Красной нови» Александр Константинович Воронский. В первый миг знакомства я усомнилась: неужели же это Есенин, которого в ранней юности я видела, зайдя как-то в Кафе поэтов на Тверской? Он был тогда красив, как олеографический Иван-царевич, надевший цилиндр, с волосами цвета ржаного поля и глазами, как голубые выюны. С той поры прошло всего пять лет, но как изменился Сергей Есенин. Поэт, пришедший к нам в квартиру в «Метрополе», тогда еще 2-м Доме Советов, был совсем другой человек, крайне изможденный, с лицом испитым, землистым, без возраста. Особенно тягостное впечатление произвела на меня его тощая шея, которую он пытался прикрыть белым кашне. Нарядный иноземный костюм только подчеркивал его чрезмерную худобу. Воронский как-то некстати заговорил о том, что у Есенина подозревают горловую чахотку, и шепнул мне о белой горячке.

Часам к девяти собралось у нас много гостей, и Есенин обратился ко мне сиплым, сорванным голосом с просьбой прочесть его стихи.

— Я уже не могу, — хрипло добавил он.

И Воронский, печально скривив большие добрые губы, мрачно и значительно пояснил всем, что это, видно,

из-за болезни гортани. Чувство жалости к Есенину нарастало во мне, и, желая доставить ему удовольствие, я прочла несколько его стихов, хотя была декламатором неважным и подражала самому Есенину, которого слышала однажды.

За ужином Есенин выпил немного, но сразу же сильно охмелел. Из молчаливого, подавленного человека он превратился в ухарски развеселого парня. Даже помолодел. Кто-то начал петь «Шумит ночной Марсель», ходовую песню тех лет, и Есенин принялся изображать апаша в «Притоне трех бродяг». Моя мать села за рояль, а поэт, нахлобучив кепку на голову и обернув шею кашне, начал танцевать. Мы были поражены тем, с каким искусством изобразил он парижского гамена. Есенин был очень музыкален, и танец его, вдохновенный, ритмичный, видится мне и сейчас. Поэт предстал перед нами как богато одаренный мим и актер. Он заворожил всех.

Потом мы слушали его рассказы о недавней поездке в Америку с Айседорой Дункан. С каким патриотическим пылом говорил он о том, сколь отвратительным показался ему Новый Свет. Он отдавал должное комфорту, который вошел в быт зажиточного американца, с горечью отмечал, что русская деревня все еще убога и даже иногда жалка по сравнению с фермерскими поселками за океаном, но духовная культура мелкого и крупного буржуа вызывала в нем омерзение. Он бежал прочь от бизнесменов, их запросов и дикости на родину, которую любил до боли. В этот вечер Есенин показался мне умным, сложным, надломленным и душевно неустroенным.

Несомненно, уже тогда больные мысли о самоубийстве, о неизбежной скорой смерти терзали его. Несколько раз он повторил в разговоре:

— Сколько еще мне осталось ходить по этой неспокойной, взбаламученной земле?

Долго не могла я отделаться от ощущения, что встретила со страдающим, запутавшимся человеком.

Виделись мы еще раза два. Ничего примечательного он не говорил, зябко покашливал. А когда я узнала о его смерти, вспомнила и не могла отринуть мысль об очень истощенной шее, сдвигающимся кадыком. Я пришла в Дом печати, к его гробу. Он лежал заgrimированный.

Нехорошо было придумано, что его дети, сын и дочь, поочередно читали над гробом стихи отца. Очевидно, из доброго чувства Мейерхольд, их отчим, придумал этот спектакль, но вышло наигранно, тягостно. Несколькоми годами позже я прочла, что трагически погибла также и Айседора Дункан, вторая жена Есенина. Ее удушила шаль, запутавшаяся в колесе автомобиля. Я вспомнила тогда, что в гробу поэта лежала телеграмма, в которой она выражала свою печаль.

Прославленную балерину-босоножку я видела на сцене Большого театра в пору ее любви к Есенину. Уже тогда это была тучная, немолодая женщина. Мне не понравился ее танец. Раздражали пыльные голые широкие пятки и раскачивающаяся большая грудь. Но когда в тридцатых годах я прочла книгу воспоминаний Дункан, она предстала иной, незаурядной, много передумавшей и переживавшей женщиной.

Однако Есенин не владел английским языком, а его жена — русским. Как эти люди узнавали мысли друг друга? Что их свело?

Мне рассказывал Воронский, что Есенин был по-детски тщеславен. Он говорил:

— А что, если я женюсь на дочери Шаляпина? Как это будет звучать — Шаляпина, Есенин?

Еще не видев свою будущую жену, Софью Андреевну, он повторял:

— Толстая, внучка Льва Николаевича, и Есенин. Это отлично!

Мои воспоминания о Есенине всегда печальны потому, что я повстречала поэта в самые последние месяцы его жизни. Несомненно, каждому самоубийству предшествует чудовищная душевная агония, более страшная, чем телесная. Мне довелось познакомиться с великим поэтом, когда он, тяжело больной, мучительно терзался мыслями о смерти. Он нес в себе трагедию.

## ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Дома, где мы жили, бывали у близких, значительных людей, будто немые свидетели нашей судьбы. Ничто не воскрешает столько воспоминаний, как местность, город, жилище. Когда бы ни оказывалась я в проезде Художест-

венного театра, с трепетом смотрю на здание, расположенное напротив прославленного МХАТа. В нем провела я немало хороших часов.

В тридцатые годы жили там писатели. Получил в нем квартиру и Эдуард Багрицкий, которого до той поры я знала лишь по его книгам, любила, как проникновенного, тончайшей души и ума, поэта.

В начале тридцатых годов, вернувшись из Лондона, с В. Луговским отправилась я к заболевшему Багрицкому. Был знойный летний вечер. Дверь открыл нам небритый, тучноватый, зеленовато-бледный человек в белой неподпоясанной косоворотке и шлепанцах на босу ногу. Я узнала Багрицкого. Он позвал нас в более чем скромно обставленную комнату, где стоял большой, густо населенный аквариум. Пододвинув табурет и сбросив туфлю, чтобы поджать ногу под себя, Эдуард Георгиевич сел и принялся говорить с нами о своих рыбах. Это был поэтический, увлеченный рассказ, пересыпанный юмором и грустью. Несколько раз он протяжно кашлял, меняясь еще более в лице. Астма терзала его беспощадно. Необычны на этом больном, опухшем лице были глаза, беспокойные, выразительные, мечтательные. Еще раньше, чем он согласился прочитывать нам новые стихи, я поняла, как сложна, ищуща, романтична была его душа. Недуг заковал его, стал клеткой, из которой некуда было вырваться. Мысленно весь в движении, Багрицкий не мог двигаться из-за убийственной одышки. Неестественно укороченный жизненный размах ощущался им как ничем не заслуженный приговор. Болезнь — страшная темница, из которой вырываются лишь героические натуры, такие, как Николай Островский. Я узнала ближе Багрицкого, поняла его трагедию: он знал, что обречен. Мир звал неуемного поэта, все было для него открыто, а тело оказалось в тисках неизлечимой хвори.

Все это до конца открылось мне, когда Багрицкий читал свои стихи. В первую нашу встречу это была «Смерть пионерки».

Огромным напряжением воли, выпрямившись и овладев голосом, он декламировал:

Нас водила молодость  
В сабельный поход,  
Нас бросала молодость  
На кронштадтский лед.

Боевые лошади  
Уносили нас.  
На широкой площади  
Убивали нас.

Поэма каждым словом ввинчивалась в мою память. Заговорила юность, рядом стоял побратим. Если б не постоянный страх проявить неубедительную экзальтацию, я обняла бы поэта. Чуткий, как струя воды, Багрицкий все понял. Мы не сказали друг другу ни одного ненужного слова, но позднее свиделись уже как друзья.

В Карманицком переулке, в моей квартире, в 1933 году, после окончания работы, Эдуард Багрицкий прочитал либретто оперы «Дума про Опанаса». Это была по-новому воссозданная, многокрасочная поэма, в основу которой автор положил за семь лет до этого написанное им произведение.

Каждая встреча с Багрицким, а было их всего несколько, усиливала мою к нему симпатию. Помимо выдающегося таланта, он привлекал меня недюжинностью своей личности, иногда хлестким, но честным юмором, мальчишеской прямоотой и тревожным ожиданием рока, каким казалась его болезнь. Мы старались забыть об этой неизбежности для столь молодого еще человека.

Последняя болезнь его была недолгой. В полночь В. Герасимова позвонила мне и сообщила, что от воспаления легких в больнице на Пироговской скончался Багрицкий. То была страшная весть. Сколь бы ни готовились мы к уходу дорогих нам людей, это всегда случается внезапно.

## БОРИС ПАСТЕРНАК

Старость — годы расставания. Мы горестно провожаем тех, кто был нам учителем, проводником по дебрям мыслей, светочем и примером, мы смиряемся с утратами сверстников, уходом своего поколения. Сбываются наши сроки, прокладывается впереди неизбежный последний путь. И острее, нужнее становятся воспоминания, этот тайный кладезь прошлого, раздвигающий круг нашего внутреннего мира. На склоне жизни дорожке случайно уцелевшее письмо, автограф, поблекшая фотография, ос-

колки минувшего — фетиши, омолаживающие нашу память и укрепляющие дух.

От прежних лет почти ничего вещественного у меня не сохранилось. Так сложилась моя жизнь. Но кое-что сберегли люди и отдали мне. Одной из таких реликвий стала книжка с размашистой надписью лиловыми чернилами:

«Галице Осиповне Серебряковой на добрую память.  
Б. Пастернак. 15. X. 27».

Сорок пять лет тому назад Борис Леонидович был в нашем доме частым гостем. В детстве он учился в классической гимназии, которую посещал в ту же пору и мой муж. Их разделяло два года и два класса. Пастернак был моложе, однако они часто проводили время вместе. Но не только это сблизило меня с Пастернаком. Он был другом Я. З. Черняка, человека особого склада и дарований, которого я очень ценила.

Знакомство мое с Пастернаком и его женой Евгенией произошло на квартире Черняка, в одном из приарбатских переулков. Поэт сразу же поразил меня своей мудростью и детскостью. Никогда не встречала я человека более непосредственного и отчужденного от мелочей быта, без малейшей, однако, позы и наигранности. Необычной показалась мне его внешность. Был он высокий и юношески складный, красивый, вопреки неправильным чертам лица, большим зубам, неровным скулам. Белый негр с тревожными, всевидящими глазами. Пастернак рассказал, что Марина Цветаева отмечала его сходство с арабом и с лошастью одновременно.

В первую встречу поэт читал нам отрывок из поэмы «Девятьсот пятый год», над которой работал, а Черняк подробно разбирал его стихи. Я стремилась понять и запомнить все, что слыхала в этот особенный вечер.

Яков Захарович Черняк был человек значительный, редкий эрудит, интеллигент в большом значении этого слова. Многие ныне именитые литераторы широко пользовались в молодости его советами, знаниями, критическим чутьем. Сам он чаще всего писал под псевдонимом А. Бони и был в течение многих лет ответственным секретарем у В. Полонского в превосходном журнале двадцатых годов «Печать и революция». Черняк был скромн,



придирчив к себе, легко впадал в апатию. Сам не создав ничего особо выдающегося, он в действительности являлся донором и щедро обогатил современную ему поэзию и прозу своим великодушием к другим талантам. Значение таких самоотверженных людей в литературе мало отмечено, а в действительности оно огромно.

Черняк фанатично любил русскую словесность и радовался, как личной удаче, становлению и признанию нового дарования. Не щадя себя, не жалея времени, он растил, оберегал, питал знаниями и мыслями литераторов, которые казались ему достойными украсить и возвеличить литературный цех. Об этом не раз в далекие, ушедшие годы и в последнюю встречу в 1959 году говорил мне и Пастернак.

В пестовании других Черняк находил смысл жизни и забывал о себе самом. Он, несомненно, мог бы сделать значительно больше в литературе, нежели успел. Все мы, к кому он относился дружески, эгоистически пользовались его готовностью делиться тем, что имел. Был в те годы еще один подобный человек, тоже без крупинки профессиональной зависти, терпеливый, благословлявший молодых писателей в нелегкий поход, — Ефим Зозуля, драматург и прозаик, один из редакторов Библиотеки «Огонька».

Перелистывая книжечку в мягкой обложке с автографом Пастернака, я стараюсь воскресить в памяти вечер, когда он пришел к нам домой, на улицу Грановского, и принес мне только что изданный «Девятьсот пятый год». Его сопровождал Черняк, и они, снимая пальто, все еще продолжали начатую на улице бурную беседу о поэзии и ее путях. Никто не мешал им громко спорить и дальше. Всем было интересно слушать обоих. Черняк излагал свои мысли последовательно, иллюстрируя примерами из истории литературы и жонглируя рифмами. Он вспоминал то Пушкина и Мюссе, то Баратынского, Верлена и многих иных. Никогда в его речах не было и тени дилетантизма, нахватанных, случайных знаний. Он все изучал досконально, как ученый, от корней до кроны. И одинаково исчерпывающе, интересно сообщал нам факты о долгой тяжбе между Некрасовым и Герценом из-за наследства первой жены Огарева — Марии Львовны, о судьбе дочери Достоевского, о новом архиве Виардо, письмах Н. Н. Пушкиной и жены Менделеева. Пастернак же гово-

рил увлеченно, интересно, но иногда нелепо, сбивчиво. Реакции его были неожиданными и требовали от других размышлений. Всегда он не просто отвечал на вопросы, а как бы творил, импровизировал ответы. Любил поэт шутку, но юмор его был тоньше и сложнее, чем тот, к которому мы привыкли.

Ни в одном поэте, кроме разве Есенина, не ощущалось так единство поэзии и музыки, как в Пастернаке. Всякий раз, когда он бывал у нас, мать моя или кто-нибудь из знакомых пианистов садились за рояль. Все мы упивались в те годы Калининковым, Мусоргским, Скрябиным. Бессмертная симфония трагически прожившего коротенькую жизнь Калининкова особенно нравилась тогда Пастернаку. Прослушав музыку, он без долгих просьб обычно читал свои новые стихи.

Черняк тотчас же принимался за их разбор и бывал в оценках иногда суров. Пастернак слушал его сначала без возражений, напряженно думая, взвешивая услышанное, а затем либо оспаривал, либо смело соглашался.

От Пастернака я услышала впервые о Роберте Браунинге, английском поэте девятнадцатого века. Пастернак восхищался его стихами, да и личностью этого необыкновенного, сложного человека. Было нечто родственное в двух поэтах, столь во многом разных, живших в разное время, в разных странах.

Чем больше я узнавала Пастернака, тем глубже понимала, как необычен был мир его мыслей, столь, однако, далекий от того, чем мы жили. Чувство отчужденности прочно овладело им. Он витал в атмосфере абстрактных идеалистических представлений. Многое мне открыл смех Пастернака. Я снова услышала его в 1959 году, когда провела с Борисом Леонидовичем на его даче в Переделкине несколько часов в сокровенной беседе. Мы не виделись до того более четверти века. Упрямые волосы поэта совершенно побелели. Три глубокие морщины пересекли крутой лоб. Слегка искривились крепкие губы. Сильно загоревшее лицо показалось мне скульптурнее, строже, чем в молодости. Но смех, ребяческий, прекрасный в своей искренности, остался тот же.

Мы говорили о его юности и годах, проведенных в 5-й классической гимназии.

— В тысяча девятьсот пятом году некоторые мои товарищи изучали Маркса и Энгельса и выступали как за-

правские теоретики-революционеры, а я зубрил нотопись и мечтал быть композитором. Да, я тогда увлекался фугой и хотел понять контрапункт,— сказал мне Борис Леонидович и продолжал развивать мысль о том, что не смог проникнуться глубоким интересом к законам построения общества и борьбе за социальные идеи и остался им чужд.

Биография Пастернака была богата творчеством, мыслями, тревожными исканиями формы и чувствованиями, добрыми порывами и жалостно бедна общественными событиями и переменами. Мир раскалывался, поднимались и падали, разбиваясь, крутые айсберги, в муках корчась, рождалась новь, а Пастернак, закрыв лицо ладонями, остался стоять в стороне. За состраданием и тщетным стремлением к подвижничеству и жертве он не увидел главного. Оплакивая погибших друзей, так и не высунул головы из шоколадного шара-виллы в Переделкине с веселыми грядами картофеля и клубники.

Я сказала ему все это. Мы долго беседовали о его последнем, мягко говоря, неудачном, скучном и глубоко огорчившем меня романе. Он спорил, не соглашался, но не обиделся. Это была особенно сильная черта характера Пастернака: не озлобляться, уважать право человека на свое мнение, даже неприятное, суровое. Он сам был беспощаден и неровен в оценке произведений, но признавал свободу спора и охотно выслушивал возражения, сдаваясь, если его убедили.

Меня крайне изумили и опечалили несколько оброненных им недобрых слов о творчестве Маяковского и Есенина, которых в двадцатые годы он пылко превозносил, часто декламируя у нас их стихи. С нежностью помянул он Цветаеву, о которой я некогда впервые услышала именно от Пастернака как о «гениальной даме под черной вуалью».

Мы вышли с Борисом Леонидовичем из его дома и сели подле кустов осыпающегося жасмина. Рядом со мной думал вслух человек замечательного таланта, по-своему искренне любящий свою Родину, желающий ей процветания и добра, но совершенно далекий от ее повседневных и суровых трудов и будней. Он возмущался былыми проявлениями несправедливости, кривды и готов был на любую пытку ради того, чтобы людям было хорошо, но при этом весьма смутно представлял себе, как побороть зло

мира и добиться счастья для истомленного человечества. Было что-то детское в его упрямом отталкивании от тех истин, которые уже стали неоспоримыми. По-прежнему осталась в нем ненасытимая жадность к музыке, свету, красоте. Он прочитал свои последние стихи, показал наброски новой пьесы о крепостном театре в канун отмены рабства в России.

Чем больше он говорил, тем яснее становилось мне, что гении — часто дети, а совсем маленькие дети истинно гениальны, так как в течение очень короткого срока постигают все на земле, научаются говорить, думать, действовать и продолжают стремиться к дальнейшему познанию окружающего мира.

На прощание Пастернак проводил меня до калитки, и мы остановились, глядя на бугор, высящийся напротив его переделкинского дома. Там было кладбище, и среди редких еще могил росли три высокие сосны. Я не знала, что поэт завещал похоронить себя под ними. Прошло всего несколько месяцев, и мы стояли над его свежевырытой могилой. Гроб был открыт. Мертвый Борис Пастернак лежал незабываемо величавый и красивый. Лицо его, потемневшее, как терракота, поражало чудной гармонией черт и совершенным спокойствием. Я вспоминала его молодым, порывистым, доверчивым. В ушах отчетливо и долго звучали строфы стихов, которые он читал нам, тоже молодым, в далекие, ушедшие годы.

Рушатся тысячелетние своды, одна цивилизация сменяет другую, образуются новые формы быта, культуры и взаимоотношений людей, а слово поэта остается живым, продолжает чаровать сердца. «*Verba volant, scripta manent*» — «Слова улетают, написанное остается».

## И С А А К   Б А Б Е Л Ь

В 1927 году я была в Париже. Поселилась в отеле на улице Бак, неподалеку от советского посольства.

Плюшем обитая мебель была там непоправимо пыльной, по обоям, с уродливыми гирляндами роз и попугаями, ползали клопы. Узкая улица пропускала мало света, но нравилась мне приметам истории, стариной. Напротив гостиницы высился древний дом с готической черепичной крышей, прорезанной окнами мансард. В одном

из них стоял вазон с алой геранью, и занавеску заменяли влажные извивающиеся на ветру дамские чулки, атласный лифчик и кружевная комбинация.

С упоением писала я в тот год книгу о женщинах первой революции французов и радовалась, что вокруг находила архитектурные памятники, помнившие Теруань де Мерикур и Клер Лакомб. Город воинственных санкюлотов был мне значительно интереснее, нежели современный Париж.

Часто ко мне приходили советские писатели, находившиеся, как и я, в творческой заграничной командировке. Льва Никулина мы прозвали парижанином. Он в совершенстве знал город и охотно уводил нас на окраины, показывал менее известные музеи, уговорил как-то поехать в Медон, Версаль и по реке Луаре, на берегах которой стоят прославленные замки.

Бабель, с которым я ранее не встречалась, изучил галльскую столицу и бойко говорил по-французски. Его значительно больше, чем исторические реликвии, предметы искусства, красоты природы, влекли к себе живые люди, и он, равнодушно отдав дань средневековью в музее Клюни, потребовал однажды, чтобы мы отправились в маленькую харчевню неподалеку от городского морга. Там собирались люди разных профессий и велись гулкие споры о жизни и политике. Он изучил наиболее примечательные кабачки, бистро, кафе и говорил остро и необычно об их постоянных посетителях. Однажды Бабель заставил нас троих — Всеволода Иванова, Никулина и меня — просидеть всю ночь в рабочем ресторанчике подле круглосуточно работающего автозавода Рено. Эта ночь познакомила нас с подлинными французами, для которых фешенебельные улицы их столицы так же были чужды, как неведомым оставался иностранцам своеобразный заводской рабочий клуб.

Ненасытный интерес Исаака Эммануиловича к людям, жажда наблюдений за ними были поразительны. Его шустрые, то смеющиеся, то скорбные глаза, казавшиеся под стеклами очков дальнозоркими, а не близорукими, как бы «ввинчивались» в лицо нового знакомого. Чем молчаливее Бабель становился, тем напряженнее вбирал он в себя окружающее. Холодный, требовательный, аналитический писатель-психолог укрощал и побеждал в Бабеле пылкого журналиста. В Никулине же в те годы гейзером

вырывался наружу и обжигал читателя неумный публицист.

В творчестве Бабель был медлителен, упорен, как голландский гранильщик алмазов, в повседневной жизни — неусидчив, жаден до новых впечатлений, реактивен. Страсть к новизне и необычному преследовала его постоянно. Любил Бабель детей, играя с ними, сам превращался в проказливого школяра. И не только с детьми тешил себя он шуткой. Однажды, уже в Москве, он пришел к нам прямо с вокзала по возвращении из Парижа. Его нарядный костюм был испорчен и модные ботинки прохудились.

— Не удивляйтесь, — сказал он, — на границе, вместо того чтобы ехать сюда, я вылез и пошел по непролазной грязи по улицам Шепетовки. Мне хотелось посмотреть, как живут там люди. Моя парижская шляпа, патефон и сиплый голосок мадам Мистингетт, поющей с пластинки, произвели на жителей этого местечка огромное впечатление. Не скажу, чтобы я провел в Шепетовке дни с комфортом. Но спать на русской печке, складываясь, как перочинный ножик, вдвое, вовсе не так уж плохо. Правда, я не похож более на парижского денди, но зато у меня появилось много искренних друзей в славном городе Шепетовке.

У Бабея было запоминающееся нервное лицо с гладким выпуклым лбом. Встречая незнакомого мне человека, я ловлю себя на том, что подолгу разглядываю его уши. Английские и русские писатели придавали особое значение форме рта, французы мастерски описывают нос и глаза, а вот уши запечатлел, как нечто особо характерное, только Толстой.

Есть уши, вызывающие в памяти листья, лепестки цветов, жемчужины, но бывает, что они торчат зловеще, настораживают, предупреждают о вырождении и пороках. Уши Бабея поражали благородным рисунком и казались мне похожими на свернувшуюся улитку. Я как-то сказала ему об этом, когда мы размышляли вслух о наиболее убедительных приемах описания человеческой внешности.

В 1928 году Бабель прочел у нас дома, на улице Грановского, где мы тогда жили, свою пьесу «Закат». Были на чтении А. Фадеев и Б. Ермилов. Мы с увлечением слушали превосходные диалоги и предрекали Бабелю зна-

чительный драматургический успех. Вскоре «Закат» был поставлен в МХАТе 2-м. И произошло то, чего никто из друзей Бабеля не ожидал. Пьеса провалилась, зритель ее не принял. Мы вернулись домой, будто после похорон. Кто-то, пытаясь утешить несчастливого автора, вспомнил неудачу Бизе, освистанного на первом спектакле «Кармен». Осунувшийся, подавленный Исаак Эммануилович оборвал попытку вернуть ему спокойствие:

— «Закат» — это, очевидно, повесть, а не театральное действие, а у театра свои суровые законы. Я их пока не усвоил. То, что волнует на страницах книги, вызывает, оказывается, подчас всего лишь скуку в зрительном зале. Шекспир не писал прозы, и не всякий прозаик — драматург. Разные жанры. Если у тебя тенор, не споешь партию баса.

У Бабеля было поистине волшебное воображение. Он видел и слышал то, что не схватывали другие, и стал оригинальнейшим писателем.

В середине двадцатых годов я познакомилась еще с одним человеком, который, глядя на облако, мог убедить других, что это остров с куполами храмов и толпами людей, точь-в-точь как в «Сказке о царе Салтане», и, указывая на чернильное пятно, замечал в нем профиль бизона. Это был Сергей Образцов, тогда еще актер МХАТа, молодой, вдохновенный чародей. Он приходил к нам с несколькими куклами, одна из которых была двойником Феликса Кона. Но самым удивительным казалась мне его колыбельная, когда с помощью кисти руки он создавал совершенную иллюзию убаюкиваемого песней ребенка. Талант молодого Образцова бил ключом, и все предвидели его блестящее артистическое будущее. Сам он был скромн, неожиданно застенчив...

Образцов являл собой не только отличного актера, музыканта, но и художника в самом широком смысле слова. Он, как и Бабель, избрав в те годы в искусстве миниатюру, оттачивал ее до высшего художественного совершенства и постоянно искал нового выражения для задуманных сценических новелл. В Бабеле, Горбатове, Образцове проявлялись во всем человечность и гражданское мужество. Когда я попала в беду, Сергей Образцов, один из весьма немногих, откликнулся на мой горестный призыв и прислал мне на Крайний Север свою книгу.



В декабре 1929 года мне пришлось надолго уехать в Англию. В нашей квартире, в приарбатском Карманицком переулке, поселился на время нашего отсутствия Бабель. Эпистолярным жанром он владел мастерски и присылал нам в Лондон остроумные новеллы — увлекательные отчеты о различных событиях, действительных либо вымышленных. К сожалению, его письма не сохранились...

После нашего возвращения Бабель еще с месяц жил у нас, и я смогла узнать его ближе в быту, где человек подчас открывается по-иному.

Воля Бабеля казалась мне спастической. Он легко впадал в хандру, сменявшуюся затем подъемом и повышенной энергией. Ел он очень мало, но в течение дня выпивал несметное количество чашек крепчайшего кофе, утверждая, что иначе не может работать и быть оптимистом. Более скрупулезного, придирчивого к себе писателя я не встречала. Как герой бальзаковского «Неведомого шедевра», в поисках совершенства он мог править и переделывать свои миниатюры до тех пор, пока на бумаге вообще не оставалось ничего различимого. Изменения его настроения удивляли меня. Амплитуда колебаний была велика, и я видела его то желчным и раздражительным, то подкупающе веселым, обаятельно чутким. Но всегда он был отзывчив к беде другого и благожелателен к собрату по перу.

Странность его натуры открылась мне, когда мы отправились на бега. Бабель дружил со многими жокеями и любил лошадей, о которых рассказывал, как о людях, обстоятельно разбирая их нрав, капризы и особенности экстерьера. Когда бега начались, Бабель позабыл обо всем, и казалось, понесся сам верхом к финишу. Он не скрывал, сколь азартен и горяч. Проигрывая, Бабель ставил опять и неистово радовался, когда ему сопутствовала удача. Глядя на него, я думала о многообразии и бездонности человеческой души.

Мы часто и подолгу говорили с талантливейшим новеллистом об искусстве и технике нашей профессии, но следовать его советам я не могла, так как хотела рисовать большие полотна, а филигранная отточенность каждой фразы казалась мне тормозящей рвущуюся вперед мысль.

Все мы, пишущие, хотели осмыслить, что такое социалистический реализм.

У Бальзака есть волнующие строчки.

«Бороться — значит жить. Пусть борьба приносит горе, пусть она ранит, — все лучше, чем беспросветный мрак отращения, яд презрительной замкнутости, холод тех, кто отрекся от борьбы, чем смерть сердца, которая зовется равнодушием».

Для меня в словах «социалистический реализм» с тех дней, когда о нем говорил нам Горький, всегда слышится звук боевой трубы. Новые социальные отношения, общественный строй создают новые характеры, обстоятельства, среду. И все это дается не легко, а в сражениях. Пусть это иногда только противоборство в душе человека, его сложнейшие столкновения с самим собой, а не с другими. Широко понятие «борьба», и упрощать его не надо.

Все лучшие писатели мира были борцами.

В 1936 году мы свиделись с Бабелем в последний раз в загородном доме Горького. Пока Алексей Максимович отдыхал, мы гуляли по парку и вспоминали Маяковского.

— Это был величайший лирик, который надорвал сердце трубным звуком, — утверждал Бабель. — Вся его жизнь сложилась не так и раздавила его. Ему бы петь соловьем, а не греметь барабаном.

Естественно, что такая оценка творчества Маяковского меня крайне удивила. Что значит «вся его жизнь сложилась не так»? В этих словах ощущалось какое-то странное для меня непонимание того, чем прежде всего дорог и велик для нас Маяковский.

В тот же день за чайным столом, по просьбе Горького, Бабель рассказывал, веселя всех, подробности своей репортерской службы, когда писал только о пожарах.

— Преотличнейшая школа для литератора — пожары, — улыбаясь в усы, заметил Горький, с нескрываемой нежностью поглядев на своего любимого ученика.

Прошло много лет. Задумываясь нередко над прожитой жизнью, такой противоречивой, ухабистой, странной, то бросающей меня кверху, то низвергающей с кручи вниз, я вижу вереницу людей. Одних хотелось бы мне забыть, как скверное убийственное сновидение, других

беречь в памяти, как укрепляющее волю воспоминание. Что было бы с нами без чьих-то добрых, сильных рук, мудрых слов, отважной защиты и убежденного доверия? О них, о лучших и справедливейших, хочется мне писать.

Не чад, а освежающий ветер, не склизь, а сочная плодоносящая горсть земли, не сточная вода, а струя искрящегося водопада обещают нам счастье.

И я отвечаю тем, кто корит меня в отборе для своих новелл исключительно только положительных натур, — да, это так! Ими, хорошими, самоотверженными, борющимися, прокладывается будущее мира. Самим фактом своего существования свидетельствуют они возможность совершенствования разума и совести. Все тропы культуры и мысли прокладывают лучшие из людей. Они — головной отряд прогресса, и общение с ними необходимо, как кислород.

## АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Летом 1921 года я возвращалась из Киева в Харьков, чтобы ехать дальше в Москву учиться. Расписаний поездов не существовало, жесткие вагоны, намеченные к отправлению, стояли на вокзале, битком набитые людьми. Взобравшись на верхнюю полку и свесившись, я жадно принялась рассматривать своих спутников. Все в эти счастливые годы казалось мне чрезвычайно интересным, особенно люди. На нижней скамье сидели в вышитых рубашках три молодых парубка, разговаривавших на мягком, напевном украинском языке. Один из них привлек мое внимание проникновенным взглядом умных, глубоких глаз. Когда к ночи поезд тронулся, пассажиры запели народные песни «Распрягайте, хлопцы, коней», «Реве тай стогне Днипр широкий», и с особенным воодушевлением присоединился к хору все тот же юноша. На другой день мы все перезнакомились. Молодого человека звали Александр Довженко. Он оказался увлеченным фантазером, сказочником и заставил нас слушать свои импровизации, в которых отчетливо сказывалась страстная любовь к Украине, ее народу, поверьям, эпосу. Значительным было, что Довженко почти не обращался к творчеству других, а придумывал с легкостью сам

сюжеты историй и небылиц, которыми захватил и наше воображение.

Мы ехали более двух суток и под конец как бы признали верховенство Довженко, мобилизовавшего всех для творчества. Мы соревновались, как могли, и, вероятно, часто наивно и несмело, в сочинительстве устных рассказов и юмористических эскизов. Это было необычайное и замечательное путешествие.

В Харькове я виделась с Александром Петровичем часто. Он был сложным, острым на язык и смелым человеком, еще не определившим окончательно своего пути. Я тогда была убеждена, что он решил стать писателем. О кино мне ничего не было известно. Резко выраженная черта — самобытность — проявлялась в молодом Довженко на каждом шагу. Однажды компанией мы гуляли по парку. Расцвели пионы, лилии и розы. Стихи любимых поэтов отвечали нашему нетерпению, избытку сил и неудовлетворенности, столь ощутимой в юности. Читали наизусть Бальмонта, Блока, Брюсова. Кто-то, указывая на лилии, сказал:

Я не верю в неприступность  
Недоступных белых лилий.

Вдруг молчавший и насмешливо посматривающий на нас Довженко поразил всех превосходным исполнением «Левого марша» Маяковского.

Во всем, что говорил, делал Александр Довженко, всегда проявлялась недюжинность и внутренняя сила самородка, таланта. Так еще не отшлифованный алмаз резко отличается от самого лучшего граненого стекла.

Спустя много лет в Париже к нам в гостиницу пришел Довженко с своей красавицей женой, киноактрисой Юлией Солнцевой. Мы провели несколько часов в беседе об искусстве. Я восхищалась фильмом «Земля» — этой удивительной поэмой о жизни, напоминавшей мне любимые страницы Толстого, Гамсуна, Лоренса.

Довженко поседел, под глазами пролегли морщины, но такая творческая сила исходила от этого человека, что ее хватило бы на несколько жизней. Приятно было видеть, как пылко, безгранично любит он жену. Цельность Довженко проявлялась во всем: в чувстве, стремлении и деле.

Евгений Викторович Тарле был человек изысканных манер, в котором приятно соединялись простота с повышенным чувством собственного достоинства, утонченная вежливость с умением, однако, ответить ударом на удар. Мягкий голос, уши, руки, многознающие, чуть насмешливые глаза, круглая лысеющая голова средневекового кардинала, собранность движений, легкость походки — все это было не как у других, все это было особым. В совершенстве владел Тарле искусством разговора. Его можно было слушать часами. Ирония вплеталась в его речи, удивлявшие неисчерпаемыми знаниями. Франция была ему знакома, как дом, в котором он, казалось, прожил всю жизнь. Он безукоризненно владел французским языком и, будто отдыхая, прохаживался по всем вехам истории галлов, но особенно любил восемнадцатый и девятнадцатый века этой стремительной в своих порывах страны.

Тарле рассказывал о колыбели Парижа — Лютеции — так, точно был свидетелем ее расцвета и падения. Эпохи первой буржуазной французской революции, Наполеона и дальнейших социальных ураганов увлекали его с большой силой. Кто бы из борцов по обе стороны баррикад ни назывался, Евгений Викторович давал ему исчерпывающую характеристику, и так же полно знал он все, что относилось к искусству и литературе страны неугасающих бунтарских взрывов двух прошлых столетий.

Наше знакомство с Тарле произошло после выхода моей книги «Женщины эпохи французской революции». С ним неоднократно советовалась я о том, как писать «Юность Маркса». Он прочел роман в рукописи и высказал много неоценимо важных замечаний, которые я попыталась все использовать в книге. Не только Франция, но и вся Европа была ведома Тарле.

Одно из нескольких весьма характерных писем ко мне Е. В. Тарле сохранилось. В нем академик как бы продолжает начатую беседу:

«Москва, Кропоткинская набережная, 3. Дом ученых.  
10. IX. 1933.

Прочел я, глубокоуважаемая Галина Осиповна, данный мне оттиск. И продолжение не уступает началу. Буршикозность Маркса и его антураж очень выпукло

даны. Усмотрел я, что бедного Стока и др. уже начинают наказывать. Что ж с ними будет дальше?! Кстати: плетей не было почти вовсе в Германии,— и орудием были 1) розги (Rutten), 2) Ochsenriem (анг. bulle'spizzle), т. е. длинный и тонкий ременный хлыст. Когда будет отдельное издание — исправьте. Еще (из мелочей): Маркс подавал свои ученические работы очень разборчиво переписанными, их иначе не принимали бы ни в коем случае, это требовалось как *conditio sine qua non*<sup>1</sup>.

Его почерк в позднейших рукописях ничего общего не имеет с подававшейся учителям перепиской.

Но все это мелочи и пустяки, на которые никто не обратит внимания и не заметит (да и я о них пишу, только чтобы доказать Вам, как внимательно Вас читаю).

Выведете ли вы Арнольда Руге? Брюзгу, жюльверновского ученого, чудака? (О нем — у Герцена кое-что есть.) Так хотелось бы, чтобы где-нибудь они с Марксом посидели в Кнеире и покурили (Маркс уже тогда любил сигары, а не традиционные трубки).

А когда будете писать о процессе в Париже,— хотелось бы, чтобы именно Ваше тонкое перышко дало бы нам (Вы это умеете в 15 строках делать) суетливого короля тогдашней (начинавшейся) желтой прессы Эмиля Жирардена (убийцу на дуэли Армона Карелля), которого сторонилась порядочная журналистика, но который преуспевал и не замечал этого. Он очень суетился около процесса, шнырял в зале суда etc. Юркий, извивающийся глист с вороватыми глазками, большая тогдашняя знаменитость. Без него будет неполно. Сердечный Вам привет.

Преданный Вам *Е. Тарле*.

Р. S. Если могу быть Вам полезен,— дайте знать».

Евгений Викторович был широкообразованный человек, и общение с ним обогащало. Сам отлично владевший пером, он создал несколько исторических произведений, которые читаются неотрывно, как увлекательнейшие романы.

---

<sup>1</sup> Непременное условие (*лат.*),

С одинаковым блеском характеризовал он Талейрапа, Дизраэли, Александра I или Меттерниха и однажды с такими подробностями и художественным мастерством рассказал нам о Венском конгрессе 1815 года, что и поныне я как бы вижу парад прекраснейших женщин и королей на этом съезде победителей Наполеона, вбивших гвоздь в гроб его славы и побед. Хитросплетения политических кулис, деляческий торг новой буржуазии, ослепительные и зловещие балы на кургане французской революции — все это передал Тарле так талантливо, как умел только он один. И с не меньшим проникновением в глубины истории рассуждал он о молодом Марксе и «Союзе коммунистов». Велик и неожидан был диапазон интересов и сведений Тарле.

Одним из ученых, которого Евгений Викторович называл своим учеником, высоко ценя его оригинальные открытия в истории французской революции, был Григорий Самойлович Фридлянд, в первой половине тридцатых годов декан исторического факультета МГУ.

С Фридляндом я встретилась впервые в Лондоне во время одного из всемирных конгрессов историков. Это был шершавого, своеобразного характера, прямолинейный, иногда резкий в оценках, воинствующий в области науки человек. Рослый, физически сильный, широкоплечий, с узким лицом и продолговатыми близорукими глазами, испытующе смотрящими из-под очков, Фридлянд был острым полемистом и хорошим лектором, смело отстаивавшим свои взгляды и научные теории. Он отнюдь не стал только кабинетным исследователем и ученым и всю свою жизнь оставался борцом в каждом трудном деле, за которое брался.

Как и с Тарле, знакомство, а затем дружба моя с Фридляндом основывалась на том, что я работала в художественной литературе над историческим романом и начала путь беллетриста с книги «Женщины эпохи французской революции», тема которой была столь близка обоим этим ученым.

Многократно Евгений Викторович приходил к нам домой вместе с Фридляндом, и легко было заметить их добрые отношения и взаимное доверие. Тарле умел держаться с молодыми людьми на равной ноге, не снижая себя при этом.



За чашкой чая велись споры об историческом романе и его значении в воспитании нового человека.

Мне слышатся голоса ушедших из жизни двух ярких, сильных людей.

Фридлянд говорил с резкими интонациями горячо убежденного человека, готового сразу же броситься в бой. Он был задирист, смел, страстен.

— Исторический роман во все времена был огромной остроты орудием классовых сражений и политического воспитания народа. Я убежден, что историческая тематика освещает все затаенные углы человеческой психики. Писатель, работающий на этом ответственном участке литературы, находится не в обозе, как думают тупицы, а на аванпосту.

У Тарле был всегда спокойный, приятный и как бы улыбающийся голос.

— Где, думается вам, проложена демаркационная линия между историческим и злободневным романом? — спросил он как-то. — Повествование о тысяча девятьсот семнадцатом годе или гражданской войне к чему прикажете отнести — к исторической или современной теме?

— Извольте, Евгений Викторович, я вам отвечу, опираясь на блестящие высказывания Белинского. Он считал исторический роман одной из форм эпоса и приводил в пример Вальтера Скотта. «Может быть, — писал Белинский, — некогда история сделается художественным произведением и сменит роман». Так-то. А Гервинус назвал историю мыслящей поэзией. Преотлично сказано.

— Не все ясно, не все. Бывает, что художественная литература подменяет блестяще историю, — ответил Тарле. — Мы, историки, не раз уясняли себе многое благодаря писателям. Тот же почтеннейший Вальтер Скотт оказал большую помощь ученым. Ведь его роман о борьбе саксов и норманнов послужил ключом для крупнейших исследований девятнадцатого века. Художник сослужил немалую службу науке.

— Этот случай не единичен, — подхватил Фридлянд. — Но проведем, однако, грань между историком, который изучает, что было, и автором художественного романа, который воссоздает картины того, как было. Пока мы бедны хорошей исторической прозой. Не подлежит сомнению, что мы живем в эпоху «предыстории» исторической науки. Маркс говорил о предыстории всего человечества.

Подлинная история начинается после утверждения бесклассового общества. Это же относится к исторической науке.

— Не оспариваю. Тешу себя мыслью, что мы уже на пороге. Ждать остается недолго,— мягко добавил Тарле и продолжал: — Но не будем забывать главного: жанр исторического либо историко-биографического романа глубоко оптимистичен. Как бы ни была велика трагедия изображенного в нем прошлого, она дает нам в финале воодушевляющие перспективы наступающего вслед за тем будущего. К примеру, Маркс физически не смог дожить до осуществления въяве гигантской науки, которую заложил, но она должна была победить и победила. То же обессмертило Коперника, Галилея. Нам выпадает честь подводить итоги.

Я спросила Евгения Викторовича, какие исторические романы XIX века кажутся ему лучшими.

— «Боги жаждут» и «Девяносто третий год»,— ответил он не задумываясь.

Фридлянд, согласившись с ним, сказал:

— Франс выступает в своем творении в роли современника в оценке прошлого, а Гюго — в роли историка, но оба сумели изобразить героину эпохи в строго индивидуальных образах.

Фридлянд глубоко чтит Михаила Николаевича Покровского как своего учителя и одного из крупнейших русских историков, не свободного, по его мнению, от ошибок, но сумевшего обнаружить, понять и изжить их.

— Покровский совмещал умище и знания колоссальные,— часто повторял Фридлянд, и его нервное, легко покрывающееся румянцем гнева, напряжения или нежданной радости лицо меняло выражение и добрело. Смерть Покровского была невосполнимой потерей для многих, и Фридлянд считал русскую историческую науку осиротевшей. — Не всякому, как Михаилу Николаевичу, повезло так много перенять для науки у Ленина, общаться с ним, углубляя при этом мысль, постигая сложность диалектики и законов историзма.

Встречи с Тарле были всегда праздниками для меня, душевным и умственным фильтром. Его ошеломляющая эрудиция, превосходное внутреннее и внешнее воспита-

ние заставляли подтягиваться, проверять свой собственный умственный багаж и цели. Настоящий человек, значительный в любом деле, как бы излучает свет высокого накала. Он бывает совсем прост и скромен — это и есть высшая форма человечности, так же как и отсутствие предвзятости и обязывающая доброжелательность. С ним приходит ощущение покоя. Тарле никогда не «подавал себя» и строго соблюдал законы взаимоотношения людей и старался поделиться с ними щедротами своего интеллекта и сердца. Трудно перечислить те ценности познания, которые давал окружающим Евгений Викторович, сам того не подозревая, мышлением вслух, поведением, советами и вниманием к работе другого.

Отношения мои с Фридляндом строились иначе, на основах равенства и товарищества. Мы стали единомышленниками в понимании новых форм историко-биографической беллетристики, воспроизведении людей из народа и гениев художественными средствами. Фридлянд помогал мне в повседневном труде над «Юностью Маркса» и отражал нападки, которые, подобно колючкам, цепляются за подол молодых, начинающих писателей.

Покровский, Тарле и Фридлянд превосходно знали эпоху первой буржуазной революции французов. Фридлянд написал важные исследовательские книги биографии Дантона и Марата, принятые с большой похвалой передовыми историками у нас и за рубежом. Его хваткое, боевое перо, пронзительную иронию превосходно дополнял разрушительный и вместе создающий метод исторического материализма, и совсем по-новому виделись читателю события, время и люди. Для меня Фридлянд как историк непререкаемо убедителен.

Особой удачей моей творческой судьбы было то, что когда некоторые критики объявили «Женщин эпохи французской революции» плохой книгой, хотели ее уничтожить, три маститых историка взяли мой труд под свою защиту. А. М. Горький решил спор тем, что включил «Женщин эпохи французской революции» в план издания «Академии». Редко, однако, выпадает писателю легкая доля. «Юность Маркса» поначалу была встречена глухим молчанием и затем зоологической злобой. Только единое мнение читателя, поддержка историков,

а затем обширные статьи Е. Книпович и других принесли произведению признание.

Войны не всегда оглашаются грохотом артиллерии, освещаются огнем пожарищ и грозят скоропалительной смертью. Бывают и малые, невидимые и убийственные сражения во имя идеи. Инакомыслие творило каверзу, клевету, ложь, преступления либо создавало святых и героев.

Так было. Но в области мышления и творчества остались надолго противоречия и противоборства.

Фридлянд был бешено непримиримым, если касались священных для него идей и представлений в науке. Таким должен быть каждый ученый.

В маленькой его комнате в старинном каменном уютном доме негде было повернуться. Книги вытеснили человека, они не умещались на полках до потолка, лежали на столах, диване и просто на полу. Только их хозяин мог разобраться в этом нагромождении запечатленных в печати мыслей, описаний, великих или ничемных дерзаний. Но Фридлянд, взъерошенный, близорукий, большой, коренастый, чувствовал себя отлично в этом неом и блестящем окружении. Он то влезал на лесенку за каким-либо манускриптом, пригибаясь, чтобы не разбить очки о потолок, то опускался на колени, открывая какое-либо сокровище.

Нет выше и благороднее страсти, нежели страсть книголюба, вечного странника, искателя и открывателя. Не счесть произведений человеческого ума и воли. Шедевры и ничтожества, плод вдохновенного взрыва либо многолетнего мучительного, изнашивающего напряжения, они — сгусток жизни, часто давно исчезнувшей. Попадая в книгохранилище, я всегда с глубоким почтением и болью, как на кладбище, склоняюсь к стелам-переплетам и мысленно земно кланяюсь их творцам. Они вложили лучшее, что имели, в эти страницы, надеясь, быть может, обрести бессмертие. Что ж, некоторые — не многие — нашли его, но большинство забыто. Честь им всем!

Книголюбы приходят на землю, чтобы воскресить незаслуженно схороненное и продлить бытие различным творениям. Их миссия полна человеколюбия, добра и заботы о тех, кто навсегда отзвучал, и о тех, кто будет

жить в своих трудах. Археологи душ и мыслей — библиофилы! Одним из них родился историк Фридлянд. В Москве, Париже, Лондоне он постоянно посещал букинистические лавки, считая день, когда не приобрел книгу, потерянным. И мир для него бесконечно расширялся вглубь и вширь. Он приучил и меня к собирательству, и я отдыхала, шаря голодными глазами по каталогам и шкафам книжных магазинов. Так нашла я еще один источник удовольствия. Собирать книги начала с древних авторов, и вместе с Плутархом, Светонием, Тацитом, поэтами и писателями древней Эллады и Рима в мой дом вошли певцы Средней Азии, северных саг и русских былин.

Но я не могла соревноваться с Фридляндом. Его библиотека стала уникальной. Однажды мы оба похвалились своими богатствами перед Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, непревзойденным знатоком книги. Сам он в это время собирал произведения, посвященные масонам, религиозным сектам, инквизиции. Я подарила ему брошюру «Масон без маски» — злой выпад, разоблачение помещика, ушедшего из ложи каменщиков.

Беседы о книгах и их авторах иногда заполняли нам целый вечер. Тарле, впрочем, предпочитал этим, как он шутил, «радениям книгоманов» остроумный спор и раздумья.

— Историки и авторы исторических романов — частенько две враждебные стихии, не правда ли? Суховей и летний дождь, например, — начинал он. — Один педант от исторической науки возмущался Вальтером Скоттом, обвиняя его в невежестве, и готов был распять за неточность описания погоды в «Айвенго». А Белинский говорил, что исторический роман Скотта в отношении к нравам, обычаям, колориту и духу известной страны в известную эпоху достовернее всякой истории. Белинский, по-моему, прав.

Однажды мы заспорили о понравившихся мне книгах Стефана Цвейга «Жозеф Фуше» и «Мария-Антуанетта». Я восхищалась стилистическим фейерверком замечательного австрийского писателя, но Фридлянд опрокинул на меня ушат ледяной воды, а Тарле, посмеиваясь, поддерживал его.

— Неужели вам не ясно, — багровея и повышая голос, ярился Фридлянд, — что творчество Цвейга, пусть

большого мастера слова и образа, пытается угодить мещанству? Цвейг смачно выводит среднего человека, который плюет на все революции, страдания и ненавидит потрясения, мешающие его уютному, жвачному существованию. «Какая мне разница,— думает такой человек,— была ли Мария-Антуанетта контрреволюционеркой или нет, виновата ли королева перед народом, главное, что она царственно красива, соблазнительна, так зачем же ее казнили?» Средний человек — жертва мировых сдвигов. Его одного, а не причину социального взрыва видит всегда перед собой Цвейг.

В 1936 году всех нас волновало будущее. В Германии креп фашизм. Тарле с тревогой взирал на замутненный горизонт. Долгая работа над прошлым научила его понимать масштабы происходящего в настоящем и предвидеть грядущее.

История — великий учитель человечества и грозное предупреждение, ибо живые повторяют ошибки умерших.

Находясь постоянно в центре современности и одновременно в нескольких минувших столетиях, Тарле отлично ориентировался в политике мелкой и крупной буржуазии, осознавал опасность внутрипартийных неурядиц, угрозу войн и их последствия. Талантливейший историк предвидел чудовищные столкновения на земле.

— Фашисты попытаются разрушить всю европейскую культуру,— заметил он однажды.

Мы вспомнили о том, как ошибся Лев Толстой, веривший в естественный человеческий прогресс, развивающийся вместе с общими и техническими достижениями. Толстой надеялся, что в двадцатом веке люди сделаются добрее и миролюбивее и войн больше не будет. Однако лютость, коварство, бессмысленная жестокость притаились, выжидая миг, чтобы показать свою страшную пасть Молоха, требующего жертв.

— Да,— отозвался Тарле,— походы Наполеона уже сейчас кажутся забавой, стоившей миру не так уж дорого.

Евгений Викторович продолжал говорить, откинувшись глубоко в кресле, о значении отдельной личности для развития новой истории. Фридлянд разгорячился:

— Нет, право же, на свете силы, которая изменит поступательный ход наших идей!

— А Гитлер? — сощурив глаза и подняв холеную, пухлую руку, спросил Тарле. Он больше, чем когда бы то ни было раньше, был похож на римского прелата.

— Его сотрут с лица земли и заклеят вечным позором, как всякое иное препятствие на пути к нашей победе, как любого диктатора.

— Конечно, — согласился, чуть улыбаясь, Тарле, — жаль только, что у истории есть свое время, столь не совпадающее с отпущенным человеку. Правда, сейчас все убыстряется в движении. Мы пересели с почтовой кареты на локомотив и на аэроплан.

В этот вечер я видела Тарле в последний раз в жизни. С Фридляндом довелось еще встретиться. Он собирался в Венгрию, на съезд историков, но все сложилось по-иному.

В конце пятидесятых годов я познакомилась с одним из друзей Фридлянда и в прошлом ученика Тарле, доцентом Л. Е. Якобсоном, родственником поэта Надсона и жены Кирова — Марии Львовны.

Лев Евгеньевич был из числа тех эрудитов, память и мысль которых — неисчерпаемый клад сокровищ. Многогранность его натуры, острый, задиристый ум, постоянное совершенствование собственного интеллекта, несмотря на шестьдесят с лишним лет, вызывали восхищение. Ему, как и другим замечательным историкам, я обязана многим в работе над тремя романами о Марксе и Энгельсе. Он требовательно судил меня и помогал в работе над первоисточниками. Якобсона нет в живых. Земля недавно скрыла в своих недрах еще одно из своих чудес — мозг щедрый и своеобразный, большие, разносторонние знания. Лев Евгеньевич пришел ко мне в трудную пору моей жизни и всегда дружески помогал в главном — труде, и часто, вспоминая этого скромного человека и недюжинного ученого, я говорю:

— Светлая вам память...

## РЕДАКТОРЫ

Воспоминания — тончайшая, как облако или паутина, пряжа памяти. Мифические Парки пряли прочные нити человеческой жизни, и наш мозг продолжает их упорный, волнующий труд до самой смерти. Какое счастье, что



прошлое не исчезает в нас, покуда мы дышим. Издалека доносятся отзвучавшие слова, возвращаются ушедшие навсегда люди.

В начале моего журналистского пути пришла я в самую шумливую, доброжелательную, смелую редакцию — «Комсомольской правды».

С ее вдохновителем и создателем Тарасом Костровым я познакомилась у себя дома. В ту пору, если автор был нужен, к нему не считалось зазорным зайти и самому главному редактору. Табель о рангах не существовала в среде журналистов, да и вообще была не в чести.

Каждому, кто видел Тараса Кострова хотя бы единожды, вряд ли можно было забыть его. Рыжеватый ша-тен с беспорядочной шевелюрой и окладистой бородой, с большим мягким носом толстовского рисунка, с синеватыми глазами, — будто два василька, упавшие в стог свежего сена, — высокий, сутулый, нескладный, чисто, но убого одетый, он излучал такое обаяние и ум, что сразу уничтожал всякую неловкость и предвзятость.

— Вы были спецкором в Китае, — сказал он мне. — Напишите нам художественные очерки обо всем, что видели там, да сделайте это позанимательнее. — Костров протяжно, скрипуче закашлялся. Кровь бросилась ему в лицо, он побагровел и начал задыхаться, торопливо достал коробку с лекарственными папиросами, закурил одну из них и с трудом выдохнул дым.

«Такой молодой и тяжело болен... Астма... экое страдание», — думала я.

Вскоре приступ кончился и мы смогли продолжить беседу. Я испытывала чувство неуверенности в своих творческих силах и призналась в этом Кострову, пояснив, что в 13-й армии, пятнадцатилетней девочкой, написала плохую пьесу и позднее дала себе зарок не брать-ся за художественную прозу.

Костров внимательно смотрел на меня. Бывают глаза, под взглядом которых леденеет и как бы прячется в броню из чувства самосохранения человек. Реже встречается такой по-настоящему честный и доброжелательный взгляд, под которым естественно падают преграды и хочется быть самим собой. С Костровым всегда, как на духу, мы делились сокровеннейшими мыслями.

Мне было двадцать, ему немногим больше, но казался он значительно старше, опытнее, может, потому, что

был исключительно образован, оригинален в мышлении и темпераментно предан делу, которое вел с большим тактом и знанием людей.

В кабинет Кострова я всегда бежала вприпрыжку, как торопятся в родной, желанный дом. Нередко получала я шуточные записки от Кострова. Одна из них чудом уцелела. На посеребренном бланке с печатным штампом газеты, ее адресом: «Москва, М. Черкасский, д. 3/4» и цифрами «192... г.» веселым, размашистым почерком написано двумя чернилами — красными и черными:

«Галина.

Многомиллионная рабоче-крестьянская масса СССР ждет с нетерпением твоих статей. Посылаю карикатуру из комсом. правды...»

Заказы такого рода Костров часто сопровождал каким-нибудь забавным рисунком.

Обычаи редакции в первое десятилетие были своеобразны. Сотрудники и особенно посетители предпочитали стульям столы, подоконники и кипы книг на полу. Маяковский, взобравшись на письменный стол, как бы чекая мысль, излагал план своей будущей поэмы «Капитал», на которую вдохновил его гениальный и поэтичный, по его словам, труд Маркса. Лариса Рейснер, красивая, большая и величавая, как ожившая античная статуя, привлекала всеобщее внимание, собирала немую дань удивления и восторга. Кольцов всегда появлялся в редакции с ватагой журналистов, вооруженный самым неотразимым оружием — юмором.

Приветливо раскрытые двери привлекали случайных прохожих, и не раз во время острого спора или патетического чтения стихов известным поэтом на пороге комнаты появлялся нэпман, раздраженный тем, что не получил патент на изготовление крахмальных мужских воротничков и пестрых галстуков, извозчик, поругавшийся с седоком, девушка, ищущая ближайший рабфак.

Шум в комнате прекращался, когда начинал говорить Костров. Авторитет его был непререкаем. Он внушал его людям незаметно, без всякой заданной цели. К нему нельзя было относиться иначе. Казалось, он всегда находился в редакции и, однако, успевал учиться и размыш-

лять. Превосходно зная и цитируя по памяти многие положения Маркса, Энгельса, Ленина, он удивлял нас блестящим и оригинальным отношением к творчеству Герцена, Чернышевского, Писарева, Белинского. Свободно и уверенно говорил Костров о классической и о молодой советской литературе, а как-то на хорошем французском языке прочел наизусть стихи Мюссе и Бодлера. Он был разносторонне и основательно учен в самых разных предметах.

Но никогда не слышали мы сетований от измученного неизлечимой болезнью Тараса Кострова, который как бы стремился за короткий срок, отпущенный ему жизнью, сделать как можно больше полезного людям. Любящий препятствия, не обходивший, а преодолевавший их, он был для всех его знавших воплощением жизнелюбия и душевной силы. Газета, подобно каждому из нас, получала заряд его воли. Раньше других и даже меня самой определил Костров то направление, по которому следует идти мне в литературе. Способности писателя, как всякого работника искусства, редко всесторонни. Один обладает даром слышать сегодняшний день, голос только что прилетевшего скворца, обонять аромат начавшей распускаться сирени, другой, как мифический Акометей, видит прошлое и лишь через него настоящее, он глух к голосам, звучащим рядом.

— Пишите о Марате. Сегодня я встретил моряков с судна, названного в честь великого французского трибуна, но они не знают, кто он и когда жил на земле. Напишите о нем — именно вам это под силу.

Так, задолго до своих «Женщин эпохи французской революции» я написала большую новеллу и назвала ее «Смерть Марата».

В дни бурных дискуссий, идеологических схваток просветительствовать, подниматься над злободневностью и воскрешать минувшие события было непривычно, но Костров понимал, как много поучительного в прошлом, и на полосах молодой газеты перемежались огневые репортажи, отчеты о дискуссиях с увлекательными рассказами о делах прошедших и героических.

Все это происходило много лет назад. А век нынешний особый, и каждое десятилетие — эпоха.

Тарас Костров прожил недолго и умер в начале тридцатых годов от задушившей его скарлатины.

За долгие годы мимо меня прошли разные люди, немало достойных и одаренных редакторов газет, попадались также посрамлявшие свое высокое назначение. Одни промелькнули как падающая звезда, а лучшие, подобные Кострову, остались в памяти целого поколения.

Велико значение встречи с значительной личностью, особенно для литераторов, впечатлительных и зорких. Для начинающих — общение с теми, кому вверяют они итог первого творческого вдохновения, бывает удачей, а то и бедой. Редактор журнала для них — судилище либо исповедаляня.

В двадцатых годах у нас постоянно бывал Александр Константинович Воронский, очень талантливый и своеобразный человек. Я еще училась и не помышляла о профессиональном писательском труде. Для меня друг моего мужа Воронский был попервоначально особенно интересен как революционер, коммунист, увлекательнейший рассказчик и проникновенно чуткий, внимательный ко всем человек. Меня пленяли его совершенная простота, любовь к природе и простосердечие, грустная и добрая улыбка. Из рассказов Александра Константиновича, еще до выхода его автобиографических книг, я узнала, что он учился в духовной семинарии. Бурсу Воронский описывал так красочно и умно, как это не удалось даже Помяловскому. Сложным и нелегким было приобщение глубоко верующего в детстве юноши к социалистическим идеям и атеизму. Воронский принадлежал к числу мечтательных, впечатлительных и справедливейших людей. Он не был избавлен от рефлексии, так как, повышенно совестливый, постоянно проверял свои поступки и стремился во всем к совершенству.

Воронский приходил к нам после работы в журнале «Красная новь» и делился всеми тревогами, которые щедро поставляла жизнь и литераторские поиски. Его уважительно, как старшего, любили молодые писатели и поэты.

С Воронским пришел к нам Всеволод Иванов, «сибирский самородок». Иванов носил тогда бриджи и серые обмотки, вовсе не идущие к его кряжистой, мощной фигуре. Большое, грубоватое и вместе приятное лицо его с зоркими скифскими глазами казалось давно знакомым по галерее буддийских божеств. Рассказы автора «Похождений факира» были весьма интересны и новы.

Бывалый и своеобразно мыслящий, он, впрочем, становился подчас молчаливым, сосредоточенно наблюдающим. Иван Катаев, Борис Пильняк и, наконец, Есенин — все появились в нашем доме благодаря Воронскому. Он, как неутомимый садовод, растил, берег и радовался новым и новым цветам литературы.

Вряд ли кто-либо мог сравниться с Воронским в знании русской литературы от древности по наши дни, а также в чувстве родного языка. Он знал его тончайше, во всем необозримом богатстве, любил поговорки, прибаутки, крылатые слова. Деревня была ему колыбелью и кладзем эпоса и народной мудрости. Партийная работа сблизила Воронского с Фрунзе и Куйбышевым, и тесная дружба связывала их до конца.

Летом 1923 года мы поселились вместе с семьей Воронского в бывшем имении Мартынова, убийцы Лермонтова, по ленинградской дороге. Знаменское было разрушающимся дворянским гнездом. Редкой красоты местность, просторный дом над прудом, ветхая церковь с печальными надгробиями и склеп, где схоронены Мартынов и его жена, естественно, волновали нас нахлынувшими размышлениями, спаянностью с историей. У Мартыновых, породнившихся с Клейнмихелями, бывал Толстой. Лев Николаевич, в своей ненасытимой жажде проникновения в души и поведение людей, с замшелой террасы бросал крестьянской детворе конфеты. Дети дрались из-за добычи, визжали, барахтались в кустах жимолости, а Толстой, опершись на балюстраду, о чем-то напряженно думал. На заросшем теннисном корте происходили соревнования знатной молодежи, но дамы, затянутые в тугие корсеты, с трудом передвигавшиеся на каблучках узких шнурованных ботинок, предпочитали крокет. Шары терялись под многочисленными оборками и юбками, и смех, ненатуральный, как платья начала двадцатого века, огромные шиньоны и вычурные манеры, звучал под липами, вязами и березами. В парадной зале висели в ряд портреты сестер Мартынова. Стоял там и зловещий бюст Николая I с пустыми глазами и затаенной злой улыбкой в приспущенных углах надменных губ.

В дни, когда Воронский и мы переехали в несколько комнат, служивших челяди и гувернанткам, в мартыновском доме был найден клад, вделанный в полую стену,

спальни последнего владельца. Шкатулка с золотыми червонцами, драгоценности, множество серебряных и золотых сервизов, канделябров, собольи палантины и несколько картин великих итальянских мастеров тщательно переписывались и упаковывались прибывшей из Москвы комиссией.

Александр Константинович и я увидели разделенный на десятки ячеек длинный ящик красного дерева. В нем были письма. Несколько дней мы рылись в них с алчностью добытчиков, но, кроме пространных и монотонных эпистолярных излияний семейства баронов Клейнмихелей в пору мировой войны, которую они замечали лишь мимоходом, ничего мы там не обнаружили.

Вместе с Воронским, его женой Серафимой и дочерью, восьмилетней пытливой Галей, мы совершали дальние прогулки, находили одичавшие беседки, заброшенные кладбища и нищенские деревушки.

Александр Константинович, поглощенный своим журналом «Красная новь», критической перепалкой с Полонским, детски торжествовал, когда мог прочесть нам что-либо выдающееся из портфеля редактора, порадоваться открытию нового имени в литературе. Собиратель талантов, вернейший друг начинающего писателя, он поражал щедростью, искренностью своих чувствований и строгой идейностью. Он бывал неумолим к тому, что могло бы причинить малейший вред общему советскому делу, партии, ради которой ушел некогда из бursы и бросился в революционный водоворот.

Было в лице Воронского что-то от семидесятников, готовность погибнуть, но не унижить свое человеческое достоинство. Иногда в его глазах задерживалась какая-то невысказанная дума, и бывали они скорбными. Ранимый и глубоко прячущий чрезмерную чувствительность, он был, однако, суров и даже фанатичен, когда дело касалось искусства, и никогда не кривил душой в оценках, не шел на уступки. Это создавало для него, как для редактора, часто трудные положения. Воронский не был самонадеян. С сомнениями о том, хорошо или плохо то или иное произведение, он шел только к тем, кого считал безусловно нелицеприятными и для него авторитетными судьями.

Воронский восторженно и глубоко любил Ленина. Фрунзе, Куйбышев, Луначарский и несколько других

большевиков помогали ему в трудном деле руководства юной советской литературой. В день смерти Фрунзе я видела, как безутешно рыдал, спрятав мягкое лицо в ладони, Воронский. Я встречала удрученного Александра Константиновича на похоронах Фурманова, Ларисы Рейснер и Есенина. Его большие губы растерянно вздрагивали. Он часто снимал очки, чтобы протереть мешавшие ему стекла.

Появление книг Воронского было всегда событием для нас, и читали мы их залпом, как и его превосходные полемические статьи. Он открылся нам еще одной гранью — большого писателя, критика и публициста. Много лет я не видела Воронского. В последний раз мы оказались рядом на трибуне в день похорон Горького. Был душный день, небо от засушливого ветра посерело и жгло. Воронского я не сразу узнала. Он стал совершенно седым, но лицо странно помолодело, и глаза смотрели отрешенно. Губы же казались еще добрее и печальнее.

— Один такой был и навсегда один такой останется, — сказал Александр Константинович о Горьком. Потом добавил: — А вы оказались мужественнее, чем я думал. Быть писателем, о Марксе писать — это мужество.

С надгробным словом Горькому в это время выступил Андре Жид.

— Еще с подошвы не отряхнет московской земли, как уже отречется от нас, — холодно и презрительно заметил Воронский.

Мимо нас, дружески поклонившись, прошел Артем Веселый.

— Талантище! — сказал Воронский и добрым взглядом проводил автора «России, кровью умытой».

Мы так и не попрощались с Александром Константиновичем, толпа нас развела в разные концы площади. Тяжелый и незабываемый был тот день. До вечера я бродила по раскаленной Москве, смотрела на багровый и грозный закат. Тоску объяснила уходом Горького, вспомнила тех, кто, как и он, протянул мне некогда руку и помог взбираться по кручам роковой моей профессии литератора.

За несколько лет до Горького умер, сраженный сыпняком по пути из Москвы в Сибирь, замечательный человек и большой редактор Вячеслав Павлович Полонский.



Я узнала его, зайдя в середине двадцатых годов в редакцию «Печать и революция». Не без робости ждала я ответа, принята ли моя рецензия на появившуюся тогда книгу молодого прозаика Дроздова.

Первый, кто снял с меня понятную тяжесть беспокойства, был ответственный секретарь Черняк. Он умел разрушить любое напряжение. Отлично понимая душу молодого и растерянного автора, Черняк принимался сыпать словами, давая время пришедшему овладеть собой, собраться с мыслями. Так было и со мной. Подметив, что я преодолела застенчивость и колющее самолюбие, он повел меня в маленькую комнату, где из-за стола, на который как бы вывалили несколько корзин газет и книг, встал нам навстречу высокий, широкоплечий, представительный человек с необычным продолговатым лицом, украшенным большим орлиным носом. Да и форма удлинённых его глаз была тоже как у царственных и гордых птиц.

Полонский заговорил уверенно, красивого тембра голосом, с той благожелательностью и знанием моей незначительной и несовершенной статьи, о которых я и мечтать не смела. Но что может быть важнее для молодого писателя, чем внимание к нему со стороны маститого специалиста. Такое не забывается до смерти. Только очень большой культуры люди понимают это, знают, что ростки творчества могут в дальнейшем дать всходы, которые окажутся новью в литературе. Но и просто воспитанные в чутком и уважительном отношении к другим литераторы не растопчут сапогом юной поросли.

Полонский был пропицательный психолог, многотребовательный человек. Такой редактор наиболее полезен журналу. Блестящий полемист, критик, исследователь, знаток Бакунина, он оказался умелым организатором. Никакой групповщины Полонский не признавал.

— Меня интересует не автор, а произведение, — часто повторял он и, подобно Горькому, давал рецензировать поступившие в журнал произведения, предварительно убрав фамилию автора.

Как-то он дал мне прочесть чью-то рукопись. Перевернув титул и последнюю страницу и не найдя имени писателя, я позвонила Полонскому.

— Кто написал эту повесть?

— Странный вопрос, разве это имеет значение для вашей оценки? Какова повесть, хотел бы я от вас услышать.

Однажды у нас дома Полонский на вопрос, как делается литературно-художественный журнал, ответил шуточно:

— Так же, как варится суп. Наливается вода, кладутся разные овощи — морковь, картошка, лук и прочее — и, наконец, хороший кусок мяса.

Если Полонский верил в творческие возможности писателя, он работал с ним как требовательный наставник, стараясь приобщить к знаниям, интересам, взглядам, которые необходимы каждому, кто своими книгами призван не столько развлекать, сколько учить, помогать, думать, решать, действовать, чувствовать.

Я написала, по мнению Полонского, подкупающую искренностью повесть «Роса». Прежде чем напечатать ее в журнале, Полонский приехал к нам, чтобы тщательно проанализировать слабые и сильные стороны произведения. Так он поступал со всеми своими авторами, работая с ними, впуская, что напряженный труд и саморазвитие необходимы в литературном творчестве, как, впрочем, и во всяком ином искусстве. Он требовал от писателей широкой эрудиции и высмеивал едко и точно всякую безвкусицу, узость мышления и пестрое невежество. Сам он был превосходный знаток живописи, скульптуры и музыки, как и его жена, талантливая художница.

Полонский, подобно Тарле, блестяще владел мастерством разговора. Слушая его, я легко представляла себе Жореса и других прославленных трибунов. Находчивый острослов, человек редкой памяти, он напоминал в полемике умелого и гибкого фехтовальщика. Приводимые им факты, обобщения бывали столь неотразимы и убедительны, что для спора с ним нужна была отвага. Но секрет его критической мысли заключался в превосходном усвоении марксистской диалектики и в пылком, боевом темпераменте. Полонский любил сражения и рыцарски бился до победы на многочисленных творческих поединках, которыми славились двадцатые годы.

Многим в литературе и истории обязана я беспокойному и оригинальному уму Полонского. Он был революционер мысли в высоком смысле слова. Немало чело-

вечески значимого дало мне общение со сложным и возвышенным Воронским, и как неугасимый луч света остается в памяти моей образ талантливой Кострова.

Каждый из нас в той маленькой вселенной, что умещается в нашем сердце, свято бережет свои светила. Три замечательных редактора — Костров, Воронский и Полонский — для меня яркое созвездие.

## САБИТ МУКАНОВ

О Сабите Муканове я услышала около сорока лет тому назад от великого зачинателя советской казахской литературы Сакена Сейфуллина. Мы гуляли по переделкинскому лесу, и вдруг он как бы перенес меня своим рассказом к подножию сказочного Алатау. Сейфуллин называл Сабита другом, предсказывал ему большую будущность и мастерски в нескольких словах набросал портрет молодого писателя, могучего физически и духовно, отважного, мечтательного самородка. Жизнь закалила Сабита смолоду — тяжким трудом, нищетой, невзгодами.

С той именно поры я читала все, что писал Муканов. Его поэтически проникновенная трилогия «Школа жизни» сроднила меня и с автором, и с его землей.

Жанр автобиографических книг едва ли не самый ответственный и сложный. Не всякому дано, подобно Льву Толстому, в молодости создать бессмертное творение. Гораздо чаще писателям в начале их творческого пути не удается написать что-либо подлинно оригинальное. Но почти каждый из нас так или иначе на протяжении своей жизни решает эту задачу и пытается рассказать о себе и пройденных дорогах.

Воссоздать восприятие юности во всей его свежести, цельности и остроте первооткрывательства очень трудно. Есть, впрочем, иной метод: воскресить былое с высоты настоящего времени, аналитически отнестись к нему и заставить по-новому зазвучать то, что смолкло навсегда. Так именно и писал Сабит Муканов в своей большой трилогии. Используя обширный опыт прожитой жизни, зорким, умным взглядом окидывал автор прошлое. Он привел, заканчивая работу, старую казахскую поговорку: «В дни изобилия не забывай, что ты ел в году голода».

Книги Сабита Муканова ломают рамки обычного автобиографического романа.

«Школа жизни» — это не просто история жизни одного человека с начала века и по 1935 год, тщательно прослеженная и прекрасно воспроизведенная. Трилогия Муканова — это биография целого народа, эпическое повествование о судьбе разных слоев общества, и особенно неимущих казахов. Увлекательные отступления, экскурсы в более древние времена насыщают художественную ткань всех трех книг.

Жизнь человека — это его характер, говаривал Гете, и Муканов художественно претворил эту мысль. Особенно удались писателю образы женщин, униженных и бесправных в пору его молодости. Трагична судьба родителей и сестер автора. Тяжела батрацкая доля и его самого.

Скитания и постоянная борьба за существование, тяжелейшая из войн — война с нищетой — рано сделали Сабита Муканова бывалым, вдумчивым человеком. Есть нечто общее в его нелегком детстве и юности с отроческими годами А. М. Горького. На совсем ином материале, рисуя других, не схожих с горьковскими персонажами людей, Сабит Муканов творил под сильным и добрым влиянием великого русского писателя.

Сабит Муканов родился в 1900 году. Время его становления было переменчивым, бурным, разрушающим и созидющим. Талантливый писатель в своем творчестве всегда был чуток к эпохе и воспринимал происходящее не только разумом, но и чувством. Оттого так убедительны его книги. Сабит Муканов жадно вбирал в себя впечатления жизни. Отец Сабита Муканова был хорошим рассказчиком. Мать украсила нищенское детство сына песней, которую так любят казахи. Не покорным созерцателем, а борцом вырос Сабит Муканов. Очень рано вовлекла его в свой водоворот революционная стихия. Октябрьскую революцию бывший батрак ждал и не искал в жизни иных путей, кроме тех, которые указывал народам Ленин.

Как тонкий наблюдатель и опытный психолог вглядывался Муканов в противоборство социальных сил.

Не раз я была свидетелем того, как от души радовался А. М. Горький появлению новой талантливой книги. Глаза его искрились, как у победителя. Любой завод счастлив и горд удачей одного из своих рабочих, исстари

цах праздновал достижения своего мастера или подмастерья, возвеличивающие все общество.

С гордостью и радостью я вижу, сколь многогранен и силен талант Муканова.

Сакен Сейфуллин соединил нас с Сабитом нерасторжимыми узами дружбы задолго до того, как мы встретились воочию в 1957 году.

Я люблю Казахстан, его богатейшую и отличную литературу, певцов, сказителей и неповторимую природу. Все прекраснее год от года и села Казахстана. Все громче и мелодичнее его песни и стихи.

### ЗАХАРИЯ СТАНКУ

Несомненно, куда бы ни забрасывала нас судьба, мы сохраняем навсегда в памяти не красоты природы, не особенности городов, даже не радость или горе, сопровождавшие нас в ту пору, а образы людей, встретившихся нам в пути. Человек, сила его воздействия, мысль, пробужденная им, услышанное слово, встреча, обогатившая душу,— вот что не забывается. Побратимство рождается от единства идей, дум и особенно от взаимного интеллектуального обмена. Мы благодарны тем, кто открывает нам нас в добром и высоком, и, наоборот, стараемся скорее забыть сообщников нашего падения, пустой болтовни, потери времени.

Среди людей, встреченных за последние годы, особенно запомнился мне один большой писатель и своеобразный человек. Я радовалась возникшей между нами дружбе. В поздние годы жизни такое случается очень редко. Этот человек — Захария Станку, один из самых талантливых и мыслящих румынских писателей. Он не просто умелый рисовальщик жизни, а острый психолог, вскрывающий причины социальной несправедливости.

В 1966 году впервые пересекла я границу Румынии и оказалась в Бухаресте.

Один из членов моей семьи пал смертью храбрых на румынской земле... Триста тысяч ему подобных советских воинов сложили головы, сражаясь за ее освобождение от фашистского порабощения. Румыния! Что знаю я о ней, ее вчерашнем и нынешнем дне, о ее литературе?

Первая встреча с Захарией Станку не была особенно приятной. Передо мной стоял замкнувшийся, изучающе всматривающийся в окружающее человек. Я знала уже трудную биографию автора могучих и горьких книг о дореволюционном румынском крестьянстве, о бродягах и жителях окраин. Читая его произведения, невольно вспоминала «Мужиков» Реймонта, крестьян Бальзака, Лескова. Рабы, изнемогавшие от голода, нищеты, безвыходности, терявшие человечность, столь присущую им от природы, живыми встают со страниц «Безумного леса», «Босого» и других произведений Станку. Они — страшный упрек эксплуататорам, землевладельцам, деспотизму.

Сам Станку до четырнадцати лет не покидал ада принуждения, бедности, безграмотности.

Я пытливо вглядываюсь в него, люблюсь внешнею высокою, ладною шестидесятичетырехлетнею собрата по цеху. Он опрокидывает все утверждения о «голубой крови» и «белой кости». Крестьянин, научившийся грамоте в пятнадцать лет, ставший, как Горький, выдающимся писателем, может украсить общество аристократов.

Невольно вспоминаю, как на приеме в Бакинском дворце в 1930 году удивилась, глядя на парад представителей древних знатных родов. Английский король Георг V, низкий, неуклюжий, выглядел как владелец подворья, а один из герцогов, прыщавый и сутулый, возбуждал сострадание своей неказистой наружностью.

Постепенно отрывистая и скучная беседа моя со Станку становилась доверительнее и важнее для нас обоих. Барьер отчужденности рушится, когда встречаются люди одной профессии, одного мировоззрения. Все мы, пишущие книги, работаем, где бы ни находились, наедине со своими мыслями, в таинственном и благостном мире творчества, созидания характеров, психологических портретов. Все мы пытаемся приобщить людей к тому, во что верим. Огромен мир чувств, исканий, находок, потерь, горестей и радостей писателя. Он должен знать и перечувствовать все, о чем рассказывает. Он никогда не бывает одинок — так велико, сложно и захватывающе невидимо для других его духовное хозяйство. Никогда восприятие окружающего не бывает сильнее, чем в мгновения первого знакомства. Помню, как единственный раз в Заполярье мне посчастливилось увидеть северное сияние. По сей день нередко в моем вооб-

ражении возникают столь же ярко россыпи самоцветов и витые золотые столбы на черном бархате неба.

Первая встреча и разговор со Станку о его творчестве, о классической и современной русской литературе, которую он любил, основательно знал и судил, прочувствовав, продумав, остались в моей памяти навсегда. В те же дни я узнала немало других румынских писателей и осторожно прикоснулась к неведомой мне культуре. Понимала, что могу лишь почтительно слушать и смотреть. Нет ничего более вредного для самого писателя, чем наклеивать ярлыки, обычно свидетельства невежества, во время кратких поездок по иным странам. И свою-то Родину часто не хватает жизни до конца понять и оценить. Но отдельных людей в любом месте можно безошибочно принять и разумом и сердцем.

Биография писателя редко бывает несложной и гладкой. В бурях и борьбе, а не в слюдяной заводи, формируются таланты. Сстрадание — подчас тот же огонь, на котором калятся булаты. Какими только тернистыми путями не шли к революции писатели! Дарование крепнет в исканиях.

Станку — монументалист в литературе, он создал могучую социальную панораму, хотя ограничил себя территориально и тематически. Он суров в анализе поступков и душевных порывов своих героев, но одинаково проникновенен и щедр в обрисовке второстепенных персонажей. Люди в его романах живые, полнокровные. Как истый поэт, Станку обладал точным знанием словозвучания, ритма. Читатель, следуя за писателем, заражается его скрытым гневом, состраданием, юмором. В этом магия таланта Станку. Только большой писатель — волшебник. Подлинный реалист и умный художник, Станку никогда не был безразличным. Равнодушие — смертельный враг настоящего искусства — чуждо ему и неприятно. Писатель вызывает человеколюбие, сеет зерна протеста, подводит к гуманистическим идеалам высоких идей, к революции.

Первой книгой Станку, прочитанной мною, был «Безумный лес» — могучая, стихийная книга о людях разных, противоречивых, о судьбах мучительных, трагических, как сама жизнь прежней Румынии.

Роман «Безумный лес», как и многие иные произведения Станку, носит в чем-то явно биографический ха-

рактер. Даже имя главного героя, Дарие, знакомо нам по другим его книгам. Но труднейшая форма, выбранная автором, повествование от первого лица, несколько не ослабляет впечатления и значительности фабулы. Замечательной психологической точностью, постижением духовного мира людей, умением строить сюжет без примитивных эффектов Станку сродни крупнейшим писателям прошлого и нынешнего веков. Невольно вспоминается великолепный роман К. Гамсуна «Женщины у лодца».

Нет ничего более трудного, чем писать об обездоленных и вообще о несчастье. Станку также указывал на это, повествуя о «Безумном лесе». И, однако, создано им очень интересное произведение о жизни людей, ведущих упорную, изнурительнейшую из войн — войну с бедностью, унижениями, безнадежностью.

Сложные, хорошие, поэтически любящие женщины жили на сожженной лихом не менее, чем солнцем, пустой равнине Румынии. Татарка Урума после возвращения из городка возлюбленного охладевает к нему при мысли, что пьяный он встречался с другими девушками. И хотя он не изменял ей, она считает, что он «осквернен» взглядами желавших близости с ним гагаузками. Измена, по ее мнению, уже во взгляде, и убивает любовь.

Двадцать третье августа 1944 года — великая дата для румынского народа — день освобождения от фашизма — вихрем подняло творчество Станку. Каждая последующая его книга — это новый взлет, выше и выше. Большой талант не иссякает. Он подобен мощной водной стихии.

Для меня Захария Станку особенно дорог сочетанием суровости, требовательности и вместе с тем ранимости и мягкости. Поэт, став прозаиком, всегда останется поэтом. В прошлом Станку не только сам писал стихи, но и сумел первым, еще в тридцатых годах, заметить, оценить и перевести на румынский язык Есенина.

Многообразный и много знавший писатель, поэт, академик, Захария Станку хорошо изучил мировую литературу и зорко следил за каждым новым обещающим именем в искусстве. Долгое время он возглавлял ведущий театр Бухареста. Драматургия, как и поэзия, постоянно влекла его к себе. Но наиболее силен он в прозе.

О творчестве, социальных сдвигах на планете, об ис-



кусстве подолгу беседовали мы в маленьком коттедже Станку. Я любила наблюдать за ним в домашней непритворливой обстановке, среди книг, в кресле подле большого лимонного дерева в кадке. Николина Станку — олицетворение женственности, скромности, ума и любви, идеал жены-подруги писателя. Более года жила она когда-то в Москве и говорит по-русски. Почти полвека прошло с того дня, когда к юной миловидной учительнице Нуше пришел деревенский долговязый сероокий парень и попросил ее позаниматься с ним грамотой. Так началась любовь Николины и Захарии Станку.

Годы углубляли, крепили их чувство. Что-то неуловимо радостное ощущаю я всегда, когда вспоминаю, как в кабинете Станку появляется его сын, врач по профессии, весьма своеобразный и даровитый писатель Хория Станку с женой-юристом и двумямышленными мальчиками... Привязанность к внукам и не пытается скрывать дед. Он шутит с детьми, и лицо его с точеным, прямым носом, холодными глазами и надменным выражением губ резко меняется. Добрея, он стареет. Я внезапно вижу крестьянина, уставшего от работы и преодоления препятствий, мечтательного и грустного.

— Самое главное для нас, коммунистов, — сохранить мир на земле, спасти наших потомков от гибели, которую готовит им атомная война. Мы уже прожили свою жизнь, но они, наши дети, внуки, должны быть счастливы. Нет цели значительнее, нежели эта, — говорит Станку, глядя головку меньшого внука, Александра. — Все, что стоит на пути к миру, надо беспощадно убирать.

В весенний вечер 1969 года мы потеряли ощущение времени, увлекшись размышлениями о будущем и необходимости борьбы за него.

Мир. Он начинается в нас, наших семьях, в творчестве, в любом добром созидании. Ни один творец не хочет разрушения того, что создано его мыслью, энергией, руками.

В Захарии Станку счастливо соединялись талант, ум и высокая культура. Сжигавшая его творческая неудовлетворенность собой, поиски нового свидетельствовали о живом источнике тепла и света, без которых писатель бесплоден.

1968—1973

## Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

Как запах сухих сосновых игл, цветущей березы и свежего сена, доносится к нам по воле мысли и чувства музыка. Звуки врываются в сознание вместе с первым вдохом. Они в голосе матери, в воздухе пройденных дорог, знакомых городов, деревень и лесов.

Близкие рассказывали мне, что в грудном возрасте я бурно любила, как все ползунки, духовые оркестры, литавры, трубы и барабан, оставаясь безразличной к роялю, стоявшему неподалеку от моей колыбели.

Я родилась в год, когда на улицы российских городов победно вырвалась из подполья революционная песня.

Мать была учительницей музыки, и весь день не умолкали гаммы и мелодии в нашей маленькой квартире. Мне было года четыре, когда она усадила меня на винтовой круглый табурет и принялась приучать мои пальцы к клавишам, стараясь придать им гибкость и подвижность. Она учила меня детским песням, чтобы развить слух. Я усердно сопротивлялась и увиливала от занятий.

По воскресеньям мать брала меня на утренники в Киевскую консерваторию или в концертный зал купеческого собрания над Днепром. Я ненавидела это вынужденное сидение в ярко освещенных лампами помещениях и мучительно барахталась в потоке прекрасных звуков симфонического оркестра, которые мешали и сердили. Еще меньше понимала я квартеты, трио или инструментальные соло. Только вокалисты не раздражали, а нравились мне. Я мечтала, когда вырасту, быть певицей.

Так лет до семи я была тайным врагом музыки, и вдруг на одном из концертов свершилось: душа откры-

лась для звуков и приобщи́лась к ним навсегда, как слепец, обретший зрение, — к свету. Опасный и жгучий миг. Я включилась в ранее чуждую мне сферу ощущений, проникала, вероятно, не всегда точно, но по-своему глубоко в огромный замысел композитора, плыла по тысячам ручейков, согревалась лучами, из которых сотворена музыка. Чудо это совершили Бетховен и Чайковский. С незапамятных для меня времен помню я и до смерти не потеряю их — Девятую и Шестую симфонии. В часы печали и горького одиночества, как и в редкой радости, я мысленно опять и опять прослушиваю эти бессмертные творения, они со мной всегда, и никто не в силах был лишить меня общения с ними. Музыка физически становится частью нас самих. Книгу, фотографию — все можно потерять, но не звуки.

Постепенно мир звуков разрастается, как раздвигается с годами вширь и вглубь представление о Земле и счастье, вселенной и смерти. Появилось больше творцов и исполнителей, которые меня влекли. Было время неистового увлечения Скрябиным, Вагнером и Брамсом и обретение вечной привязанности — Калининков и Прокофьев. Без проводников было бы очень трудно. В разную пору жизни я находила их в матери, в детстве и отрочестве — в друге той поры, виртуозном замечательном пианисте, сверстнике киевлянине Владимире Горовице. Он терпеливо вел меня по сложным лабиринтам. Я не пропускала ни одного значительного концерта. Горовиц познакомил меня со своим знаменитым учителем Blumenfeldом.

В первые годы революции одним из лучших оркестров в Москве считался Персимфанс — Первый Симфонический ансамбль Моссовета — симфонический оркестр без дирижера, основанный профессором Московской консерватории М. Л. Цейтлиным.

Ничего более возвышенного и великолепного, чем оркестр этот, я никогда не слыхала. Многим обязана я и Болеславу Пшебышевскому, сыну прославленного польского писателя, директору Московской консерватории, другу моей матери. Оба они не раз играли у нас концерты для двух роялей и по целым вечерам говорили обо всем новом в музыке. Несколько раз Пшебышевский приводил к нам Прокофьева. За границей я слушала Тосканини, Шаляпина и Джилли, Крейсlera и Тибо,

Галли-Курчи и Джаннини. Музыка раздвигает границы сердца, снимает барьеры между людьми и то поднимает мысль ввысь, как сокрушительная буря, то успокаивает, как рокот ручья.

Я давно поняла, почему мать боялась обездолить мою жизнь, не открыв еще одного великого источника познания мира и внутренней гармонии, не научив меня понимать таинственный бессловесный язык музыки. И самое интернациональное и могучее искусство, связующее людей, открылось мне в молодости.

В двадцатых годах, как и во все времена после Октябрьской революции, музыкальная жизнь была ключом. В эту пору началось мое знакомство с Дмитрием Шостаковичем. Он пришел к нам в квартиру на улице Грановского в 1926 году вместе с ленинградской камерной певицей Лидией Вырлан и ее мужем, инженером Катунским, пылким меломаном и не менее неистовым коллекционером картин русской школы.

Шостакович выглядел моложе своих двадцати лет, было что-то отроческое, аскетическое в его узком, бледном лице и тонкой, высокой мальчишеской фигуре. Он показался мне застенчивым, крайне сосредоточенным на чем-то одном, нервным юношей. В эту первую встречу меня, почти ровесницу по возрасту с Шостаковичем, больше интересовала певица и ее говорливый муж. Лидии Вырлан было лет двадцать пять. Лицо ее казалось красивым, глаза, широко раскрытые, горячею блестя, красный беспокойный рот напоминал цветы канны. Пела она хорошо. Сочным, драматического тембра сопрано владела свободно и волновала прочувствованным исполнением и совершенной музыкальностью. Бурная «Песня Гаэтана» Гнесина, романсы Глиэра и Метнера звучали в ее передаче совсем по-новому. Несомненно, в этом была заслуга молодого Шостаковича, который аккомпанировал, и, главное, разучивал с ней репертуар. Катунский безудержно, не скрывая своей влюбленности, хвалил пение жены, она досадливо сводила широкие подкрашенные брови, а Шостакович молча сидел за роялем. Несколько раз я уловила насмешливый взгляд, брошенный им на певицу и ее мужа, и поняла, что острая неприязнь к позе, наигранности, притворству в большой степени присуща молодому музыканту, так же как и чувство тонкого юмора.

Несколько позднее я услышала Лидию Вырлан и Шостаковича уже в Ленинграде, в концертном зале, и опять отдала дань ее точному слуху, столь главенствующему в искусстве пения, ее безупречной дикции, драматизму исполнения и красоте самого голоса. Несомненно, она могла бы стать одной из лучших камерных певиц, но вскоре инженер Катунский внезапно умер, и больше я уже ничего не знала о его одаренной жене.

Шостакович бывал у нас всякий раз, когда приезжал из Ленинграда в Москву. Постепенно мы узнавали его ближе, и знакомство обернулось дружбой. Митя, как мы звали Дмитрия Дмитриевича, в те далекие годы совсем молодой, был чувствителен до боли, скромен и по-особому сложен душевно.

Тогда, как и теперь, самой большой загадкой и таинством кажется мне творчество композитора. Не в силах понимать, я преклоняюсь перед вихрем звуков, который бушует неустанно в душе создателей бессмертных музыкальных творений. Может быть, их мозг подобен сказочной рации, вбирающей и отдающей звуки и пение всего сущего во вселенной. Легко представляя себе, как ленит ваятель, рисует живописец, пишет поэт, я отступаю и теряюсь перед творчеством людей, в которых неслышно для окружающих живут в стройном единстве звуки бора, городов, океанов, голоса людей, птиц, машин. Этих великих чудодеев, принадлежащих всему человечеству, значительно меньше, чем писателей, художников, артистов.

Юноша Шостакович был для меня тем большей тайной, что внешне ничем не выявлял своей внутренней богатейшей жизни. Правда, я уловила сосредоточенность его в самом себе, то странное отчуждение, которое присуще всем поглощенным одной целью, идеей, страстью людям. Творчество и фанатизм, столь, казалось бы, различные, в чем-то смыкаются, как неразделимы композиция и строгая математика. Фактически любое творчество может подняться до искусства, так же как искусство — пасть до сухого ремесла и бездушной отработки.

Шостакович, казалось, жил главным образом в мире своих глубоко скрываемых ощущений и тревожных поисков. Ни малейшего тщеславия в нем не проявлялось. Его хрупкое тело изнуряли творческое неумное напряжение и жажда огромных свершений. Такие натуры всегда не удовлетворены и стремятся к невозможному до

последней вспышки мысли. Восприимчивые, как стрелка барометра, они страдают острее других и становятся как бы совестью своего времени, среды. Представление о славе у них столь высокое, что они, каких бы вершин ни достигали, делаются скромнее и скромнее по мере восхождения. Только очень требовательные люди по-настоящему скромны и просты.

Случалось, Шостакович жил у нас по несколько дней. Ночевал на диване в столовой или в кабинете мужа и всегда стремился не быть в тягость. Он писал тогда оперу «Нос» по Гоголю. Как и Лесков, Гоголь волновал его глубиной психологических откровений, гениальным проникновением в тайны человеческой души.

В моей рабочей комнате стоял рояль, и Шостакович подолгу играл на нем. Мы не раз спорили с ним о музыке, и он обвинял меня в невежестве и ретроградстве во вкусах. Я не понимала некоторых его новаторских исканий и признавалась в приверженности к классике. Нередко Шостакович аккомпанировал мне, когда я пела. Он хвалил романсы Рахманинова, но сурово критиковал его как симфониста. Осерчав, он обычно становился красноречивым и остроумным. Его сарказм бывал убийственным. Он любил шутить за роялем, не только пользуясь словом, но и звуком, и как-то мгновенно превращал в фокстроты классические марши. Мы святотатственно танцевали под эту музыку, ритм которой отвечал законам джаза. Шостакович уже тогда постиг все тайны создания музыки. Он всегда искал новое в музыкальной форме и содержании и, даже разрушая, создавал. Иногда это звучало как революционный вызов, но всегда было не только необычно, но и талантливо. Тогда же, приехав к нам, он привез свою сонату для фортепьяно и сыграл ее.

Мать моя сказала с восхищением, что Шостакович — замечательный композитор, большой новатор. Я не сразу поняла прекрасную сонату, которую, как только она была напечатана, получила от автора в подарок с дружеской надписью. Это была Первая соната Шостаковича.

В те же годы он задумал писать оперу и много читал в поисках сюжета. Шостаковича влекли могучие, трагические страсти, шекспировские характеры, выросшие, однако, на русской почве. Психолог и мыслитель в музыке,

он жаждал по-новому воссоздать тему любви, любви, не признающей преград, идущей на преступление, внушенной, как в гетевском «Фаусте», самим дьяволом. «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова поразила его неистовством своей страсти.

Приехав в Ленинград, я побывала в доме № 9 на улице Марата у Шостаковича. В сумрачной комнате на большом столе он писал свое новое произведение и проигрывал его на фортепьяно.

Две красивые, светловолосые девушки, сестры Шостаковича, и обаятельно простая и ласковая его мать угощали меня чаем. Очень дружная, трудовая была эта семья. Не хватало только отца Шостаковича. Портрет Дмитрия Болеславовича, умершего за несколько лет до нашего знакомства с Дмитрием Дмитриевичем, стоял на рабочем столе сына, и я, бывало, подолгу рассматривала его.

Дмитрий Шостакович показал мне Ленинград, который любил больше всех городов на свете. Он не покинул его и в пору жестоких испытаний, во время блокады.

Мы долго ходили по набережным этой слишком красивой и строгой, чтобы быть уютной для приезжего, северной столицы. Молодой композитор признался мне, что собирается жениться, и, волнуясь, заглатывая слова, рассказал о своей невесте, стараясь быть объективным, что недостижимо для влюбленных.

Когда в начале тридцатых годов, после нескольких лет пребывания за границей, я вернулась снова домой, в Москву, Шостакович был знаменит. Я знала об этом уже в Лондоне, где о молодом композиторе часто писали с похвалой и открытой заинтересованностью, как о блестящем даровании. Там же я слыхала на концертах его новые произведения, смелые, изумлявшие небывалым звучанием, ритмом, гармонией.

Еще в первые наши встречи в Москве Дмитрий Дмитриевич говорил о том, как хочется ему создать произведение, где главенствовать и вести сольную партию будут рожок, народная флейта — окарина и другие второстепенные инструменты. Он не оставил без осуществления свой замысел. В середине тридцатых годов Шостакович выглядел заметно возмужавшим, окрыленным, счастливым. Он был женат и окружен вниманием и почетом среди всех, кто любил музыку, известен в народе. Мы встре-

тились в гостинице «Националь» и долго говорили, стараясь преодолеть барьер лет, проведенных вдали друг от друга. Подводили итоги, загадывали на будущее. Шостакович многое уже сделал. Были им написаны опера «Катерина Измайлова», балет «Светлый ручей», музыка к различным кинофильмам, в том числе к «Юности Максима», соната для виолончели и фортепьяно, прелюдии и Первый концерт. Все, что творил Шостакович, поражало новизной, вызывало споры и прокладывало новые трассы в музыке.

Жизнь сложилась у нас с Шостаковичем по-разному. Скоро я надолго оказалась там, где не было музыки. Но она жила во мне, и я слышала, погружаясь в себя, симфонии многих композиторов, любимые квартеты Бородина и Чайковского, голоса певцов, арфы и виолончели. Нет, оторвать меня от музыки уже было невозможно, как вряд ли вообще мыслимо это, пока не наступает молчание смерти.

Имя Шостаковича за два десятилетия моего отсутствия прочно утвердилось во всем мире. Англия наградила его золотой медалью Английского королевского филармонического общества. Франция — званием командора ордена искусства и литературы, он стал лауреатом международной премии Яна Сибелиуса, почетным членом множества академий наук, почетным доктором Оксфордского университета и почетным профессором Мексиканской консерватории. Позднее он получил две высшие награды — Ленинскую премию и звание Героя Социалистического Труда.

Лишь в 1961 году встретились мы снова с Шостаковичем в Москве, как брат и сестра, как два старых друга. Я уже знала многое из того, что он создал за долгие годы моего отсутствия. В 1956 году в Джамбуле по радио я впервые услышала Седьмую симфонию. Ни одна книга, фильм о фашизме не производили на меня подобного впечатления. Только ворота Бухенвальда, камни Освенцима могут так ранить душу, пронзить сознание. Предсмертный стон и набат, роковой шаг фашизма и ликование освобождения, ад и рай, преступление и безгрешность, безумие и разум, мрак и свет — все отразил в своей гениальной симфонии Шостакович. Она шире одной какой-либо темы, это общечеловеческое и бессмертное повествование, как творение Данте.



Чем чаще слушаю я симфонии Шостаковича и проникаю в их сокровенные глубины, тем упорнее вспоминаю «Божественную комедию» бессмертного флорентийца и вижу сходство в их создателях. Тот же героический протест против зла, боль страдания, сокрушительный сарказм и призыв к добру и человечности.

Может быть, именно Седьмая симфония, столь потрясшая меня, привела к тому, что, вернувшись в Москву, четыре года я не искала встречи с Шостаковичем. Боялась разочарования, но это было напрасным страхом. Оба мы почувствовали, что остались прежними, такими, как быть должно. Время разлуки исчезло. Дружба восстановилась. Мы встречались отныне многократно, а разъезжаясь на время, переписывались. В письмах еще четче выявились характер Шостаковича, ясность его мысли, чистота чувствований. В январе 1962 года он писал мне из Москвы в Ялту о Вагнере. В это время я кончала роман «Вершины жизни» и много думала об отношении Маркса к великому творцу «Лоэнгрина» и «Кольца нибелунга».

«Дорогая Галя... — писал мне Шостакович. — ...Отвечаю на твои вопросы.

О Вагнере.

У Вагнера имеются гениальные страницы. Но много музыки просто хорошей, а иногда и посредственной. Таково мое мнение. Гением он не был (несмотря на некоторые гениальные вещи). «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Я разделяю это суждение Моцарта, которое приписывает ему Пушкин. Разделяю бесповоротно. Вагнер злодеем не был. Но злодейство довольно широкое понятие. Это не только убийство, клевета, ложь. Это фанаберия, нелюбовь к ближнему и эгоизм. Судя по твоему письму, Маркс относился к Вагнеру правильно, Вагнер был очень неприятной личностью, антисемит, реакционер, плохо относящийся к коллегам, самовлюбленный и т. п.».

Далее в том же письме Шостакович называет все значительные оперы, написанные композиторами в разных странах в семидесятые годы. «Из перечисленных выше всех надо ставить «Кармен», — заканчивает он.

Более двадцати замечательных писем Шостаковича хранится у меня.

В раздумьях о Вагнере сказался весь Шостакович, человек не только широких знаний и ума, безгранично талантливый, но и требовательный к своей совести и совершенный в справедливости.

Когда Дмитрий Дмитриевич сказал мне, что стал членом партии, я крайне удивилась, так как и в двадцатые годы уже не сомневалась, что он коммунист. Все самое передовое, идеи Маркса, Энгельса, Ленина, борьба за советскую идеологию волновали его, как каждого борца на баррикадах коммунизма.

— Ты просто оформил сейчас свою давнишнюю принадлежность к партии,— сказала я ему.

Не случайно музыку к боевым фильмам, фильмам-борцам, писал именно Шостакович. Одной из последних его работ была музыка к фильму «Год как жизнь», и выдающийся композитор стал также первооткрывателем в музыке о Марксе и Энгельсе, первым написавшим превосходную киносимфонию о первых коммунистах земли. Революционер в действии, в творчестве, он создал превосходную, бессмертную музыку о казни Степана Разина.

Ревностно служа в искусстве наиболее светлым идеям, Шостакович в то же время неутомимо отдавался общественной деятельности. Он всегда был с людьми. Тысячи тружеников различных профессий встречались с подлинно народным своим депутатом. Многие музыканты нашли в нем учителя и друга на всю жизнь. Низменные чувства зависти, неискренности никогда не допускал к себе беспокойный, ранимый, высоко несущий звание человека Дмитрий Шостакович.

Время не гасит, а раздувает пламень истинного таланта. Время — искус и проверка для писателя, композитора, ваятеля. Большой талант крепнет и щедрее одаривает своих современников, маленький — под дуновением лет, как под холодным ветром, чахнет и гаснет.

Судьба композиторов дореволюционной России, даже если они доживали до преклонных лет, была печальна. Мусоргский, Чайковский — гиганты-композиторы, так и не узнавшие счастья и полного признания при жизни. Только теперь раскрылись до конца их историческое величие и гений.

Шостакович был счастлив тем, что любим народом, дорог всему прогрессивному миру. Без этого признания и тепла трудно жить большому художнику.

Мы часто встречались и подолгу беседовали с Шостаковичем. Меня всегда поражало, как любит он поэзию, как следит за всем новым в литературе и искусстве. И каждый раз я чувствовала не только нежность к этому удивительному, многосторонне образованному и постоянно что-то приобретающему в знании человеку, но и дружеское преклонение перед неугасимым огнем его таланта.

## А. В. НЕЖДАНОВА И Н. С. ГОЛОВАНОВ

Мать брала билеты на несколько утренних оперных спектаклей в пору зимних каникул, если в моем школьном табеле не было троек. В ноябре я превращалась в смиренную и прилежную ученицу, так как близился прекраснейший из месяцев моего детства — декабрь. Предстояли день рождения, елка и, главное, посещение великолепной киевской оперы. Театр стал для меня осуществлением сказки, ее реальностью.

Дочь земского врача и учительницы, я росла в относительном достатке, но без всяких излишеств, очень скромно. Родители презирали роскошь, и, кроме дешевой, колючей венской мебели, никелированных кроватей и бабушкиного старинного глухого буфета, у нас ничего не стояло в квартире. Богатство состояло из книг на простых полках, пианино, полочки с нотами да вазонов с цветами.

В театре я попадала в царство золоченых барельефов, пунцового бархата, ярких фресок и необозримых сияющих люстр. Вокруг были расфранченные люди, и волнующе пахло духами. Белые с бретелями фартучки школярок, их банты, как раскачивающиеся колибри, на головах — все было таким праздничным, новым. Еще до того, как величественный занавес торжественно расступался, открывая сцену, я чувствовала себя перенесенной на иную, чудесную планету.

Театр с его пышностью и мнимой действительностью вполне отвечал необузданным детским представлениям о загадочном, большом окружающем мире, куда лежали дороги из детства. Сначала все было ошеломительно: музыка, голоса, краски, свет долго держали меня в плену. Позднее я интересовалась только сюжетом оперы, и

тогда звуки мешали и досаждали. Я хотела бы слышать слова и упиваться драматизмом либретто, а не все заглушающим оркестром. Мать предпочтительно выбирала сказки, и Римский-Корсаков с его Снегурочкой, Салтаном, Золотым петушком явился волшебником, заволовжившим меня до такой степени, что, возвращаясь домой, я все еще чувствовала себя сопричастной тому, что происходило на сцене, и однажды после «Града Китежа» слегла от возбуждения в постель и бредила всю ночь де-вой Февронией. Врачи посоветовали родителям отложить мне на полгода посещение театра. Несмотря на это запрещение, я была наполнена мелодиями и напевала то одну, то другую арию. «Сеча» в сказании о Китеже навсегда запечатлелась в моем мозгу, и я по мановению волшебной палочки — памяти — слышу ее, когда захочу, содрогаясь, как и в шести-семилетнем возрасте, от лязга невидимого металла.

В 1919 году, когда в Кисеве ненадолго после авантюры Скоропадского и поддержавших его немецких войск утвердилась советская власть, мать моя работала секретарем губкома. Ведала она и отделом искусств. Для меня это было превеликим счастьем — я могла получать без труда пропуска в театр, и особенно в оперу. Мы соревновались с подругами в коллекционировании оперных либретто и создали себе кумирни, населив их любимыми певцами.

Киев в эти месяцы, несмотря на гражданскую войну, подступавшие к нему банды, тяготы быта, достиг небывалого расцвета и накала в творческих исканиях и свершениях. В бывшем театре Соловцова шел незабываемый спектакль «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») Лопе де Вега. Режиссер Марджанов и труппа добились совершенства, и зал сопровождал действие бурными овациями. Я и позже не видела такого единения зрителей и триумфа всех исполнителей пьесы.

Никогда также в последующие годы не приходилось мне восхищаться красотой карнавала, охваченных энтузиазмом людей, как в день Первого мая 1919 года в старинном Кисеве. Лучшие художники, артисты, музыканты превратили весенний праздник в прекрасную феерию. Даже скептики отступили в этот яркий теплый день, когда Киев, украшенный цветами и листвой, пел, плясал и радовался. И снова талантливейший Марджанов был

одним из главных организаторов этого великолепия. Опыт великих, больших и малых революций разных веков и народов, весело и бурно отмечавших свою победу, был широко использован устроителями уличных балов и шествий, и еще раз Свобода отметила свой юбилей на земле.

Не только драматические театры, студии, симфонические оркестры были охвачены и подняты вихрем исканий и находок, многого достигла и киевская опера, где выступали мировые знаменитости, такие, как Собинов.

Я была ненасытным и очарованным зрителем прославленного театра на Большой Фундуклеевской, как называлась улица, где находился театр оперы и балета.

Нет ничего значительнее и превосходнее, нежели человеческое пение. Мы наслаждаемся голосом птиц, звуком прибоя и шумом леса, арфой и свирелью, роялем и виолончелью, всем хором симфонических и народных инструментов. Но голоса Шаляпина, Джильи, Карузо, Обуховой более всего сродни человеческому сердцу и вызывают неизменно ни с чем не сравнимое наслаждение и трепет. В годы отрочества я всегда затруднялась, не зная, кому же отдать предпочтение — басу ли Пирогова, баритону ли Мигая, колоратурным сопрано Барсовой и Степановой или меццо-сопрано Обуховой. С ней, впрочем, трудно было кому-нибудь соревноваться.

Когда я услышала Обухову в партии Кончаковны, восхищению моему не было предела. Голос ее, как тайга, завлекал, отключая от мелочных забот повседневности и всех огорчений. Он казался бескрайним и нетронутым. Стихией мощного, чувственно-земного звука Обухова навсегда осталась в моей памяти. Тогда же в Москве на сцене Большого театра пела Ксения Держинская. Ее ровное, без малейших раздражающих колебаний и шероховатостей драматическое сопрано звучало безукоризненно. Высокая, красивая, она создала убедительные музыкальные образы Ярославны и Лизы. Но была в ней некая холодность, может быть, чрезмерная сдержанность, и, наслаждаясь ее голосом, слушатель погружался в него, как в облако.

Третьей и самой совершенной в этом превосходном созвездии певиц послереволюционной поры, ставших, впрочем, знаменитыми до 1917 года, была Антонина Васильевна Нежданова. Контральто Обуховой не уступало

в богатстве тембра, нюансов и филигранной отделанности сопрано Неждановой. Обе были великими певицами, но актерский дар и мастерство «русского соловья» подняли Нежданову высоко на пьедестал. В ней в придачу к величественной наружности, отличной дикции была и предельная артистичность, то, чем так изумлял Шаляпин. Я видела его в Лондоне в тридцатых годах в «Борисе Годунове». Он умирал в финале так убедительно и страшно, что казалось, вместе с замирающим стоном си-нева покрывает лицо царя и стекленеют его глаза. И даже когда Шаляпин вышел раскланиваться публике, я на мгновение усомнилась в столь странном воскрешении. Так же, без всякого натурализма, просто, таинственно верно умирала Виолетта — Нежданова. То была не только искренняя игра, но и максимальное умение передачи музыкального рисунка. Мусоргский и Верди, несомненно, передали в самом звучании своих арий трагический смысл смерти, но только великие певцы могут донести самые значительные чувства композитора до слушателя, превратить суть мелодии в живое действие.

Выявлению редкой музыкальности, артистичности Антонины Васильевны помогали уникальные особенности ее голоса, его лучистый тембр, вдохновение, трудолюбие и многообразие врожденного таланта.

Я видела ее в разных ролях, и всегда она была иной. Эльза в «Лоэнгрине» или Антонида в «Иване Сусанине», Снегурочка и Людмила — все они не только чувствовали, но и выражали себя индивидуально. Мне казалось, что голос Неждановой менялся и звучал по-новому, хотя он сохранял ту же прозрачную ясность и так же светился.

В двадцатых годах московский Большой театр возглавляла женщина особого склада и большой культуры — Елена Константиновна Малиновская. Я познакомилась с ней на премьере «Князя Игоря».

Малиновская была немолодой полной женщиной с умными глазами, испытующе выглядывавшими из-под припухших век. Русые волосы, затянутые в пучок на затылке, черный шерстяной сарафан до щиколоток, белая кофточка и пуховый серый платок напомнили мне Надежду Константиновну Крупскую.

Смелее разглядев ее дородное розовое лицо чисто русской прелести, с правильными и сильными чертами, я вспомнила образ Марфы Посадницы и других даровитых

и отважных бунтарок, которых так много было на Руси. Чем ближе я узнавала доброго гения Большого театра — Малиновскую, тем больше уважала ее. Друг Горького, Луначарского и многих иных замечательных людей сияющей эпохи, неумный ходатай и преданнейшая, заботливая, только что не мать артистов, страстно любившая и профессионально понимавшая искусство, Елена Константиновна явилась большой удачей для того дела, которому беззаветно служила. Зоркий глаз Ленина и партии вряд ли мог подыскать в сложное время после Октябрьской революции лучшего стража и созидателя новых форм вечных ценностей музыки.

Она заботилась о каждом актере и печалилась его печалью. Когда у К. Г. Держинской родился ребенок и она снова начала петь после родов, Малиновская доби-лась для нее лучшего пайка. Не только большое и трудное хозяйство театра, его репертуар, но и быт певцов беспокоил комиссара. Елена Константиновна понимала, какой хрупкий и нежный дар — голос, и я видела ее настойчиво хлопотавшей о льготах, дровах, питании и отдыхе вокалистов. Ее трудам и энергии обязан Большой театр своей славой, сохранением лучших певческих сил, постановкой вошедших в историю спектаклей. С ней в дружеском общении трудились, чтобы возвеличить советский оперный театр, дирижеры Голованов, Гаук, Мелик-Пашаев, Файер, режиссеры Петровский, Сушкевич, Туманов, художники Рабинович, Сапегин.

В двадцатых годах Большой театр был средоточием музыкальной культуры Москвы. В нем выступали знаменитые иноземные дирижеры — Оскар Фрид и многие другие. На утренних концертах жадный до музыки слушательзнакомился с произведениями русской и зарубежной классики. Девятую симфонию Бетховена в феврале 1921 года, сидя в директорской ложе, слушали В. И. Ленин, Н. К. Крупская и М. И. Ульянова.

Постоянным посетителем всех дневных концертов был А. В. Луначарский. Он помогал нам должным образом оценить и понять жгучий темперамент Берлиоза и Мусоргского, напевность Сен-Санса, нечеловеческий пафос Скрябина и увлечение урбанизмом и ревом машин молодых композиторов Запада.

Большой театр был нам особенно дорог, так как слу-

жил трибуной для великих ораторов и местом, где собирались представители народа и партии на свои съезды.

Малиновская являлась не только собирателем и хранителем непрерывающихся традиций театра, но и политическим деятелем, так как нет искусства вне политики. Театр одерживал одну победу за другой.

Малиновская помогла созданию чудесного квартета имени Страдивариуса. Все исполнители играли на инструментах бессмертного мастера. Мы слушали с ней игру этого редкого ансамбля, и однажды скупые слезы появились на глазах Елены Константиновны, взволнованной творениями Бородина и Чайковского. Только музыка так действовала на строгую Елену Константиновну, женщину большой воли и работоспособности.

Я любила бывать на квартире Малиновской, в старинном доме, прежней конторе императорских театров, на углу Дмитровки и Камергерского переулка. В низенькой комнате со сводчатым потолком и толстенными стенами стоял рояль и красная, обитая кожей мебель, оставленная Малиновской братом великой русской актрисы — Федором Комиссаржевским. По странному стечению обстоятельств в тридцатых годах (я в это время писала книгу об Англии «Очная ставка») судьба свела меня с Федором Федоровичем, знаменитым театральным режиссером. Мы подружились, и в течение нескольких месяцев я даже брала у него уроки сценического искусства.

Обычно у Малиновской бывали не только артисты и музыканты, но и писатели, общественные деятели. Нередко появлялся там и играл замечательный виолончелист Кубацкий, пели Обухова, Держинская.

В те же годы Елена Константиновна летом жила близ Тарусы, в бывшем имении покойного художника Поленова, где исподволь устраивала дом отдыха для актеров. Дважды мы приезжали к ней туда, на живописный берег Оки, где в красивом доме все хранило память об одном из чудесных русских художников.

С утра после купания мы отправлялись в лес за грибами, солить которые Малиновская была мастерицей. Вечерами в гостиной устраивались импровизированные концерты. Балерина Кандаурова охотно показывала обязательные ежедневные упражнения танцовщицы. Кубацкий волновал нас своей вдохновенной и умной игрой, кто-либо из певцов пел. Допоздна засиживались мы в



приятельских беседах о новых театральных постановках. Малиновская жила в маленьком флигельке и отличалась хлебосольством.

Там и познакомила меня Малиновская с Неждановой и Головановым, и вскоре они побывали у нас дома. Я увидела приятных, без намека на высокомерность, людей. У нас было много пластинок прославленных дирижеров — Тосканини, Коутса и других. И вдруг, не знаю каким образом, за ужином кто-то из гостей поставил хоровую тогда пластинку «Персидский базар». Большое, немного плосковатое, крестьянское, смышленное лицо Голованова внезапно побагровело, он сдвинул неровные брови и не мог скрыть страдальческой гримасы. Я перевела глаза на красивое лицо Неждановой. Она опустила глаза и отставила тарелку.

— Какая ужасная музыка, какая пошлость! — вдруг в сердцах выпалил Голованов и, уже несколько не сдерживаясь, закрыл руками уши.

Кто-то вскочил из-за стола и остановил диск патефона.

— Ух, я способен был сбежать отсюда, чтобы не заболеть, — немного смущенно сказал, все еще пылая, известный дирижер.

— Не лучше ли избавиться от такой пластинки? Она ведь опасна тем, что портит вкусы, как всякая подделка, — сказала, облегченно вздохнув, Нежданова. — После Брамса и Глазунова подобная музыка способна вызвать взрыв. Это, право, несоединимо.

Мы мирно продолжили ужин, но этот случай явился мне уроком. Узнав, что я, как журналистка, уезжаю за рубеж, Нежданова дала мне письмо к своему другу маэстро Ванци, одному из лучших преподавателей и знатоков вокала, живущему близ озера Лаго-Маджоре в Италии. Не раз Нежданова и ее муж гостили у этого весьма чтимого среди певцов музыканта.

Но побывала я у него не скоро, так как поселилась в Лондоне и начала брать уроки у известного учителя пения Манлио Дивероли, покинувшего Италию в знак протеста против фашистского режима Муссолини.

Есть в Лондоне зеленая возвышенность Примроз-хилл, где забываешь, что рядом бурлящий, неприветливый город. Коттеджи, окруженные полянками, малы и пезатейливы. Два-три деревца не мешают солнечным лучам

шнырять среди низких насаждений и забираться в окна этих двухэтажных домиков с деревянной лестничкой, ведущей из узкого холла на второй этаж. В полуподвале расположена кухня, на первом этаже — столовая и гостиная, на втором — две спальни. Все комнаты обычно удобны и просто обставлены.

У Дивероли наверху была так называемая студия. Там подле подмостков для певца находился рояль. Кроме нескольких стульев и на стене большого портрета Джузеппе Верди, в рабочей комнате ничего не было.

Быть принятой на пробу к маэстро оказалось нелегко, но моя аккомпаниаторша, милая, сдержанная и очень музыкальная Елена Юльевна Каган, мать Эльзы Триоле и Лили Брик, помогла мне в этом. Мы приехали с ней в сумерки, обе заметно волнуясь в ожидании приговора столь авторитетного специалиста.

Маэстро Дивероли оказался низкого роста, очень толстым, пузатым господином с предобродушной, лоснящейся, круглой физиономией. Ничем не походил он на служителя муз, хотя всю свою жизнь посвятил музыке. Ученик Баттистини, первоклассный пианист, он исполнял все арии так, что казался сам голосистым певцом. Когда его хвалили, он шумно смеялся и говорил:

— А ведь у меня нет никакого голоса, но я музыкант, и в этом-то мое искусство. Я точно воспроизвожу все звуки, но не пою. Жаль, что вы не понимаете сути. Преподаватель пения вовсе не обязан быть певцом, но он обязан быть музыкантом, как настройщик роялей не может ничего сделать, если у него нет хорошего слуха. Плохо, когда учат других певцы, сами потерявшие голос. Настоящий вокалист никогда, до смерти, не лишится голоса, он может потерять силу, яркость звучания, но истинное мастерство — это умение петь до глубокой старости, пусть без былого блеска. Голос долговечнее человека. Старики нередко обманывают молодостью голоса, по телефону, например. Теряют голос те, кто срывает голосовые связки, подменяя криком пение, неумело пользуясь дыханием.

Дивероли пригласил нас в студию и заставил меня подняться на возвышение и под аккомпанемент Елены Юльевны петь арию Тоски. Мне показалось, что я владею голосом отлично и с такой мощью, что вот-вот сорву потолок маленького дома и удивлю звезды. Маэстро пе-

рестал улыбаться, и на его пухлом веселом лице средневекового мушкетера застыло величайшее недоумение. Внезапно он жестом остановил меня и поспешно вышел из комнаты. Вернулся Дивероли со своей женой, синьорой Шарлоттой, тоже низенькой, толстой, румяной, немецкого типа женщиной с большой рыжей копной волос на голове.

— Продолжайте,—скомандовал, усадивши рядом с собой синьору и погрузившись в слух и зрение, Дивероли.

«Вероятно, я пою хорошо»,—подумала я и громоподобно начала «Плач Ярославны». Голос мой вырывался из груди так могуче, что я как бы поднялась на нем ввысь.

Дивероли встал, подошел ко мне, заглянул в мое горло и, широко раскинув короткие руки с подвижными пальцами, воскликнул:

— Вот так луженая глотка! Подумай, Шарлотта, так кричать и не сорвать голосовые связки — это же чудо!

Я стремительно упала с высоты самомнения, но, совладав с собой, робко спросила:

— Значит, голоса у меня нет, господин Дивероли?

— Этого я пока не знаю. Но вы своеобразный феномен... крика. Я, пожалуй, несмотря ни на что, буду заниматься с вами, интересно, что может получиться, если эта силища войдет в русло.

Так я стала ученицей недосягаемого Манлио Дивероли, давшего миру немало певцов.

Его преподавание было для меня во всех отношениях полно необычайного интереса. Дивероли жречески любил вокальное искусство и непрерывно совершенствовался. Он не признавал стандартов в обучении пению и для каждого ученика писал специальные вокализы и упражнения. Он научил меня дыханию, или, как говорил сам, вернул мне то, что знают дети и теряют взрослые из-за поясов, лиффов и затянутой талии. Главное, чего он хотел от всех нас, посещавших его студию, чтобы пение превратилось в потребность и радость, как у птиц, а не утомляло и не вызывало напряжения и провала звука либо визга на трудном пассаже. Он не понимал определения «колоратурное сопрано», объясняя, что колоратура — это подвижность и техника, без которых не может обойтись ни один голос, будь то бас, баритон или меццо-сопрано.

— Бельканто<sup>1</sup> — блаженство для поющего и слушающего. Купол гортани — вот где формируется звучание. Ищите постоянную опору для каждой ноты — она где-то очень высоко в мозгу, — говорил маэстро.

Он писал для нас не только упражнения, но и песни, чтобы незаметно преодолеть дефекты и укрепить знания.

— Учиться пению надо всю жизнь. Певец — тот же инструмент, нельзя не проверять все регистры, подтягивать струны, находить точность тона. Мы, преподаватели, сначала учим, а затем становимся настройщиками, камертоном для наших учеников.

Два года я училась у Дивероли и постепенно постигла его науку. Партии Аиды, Тоски, Лизы и Чио-Чио-Сан были готовы. Я получила приглашение выступить по Лондонскому радио. Дивероли не мог скрыть своего торжества и волнения, когда я пела под его аккомпанемент в затянутой серым сукном радиостудии. Позднее он заставил меня выступить в большом концерте в одном из музыкальных залов английской столицы. Пресса отнеслась к нам благосклонно, и Дивероли начал готовить большое турне по разным странам. Но меня властно звала к себе иная профессия — журналистика. Она привела меня в Рим, где я недолго, однако, брала уроки у Чеккини и лишь затем с письмом Неждановой добралась и до Ванди. Я нашла его в собственной вилле на озере Лаго-Маджоре. Удивительно было то, что каждый из мастеров вокала преподавал в той же манере, что и Дивероли. Я убедилась, что есть одна, единая, верная школа пения, такая же, как любая иная наука, в которой многое испытано, выверено.

Когда, вернувшись Москву, я пришла к Голованову и Неждановой, жившим в одном из переулков между Тверской и Никитской, и рассказала им о том, как меня учили, они подтвердили этот же вывод. Мазетти, учитель Неждановой, передал ей свои знания вокала, пользуясь тем же методом.

Был 1933 год. Николай Семенович Голованов решил заниматься со мной и пройти партию Ярославны из оперы «Князь Игорь». Нежданова всегда присутствовала на

---

<sup>1</sup> Блестящий, легкий и изящный стиль пения (от *ит. bel canto*, б у к в.: прекрасное пение).

наших уроках. Она приходила из своей квартиры, соединившейся с комнатами Голованова внутренней лестницей. В холодные дни на ней бывала кацавейка на меховой подкладке или теплая шаль. Если она чувствовала себя здоровой, то охотно пела. Трудно было представить себе большее совершенство, нежели пение Неждановой. За этим крылись годы настойчивого, упорного труда, преодоление всех препятствий и полное подчинение своей воле всего физического вокального аппарата. Каждое слово арии и песни также звучало в ее устах совсем по-новому, неожиданно и убедительно. Я снова слышала и видела не только великую певицу, но и великую актрису.

Нежданова охотно вспоминала свое детство на певчей и ласковой Украине, в селе неподалеку от Одессы. Солнечный, прекрасный край, народные песни, то грустные, то веселые, дружная семья — таковы были первые впечатления ее жизни. Отец и мать учили крестьянских детей в деревне Кривая Балка. Оба сочувствовали передовым, смелым социальным идеям беспокойного поколения бунтарей. В труде своем видели они высокую миссию просвещения и борьбы с царским произволом. Любовь, лад, доброжелательство в доме благотворно влияли на Антонину Васильевну, сохранили ей оптимизм, подготовили к жизненным испытаниям.

Отец Неждановой хорошо играл на скрипке, и под аккомпанемент именно этого очень требовательного и точного инструмента пела она в детстве незамысловатые мелодии. Мать ее также отличалась незаурядной музыкальностью. Девочка унаследовала от нее превосходный, абсолютный слух, без которого нет настоящего певческого дара.

— Чтобы быть певицей, — не раз говорила мне Нежданова, — мало иметь хорошие голосовые данные, главное — слышать себя и никогда не детонировать.

Те же мысли высказывали Дивероли и Ванци.

Жизнь в селе, постоянное общение с народом, знание его чаяний и нужд воспитали в Антонине Васильевне черты глубокого социального гуманизма, простоту в обращении и отзывчивость. Будущая народная артистка любила природу и деревню, в них нашла она клад песен и музыки. Особенно ощутимой становилась неразрывная душев-

ная связь Неждановой с народом, когда незабываемо волнуяще исполняла она такие жалобные простые песни, как «Потеряла я колечко». Репертуар Неждановой был разнообразен и всегда освещен талантом: в этом она также напоминала Шаляпина.

В своей недописанной автобиографии Антонина Васильевна признавалась:

«...Меня привлекала красота, проявлявшаяся во всем: в природе, в неодушевленных предметах, в людях. Ко всему красивому я не могла относиться равнодушно, спокойно... Живя в деревне, девочкой, я была однажды поражена какой-то особенной красотой заходящего солнца, какими-то необычайными его лучами и красками неба. Не в силах выразить своего восторга, я упала на колени, молитвенно сложила руки и в экстазе стала кланяться солнцу до земли».

Чувство любви к прекрасному остро проявлялось в Антонине Васильевне. Она могла подолгу любоваться цветами, предметами искусства и людьми. Однажды мы вместе пошли на концерт гастролировавшей в Советском Союзе артистки Липковской, еще в начале революции уехавшей за границу. Меня тронула неподдельная радость Неждановой, когда певица, тоже сопрано, пела что-либо удачно.

— Как она еще хороша во всех отношениях, — повторяла Нежданова, и ее лицо освещала ласковая улыбка.

Несмотря на чувствительность, мягкость, женственность, Нежданова в труде доказала большую целеустремленность. Уже в двенадцать лет, вопреки воле родителей, не желавших, чтобы она стала актрисой, начала она учиться в музыкальной школе, посещая одновременно и гимназию. Она отличалась красотой и стройностью и грациозно танцевала. Ей предрекали славу балерины. В те же годы рисунки Неждановой как лучшие в классе были посланы в Академию художеств и обратили там на себя внимание. Она легко могла стать художницей. Ее способности к декламации были поразительны. Она хорошо играла на сцене уже в юности. И в пору нашего знакомства я с удовольствием слушала ее живую и остроумную речь. Казалось, что, как в сказке, в ее колыбель все музы положили щедрые дары и призывали ко всем видам иску-

ва. Нередко, впрочем, талант многогранен. Нежданова всегда любила поэзию, хорошо знала русскую и французскую литературу и, читая на нескольких языках, следила за всем выдающимся в мире. Она была интеллигенткой в самом широком понятии этого слова и отличалась своеобычностью и прямоотой суждений. Подобно Собинову, Шаляпину, Мигаю, замечательная певица была интересным, сложным человеком. Мечтательница с яркой фантазией, она тянулась к таинственному и загадочному.

Окончив гимназию и работая учительницей, Нежданова, преодолев бесчисленные барьеры, поступила в Московскую консерваторию, к профессору Умберто Мазетти. Вспоминая об этом выдающемся преподавателе, она пишет:

«...Мазетти обладал большим педагогическим талантом и сам прошел прекрасную вокальную школу. Я постоянно присутствовала на всех его уроках, так как, хорошо владея французским языком, помогала ему объясняться с учениками... Огромное значение мой педагог придавал общему режиму жизни и ежедневным занятиям по вокалу. Так же, как исполнитель-инструменталист каждый день должен упражняться на своем инструменте, певец обязан повседневно тренировать свой голосовой аппарат, дыхание и т. д., иначе он никогда не добьется гибкости и ровности голоса, безукоризненной техники, никогда не создаст прочной основы для выполнения своих художественных намерений».

Выступления молодой певицы покоряли всех, кто ее слушал. Скрябин бывал на каждом ее концерте и предсказал Неждановой неувядаемую славу.

В 1902 году она появилась впервые на сцене московского Большого театра и сразу же заняла в нем то место, которого заслуживало ее необычайное, разностороннее дарование, виртуозное вокальное и сценическое исполнение, многокрасочная палитра, чудной прозрачности и вместе силы высокий, сладостный голос. Все это производило незабываемое впечатление. Она сразу же обрела любовь слушателей и стала первой певицей России, заслуженной гордостью своей Родины.

Большая певица обязательно целомудренна, аскетич-

па, как весталка. Искусство не терпит низменной греховности и жестоко мстит своим избранникам. Быт актрисы был прост, размерен, строг. Дирижер Голованов преклонялся перед величием дарования своей жены и не раз говорил мне, что нет покуда певицы, равной Неждановой ни по голосу, ни по культуре и совершенству исполнения. Их союз казался мне счастливым и гармоничным. Музыка была божеством для обоих.

Николай Семенович, страстный за дирижерским пультом, любил мощную стихию звука и требовал от каждого оркестранта той же бури, которой был охвачен сам. Его коренастое, сильное тело, когда он поднимал дирижерскую палочку, как бы пронизывали молнии, испытывали бураны. Оркестр, слившись воедино, то взрывался и грохотал, как волны, налетающие на скалы, то вздыхал, жаловался и, наконец, триумфальным аккордом побеждал все, даже смерть. Дирижер был создан для великих, вселенских катаклизмов. Камерная музыка ему оставалась чуждой. Этот самородок из народа любил штормы в музыке. Слипшиеся от пота волосы обрамляли лицо и затылок Голованова во время концерта, он как бы сам вселялся в инструменты, которые направлял в нечеловеческом порыве. То он вытягивался, как флейта и смычок, то, скидывая большую голову, растворялся в грохоте барабана. Антонина Васильевна понимала, что оркестр был его душой, его «я».

После окончания симфонического концерта, меняя рубашку, тяжело дыша, Голованов все еще оставался в мире звуков. Об этом мне говорила Антонина Васильевна.

Счастливы те, кто познал до конца душу искусства и нашел себя в творчестве. Нежданова и Голованов до дна испили чашу наслаждения музыкой и в той же мере щедро одарили ею своих слушателей.

После того как А. М. Горький решил мои сомнения и я, не без боли и колебаний, отказалась от мысли стать певицей, мои уроки с Н. С. Головановым прекратились. Искусство ревниво и деспотично. Литературный труд захватил меня целиком. Я почти не бывала в оперном театре, но по-прежнему благоговела перед нестареющим талантом Неждановой и крепнущим дирижерским мастерством Голованова, которых слушала на концертах и по радио.



Как-то после обеда в доме на углу Спиридоновки Алексей Максимович Горький попросил меня остаться для разговора о сотрудничестве в журнале «За рубежом». Задержался еще один из многочисленных гостей, обедавших в этот день в гостеприимной семье великого писателя.

— Познакомьтесь — Галина Серебрякова, — сказал Алексей Максимович, называвший меня всегда по имени и по фамилии одновременно. — А это Замков, мой тезка, Алексей, по батюшке Андреевич, могучий исцелитель. Запомните его, паче чаяния захвораете, лучшего лекаря не сыскать.

В это время Замков ловко, уверенно вводил под кожу своего великого пациента лекарство, затем снял иглу, разобрал шприц, уложил в стерилизатор и спрятал его в карман. Все это делал он не торопясь и, широко улыбаясь, объяснял, в чем сила созданного им препарата — гравидана. Я подумала о том, как могуществен медик, умеющий не только врачевать, но и внушать больному веру в полезность применяемых им средств.

Замков принадлежал к драгоценной когорте чародеев-медиков, страстно любящих свою самую человеколюбивую профессию.

Хорошей наружностью наградила природа Алексея Андреевича. Был он невысоким богатырем, с широкой, стройной шеей, с чистым, румяным, красивым крестьянским лицом, знакомым нам по литографиям и картинам из народного быта. Хотелось видеть его в белой косоворотке навывпуск, перехваченной шнурком, в добротных смазных сапогах. Темно-серые глаза Замкова отражали доброту и недюжинный ум. Руки у него — ловкие, уверенные, жадные к работе, руки умельца.

Между первой и последующими встречами с Замковым прошло более года. Молодость в ту пору застраховывала меня от частой надобности в помощи врачей. Но значительно позже случилось мне надолго занедужить. В поисках здоровья вспомнила я о словах Горького и позвонила его секретарю Петру Петровичу Крючкову, которого все мы звали сокращенно Пепекрю. От него узнала

адрес Замкова и пригласила его к себе. С той именно поры нашла я не только исключительного врача, но и друга. Вскоре Алексей Андреевич познакомил меня со своей женой — известным скульптором Верой Игнатьевной Мухиной, и мы очень сблизились семьями.

Редко можно было встретить более согласных и любящих друг друга людей, нежели Вера Игнатьевна и ее муж.

Алексей Андреевич в соответствии с желанием отца — а рос он в строгой крестьянской семье — должен был стать приказчиком и готовиться в купцы. Поздно удалось ему сбросить тягостные вериги мелкой торговли и окунуться с головой в учебу, о которой мечтал с детства. Любила я слушать его рассказы об этой напряженной поре исканий и осуществленных желаний. В несколько лет нагнал он упущенное, сдал экстерном гимназический курс и поступил в университет. Призванием его всегда была медицина.

Он хотел стать врачом. Так музыканта влекут к себе звуки, писателя — перо. Каждый человек в глубинах души своей несет тоску по ему одному присущему делу, тому, что раскроет мощь душевных сил и даст творческое удовлетворение. Беда не пойти своим, особым путем, а избрать профессию по расчету, инерции, случайности. Тогда она, как нелюбимая жена или муж, будет самым тяжелым и мучительным грузом жизни.

Замков нашел себя и цель бытия в медицине. Когда в день получения диплома он принес присягу, каждое слово ее о служении людям и борьбе за их жизнь было для него священным. Таким же врачом по зову сердца был и мой отец. Не случайно он и Замков часами говорили о войне со все еще таинственными недугами. Казалось, что ведут беседу два бойца на привале, готовые ринуться врукопашную и, если нужно, лечь костями ради победы.

Отец мой — инфекционист — не упускал в жизни случая сразиться с эпидемией холеры, тифа и даже ездил уничтожать вспыхнувшую чуму. Замков был хирургом. Он работал в военном госпитале. Там и сейчас о нем вспоминают как о большом таланте в своей области, самоотверженном и храбром. Человек, для которого наука то же, что для поэта поэзия, всегда первооткрыватель, творец. Талант и пытливость неотделимы. Крестьянский сын Замков, в двадцать семь лет едва приблизившийся к науке, раздумывал над каждой «историей болезни», этим

грустным слепком с чьей-то жизни, как полководец над картой сражений.

Свою жену, большого скульптора Мухину, он спас от воспаления почек, когда не оставалось уже никакой надежды. Вера Игнатьевна многократно рассказывала мне о смелости, с какой он лечил ее не по обычным медицинским канонам. Когда сын их Всеволод слег с туберкулезом кости, Замков ввел в пораженное место йод. Он применил также лечение грудным женским молоком — могущественным средством жизни, испробовал множество лекарств и в конце концов добился выздоровления сына. Эксперименты Замкова в области хирургии были поразительны. Как всякий начинающий, он иногда терпел неудачи, но зато и приходил к неожиданным и важным открытиям.

Вера Игнатьевна понимала творческое беспокойство мужа и безоговорочно верила в него как в ученого.

В тридцатых годах, когда мне довелось впервые побывать в гостях у Веры Игнатьевны и ее мужа, они жили в особняке подле Красных ворот. Там у Мухиной была светлая и обширная студия. Все мы видели великолепную скульптуру Мухиной «Крестьянка», вызвавшую восхищение не только в России, но и на выставке скульптуры в Венеции.

— А руки-то у моей крестьянки по самые локти точь-в-точь как у Алексея Андреевича, — поведала мне ваятельница.

Я любила бывать у Мухиной и очень обрадовалась, когда она предложила позировать ей для портрета.

— Глаза я вам вставляю из эмали, как это делали на своих скульптурах египтяне, — сказала она однажды.

Невысокая, темноволосая, с женственными и вместе сильными руками, с полным, редко улыбавшимся лицом, с густыми характерными бровями, Вера Игнатьевна казалась мне строгой, замкнутой, требовательной к себе, фанатически отдавшей искусству. Узнавая ее ближе, я все больше ощущала эту особую одержимость прекрасным, присущее таланту неудовлетворение достигнутым и терзающее трудолюбие.

В студии Мухиной среди других начатых работ стоял превосходно исполненный бюст молодого Пушкина.

Мне он казался безукоризненным, а Мухина говорила с досадой и тоской:

— Нет, не то. Плохо. Не то.

Над образом Пушкина она много и упорно работала. В то время умер мастер вокала, великий русский тенор Собинов, и Вера Игнатьевна начала рисовать, а затем и претворять в мраморе символического лебедя для его надгробия. С большим воодушевлением воскресила она в камне покойного Максима Пешкова, сына Горького, которого в жизни никогда не видела, и, однако, достигла такого совершенства в раскрытии его внутреннего и внешнего облика, что Екатерина Павловна Пешкова сказала, залившись слезами, что Мухина вернула ей на мгновение сына.

Я всегда чувствовала себя по-особенному счастливой в студии Мухиной. Населявшие ее статуи и бюсты, казавшиеся погруженными в раздумья, оживали. При каждой новой встрече они менялись в моем представлении. На цоколе обычно стояло чье-то еще влажное, закутанное в мокрую материю изваяние либо бесформенная глыба, интригующая, как лицо под маской. Я подолгу наблюдала работу Мухиной. Вера Игнатьевна мяла темную массу, сглаживала шпателем неровности. Постепенно под настойчивыми, волевыми пальцами ваятельницы сдавалась глина, и вот появлялся человек, которого я знала. Ото дня ко дню памятник приобретал монументальное величие, которое уходит в века, господствуя над временем.

Руки Веры Мухиной, крепкие, как у молотобойца, и тонкие, как струны, всегда что-то создавали. Однажды мы поехали зимой за город и вышли в лесу, густо осыпанном снегом. Вера Игнатьевна, в простом пальто, платке, валенках, на первый взгляд ничем не примечательная русская женщина, вдруг прикасалась к крутому снегу — и вот мы видим белую голову Пушкина, торс, достойный резца Родена, голову старика, точно сошедшего с папских надгробий Микеланджело. Не раз я замечала за столом, как умные пальцы скульптора непроизвольно лепили из хлебных катышков таинственные фигурки, похожие на Перуна и других древнерусских божков.

Вера Игнатьевна Мухина любила прекрасное в природе и особенно в человеке. Она лепила лучшую балерину Большого театра тридцатых годов, безупречно сложенную Марину Семенову, и выбирала самые трудные движения,

чтобы победить неподвижность камня и бронзы, статичность формы.

— Мне хочется воссоздать Марину в танце,— говорила Мухина и показывала десятки фотографий натуры в момент самых трудных физических упражнений.

Уже тогда искала она натурщиков для своей выдающейся скульптуры «Рабочий и колхозница». И нашла достойные прототины в меньшем брате Замкова и его жене. Люди эти были не только прекрасны внешне, но и богаты душевно. Они героически сражались потом на Отечественной войне. Сергей Замков, прототип рабочего, отстреливаясь до последней пули, погиб в подожженном гитлеровцами танке, жена его ненадолго пережила утрату.

В «Рабочем и колхознице» Мухиной удалось создать то, о чем она мечтала,— стремительность, движение, порыв.

В тридцатые годы, когда я постоянно общалась с Верой Мухиной и Замковым, в их доме бывало много молодежи: друзья и ученики обоих супругов. Мухина, проповедовавшая в ваянии высокую технику, была яркой приверженкой реалистического искусства. Не раз она говорила мне, что наиболее трудным является именно реализм как метод для художника.

— Чтобы достичь совершенства, нам надо изучить анатомию не хуже медиков, затем историю искусств всех веков и стран и помнить, что Россия уже имела блестящих ваятелей — великого Шубина и Антокольского.

Вера Игнатьевна рано приобщилась к сокровищам мирового искусства и получила основательное образование. Редко видела я женщину, знавшую историю живописи и ваяния глубже, нежели Мухина.

Часами мы говорили с ней о совершенстве античного мастерства, о величии Микеланджело, прелести Каповы и философском гении Родена. Мухиной я обязана счастьем познания многого, о чем мечтала. После звуков ничто не доставляло мне такого наслаждения в безбрежности мира прекрасного, как скульптура — эта беззвучная музыка вечности.

Вера Игнатьевна закончила мой портрет, но что-то не понравилось ей в чертах лица, и она потребовала, чтобы я приехала в студию еще несколько раз. Я отлынива-

ла. Суетливая ежедневность и занятость молодости заставляли меня откладывать встречу. Алексея Андреевича я видела значительно чаще, так как он был врачом, лечившим всю мою семью. Чем бы ни болели, мы не обходились без него. Он не умел быть равнодушным к чужой беде и мог часами оставаться подле нуждавшегося в его помощи человека, хотя сам был очень занят другими делами. Никогда не лечил он больных одним и тем же лекарством, по стандарту, понимая, что каждый организм индивидуален и складывается из условий жизни и первых нагрузок, а также множества уже перенесенных болезней, наследственности. Замков не уставал расспрашивать пациента о его ощущениях, проверял причину заболевания. Он чутко прислушивался к тому, что уже найдено многовековым опытом народа, испытывал действия трав и тщательно обдумывал химические смеси. Такими лекарями, вероятно, были полупоупендарный Эскулап, гениальные Гален, Авиценна, позднее Пирогов, Захарьин и многие не отмеченные историей, скромные врачи по призванию, по врожденному таланту.

Еще одно магическое средство было у Замкова — слово и подход к больному. Ученик Павлова, материалист, он знал, что слово всемогуще. Я не раз слушала с нарастающим чувством уважения, как осторожно, умно, подчас с добрым юмором он говорил с пациентами, рассеивал их страх, врачую душу. Хворые уходили обнадеженными, готовыми с новой силой бороться и, как знать, может быть, побороть подчас грозный недуг.

Для того чтобы понять человека до конца, приобщиться к его заветному внутреннему миру, нужно испытание, большое потрясение, трагический случай.

Летом 1936 года в моей семье случилось большое горе. Первым, кто пришел тогда к нам, обласкал моих детей, меня и мою мать, были Вера Игнатьевна и Алексей Андреевич...

Когда после двадцатилетней разлуки с Москвой я опять появилась в ней, ни Мухиной, ни ее мужа уже не было в живых. Я посещаю их могилы на Ново-Девичьем кладбище и часто вспоминаю этих столь разных и вместе с тем столь схожих людей, проживших жизнь подвижнически. Мухина всю себя отдала воссозданию прекрасного, Замков самоотреченно жертвовал всем ради науки, относясь к ней как к подлинному искусству.

Монументальная скульптура, бессловесная симфония вечности, покоряет нас с детства; мы учимся понимать искусство древних Эллады и Рима, Египта, Индии, Китая, Бирмы и Вьетнама.

В дереве, камне, бронзе она переходит как святыня из поколения в поколение, становится предметом поклонения и вдохновляет человечество.

Мы мечтаем о древнем Ниле, навсегда очарованные Сфинксом, мы восхищаемся пагодами с редчайшими изваяниями так же, как языческими храмами более поздних времен, где стояли мраморные боги и герои, научившие нас понимать и любить прекрасное, созданное гением человека.

В Италии я торопилась увидеть бессмертное олицетворение вечной юности в Давиде и философской мощи старости в Моисее Микеланджело. Рассвет и закат, старость и мышление, приход и уход, суть жизни и смерти терзали неистового, противоречивого и великого флорентийского ваятеля.

Прекрасны скульптуры Кановы в римской вилле Боргезе, совершенны в своей красоте творения безымянных античных ваятелей в флорентийских дворцах и музеях, но все они будто камерная музыка по сравнению с громадой симфоний Микеланджело. Его монументальность, искания, свершения ошеломляющи. Тесно было ему на земле, и, если обычному скульптору достаточно камня и бронзы для превращения в памятники героям, Микеланджело, вероятно, хотел бы воплотить величие людей и событий, подчиняя себе горы и скалы. Такова душа ваятеля.

Художники мыслят разными масштабами. Одни, подобно ювелирам, гранят самоцветы, погружаются в изучение деталей и открывают тончайшие, как крыло бабочки, душевные покровы, другие разрезают пласты земли и рвутся в небо...

Пером или звуком, кистью или резцом воплощает гений свой замысел, мечту, тоску и радость — все, что созревает в нем для отдачи, как электрический заряд в грозовой туче.

Я познакомилась с могучим творением Вучетича в Берлине, когда шла по Трептов-парку к статуе советского воина.

Видимо, чувства, поднимающиеся в нас при чтении замечательной книги, у картины большого художника, во время исполнения совершенного спектакля или истинно превосходной музыки, чем-то сходны. Волнение, глубокая поглощенность, когда забываешь о самом себе и подчиняешься магической воле художника,— такое волнение испытала я, двигаясь навстречу гармоничнейшему творению. Мать-Родина, коленопреклоненный воин, аллея саркофагов в своем вечном отчаянии и молчании более громком, чем вопль, перенесли меня на поля сражений всех веков, так велика сила обобщения у Вучетича. И только победивший солдат с ребенком над братской могилой как бы вернул мне понимание того, что война, о которой рассказывают изваяния, принесла спасение для планеты.

Этот памятник, ставший доподлинно народным, увековеченный на медали в ознаменование двадцатилетия победы над фашистской Германией, на юбилейном серебряном рубле, на множестве эмблем, естественно, возбудил во мне глубокий интерес к его создателю.

...Превосходным кажется мне исполненный Вучетичем монументальный памятник генералу Ефремову в многострадальном городе Вязьме.

Судьба прославленного полководца хорошо известна народу. Командующий 33-й армией М. Г. Ефремов, несмотря на тяжелое ранение, продолжал стоять насмерть, а когда угроза плена стала неминуемой, последней пулей убил себя. То было в тяжелейший первый год войны.

У каждой скульптуры, как и у книги, есть своя цель, идея. Вучетич легко достигал того, к чему стремился. Он создал великолепную оду бесстрашию и патриотизму, героической самоотреченности, победе над страхом и смертью.

Ефремов свято соблюдал традиции Суворова и с солдатами держался на равной ноге. Раненный в бою, он продолжал сражаться, преодолевая острую боль. Перед скульптором встала нелегкая задача воссоздать образ воина именно так, чтобы каждому было видно, как подавляет он железной волей страдание.

Вучетич рассказывал об этом:



— Вот зачем я ввел в композицию солдата, который поддерживает физически слабеющего командира. Чтобы острее передать напряжение боя и готовность погибнуть, но не сдаться оказавшейся в окружении группы смельчаков, пришлось изваять еще нескольких бойцов. Солдат приготовился бросить свою последнюю гранату, автоматчик отстреливается от наседающего с тыла противника в тот момент, когда Ефремов рвется вперед. Но этого оказалось недостаточно. Главное дается нелегко. Все останется мертвым, если скульптор не найдет идейно-художественный стержень, глубинную сущность произведения. Тут-то и начинаются бессонные ночи, постоянно терзающее беспокойство. На помощь мне пришли память, опыт. Из подсознания встали, казалось, забытые фронтовые эпизоды. Наступление. Подле меня упала и взорвалась мина... Осколки ее пробили мою шинель, смертельно ранили юного лейтенанта. На мгновение я остановился... И вот он воскрес передо мною с запавшими, стекленеющими глазами, как бы видящими что-то очень значительное, скрытое от меня. Чего он хотел? Последнего выстрела. Я видел, как силился он поднять пистолет, но рука безнадежно отяжелела... Так появилась пятифигурная композиция, и памятник нашел для меня свое смысловое значение. Постоянная борьба и победа жизни над смертью.

В этом признании весь сжигаемый творческим огнем Вучетич.

Ленин подписал декрет о монументальной пропаганде через несколько месяцев после победы Октября, предложив средствами искусства донести до народа величие наших дней. В монументах Владимир Ильич видел могучих просветителей, возвращающих мысль к подвигам истории, к подвижникам в революции и науке. Он знал, что любовь к искусству — путь к культуре.

Немало отличных скульпторов появилось на советской земле, и каждый из них отличается своим особым видением и манерой созидания.

Таковы Кербель, Томский и другие, близко знакомые народу и полюбившиеся ему. Им, маститым, на смену поднимается славная рать молодых ваятелей.

Вучетич, подобно В. Мухиной, смело растаптывавший пошлость и стандарты, посвятил свой талант героике. Его мучительно влекло достижение не только внешнего сход-

ства, этого подобия действительности, но и раскрытие внутренней сущности людей и событий. И он достигал больших высот. Самое трудное в искусстве — заглянуть в глубину вещей, а не описать их.

Репин некогда говорил, — это передавал мне его ученик, художник Вербов, — что невозможно создать портрет, если смотришь на глаза, а не в глаза.

Вучетич будто сам символически нагромождал препятствия на своем творческом пути, чтобы затем на них испытать всю свою силу, преодолев и победив их. Таков солдат у подножия монумента Победы в Волгограде.

В каждой мышце героя, олицетворяющего непобедимую энергию советского человека, трепет вечной жизни, пренебрежение к смерти. Пусть сломано ружье и в руке последняя граната, он неизбежно победит. А бой все еще длится, и Родина, подняв меч и повернувшись на запад, зовет советское воинство вперед. Лучшие, бессмертные создания античности словно воскресли в этих исполненных порыва и движения скульптурах.

Памятник работы Е. В. Вучетича на Волге стал местом паломничества. Скромные букеты цветов подле как бы оживших бойцов и матери, склоненной над убитым сыном, красноречивее всех похвал, которые заслуживает этот беззвучный реквием.

Настоящее творение искусства неисчерпаемо и не наскучит вовек. Хочется без конца размышлять над каждым изваянием, орнаментом, вязью слов на знаменах, находить небосвод в ротонде пантеона и любоваться прекрасной в своем зажигательном искусстве статуей Родины. Истинно художественное, идущее от великого Праксителя, торжествует и в наши дни, оттесняя всяческое шукачество и уродство. Произведения монументального искусства создаются на века и проверяются восприятием многих поколений.

Евгений Викторович Вучетич писал об этом в своей книге «Художник и жизнь»:

«Монументализация — это, прежде всего, очень широкое обобщение...

...Изображая те или иные явления жизни, создавая образ человека, раскрывая его чувства и стремления, показывая его в различных жизненных ситуациях, художник, вольно или невольно, всегда дает оценку изображаемому...

В монументальной скульптуре запечатлеваются на века самые благородные, а значит, и самые красивые дела той или другой эпохи, в силу чего памятники должны быть обязательно художественно прекрасными...

И чем больше советский художник подчеркивает в герое народные черты, тем больше он раскроет присущее народу подлинно героическое, потому что героизм народа — понятие несоизмеримо более широкое, чем понятие героизма отдельной личности».

Вучетич, будучи замечательным скульптором, создателем монументальных композиций, в то же время был тонким портретистом. Его светлые, покрытые очками глаза цепко вглядывались в каждого нового человека и мгновенно схватывали наиболее характерное. Беглые штриховые портреты Вучетича убеждают в остром и проницательном уме художника. Рисуя, Евгений Викторович как бы уяснял себе образ, и, когда начинал лепить, казалось, что он уже почти не смотрит на позирующего ему человека. Легко и быстро мял он глину и, будто шутя, бросал ее. Но вот из-под его крепких и чутких пальцев вырисовывался человек. Ничто не укрылось от ваятеля. В этом даре прозрения души Вучетич близок Вере Мухиной. Похожи они и в манере работы.

Великолепен созданный Вучетичем эскиз памятника битве на Курской дуге. Лишь неоглядная фантазия, могучее воображение, беспокойное сердце и талант могли создать столь новаторский монумент.

На широкой равнине, где ничто не мешает солнцу совершать триумфальный обход, столкнулись, поднялись две огромные глыбы, две силищи, и одна из них под мощью другой сломилась и вот-вот рухнет. Эти силищи образовали таинственную арку из тысяч моторов, танков и оружийных дул. Но фашизм обречен. Победа осталась за нами. Как Антей, приникший к матери-земле, рядом с памятником спит утомившийся юный танкист с лицом былинного богатыря. Бой кончен, ничто не мешает его отдыху, но такое спокойствие и уверенность в этом современном Илье Муромце, что стоит ему открыть глаза, подняться — и врагу не совладать с русским исполином.

Неожиданно и смело пользуясь национальным колоритом и предельно обобщая свой замысел, творил Вучетич.

Убежденный реалист, он и в беседе напоминал мне Веру Игнатьевну Мухину. Евгений Викторович блестяще

знал анатомию человеческого тела и любил повторять известные слова Поликлета о том, что самое трудное в скульптуре — это довести работу до ногтя. Он вспоминал, смеясь, как еще в начале тридцатых годов некие экспериментаторы в художественных вузах пытались обучать студентов «лепить... лопатой».

Стремление преодолеть неподвижность формы, передать движение в бетоне и камне, упорные поиски новой символики и аллегорий, постижение трагизма и жизнеутверждения — все это сопровождало труд Вучетича и вело его от победы к победе. Его замечательные работы известны всему миру.

За многие годы жизни Вучетич постоянно обращался к образу Ленина и создал галерею портретов творца Октябрьской революции. На одном из них Ленин прикрыл глаза рукой, он погружен в глубокое раздумье. Гениальная голова Владимира Ильича, его могучий лоб сами по себе необычайно значительны и скульптурны. Вучетич изваял их как венец мышления. Полна жизни и рука Владимира Ильича. Она — вся действие, вся движение. Ильич Вучетича — наивысшее выражение духовной жизни целой эпохи...

Народ любит скульптора Вучетича, потому что в его искусстве бьется сердце нового мира, новой России. А залог бессмертия в творчестве — единение художника с народом.

## Л. Е. КЕРБЕЛЬ

В молодости путешествия приохотили меня к искусству. Очаровали на всю жизнь скульптуры Шубина, Аптокольского, Андреева, Мухиной, вскружили мысль, будто ветер, творения безымянных ваятелей. «Смерть гладиатора», увиденная мною в Риме, нежные богини в галереях Флоренции и воинственные статуи в Лувре оживили давно ушедшие века, заставили ринуться к истокам цивилизации, оценить величие истории.

И сейчас неприукрашенная форма, вскрывающая самую сущность человека, по-особенному волнует меня своей суровой проникновенностью. Бронзовый бюст либо каменный горельеф иногда значительнее для психологического познания души, нежели красочный портрет. Так

холодное напластование скал в своем молчании рассказывает больше, нежели прекраснейшие, яркие пейзажи, рассеивающие внимание.

Для меня скульптура музыкальнее живописи.

С Львом Ефимовичем Кербелем естественно скрестились наши дороги в искусстве. Иначе и не могло быть. На одном из альбомов своих работ, подаренном мне, он надписал: «Подружке по теме».

Оба избрали мы один предмет, которому отдали не только годы, но страсть, все помыслы и чувства. Мое стремление оживить Маркса в литературе и его старание воскресить гения в граните долгое время были ведущей целью нашего бытия. Мы встретились как брат и сестра, и это ощущение родства нас уже не покинет. Очевидно, родство по идее, творчеству, борьбе, науке, общность исканий и счастье открытий создают нечто большее, нежели простая связь людей, родившихся в одной семье. Все происходящее от единства цели и высокой духовности значительнее родственных уз.

Лев Кербель в профиль чем-то похож на большую, очень умную, пытливую птицу. Его подвижность, неуемная потребность вглядываться глубже, беспокойство крепких красивых рук отражают натуру ищущую, жадную к творчеству, трудолюбивую. У него добрые глаза, немного близорукие и часто усталые. Жизнь не всегда баловала Кербеля, и к тому, для чего он был рожден, к ваянию, он пришел не сразу и не по проторенной тропинке.

В годы войны Кербель на Северном флоте. Резец и автомат в его руках. То же бесстрашие, которое проявляет Кербель, ища в творчестве новые образы и решения, отмечают все его многочисленные друзья по оружию — военные моряки. В. Соломатин пишет: «Лев Кербель, по должности военный художник Северного флота... был всегда на боевом посту. А нетерпеливая натура часами позировала у него в землянке... Более 30 скульптурных портретов героев-североморцев было создано под оглушающую канонаду».

Только после Победы, оправившись от контузии, Лев Кербель мог отдаться искусству сполна.

Наибольшей удачей своей жизни каждый человек может считать открытие той деятельности, что даст ему, а потому и людям, наибольшее удовлетворение.

Кербель ступил на единственную стезю, которая есть у каждого, но не всегда найдена. И великое таинство творчества открылось ему и повело от удачи к удаче. Пусть бывали иногда срывы, ошибки, но это только камешки на широком тракте жизни. Кербель напряженно учился, нагонял упущенное, совершенствовался.

Микеланджело, величайший монументалист, открыл Кербелю много тайн, не меньше дало ему приобщение к бессмертным творениям неведомых гениев в Китае и Италии.

Лев Кербель разносторонен, как все большие мастера. Его работы неповторимы, индивидуальны. Сила его таланта особенно проявляется в портрете. Он видит человека по-своему, пронзая внешнюю оболочку, схватывает самое важное и характерное. Замечательны его подводники. Каждое лицо — это книга жизни человека, отражение героического труда и самоотверженности. Так же своеобразны и самобытны лица писателей, ученых, колхозников, космонавтов. Кербель доносит до зрителя простую и единственно правильную мысль: каждый человек неповторим на земле, заменимых не было и нет. Природа бесконечно богата, и творчество ее беспредельно.

Большая и волнующе населенная людьми, хотя и воспроизведенными в камне, мастерская Кербеля проста, светла и вместе торжественна. На низком стане — подиуме — сидит старушка. Эта женщина — одна из многих тысяч матерей, потерявших на войне сына, а может, и не одного. Сама она сражалась в партизанском отряде. Ее судьба — одна из героических трагедий века.

Я вглядываюсь в лицо скульптора. Как оно изменилось! Рассеянности во взгляде более нет. Цепкостью и остротой глаза его напоминают мне орлиные. В своей натуре он, как маг, открывает тайное тайных и, обобщая образ, достигает совершенства.

Прекрасный, патетический, словно Шестая симфония Чайковского, памятник Матери создал Кербель. И таких произведений, замечательных по мысли, гуманности и музыкальности, у него много. Кого только нет в галерее его творчества! Колхозники, рабочие, воины, ученые, писатели, поэты. Разносторонность Кербеля восхищает. Иногда он слишком стремителен, и работа как бы оборвана, эскизна. Но это издержки любого большого мастера.

Работая над образом Маркса, скульптор нашел неожиданное выражение идеи марксизма в единой велико-

лепной глыбе гранита, как бы символизирующей мощь и неделимость.

Необычен Ленин на памятнике, поставленном в Полтаве. Мне посчастливилось дважды видеть живого Ленина, и в моей памяти он остался именно таким, молодым, строгим и вместе необыкновенно доступным. Запомнилось навсегда его худощавое лицо, четко вырисованные губы, поразительный, выпуклый, величавый лоб и глаза, глубоко ушедшие в глазницы, сосредоточенные, готовые улыбнуться. Именно таким воссоздал его Кербель, внутренним оком художника восстановив дорогие черты.

Работы Кербеля человечны, как он сам. Скульптор ищет в натуре лучшее и видит его в самом главном: в зачатках характера. Его влекут героика, возвышенность духа, сложность жизни. Потому пришел он к труднейшим темам, таким, как Маркс и Ленин, и решил их, обогатив мир прекрасного — искусство.

## Б. В. ЩЕРБАКОВ

Много лет подряд над моим рабочим столом висел автопортрет замечательной художницы Зинаиды Серебряковой. Моя однофамилица рисовала себя в зеркале. Никогда не задумывалась я над тем, чем нравится мне эта картина, светлая, правдивая, мастерски выполненная по краскам, композиции, тончайшему реализму.

Подобно музыке, живопись вошла в мою жизнь в детстве. Родные жадно впитывали все впечатления мира и, казалось, не могли насытиться прекрасным, тем, что щедро дарует именно искусство. Не только в театры, на концерты, но и на выставки картин и скульптуры водила меня мать, постепенно приучая любить творения кисти и резца. Строгие залы музеев и картинных галерей создавали иное настроение, нежели театр и консерватория. В них была торжественность храма и хотелось говорить только шепотом. Наслаждение красотой требовало молчания и сосредоточенности. Живопись понятнее музыки. Путь к ней прокладывают рисунки к сказкам, весь быт ребенка.

Передвижники владели умами поколения, к которому принадлежала моя мать. Репин был для нее так же дорог, как Мусоргский и Горький. Репродукции картин

Александра Иванова, Врубеля, Левитана встречались мне на дорогах детства. В кабинете отца со стены на меня смотрел лохматый, седой «Пан», а смежив веки, я часто вижу и теперь «Осень» над пианино моей матери.

Вернувшись в Москву с гражданской войны в 1920 году, в шинели, сапогах и старой буденовке, я отправилась с поэтом Арго, словоохотливым, образованным и добрейшим человеком, в национализированный особняк купца Щукина в одном из приарбатских переулков, где находилось богатейшее собрание картин новейшей западной живописи. Там было холодно илюдно. Чудесная новь открылась нам. Искусство импрессионистов очаровывало. Нас согревали полотна Гогена, потрясал яростный реализм Ван Гога, радовали Дега и Ренуар.

Большие знания и щедрость Арго помогли мне разобраться в этой неведомой ранее области человеческого гения. Но, принимая сердцем творчество замечательных французских художников, я с ожесточением, как на кощунство и невежество, смотрела на штукарство различных «истов», которыми в те же годы кишмя кишела Москва.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов мне пришлось часто, иногда надолго, ездить за рубеж. С неутомимостью молодости и здоровья я посещала музеи и салоны живописи, весьма многочисленные во Франции и Италии. Приобретаемые знания расширяли представления о виденном. О многом заставил меня думать великий Леонардо да Винчи, но, покоренная его рисунками, образом святого Иоанна, я тщетно пыталась понять и восхититься Моной Лизой. Добросовестно сидела подолгу в Лувре перед этим признанным шедевром, стараясь постичь: что же так пленяет человечество в этой безбровой даме? Так и не снизошла на меня благодать понимания. Но другие картины все больше влекли меня к себе. С годами раздвигаются границы нашего разума и чувств, ширятся грани и множится перечень полюбившегося нам в музыке, литературе, скульптуре и живописи. Наивнее кажется мысль о выборе одного, главного имени и произведения в искусстве. Можно ли отказаться от Бетховена ради Берлиоза, Бизе, отдать предпочтение Мусоргскому перед Римским-Корсаковым или Бородиным? Все они неделимы, как звезды, образующие Млечный Путь или созвездие Большой Медведицы. Все они, как лучшее в



природе, сотворяют жизнь в самом высоком, желанном, неисчерпаемом ее значении.

Из них, многих, прославивших и возвеличивших все области науки и искусства, так же как небо, море, лес, горы, образовалось то, что так дорого нам на земле, — жизнь, освещенная видением, мышлением, словом.

Есть некие единые законы для творческих работников, и первый из них — труд. Пианист или писатель, актер или художник, стремящиеся к совершенству, не смеют бездействовать, остановиться. Остановка означает движение назад. Время неумолимо подгоняет нас только вперед.

В двадцатых годах я часто бывала в маленьком домике близ Серпуховской площади, где вся мебель, даже чашы-кукушка, была сделана руками хозяина — художником-графиком Иваном Павловичем Павловым. Этот редкий самородок говорил мне, мастера что-нибудь и во время беседы, что безделье — смерть таланта. Ученик Репина, известный художник Вербов, вспоминал, что более двух лет учитель требовал от него воспроизведения только одних человеческих глаз.

— А до этого я несколько лет учился анатомии и мучительно добивался, чтобы ступня и руки жили полнокровно на полотне, — признавался он мне.

Миф о Пигмалионе и Галатее бессмертен и приложим к любой ветви искусства. Наивысшая вершина творчества — воссоздание жизни из мечты.

Борис Валентинович Щербаков — неистовый Пигмалион, жаждущий вдохнуть жизнь во все, что им создано, будь то портрет, пейзаж или жанр.

Впервые я познакомилась с работами Щербакова на его выставке, посвященной Ясной Поляне, пушкинским и тургеневским памятным местам. И сразу же обрадовалась встрече с одухотворенным большим мастерством, с итогами страстного поиска, труда и счастливых достижений. Быть верным великим традициям, идущим от древности, от жизнесозидающего реализма, всегда трудно. Неискушенный человек легко поддается блеску подделок, шуму реклам и сенсаций. Неуверенность в знании предмета ведет к робости и даже страху прослыть отсталым ретроградом. Мещанин хочет быть впереди моды, а моды переменчивы и не всегда в ладах с красотой. Щербаков смело, как надлежит истинно талантливому человеку, несет через всю свою творческую биографию один идеал —

воинствующий реализм. Художник прошел сложный, многолетний путь ученичества и, верный традиции великих художников мировой живописи, прежде чем попытаться вдохнуть жизнь в свои творения, терпеливо, упорно учился владеть свободно кистью, как певец голосом, а музыкант инструментом.

Сын художника-академика, Щербаков сызмала вдыхал терпкий запах красок, учился секрету их соединения, рисовал натуру, борясь с бесчисленными препятствиями на дороге к совершенству. Но барьеры существуют для того, чтобы испытывать силу. Он преодолевал их один за другим. Годы шли на то, чтобы воссоздать виденное.

Щербаков, человек весьма образованный, настойчиво и уверенно шел к намеченной цели. Он учился у классиков мировой и русской живописи. Когда школа была им закончена, он смог броситься в пучину поисков. Его глубоко интересовали природа и человек. Одна и та же мысль главенствует над всем, что он пишет: проникновение в тайное тайных бытия и создание не подобия, а самой жизни.

Лес, чуть влажный под вечерней росой, пруд с колеблемой ветром мутноватой водой, затихший и скорбный дом в Ясной Поляне (так и чувствуется, что гений ушел из него навсегда), шаткий мостик над прудом в Михайловском, поля в Спасском-Лутовинове — все это живет и дышит, волнует не только по цепной реакции воспоминаний. Такими же были эти места в те дни, когда смотрели на них Пушкин, Толстой и Тургенев. Естественное волнение испытываешь на выставке Щербакова. Горячая рука водила кистью, воспроизведшей в настоящем дорогое нам прошлое. Многое меняется с веками, но неизменна природа, и так же, подобно заре, тревожа воображение, розовело гречишное поле и сто лет назад.

Когда на картине Щербакова видишь туман, поднимающийся в сумерки над бором, невольно ежишься от подступившей прохлады. Мастер перспективы и света, он воскрешает восходы и закаты и магически погружает луга в предрассветную мглу. Его деревья живут и шепчутся под солнцем.

В век цветных фотографий и кино немало художников мечутся, шарахаются прочь от воспроизведения природы, стремятся к созданию новых, недостижимых для техники форм. Мне довелось услышать от одной знако-

мой художницы, что ее вдохновляют для орнаментов снимки, сделанные с бактерий под микроскопом.

— Все остальное живое на Земле уже устарело, — сказала она мрачно.

— Но и окрашенные на стекле бактерии тоже жизнь, — ответила я ей.

Дубы и клены, перелески и лужайки, заводы и ручьи, извечно прекрасные пейзажи центральной полосы России, не раз вдохновляли художников и, однако, остаются неисчерпаемым кладом для искусства, как народная песня, гениальные симфонии Калининкова, Чайковского, Мусоргского, как поэзия Есенина.

С далеких тридцатых годов, когда А. М. Горький познакомил меня с Павлом Кориным и я впервые увидела его творчество, этот вдохновенный, тонко чувствующий, лирический, много думающий и страдающий большой художник стал мне очень дорог и душевно близок. В работах Щербакова я нашла многое, что роднит этих двух мастеров разных поколений, но одной направленности, честной искренности и бескомпромиссной правды жизни.

В портретах кисти Щербакова я ощущаю затаенную пылкость, творческую напряженность и муку, блаженство постижения. Через труд — к радости!

Особенно, думается мне, удались ему портреты Г. М. Кржижановского, бессмертного друга Ленина, этого ученого и поэта, отчаянного коммуниста-борца и застенчивого мечтателя, а также народных артистов Кочаряна и Жильцова, поэта С. Смирнова, академика Скобельцына. На полотне отражены характеры и судьбы этих людей.

Портрет К. А. Федина закончен пятнадцать лет тому назад, но годы не стирают основных внутренних и внешних черт человека. И художник знает это. Портрет не стареет, как любая фотография. Щербаков навсегда запечатлел вдумчивую и пытливую серьезность очень светлых глаз Федина, волевой склад художавого лица, сложность и душевный накал этого внешне весьма сдержанного писателя. Портреты Щербакова глубоко индивидуальны. В этом сказывается большое реалистическое искусство. Только обездушенные формалистические рисунки приложимы к каждому, так как в них нет сходства с натурой, как и вообще с жизнью.

Есть у Щербакова и жанровые полотна, но в них преобладает главным образом психологическое решение, а не

сюжет. Таков его «Непобедимый рядовой». Кряжистый, могучий человек, обожженный войной, не ослабевший, а неизмеримо окрепший в испытаниях, вернулся на пепелище, бывшее некогда его домом. Его изборожденное морщинами, темное лицо, руки пахаря и бойца символичны. Они так же трагичны, как развалины, пустые поля и одинокое освещенное окно на горизонте. Один из многих, он устремлен вперед, в жизнь, и достаточно силен для того, чтобы перекроить мир и победить.

Творчество Щербакова — гимн реалистическому искусству.

Картины его обладают счастливой особенностью нравиться со временем больше и больше. К ним возвращаешься и находишь ранее, может, и не замеченную глубину и прелесть.

Редко человеческое и творческое делимо. Талантливые люди, которых я знала, были по большей части гармоничны во всем: в дружбе, во взаимоотношениях с людьми, в быту. Таков и Борис Валентинович Щербаков.

## Б. ТУЛЕГЕНОВА

Это было в 1948 году в небольшом прииртышском городе Семипалатинске. В клубе проходил ежегодный смотр художественной самодеятельности. Танцевали, пели, декламировали, играли на домбре, аккордеоне, струнных инструментах. Выходили на скромные подмостки, заметно нервничая, рабочие, служащие, учащиеся старших классов.

Я находилась в числе судей за столиком жюри. Сложная судьба в молодости чуть не толкнула меня на сцену. Я много лет училась петь у признанных преподавателей, дирижеров и вокалистов, таких, как Манлио Дивероли в Лондоне, Ванци в Риме, Нежданова и Голованов в Москве. В Семипалатинске мне довелось организовать и вести школу пения. Поэтому особенно интересовали меня певцы, которых можно было готовить к артистической деятельности.

Три дня смотра вокалистов ничем особенным не порадовали. Но вот на сцену перед самым концом конкурса вышла хрупкая, очень юная девушка, счастливо соединившая в себе красоту лица с изяществом фигуры. Что-то в

ее внешности, не просто миловидной, но вдохновенной, сразу же заинтересовало меня. Я насторожилась и почувствовала, что боюсь разочарования. От всего сердца хотелось, чтобы девушка, которую все знали как работницу жестяночного цеха местного мясокомбината Бибигуль Тулегенову, пела так же хорошо, как хороши были ее глаза и весь облик.

Уже первые звуки заворожили. Хотя голос был непоставленный и поэтому напряженный и неуверенный, тембр его поразил меня неожиданным сходством с одним из лучших колоратурных сопрано века. В 1931 году в лондонском Альберт-холле я слыхала неповторимую Галли-Курчи, и вот в далеком Семипалатинске в голосе дилетантки-певицы, никогда нигде не учившейся петь, прозвучали те же лучистые, нежные, как пух одуванчика, ноты.

После выступления Бибигуль Тулегеновой я предложила ей начать учиться не только в школе, но и у меня дома. Мне хотелось, чтобы молодая работница поскорее нагнала упущенное время. Талант — редкость, и не только общество в целом, но каждый человек обязан помочь его становлению.

Бибигуль пришла к нам. Я и моя мать-пианистка начали заниматься с девушкой.

С первых уроков она удивила нас природной музыкальностью, отличным слухом, трудоспособностью и той возвышенной любовью к музыке, без которой нельзя стать певцом. Трудно было бы найти более способную и жаждущую совершенствования ученицу, нежели она. Мы занимались и историей музыки, а мать моя учила Бибигуль игре на рояле. Ото дня ко дню Бибигуль пела свободнее, и голос ее приобретал все новые краски и оттенки, набирая естественную силу, легкость и очарование.

Мы так подружились, что Бибигуль стала как бы членом нашей семьи.

Первый ее концерт особенно мне запомнился. Я и мама мучительно волновались, когда Бибигуль появилась перед публикой. Трудно было петь на открытой сцене общественного сада, и, однако, успех превзошел ожидания.

Вскоре Тулегенова поехала в Алма-Ату, где не только вызвала шумные рукоплескания, когда спела на концерте вальс «Примавера» Штрауса, но сразу же была принята в консерваторию.

Жизнь надолго разлучила нас с Бибигуль. Я встретила ее спустя десять лет признанной певицей, гордостью своей страны, общественным деятелем, депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

По-прежнему молода, красива, отзывчива, деятельна народная артистка Советского Союза Бибигуль Тулегенова. Ее знают не только на родине, но и во многих странах мира. Ее пение удивляло и радовало слушателей Вьетнама, Канады.

Как и двадцать лет назад, слушая Бибигуль, я горжусь ее талантом, который она укрепила и довела до совершенства. Наша дружба незыблема, хотя скорее это отношения матери и дочери.

Бибигуль — и как певица и как человек — в непрерывном движении, в поисках и достижениях. Прелесть пения «казахского соловья», как зовут Тулегенову, в темпераменте и культуре не только звука, но и слова. Она много работает над собой, читает, горячо отдается заботам о трех своих детях. Иногда Бибигуль пишет стихи по-казахски...

Вот перевод одного из них:

Ты мать мне, ты подруга!  
И даже в том, как я сейчас пою,  
Твоя заслуга.  
Я дань любви тебе за это приношу.

В 1970 году в «Комсомольской правде» Бибигуль писала:

«...Около четырех месяцев проучилась я у Галины Иосифовны. По ее методу нужен был год. Но случилось так, что перед самым республиканским конкурсом вокалистов в Алма-Ате заболела девочка, которая должна была представлять Семипалатинск. Я долго не соглашалась, но ехать все же пришлось.

Пела «Примаверу» Штрауса и «Казахский вальс». Среди членов жюри были те, кто принимал меня в музыкальное училище. Тогда — при поступлении в училище — я провалилась. Сейчас мое пение удивило: «Что вы сделали со своим голосом? Ведь прошло всего несколько месяцев!» Меня пригласили в консерваторию.

Замечательные педагоги учили меня пению. Но на всю жизнь запали мне в память те дни, что провела я с Галиной Иосифовной».

Николая Николаевича Жукова притягивали души-великаны, натуры героические, созданные природой с особым тщанием, неустомимые в труде и стремлении к совершенству, движимые добротой, отвагой и могучими страстями. Такие люди сродни стихии. Их внутренний заряд велик: магически нагнетая энергию, они проходят положенный срок, творя новое и сметая ветошь.

Понятен такой отбор. С детства томился он тоской по красоте и мощи человеческого естества, самой сути его.

Жуков родился в счастливый и грозный канун: история готовилась к пришествию Октябрьской революции.

Город Елец Орловской губернии мне знаком с отрочества. Когда наша 13-я армия отступала к Туле, поарм послал меня в одну из тыловых частей, расположенных в Ельце, за агитброшюрами, в которых испытывалась крайняя нужда.

Память — белый лист, на нем до конца наших дней отпечатываются важные происшествия, особенно столь необычные, как ратное дело. Гражданская война, в которой я скромно участвовала еще девчонкой, пережившей отступления и победы, значительно повлияла на мою судьбу и характер.

Города Орловщины: Мценск, Ливны и другие — отмечены были своей метой, хотя вначале, казалось, походили один на другой, как лесные орехи. Унылые красивые церкви, широкие базарные площади, лавки и лабазы, много помнящие домики за заборами, притягательные яблоневыми садами, огородами. И в каждом окне всегда цвели герани, ваньки-мокрые, фуксии. Не было хлеба и самого необходимого, но яблоки и огурцы обменивались на хлеб, махорку и даже продавались за ненадежные деньги. Может быть, среди мальчишек двумя-тремя годами моложе меня, носившихся по улицам Ельца, был и чуть курносый, пытливый Коля Жуков? Беседуя, Николай Николаевич не раз вспоминал свое детство и Елец в пору гражданской войны.

Мы много говорили о тождестве всех муз. Одни и те же законы движут писателем, актером, художником.

«...Я любил наблюдать с самого детства облик человека, перенимать типическое в движениях тела, лица, в интонациях, мимике. Сделав рисунок и найдя в нем подлинность, правду, я ждал, что скажут окружающие. И если слышал одобрение, ощущал счастье. Иногда я ошибался, окружающие не понимали меня, и тогда в рисунке гасла жизнь».

Подобные мысли сродни каждому творчески одаренному человеку.

Внутренний мир Жукова-художника был богат. Он искал разгадки вдохновения, хотел творить, сознавая каждое движение кисти, управлять мастерством зримо. Его тяготили неразгаданность таланта и возможный предел профессионального совершенства.

«...Чаще всего художниками рождаются и под влиянием впечатлений жизни с детских лет пытаются выражать то, что вырабатывает в ответ душа художника», — писал Николай Николаевич.

Николай Николаевич, несмотря на внешнюю угловатость и физическую массивность, был человеком ранимым, нервическим, противоречивым. Это свойства одержимых творчеством людей. Было в нем нечто ребяческое, и, верно, именно потому так влекла его в поздние годы «детская тема» в искусстве, весьма трудная для осуществления. Не раз слышала я от художников, сколь сложно воспроизведение цветов и младенцев. Нарисованные и высеченные амур, ангелы, херувимы часто лишены индивидуальности, сусальны и кукольно-неприятны. Припухлость щек, выражение неведения в удивленных глазах... Дети часто безлики у ваятелей древности и средневековья. Жукову — и это признак таланта — удалось пробиться сквозь привычную форму. Его малыши отмечены пробуждением мысли, личности, хотя в них сохранены черты младенчества. В одних улавливаются озорство, хитринка, сметка, в других — беспечное доверие, нежность. Каждое личико несет с собою неповторимость, начинающуюся в человеке с сознания и проявления присущего ему характера.

Художник не только понимает малышей, но и воспроизводит в чем-то самого себя. Люди, не потерявшие память о раннем детстве, открыты добру, мечтательности, фантазии. В них всегда остается некая хрупкость и неуверенность, о которой трудно догадаться.



Николай Николаевич обладал зорким зрением, а казался очень близоруким. Рыхловатый, широконосый, большеголовый, он скорее походил на врача или преподавателя высшей школы. Он сосредоточенно вглядывался в окружающее скользящими под стеклами очков глазами. Любил вкусно поесть и посидеть в доверительной беседе с гостями. Его красивая жена — столько же подвижная, сколь он был привержен к тому, чтобы удобно расположиться на диване или в кресле, — гостеприимна.

В мастерской Жукова по вечерам бывало особенно уютно, красиво, убрано, что не всегда сопутствует тесной от полотен, заваленной кистями, красками трудовой комнате художника.

В начале 1972 года мы собрались в мастерской Жукова. Просмотрев более сотни его работ, посвященных военной Москве, фронту, Нюрнбергскому процессу, созданные им иллюстрации книг, виды Италии и, наконец, замечательные портреты Ленина, мы с интересом прослушали рассказы хозяина. Он все еще жил событиями военных лет. Вспоминал он пережитые удачи и промахи, а заговорив о людях, с которыми воевал и сблизился, вдруг заплакал. Меня эта слабость не удивила. Чувствительность, привязанность к друзьям, нестерпимая горечь потерь — наши спутники. Без них нет творчества.

Людам искусства часто предначертано — и в этом тоже проявление таланта — постичь глубинную сущность вещей. Тоска и радость, сомнения, а то и самонадеянность как попытка самоутверждения, восторг и неудовлетворенность собой, частая смена настроения — все это в равной мере присуще артисту, писателю, ваятелю, живописцу и ученому, когда наука становится уже актом величайшего творчества. Скептики отнесут повышенное беспокойство к болезни какой-либо железы, печени, переутомлению мозга, врожденной неуравновешенности или трудности характера.

Не все ли равно, каковы истоки мучительной неровности и сложности полоненного творчеством человека?

Жуков был неутомим в работе. Рой планов одолевал его. Он делился со мной замыслами, которые требовали долгого времени, не уместались в одной жизни. В ажиотаже труда, неумности, постоянном желании общаться с большим числом любителей живописи, находить новые сюжеты, методы воплощения Жуков не замечал, как бы

бежал от мыслей о пределе, о том, сколь устало его сердце.

— Я обязательно вернусь к образам Маркса и Энгельса. Хочу иллюстрировать ваши книги,— говорил он и писал на титуле подаренной мне книги:

«...Сегодня мы заключили с Вами творческий союз. Убежден, что наше содружество увеличит наш труд и принесет общественную пользу...»

Его постоянной гордостью была студия военных художников имени Грекова, художественным руководителем которой он был. Жуков выпестовал в ней немало талантов.

Военная служба, фронт, война были излюбленной темой его бесед. Он радовался, что достиг звания полковника. Но жизнь Николая Николаевича сосредоточилась в искусстве. Оно вело его к разнообразным победам. И в этом он был безупречно честен и прям.

Жуков завоевывал новые высоты. Нет большей беды для всякого художника — слова, кисти, резца,— нежели опустошенность, бесплодие, пустые раскопки. Это несчастье не так уж редко. Но Жуков никогда не узнал горя, каким является обмелевшая душа творца, переставшего действовать. Он до последнего дыхания жил и унес с собой сокровищницу — неосуществленные замыслы.

Жуков много путешествовал в последние свои годы, он устроил представительную выставку — итог многих лет. Я получала от него пожелания мужества, сердечные приветы.

Он был не слишком здоров. Но могучий оптимизм не изменял ему, и любовь почитателей поддерживала.

Николай Николаевич неожиданно оказался способным и своеобразным новеллистом. Много важного обнаружилось в его размышлениях о творчестве художника, в небольших штриховых зарисовках собственной биографии. Это была исповедь мастера. Некоторые его новеллы весьма хороши. В пору признания, удач, радостных ожиданий будущего, в возрасте, который в наш продленный век кажется совсем еще незначительным, он внезапно умер. То была воистину ранняя смерть.

Имя Жукова прочно вошло в перечень лучших художников, посвятивших свой талант образу В. И. Ленина, пытавшихся проникнуть в духовную сферу этого удивительного гения гениев, провидца, теоретика, практика ве-

личайшей Революции. Художник изучал труды Ленина, его деяния, томился неуверенностью, искал новаторский метод воскрешения героической личности. Его Ленин человечен, волнующ. Жуков передал свою огромную любовь и преклонение перед вождем, приоткрыл ленинскую душевность, веру в мощь человеческой натуры, в победоносность коммунизма.

Ленин в большинстве рисунков Жукова — чудодей, небывалый мечтатель, сотворивший наяву то, что только грезится. Буря, с которой всегда сходна душа борца, посвятившего себя людям, остается как бы за палитрой художника. Лирический человек сам, Жуков остро чувствовал лиризм своего великого героя. Не случайно Жукова влекли дети, природа. Таков же Жуков — писатель, эссеист.

Образы Маркса и Энгельса, переданные в сугубо реалистической манере, тоже вполне отвечают видению и чувствам самого художника. Лучше всего они запечатлены в минуты покоя, мышления, редкой безмятежности.

Каждый человек выявляется в своем труде. Жуков познается как личность благодаря своей доброй графике. Грусть о потере, понесенной искусством, лишившимся его в столь полноценную творчески пору жизни, растет. Творения художника раскрывают нам его душу.

### Г. Л. РОШАЛЬ

С детства я люблю вглядываться, как бы читать и разгадывать человеческие лица. Случается, за внешней значительностью кроются серость или ловко затянутая тонкой пленкой фраз и поверхностных знаний пустота. Бывает и обратное: неприметное, мнимо обыкновенное оказывается весьма одаренным и своеобразным, неповторимым. Лицо, особенно глаза и улыбка, а также общее выражение черт всегда расшифровывают суть человека. Надо только уметь видеть и понимать его, не поддаваясь ни общему обаянию, ни собственным иллюзиям, а хуже всего — своему недоброжелательству.

Обремененные возрастом, тяготами болезней, усталостью особенно тянутся к доброжелательным и жизнелюбивым людям. Угрюмость, спесь, душевная двойствен-

ность — черты характера, иногда интригующие неопытных, жестоко отталкивают окружающих.

Григорий Львович Рошаль был давно знаком мне, по долгое время только как видный и своеобразный режиссер, автор киносериала и эпопей «Мусоргский», «Павлов», трилогии «Хождение по мукам» и многих, вошедших в драгоценный фонд фильмов советского кино.

С Рошалем меня свела работа над фильмом, сценарий которого мы писали по моей 1-й книге «Похищение огня». Нам предстояло поднять целину и первыми пройти по нетронутой меже, создав кинокартину о Марксе и Энгельсе в пору революции 1848—1849 годов. Трудное дело. Для меня все было новью в этой попытке стать сценаристом. Я вышла в неведомое, вовсе не понимая главного, что сценаристом, как и драматургом, надо родиться и величие Шекспира — в полном осознании своих особых творческих возможностей. За всю жизнь гений психологического театра не написал романа, повести. Сонет как бы дополнял, входил составной частью в творчество великого творца для театра. Хороший прозаик может, однако, быть неудачливым автором театральных и кинематографических пьес.

Впервые это открыл мне И. Бабель, большой писатель, так и не ставший драматургом. Не всякому дан огромный, многоплановый талант Чехова или Горького. Виденье и творческое мышление драматурга резко отличаются от виденья и творческого мышления прозаика. Элементы поэтического проявляются во всех жанрах литературы, но настоящий поэт — явление особое.

Итак, Рошаль пришел к нам на Кутузовский, чтобы предложить мне соавторство в сценарии и готовность поставить для кино первую в истории советского кинематографа картину о Марксе и Энгельсе. Он вошел в дом шумно, по-особому весело, играя палочкой, как истый денди, улыбаясь широкой улыбкой. Маленький синий берет подчеркивал своеобразие его головы, которая приводила на память мудрый склад головы верблюда.

Многие лица напоминают нам животных и птиц. Проницательный, насмешливый взгляд Рошалья чем-то присущ высоко парящим горным птицам. Нестареющая походка, быстрота и порывистость жеста, пристрастие к юмору, короткий смех, горячность, сменяющаяся грациозной сдержанностью, запоминаются. Как большинство ар-

тистических натур, Григорий Львович переменчив, патетичен, легко разрушает то, чему поклонялся, легко возбудим и гонится за новизной, как бы боясь отстать, прослыть старомодным.

Тучноватый, с выпуклым животом, со своей готовностью смеяться и радоваться жизни, как некоему веселому карнавалу, он напоминал Кола Брюньона.

Через час всем нам казалось, что Рошалья мы знали давным-давно. Он сумел стать необходимым, приятным украшением нашего общества. Неиссякаемый говорун, Рошаль часами рассказывал о своих путешествиях, работе, догадках, познании истории и технических открытий века. Эрудиция его, необычайная неутомимость и могучая энергия заражали окружающих. Мечта писать сценарий и ставить фильм о гениях мысли, творчества, борьбы завладела им маниакально. Он посвящал нас в свои планы и буквально достигал гипнотического эффекта.

Потом начались бурные дни труда над сценарием, мы спорили, ссорились, бушевали. Казалось, что разойдемся, но оставались соавторами, и я добровольно отступала, поняв, что слаба как сценарист.

Рошаль, упорный, негиблемо-твердый, большей частью побеждал меня. Я терялась в сложных лабиринтах кинотворчества, боялась создать скучный, поучающий фильм, а не убеждающее зрителя произведение.

Киносценарное дело, чем ближе постигала я его законы, пугало огромностью возможностей и задач. Оно казалось могучим, как сама жизнь и ее суровая правда.

На съемках я все более чувствовала себя подавленной великолепием возможностей кинопроизводства, его умением все воссоздать, воскресить, отразить. Рошаль наиболее вдохновенен и всемогущ именно в студии, когда открывает людям их прошлое, останавливает по собственной прихоти время, магически возвращает к жизни мертвое, оживляет тени и убеждает правдой искусства, которая бывает сильнее всякой другой. Да, именно так было, должно было быть, как хотел он, его оператор, актеры, художники. Фильм рождался в муках и спорах, то очаровывая меня отдельными кадрами, то раздражая, как ребенок своих родителей. Мне всего было мало, я не умела предвидеть, что получится на экране.

Несколько раз мы едва не разошлись с Рошалем, споря, каким должен быть сценарий о столь необычных ге-

роях, как Маркс и Энгельс, но творческие схватки не могут создать непреодолимую вражду. И снова, дружески ища лучшего, мы брались за работу. Когда я как сценарист уже отошла и все стало делом постановщиков и актеров, меня полностью отвлек начатый роман, продолжение «Похищения огня», названный «Вершинами жизни». Рошаль и съемочная группа картины «Год, как жизнь» уехали в ГДР. Дм. Дм. Шостакович писал музыку для готовящегося фильма — гимн юным, самоотверженным вождям нового класса и пролетарских революций, первым коммунистам планеты.

И вот «Год, как жизнь» вышел на экраны. Незабываемые тревоги, первые утехи, сомнения, радость и неуверенность первооткрывателей...

Я наблюдала Григория Львовича в часы съемок, когда, поглощенный одной целью, собранный, будто командир в бою, увлеченный и перевоплощающийся в каждого из персонажей сценария, он жил в огромном, ином мире. Добродушная ирония не оставляла его, но иногда ровность настроения уступала место вспыльчивости, нетерпеливости. Исчезал смешок, которым он часто как бы заканчивал фразу, нервно дергались переносица и руки, он трудно сдерживался от желания осерчать.

Профессиональный артист, которым когда-то был Рошаль, публицист, лектор — все это выявлялось, сменяя одно другим, в этом неистовом мастере советского кино, не устающем творить, странствовать, обогащаться новыми знакомствами с людьми, книгами, техникой, искусством: будь то живопись, театр, скульптура... Все, чем напряженно, страстно живет страна, волнует и вливается в заваленную книгами, сувенирами, рукописями квартиру Рошалья и его талантливой и деятельной жены, кинорежиссера Веры Павловны Строевой. Они отпраздновали недавно золотую свадьбу, но все так же полноценно творят, спорят и тянутся друг к другу, как и в первые годы супружества.

Так было, так есть и будет у этих людей, поправших пепел лет, оставшихся молодыми во всех проявлениях жизни, труда, таланта.

## СОКРОВИЩНИЦА

Даты. Их можно назвать драгоценными фетишами времени. Они не оставляют нас равнодушными, становятся частью жизни не только отдельных людей, но и всего народа, а то и человечества.

Помню 7 ноября 1919 года. С него, уже по собственной памяти, веду я год за годом счет праздникам революции. Справляли мы 2-ю годовщину Октября в 13-й армии, в селе Паточная, Тульской губернии. То были годы тяжелых испытаний. Белогвардейцы приближались к Москве.

— Товарищи,— говорил, взобравшись на поскрипывающий лабазный ящик, молодой красноармеец,— не только с русской, но и с мировой буржуазией воюем мы. Не плошайте, будьте начеку! Мы боремся за великие идеалы нашей партии.

Незадолго до того я была принята в партию. Трудности? Мы были готовы преодолеть их. Мы были готовы на любые жертвы — только бы отстоять советскую власть.

До осенней, холодной полуночи праздновало село годовщину Октября. В овчинных полушубках и тяжелых сапогах, на рыночной площади, побеленной первым снегом, отплясывали мы русскую. Потом восторженно пели наши любимые песни — «Смело, товарищи, в ногу», «Мы — кузнецы, и дух наш молод».

...Помню, как позднее выходила я с демонстрантами на Красную площадь. Вздрагивало сердце, когда удавалось, приподнявшись на носки, разглядеть на деревянной трибуне Ленина, Фрунзе, Дзержинского...

Праздники революции! Ничто не может в истории сравниться с ними. Они изумляли очевидцев и в годы

славной борьбы за свободу и права человека во Франции в 1789-м и позднее — в дни Парижской коммуны. Их величие и красота ошеломляют и в наши дни в Советской стране.

В конце двадцатых годов мы собрались 7 ноября на праздничный вечер на квартире Мейерхольда в доме на Арбате.

Пришел туда и Анатолий Васильевич Луначарский. Провозглашая тост, он заговорил об исключительном размахе и яркости наших праздников.

— Ни в античной Элладе, ни в древнем Риме, на века прославившихся своими внушительными шествиями, ни в пору блистательного Ренессанса не видел мир зрелища прекраснее, нежели вдохновенный, воспевающий жизнь праздник освобожденного народа. Пролетариату суждено создать настоящую красоту, небывалые образцы искусства и научить человечество подлинному ликованию и веселью.

...Как порой ни была горька моя судьба в последующие годы, праздники смягчали печаль и несли надежду и веру в конечное счастье и неизбежную справедливость.

В воспоминаниях о них не раз черпала я волю к жизни, радость бытия. Это моя сокровищница.

Мне довелось быть свидетельницей рождения советской литературы, читать в первых изданиях многие замечательные книги, вошедшие в золотой фонд нашего искусства.

Мое поколение в двадцатые годы зачитывалось «Башней» Гастева и «Красной звездой» Богданова, учило наизусть «Левый марш» Маяковского, когда впервые он зазвучал в Москве. Мы пылко спорили о «Цементе» Гладкова. Помню день, когда Дмитрий Фурманов принес мне только что опубликованного «Чапаева». Мы восхитились «Тихим Доном». Он стал нашей гордостью. Нам нравились талантливые рассказы Ивана Катаева, стихийный лад в книгах Артема Веселого, волнующий «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова и партийный темперамент «Разгрома» Фадеева. Песней прозвучали для нас стихи Павло Тычины, Ильи Сельвинского, Асеева, Сакена Сейфуллина. У Алексея Толстого учились мы великолепному русскому языку, а у великого Горького — всем тайнам мастерства.



Советская литература громко заявила о себе на весь мир. Часто номера журналов «Красная новь», «Октябрь» становились событием, о котором говорили на собраниях, в толпе, в семье.

Я познакомилась с писательницей Лидией Сейфуллиной именно в Октябрьские праздники в Ленинграде.

К Лидии Сейфуллиной я пришла после демонстрации, как благодарная читательница, не смея считать себя в ту пору ее товарищем по цеху. На моем творческом счету значилось только несколько очерков, напечатанных в «Комсомольской правде» и «Гудке».

За праздничным столом сидели гости. Муж Сейфуллиной писатель Правдухин, яростный охотник и рыболов, весело выхвалялся своими трофеями, лежавшими тут же. Дикie утки в жирном соусе среди подрумяненных печеных яблок и печальный голубоватый заяц, приготовленные умелым кулинаром, красноречиво подтверждали, что Правдухин не попусту скитался по лесу и болотам.

Мне очень понравилось лицо Сейфуллиной. Точь-в-точь такое я запомнила на одном из полотен Гогена, воспроизводившего таитянских женщин. Круглые большие глаза, глаза мулатки, у писательницы были лучисто-яркими и сохраняли всегда пытливое и тревожное выражение. Сейфуллина оказалась страстным рассказчиком и, как многие писатели, в беседе искала, находила, проверяла мысли, которые потом должны были появиться вновь в еще вынашиваемом произведении. Многие из того, что говорила мне тогда Лидия Николаевна, я прочла позднее в «Виринее». В сумеречный час, который французы и поляки прозвали «между волком и собакой», Сейфуллина пошла проводить меня до гостиницы, где я остановилась.

Праздник Октября сиял вокруг нас огнями иллюминации, шумел музыкой и песнями. Мы смешались с радостной толпой, двигались, держась за руки, отдались вихрю народного ликования.

Не раз виделась я затем с Лидией Николаевной, но никогда уже так беззаботно и весело не шло для нас время.

Радуюсь я тому, что именно в моей семье прочли вскоре после окончания свои произведения Бабель и Багрицкий. То была пьеса «Закат» и поэма «Дума про Опанаса».

Часто встает передо мной живой Маяковский. Мне удалось наблюдать за ним перед его выступлением в

рабочем клубе. Молча мерил он широкими шагами кулисы, круто поворачиваясь на каблуках. Он волновался. Меня глубоко поразило, что великий поэт, известный своей задиристой смелостью и волей, полон беспокойства перед встречей с читателями, которые не скрывали нетерпения, ожидая его выхода. Это высокое чувство ответственности я встречала у многих советских художников разных поколений.

В дни праздников всегда вспоминается хорошее, посылаемое нам жизнью. А есть ли что-либо лучше, нежели человек, работающий для других людей, творящий для них! Народ и партия ценят творцов в области искусства. Ленин писал: «Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать».

Да, позади у моего поколения длинный свиток воспоминаний.

Тысяча девятьсот двадцать первый год тяжело дался Украине. Родной город показался мне неузнаваемым, обезлюдившим. Знать и богачи бежали с уцелевшими белогвардейцами за границу, фабрики замолкли, не хватало топлива и хлеба. На центральных улицах стало пустынное, чем на окраинах, и казалось, какой-то важный механизм, как в больных часах, вышел из строя и остановилась сама жизнь. И тем прекраснее представляли в уединении сады и парки, величественные освобожденные от людской суеты панорамы площадей, соборы, спускающиеся к Днепру холмы.

Незабываемо красив Киев. Ни один город Европы, будь то Рим, Будапешт, Вена, не производит на уроженцев красавицы украинской столицы того сильного впечатления, которого заслуживает. Весна в Приднепровье может конкурировать с прославленной примаверой Флоренции и Сицилии. И такой же волнующей красками и ароматами была она на пороге моего шестнадцатилетия.

Я блуждала по чудесному городу, любовалась фресками Васнецова в Софийском соборе, собирала букеты лесных цветов в значительно поредевшей святошинской роще и по вечерам посещала оперу, утратившую блеск, присутствующий ей в 1919 году. Украинское правительство находилось тогда в Харькове, и это тоже определяло монотонно-провинциальное существование Киева.

Я собиралась назад в Москву через Харьков, но неожиданное событие задержало меня, тем более что из-за него должна была срочно приехать и моя мать. Дело касалось баронессы Шиллинг, арестованной ЧК. Ее судьба взволновала моих друзей. Вскоре, при их помощи, она была освобождена.

Софья Ивановна Шиллинг в 1918 году поселилась в одной квартире с моими родственниками. Там же находилась и моя мать со мной, после того как с Андреем Сергеевичем Бубновым прибыла в Киев и начала, связавшись с украинским большевистским подпольем, работать в Красном Кресте.

Муж Софьи Ивановны, барон Шиллинг, был одним из главарей деникинской армии. Он находился на фронте, а его жена, перенесшая тяжелую операцию, осталась в Киеве. В нашей квартире, где для нее были реквизированы лучшие комнаты, первой познакомилась с баронессой я, тогда тринадцатилетняя, весьма общительная и бойкая девочка.

Жена видного белогвардейца оказалась певицей, солисткой императорского петербургского оперного театра. Она показала мне свои фотографии в пышных костюмах, пожелтевшие концертные афиши, прорвавшиеся на сгибах, многочисленные альбомы с тщательно наклеенными газетными вырезками. Софья Ивановна Тимашева-Шиллинг тяжело переносила разлуку со сценой. Она могла часами рассказывать мне, жадно ее слушавшей, о былых победах, о выступлении вместе с Шаляпиным, Собиновым и другими корифеями. О муже своем она говорила вскользь и нехотя.

Я привела к ней мою мать, и обе женщины заметно потянулись друг к другу. Они часто оживленно беседовали. Случалось, Софья Ивановна пела арию Полины из «Пиковой дамы» и Леля из «Снегурочки». Мать аккомпанировала ей. Баронесса говорила о том, что для нее все кончено в жизни.

— Недавно мне отсекли грудь, более того — вырвали сердце, раз я больше не могу петь. Знаю — это рак, а нет воли умереть. Все жду чуда.

Однажды мать принесла к Софье Ивановне чемодан, и они спрятали его в сундук, где у актрисы хранились ее

прекрасные театральные костюмы. В эти именно дни со всем неожиданно приехал к жене барон Шиллинг. Огромного роста, белобрысый генерал как бы заполнил своей персоной не только нашу квартиру, но и четырехэтажный дом, присмиривший и затихший. В течение недели громкоговоритель и самоуверенный барон и его адъютанты действовали на нас, как паралич. Затем они уехали, и Софья Ивановна передала через меня маме, что согласна выполнить ее просьбу. Я не знала, что могло это означать, но, хотя и невоздержанная на язык, на этот раз поняла, что не должна задавать лишних вопросов.

Лишь двумя с половиной годами позже узнала я, что в нашей квартире, у Софьи Ивановны, скрывался один из деятельнейших большевиков, голова которого была высоко оценена белогвардейской контрразведкой, а в сундуке ее лежали важнейшие документы из Москвы.

Несмотря на то что барон Шиллинг, когда красные подходили к Киеву, прислал за женой доверенных людей, она решительно отказалась ехать в эмиграцию и восторженно встретила приход советской власти.

Софья Ивановна происходила из крестьян. Брак с бароном Шиллингом не сблизил ее с светским столичным обществом, наоборот, вызвал скандал, тем более что певица не пожелала оставить театра.

Во время гражданской войны она окончательно разочаровалась в муже и, тяготясь никчемным существованием, искренне отдалась новым мыслям и представлениям о жизни. Моя мать помогла ей найти себя, и она связала свою судьбу с советской разведкой.

В самом начале двадцатых годов, сразу после гражданской войны, я приехала с фронта в Москву и поступила на рабфак при МГУ. Учились мы на лестничной площадке. Каменное здание на Моховой не отапливалось, и холод был такой, что учащиеся не снимали ветхих пальтишек и кожаных курток.

Но как горячи были наши сердца! Мы хотели все узнать и понять. Особенно влекло нас искусство. В театрах озябшими руками мы аплодировали «Чайке», на концертах впивали звуки симфоний Бетховена и Чайковского, в музеях жарко спорили о передвижниках и Врубеле, скульптурах великих русских ваятелей и знакомом нам по копиям «Мыслителе» Родена. В бывшем особняке купца Щукина, в Музее западной живописи, мы учились

понимать Ренуара и Матиса, любоваться полотнами Дега и Гогена, удивлялись Ван Гог, а в доме Морозова на Кропоткинской рассматривали творения Пикассо.

Совсем недавно я услышала от одного самоуверенного юноши пренебрежительное утверждение, что поколение, выраставшее в двадцатых годах, понятия не имело об импрессионистах, о химерах собора Парижской богородицы и, уж конечно, о Пикассо. Я ответила ему смехом и рассказала о страстных диспутах, происходивших в Политехническом музее, в актовом зале МГУ, в здании московского театра «Эрмитаж». Там выступали выдающиеся знатоки живописи, театра, музыки и литературы — Луначарский, Коллонтай, Покровский и многие другие.

Уже в те годы, когда в скверах Москвы футуристы выставили свои смехотворные, грубо размалеванные «скульптуры», народ с отвращением отверг эту попытку поругания прекрасного. Помню на Тверском бульваре сооружение, состоявшее из нескольких нагроможденных друг на друга ящиков и шаров, заканчивавшихся треугольником и деревянной гармоникой. Дававший объяснение «скульптор» назвал свое творение «Мать с ребенком». Я видела, как прохожие останавливались, слушали «деятеля искусства» и в сердцах плевались.

Позднее мне пришлось бывать за границей. В Париже я посещала традиционные весенние и осенние салоны живописи и скульптуры. Там наряду с полными творческой мысли, вдохновения и новаторства произведениями таких, например, художников, как Утрилло, были выставлены и рассчитанные на сенсацию, а то и просто на скандал полотна.

Помню холст с приклеенными пучками женских волос и горлышком разбитой бутылки. Название картины было «Ню» («Обнаженная»). Публика, проходя мимо, улюлюкала, громко возмущалась этим брошенным ей оскорблением, требовала, чтобы картину убрали. То был не единственный экспонат, вызывавший негодование. На постаментах стояли откровенно порнографические изваяния, рассчитанные на одобрение пресыщенных снобов и невежд.

— В этом есть нечто, понятное только немногим. До этого надо эстетически подняться, — мычали скудоумные «ценители», самодовольно подчеркивая свое

превосходство над другими и принадлежность к самым передовым эстетам.

Иные посетители салонов, подчиняясь стадному чувству, поддакивали им.

В наши дни покровителями абстракционистов, особенно в Америке, являются архимиллионеры Рокфеллеры, Гарриманы, Уитни и другие. Они организуют музеи, поощряют и скупают полотна и скульптуры, содержание и форма которых лишены какого-либо смысла.

Жизнь большинства моих сверстников, родившихся в России, в чьих метриках помечен 1905 год, сложилась необыкновенно и часто могла бы послужить канвой для увлекательных литературных произведений. Мы помним, пусть не совсем четко, Октябрьскую революцию и уже ясно все последующие великие даты истории нашего народа. Мы видели и слышали людей, имена которых звучат как легенда.

Мне посчастливилось праздновать 1 января 1925 года в рабочем клубе, куда приехали Фрунзе, Лихачев и многие другие товарищи. Мы веселились до позднего в эту пору года рассвета, перепели хором все знакомые песни, от «Ермака» до «Смело, товарищи, в ногу», и плясали подлинно до упаду. Михаил Васильевич Фрунзе за ужином читал с большим умением сатирические басни Демьяна Бедного и шутил с мальчишеским задором. Он был еще совсем молод, румян и казался очень здоровым. А жить ему оставалось менее года...

Редко можно было встретить человека, более располагающего к доверию, простого, душевного, требовательного и строгого к себе и другим, нежели Иван Алексеевич Лихачев, в то время видный профсоюзный деятель и руководитель автостроения. Черты его лица — сильный рот, чуть вздернутый, что называется «русский» нос, умные глаза с добродушно-лукавым прищуром — напоминали лицо Кирова, на которого он походил также неутомимо деятельным характером и широтой натуры. Это были закаленные в многолетних различных битвах опытные бойцы и командиры партии, ученики Ленина, плоть от плоти народа, лучшие из его сынов. Труд всегда был их радостью.

В этот памятный вечер Лихачев подарил нескольким товарищам замысловатые зажигалки, смастеренные им в часы досуга. Он поднял тост за процветание нашей промышленности и предрек, что скоро многие из присутствующих смогут ездить на превосходных советских автомобилях.

Был среди нас и зачинатель советского радиопроизводства Александр Васильевич Шотман, член партии с 1899 года. Шотман был страстно, фанатически увлечен своим делом. На встречу Нового года он привез новый радиоаппарат и долго возился с антенной. И, несмотря на то что на вечере опыт с радиовещательным ящиком, похожим на старинный граммофон, провалился, и кроме шипа и хрипа, мы ничего не услышали, произнес заразительно убежденную речь, в которой заявлял, что пройдет совсем мало времени и наши радиоаппараты превзойдут качеством знаменитые итальянские. Впервые тогда услышали мы о нарождающемся телевидении, но не смогли себе даже представить, что это такое.

Страна наша росла и растет на удивление всему миру. Стали явью самые дерзновенные наши мечтания. Вера в советский народ, в то, что наша социалистическая система даст небывалые в истории возможности для бурного развития, оправдалась.

## ЛОНДОНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Хотя бездна разделяла коммуниста М. М. Литвинова и ярого консерватора У. Черчилля, было нечто схожее в их наружности. Низкорослые, плотные, широкоплечие, с большими мясистыми лицами, они оба отличались пронизательным, ироническим умом и титанической волей.

В крепко сомкнутых больших губах Литвинова отражалось столько саркастической выразительности, а в глазах было столько полемического жара, что не терпелось услышать его раньше, нежели он начинал говорить. Находчивый в любой беседе, знающий очень много в различных областях, он всегда удивлял меня необычной для столь грузного человека подвижностью, энергией голоса и жеста.

В декабре 1929 года, за несколько дней до отъезда в Лондон первого Чрезвычайного Полномочного посоль-

ства СССР, наркоминдел Литвинов вызвал меня к себе в здание МИДа, что на Кузнецком мосту.

— Вы едете в Англию,— сказал он, испытующе разглядывая меня. — Это накладывает немалую ответственность. Придется жить как в стеклянной банке. Обозревать вас будут со всех сторон, и не столько друзья, сколько недруги.

Максим Максимович протянул мне белогвардейскую парижскую газетку «Возрождение», где сообщалось, что я дочь дворника и прачки, дама весьма зрелых лет (мне в то время было ровно двадцать четыре года), с сомнительным прошлым. «Вот кого, может быть, отныне будет принимать лондонский высший свет»,— патетически заканчивалось это измышление.

Литвинов отложил газету и продолжал сухо:

— Каждый советский гражданин должен быть не только вдесятеро осмотрительнее всякого другого, но и обязан высоко нести знамя своей страны, чтобы не осрамиться и не принести вреда. Все надо предусмотреть и помнить, что на войне как на войне. Любой пустяк может превратиться в сенсацию. От вас требуется безукоризненность поведения и высокая культура.

Нарком поинтересовался моими знаниями в области общественного строя Англии, ее истории и литературы. Мы заговорили о последних книгах Голсуорси, Стрэчи, Вирджинии Вулф и Лоренса. Литвинов метко охарактеризовал мне творчество разных литераторов. Много лет прожил он в Англии и знал ее досконально.

Разговор с Литвиновым, значительный и полезный, более походил на экзамен, который мне пришлось сдавать без основательной, впрочем, подготовки.

Мы помянули крупнейших политиков прошлого века: Питта, Гладстона, Дизраэли — могучих колониальных хищников и ловких политиков. Максим Максимович с подлинным мастерством воссоздал психологические портреты современных руководителей лейбористской и консервативной партий — вкрадчивого Макдональда, барственно-го, недоверчивого Ллойда Джорджа и напористого дельца Болдуина.

— В Англии поначалу вам будет нелегко. Страна эта сложная, с архаическим привеском — королевским строем, с множеством предрассудков, отжившим этикетом, условностями. А теперь поговорим о предметах простейших.



Сказав это, Максим Максимович пригласил меня к столу, на котором был сервирован завтрак. Вместе с нами уселся и сотрудник протокольного отдела. Не отводя от меня маленьких глаз, ярко блестевших под стеклами очков, нарком разложил тугую салфетку на коленях и принялся есть.

— Это что, проверка? — спросила я, улыбаясь.

Я легко справилась с трудностями, но возилась долго, пока освоила, как надобно очистить на весу персик, пронзенный вилкой. Требовалась тренировка.

— Спаржу едят руками, — учили меня, — когда затем подается чашка с водой, следует омыть только пальцы.

Мне припомнилось, как придирчиво наставляла меня мать в искусстве держать себя за столом. С детства я знала, что вилки вошли в обиход еще в средние века. Отец поддразнивал меня: «Хорошо есть руками, будто московские бояре допетровской Руси: как ни верти, именно пальцы прототип вилок, а зубы — ножей».

Аристократическая Англия тридцатых годов свято охраняла традиции. На званых обедах главным было не качество еды, а сервировка. Но рестораны для служилого люда, которого становилось все больше, подобно французским бистро, с их спешкой, несложной посудой и автоматами, значительно упрощали трапезу.

Прощаясь со мной декабрьским днем 1929 года, Литвинов предупредил, что редактором моим отныне будет он сам. Так оно и было, пока я находилась на острове. О лучшем, впрочем, вряд ли мог бы мечтать журналист и писатель.

Вскоре маленькое суденышко доставило меня из Кале в Дувр. Особый вагон, предназначенный для прибывших работников посольства, отправился в Лондон. Я взяла при себе голубой небольшой чемоданчик с предметами туалета и всем самым необходимым в пути. Он был таинственно похищен у меня по пути в столицу. Впрочем, на другой день, явно разочарованный в его содержимом, сотрудник какого-то важного департамента с извинениями вернул мне украденное, невнятно ссылаясь на вора, которого задержали. Мыло, губка, пижама и русско-английский словарь оказались на месте.

Жадно вбирали мы новь. Даже черные и желтые туманы, плохо влиявшие на здоровье, были интересны.

Сколь многим обязан каждый из нас литературе. Она первый проводник по незнакомой стране. Глазами писателей и героев их книг взираем мы поначалу на города и людей неведомых доселе земель.

Шекспир и Вальтер Скотт рассказывали мне о старой, веселой Англии, и, выйдя на улицы Лондона, я искала в лицах встречных черты Тома Джонса и Дэвида Копперфильда. Филдинг, Диккенс, Шарлотта Бронте вели меня по старым кварталам британской огромной столицы. И без путеводителя, как на давно знакомые дома, взидала я на Вестминстерское аббатство, Тауэр, Бакингемский дворец. А «Пигмалион» Шоу давно породнил меня с рынком подле Ковент-Гардена.

Постепенно литературные ассоциации распадались, мешая более знакомству с жизнью современной мне страны. Довелось вращаться в различной среде, и это значительно обогащало впечатления.

Леди Мюриал-Педжед, представительница старейшего аристократического рода, оказалась членом Общества англо-советской дружбы и милостиво взялась готовить меня к приему у королевы и затем посещению бала во дворце. Первым и тягостным испытанием была церемония представления меня этой коронованной персоне.

В 1930 году английский двор сохранял неприкосновенным церемониал, установленный процветающей королевой Викторией, чье царствование совпало с завидным могуществом колониальной державы. Леди Мюриал-Педжед, уже немолодая, сухощавая, тщеславная владелица средневекового замка и многих банковских акций, придирчиво заставляла меня упражняться в сложнейших поклонах.

— Сохрани вас бог нарушить этикет, об этом напишут все газеты,— предупредила она.

В апартаментах королевы мне надо было, кланяясь, пятиться к двери, чтобы ни разу не повернуться к ней спиной. Необходимость посетить Бакингемский дворец подавляла. Я понимала, как нелепо и вместе лживо такое почти противоестественное знакомство.

Но профессиональная пытливость, охота рассказать в подготавливаемой мною книге «Очная ставка» о забавном осколке далекого прошлого, каким стала в двадцатом веке монархия, толкали меня с непреодолимой силой. Дей-

ствительно, без этих приемов и раутов вряд ли удалось бы мне впоследствии воспроизвести бал королевы Виктории в «Похищении огня». За восемьдесят лет, отделяющих мою встречу с королевой Мери от викторианского расцвета, церемониал торжеств в замках королевской Англии почти не изменился.

В назначенный день автомобиль доставил меня в ничем не примечательную резиденцию королевской семьи — Бакингемский дворец. У подъезда поджидал меня седовласый министр двора. Молча шли мы по темным коридорам и лестницам. Было холодно и сыро. У одной из дверей лакей помог мне снять шубу. Я вошла в королевские покои.

Возле вышитой японской ширмы, у столика с вазой цветов, стояла русоволосая женщина в платье до пола, с затканным жемчужинами высоким стоячим воротником. На лице ее, набеленном и наруганном, не было морщин, а его овалу могла бы позавидовать восемнадцатилетняя девушка. И, однако, королева показалась мне старухой. Это противоречие я объяснила себе не сразу. Никакая пластическая операция не смогла омолодить ее глаз с красными прожилками и потухшим взором. Они казались еще более утомленными и дряхлыми на неестественно юном лице. С безразличием манекена смотрела на меня королева.

Вспомнив все, чему меня учили, кланяясь, я подошла ближе. «Как вам нравится осенний салон живописи в Париже?» — ледяным тоном, по-французски, спросила ее светлость. Я ответила малозначащей вежливой фразой. Разговор не вязался, спасла тема погоды и различия в климате России и Англии.

Кивком головы королева прекратила аудиенцию. Пятясь к двери и трижды склонившись в традиционном придворном поклоне, я заметила, как от приседания спустились петли на моем чулке. Но кто-то услужливо открыл позади меня дверь, и я поспешно отступила в коридор. Спектакль, в котором мне была отведена глупейшая роль, наконец кончился. Но посещать королевские балы мне пришлось еще не раз.

Я постепенно освоилась с городом и, готовя книгу об Англии, ездила по стране и бывала подолгу в таких промышленных городах, как Глазго, Шеффилд, Манчестер. В семьях Шоу и Веббов я увидела Бертрана Рассела, уже

тогда признанного социолога, философа и общественного деятеля — противоречивейшего эрудита, который, блестяще владея софистикой, мог опровергать и возводить любые теории с легкостью жонглера. Увлекающийся, нестареющий, кидающийся от одной крайности в другую, он был, однако, безусловно исполнен самых добрых намерений, но, считая себя гением, принимал за истину только то, что породил сам. Когда Беатриса Вебб с присущей ей стремительной самоуверенностью пыталась оспаривать очередную теорию Рассела, он едва подавлял ярость и прокалывал ее насмешкой. В холодные дни Рассел любил подолгу греть спину у камина и затем усаживался в кресле, скрывая под насмешливой улыбкой очень доброе, по существу, лицо со слабыми глазами и юношеской шеей.

О чем только не толковали! Фашизм смертоносной змеей подползал к человечеству, но его-то почти не примечали. Сидней Вебб старался проникнуть в сокровенные тайны Японии. Не попытается ли она отторгнуть Австралию, столь нужную Великобритании? Осуждали политику Макдональда, фиглярство Мосли, искали магического заговора от экономических кризисов и безработицы.

В первый год жизни в Англии познакомилась я с двумя интересными людьми: виднейшим экономистом, приобретшим мировую известность, Джоном Кейнсом и его женой — талантливой балериной из труппы Дягилева, уроженкой Петербурга, Лидией Лопуховой.

Выйдя замуж, она оставила балет и выступала только на благотворительных концертах и очень редко — как профессионалка, с прежними своими партнерами. Мне удалось один раз восхищаться ее дарованием. Она появилась с двумя молодыми юношами в танце, поставленном еще Дягилевым, введшим в балет подобное трио — одна женщина и двое мужчин. На этом же вечере выступил Лифарь, заслуженно считавшийся непревзойденным танцором своего времени.

Лидия Лопухова не раз посещала Советский Союз и Ленинград, где находился ее брат, балетмейстер. Она заметно грустила о родине. Дом Кейнсов был по-русски гостеприимен и прост. На втором этаже находилась студия балерины — стены из зеркал, балетные станки. Внизу, в кабинете и гостиной, часто бывали гости. Кейнс и

его знакомые обсуждали новейшие книги по экономике, появившиеся в разных странах.

«Закат Европы» Шпенглера, мрачное послевоенное исследование, все еще занимало умы. Кейнс, как опытный метеоролог, предвидел экономические грозы, землетрясения, связанные с кризисами в Америке и капиталистической Европе, и их страшные последствия. Цифры, которые он называл, казалось, выстраивались полчищами безработных и рушили мнимое благополучие острова, прокладывая трассы войнам.

Джон Кейнс предсказывал экономический спад капиталистических держав и возможный подъем обнищавшей после поражения в первую мировую войну Германии. Он называл Гитлера и его партию мухой цеце, укусы которой может оказаться смертельным. Его прогнозы были зловещими.

Кейнс, высокий, сдержанный человек с малоприметной внешностью, сероватыми, гладко зачесанными волосами, сохранил в себе юношескую непосредственность и прямоту. Его красила редко появляющаяся, застенчивая улыбка. Лидия Лопухова-Кейнс, маленькая женщина, была олицетворением той обволакивающей женственности, которая влечет больше красоты. Не имея детей, чета Кейнс относилась друг к другу влюбленно. Оттого, вероятно, так хорошо чувствовали себя гости в их небольшом, типично английском коттедже.

У них я увидела Дмитрия Мирского, чьи статьи читала всегда с интересом. Этот князь, отказавшийся от титула, был чтим в английском интеллектуальном и аристократическом обществе. Он преподавал в колледже и часто выступал в прогрессивной прессе с позиций коммунистов. Биография его была более чем противоречивой и необычной. В начале революции он враждовал с большевиками, был полковником белой армии, уехал в Англию, где собирался написать книгу против Ленина. Но, работая над трудами Ленина и Маркса, был побежден и порвал с прежними своими взглядами, вступив в Коммунистическую партию, и боролся за новую идею, которой решил служить своими знаниями до конца. Эта разительная метаморфоза ошеломила англичан, но влияние его оставалось значительным. Горький переписывался с ним, ценя его как литературоведа и критика.

Суровый, тощий, черноволосый, чем-то похожий на хана Кончака из «Князя Игоря», неуступчивый в споре и побеждающий благодаря убежденности, эрудиции и памяти, он никогда не был понят мною до конца. То была трудная и сложная натура.

Лишь через год после обоснования в Лондоне познакомилась я с знаменитым режиссером и театроведом Федором Федоровичем Комиссаржевским, родным братом великой русской актрисы Веры Комиссаржевской. Талантливый человек, как бы скромн и скрытен ни был, обязательно проявится, как только прикоснется к источнику, питающему его дарование. В первую встречу разговор велся о предметах, далеких от искусства, и Комиссаржевский молчал, сомкнувшись, как раковина. Но затем мы встретились на премьере пьесы Шоу «Плохо, но правда». И казалось, раковина распалась, обнажив жемчужину. Комиссаржевский говорил о театре, особенностях игры актеров и постановки с необыкновенным блеском. Чем-то он напоминал мне Луначарского, постигшего до дна законы театра.

Имена великих артистов Сиддонс, Гаррика, Дузе, Щепкина, Ермоловой и, наконец, наших современников, таких, как Станиславский, Садовский, Мейерхольд, зазвучали, сопровождаемые безусловной оценкой особенностей их таланта.

Комиссаржевский скорбел о том, что театр на Западе подчиняется спросу подчас невежественного зрителя и артисты снова, как в средневековье, стали кочевниками, играют в угоду пошлякам, святотатцам, поругавшим прекрасное. Он восхищался могучим расцветом зрелищ в России и сказал, что, выполнив старые контракты, вернется домой, куда должен был отправиться и его сын Виктор.

Спустя несколько дней, когда Федор Федорович пришел к нам, я спела ему несколько арий. Затем я попросила Комиссаржевского дать мне несколько уроков драматического искусства. Так стала я ученицей Ф. Ф. Комиссаржевского, изучая с ним в течение нескольких месяцев оперу «Пиковая дама».

В том же 1931 году в Англии вышло большое, отлично иллюстрированное исследование «Театральный костюм». Он подарил мне эту книгу и сделал на ней следующую надпись:

«Вумного написать ничего не могу, а буду всегда помнить о том хорошем времени, которое проводил у Вас в этом нелепом аглицком палаццо, и особенно о том удовольствии, которое получил от Вашего пения и наших занятий, милая Галина Иосифовна.

Ваш *Ф. Комиссаржевский*.

Февраль 1932.

Лондон»

Не всегда уроки со мной доставляли ему, однако, удовольствие, так как сценического таланта у меня не было. Подчас в самых напряженно-трагических местах оперы я вдруг чувствовала всю ее условность и едва сдерживалась, чтобы не улыбнуться. Сцена на Канавке пленила меня музыкой. Стихия звука захватывала, но действие, сопровождавшееся пением, а не простой речью, разрушало чары. Страшась быть смешной и ложно-патетической, я не исполняла того, чего хотел от меня Комиссаржевский-режиссер.

Но дикция и жестикуляции мои с его помощью улучшились, и я начала постигать законы театра. Однако нередко он останавливал меня во время какой-либо мизансцены резким:

— Не то.

Первую большую арию Лизы «Откуда эти слезы» Комиссаржевский заставил меня исполнить, лежа на кушетке, лицом вниз. И впервые я позабыла, что пою, и ощутила себя в роковом тупике, как та, кого должна была изобразить. Руки и ноги мне больше не мешали, условности отпали, я как бы осталась наедине с горестным предчувствием и любовью.

«Мои девичьи грезы, вы изменили мне...» — продолжала я, слегка приподымаясь.

— Вот и нашли правильную интонацию, — похвалил Федор Федорович, — пароксизм горя проходит, и Лиза овладевает собой. Посмотрите, как, согласно музыке и ремаркам Чайковского, видится мне эта сцена.

Комиссаржевский был великолепным актером, и подчас не только я, но и моя аккомпаниаторша, забывая обо всем, следили только за ним, когда, перевоплощаясь, он исполнял ту или иную мизансцену гениальной оперы.

Новатором и смелым творцом сценического действия считали его английские зрители и те актеры, с которыми он работал. В Лондоне шло несколько поставленных им пьес, и все они, будь то классический или современный репертуар, вызывали шумные споры и похвалы. Он, как сам мне восторженно говорил, учился у Гордона Крэга, Станиславского, Вахтангова и Мейерхольда. Ему правился из молодых советских постановщиков Охлопков. Смысл его некоторых рассуждений был таков:

«Театр и жизнь неотделимы не только в репертуаре, но и в трактовке показа. Опера — тот же театр. Речь или пение — едины. Фальшь — следствие неумения и неталантливости. Владеть телом, голосом, словом — значит, освободиться от пут. Только тогда жди вдохновения. Шаляпин доказал, что опера может превзойти любое иное театральное искусство».

Комиссаржевский был прав.

В ту пору он собирался на Родину, по которой постоянно тосковал. Мы ездили с ним в Борнмут. Морские волны расползались у песчаного берега, как медузы. Но искривленные, восторженные деревья твердили о жестокости ветров, качающих стволы, как мачты в шторм. Папоротник и роща напомнили нам Россию. Вскоре Комиссаржевский уехал. В последнюю встречу он познакомил меня с сыном Виктором, которого очень любил и считал одаренным.

— Идите на сцену, пойте, — убеждал он меня, прощаясь, но я не исполнила его совета.

Я разъезжала одна по рабочим окраинам. Как-то в беднейшем квартале вест-индских доков, где жили по преимуществу индийцы и негры, попала в опасную потасовку между полицией и бастующими докерами. Только под утро мне удалось вернуться домой неузнанной. Особенно памятно мне это происшествие потому, что, едва приведя себя в порядок, я должна была в тот же день в качестве хозяйки присутствовать на важном, устроенном для Уинстона Черчилля обеде. Тогда-то я и увидела его впервые.

Если Кейнс выглядел как скромный профессор университета, а лорд Антони Иден — как профессиональный киноактер, то на Уинстоне Черчилле лежала особая мета. В одном из музеев Лондона я подолгу задерживалась возле лат, некогда служивших Генриху VIII. Король этот



родился колоссом. Ширина плеч его была невероятной, как и высота грудной клетки. Он, по свидетельству современников, так же как Черчилль, мощным черепом и подбородком напоминал бульдога.

Почудилось мне нечто первозданное в коротконогом, широченном, бочкообразном Уинстоне Черчилле. Сила ума и тела исходила от этого наследственного аристократа. Вскоре первое впечатление, как это бывает нередко при встрече со сложным человеком, изменилось. Глядя на крепкие челюсти гостя, улавливая хитрецу, мелькавшую в его небольших глазах, подмечая незаурядное умение слушать, молчать и отвечать вовсе не так, как ожидалось, я поняла, что передо мной очень властный, рассудочный и вместе темпераментный политик, один из тех, кого природа создает в порядке исключения.

Это был отважный консерватор, деятельный представитель своего класса, идущий к избранной цели, не считаясь с препятствиями и потерями. Пожалуй, из всех людей на политической арене Великобритании ни один не казался мне тогда столь значительным. Он открыто защищал противоположные нам идеи, вызывая все же уважение этой откровенностью. В обычной застольной обстановке Черчилль казался веселым и остроумным собеседником с несколько даже старомодными рыцарскими манерами, особенно по отношению к дамам.

Уинстон Черчилль продолжил и завершил плеяду обладавших мертвой хваткой колонизаторов: великого мастера интриг, торговавшего народами и странами, — лорда Дизраэли, многословного Пальмерстона, путаного философа Бальфура и нерассуждающего слугу Сити — Керзона.

## МОЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Не много на свете таких привольных, прекрасных мест, как Верховажье и Тотьма. Покатые холмы, леса, не по-северному приветливые душистые луга, прозрачные, веселые извилистые реки — все это первозданно и самобытно. Я дивилась тому, что суровый климат не смог наложить свою печать угрюмости и печали на окружающую природу. Она радовала сердце и будила надежды. Нравилась мне здешняя речь, не цокающая, как в Архангельской области, откуда я приехала в Вологодскую область.

Никто не говорил мне более: «Дохтурса, цаю не хочес ли? Водицки хочес?» И я не обращалась к встречному ребенку с просьбой: «Повопи-ка мамку-то».

За время жизни в Вельском районе в середине сороковых годов и работы в деревнях я вполне освоилась с местным произношением, и меня не раз считали уроженкой этого лесного края. Вологодцы же хотя и сильно оказывают, но говорят на среднерусском наречии.

Вельские жители недоверчивы, прижимисты, скуповаты, в Верховажье народ показался мне добрым и гостеприимным. Два дня, проведенные мною у пасечников — супругов, удивительно напоминавших Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, — умиротворили душу. Старикам было уже далеко за семьдесят. Их рассказы о пчелах не уступали поэтическим откровениям Метерлинка. Давно уже они не защищались от пчелиных укусов ни сетками, ни перчатками. Старики верили, что своим долговечием обязаны не только меду, но и пчелиному яду.

Рой встречал их торжественным маршем, веселым, согласным гудением. Маленькое королевство неутомимо трудилось.

Пасечник говорил:

— Нет мудрее бессловесной твари, нежели пчела. Мал золотник да дорог. Читал я, что боги языческие питались нектаром и амброзией. Так ведь это и есть мед. Он очищает кровь и молодит тело. Вы пчел не бойтесь. Они доброго человека чуют, а особенно работающего и смиренного.

Вечерами пасечник читал «Мифы древней Эллады» и «Жития святых» с одинаковым увлечением.

Старушка потчевала меня перед сном медом на блюдечке и испуганно поверяла шепотом, что старику в последнее время неможется. Просила советов и каких-либо порошочков.

— Мы, почитай, пятьдесят лет живем уже вместе, и детей у нас не было, так вот всю любовь-то друг на друга и возложили, — говорила она мне.

А едва она уходила, являлся старик со стаканом меда и советовался насчет старухи, у которой вот уже год не все ладно с головой, очень забывчива стала.

Вскоре, душевно поздоровев, напутствуемая добрыми пожеланиями пасечников, я отправилась к косарям, на-

ходившимся в деревне километрах в двадцати пяти от Верховажья.

В глухом селе, живописно расположенном под холмом, у самого леса, поселилась одна из трех бригад косцов.

Я устроилась у вдовы, болевшей раком. Зная о скорой смерти, она то истово молилась, то изощренно кляла бога. Детей и родных у нее не было, и целый день в нашей светелке толпились болтливые соседки и убогие калеки: горбунья, слепец и глухой, однорукий старец.

Стены избы были с пола до потолка оклеены пожелтевшими газетами двадцатых годов. Над моей постелью висела литография, изображавшая все семейство Романовых задолго до мировой войны. Старые ходики мерно отсчитывали время, и сквозь чуть пыльные фикусы едва пробивался свет в маленькое оконце. Мне доставляло неизъяснимое удовольствие перед сном при мерцающем свете лучины читать на своеобразных обоях сводки с фронтов гражданской войны, декреты рабоче-крестьянского правительства, подписанные Лениным, отрывки статей о соглашателях-меньшевиках и о победах над белой армией.

Иногда в ногах моей постели усаживалась вдова-хозяйка. На исхудалом лице ее цвета необожженной глины навсегда залегла гримаса испуга.

— Рак у меня,— шептала она. — В наших краях раньше такой хвори не знавали. От старости больше кончались. Я и сейчас не верю, что будто от рака этого помирают. Я так думаю, не от него, а потому, что пора пришла. Двум-то смертям не бывать, а одной не миновать. От нее не укроешься, где-нибудь да споймает. А болезнь — так, повод один, да и все тут. Вот слепец говорит, нынче, когда люди железную дорогу построили, смерти за нами легче стало добираться. С нею и раки и разные другие муки едут. — Вздохнув и пожевав сухими губами, она продолжала: — Хотела я эту самую дорогу посмотреть, сорок верст до нее ходу, да горбунья отговорила. Пошто идти, нечего смотреть, говорит, дорога-то и не железная вовсе, а так, одни деревяшки настланы да бруски.

В соседней избе безмужние бабы, собираясь под вечер в праздник, пили горькую. Они дивились, что я отказываюсь от угощения, не пью.

— Чего бережешься? Ты от работы, а хозяйка твоя от рака изойдете, а сивуха — лекарь.

Не часто случалось мне принимать в окрестных селениях роды. Не было мужчин, тосковали женщины. Обычно я ездил на вызов, оседлав тощую и длинную, как Росинант Дон Кихота, трофейную лошадь, названную Фокусом. С ларем, в котором находились инструменты и лекарства, иногда с рассвета до поздна объезжала я верхом стоянки косцов и деревни, где не было медработников. Это были счастливые дни. Опустив поводья и высвободив ноги из стремени, я предоставляла Фокусу везти меня по безлюдным и нарядным лугам Вологодского края.

Я погружалась в прошлое, как в стога ароматного сена, встречавшегося на моем одиноком пути, и ловила себя на том, что говорю мысленно с теми, кого уже нет в живых. Хорошо было петь, присоединившись к хору птиц, и даже печаль не причиняла острой боли.

К осени пошла я работать в больницу.

Там жили мы тихой, однообразной жизнью. Вечерами зажигали лучинки и коптилки. Прошедшая война все еще давала себя знать в этой глуши. Для больных ставились в тамбуры отхожие ведра, а здоровые бегали за деревянные загородки над ямой. Мылись в полутемной бане с огромными бочками, в которых налита была холодная вода с плавающими льдинками. Из дымящегося чана черпали ведром и наливали в деревянные шайки кипяток. В Вологодской области мы мылись «по-черному» и нагревали воду раскаленными камнями. Больничная баня казалась нам роскошью, как в древности римские термы.

В дежурках лечебных корпусов по вечерам медработники играли в домино и шашки.

Один из них, бывший ротный фельдшер Зайцев, или Зайчик, как мы его звали, был прямодушный старик, всю жизнь скитавшийся по глухим углам родины. Никогда не читывал он Пришвина, но его образный язык и рассказы о лесных чащобах, о деревьях, птицах и животных напоминали мне лучшие страницы книг этого чудесного писателя.

Было в Зайчике что-то детское, и в характере, и в лице, широко, без морщин. Несмотря на то что он перешагнул за пятьдесят, глаза его сохранили выражение неведения и чистоты, а бесхарактерные, толстые губы всегда складывались в добрую улыбку. Никогда он не

сердился, терпеливо переносил придирки больных, искал возможности помочь товарищу. Однажды он пришел ко мне крайне взволнованный и протянул письмо. Писал ему сын из госпиталя.

«Я умираю, папаня. Медицина бессильна исцелить меня. Умираю от немецкой пули, засевшей в позвоночнике. Был ты мне хорошим отцом и всегда честным человеком. Я верю в это теперь и всегда верил, да вот позабыл такого отца. Годами не отзывался. Теперь смертью искупаю. Не поминай лихом своего сына Сергея Зайцева».

— Вот и весь сказ,— добавил Зайчик и разрыдался.

Была у него также дочка Наташка.

— Ей уже двенадцать, в школе учится,— рассказывал нам Зайчик с нескрываемой гордостью.

Наташка, когда несколько лет назад отец нашел семью, бежавшую от немцев в далекий тыл, ответила ему самостоятельно написанным большими каракулями письмом. Я не раз перечитывала эти строчки. «Здравствуй, папочка,— писала девочка. — Я тоже люблю клены, воробушков и всяких птиц. У меня в ведре живут карась и карасиха. Приезжай скорее».

Заходя ко мне в корпус, Зайчик делился своими мыслями о будущем. Он собирался к семье.

— Жить буду, конечно, до самой смерти с Наташкой и старухой и опять же где-нибудь в глуши, в деревне. Мое дело — облегчать людям физические страдания. Опытный фельдшер что правая рука врача. Будем мы с Наташкой по грибы и ягоды ходить, но птиц и зверя больше бить не буду. Упаси бог. Я теперь цену жизни познал. Пусть себе живут, всякое дыханье славит господу. Так-то.

Однажды утром Зайчик зашел ко мне в неурочное время.

— Умру я,— сказал он твердо.

— Нет,— ответила я. — С чего только вы это взяли?

— Сон ли, видение ли мне было, чудится, едем мы с вами на лодке. Берег в цветущих деревьях. Подъехали к нему близко, вы вдруг выпрыгнули, а я остался, лодку мою от берега отнесло.

— Глупости, видно, расшалились нервы у вас, да и каша гороховая на ужин тяжела,— засмеялась я.

На следующий день, играя в шашки, Зайчик медленно сполз со стула на пол. Лицо его побагровело, распухло,

сознание исчезло. Два дня все мы тщетно пытались ослабить отчаянные хрипы, вырывавшиеся из его груди, привести умирающего в сознание. Так и не удалось. Скончался Зайцев от кровоизлияния в мозг. Смерть его всех нас жестоко поразила. У гроба фельдшера я выплакала свое горе.

На убогих дрогах повезли сосновый, нестроганный гроб в лес и зарыли Зайцева на опушке под деревом. Сообщили жене и Наташке, чтобы не ждали больше мужа и отца.

Автоматически двигалась я в те годы по жизни, стараясь никогда, кроме часов для сна, не оставаться без дела.

Вскоре неожиданно в Княж-Погосте встретила я старую подругу. Благодаря ей я поступила на работу в «Помощь на дому» одного из медицинских отделений Печорской дороги.

Днем и ночью по непролазной грязи ходила я по пустырям Княж-Погоста в бараки и домишки строителей и железнодорожников. Более угрюмого и нелепо расположенного человеческого становища, нежели Княж-Погост, в те годы нельзя себе было представить. Точно ребенок, играя, раскидал кубики, которые кое-где сгрудились в кучу, а то далеко разлетелись по сторонам, образовав дома. И только огромное, похожее на сундук, здание Горного управления казалось примечательным в этом городке, поднявшемся на погосте, где схоронен некий опальный князь, умерший от тоски и лихорадки по пути в цареву ссылку.

Работала я усердно и вскоре получила назначение врачом и начальником (на военизированном транспорте — все начальники) вновь создаваемых детских яслей Северо-Печорской железной дороги.

Один из самых могучих двигателей на земле — это голод по творческому труду. Я испытала его в полной мере и с обычной для тех лет горячностью, вместе с несколькими простыми женщинами, набросилась на созидательную работу.

В день, когда мы, двенадцать служащих, пришли в дом, строящийся под ясли, столяры и штукатуры оставили его. Нам, будущим врачам, воспитательницам и няням, предстояло побелить дом, вымыть его, обставить и принять маленьких детей. И мы взялись за дело с теми

вдохновением и радостью, которые всегда служат залогом успеха. Мы привезли мебель, сделанную в соседних столярных мастерских. Художники трудились вместе с нами. Нет ничего невозможного для людей, целеустремленных и захваченных трудом. Всем нам страстно хотелось создать среди чахлого леса и болот, в глухомани, маленькое чудо, способное осветить людям жизнь, как столь редкое в этом крае солнце.

Для большинства из нас детский очаг, что мы создавали, стал как бы смыслом бытия, родным домом, к которому всегда неслись наши мысли.

И вот детские ясли открылись. Маленькие кроватки, стульчики, столы, вешалки, шкафчики были украшены рисунками отличных безымянных художников. Посредине игралки зацвела искусственная, но столь же нежная, как и живая, яблоня. Вплоть до платиц и рубашенок, все шилось любящими руками. На большой застекленной террасе в ватных удобных конвертах подолгу спали наши малыши. Все, чему научилась я, посещая детские сады наших прославленных московских заводов либо знаменитой воспитательницы Марии Монтессори, с которой познакомилась в тридцатых годах в Лондоне, пригодилось нам теперь, когда мы строили ясли в маленьком железнодорожном поселке Микунь. Дни, а часто и ночи проводила я среди детей. Но грустила я в этом северном сумрачном крае по матери и родному дому.

Вот случайно уцелевшие записки тех дней:

«8 августа 1947 года.

За окном три бураково-красных вагона, того же цвета кирпичные дома, серые пни, раскидавшие по земле щупальца спрута, а небо как серая тряпка с оборванными краями. Жидкие ветки хилых сосен на горизонте да гнилостный запах болот. Такова Микунь! Где-то наступило уже лето. Об этом твердят календари. Здесь же холодно и сыро.

Слушаю часто музыку по радио. Читала о влиянии звуков на человека. Они способны толкнуть на преступление, вызвать милосердие, буйство, умиротворение. Для меня музыка как запахи. Она поднимает из недр подсознания с полочек памяти забытое. Звуки, будто вода, размывают душу, и в поднимающемся со дна песке появляются чистые песчинки золота. Я думала — нет его во мне. Мелодии Скрябина, Шопена, Шумана, симфонии

Калинникова, Чайковского, Берлиоза зовут к жизни, к любви, к счастью.

Я посвящаю эти записки моей матери. Когда мы были вместе, сердце цвело, а за последние годы точно злые копыта вытоптали все, и микуньский пенёк, что напротив моего окна, как порченный больной зуб, торчит в сердце».

Судьба, однако, порадовала меня, и вскоре я оказалась среди родных, в доме матери моей в Семипалатинске.

## МАТЬ

Мать. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг — материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках, исповедующие противоречивые религии, воспитанные под давлением несхожих культур, опаленные солнцем и едва согретые им на Крайнем Севере, — все они сестры в едином беспокойном порыве чувства. Одинаковы, когда подносят ребенка к груди, белой, желтой, черной или коричневой. Одно и то же томящее, радостное чувство испытывают они, склоняясь над своим детенышем, где бы он ни находился: в колыбельке из тростника, пальмовых плетенках, в мешке из тюленьей шкуры или сложной коляске-домике на рессорах. Сердце их говорит на едином языке мира, и каждый, если в нем есть хоть атом человечности, скажет: «Лучшая мать — моя мать», ибо нет предела ее нежности, кто бы она ни была, где бы ни жила, ни росла, какая бы кровь ни заставляла биться ее сердце.

Мать. С годами слово это ширится, но как часто значимость его постигается тогда, когда уже некого им звать. В детстве мы, как маленькие кенгуру, счастливы, забираясь в невидимую сумку под сердцем матери. Потом начинается отрыв. Наступает время становления личности. Природа зовет к материнству. Дробятся поколения, а когда мы сами воспитываем своих детей, приходит просветление и, увы, следом позднее раскаяние.

Мать. Несчастен тот, кого не согревает воспоминание о ее руках и голосе, и по отношению к матери можно определить величие сердца. В мире есть женщины, позорящие достоинство человека, но в мире нет плохих мате-



рей. Их не больше, чем уродов в огромной массе нормальных людей. Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, как чахоточная палочка под чистым, могущественным лучом солнца.

Моя мать родилась в восьмидесятых годах прошлого века, в пору действенной тоски по великим социальным преобразованиям. Острые шпильки костелов, сумрачный, разрушающийся, но все еще могучий замок, узкие улочки и ржавые дворянские и цеховые гербы на оградах и вывесках воскрешали в родном городе матери бывшее величие феодальной Польши.

Средневековый Люблин с трудом приспособлялся к определенному времени. Быт его домов был патриархален, тих, но за внешним благообразием часто скрывалась ложь. Семья богача заводчика, чванная, пресыщенная, не была исключением. Страстью деда, умершего задолго до моего рождения, были женщины. Болезненный, предрасположенный к чахотке, он сгорел от ненасытной жажды все новых и новых плотских утех. Изменяя жене, он не пощадил и свояченицу. Сестры стали соперницами.

Бронка, меньшая дочь, любимица отца, рано поняла, отчего плачет мать, отчего молоденькую тетку поспешно выдали замуж. Пересуды кухни и людской не миновали девочки. Но вскоре школа оттеснила влияние семьи. В казенной гимназии, куда она поступила, стремились сызмала чтивших польскую культуру заставить отречься от нее. Родной язык беспощадно изгонялся. Муштровавшие учениц классные дамы преследовали всякое проявление любви и преданности к чему-нибудь польскому. И ласкающие стихи Словацкого, бунтарские строки Мицкевича читались вполголоса в укромных уголках либо нарочито громко, как вызов.

Воля к свободе, протест, сознание прав личности крепили в гимназистках, и они грезили о счастье, равенстве и величии родины. Несмотря на запрет, они говорили между собой по-польски и с гордостью выслушивали за это выговоры.

Моя мать, выраставшая в довольстве и роскоши, мечтала в равной мере о любви и страдании, о воздушном замке и тюрьме. Она ненавидела деспотизм, познав его сначала в подавлении национальной свободы.

Иногда отец брал Бронку на фабрику. Табачные листья, огромные, хрустящие, одурманивали. Бронке казалось, что она в тропическом лесу. Как Колумб, впервые увидевший ароматические растения на губах американцев, она начинала шутя жевать пьянящие листья. Ей нравились сигары, коричневые, точно пальцы туземцев, сигары, на которые работницы нанизывали золотые бумажные кольца с фабричным клеймом. Она выходила из больших сараев, полных тюками табака, пошатываясь. На платье ее пеплом лежала табачная пыльца. Тайком она закуривала изящную дорогую папироску.

Перед девушкой было много открытых дорог. Она могла выбирать любую. Родители Бронки, люди по тому времени развитые, дали ей хорошее образование. Помимо гимназии она училась игре на рояле. Поездки за границу расширили ее кругозор, научили иноземным языкам. Все лучшие книги мира были к ее услугам.

Обычно в биографии такой девушки неизбежно должен появиться бедный учитель, который принесет ей томик Гегеля, Бакунина, Энгельса или Маркса. Но такого руководителя моя мать не встретила. Случилось иное. Однажды в Варшаве она провела вечер в обществе девушек и юношей, исполненных решимости пожертвовать собой ради счастья человечества. Среди них были Феликс Дзержинский и его будущая жена Софья. И дочь фабриканта, рожденная для того, казалось, чтобы выйти замуж за светского дельца или военного и жить в холе и достатке, выбрала иную долю.

Что могло тревожить ее в социальной неурядице на земле? Какое дело богатой наследнице до смутного нарастающего протеста среди рабочих на фабрике отца? Гуманные чувства справедливости и дерзновение заставили ее смешаться с толпой трудящихся и сменить уют буржуазного дома на тюремную камеру революционерки.

Первую забастовку она вместе с новыми товарищами провела на фабрике своего отца. Девушка с огромной светлой косой, с тонкими руками, знавшими хорошо только клавиши рояля, взобралась на бочку и обратилась с речью к тем самым рабочим, которых с детства она видела как рабов фабрики.

С этого дня жизнь ее завихрилась: аресты, камеры участков, демонстрации, явочные квартиры, прокламации под меховой кофточкой, в пышной муфте, — сложная ро-

мантика профессионального бунтаря-революционера. К прошлому не было возврата.

Началась борьба не за себя, а за судьбы других людей. Изредка удавалось прильнуть к роялю, к дорогим с детства книгам, урывками учиться на Высших женских курсах. Между двумя арестами и ссылкой Бронка окончила Варшавскую консерваторию.

В стенах Павияка и Цитадели она ощутила еще глубже извечную тоску человеческой души по правде и счастью.

В толпе таких же мятежных и больших сердец она нашла моего отца. Как и она, он понял, что счастье отдельной личности — в счастье всех обойденных. Отец был сравнительно обеспечен, учился в университете. Впереди его ждало независимое положение врача, доходные пациенты, собственный дом, выезд, рента, но все это не только не влекло его, но вызывало презрительное негодование.

Отец носил косоворотку и черный плащ, не брил усов и бороды. В облике двадцатилетнего студента легко можно было найти черты борцов за социальную революцию любой из стран мира. Мать любила его.

Удивительное поколение! В каждом веке, на протяжении всей истории человечества, мелькают, как зарницы, такие светлые души. У некоторых это миг цветения: созревая, они отходят в тень и даже иногда предают либо клеймят как заблуждение лучший порыв своего сердца. Но большинство сохраняют свет свой.

Ненависть к царизму, цель — свобода и пролетарская революция — давали этим людям могучие силы. Мать была счастлива. Ни тюрьмы, ни суды, ни изгнание не могли ослабить ее. Это был добровольный, желанный жребий. Минуты слабости — она осуждала их как позор, тщательно подавляя и скрывая. Отец не простил бы ей трусости. Только музыки, рояля не хватало ей в дни заточения. Отец и мать изучили азбуку глухонемых и переговаривались знаками на свиданиях, когда один из них был в заключении.

По беременности, досрочно, мать была отправлена из Варшавской тюрьмы на Украину. В Киеве родилась я.

Мать моя заботливо, нежно любила природу. Она «лечила» деревья, замазывала их раны, укрепляла ветви,

если им грозил ветер, выпалывала бурьян, чтобы легче дышалось гвоздике. Любимыми цветами ее были резеда и маттиола, неприметные, застенчивые и ароматные. Она сама походила на них. Полевые цветы нравились матери больше холеных садовых. У нее был редкий дар подбирать растения для букетов. У японцев искусство это называется икэбана. Ему учатся в школах. Никогда я не видела подобной гаммы красок, какую удавалось ей найти. В плоских вазах она ставила, укрепив камешком, кипы пезабудок, соединив их с пунцовыми маками. Среди травы в тарелке расцветали вереск и полевая гвоздика, и во мху дремали весенние лиловые чашечки ворсистого цветка. Его мы называли «сон». Осенью я вспоминаю гирлянды, которые мать плела из осенних листьев. Они походили на закаты, ковры, запечатлевшие мечту, и пышную раскраску тропических змей.

Когда матери бывало особенно тяжело, она уходила одна и возвращалась успокоенная и как бы набравшаяся сил. Никогда я не слыхала ее сетований или жалоб. Она была слишком добра, чтобы причинять кому-нибудь грусть или горе.

Мать моя не была красивой, но золотистые волосы с бронзовым отливом, гладкий печальный лоб и особенно очень большие, глубокие, светло-карие глаза делали ее привлекательной. Безукоризненно хорошо была она сложена, и редко встречала я такие приятные и маленькие руки и ноги, как те, которыми наградила ее природа. Столь разительно было сходство моей матери с прославленной актрисой Верой Комиссаржевской, что фотографии их путали даже в нашей семье.

Любовь к отцу не дала матери счастья. Кто тут виноват? Разве любящий не счастливее того, чье сердце пусто? Наилучшая и редчайшая удача — соединить два чувства в одно и равно сохранить его во времени.

Отец после недолгой привязанности охладел к матери. Ей пришлось постичь унижения равнодушия и измен. Слабая в своем огромном чувстве к нему, она не находила в себе силы однажды порвать. Бесцельная, изнуряющая затея воскресить умершую любовь.

Отец увлекся матерью, когда ему исполнилось всего двадцать лет. Он никогда не лгал. Не любя, он был прям, как тогда, когда любил, и тоже страдал, так как невольно причинял боль. Но как объяснить это оскорбленной, по-

кидаемой женщине, как бы великодушна и умна она ни была? И мать страдала вдвойне — от самолюбивой гордости и от безразличия моего отца. Теряя, она погрузилась в любовь, как в реку скорби. Цельная во всем, воспитанная на тургеневских светлых женских образах, она никогда не смогла уже высвободить однажды полюбившее сердце.

Эта женщина много лет отдала революции. В 1919 году она служит в Разведотделе 13-й армии, позднее в Москве — в Разведупре на Лубянке. Феликс Эдмундович Дзержинский и его жена Софья Сигизмундовна стали для нее образцами всего самого лучшего, чистого. Пять лет трудилась моя мать вместе с Софьей Дзержинской в секретариате Польского бюро ЦК.

Вся ее жизнь со дня, когда отец нас навсегда оставил, сосредоточилась на общественной и партийной работе и на любви ко мне и моим детям. Я всегда помню ее скромной, доброжелательной к людям, невероятно щедрой во всем и самоотверженной. Тихо, незаметно отдала она всю себя людям.

Любовь к отцу мать пронесла через всю свою жизнь. Как-то в Лондоне в 1930 году она упросила меня послать от себя посылку отцу, которую собирала сама. Я удивилась, увидев там женскую вязаную кофточку.

— Это для кого?

— Для его жены, чтобы она не соблазнилась свитером отца и не отобрала его себе.

Это произошло спустя десять лет после их разрыва.

Помню, как изредка, когда отец навещал меня, мать поспешно пряталась в отдаленной комнате, чтобы не свидеться с ним, и говорила мне перед тем просительно:

— Пожалуйста, посмотри на пальто и пиджак отца. Уверена, что у него оторваны пуговицы. О нем сейчас мало заботятся дома. Придумай предлог и принеси мне его одежду, я приведу ее в порядок.

Так же беззаветно и жертвенно, ничего не беря взамен, любила она меня и внучат. Когда ее упрекали в том, что она меня балует, мама отвечала, снисходительно улыбаясь:

— Я делаю это не для Гали, а для себя. Если бы вы знали, как много удовольствия я получаю при этом.

Мать моя, выросшая в богатстве, совершенно преодолела какую бы то ни было привязанность к вещам. Ни-

когда я не встречала более безразличной к собственности женщины, нежели она. Однажды воры, забравшись к ней в комнату, унесли всю одежду. Очень долго она скрывала это, чтобы не беспокоились и не предприняли поисков.

Узнав о потере, я опечалилась.

— Не жалею ничего,— сказала мать. — А то накличешь беду. Все это не имеет значения. Есть — хорошо, нет — будет. Самое необходимое всегда как-либо наживется. Нельзя быть привязанной к тряпкам: они тогда превращаются в цепи. Учись быть свободной.

Когда я была исключена из партии, маме предложили отречься от меня.

— Я ее воспитала и отвечаю за нее, как за самое себя,— сказала она. — Мое место возле дочери, которая, я знаю, ни в чем не повинна. Если вы не хотите понять этого сегодня, то неизбежно поймете позднее и устыдитесь.

И мать поехала за мной в ссылку. В глубокой старости жила она там долгие годы. Жила, чтобы облегчить мою судьбу и вырастить внушек. Она стала душой разрушенного гнезда, работала с рассвета до ночи, стряпала, мыла полы, давала уроки, а в годы войны приютила в своем домике беженцев и всем делилась с ними.

В 1948 году, вслед за десятью годами разлуки, я снова прожила с матерью несколько месяцев в Семипалатинске. Случалось нам сидеть в темноте, так как не было керосиновой лампы. Мать отдала ее как-то на один вечер соседке, но та не возвратила. Я вознамерилась забрать одолженную у нас вещь, однако мать загородила мне дорогу.

— Как тебе не стыдно быть такой мелочной,— сказала она. — Не вернула соседка, пусть ей же и будет совестно, а зачем тебе быть, как она? Перебьемся как-нибудь.

Страдавшая пороком сердца, едва передвигавшаяся старушка, оставшись без меня, все же работала на огороде, вела хозяйство, воспитывала и учила моих двоих детей, преподавала в музыкальном техникуме Джамбула. Когда силы стали ей изменять, она посетила врача и сказала ему:

— Вы видите, что я очень стара, и, верно, удивляетесь, почему так цепляюсь за жизнь. Я очень устала и хотела бы отдохнуть, умереть. Но поймите, мне еще надо

жить. Я нужна моим близким. Сделайте так, чтобы продлить мое существование. Я должна помогать дочери. На моих руках две девочки — четырнадцать и шести лет, — и если я умру, они окажутся одни и могут погибнуть. Вот отчего я не имею еще права на смерть.

Второго октября 1950 года мама получила назад отправленные мне деньги. На все запросы ее в Москву и Алма-Ату обо мне в течение полугода ничего не отвечали. Тревога матери возрастала, она решила, что меня нет более в живых. Силы ее, воля к жизни были окончательно сломлены.

Мать моя скончалась, когда дома не было никого из близких, во время урока музыки, который она давала двум маленьким девочкам. Фамилии этих учениц не были известны в моей семье, и я тщетно искала свидетелей последних минут самого любимого мною на свете человека. И вот недавно пришло письмо моей читательницы. Ей было двенадцать лет, когда в ее присутствии умерла моя мать.

«...У школы, — пишет Маргарита Назаренко, — не было помещения и своих музыкальных инструментов, и мы занимались у педагогов на дому... Нас встретила маленькая сухонькая старушка... Вся ее фигура, жесты и особенно глаза излучали приветливость и доброту... Когда Бронислава Сигизмундовна узнала, что у нас дома тоже нет пианино, она стала приглашать нас на уроки 3 раза в неделю, вместо 2-х положенных, занималась с нами по часу и более, и смогла так нас подготовить, что из 1-го класса мы были переведены сразу в 3-й класс. Сама Бронислава Сигизмундовна нам почти никогда не играла, у нее сильно болели руки, — не гнулись пальцы с узловатыми суставами, но зато очень много рассказывала нам о музыке, о жизни композиторов. Говорила она тихо, проникновенно, никогда не повышала голоса... В один из очередных уроков мы увидели Брониславу Сигизмундовну сильно изменившейся. Она еще больше сгорбилась, почти ничего не говорила, но урока не отменила. В доме она была одна. Я села за рояль, открыла ноты «Итальянской песенки» Чайковского из «Детского альбома», Бронислава Сигизмундовна села на стул рядом. Я пачала играть, она следила за моей игрой, не говоря ни слова, и вдруг, словно задремав, опустила голову на клавиши, седые волосы рассыпались по ним. Я вскочила, окликнула

ее. Она молчала. Тогда я легко подняла ее и положила на рядом стоявший диван. Представьте, какая она была сухонькая и легкая, если 12-летняя девочка могла это оделать... несмотря на то что я присутствовала в минуту смерти Брониславы Сигизмундовны, она не осталась в моей памяти умершей. Я храню образ человека, который до конца своих дней остался большим тружеником, чутким, душевным человеком, несмотря на все жизненные невзгоды. Только ее трудами посеяна в моей душе большая любовь к музыке, которой я увлекаюсь до сих пор. В 1959 году я закончила Казахский государственный университет, а сейчас учусь в музыкальном училище по классу фортепиано. Классическая музыка — моя вторая любовь. Я коллекционирую все, что с ней связано... не пропускаю ни одного концерта — все это я отношу на счет больших трудов моей первой учительницы Брониславы Сигизмундовны...»

Моя мать, Бронислава Сигизмундовна Красуцкая, осталась неистовой советской патриоткой и коммунистом-ленинцем до последнего своего вздоха.

В 1966 году мне удалось перевезти прах моей матери из Джамбула на сельское кладбище поселка Переделкино. Отныне она похоронена поблизости от дома, где я живу. В нескольких шагах от могилы моей матери погребен Борис Пастернак, которому она часто, по его настойчивой просьбе играла на рояле Бетховена, Шопена и Чайковского.

С высокого погоста виден вдали дом в Баковке, из которого поздней июльской ночью мать и я ушли навсегда в 1936 году. Все вокруг так же оживает по весне — лес и поля. Если б моя мать дожила до лучших дней...

## ОТЕЦ

Отец навсегда покинул свою семью, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Многое из того, что я знаю о нем, рассказала мне мать, любившая его до последнего вздоха. У отца была своеобразная внешность: голова с прямыми, черными, откинутыми назад прядями волос, большие, в оправе густых ресниц, серые глаза, казавшиеся еще светлее на смуглом лице, удлиненный овал, тонкие черты, узкая борода и небрежно подстриженные усы,



широкий лоб с глубокой морщиной. Лицо его напоминало Христа на полотнах Поленова. Та же мечтательность, бунтарство и горячность.

Как все революционеры начала века, отец вовсе не интересовался своей наружностью и одеждой и прослыл бы неряшливым, но мать заботилась о нем. Многие годы носил он разлетайку с двумя позолоченными металлическими бляхами-пуговицами на груди, косоворотку и только изредка появлялся в костюме, при галстукe. Во время войны он облачился в военную форму и обул редко видавшие ваксу и щетки грубые сапоги. Упрямый, вспыльчивый и всегда искренний, он вынужден был рано начать трудовую, самостоятельную жизнь, хотя родился в зажиточной семье. В отрочестве его изгнали из родного дома после громкой ссоры с моим дедом. Дед был человеком крутого нрава и охоч до женщин. Он часто изменял жене, и дети его заступались за мать. Уйдя из родной семьи, отец жил впроголодь, перебивался кое-как, давая частные уроки. После окончания гимназии он поступил на медицинский факультет, но получил диплом через семь лет, так как был дважды исключен в связи с арестами. Очень рано началась подпольная революционная работа. С дедом моим отец помирился, лишь когда тот лежал на смертном одре.

Отец слыл увлекающимся и неутомимо деятельным человеком. Революционная романтика, перипетии социальной борьбы завихрили его молодость. Он зачитывался историей древних и позднейших революций, чтит Спартака и Робин Гуда, Марата и Верлена, Рылеева и Желябова. Лишенный музыкального слуха, он любил петь, перевирая мотив, песни коммунаров и русских революционеров и учил меня им. Ему минуло немногим более двадцати лет, когда я родилась. Первой песней, которую я пела, стоя на кухонном табурете, была «Варшавянка».

Мои родители, как и их друзья, принадлежали к интеллигенции в большом, обязывающем смысле этого понятия; глубина мышления и чувствований, потребность знаний, стремление к справедливости, самоотверженность ради людей приводили к наиболее передовым идеям и борьбе за них, к отказу от наживы, эгоистических низменных удовольствий, тщеславия. Интеллигенты, которых так много было вокруг Маркса, Энгельса, затем Ленина, выбирали самые трудные, нехоженые тропы жизни и

бесстрашно вырывались вперед, увлекая за собой лучших и сильных духом. В этом находили они не только цель, но и радость бытия.

Отца поглотили две страсти: революция и медицина. Он служил им обеим самозабвенно до смерти. Прочитав труды Маркса, Энгельса и позднее Ленина, он принял их учение и стал коммунистом. Мать рассказывала мне о фанатической преданности отца идее, о его храбрости. На демонстрациях отец шел всегда впереди, и ни нагайки карателей, ни дула винтовок не могли заставить его отступить.

Однажды на торжественном спектакле в Варшаве, когда в царскую ложу вошел Николай II со свитой, отец, пробравшийся на галерку, во время исполнения оркестром «Боже, царя храни» зычным голосом крикнул: «Сволочи!» — и чудом выбрался невредимым из театра, хотя выходы оцепили жандармы.

Он всегда брал на себя самые рискованные поручения партии в пору реакции. После года заключения в варшавской цитадели ему удалось бежать из тюрьмы и затем скрыться за границу. Но остаться в Швейцарии он не захотел и вернулся нелегально, но не в Польшу, а в Киев, где находилась моя мать. Отец презирал скупость и мелочность, сковывающие волю и укорачивающие размах стремлений. Желая уничтожить их во мне в самом зародыше, он требовал, чтобы незадолго до дня моего рождения я раздавала бы все игрушки, иначе не получу новых подарков. Это было нелегким испытанием. С грустью, подчас со слезами на глазах расставалась я с куклами, мячами, кубиками. Один только раз мать помогла мне сберечь изрядно искалеченную матрешку, с которой я крепко сдружилась.

Так учили меня дома преодолевать инстинкт собственности. Постепенно я стала испытывать удалую радость, когда раздавала свое нехитрое детское имущество.

Отец ненавидел фискальство и безжалостно изгонял его из моей души. Если я жаловалась на своих сверстников, он наказывал меня. Я протестовала, недоумевая. Отец пояснял, сурово насупившись:

— Ты ябедничала, а это самое скверное из того, что делают плохие люди.

Мне минуло восемь лет, когда отец, работавший в земстве и для разъезда по деревням державший тарантас

и лошадь, посадил меня на неоседланного коня и стегнул его кнутом. Джульетта, так звали норовистую и злую кобылу, сорвалась с места, поднялась на дыбы, а потом с ржанием понеслась по лугу. Мать моя неистово закричала что-то нам вслед. Почувствовав опасность, я припала к шее животного, уцепилась за гриву и замерла от страха. Сделав несколько кругов, Джульетта остановилась, и я сползла наземь. Мать прижала меня к себе. Но отец был спокоен и доволен.

— Теперь девочка преодолет трусость и будет отличным джигитом,— сказал он весело.

— Как мог ты так рисковать жизнью дочери, ты ее не любишь,— укоряла его мать.

— Оттого, что люблю, хочу научить бесстрашию, а то вырастет кривлякой-барышенькой.

Отец не выносил лжи и, приравнивая ее к клевете, считал их источником подлости. Именно поэтому он единственный раз в жизни выпорол меня. Было это в Никополе, на Днепре, где отец работал эпидемиологом, сражаясь с вспыхнувшей там холерой. Желая хоть чем-нибудь похвастаться перед подружками, я соврала им, что на следующий день буду именинницей. Одна ложь влечет за собой другую. По моим понятиям, в подтверждение лжи надобно было угостить девочек сладостями, иначе какое же это торжество. Но денег у меня не было. Собравшись с духом, я отправилась к помощнице отца, фельдшерице, и попросила ее от имени родителей одолжить три копейки. Крайне удивленная столь малой суммой, кредиторша, дав мне три копейки, пошла к отцу узнать, что у нас приключилось. Меня разоблачили. В присутствии приглашенной детворы, которую я только что угощала липкими леденцами, отец высек меня.

— Ложь и клевета обычно начинены порохом,— повторял отец не раз.

Прошло несколько лет. В тягостные дни развода родителей я высказала отцу много недобрых, но справедливых истин. Он впал в ярость и пригрозил мне расправой. Я ушла из дома и поселилась у однополчан по 13-й армии. Лишь когда отец со второй женой уехал из Москвы, я вернулась к матери. Ничто так не ранит юное сердце, как размолвки родителей. Детство мое и отрочество было жестоко отравлено неполадками в семье, изменами отца, о которых я догадывалась,

Несомненно, что судьба моя сложилась бы совсем по-иному, если б я росла в накрепко спаянной любовью, дружной семье. Самая лучшая из матерей не может восполнить потерю отца для ребенка, как и отец не заменит ему мать. Ненужная горечь и неискоренимое разочарование навсегда остались в моей душе.

Отец уехал в Хиву послом, и в течение нескольких лет я о нем почти ничего не слыхала. Когда он вернулся, я была уже замужем, имела ребенка. У отца от второго брака также родилась дочь, она была всего лишь годом старше моей.

Время, как мощная вода, сточило острия невидимой каменной гряды, возникшей было между мною и отцом, и мы свиделись как добрые товарищи. Я по-иному смотрела на отца. Этот человек, не пожалевший матери и меня, был, однако, отзывчивым и сердечным для всех других. Он мог все отдать приятелю, хлопотать, не щадя сил, за незаслуженно обиженного человека, проявлять редкую чуткость к случайным знакомым. Дом его был всегда открыт и напоминал заезжий двор, так много всегда там толпилось, жило посторонних людей. Отца любили за верность в дружбе и понимание, что она налагает взаимные обязательства. Есть люди с врожденным обаянием, общение с ними легко и приятно, отец был из их числа. Постепенно мне открылось, почему мать не сумела до смерти изжить чувство, которое она к нему питала.

Как-то в середине тридцатых годов мы случайно встретились с отцом на Тверской, ныне улице Горького, и зашли в кафе. Он был в отличном настроении. Завязалась сама собой доверительная беседа.

— Поговорим, как мужчина с женщиной, — пошутил отец.

— Изволь. Скажи мне честно: почему ты оставил мать?

— Видишь ли, еще в детстве я дал себе слово не лгать. Любовь испарилась, а жалость — тяжелый груз. Его хочется поскорее сбросить. Измена, на мой взгляд, унижает и того, кто изменяет, и того, кому изменяют. Твоя мать чудесный, превосходный человек.

— И потому ты ушел от нее?

— Пойми меня. Не мог я больше видеть ее кротости, ее заплаканных глаз. Лучше бы она корила, оскорбляла меня. А то ведь ничего... молчание. Возвращаясь домой,

я чувствовал себя истязателем. Потому и ушел. Не выношу семейных драм.

Мне почудилось, что отец иронизирует, но он был серьезен.

— Любил ли ты раньше мою мать? — спросила я.

— Боюсь, что нет, так как я верю, что существует единственная любовь, одна и навсегда. Верю в это, но сам не испытал такой, видать, не посчастливилось. Даже самый легкомысленный человек мечтает быть верным, сосредоточить все помыслы и желания на одном чувстве.

Мы помолчали, допили кофе и разговорились о медицине, которая была отцу дорога, как певцу песня. Он был прирожденным врачом и, чем бы иным ни занимался, пристально следил за любимой наукой. Как часто, когда я была еще малым ребенком, мать снаряжала поздней ночью отца к больному, укладывала белый халат и деревянную трубочку в кожаный баул. Мне и сейчас иногда слышатся тревожные переливы колокольчика над нашей входной дверью.

— Скорее, доктор, скорее, прошу вас, спасите, — говорил чей-то женский или мужской голос в узенькой передней рядом со спальней, где стояла и моя кровать.

— Положила ли ты в чемодан шприц, камфару? — торопил отец мою мать.

— Да, да. Вернешься ли ты до утра?

— Если нет, не волнуйся. Надо заодно навестить и женщину с воспалением легких. Близится кризис.

Отец уходил надолго, а утром, когда возвращался, его уже ждали больные. На террасе, в углу, обычно висел на гвозде его костюм для посещения заразных пациентов. Мать запрещала мне заходить в кабинет отца, особенно когда он возвращался от детей, хворавших скарлатиной и дифтеритом. Переодевшись, отец долго мыл руки дезинфицирующим мылом. Мне казалось, что он весь пропах сулемой и карболкой. Несмотря на все меры, я переболела многими заразными недугами, отчего, по мнению отца, становилась только выносливее.

Не зная в те далекие годы учения Павлова, отец сам пришел к выводу, сколь важно для больного доброе душевное состояние, внутренняя мобилизованность в схватке с бактериями. Когда я занедуживала, отец дарил мне подарки, развлекал чтением сказок и книг. Мне нравилось хворать и не хотелось выздоравливать.

— Главное — бодрый дух, воля к здоровью, заботливый уход, — заявлял отец, — а еще важнее — не повредить больному лекарствами.

В годы первой мировой войны отец был призван и служил эпидемиологом 7-й армии в Галиции. Еще до февральской революции отец вел подпольную политическую работу среди солдат. В это же время он создал в Галиции, в районе Бучача, несколько образцовых тифозных лазаретов, сконструировал машину для кипячения зараженного белья и добился значительного снижения заболеваний. Он получил за это награду от министра. В февральскую революцию отец, как большевик, возглавил военно-революционный армейский комитет.

Мать отпустила меня к отцу с его помощником, приехавшим по делам в Киев, и я очутилась в Западной Украине, в разрушенном войной местечке Монастержи-ско в мае, когда туда прибыл Керенский, призывавший войска к новому наступлению. Я была еще слишком мала, чтобы должным образом понимать окружающее. Но четко запечатлелись в памяти сцены братания русских и австрийцев в окопах под Станиславом, солдатские митинги, где жестоко схватывались ораторы от большевиков, призывавшие к миру, и представители Временного правительства, уговаривавшие продолжать бойню. Атмосфера так накалилась, что отец вынужден был скрыться. Его заочно приговорили к смертной казни за большевистскую агитацию. Одна из медицинских сестер отвезла меня назад к матери. Об отце долго не было известий.

В Октябрьские дни он сражался в Питере в красногвардейском отряде и в начале 1918 года отправился на Север вместе с умнейшим и талантливым чекистом Кедровым.

Дружба его с Кедровым, Артузовым и другими замечательными соратниками Дзержинского не кончилась до самой его смерти. Отец вместе с этими боевыми, храбрыми большевиками боролся с первой мощной группой интервентов, начавших войну с советской властью в Архангельске. Отец стал начальником Санупра Северо-Восточного фронта. Опыт санитарной работы в царской армии помог ему быстро создать сеть полевых госпиталей. Сохранилось много приказов его той поры, сурово взыскивающих с тех медицинских работников, которые равнодуш-

но относились к больным, саботировали или совершали неблагоприятные поступки.

Отец был первым начальником Политуправления войск внутренней охраны. В 1919 году, в Киеве, он ведал губернским здравоохранением, а затем сменил А. М. Коллонтай на посту наркома агитации и пропаганды. После ухода большевиков из столицы Украины он вернулся в Красную Армию и сражался до разгрома белогвардейцев. Всю свою жизнь отец выделялся бесстрашием и предпочитал передний край штабу.

Несколько раз я слушала отца на многолюдных собраниях. Он был хорошим митинговым оратором и заражал аудиторию страстным убеждением, эмоциональностью, интересовывал фактами истории. Не знаю, был ли он таким же хорошим лектором. Его импровизациям не хватало спокойствия, аналитической глубины и строгой логики.

Отец удостоился личной благодарности за работу на Северном фронте от В. И. Ленина, с которым не раз встречался.

В годы гражданской войны, когда отец работал на другом поприще, в редко выпадавшие свободные часы он писал книгу «Медицина и советская власть», которую издал значительно позже.

Перелистывая теперь эту книгу, я, как бы чувствуя ускоренный, напряженный пульс писавшей ее руки, дивлюсь заразительной страстности изложения, завидному знанию предмета и жгучей ненависти к косности и кривде царского строя. Одну из глав этого труда отец закончил следующими размышлениями:

«Гражданская война — это то чистилище, через которое мы должны пройти, чтобы завоевать право уничтожения навсегда войн на планете...

Человечество к совершенству идет через страдания. Прометей был жестоко наказан за то, что похитил небесный огонь и дал его людям. Люди получили огонь без страданий...

Только человечество, завоевавшее социалистический строй, раскует Прометея».

Эти строки вылились на бумагу в 1918 году, в разгар войны Советской России с Антантой, под Архангельском.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов отец работал в Москве директором Музея изящных искусств

имени Пушкина. Однажды он вызвал меня в музей, чтобы поделиться своей радостью: художники открыли и реставрировали шедевр Рафаэля — портрет Форнарины.

— Ты, кажется, изменил медицине ради живописи и скульптуры, — сказала я, слушая пояснения отца, основательно изучившего искусство эпохи Возрождения.

— Это нисколько не мешает медицине. Наука и музыка — родные сестры. Они требуют вдохновения и самоотречения.

Работая в музее, отец встречался с такими превосходными мастерами, как братья Корины, Кончаловский, Грабарь и другие. С их помощью он приблизился к миру прекрасного и почувствовал себя по-новому счастливым.

Новогоднюю ночь 1966 года мне довелось встречать в доме художника Б. В. Щербакова и его красавицы жены вместе с многими значительными в разных областях людьми. Был и чтимый мной за безусловно чистое сердце и талант Павел Корин. Мы обрадовались встрече и заговорили о моем отце.

— Чудесный, особенный был он человек. Наши добрые отношения отразились и на моей судьбе, — сказал грустно большой художник.

Позднее отца направили в Иркутск, где он снова занялся медициной. Мы почти не переписывались и не виделись, я долго была в разъездах.

Пытливость и присущая отцу страсть к врачеванию не покинули его и после многих лет иной работы. Он не только увлеченно изучал незнакомый ему край, но и вместе с другим специалистом сделал важные выводы о малоизвестных до того времени болезнях.

В последний раз отец зашел ко мне по пути в далекую пограничную степь, куда отправился добровольцем, чтобы уничтожить проникшую к нам чуму.

— Не могу жить вне борьбы за людей. Это моя стихия. Верно, оттого так нравится мне моя специальность — эпидемиология. Холера, тиф, чума и другие грозные напасти — невидимое страшное войско, которое надо победить, стереть с лица земли.

Отец подарил мне тогда свою книжку «Спутник на холеру, тиф и чуму».

— А вдруг ты заразишься и умрешь? — беспокоилась я, прощаясь с ним.



— Чепуха! На войне как на войне. Смелость города берет. Все зависит от цели, ради которой гибнешь. Если цель того стоит, умереть не боязно. Врач не может, не должен быть трусом.

Больше отца я не видала. Его не стало в 1937 году.

## В ДЖАМБУЛЕ

Могила матери была на высоком холме, на неухоженном отдаленном кладбище. Весной алые маки покрывали надгробные насыпи. Иссиня-яркое небо да снежные вершины гор украшали этот погруженный в тишину приют мертвых. А внизу зеленым ковром казались густые сады Джамбула.

Много часов провела я подле праха моей матери. На пыльной проселочной дороге нашла обломок старого рельса, и мы с дочерью Таней вбили его в изголовье могилы и прикрепили деревянную дощечку с надписью. Если бы скорбь и любовь могли превратиться в мрамор, он покрыл бы стелой эту священную для меня землю.

Наш домик совсем обветшал, соломенная крыша сильно прохудилась и пропускала внутрь единственной комнаты лунные и солнечные лучи. Во время дождя приходилось ставить на пол корыто, которое быстро наполнялось водой.

Наступила зима, и нужно было запастись углем. Мы не имели сносной одежды и обуви.

В горздраве мне предложили поехать на работу в дальний аул, на медицинский пункт. Но там не было русской школы, а Тане следовало учиться и нагонять упущенное.

Девочка моя была дика, подозрительна, болезненна. Наиболее счастливым воспоминанием, которым она со мной поделилась, было ее пребывание в инфекционном изоляторе, куда она попала, заболев дизентерией.

— Как там было красиво, вы, наверное, никогда такого дома не видывали, — рассказывала моя дочь, долго обращавшаяся ко мне на «вы». — На кроватях — белые простыни и пододеяльники. И кормят досыта! Я даже получала каждый день кисель. Не хотелось мне уходить оттуда! Но только десять дней я пробыла там и очень горевала, когда мне велели идти домой.

Как-то ночью, когда мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, под моей телогрейкой и смотрели на звезды, заглядывавшие к нам сквозь щели в потолке, Таня сказала тихо:

— Кажется, я буду вас любить. Я думала, что у меня уже нет больше сердца.

На наше счастье, перед самой своей смертью мама выиграла по займу несколько сот рублей. Деньги эти спасли нас.

Чтобы предельно экономить, мы разрыли заброшенную яму, куда в пору жизни моей матери выбрасывали отслужившие вещи, и отыскали в земле клад, состоявший из поломанных, но все еще годных к употреблению ложек, вилок, кастрюль и лохмотьев. То, что казалось непригодным при некотором достатке, отлично послужило опять мне и Тане. Позднее я купила дочери первую в жизни школьную форму, ботинки, новые учебники и принялась лечить ее от детского туберкулеза, нажитого в годы недоедания. Все мое время уходило на домашнее хозяйство, стирку и стряпню. Чтобы заработать хоть немного, я делала впрыскивания больным на дому и получала за это буханку хлеба, ведро угля и отрез ситца на детское платье.

В конуре подле нашего дома жила старая собака Лютра. Она добывала пропитание, главным образом ворую кости в мясных лавках на базаре, и они валялись повсюду на дорожках нашего маленького садика. Нередко Лютру жестоко избивали за хищения, и она хромала.

Несмотря на нашу бедность, Лютра оставалась верна своей любви к моей семье. Если бы она могла кормить Таню, добывая для нее мясо с риском для жизни, то делала бы это, несомненно. Не раз она приносила объедки, клала их у моих ног и, глядя своими усталыми, старческими, человеческими глазами, как бы говорила: «Ешь, пожалуйста, не брезгуй».

Вскоре, к большой моей печали, Лютра заболела раком. В это время у нас были уже деньги, и я варила ей бульон, доставала молоко, которых она никогда раньше не пробовала.

Но Лютра уже не могла есть.

На протяжении всей жизни у меня были многочисленные преданные четвероногие друзья. Родители подарили мне фокстерьера, когда я была совсем еще малень-

кой, желая, очевидно, не только смягчить, очеловечить душу, но и развить чувство ответственности. Пес зависел от меня, и это накладывало серьезные обязательства и подавляло эгоизм. У собаки я училась дружбе, неподкупности и верности.

В начале тридцатых годов в Лондоне Илья Эренбург подсказал мне, какой породы купить себе пса. По его совету мы приобрели шотландского терьера Будлса, или Булька. Французы говорят, что на свете только одна безусловно надежная любовь, за которую, однако, платят, — это чувство собаки к своему хозяину.

Булька убедил меня в том, что и в человеческом сердце живет извечная, атавистическая привязанность к домашним животным. Он безошибочно угадывал все, что происходит в моем доме, и удивительно тактично вел себя со всеми, зная, когда надо принести мяч и требовать игры, а когда приласкаться или тихонько улечься поблизости. В его вынужденном молчании было больше слов, чем в болтовне иного двуногого. Он был не только психолог, но и знаток людей, и мы часто недоумевали, находя подтверждение его нерасположения к кому-либо. Когда бы я ни возвращалась домой, Булька ждал меня. Как долго, вероятно, для него тянулись часы. Ведь собачье время не совпадает с нашим. Они живут в четыре, пять раз короче, и каждая человеческая минута для них мучительно длинна. Она весьма заметный отрезок жизни. В радости и горе Булька был неукротим, неистов. Эмоции также его убивали. Когда я ушла на много лет из дома — Булька, по рассказам моей матери и дочерей, затах. Он совершенно поседел.

Шотландские терьеры чрезвычайно умны и чувствительны. В Шотландии они одни пасут огромные стада. Чтобы воспитать такого пастуха, его сразу же после рождения отдают на выкорм овце. Щенок растет с теми, с кем будет позже бродить по отдаленным пастбищам, отлично зная каждого из своих питомцев.

Мать рассказывала мне о злоключениях Бульки в Семипалатинске. Однажды его уворовали цыгане, которым, очевидно, понравилась необыкновенная собака, похожая на доисторического, густо обросшего человека, с квадратной седой бородой, с горящими, пронизательными глазами. Маленький, ширококостный Булька был необыкновенно

силен и без труда, впрягаясь в сани, часто возил мою младшую девочку по заснеженным улицам.

Спустя две недели после похищения цыганами Булька с веревкой на шее, больной, хромающий, прибежал назад. Его обласкали, вылечили, но никто так и не мог вернуть собаке ее прежней беспечности. Булька болезненно тосковал по тем, кого любил и потерял.

В 1939 году на глазах моей матери Бульку задавил грузовик. От меня это скрывали много лет.

Собакам нужна любовь, и они остаются с нами в беде и в нищете.

Таня, я и умирающая Лютра жили в Джамбуле в полном уединении, ожидая чуда. И чудо свершилось.

Наступил февраль 1956 года. Шел густой снег. Было холодно и вместе с тем пронизывающе сыро. Мы с Таней основательно закрыли дыру в потолке тряпьем и бумагой, выпустили Лютру, чтобы согреть ее. Купить лист толя мы не могли. За несколько месяцев деньги наши истаяли. И снова не на что было приобрести уголь. Тогда мы решили свалить большое грушевое дерево и принялись за это спозаранку. Груша с протяжным стоном рухнула на талый снег.

— Теперь мы уже никогда не попробуем таких вкусных фруктов. Бабушка говорила, что это дюшес, — сказала с сожалением Таня и добавила, чтоб утешиться: — Зато у нас есть настоящие дрова, не хуже саксаула.

Вечером, когда дочь была еще в школе, я написала письмо, адресовав его в Президиум XX съезда. Это был стон, вырвавшийся из глубины души, та единственная правда, которая дает силы и жить и умереть.

Но как было отправить эту заветную, самую значительную из всех, что писала я за все годы, исповедь? Старый пенсионер доставил пакет на соседнюю железнодорожную станцию, где опустил его в почтовый ящик экспресса, идущего из Алма-Аты в Москву.

Двадцать пятого февраля день начался безрадостно. Последние поленья догорали в печи. Голод и холод свалили меня. Болело сердце, и я не могла встать с постели. Внезапно в дом наш вбежала соседка, а за ней девушка — посыльная с почты.

— Скорее, скорее, вас вызывают на телефонную станцию! Москва требует! — наперебой кричали они.

Кто-то помог мне обуть валенки и протянул свой тулуп и платок.

В сопровождении нескольких женщин, ведя за руку пугливую Таню, я вышла за ворота.

— Серебрячиху к телефону из Москвы, — оповещали встречных мои спутницы, и мы двигались уже толпой по улицам Джамбула навстречу возрождению.

Силы мои были уже на пределе.

Мы шли гурьбой к телефонной станции.

В этот удивительный день я говорила с московскими товарищами. Вернувшись домой и обжившись с мыслью о возможном счастье, я вышла на улицу с ведрами и направилась к водопроводной колонке, чтобы запастись водой. Навстречу мне шла в густом сером пуху линьки неуклюжая молодая овчарка. Внезапно она доверчиво встала на задние лапы и уперлась передними в мою телогрейку. Я погладила серо-коричневую морду и заговорила с ней. С той минуты собака более не отставала от меня.

Мы с Таней накормили ее, но и после этого она не ушла из дома.

— Что ж, оставайся, — сказала я и отвела ей место у печки.

Долго мы подбирали собаке имя и решили назвать Ренессансом, сокращенно — Ренсом.

У всякой собаки — своя судьба, часто горестная и сложная. Так было и с моим Ренсом. Он познал немало бед, прежде чем, после многих приключений, уже неожиданный и считавшийся потерянным, в 1962 году снова очутился у меня. Его преданность была беспредельна, и о нем сложится особый рассказ.

Стоял жаркий августовский день. Я надела лучшее из двух имеющихся у меня платьев, штапельное, синее, и уселась подле клумбы с буйно разросшимися, лохматыми настурциями, ожидая часа, когда следовало пойти на заседание бюро Джамбульского обкома. Там должна была решаться моя судьба — быть или не быть мне партийным коммунистом?

Сильное беспокойство завихряло мои мысли. Как по взбаламученному морю неслись они, странные, отрывистые, а то и несуразные. У ног моих пылали настурции, будто вобрав солнечные лучи. Маленькие солнца на земле. Все вокруг было в золоте и пурпуре.

Я попыталась мысленно приблизить день, когда в 1919 году в 13-й армии меня приняли в ряды ВКП(б). Председателем приемной комиссии был обросший, с виду крайне усталый, но энергичный, веселый старый большевик Магидов. Его прозвище было «Борода». Меня всегда удивляло, с какой тщательностью он сам нашивал все новые и новые заплатки на свою выцветшую гимнастерку. Поблескивая темными глазами, Магидов сказал, поздравляя меня:

— Помни, Галина, кому много дано, с того много и спросится.

Как давно это было. Я загляделась на цветы и вдруг среди зелено-коричневой резеды увидела маленькие, поникшие, как бы увядшие стебельки. Это была маттиола. Только в сумерки откроются ее лиловые скромные соцветия, издавая пряный, особенный аромат. Не знаю, почему слезы потекли из моих глаз — от счастья ли возрождения или от грусти, что мать не дожила до этого дня? А раскаленный ветер, будто африканское сирокко, шевелил, пригибая, зеленые зонтики-листья настурции, и они открылись, еще более пестрые, горячие, рдеющие. Точно сноп солнечных лучей. Время едва шевелилось и мучило медлительностью. В окно я следила за недавно купленными в керосиновой лавке ходиками, на синем циферблате которых шишкинские медведи взбирались на поваленную сосну.

С узкой холодной речки Джамбулки с купания вернулась Таня. Мы принялись разжигать керогаз и чистить овощи для борща.

— Возьмут тебя назад в партию? — допытывалась дочь.

Стрелка часов, вернувшись, добралась к половине третьего. Наконец-то.

На городских улицах было безлюдно. Температура в тени достигла 36 градусов выше нуля. Обмахиваясь пышной веткой джуды, потная, внутренне заторможенная, я добралась до каменного здания обкома. Заседание бюро уже началось. В приемной нас собралось четыре человека. Все, как и я, жестоко волновались и молчали. Страшась думать о возможном счастье, я пыталась подготовить себя к любой неожиданности.

«Будь готова к печали, не располагай на хорошее, — нашептывал в мозгу коварный голос опыта, — не твоя это доля. Кто-нибудь да захватит отравленным ложью

клинком, попытается убить тебя, развеять твои справедливые надежды».

Вдруг дверь открылась, и меня окликнули. Настал долгожданный черед, сбылись сроки.

Тяжело переставляя ноги, вошла я в длинный зал с окнами на улицу. Села у белой прохладной стены и замерла. Десятка три различных глаз напряженно всматривались в меня. Секретарь обкома встал и начал одной рукой — другая, протез, бессильно висела вдоль тела — перебирать различные бумаги и оглашать их. Он перечислял обвинения, выдвинутые против меня, одно чудовищнее другого. Не все из них я знала. Клевета, могучая, как цианистый калий и печи Бухенвальда!

«И все это обо мне,— стучало в моих висках. — А что, если эти люди тоже поверят?»

Секретарь обкома опровергал одну за другой ложь, и она сгорела дотла на чистом огне фактов, истины.

Так меня восстановили в партии.

— Стаж ваш шел. Вы оставались коммунистом,— сказал мне секретарь обкома.

В учетной карточке, такой необычной и значительной, нашли свое отражение все минувшие двадцать лет.

— А сейчас вам надо полечиться, собраться с силами,— говорили мне окружающие.

С ураганным сердцебиением, все время испуганно проверяя, не потеряла ли справку о реабилитации, я побежала из обкома на расположенный рядом пустырь. Когда-то тут было старинное кладбище. Ноги то и дело оступались об остатки каменных плит. Оглянувшись вокруг и не видя никого, я опустилась на сухую землю.

Дожила!

Не то казалось мне удивительным, что я оправдана. Я всегда твердо верила в неизбежность этого, но дожить самой!..

Невероятно, сказочно!

Солнце, как гигантская настурция, клонилось к закату. Жизнь началась заново. Это было подлинным воскресением. Я улыбалась всем встречавшимся людям, и даже самые хмурые отвечали мне тем же. Счастливый человек готов излучать добро на все живущее.

## В. К. КОККИНАКИ

Большие идеи умещаются лишь в больших сердцах. Испытаниями проверяется человек. Революции — очистительные ураганы — создают необыкновенные судьбы и замечательные характеры. Революционные вихри клубят землю, сметают сор и поднимают высоко к небу все истинно смелое и чистое.

В годы революции мы росли вместе с будущими героями, — среди них был и Владимир Коккинаки.

Вот он сидит передо мной, и я не могу наглядеться на его необычное и замечательное внутренней силой и горением лицо. Кого он напоминает, этот сын беднейшего портового грузчика, пронесшего жизнь как тяжкую ношу нищеты, унижений, беспокойства за многодетную, всегда недоедавшую семью? Лицо Коккинаки точно высечено из крепкого дуба искусным и вдохновенным ваятелем. Оно могло бы быть ликом доброго мифического бога древних даков — предков румын. Так оно своеобразно и вместе с тем благородно, что, раз увидев, его уже не забудешь.

Коккинаки родился победителем в воздушном единоборстве со смертью. Не раз чувствовал он ее мертвящую лапу и все же оставался жить. Что помогало ему в этих схватках? Летчик-испытатель, авиатор, прокладывающий новые пути, помимо отчаянной храбрости, обязательно обладает основательными знаниями, выдержкой и молниеносной ориентировкой. Все это дается учебой, опытом, настойчивой тренировкой и обязательной природной одаренностью.

Мне вспоминается, как о некоем прославленном полководце постоянно говорили после его успешных и опасных военных удач:



— Везет человеку. Родился под счастливой звездой! Наивность или нарочитое умаление подвигов?

Одного везения мало. Необходимы своеобразный талант, уверенность, добытая опытом и учебой, и цель, оправдывающая высшее самоотречение — готовность отдать жизнь. Таков Коккинаки.

В быту Владимир Константинович общителен и прямодушен, лишен наигранности и прост. Он любит и умеет ответить на шутку. Как все победившие страх люди, он добр, ласков к животным и птицам, чувствует природу и ценит жизнь. Тонко судит о живописи, увлекается подлинным мастерством реалистов.

— Но увидеть красоту нашей земли во всем ее величии, многообразии, изобилии красок, — говорит он, — можно только с высоты, в полете, поднявшись в небо. Ничто не может сравниться с тем, что открывается летчику, пролетающему над тайгой или океаном. Природа — вот творец великого искусства.

Рассказывая о перелетах, о дальних странах, Коккинаки с особенным чувством описывает свое знакомство с заснеженной, суровой Огненной Землей. Только там, с борта самолета, над всегда бушующим проливом, открылся ему огромный подвиг Магеллана, его отвага и упорство в достижении цели. Грозны и опасны Магеллановы воды в Южном полушарии.

Коккинаки и сам из племени первопроходцев. Он совершил беспосадочный перелет из Советского Союза в Северную Америку по кратчайшей прямой. Это был неизведанный и труднейший маршрут.

До того такие полеты производились лишь из Америки в Европу. Все попытки пролететь в обратном направлении кончались неудачей. Мешали сильные ветры, дующие с запада на восток: они «удлиняли» путь на несколько сот километров. Когда самолет Коккинаки был уже над океаном, погода внезапно ухудшилась, а возле Лабрадора началась сплошная облачность. Пришлось подняться до девяти тысяч метров. За бортом было 48 градусов мороза по Цельсию. Столько же и в кабине: воздушные корабли в то время не были герметизированы. Не хватало кислорода. В столь тяжелых условиях летели целых четыре часа. Перелет продолжался почти сутки. Пилот и его штурман Гордиенко прошли восемь тысяч километров.

Густой туман закрыл все аэродромы. Дышать было все труднее, а внизу лежала гористая страна, закрытая непроницаемыми облаками. Летчик попытался осветить место приземления с помощью специальных ракет, но они не сработали. Покружившись с полчаса, Коккинаки решил сажать машину, не выпуская шасси. Самолет зацепился лопастями винта за небольшой бугорок, развернулся на 90 градусов и остановился...

За отвагу воздухоплаватель получил от Международной авиационной федерации ожерелье «Роза ветров» — заслуженную награду первооткрывателя.

Первопроходчики на земле, в океане, воздухе, в космосе — люди особого склада. Им присуща не просто отвага, но высокая одержимость в достижении цели.

Более тридцати лет Коккинаки испытывал самолеты, — «он учил летать» машины знаменитого конструктора Сергея Ильюшина — все, от первого аэроплана до воздушного лайнера ИЛ-62, совершающего сегодня рейсы на Кубу. И всегда Коккинаки, с «открытым забралом» выходил навстречу опасности, чтобы победить.

Его мастерство и страстность в сочетании с даром вождения оказались вдвойне ценными во время войны с гитлеровцами. Именно ему поручались ответственные задания, крайне важные для победы. И снова, кроме находчивого ума, основательной подготовки и твердого характера, проявлялась его внутренняя, духовная сила. Коккинаки — мечтатель, жаждущий приблизиться к новым далям. Он всегда рвется к буре, к небу.

Один из любимых писателей славного летчика — Джек Лондон. Мужественность, целеустремленность — вот чего он ждет от своих современников.

Летчик — открыватель неизведанного — не может быть чужд романтике. Чем была бы Земля без действительных мечтателей? Их беспокойный, неукротимый ум обогатил человечество. В любой области знания, во все века астрономы, философы, математики, физики, художники, писатели, мореплаватели искали и находили «эликсиры жизни» и бесценные сокровища. Они определили законы, ведущие общество к прогрессу. В душах лучших из них уместается вся вселенная и бушуют страсти.

Коккинаки одним из первых прокладывал, рискуя собой, дороги для будущего. Следом за ним и ему подобными уносятся в космос ракеты с героями-космонавтами,

Преимственность в подвиге, отвага бесконечны, но цепь рассыпается, если изъять какие-нибудь звенья.

Неугомонные души героев будто перышки в крыле гигантской фантастической птицы, поднимающей нас ввысь, в область чистых и ясных мыслей.

## Л. А. АРЦИМОВИЧ

Люди бесконечно разнообразны... Лучшие бесстрашны и стремятся вторгнуться в необъятный океан непознанного. Мне посчастливилось приблизиться к таким натурам и в моей работе и в жизни. Чему бы ни посвятили они себя: общественной борьбе, искусству, науке, — времени не под силу стереть их имена.

Один из таких людей — Лев Андреевич Арцимович.

«...Трудно обойтись без сравнительного анализа, когда размышляешь о таком значительном направлении человеческой деятельности, каким является дальше всего продвинутая область науки — современная физика. Она позволяет продемонстрировать, как одна из безобидных форм любознательности превратилась в кладезь ослепительных чудес и в инструмент, опасный для нас и для будущих поколений...

...Для физики рубеж двух столетий отличает тот короткий интервал времени, когда все круто пошло вверх. Это конец взлетной дорожки и преддверие новой эры, в начале которой атом из абстрактного образа, рожденного фантазией древних философов, превращается в реальный объект физического исследования, чтобы затем выйти на арену военной и политической истории», — писал Арцимович.

Редкая скромность отличала Льва Андреевича. Это качество я заметила сразу, когда увидела его впервые. Лев Андреевич обладал даром нравиться все больше, по мере того как приоткрывался его богатейший внутренний мир. Стоило взглянуть в его лицо, заглянуть в небольшие, с нависшими верхними веками продолговатые глаза, в которых отражался глубокий ум, мелькал саркастичский огонек, сказывался откровенный интерес к людям, к слову и нетерпимость к примитиву и спеси, чтобы хотелось опять смотреть на это бледное лицо с превосходно очерченным лбом и резко смыкающимися губами;

временами это лицо озарялось неожиданно доброй и озорной улыбкой. Внешность Льва Андреевича была весьма незаурядной, особенно красивым помнится мне абрис его головы. Властный жест руки дополнял впечатление цельности.

Познакомившись с замечательным физиком, я поняла, что передо мной сильный духом, многогранный человек, одаренный широко и гармонично. Впрочем, общение с людьми убедило меня в том, что значительные личности всегда сложны, необычны, даровиты в различных областях. Иначе и не должно быть!

Лев Андреевич казался мне порывистым и страстным, несмотря на внешнюю сдержанность и умение молчать. Он пытливо вслушивался в речь собеседника. Я не заметила в нем даже налета равнодушия, порой, увы, разседающего человека в силе и славе. Это был человек, как все дерзновенные бойцы, объятый страстью, одержимый в том, что считал правильным и нужным для дела и человечества. Хладнокровие помогает лишь до определенного предела, потом оно становится барьером.

Один из друзей Арцимовича вспоминает о нем:

«У тех, кому довелось близко общаться с Львом Андреевичем... всегда вызывали восхищение глубина и разносторонность его эрудиции в областях, совсем далеких от чистой физики. Он хорошо знал классическую и современную литературу. Был блестящим знатоком мировой и, в частности, военной истории... Проходя... по Стокгольму или Вене мимо памятника какому-либо малоизвестному королю или полководцу, он поражал своих спутников, в том числе и... граждан этой страны, глубокой и тонкой характеристикой эпохи и деяний данной персоны... В последние годы Лев Андреевич проявлял пристальный интерес к социологическим проблемам... Его волновали вопросы влияния современного прогресса науки и техники на будущее человеческого общества...

Размах его интересов удивлял меня. История, социология, философия, литература неудержимо влекли его. Но наивысшим притяжением в его жизни оставалась физика. Он был в чем-то ее творцом, организатором, рыцарем, поэтом. Отдав ей свой великий талант, постигнув бесконечные возможности физики и влияние ее на все науки и будущее мира, он смог в поединке с природой побеждать, утверждая тем могучую науку, необходимую

народу». Записи одного из близких Арцимовичу физиков кратко обрисовывают значимость открытий Льва Андреевича:

«Говорить о работах Арцимовича в физике высокотемпературной плазмы — это значит говорить об истории развития этой науки, родившейся в начале пятидесятых годов. Она началась практически на пустом месте. Не было установок, диагностик, аппаратуры, не было никакой литературы, наконец, не было специалистов-плазменщиков».

Лев Андреевич в помощь молодым ученым написал книгу «Управляемые термоядерные реакции». Он читал лекции и обучал своих юных коллег не только на родине, но и в университетах Америки, Англии, Франции.

Каждое открытие неведомых ранее разветвлений физики утверждалось после долгих схваток. Эксперименты не всегда заканчивались удачей. Но это-то и составляло подчас основу обретения научной истины. Арцимович воспринимал неизбежные препятствия как акт, толкающий к новому движению. Нигде легкая победа не бывает так опасна, как в любом творчестве, будь то искусство или наука. Брать барьеры — значит развивать зоркость, точный расчет, лаконичность. Азарт — та же страсть. Великие физики часто охвачены боевым пылом. Они ведь в пути. Они в бою.

Арцимович умел отсеять без промаха второстепенное и определить главенствующее в проводимом опыте. Его прямота, убежденность, глубина и оригинальность мышления оставались непоколебимыми. Он не боялся поражений в науке, вернее, в завершении цели, владея диалектическим пониманием происходящего. Никогда он не лгал себе и другим.

— Надо уметь смотреть правде в глаза, — повторял он тем, кто восставал против резкости его высказываний. — В каждой научной проблеме следует оценивать положение с той точностью, с которой это можно сделать.

Научное предвидение Арцимовича оправдалось. Его имя перешагнуло границы, и лучшие умы мира признали многие его открытия.

Сложность экспериментов, однако, не уменьшалась, как ни упрощалась задача, поставленная наукой. Сражения с природой вовлекали все большее число ученых. Познание, как и бытие, не имеет конца. Оно беспредельно, пока жива планета.

— Мы не придумываем, а берем у природы ее самое укрытое, заветное,— говорил академик в незабываемый вечер нашего знакомства.

Арцимович казался мне счастливым. Его действенный, вулканический темперамент, подвижность отлично уживались с усидчивостью, многотерпением, настойчивостью. Он не слабел с годами. Тяжко больной, Лев Андреевич и приступы своего недуга старался преодолеть как неудачу. И снова, охваченный новыми мыслями, занятый одновременно десятками различных вопросов и дел, погружался в поиски. Он продолжал диктовать, управлять, готовиться к новым экспериментам.

Энергия, движение — вот что могло бы стать девизом великого ученого, жившего согласно законам, присущим всем начинателям, творцам и могучим революционерам.

Арцимович, по моим наблюдениям, был ученым нового мира. Идеи эпохи, в которую он поднялся и нашел себя, не остались для него чуждыми. Девятнадцати лет, окончив в 1928 году Белорусский университет в Минске, он отправился в Ленинград и оказался в шуточно прозванном физиками «детском саду» академика А. Ф. Иоффе, человека волевого, талантливого, посвятившего жизнь избранной науке, воспитавшего плеяду храбрых ученых.

В 1932 году английский физик Дж. Чедвик открыл нейтроны. Я хорошо помню интересный прием в советском посольстве в Лондоне в честь приезда делегации наших советских физиков во главе с А. Ф. Иоффе. Высокий, статный, остроумный, прославленный академик Иоффе произнес речь-оду физике и отдал должное Чедвику.

О поре появления нейтронов Арцимович писал:

«Все переменялось в физике — и проблематика, и психология мышления, и самый характер исследований».

Начались годы, прозванные «пиком атомной физики». Стремительной стаей в мир науки влетели новые понятия. Диалектика добра и зла особенно ясно прослеживается после обретения людьми атома — этого доброго чуда новой энергии и вместе с тем смертоносного вихря. Физика стала наукой наук.

Арцимович являлся яростным защитником мира и требовал от физики служения добру. Наука могущественна и по сути своей гуманна. Он верил в победу разума, прогрессивных ленинских идей, человеколюбия.

Видный немецкий ученый Макс Штенбек рассказал недавно:

«Решающее влияние оказал на меня академик Л. А. Арцимович. Мы много беседовали о роли ученого в обществе... Он помог мне постичь бесценную истину: наука не может быть самоцелью, она служит определенным интересам общества. Если перед этим обществом стоят прогрессивные цели, то и деятельность ученого прогрессивна».

Сам Лев Андреевич утверждал, что в Советском Союзе «наука находится на ладони государства и согревается этой ладонью». Это не благотворительность. Точное понимание значения новых открытий и вех в годы мощного соревнования разных социальных систем, естественно, привело Льва Андреевича к такому выводу.

Каждая беседа с Арцимовичем отложилась в моей памяти. Легко вспыхивающий, порой пронзающий собеседника метким словом, он слыл легко отходчивым и мог быть по-мальчишески весел. Щедрый и заботливый, он вызывал симпатию и полное доверие у всех, кто его знал.

Обаяние Арцимовича не иссякает. Он продолжает жить в науке, в людях. Помня временность всего сущего на земле и неизбежность нашего ухода, испытываешь особую признательность к природе за то, что она создает столь много истинно прекрасного на земле и людей, посвятивших себя высокой цели — борьбе добытчиков духовных и научных богатств, — подобных Льву Андреевичу Арцимовичу.

## ПЫЛАЮЩИЕ СТРОКИ «ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

Стихи что цветы. Велика ответственность переводчика, пересаживающего чужое растение на свою почву. Нелегко сохранить естество и словесное величие произведения. Можно засушить цветок, превратив его в экспонат гербария. Но талантливый поэт-переводчик может подняться до автора.

Слушая русский текст «Интернационала», мы осознаем, что, подобно Фениксу, он восстал бессмертным из горнила кровавых героических дней Коммуны. В каждом слове творения Потье грозный призыв к мести, к борьбе. Проклятие палачам и пророчество победы. Слова гимна

жгут. Мы повторяем их на родном языке, и нам чудится, что именно по-русски созданы они пылающим пером автора. В этом сказался большой творческий дар переводчика французских строф Эжена Потье в России — Аркадия Яковлевича Коца. Он вполне постиг яростное отчаяние и неиссякаемую веру в конечную победу, охватившую коммунара Потье, создавшего «Интернационал» в дни трагедии первой пролетарской революции человечества, когда он скрывался от карателей Тьера.

Аркадий Коц — наш современник. Он умер в мае 1943 года на Урале и за три года до своей смерти опубликовал «Сказание о Стаханове». Символична, полна значений историческая параллель: от Коммуны до славных дней стахановского движения и борьбы за коммунизм в Отечественную войну.

Коц родился в 1872 году в Одессе, окончил Горловское горное училище, работал в шахте, а позднее уехал в Париж, где сблизился с большевиками. Он вступил в Коммунистическую партию в 1903 году, через год после того, как напечатал в Лондоне в журнале «Жизнь» русский перевод величайшего гимна коммунистов «Интернационал».

Много лет поэт и инженер Коц был превосходным пропагандистом, агитатором идей Маркса и Ленина, выполнял партийные поручения, одновременно занимаясь литературой, издавая свои стихи и переводы.

Во время гражданской войны А. Коц, политработник, воевал в Первой конной армии. Позже он работает в Днепродзержинске и Харькове, где продолжает печатать свои произведения. Отечественная война застала его на Урале. Хворый и старый, он был так же бодр духом, как всю свою жизнь. Он умер, когда разгром фашизма был уже очевиден.

В пятидесятых годах стихи Коца «Майская песнь» и «9 января» вдохновили Дм. Дм. Шостаковича, и он написал к ним музыку, предназначая новые песни для хорового исполнения.

Список трудов Коца обширен. Он перевел «Поклонение золоту» П. Лафарга, издал книгу избранных произведений Потье.

Вся жизнь Коца и творческий его подвиг тесно связаны с революцией. Да и могло ли быть по-другому у автора перевода на русский язык «Интернационала»?



Не случайно именно А. Коц, коммунист с 1903 года, нашел в русской речи тот поэтический лад и слова, которые звучали в сердце Э. Потье, когда он подарил Новому Миру и Новому Человечеству неповторимый и бессмертный «Интернационал».

## ВЫСОКАЯ СТРАСТЬ

«Дом без книги как человек без души», — заметил Герцен. Я росла в доме, где всегда было много книг, а души близких мне людей исполнены любви и щедрости. Детство мое прошло среди интеллигенции, в семье профессиональных революционеров. Взрослым, окружавшим меня, книги помогали познавать правду и бороться. Нужно ли добавлять, что меня они старались сызмала приохотить к чтению? И особенно я, пожалуй, обязана отцу. Так появилась у меня собственная полка книг, положившая начало тому чудесному путешествию в страну литературы, которое продолжится до смерти. Книга стала необходимой, будто воздух и вода. Ей я обязана незабываемыми впечатлениями, знаниями, которые не могло восполнить ничто другое. Я убеждена, что мне особенно посчастливилось оттого, что дружба с книгой началась у меня с незапамятного детства.

Книга стала первым подступом к миру культуры, в край прекрасного. С благодарностью вспоминаю я о «Золотой библиотеке», издававшейся в ту пору и включавшей в себя русские и переводные детские произведения. Русская классика, Диккенс, Стендаль, Теккерей, Бальзак формировали мое сознание. И когда впоследствии книги на некоторое время были оттеснены интенсивной учебой, занятиями журналистикой, я как бы все время черпала из запаса, который накопила в детстве и юности. К счастью, я сумела не только пользоваться этим запасом, но и жадно начала пополнять его.

«Что вы читаете?» — не раз слышала я этот вопрос от Н. К. Крупской, М. И. Ульяновой и других замечательных людей, сыгравших огромную роль в моем духовном становлении. Впоследствии этот же вопрос не раз обращала я уже сама к себе, продумывая полюбившиеся страницы, новые открытия, ожидавшие меня на книжных полках.

Постоянное общение с литературой дало мне больше,

чем университет. Без книги я не мыслю себя не только человеком, но и писателем. Вспоминаю начало работы над романом о юности Маркса. Разумеется, очень много дали мне архивы. И все-таки книги позволили узнать больше, чем узнала я из документов. Они вызвали особые чувства, раскрыли неповторимые штрихи живых человеческих судеб. Могу сказать, что XIX век, как и XVIII, были воскрешены для меня именно литературой. Ранее я читала книги времен французской революции. Знакомство с Лессингом, герцогом Сен-Симоном обрело великое значение для моей работы. Эти почти забытые сейчас писатели знакомили с предреволюционной Францией лучше, чем музеи, города, предметы, увиденные во время путешествия по стране.

Анатоль Франс как-то сказал, что если бы он вернулся на землю через пятьсот лет, то понял бы мир, его окружающий, по тем произведениям, которые читают новые люди. Это верно. Людей, живших более ста лет назад, я поняла благодаря современным им книгам. Старые романы, повести, стихи превратились для меня в жизнь, а их вымышленные герои позволили узнать ушедших из жизни людей так, словно мне самой приходилось с ними встречаться. Происходила перестановка во времени. Но я узнавала их не только по тем неповторимым наблюдениям, мелочам быта, о которых повествовали авторы. Книги, ставшие властителями дум читателей минувшей эпохи, сами по себе помогли мне рассмотреть минувшее.

Книги, когда-то бывшие друзьями отдаленных от нас многими десятилетиями людей, помогали мне глубже проникнуть в духовный мир не только литературных героев прошлого, но и тех, кто узнавал в этих героях своих современников или был взволнован созвучием дум и чувствований.

Я как будто входила в чьи-то опустевшие дома, с тем чтобы судить об их обитателях по старым, пожелтевшим, некогда листаемым страницам. Постепенно выработавшаяся привычка размышлять о читателях старых книг много дала мне, писателю историко-биографических романов.

Книги прошлого стали моими друзьями. Они уводили в глубь веков, помогали смотреть на мир глазами людей, давно исчезнувших. Каждая из прочитанных книг, помимо художественного наслаждения, которое я получала от чтения, давала и огромный познавательный материал.

Книги минувших эпох, наряду с современными, стали для меня источником глубоких раздумий и захватывающего эстетического волнения. По совету друзей, в том числе Бабеля, Всеволода Иванова, Щеголева и Демьяна Бедного, я начала читать античную литературу и открыла алмазные россыпи. В тридцатых годах в издательстве «Академия» выходили произведения Катулла, Лукиана, Апулея, Лукреция. И мы не только восхищались их художественным совершенством, но и спорили о них, пожалуй, с такой же горячностью, с какой обсуждали последние литературные новинки. Тогда же я приобщилась к таким бессмертным творениям эпоса, как «Калевала», русские былины, поэзия Фирдоуси, Навои. Многим обязана я Горькому. Человек энциклопедических знаний, он заботился о том, чтобы и мы, молодые писатели, думали, учились, читали. Горький привел меня к пониманию эпоса.

Библиотека моя к 1936 году насчитывала примерно три тысячи томов. Начала я с увлечения книгами, написанными женщинами, главным образом это были русские авторы, затем польские. Очень люблю Конопницкую и Элизу Ожешко, затем скандинавок Сельму Лагерлёф и Карин Микаэлис. Постепенно раздел этот расширился: прибавились англичанки Ш. Бронте и Вирджиния Вулф и, уж конечно, француженки Жорж Санд и графиня д'Агу. Затем началась маниакальная страсть к собиранию всего, что относилось к эпохе первой французской революции 1789 года.

Французский, английский, а также польский язык, который я знаю столько же, сколько и русский (мать моя была полькой), естественно, помогали мне в этом неистовом поиске и счастливых находках.

Когда задумала писать о Марксе и Энгельсе, началась лихорадка искания и сборов всего, что относилось к XIX веку во всех странах мира, вплоть до газет, истории транспорта, костюмов, статистических сборников, трудов философов, экономистов и различных мемуаров. Вот кратко о моем пути по дебрям книголюбия.

Хочется говорить о многих произведениях, без которых оказалась бы обездоленной. Но особое значение получили книги, которые помогли мне в самое трудное время. «Войну и мир» я перечитывала много раз. Значение этого романа вышло далеко за пределы повседневности, Книги

Толстого оказались для меня мощной опорой. Я перечитывала их и каждый раз открывала нечто новое, точь-в-точь как это бывает с симфониями гениев. Два человека, два гения — Маркс и Толстой, люди очень разные, — помогли мне найти волю к жизни, укрепили мужество.

Часто случается: открываешь книгу, когда-то любимую, и вдруг видишь, что с годами уже переросла ее, что уже не волнует то, что когда-то будоражило. Зато когда знакомая книга приходит к тебе с новыми думами, которые раньше оставались незамеченными, осознаешь, что обогатился.

Книга должна быть с человеком всегда — в горе и в радости. Свое же творение — это невод, брошенный в невидимое море. Если оно полюбится читателю, писатель уловит друга.

## КАК МЫ ПИШЕМ

Немало высказываний писателей посвящено некоему таинству, которым подчас мы окрашиваем творчество. Есть в том доля подлинности. Чувства, испытываемые каждым, кто отдает ворох своих мыслей, опыта, страсти, словесных и душевных находок, превращая их в сюжетную ткань, иногда непостижимы и кажутся зародившимися в подсознании. Фактически момент, когда мы прикасаемся пером к бумаге, — уже итог выношенного, не легкого груза, который переполняет нас. Главное предшествовало этому моменту: и накопление мыслей, и искус сомнений. Далее мы создаем книгу на ходу, во сне, в работе над чем-то иным, иногда в пустоте досуга и кажущегося безмыслия. Пишем тогда, когда не писать уже невозможно. Творчество — как зреющий колос. Когда все отдано и последняя страница отложена, я всегда чувствую себя опустошенной.

Писатель — совесть эпохи, глашатай наиболее передовых общественных идей. Он широко образованный человек, доподлинный кладезь мышления. И мы, молодежь двадцатых и тридцатых годов, как школьники, учились всему, начиная от античной литературы, эпоса и кончая опытами современных великих ученых, бывали в научных учреждениях, слушали лекции о новейших наход-

ках медицины, техники, обществоведения, радовались встречам и консультациям специалистов. Мы читали научные книги, информационные бюллетени институтов — все, над чем трудились лучшие умы мира. Спорили, искали истину. Мы познавали великую Родину свою, а главное — людей, творящих новь и чудеса.

Писатель — не кумушка, сидящая на завалинке и спокойно созерцающая события со стороны. Он — движение и действие. Только прямое вторжение в действительность, участие в ней питают мысль и тем самым — талант. Без этого природное дарование — всего лишь чахлый, быстро вянувший цветок. Я смолоду узнала, что труд для писателя — оплодотворение его профессии. Немыслимо писать, стать поводом, донором читателя без затраты огромных сил и крови. Каждая книга, как дитя, забирает часть нас самих. Тишина и гладь опасны для творчества.

Писатель — вечный ученик жизни и ее движения. Не менее трудно для нас постижение своего, особого жанра. Певец предстает перед народом куда обнаженнее. Голос его ясен в своем диапазоне, силе и значимости. Он обычно годен либо для оперного пения и симфонических выступлений, либо для камерной аудитории, либо для эстрады. Иное с писателем, но и тут, по сути, есть своя, четко обозначенная черта. История литературы знает великих романистов, рассказчиков, мемуаристов или просто умелых и нужных популяризаторов. Одни достигают блеска вершин в публицистике, другие рождены повествователями и аналитиками эпохи и человеческого характера. Пожалуй, труднее всего нам самим найти себя в творчестве, хотя, лишь найдя себя, мы, подобно певцу в его единственном жанре, способны свободно и убедительно обращаться к читателю с самой трудной темой.

Тут-то критики и могли бы значительно помочь литераторам в их исканиях.

Изменились масштабы. Раньше человек жил в пределах одного села, города, страны. То была, по меткому выражению Энгельса, растительная жизнь. Сейчас мы участвуем во всем, что охватило планету. Точно так же иной мерой приходится оценивать мышление и чувствования. Самый увлекательный сюжет прошлого кажется блеклым по сравнению с тем, что «подкидывает» нам современность. Творческая фантазия бессильна превзойти

сложность, противоречия, события в быту и обществе второй половины XX века. Читатели необычайно поднялись и стали самыми строгими ценителями литературы. Они захвачены большой работой, и темп их дня ускорен. Читая, они хотят получить от книги максимум информации, облаченной в художественную форму. Писатель не имеет права на суесловие и перепевы. Не случайно такие блестяще написанные, дающие много научных знаний книги хирурга Амосова, историка Манфреда, автора «Наполеона», или неисчерпаемая серия «Жизнь замечательных людей» пользуются огромным спросом и признанием. В одной из анкет о том, что бы взяли читатели в космическое путешествие, ответ гласил: справочники. Тягучие псевдопсихологические рассказы кажутся архаизмом, предметом для литературного музея. Тем труднее и важнее работа писателя, его встреча с читателем.

Эта работа всегда мучительна, а порой трагична. Никто не станет оспаривать великое благо высокой грамотности. Но грамотность привела к тому, что каждый может написать одну книгу. И затем всю жизнь испытывать творческое бесплодие. Ведь то была случайная книга... Помочь в этой трагедии не могут никакие литературные институты и курсы. Школа писателя не есть школа стационарная, школа вуза. Писатель учится сам, перемалывая глыбы культуры и знаний, черпая жизненный материал, приобретая опыт собственным пером. Писатель учится у мастеров лишь тогда, когда пишет сам.

Фурманов правил мои первые заметки для календаря. Олеша — мои корреспонденции в «Гудок». Горький впоследствии учил меня разборчиво читать, обладая огромнейшей эрудицией, подсказывал мне интересные исторические детали, иногда ругал, иногда хвалил, но никогда не давал рецептов, как писать. Это я должна была каждый раз открывать сама. Горький и учил, и направлял меня, советуя писать проще, без красивых построений слов в ущерб пластичности, выпуклости изображения, объяснял, что писать проще — не значит писать сухо. Но как писать проще — это я опять же должна постигать сама. Я старалась учиться мастерству исторического портрета у Стефана Цвейга и Ромена Роллана, точности прозы — у Пушкина, Лермонтова, Бунина, но вся учеба шла бы вхолостую, если бы я задалась целью сначала «выучиться» писать прозу, а потом садиться за работу.

Я вообще чрезвычайно скептически отношусь к любой литературной рецептуре, в частности, к рецептам технологии писательского труда. Один пишет сидя, другой — стоя, третий, говорят, «сочиняет» свои романы в ванне. Кто-то любит твердые, остро отточенные карандаши, кто-то — «паркер», третий предпочитает пишущую машинку, а четвертый и вовсе может только диктовать. Одному лучше работается по утрам, а другому — ночью. Но во всех этих прихотях, на мой взгляд, нет ничего, что стоило бы принять во внимание. Каждый подлинный писатель неповторим и в своем творчестве, и в своей рабочей технологии, и в привычках. Большой он или нет — он один в мире.

Помню, когда я работала в «Комсомольской правде», один маститый литератор похлопал меня по плечу и сказал: «Говорят, вы начали пописывать книжонки? Обязательно надо каждый день садиться и переписывать две последние странички».

Я не могла принять его совет, и не потому, что он был в принципе плох, а потому, что он был хорош для одного-единственного человека — его автора.

Однажды ко мне пришла, как на экскурсию, делегация комсомольцев. После беседы они попросили показать стол, за которым я пишу. Возможно, они думали, что это какой-то необыкновенный стол — ведь на нем свершается некое таинство; возможно, они думали, что определенный порядок вещей на столе способен рождать вдохновение. А я не могла показать такой стол, потому что его нет и не может быть в природе, особого писательского стола, специально созданного для написания романов. Я, в частности, пишу, где придется, где застигнет меня мысль, фраза, образ.

Когда зреет замысел, писатель постепенно втягивается в свою будущую книгу. Она захватывает его целиком. Все, что нас окружает, начинает как бы «работать» на ткань повествования. Случайно услышанную фразу начинаешь поворачивать так и этак, прикидывать, не сможет ли она пригодиться. Здесь, действительно, есть нечто от тайны. Я написала десятки книг и до сих пор не понимаю, почему вдруг начинает писаться с удивительной быстротой, перо буквально летит по бумаге, не ищешь слов, не мучаешься над фразой, все льется щедрым потоком. Из глубин подсознания, что ли? Такие страницы

обычно бывают самыми удачными, их почти не приходится править и переписывать. А потом такое состояние кончается, и пишешь разумом, опытом, перебираешь и отсекаешь десятки вариантов, пока не добьешься предельно доступной тебе выразительности.

В процессе работы все наши чувства необычайно обостряются. Скрип калитки, стук колес электрички, шум дождя имеют непонятное влияние на настроение прозы. Мышление становится ассоциативным. Один вид пожелтевшего страусового пера может перенести мою мысль в Париж времен великой буржуазной революции. Обломок шпалы, пропитанный нефтью, наводит на мысль о Петрограде, о тогдашнем Невском с его торцовой мостовой. И вот уже слышишь глухой стук копыт и видишь ватные спины извозчиков и мысленно прокладываешь маршрут к Смольному. Все, все работает на ткань будущей книги.

Работа не отпускает писателя ни на минуту ни днем, ни ночью. Когда я «больна» очередной книгой, даже во сне продолжается литературный труд. Снятся фразы и целые абзацы, во сне переставляются слова, снятся герои. И все это отчетливо, ясно, как наяву. Бывает, что днем мучаешься над каким-то куском, что-то не складывается, не решено. Ночью, во сне, приходит долгожданное решение, и торопливо вскакиваешь записать его, не упустить. Мистика? Но приснилась же Менделееву его знаменитая таблица; видимо, в таких случаях решение бывает близко и далеко не случайно.

Нет, литература — это не сочинительство. Мы ничего не выдумываем. Каждый поступок, каждое слово героя необходимы и не имеют иных решений. Но как же трудно бывает порой это решение найти! Вспомним, в обычной жизни во множестве обстоятельств нам на каждом шагу тоже приходится искать оптимальные варианты, вспомним, как часто мы ошибаемся. В романе ошибаться нельзя, иначе ему не поверят.

Отличие жизни от книги в том, что каждая реально существующая личность представляет самое себя. Иное в литературе. На протяжении одного романа писатель переживает несколько жизней и от того, насколько полно, радостно, страстно, тяжело или несчастливо мы живем этими «чужими» жизнями, зависит судьба книги.



Такое перевоплощение особенно нелегко дается романисту-историку. Я уже не говорю, что трудно избавиться от робости, когда берешься писать литературные портреты таких огромных людей, какими были Маркс или Энгельс. Решать, что они могли сказать по такому-то поводу, как могли поступить в таких-то обстоятельствах — для этого нужен большой запас творческой смелости.

Мы обычно располагаем рядом важнейших фактов жизни и деятельности наших героев, знаем главные вехи их биографии. Пустоту между вехами писатель заполняет своей фантазией. Известный историк М. Н. Покровский писал мне:

«Восстановление прошлого из отдельных обломков, напоминающее работу реставратора-археолога, очень трудная и сложная задача. Мы не знаем всего ни об одном историческом деятеле, — о многих мы не знаем иногда очень крупного. Без вмешательства индивидуальной фантазии восстановителя тут дело обойтись не может, и без частичных ошибок в подборе деталей — тоже».

Случайно ли я пришла к исторической теме? Думаю, что нет. Жизнь человека ограничена. Он не может ее продлить в будущее, не может он и реально представить себе это будущее. Попробуйте нарисовать в своем воображении Москву 2074 года — в лучшем случае это будет абстрактная фантазия. Но мы можем раздвинуть свой век за счет прошлого, погружаясь в историю. Москва 1874 года была абсолютно реальной. По документам тех лет, книгам, рисункам, гравюрам мы можем с большей или меньшей точностью воссоздать ее облик, понять ее жизнь. Думаю, что мы обращаемся к истории не только для того, чтобы познать законы развития человеческого общества, и не только затем, чтобы знать, как все было до нас, но и для того, чтобы почувствовать себя наследниками, преемниками многих и многих предшествующих поколений. Иными словами, раздвинуть рамки своей ограниченной во времени жизни за счет прошлого.

Когда молоденькой девушкой я начала увлекаться историей, я, конечно, прямо об этом не думала — такие мысли приходят с возрастом. Но, видимо, стремление раздвинуть рамки своей жизни заложено в подсознании каждого человека, в том числе — молодого.

Во всяком случае, увлеченность историей определила мой писательский путь.

Мои занятия не ограничивались прилежным штудированием исторической литературы. Иначе, вероятно, из меня бы сформировался ученый, а не писатель. Настоящую вещь из прошлого, будь то старинная миниатюра или заржавевший стилет, я могла рассматривать часами. Она значила для моего творчества не меньше, чем связанный с этой вещью исторический факт. Вещь из прошлого — вот ты касаешься сейчас ее своими пальцами, — помогает перенестись воображению на столетия назад, увидеть ее владельца. Исторический факт начинает обрывать живыми подробностями, как говорят литераторы — «мясом».

Мысль писать о женщинах эпохи французской революции впервые зародилась у меня в 1928 году, когда я очутилась в музее Карнавале в Париже.

Мрачный снаружи дом, выстроенный прочно, по-прежнему величав, невзирая на более чем четырехсотлетнюю давность. По имени одного из владельцев, Керневенуа, музей сохраняет немного искаженное название — «Карнавале».

Главное в музее — залы великой французской революции. Сотни мелочей, собранных под стеклом в шкафах и витринах, — неразборчиво написанные листы, портреты, клочки газет, — воскрешают эпоху, помогают понять великую революцию.

Все эти «безделушки» ушедших столетий А. Франс называл «светящейся пылью истории». Это драгоценная «пыль», приближающая нас к ушедшим векам.

Вот что осталось в башне, где заточены были Людовик XVI и Мария-Антуанетта: кровать королевы, ее туалетный стол. Тут же последний приказ короля, старые литографии в пятнах, изображающие клятву Людовика в верности конституции, побег его в Варенн, к австрийцам, арест, план башни, в которой были заключены предатели. Миниатюра — процесс короля — висит недалеко от модели гильотины. Весь этот исторический реквизит в первый момент кажется ненужным и неинтересным. Почти незаметен маленький ящик под стеклом. Тщательно разложены в нем тяжелые ключи Бастилии — крепости с виду несокрушимой, окруженной рвом, как в средневековой сказке. Ее падение 14 июля 1789 года стало первым трофеем революционного Парижа. Так глубока

была радость, вызванная разрушением Бастилии, что и много лет спустя 14 июля она зажигает сердца французов и они пляшут на улицах Парижа, торжествуя, как некогда их предки.

Бастилии уже давно нет, но ключи все еще напоминают умерщвляющий мрак каменных нор, где гибли без света и воздуха, часто безымянные, узники, заживо погребенные по прихоти короля.

На одной из стен музея — портреты вождей революции. Толстощекий Дантон, циничный, веселый, откормленный, любивший поест и «пожить». Известно, что, узнав о смертном приговоре, он, издеваясь над собой, над революцией, над смертью, сказал:

— Я пожил, я любил красивых женщин, я хорошо ел и взял от революции все, что мог, не то что Робеспьер. Теперь я иду отдохнуть, поспать.

Его казнь была началом конца могущества якобинцев, и он не ошибся, когда крикнул своим громоподобным голосом Робеспьеру по дороге на эшафот:

— Ты скоро последуешь за мной!

Через три месяца пала голова Робеспьера.

Среди портретов революционеров один надолго привлекает внимание. Маленькое, кошачье лицо, замкнутое и недоверчивое. Светлые глаза смотрят равнодушно, но узкий рот сомкнут упрямо. Пудренные волосы приглажены и подчеркивают желчную окраску лица. Это Робеспьер, Неподкупный, последовательнее всех проводивший диктатуру революционного мещанства и защищавший ее с железным упорством. В стеклянном шкафу стоит глиняная миска, кокетливо разрисованная цветами. Это бритвенная чашка Робеспьера.

С бритвенным тазиком Робеспьера в коллекциях революционных реликвий соперничает ванна Марата. Это та самая калошеобразная ванна, в которой был зарезан Марат. Страдая тяжелым кожным заболеванием и другими недугами, нажитыми в годы гонений и подполья, Марат проводил дни в теплой серной воде. Это успокаивало его страдания. Марат в это время был наиболее известным человеком в Париже. Преданность революции доходила у Марата до фанатизма. Газета «Друг народа», которую он издавал, приводила в трепет преступников и изменников революции. «Друг народа» требовал расправы с попами и аристократией. Марат был неумолим.

В последние месяцы жизни его здоровье ухудшилось, он погибал. Шарлотта Корде убила умирающего.

Ванна побывала в витринах старьевщиков и на аукционах. В конце концов ее купил паноптикум восковых фигур в Париже, так называемый музей Гревена.

Галерея комнат великой буржуазной французской революции заканчивается залом Наполеона. Наполеон — пожизненный консул, Наполеон — император, расцвет Первой империи и, наконец, Наполеон низверженный.

Из музея Карнавале я отправилась в Национальную библиотеку, где нашла много документов, книг, газет и гравюр, посвященных жизни современниц первой революции во Франции. Пришлось поработать в архивах. Париж, Канн, Лион и другие города, где некогда жили героини книги, рассказали мне о давно минувших годах.

Радостен труд писателя, восстанавливающего живые черты былого, пытающегося вдохнуть жизнь в то, что казалось мертвым. И если удача сопутствует ему, он испытывает особое, ни с чем не сравнимое чувство вдохновения.

Нет случайностей в выборе темы писателем. Круг его интересов расширяется со временем, но взаимосвязан и последователен. Писательский труд сродни могучей туче, возникающей из невидимой влаги затем, чтобы снова отдать земле все, что имеет. Во всем мире, во все века литература ценится за произведения, ведущие общество вперед, к свету, правде и миру. История борьбы за счастье человечества учит нас самоотверженности, любви, достойной жизни и умению побеждать.

## ГЛАВНАЯ ТЕМА

К стремлению воссоздать образы Маркса и Энгельса я пришла не сразу. Больше того — в юности труды этих людей внушали мне только почтительную робость. В двадцатых годах, шестнадцатилетней студенткой рабфака, я попыталась читать «Капитал». И, тщетно стремясь понять его, уснула над первыми страницами. Могла ли я думать тогда, что дерзну впоследствии писать роман о Марксе и Энгельсе?

Но в те же годы я познакомилась с Николаем Александровичем Морозовым. Этот большой ученый, отважный народоволец, друг Кибальчича и Перовской, провел

почти три десятилетия в одиночке Шлиссельбурга. В свои весьма почтенные годы он отличался редкой молодостью, разносторонностью знаний, жизнелюбием. Вспоминая прошлое, он с увлечением рассказывал о своих встречах и беседах с Карлом Марксом в Лондоне.

Я забрасывала Морозова вопросами и как бы сама приблизилась к тому, что жило задолго до моего рождения.

Маркс перестал быть для меня только чтимым бюстом, который, с таким трудом спасая от опасности, мы, юные политработники 13-й армии, возили вместе с скарбом своего походного клуба по дорогам гражданской войны — от Курска до Перекопа.

В 1931 году в Манчестере, где я находилась в качестве спецкорреспондента газеты «Известия», в окраинной таверне мне встретился рабочий, знавший Энгельса и дочь Маркса Элеонору. И я снова вобрала все то, что сохранила память этого человека.

Весной 1933 года я написала очерк о могиле Карла Маркса на Хайгейтском кладбище. Само посещение могилы явилось для меня огромным событием, во многом определившим мою дальнейшую жизнь. Стоял типичный лондонский дождливый март. Может быть, еще и поэтому могила производила особенно удручающее впечатление. Маленькая плита почти совершенно засыпана землей, так что нельзя было сразу разобрать слов на надгробии. Естественно, что я ожидала увидеть величественную гробницу, усыпанную цветами. И вдруг это запустение! Находясь под тяжким впечатлением, устремилась я на поиски домов, где жил Маркс, и снова меня ошеломила скромность, скорее нищета, на которую обрек себя этот гениальнейший человек. При его гигантском уме и глубочайшей, энциклопедической образованности, при его понимании сложнейших экономических, социальных и политических процессов в обществе он мог стать кем угодно — министром, прославленным, процветающим профессором. Но для этого нужно было закрыть глаза на кривду, на несправедливость мира, на мрачную участь угнетенных и обездоленных. Жить только для себя Маркс не мог.

Известно, что тотчас же после Октябрьской революции В. И. Ленин хотел, чтобы прах К. Маркса был перевезен в Москву, столицу первого государства победив-

шего пролетариата, но внуки Маркса не дали согласия. Тогда, 1 июня 1918 года, Совет Народных Комиссаров постановил:

«1. Ассигновать один миллион рублей на постройку памятника на могиле Карла Маркса.

2. Поручить Народному комиссариату просвещения объявить конкурс на проект памятника.

3. Поручить представителю Российской Республики в Лондоне вступить в переговоры с наследниками Карла Маркса на предмет исполнения данного постановления».

Во втором томе «Дekretов советской власти» хранится этот ленинский документ.

Постепенно утвердилась во мне отчаянная мысль написать роман о Марксе и Энгельсе. Но едва начинала я знакомиться с произведениями этих гениальных людей, как невольно ощущала естественный страх, что не смогу подняться до того уровня знаний в области философии, экономики, истории, политики, эстетики, которые необходимы каждому, кто хочет писать о подобных исполнителях. К тому же я поняла и то, что собираюсь «поднять целину» в литературе, так как о Марксе и Энгельсе в те годы не было ни одного беллетристического произведения.

Я снова поехала в Лондон и начала искать все, что рассказало бы мне о Карле Марксе. Побывала еще раз во всех сохранившихся домах, где он жил в годы изгнания. Много раз посещала читальню Британского музея. Там, часто с девяти часов утра до семи часов вечера, работал Маркс над «Капиталом» и другими произведениями. Постоянные посетители имели строго определенные места. Маркс сидел за пятым столом направо от входа, примыкавшим непосредственно к стендам со справочниками. Стол этот был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Писатель, пишущий об ушедшем времени, всегда разведчик истории. Пришлось собирать подчас едва заметные песчинки, чтобы с их помощью воссоздать прошлое.

Мне представилась возможность побывать не только в Англии. В период работы над первой книгой, которую ограничила двадцатью шестью годами жизни гения и решила назвать «Юность Маркса», я посетила Германию, Бельгию, Францию, Италию и Швейцарию.

Живописный, затерянный в невысоких горах городок Трир, быт которого не менялся десятилетиями, раскрыл передо мною дни детства и юности Маркса. На узенькой

Брюккенгассе отыскала я серый двухэтажный дом, где родился Маркс.

В 1932 году, накануне пятидесятилетия со дня смерти Маркса, этот дом был отремонтирован, найдена и реставрирована мебель. Все в нем воскрешало обстановку и быт того времени, когда здесь проживала семья юстиции советника. Несколько месяцев спустя после моего отъезда из Трира фашисты разрушили этот дом-музей.

Гимназия, где учился юный Карл, готическое здание цвета незрелых помидоров, очень мало изменилось за сто лет.

Все так же лениво катил свои серые воды, огибая город, неширокий Мозель, и так же весной цвели на его берегу маки и вереск, как тогда, когда здесь купался и шалил маленький Карл.

Неизменная природа — отзывчивый помощник создателя исторического романа. Она щедро обогащает его творческую лабораторию.

В Бармене, где провел свои юношеские годы сын богатого купца Фридрих Энгельс, я увидела такую же осень, какой была та, когда он появился на свет в 1820 году.

О детских годах Карла Маркса сохранилось не много исторически достоверных документов. Однако письма юстиции советника к сыну, стихи юного Карла, его учебные таблицы и оценки учителей помогают восстановить отдельные черты его характера.

Из Германии я поехала в Голландию, где в отроческие годы бывал Маркс, и нашла в Нимвегене все, что относилось к семье его матери, уроженки этого города, затем осмотрела Залтбommел. Там жил некогда голландский дядюшка Маркса, купец Филиппс. Не раз он помогал деньгами своему племяннику и всегда был рад его приезду. На красивом доме неподалеку от живописного канала, где останавливался у родственников Маркс, я увидела мемориальную доску. Однако не Марксу была она посвящена, а... основателю знаменитой в Европе и по сей день промышленной фирмы Антони Филиппсу. Радиоприемники, телевизоры и другие аппараты с маркой «Филиппс» считаются лучшими на Западе. Господа Филиппсы ныне всячески отрешиваются от своего близкого родства с Карлом Марксом.

Маркс любил Париж и хорошо знал этот беспокойный, революционный город. Изучению французских ре-

волюций он посвятил много времени, и Париж был для него как бы живой летописью недавних событий. Прошло всего пятьдесят лет со времени Великой революции и Декларации о правах человека, когда Маркс с женой, только что поженившиеся, поселились на улице Ванно в Сен-Жерменском предместье. Позднее, в 1848 году, он снова прибыл во Францию, вскоре после начала февральской революции.

В начале тридцатых годов в Париже я побывала у внука Карла Маркса — Жана Лонге. Этот почтенный старик принял меня холодно. Он был одним из реформистских лидеров Французской социалистической партии. Тщетно я просила его рассказать о предках и добивалась разрешения сделать фотокопии с имевшихся в семье Лонге портретов. Особенно огорчило меня его нежелание показать изображения Женни фон Вестфален. Их сохранилось вообще очень мало. Один из лучших портретов Женни, выполненный на стекле, Фридрих Энгельс положил в гроб Маркса.

Образ жены Маркса кажется мне одним из самых волнующих и замечательных в галерее женщин, известных мировой истории. Она совмещала в себе красоту, обаяние женственности с глубоким «мужским» умом, волей и поистине великим сердцем. Шотландская аристократка по своей бабушке Женни оф Питтароо, из рода Аргайлей, не раз воспетых Вальтером Скоттом, самая прекрасная девушка Трира, она сумела в ранней юности оценить, навеки полюбить Маркса и стать достойной его соратницей, помощником, другом, женой.

Человек развивается под воздействием среды и своего времени. Чем «вместительнее» и глубже душа, чем богаче интеллект человека, тем больше внешних факторов его формирует. Для гениев, подобных Марксу и Энгельсу, нет преград в пространстве и во времени. Их мышление объемлет всю планету и века. Исходя из этого, я «строила» многоплановые романы, действие которых охватывает все наиболее значительные события эпохи первой половины, середины и конца девятнадцатого века, стремилась отразить развитие общественной и философской мысли того периода.

Годы работы над «Юностью Маркса», «Похищением огня», «Вершинами жизни» и «Предшествованием» — это время чтения архивных документов, писем и мемуаров,



Я кропотливо изучала быт минувших лет, стремилась проникнуть в мироощущение тех, о ком писала. Картотека все ширилась. Творческое хозяйство стало очень большим. Из сотен справочных табличек не многие непосредственно относились к Марксу, его семье, окружению.

Я завела карточки также и на вымышленных персонажей моих книг и, все более увлекаясь их судьбами, теряла ощущение того, что их в действительности не существовало. Особенно дороги стали мне портняжный подмастерье Иоганн Сток, его жена Женестьева, русские женщины Лиза Мосолова и Анна Бах. В работе над их образами не могло быть преград для полета творческого воображения и фантазии. Но цель введения каждой вымышленной личности должна быть ясна и продумана, иначе она никогда не обретет жизненной убедительности.

В трилогии о Марксе видное место отведено Елене Демут, верному другу, домоправительнице семьи Карла Маркса. В детстве она поступила прислугой в дом барона фон Вестфалена, в юности последовала за Женни Маркс и ее мужем в изгнание. Всю свою жизнь Ленхен посвятила семье Маркса и была пламенной последовательницей его учения. Меня, естественно, очень взволновал и увлек образ этой даровитой крестьянской девушки. Знала я, что родилась она в 1823 году, но тщетно искала в документах указания на день ее рождения, столь важный для романиста, пишущего историко-биографическое произведение.

Однажды в 1932 году на кладбище Хайгейт в Лондоне долго, не впервые уже, сидела я над скромной могилой, в которой покоился прах Карла Маркса, его жены, их маленького внука и Ленхен Демут. На сером камне густая копоть и земля скрыли некоторые высеченные буквы стелы. Мне захотелось во что бы то ни стало прочитывать каждую строчку надгробной надписи. С помощью кладбищенского сторожа я принялась очищать цифры и буквы и вдруг обнаружила у самой грани камня, рядом с именем Елены Демут, надпись:

«Родилась 1 января 1823 года».

Дальше следовали число, месяц и год ее смерти.

Прошло много лет. Заканчивая роман «Вершины жизни», я решила воссоздать встречу Нового, 1877 года в семье Маркса, во время которой велись важные политические и научные разговоры. Тут я вспомнила, что Елена Демут родилась в день Нового года. Мне представи-

лось, что тотчас же после того, как часы пробили двенадцать и один год уступил место другому, все собравшиеся за веселым праздничным столом — Маркс и его семья, Энгельс с женой, русский ученый Ковалевский и другие гости, о которых достоверно известно, что и они были на этом торжестве, — наперебой поздравляют «божка домоводства», постоянного партнера Маркса за шахматной доской, скромную, трудолюбивую Елену Демут и дарят ей подарки.

Так из одной строки появилась сцена романа.

Без помощи многих ученых я не смогла бы работать над своей трилогией. Материалы по Лионскому восстанию дал мне в рукописном виде Е. В. Тарле, с карандашом в руке прочитавший «Юность Маркса» до опубликования.

Евгений Викторович Тарле взыскательно наблюдал за моей работой над романом.

Не только А. М. Горький и Е. В. Тарле, но немало других видных историков и мастеров пера дали мне добрые советы. Среди них Г. С. Фридлянд, талантливый ученый, превосходно знавший эпоху великой буржуазной французской революции и революций 1830 и 1848 годов.

Постоянное внимание Фридлянда к моему труду, когда я писала «Юность Маркса», консультации директора Института Маркса — Энгельса — Ленина В. Адоратского не раз выводили меня из тупика сложнейших исторических, экономических и философских проблем. Много незабываемого, важного я узнала от Г. С. Фридлянда и о молодом Энгельсе.

Научные работники Института марксизма-ленинизма и Центрального партийного архива, богатейшей сокровищницы, где сосредоточено почти все относящееся к жизни и трудам основоположников научного коммунизма, помогали мне в этой трудной работе. Некоторые из них посвятили всю свою жизнь изучению научных биографий Маркса и Энгельса и знают бесчисленные подробности их бытия и деятельности.

Пришлось напряженно, упорно учиться, чтобы пройти по дорогам мысли и знания, по которым некогда поднимались Маркс и Энгельс. Всю свою жизнь Маркс был окружен интересными, талантливыми людьми. Он щедро делился с ними своими открытиями, знаниями. Плеяда поэтов — Гейне, Фрейлиграт, Веерт, Гервег — многое взя-

ла от него и шла с ним рядом. Нельзя обойти их, когда пишешь о Марксе.

Маркс и Энгельс хорошо знали Россию, ее язык, историю, литературу, многих русских людей. Революционер, каким Маркс был прежде всего, соприкасался в той или иной степени со всеми наиболее видными деятелями эпохи. Никому не внушал он чувства безразличия. Его горячо любили и жестоко ненавидели. Мне помогли понять Маркса не только его друзья, но и враги.

Ученый, поэт, журналист, юрист, редактор, революционный вождь, постоянно преследуемый, часто оклеветанный, нищий, но всегда несокрушимый, бесстрашный, Маркс неисчерпаем, бессмертен. Это подлинный Прометей, пожертвовавший всем ради одной цели: сделать наибольшее число людей счастливыми на земле. Что может быть более достойно изучения, нежели сердце такого человека?

Долгое время, работая над «Похищением огня», книгой, в которой Маркс и Энгельс изображаются уже зрелыми людьми, я боролась с собой, преодолевая чувство робости перед ними. Мне стало ясно, что покуда я буду испытывать подобную нерешительность, мне не достичь той убедительной легкости письма, без которой нет вообще никакого художественного произведения. Автор не может быть зависим от создаваемых им героев, не должен смотреть на них снизу вверх. Книга разоблачит его боязнь и наполнится тогда кодульными, неживыми фигурами. В напряженном труде познания, благодаря все возрастающей душевной близости со своими героями и проникновению в тему, я постепенно освободилась от скованности и стала увереннее обращаться с материалом. В романе автор — хозяин своего творческого замысла, о ком бы он ни писал. Не нарушая исторической истины, я смелее стала вторгаться в чувствования, раздумья и действия своих персонажей. Это был поворотный момент в работе над книгой «Похищение огня».

Труднее оказалось найти звучание речи Маркса и Энгельса. И вдруг я услышала их смех, уловила тембр голоса. Все это открыла мне их поразительная переписка. В ней оживают оба корреспондента, и невольно вспоминаются слова Герцена о том, что на письмах запеклась кровь событий и само прошедшее, как оно было, становится нетленным.

Кроме писем, случайно уцелевший счет кредитора или несколько строк в тетради сказали мне больше, нежели пространное научное исследование. Помню, как встрепенулось сердце, когда я увидела в пожелтевшей книжке, где Женни Маркс перечисляла расходы и белье, сданное в стирку, одиннадцатый гениальный тезис о Фейербахе, написанный рукой Маркса:

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Почерк Маркса, сложный, мудрый, таинственный, как письма на древних камнях, глубоко поражает. Подобно графологу, вглядывалась я в крошечные буквы, пытаюсь лучше понять черты характера того, кто их писал.

Огромное наслаждение доставляло мне изучение творческой лаборатории Маркса. Он работал как поэт, вдохновенно, порывисто, не щадя себя, забывая о сне и пище, а затем мог долго бездействовать, лежа на диване с увлекательной приключенческой книгой в руках или оставаясь один на один с сигарой.

Для того чтобы воскресить повседневный быт подлинных и вымышленных героев моих книг, обрести живые приметы времени, приходилось знакомиться с техническими открытиями эпохи, транспортом, модами, законами биржи, театральными и концертными программами, отчетами фабричных инспекторов, судебной и великосветской хроникой. Впрочем, все это обычные детали работы над всяким романом из прошлого.

Возникли сложности при воссоздании жизни, быта, нравов, условий труда того отверженного класса, вождем и учителем которого стал Карл Маркс.

Молодость Маркса совпала с юностью пролетарских революций. Восстание лионских ткачей, движение рабочих за «Хартию вольностей» в Англии сопровождались кровопролитиями и потрясали устои буржуазной Европы. Рабочий класс был еще юн, и юными были его революции, его попытки борьбы за улучшение условий труда, за повышение заработной платы.

Энгельс писал, что плебейские и крестьянские движения были неофициальными элементами истории. Вот об этой армии борцов, создавших все ценности мира, я пыталась рассказать в «Юности Маркса», «Похищении огня» и в «Вершинах жизни». И нужный материал по крупицам собирала везде: во Франции, в Англии, в Германии.

Маркс еще в сороковых годах прошлого века в «Новой Рейнской газете» писал о том, что литераторы призваны «обвить лавровым венком... грозно-мрачное чело» новых героев. Нам сегодня дана привилегия увенчать лаврами головы революционеров и бунтарей-плебеев.

Жизнь героев поработанных в прошлом классов должна стать одной из основных тем советского исторического революционного романа. История пролетарских революций изобилует героическими личностями и необыкновенными человеческими судьбами. Советская литература не может не отдать им заслуженную дань. Это ее герои.

Советский исторический революционный роман всегда видит прошлое глазами настоящего. Чем более прогрессивным является мировоззрение писателя, тем больше правдивости в книге. Автор историко-революционного романа, мне кажется, не может сойти с наивысших позиций современности, потому что иначе он уничтожит самую сущность своего произведения.

Попытка перестановки во времени отразилась весьма своеобразно на творческой манере большого писателя Л. Фейхтвангера. Он писал о сущности исторического романа:

«Я решительно не в силах поверить, что серьезный романист, работающий над историческим сюжетом, видит в исторических фактах что-либо, кроме средства создать перспективу».

В некоторых своих исторических полотнах Фейхтвангер стремился по возможности точно отобразить не минувшую, а современную эпоху и перенести субъективные, вполне современные ему взгляды в прошедшие века. Это дало ему возможность создать как бы исторические по жанру, но, по сути, боевые антифашистские книги.

Так создавалась Фейхтвангером «Иудейская война», рисующая борьбу иудеев с римлянами. На самом деле автор имел в виду события, происходившие в фашистской Германии в тридцатые годы. Его «Испанская баллада» продолжает служить той же цели перенесения современности в историю. Фейхтвангер на фоне прошлого боролся с настоящим.

Но подлинно историческая проза, мне кажется, восстает против такого метода. Она не терпит подобного перемещения идей. Получается неубедительное, вводящее читателя в заблуждение историческое повествование. То,

что удалось Фейхтвангеру, по-моему, не может стать правилом, это лишь счастливое исключение.

Есть и другие сложности в работе над историческим романом: перегрузка исторической бутофорией.

Мне вспоминаются слова Гегеля об утомлении от всеобщей истории благодаря массе деталей, мешающих пониманию этой истории. Некоторые исторические романисты столь увлекаются деталями, что явно перенасыщают ими свое произведение.

Чрезвычайно опасно в историческом романе злоупотребление словами и выражениями, взятыми из старых летописей и книг: они никогда в действительности не употреблялись в разговорной речи и были поэтому всегда мертвы.

Вредна также фетишизация костюма, когда писатель устраивает маскарад, облачая своих современников в наряды иной эпохи, весьма поверхностно изученной и поданной как декорация, как фон для такого маскарада.

Желая снять с пьедестала гения и «очеловечить» его, писатель принимается рыться в бытовых мелочах и отыскивать темные пятна в биографии и, что еще хуже, приподнимать портьеру алькова. В результате вместо «очеловечивания» героя получается пошлое принижение его. На Западе появились романы об отдельных периодах жизни Маркса, в которых слишком много внимания уделено чисто интимной стороне жизни. Все это, естественно, вызывает только чувство досады. Порочность подобного замысла писателя приводит к тому, что произведение его становится антихудожественным.

Автор историко-биографических романов обязательно должен сам подняться над своей темой, чтобы свободно овладеть ею, а не наоборот — стаскивать вниз своих героев, прикрываясь тем, что ведь они, мол, тоже люди.

Весьма опасен и соблазн канонизации, почти граничащей с культом. Мне случалось слышать о том, что нельзя прикасаться к святыням, что Маркс должен оставаться в сознании людей как бы мраморным изваянием.

Когда в «Юности Маркса», пользуясь подлинными документами, я рассказала о том, как первокурсник Карл был присужден к карцеру за участие в дуэли на шпагах и как он вместе с ватагой учащейся молодежи в знак протеста против филистеров и трусливых обывателей разбил стекла уличного фонаря, некоторые редак-

торы воспротивились и хотели вычеркнуть такой эпизод в романе, считая, что это может умалить моего героя. И только вмешательство А. М. Горького привело к тому, что Маркс показан не только добрым студентом, но и отважным дуэлянтом в тех случаях, когда надо было заступиться за товарища или сразиться с ханжами и лицемерами.

Маркс и Энгельс благодаря цельности, величию, ясности своих натур кажутся мифическими небожителями, однако они всегда сами подчеркивали, что ничто человеческое им не чуждо.

Я не раз думала о том, что гении — трудные в общении, в семье люди. Жена, дети, друзья гения, казалось мне, не могут быть достаточно сильны духом, чтобы выдержать общение с натурой исключительной. Слишком яркий свет ослепляет, слишком мощный звук оглушает обыкновенного человека. Но огромная любовь ко всему существу и борьба за благо на земле уживались в Марксе и Энгельсе с редким свойством нести счастье также близким и родным им людям.

Последнее время на Западе стало модным ограничивать влияние Маркса XIX веком, тем самым отодвигая его в глубь истории. Понятно, что предпринимается это для того, чтобы разделаться с марксизмом, посчитать его исторически исчерпанным. Тут мотивы ясны, но для советского писателя особенно волнующим является чисто человеческий, психологический аспект этого вопроса. Нет, Маркс человек не прошлого, а будущего. Он — наша мечта о прекрасном, гармоническом человеке, уже явившая себя миру во всей своей реальности. Маркс в действительности достиг во многом совершенства.

Каждый момент жизни Маркса мог бы стать легендой. Его любовь к Женни служит образцом столь же великой любви, как любовь Ромео и Джульетты. С той существенной разницей, что Ромео и Джульетта умерли очень юными и совсем не ясно, как сложились бы дальше их отношения. Маркс и Женни нежно и преданно, без малейших срывов или отчуждения, любили друг друга всю жизнь. К старости любовь их все пабирала силу. Такая любовь раскрывает все духовные возможности людей. То же можно сказать о дружбе Маркса и Энгельса. Примеры подобной верной мужской дружбы можно найти разве что в мифологии. Идеалом могут слу-

жить и отношения Маркса со своими детьми. Наконец, самое дело Маркса, его исторический подвиг — явление эническое. Из недр несправедливого, жестокого буржуазного общества явился человек, постигший законы его, чтобы низвергнуть зло, освободить миллионы угнетенных, изуродованных социальными пороками людей для счастливой, полноценной жизни.

Еще мальчиком, на гимназической скамье, Маркс осознал, в чем смысл его жизни, и мечту сумел сделать явью. Да, Маркс оказался тем счастливым человеком, который проложил путь для счастья бесконечного числа людей.

Много споров вызывает проблема домысла и вымысла при воссоздании образов Маркса и Энгельса.

Несомненно, без домысла не может быть художественного произведения. Чутье писателя подскажет ему предельную черту. Нигде не требуется такое умение пользоваться полутонами, как на полотне исторического романа: это своеобразный подтекст. Прежде чем начать портреты Маркса и его соратников, я пришла к выводу, что только совершенная приверженность исторической правде, точность обращения с хронологическим материалом и научными изысканиями есть наилучший метод для работы исторического романиста.

Правда, случалось, сопоставление того, что я написала, и исторических фактов либо хронологических дат приводило к крушению целого замысла той или иной сцены. Мне, например, очень хотелось, чтобы в момент встречи и начала дружбы Маркса и Энгельса рядом с ними находилась Женни. Так я и написала целую главу. Но один из ученых категорически возразил против такой вольности: Женни Маркс в это время находилась в Трире. Пришлось все писать заново.

Даже в мелочах требовалась совершенная точность. Много раз рассыпались звенья в цепи сюжета, если хронология оказалась «сдвинутой» и, увлекшись, я отходила от исторической действительности.

Книга выигрывала от того, что я пользовалась только фактом как основой. Строго следуя этому, я, однако, совершенно была свободна в интуитивном постижении и эмоциональном воспроизведении моих героев и старалась достичь наибольшей убедительности и передать читателю то, что сама прочувствовала, — любовь к своей теме. Равнодушие писателя убивает его творение.



Углубляясь в работу над образами Маркса и Энгельса, я все больше дивилась их любви к человечеству. Они гуманисты в самом высоком смысле этого слова. Их жизнь и деятельность — лучшее тому подтверждение.

Эти два человека, каждый по-своему, совершенно гармоничны. Здесь нет преувеличения. Становятся понятными высокие чувства, которые они внушали своим единомышленникам. Двадцативосьмилетнего Маркса рабочие называли «отец Маркс». Общение с ними делало людей лучше и значительнее. И самое замечательное, что было в них, — это высокая человеческая простота. Сентиментальность, ложь, слащавость, пошлость, снобизм им совершенно чужды.

Работая над беллетристическими книгами о Марксе и Энгельсе, я постоянно помню их слова о том, как следует писать о революционных героях. Сколь необходимо, чтобы эти люди «были наконец изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде». Думается, строгая правдивость является отличительным свойством жанра советского историко-революционного романа в такой же степени, как и показ тесной связи героя с его временем. Это не исключает права на фантазию.

Беллетристические книги о Марксе, Энгельсе, Ленине никак не могут быть отнесены к чисто историческому жанру. Тема об Иване Грозном, например, окончательно завершена в истории, и писатель, пишущий о нем, подобно анатому, склоняется над распростертым трупом, который он может изучать, орудуя скальпелем. Но книги историко-революционные о последнем столетии и историко-биографические романы о вождях пролетариата — грозное оружие в борьбе.

Один из лучших художников исторического романа, Генрих Манн, сказал, что «идея в историческом романе должна быть вооружена». В книгах о Марксе и Энгельсе вооружена сама тема.

Философы XIX века часто писали о трагизме истории и неизбежной обреченности больших начинаний и больших людей. Но скованный Прометей сбросил оковы. Зевс нал. Великие огненосцы Маркс, Энгельс, Ленин оказались победителями. Многие миллионы людей претворяют в жизнь их идеи и строят то общество, ради которого они создали свое великое учение, посвятив ему свои жизни.

То, что было до социалистического общества, говорил Маркс,— это только предыстория.

Среди многих тем, которые нам щедро дарит современность, есть неисчерпаемая, почти непочатая, относящаяся по времени к прошлому, но сохраняющая животрепещущее значение и поныне,— это воссоздание художественными средствами образов революционеров.

Закончив трилогию о Марксе, я обратилась к трудам и эпистолярному наследию Энгельса последних двенадцати лет его жизни. Он знал Клару Цеткин, Бернарда Шоу, Веббов, с которыми и я встречалась на склоне их лет. Так сместилось для меня время. Отныне мне представилась возможность работать над романом, героями которого стали не только давно ушедшие люди, но и те, кого могла воскресить, живо помня их голос, жест, слово, все то, что я сохранила в памяти. Это сулило необыкновенные творческие поиски, находки и радости.

Роман «Предшествование» написан в короткий срок. Это стало возможным благодаря тому, что позади были десятки лет размышлений, труда, вложенного в трилогию.

Встречи с людьми, как и упорная работа над первоисточниками, архивами, послужили основой для последнего романа, заключившего цикл книг, посвященных Марксу и Энгельсу. Многое понадобилось мне — от изучения теософии, истории тюрем и каторги, старых газет до неумирающих рассказов моих близких о конце могучего, необыкновенного XIX века, давшего миру множество великанов в области литературы, искусства. Все это вплелось в канву повествования о последних годах жизни и деятельности одного из основоположников научного коммунизма — Фридриха Энгельса, «человека-титана», «человека-магнита», борца и ученого, теоретика и тактика.

Более тридцати лет мысли мои были прикованы к эпохе, в которую жили и творили Маркс и Энгельс. Все, что относилось к ним, их близким, соратникам, стало как бы частью и моей жизни. Это было для меня счастливое время. Приобщение к людям, столь совершенным, наполняет жизнь новым, большим смыслом.

Поэт Николай Максимович Минский и его жена Зинаида Афанасьевна Венгерова многое рассказали мне и о дочери Маркса Элеоноре.

В 1905 году поэт помог партии большевиков тем, что добыл на свое имя разрешение издавать газету «Новая

жизнь» и дал для нее свои денежные сбережения. Впоследствии, после Октябрьской революции, по ходатайству Ленина, престарелому и нуждающемуся поэту, проживавшему за рубежом, была установлена пенсия, которую он и получал до конца жизни. Минский и Венгерова хорошо лично знали Чехова, Горького, многих иных литераторов, знаменитых общественных деятелей разных стран. В числе друзей Венгеровой была некогда и Элеонора Маркс-Эвелинг, младшая дочь Маркса.

В маленькой квартирке советских граждан Минского и Венгеровой на окраине Лондона, глубоко потрясенная, часами слушала я воспоминания Зинаиды Афанасьевны о чете Эвелингов. Я полюбила Элеонору-Тусси так горячо, точно знала лично. Венгерова охотно рассказывала о замечательных особенностях этой незаурядной жемчужины, поразительном ораторском даре, уме, такте, ее вулканическом темпераменте борца-революционера.

От Венгеровой я услышала также, сколь несчастлива, уязвлена была Элеонора в семейной жизни. Много обид и тяжкого разочарования нанес ей муж, ирландец Эдуард Эвелинг, с которым тоже не раз встречалась Венгерова. Она говорила о нем осуждающе, жестко.

Незадолго до самоубийства Элеоноры в 1898 году Зинаида Афанасьевна слышала ее выступление на собрании и рукоплескала молодой руководительнице рабочих. Дочери Маркса исполнилось всего сорок три года, красота ее отличалась нежностью, величавостью, спокойствием, но в глазах все чаще появлялось выражение горестной тревоги.

— Однако никто из нас, ее друзей, не думал, что развязка близка и она наложит на себя руки.

И все же это случилось. Венгерова шла за гробом Элеоноры в огромной толпе рабочих, провожавших ее в последний путь.

Более тридцати лет прошло со времени трагической смерти Тусси, а Венгерова все еще остро ощущала утрату. И ее чувство к Элеоноре передалось мне с такой силой, что и сегодня я в его магической власти. Судьба и образ младшей дочери Маркса всегда волнует мой ум и сердце.

В те же годы мне довелось часто видиться с супругами Шоу и чувствовать себя непринужденно в их городской квартире и загородном доме. Когда я уезжала навсегда из Англии, Шоу подарил мне гранки только что

законченной им пьесы «Плохо, но правда», по его заказу переплетенные красной кожей с тисненым советским гербом и моими инициалами. На титульном листе этой особо ценной для меня реликвии есть надпись в обычном для Шоу полушутливым тоне: «Галине Серебряковой ввиду ее отъезда из несчастной Англии. Увы! Бернард Шоу. 1 окт. 1932 г.».

Супруги Шоу, так же как Минский и Венгерова, а также чета Веббов приближались к восьмидесяти годам, но несмотря на то, что разница моего и их возраста измерялась почти полустолетием, я не ощущала этого — столь оптимистичны, умственно юны были все эти люди.

Время работы над «Предшествованием» мне особо дорого. Труд обладает чудодейственной силой. Приобщение к героическому несет внутреннее очищение и крепит волю. Миф о Фениксе стал для меня поэмой о вдохновенном труде, обновляющем и восстанавливающим энергию.

Множество удивительных людей отыскала я в истории, работая над «Предшествованием». Революционеры разных национальностей — русские, французы, поляки, немцы, англичане — открылись мне, поразив величием характеров и избранных целей.

Человек может потерять все, кроме самого себя, то есть чувства собственного достоинства, — утверждали русские борцы на Карийской каторге и предпочли смерть телесным наказаниям. Я попыталась воскресить их на страницах своей книги и напомнить читателю о тех вечных истинах и отваге, которыми обессмертили свои имена революционеры. И еще раз убедилась в неоспоримой истине, что человек незаменим во времени, неповторим на земле. Каждый несет по жизни свой свет, яркий или тусклый, но особый, и оставляет свой след.

Эти раздумья сопровождали меня в счастливые месяцы работы над последним заключительным романом о величайших людях современности, их окружении и эпохе.

Книги мои о Марксе и Энгельсе копчены. Каждая из них уже имеет свою судьбу, свой путь.

## СРАЖЕНИЕ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ

---

Бессмертны талантливые произведения, отражающие свою эпоху, произведения, в которых ясно чувствуется пульс времени. Их авторы воскрешают гул отгремевших битв, подвиги народа. Бессмертны мысли таких книг, к которым обращаются все новые и новые поколения. Лучшие из них занесены в золотой фонд свидетельств века и высоко возносят имена их авторов. При этом жанр произведения не имеет значения, когда оно подлинно талантливо, способно восстановить и объяснить различные события. Эту истину постигли Маркс, Энгельс, Ленин, высоко ценившие произведения Чернышевского, Герцена. Было много попыток объявить их книги не более чем летописной, мемуарной, публицистической литературой, умаляя художественное значение. Но уже в начале нашего века Л. Н. Толстой утверждал, что будущее словесности за документальной прозой, кстати, очень трудной формой подачи материала.

Каждая историческая эпоха меняет восприятие читателя. Стремительный, многогранный, перегруженный информацией, противоречивый двадцатый век особенно сложен для литератора. Нелегко быть вровень с ним. Простота и глубина, обогащение мыслями и фактами, знание в самом широчайшем смысле этого понятия — вот цель современной литературы.

Рождающие множество размышлений, щедрые книги Леонида Ильича Брежнева стали общественным событием. Несомненно, они написаны пером мастера. Во всех трех книгах Л. И. Брежнева звучит его особый голос, ритм фразы, техника письма.

«Ночная тьма во время переправ была вообще понятием относительным. Светили с берега немецкие прожекторы, почти непрерывно висели над головой «фонари» — осветительные ракеты, сбрасываемые с самолетов... То далеко от нас, то ближе падали бомбы, поднимая огромные массы воды, и она, подсвеченная прожекторами и разноцветными огнями трассирующих пуль, сверкала всеми цветами радуги. В любую минуту мы ожидали удара, и тем не менее удар оказался неожиданным... наш сейнер напоролся на мину... Я не почувствовал боли. О гибели не думал, это точно. Зрелище смерти во всех ее обличьях было уже мне не в новинку, и хотя привыкнуть к нему нормальный человек не может, война заставляет постоянно учитывать такую возможность и для себя. Иногда пишут, что человек вспоминает при этом своих близких, что вся жизнь проносится перед его мысленным взором и что-то главное он успевает понять о себе. Возможно, так и бывает, но у меня в тот момент мелькнула одна мысль: только бы не упасть обратно на палубу. Упал, к счастью, в воду... Держась рукой за привальный брус, мы помогали взбираться на борт тем, кто под грузом боеприпасов на плечах с трудом удерживался на воде. С бота их втаскивали наверх. И ни один, по-моему, оружия не бросил. Прожекторы уже нащупали нас, вцепились намертво... Грохот не утихал... И в этом шуме я услышал злой окрик:

— Ты что, оглох? Руку давай!

Это кричал на меня, протягивая руку... старшина второй статьи Зимода».

Огромный вражеский невод был закинут на «каменистый», как пишет Л. И. Брежнев, «кочок суши, прижатый к воде», на землю, которую во что бы то ни стало, по многим соображениям, надо было удержать. Духовно несокрушимые люди, скромные герои, казалось, обреченные на гибель, отстояли Малую землю и не только сорвали вражескую сеть, но подобно савану окутали им фашистскую рать.

Л. И. Брежнев проявил себя глубоким психологом, отменным политработником и командиром с первых дней войны, на которую ушел по зову сердца и разума, чтобы защитить Родину.

Мы знакомимся с удивительным человеком, выдающимся руководителем Л. И. Брежневым и по-

повому понимаем его. Гуманность и твердость в достижении цели, благожелательность к судьбе каждого отдельного человека — вот его отличительные черты. Читая «Малую землю», мы видим отвагу и величие борьбы за малый клочок планеты, которые становятся символом и раскрывают миру беззаветный героизм советских людей, сознательно приносивших в борьбе с фашизмом в жертву все, включая жизнь — высший дар природы.

Заслуга Л. И. Брежнева как писателя в том, что своим пером он воссоздал и сохранил навечно в памяти людей и для будущих поколений подвиг защитников Малой земли, подвиг огромнейшего значения.

Вторая книга Л. И. Брежнева «Возрождение» сюжетно напоминает повести о годах становления и строительства Советской власти после гражданской войны, когда рабочий класс промышленного Приднепровья участвовал в восстановлении старых и строительстве новых фабрик и заводов, готовил для них кадры.

Вот каким застал Запорожье Л. И. Брежнев после фашистского нашествия: «Трава уже успела прорасти сквозь железо и щебень, издали доносился вой одичавших собак, а вокруг были одни развалины да висели на ветвях обгоревших деревьев черные вороньи гнезда. Подобное пришлось мне видеть после гражданской войны, но тогда пугало мертвое молчание заводов, теперь же они и вовсе были повержены в прах.

Шло жаркое лето 1946 года...»

В «Возрождении» на конкретных делах показан все тот же революционный порыв советских людей, удивительный сплав воли, умения, таланта тружеников, способных не только восстановить разрушенное, но и сделать жизнь богаче, интереснее, краше.

Книги Л. И. Брежнева густо населены людьми. Мастерски, иногда скупыми штрихами, зарисовывает он тех, с кем свела его жизнь. Не только известные командиры, партийные руководители заняли свое место в его книгах о войне и воссоздании разрушенных городов, заводов. Тут и старшины, солдаты, моряки, крестьяне, рабочие со всеми своими особенностями характеров и судеб. Мы как бы снова видим и самого Леонида Ильича Брежнева и его соратников по войне и мирному труду, таких как Кириленко, Дымшиц и многих других. В «Возрожде-

нии» не слышно канонады, но напряжение борьбы не ослабевает.

Леонида Ильича избрали первым секретарем Запорожского обкома 30 августа 1946 года. Все надо было начинать сначала. А до войны Днепрогэс и «Запорожсталь» были высокими символами, гордостью первых пятилеток.

Первая турбина Днепрогэса снова вступила в строй намного раньше, нежели предполагалось, ранней весной 1947 года. Затем один рекорд следовал за другим. Днепрогэс зарядил энергией Криворожье, Донбасс, Приднепровье. Напряженная война за восстановление несла победу.

Кабинет Л. И. Брежнева, где стоял старый письменный стол, походная койка для сна и краткого отдыха, два стула, находился в доме электростанции. Там он часто жил в нелегкую пору подготовки и пусков различных объектов. Туда и днем и ночью торопились руководители местных организаций, чтобы решить насущные дела, получить указания, продумать совместно, как устранить возникшие неполадки и препятствия.

Главное — всегда человек! Следуя ленинскому правилу, Л. И. Брежнев сосредоточивает силы и возможности людей в решающий час на основном направлении. Запорожский производственный комплекс, поднявшийся из развалин еще более полноценным — следствие такого метода работы Л. И. Брежнева.

Велик подвиг созидания в истощенной кровопролитиями стране. Вечной памяти достойны герои, в необычайно краткие сроки восстановившие разрушения. Книга «Возрождение» — гимн созидательному творчеству народа.

«...Родина, принимай наш рапорт:

**ЕСТЬ**

**ЗАПОРОЖСКИЙ**

**ЧУГУН!»**

Третью книгу читатель, как бы предвидя ее появление, нетерпеливо ждал. И она появилась. Снова бой. На этот раз с суровой природой.

«На целине, — пишет Л. И. Брежнев, — миллионы советских людей продолжали делать опыт революции, умно-



жали в новых исторических условиях ее завоевания, творили живой опыт победоносного строительства развитого социализма. Поэтому мне навсегда остались намятными и дорогими годы, безраздельно отданные этой земле».

Читая «Целину» Л. И. Брежнева, я невольно вспомнила пророческие строки В. Маяковского — «землю, с которою вместе мерз; вовек разлюбить нельзя».

Название каждой книги Л. И. Брежнева глубоко символично. Малая земля — географический участок, испытавший на себе невиданные по силе удары войны. Но людьми с Малой земли называли и партизан, заставлявших трепетать врага. И в этом смысле нет земли малой или большой, вся она — Отечество, которое надо отстоять.

И вот битва за целину. «Мне уже приходилось, — замечает Л. И. Брежнев, — сравнивать целинную эпопею с фронтом, с грандиозным боем, который выиграли партия и народ. Память войны никак не оставляет нас, фронтовиков, однако сравнение точное. Конечно, не было на целине стрельбы, бомбежек, артобстрелов, но все остальное напоминало настоящее сражение».

В одном из сражений погиб тракторист совхоза «Дальний» Целиноградской области Даниил Нестеренко... Тракторист знал, что весеннее половодье могло отрезать бригаду от центральной усадьбы совхоза, оставить людей без горячего. По зыбкому, покрытому водой льду он сумел провести тракторы. Но на своем, последнем, провалился в ледяную пучину...

«Когда друзья вынули из воды погибшего, — пишет автор «Целины», — то обнаружили в его кармане удостоверение Героя Советского Союза. До этого никто в совхозе не знал, что рядом с ними работает такой человек. Выяснилось, что звание Героя Даниил Потапович Нестеренко получил за форсирование Днепра...

Одна подробность, — добавляет Л. И. Брежнев, — особенно тронула меня: в палатке Нестеренко друзья нашли саженцы украинских вишен...»

Не увидел вишен в цвету и другой герой целины студент Василий Рагузов. Колонна со сборными домами для первой совхозной улицы была застигнута в пути бураном. Рагузов пошел за помощью, но заблудился в сплошной снежной пелене.

В книге «Целина» приводится поразительное по силе письмо, которое Рагузов написал жене коченеющими пальцами.

В этой интереснейшей книге, как и в двух предыдущих, вокруг автора много людей, и каждый очерчен так, что надолго остается в памяти.

С особой теплотой описаны большой казахский ученый и партийный руководитель Динмухамед Ахмедович Кунаев, первоцелинники Демеевы, Дитюки, отец и сын Николенко, Довжики, рабочие, хлеборобы, строители, энтузиасты, герои мирной битвы за целинный хлеб.

«Молодым свойственна романтика, — говорит Л. И. Брежнев в ответ на сомнения директора совхоза А. В. Заудалова. — Пройдет год-два, и часть молодежи начнет уезжать. Вы же видите: большинство желает жить только в палатках. Им, если угодно, побольше трудностей подавай, чтоб было что одолевать. Построив все, что требуется на первый случай, ребята сделают свое дело, заскучают и полетят в другие места.

— А нам-то что делать?

— Думать о том, как закрепить кадры. Я вижу два пути. Надо позвать сюда девушек. Доярки, сеяльщицы, телефонистки, повара, врачи, учителя — мало ли для них работы... Приглашайте девушек, и многие парни останутся здесь навсегда. Ну, а второй путь — приглашайте людей семейных, но уж заранее создавайте для них нормальные условия жизни. Вот так и заселим эту землю.

Если на то пошло, речь у нас шла о планировании человеческого счастья. Каждому нужен дом, очаг, нужна любовь, нужны дети. Государство, общество не могут найти парню, как говорили в старину, суженую, но должны стремиться сделать так, чтобы не было в стране чисто «мужских» районов или «женских» городов... молодые люди найдут друг друга и будут счастливы. Они и должны быть счастливы, потому что без этого невозможно благоденствие страны».

Во всех трех книгах Л. И. Брежнева проступает его душевный облик и редкая скромность. Хочет ли того автор или нет, но именно он — главный герой своих творений. Подбор фактов, оценки людей и событий, глубокие обобщения, как и общая направленность творчества Л. И. Брежнева, сближают нас с автором так же, как и с персонажами его книг.

«Занимала меня еще одна мысль,— пишет Л. И. Брежнев,— как привлечь к теме целины внимание художественной интеллигенции? Посмотрите, говорил я на встрече с писателями в ЦК, какие события творятся на наших глазах. Перемещаются огромные массы людей, складываются многонациональные коллективы, рождаются новые семьи, мужают характеры, проходят закалку герои нашего времени. Хлеб в Казахстане всегда был лакомством, драгоценностью. Даже муллы в старину говорили: «Коран — священная книга, но можно наступить на Коран, если надо дотянуться до крошки хлеба». И вот теперь этот край становится хлебным».

Для меня как писательницы целина стала одной из ярчайших, неповторимых страниц в жизни. Вспоминаю Джамбул в августе 1956 года. От зноя на улицах пустынно. Небо, как мед, который качают в эту пору пасечники, янтарное и густое. На вокзале духота. До станции Луговой — несколько часов езды.

В сумерки поезд достиг станции, и я оказалась в степном маленьком городке. Вдали черной стеной стояли горы. Стога сена наполняли воздух восхитительным ароматом. На рассвете выехали в совхоз «Подгорненский».

В грузовик набилось множество людей. Ехали по накатанной колее, разрезавшей высокое, необозримое, золотое море хлебов. Казалось, нет конца пути в чудовищной жаре. К ночи подъехали к поселку, состоявшему из палаток и нескольких больших, хорошо построенных домов. В одном была амбулатория. Медсестра, узнав, что я врач, попросила осмотреть больных. Захватив необходимые медицинские инструменты, покачиваясь от усталости, я отправилась к больным. Положение двоих оказалось столь опасным, что до утра мы с медсестрой не отходили от их коек.

С первых же дней я поняла, сколь трудна работа на целине. Разглядывая планы будущего поселка и те немногие еще строения, уже возведенные,— склады, скотный двор, я могла представить себе, каким будет совхоз на краю изнывающей Голодной степи.

Все вокруг интересовало; улиц не было, но вдоль дорог красовались на столбах дощечки с их названиями. Под огромным серым брезентом в походной кухне варили

пищу, и за столиками сидели целинники: девушки, парни, люди разных поколений со всех концов страны. Слово «целинник» зазвучало повсюду как символ храбрости, мужества. Сейчас совхоз «Подгорненский» — отличное зерновое хозяйство. За истекшие четверть века своего существования совхоз этот дал родине 25 млн. пудов хлеба.

Мне пришла на память работа немецкого ученого прошлого века Ю. Либиха, привлекавшая внимание Маркса, Энгельса, прочитанная Лениным, в которой описано плачевное будущее Земли в связи с отмиранием живых земель. Автор книги — большой знаток сельского хозяйства — не предвидел чудодейственной победы, осуществленной на целинных землях в нашей стране. Советские люди совершили то, что казалось утопией в прошлом веке.

Л. И. Брежнев — руководитель государства новой формации. Родившийся в двадцатом веке, он весь в творчестве настоящего и будущего. Ясность мышления и высокая политическая культура, бесстрашие и целеустремленность присущи Л. И. Брежневу во всей его жизни и деятельности. Большой удачей для людей явился и его писательский талант, широкая возможность общения со всеми благодаря перу, несущему славу бессмертия подвигам советского народа.

# Из поколения в поколение

---

ОБЩЕСТВЕННО-  
СЕМЕЙНАЯ  
ХРОНИКА

---

## Глава первая

ВИКТОР БАЛАКОВ

— Каждый век всего только лоскуток истории, из которых время шьет огромное, будто небосвод, покрывало. Есть куски, оставшиеся белыми, неприкосновенными, иные обесцвечены или темны. Более поздние испещрены письменами. На них беспорядочно запечатлены события, катастрофы, победы и поражения... Двадцатый век — особый, несравненный, великий и трагический. Обильно полит он кровью, изуродован войнами, украшен борьбой, единоборством идей возвышенных и сатанинских.

Лев Толстой перед смертью размышлял о том, что более не повторятся сражения, подобные тем, что были в девятнадцатом веке. Веря, что человечество стало менее разъяренным и неспособным на зверство, он не предвидел, что ждет планету, и иллюзорно представлял себе людей другими.

Мы прожили не одну, а несколько жизней, познали, увидели то, чего не привиделось и во сне прежним поколениям, купно и порознь. Поднятые на крутой гребень волны с ее фантастической быстротой перемен, войн, революций, мчались мы по новому веку, часто не успевая осознать обрушивающиеся на нас громады удивительных открытий, свершений, новшеств. Люди приемлют, но до конца не все понимают суть социального вихря, острых столкновений. Слабые спасаются в отчужденности, как страусы под крылом своим, а сильные, и их большинство, с открытой грудью спешат навстречу стихии. Век наш, как сказал бы древний философ, избран и любим языче-

скими богами. Они насылают огневые молнии, проверяя людей на крепость, на сопротивление, наказывая и милуя. Впрочем, второе не часто. Чудесный век... — Михаил Михайлович Томин, закончив тираду, подошел вплотную к своему сыну Виктору Балакову. Он был тридцатью годами старше его, но легкость движений, яркость взгляда, осанка и быстрая четкая речь настолько молодили отца, что он казался скорее старшим братом стоявшего рядом, похожего на него, но более вялого и сутулого молодого человека. Оба были русоголовые, с чуть поседевшими висками, широкоплечие. Старший сохранил спортивную выправку, а младший заметно отяжелел и начал толстеть.

— К чему, отец, ты прочел мне столь красноречивую оду двадцатому веку? — спросил Виктор, пристально и с неувлимым привычным недоброжелательством глядя на Михаила Михайловича.

Говоря это, он думал: «Год мы не виделись, а он насколько не постарел. Скоро мы поменяемся ролями — он будет годен мне в сыновья. А красив... старик. Впрочем, какой он старик... В соку, как говорит дед».

— Какая еще ода. А век, доложу я тебе, стоит-таки поэмы. Факт остается фактом. Помню себя едущим в школу, с сумкой за плечами, на конке, запряженной замызганными лошаденками, а теперь не исключено, что закончу жизнь где-нибудь на иной планете. Умирать не тороплюсь. Ждать осталось недолго до межпланетных путешествий... Я мог бы перечислить тебе столько чудес на своем веку, от керосиновой лампы до Братской ГЭС, но ты сам знаешь.

— Человек, изобретший колесо, а до него наш прапредок, зажегший огонь, были не меньшими чудотворцами, — улыбнулся сын.

— Да, но темпы тогда были другие. Двадцатый век мчится на атомной энергии — это век веков. Мне, архитектору, приходится, к примеру, бежать вприпрыжку.

— Я восхищен твоими проектами, но пощадите же вы, градостроители, старину. Пусть сосуществуют все века для памяти народной.

— А, заговорил гробокопатель восемнадцатого века. Не хмурься, я тоже влюблен в древнюю архитектуру и чувствую себя ничтожным перед иконой Рублева или деревянным кружевом храмов в глухих архангельских лесах. Что ж, пусть стоят рядом поросль с юной кроной

и старые пни. Деревья, как известно, гибнут, если вырубить корни, но также умирают, если вихрь снесет их ветки. Жизнь нуждается и в земле и в небе.

— Выспренье, но верно.

Михаил Михайлович около сорока лет отдал архитектуре. Он учился у многих русских мастеров, ездил на практику за границу, увлекался родной щусевской школой и новаторством урбанистов. Ему грезились города близкого будущего, и видел он их на необъятной высоте пробивающими тучи. Дом нового века казался ему и некоторым другим смельчакам в архитектуре острой скалой, уходящей не в глубь вод, как айсберг, а к звездам. Такое здание должно стать, по его замыслу, отдельным городом, в котором, кроме жилья, расположились бы магазины, школа, больница, театр. Там должны расти деревья, течь ручьи, освежающие воздух и наполняющие его кислородом и озоном. Самодвижущиеся тротуары освободят людей от иного транспорта, а с высотных площадок будут взлетать вертолеты, самолеты и ракеты. Аэровокзалы, лифты-экспрессы поднимутся в заоблачные сферы, земля превратится в подставку для огромных гор и скал-домов. Под землей начнется напряженнейшая жизнь. Управлять всем будут автоматы, движимые волей человека. Даже вулканы подчинятся нуждам неисчислимо возросшего человечества, и недра планеты станут кладовыми и складами...

Виктора увлекали мысли отца. И как ни вынашивал он в себе пренебрежение и равнодушие к нему, когда они подолгу не виделись, встреча ломала предвзятость. Врожденное обаяние Томина действовало на всех. Именно от отца унаследовал Виктор некую артистичность, способность «перевоплощаться» во времени, мечтать и прозревать. Но Михаил Михайлович прорывался в будущее, увлекался утопическими произведениями, пытливно вглядывался в грядущие контуры веков, а сын его, историк, погружался в своеобразную утопию наизнанку — в минувшее. У него было цепкое, реактивное воображение археолога. Как мифический Акометей, он лучше видел давно исчезнувшее, слышал отзвучавшее и оживал в мире исторических теней.

Отношения отца и сына долгое время оставались трудными. Мужчина нередко воспринимает отцовство скорее через сознание, по-иному, чем женщина —



материнство. Он может искренне и горячо привязаться к детям любимой женщины. Мужчине часто дорог воспитываемый им ребенок, чьим бы тот ни был. Но разлука быстро охлаждает такие чувства... С той поры как в Советской стране исчезли распри, вызываемые наследством, столь уродующим отношения в семье, как это было ранее у купцов и дворян, тема диккенсовского «Домби и сына» умерла. Привязанность растет, чахнет или гибнет только как сердечное влечение. Для матери любовь к ребенку начищается с зачатия, проходит через тяготу беременности, муку родов, бессонные ночи, кормление грудью. Она в ребенке чувствует себя и хочет, как всякий творец, передать и вложить в него самое лучшее. Материнская любовь — это акт высшего творчества, самоотдачи и очищения.

Виктор носил фамилию матери и долго не видел отца, которого очень любил в детстве. Томин постепенно отвык от мальчика.

Отец и сын встречались скорее как друзья.

— Твоя мать, а не я, настояла на разводе, — сказал как-то Томин сыну. — Я на ее месте простил бы мой глупый, случайный чувственный порыв. Жизнь ведь не логарифмическая линейка. Нельзя придумывать себе трагедий из ничего. Поверь, я наказан своей же совестью. Мать твоя могла бы помиловать меня и забыть ошибку.

— Память у родительницы моей, видно, слишком хорошая. Она не может забыть, — ответил Виктор.

— А тебя зачем увела?

— Не хотела, чтобы походил на отца. По мнению матери, измена начинается с мысли. Часто у женщин иные понятия о верности, чем у мужчин. Может, они и более правы: измена — тоже предательство, худшая ложь. Священное растоптано, а это не прощается... Да тут и не в прощении уже суть. Женщины в неверности видят отсутствие любви, а как без любви сохранится семья? Гнилой фундамент. Тетя Тереза утверждает, что, когда мы любим, заменить любимого нельзя никем, даже если бы хотели. Словом, колдовство какое-то. И мама повторяет тоже, что верность зависит не от слов и клятв, не от ума. Она — в каждой клеточке тела. Цемент чувства.

— Бывает, что мужчина любит и, однако, изменяет, — неуверенно заметил Томин. — В жизни приходится идти

на компромиссы. Мария могла бы понять это и не прогонять меня хотя бы ради тебя, Виктор, ради семьи.

— У нее свои представления о браке. Мать твердит, что идея и любовь не терпят компромиссов, примирения с отступничеством и кто сказал «а», тот доберется до всего алфавита, до «я» включительно.

— Не судите и не судимы будете. Балаковы все особенные, пусть так,— согласился с сыном Томин.

Он вспомнил, что Мария Павловна никогда не слушала его просьб и возражений. От алиментов она отказалась. «Я недруг Томина,— писала она ему,— и не скрываю это. Лицемерить не могу, а разочарование всегда ведет к вражде».

Фотокарточки и письма Томина были уничтожены, и в семье Балаковых о нем не вспоминали. Вот почему при первой встрече с отцом Виктор с любопытством разглядывал приятного на вид человека, который как бы онемел в столь трудном для обоих положении. Наконец Михаил Михайлович, овладев собой, спросил:

— Значит, учишься хорошо и уже в восьмом классе. Интересуешься, вероятно, литературой или физикой, может быть, спортом. Почему сутулишься и бледноват? Читаешь много?

— Люблю историю.

— Рисуешь?

— Плохо.

— Понятно. Вероятно, мать привила тебе интерес к прошлому. А к будущему тоже?

— Верую в коммунизм.

— Так-так... Кампанеллу читал?

— Да, и других утопистов тоже. Пожалуй, «Город Солнца» лучше всех Икарий, фаланстеров и прочих проектов Кабе, Сен-Симона и Ламенне.

— Узнаю твою мать. Нафарширован донельзя. Что ж, отлично. Такие люди нужны для будущего. А я, сын, пытаюсь строить новые города для новых людей.— И Михаил Михайлович с той легкостью и убежденностью, которую дают долгая учеба, труд, дарование, принялся рассказывать сыну о грандиозных преобразованиях в градостроительстве и архитектуре.

— То, что ты строишь, напоминает ульи, соты, иногда это плохие коробки с узкими каморками. Архитекторы тоже бывают бракоделами,— сказал Виктор.

— Случается. Но теперь все реже. Я сам восставал не раз против некоторых проектов непрочных домов, лишенных удобств и красоты. А сходство с ульями ты подметил верно. Убежден, что у строителей великое будущее. Свободные, счастливые люди требуют удобное и прекрасное. Кибернетика начнет властвовать в индустрии, и машины, ведомые людьми, заменят физический труд. Что до жилья, мы подведем к нему, как нынче отопление, воду и свет, особые трубы и приспособления для сбора пыли, мытья стен, посуды, связи с ресторациями, магазинами, прачечными. Все это будет в стенах, в ящиках, как составная часть каждой квартиры, не считая роботов.

Виктор заслушался отца. Однако, вернувшись домой, ничего не рассказал матери. Он страдал от раздвоенности своих чувств. Ожила давняя обида на отца. Тяжкой драмой был для него развод родителей. Никому так много добра не приносит спаянный любовью брак, как детям. Беззащитные, независимые, доверчивые и не ведающие зла, они познают обман, лицемерие, ложь от самых близких им людей. Любовь отца и матери друг к другу — свет, осеняющий душу младенца, а их раздоры — его первая рана, калечащая затем характер, разрушающая радостный от природы лад маленького сердца.

Виктор навсегда запомнил смутную тоску и горечь, тщетное ожидание, длившееся все его детство. Дед Павел Александрович пытался лаской заполнить образовавшуюся пустоту, но товарищи по школе жестоко ранили его вопросами: «Где твой папа? Он тебя бросил?» Более двадцати лет тому назад, в разгар войны, узнав об измене мужа, Мария Павловна, не выслушав объяснений, развелась с ним тотчас же.

— Изменив единожды, Томин уже не будет мне верен. Лучше раз отстрадать, чем известись и лечь в могилу, — сказала Мария Павловна и, забрав сына, уехала к сестре на далекий Север.

После нескольких месяцев Мария Павловна вернулась в Москву. Сын так и не знал, были ли у нее сердечные привязанности, то, что зовется романами. Виктор завидовал малышам, важно разгуливавшим с отцами, и все меньше ценил мать, так и не поняв, почему осиротел и обойден судьбой, особенно когда из разговоров взрослых узнал, что отец его жив и находится неподалеку. Кто же

виноват? Мать или отец, по которому он тосковал? Омраченное детство неисправимо. Ничто не возвращается, минуют сроки — и детство остается как мираж в пустыне неосознанных понятий.

В отрочестве отсутствие отца вызвало в Викторе своеобразный нигилизм и презрение к понятиям — верности, родительской любви. Мария Павловна пыталась уберечь сына, как ей казалось, от вредного влияния легкомысленного мужа. Ей хотелось воспитать его однолюбом, человеком строгой и правдивой морали, требовательным к себе и своим увлечениям. Но развод родителей и доходившие до мальчика рассказы подействовали на него совсем по-иному.

Виктор вырос. Характер его отличался замкнутостью, впечатлительностью, неровностью. Иногда он подолгу хандрил.

«Неужели тоска моя и душевное замешательство — не краткая болезнь, а нечто длительное», — думал Виктор Балаков.

Чудилось молодому человеку, что сидит он на остром, злом суку оголенного безлистого дерева, и манит его ринуться вниз, в пропасть. А надо было взлететь. Но как и куда?

Мать с тревогой советовала Виктору больше работать над его новой книгой, встречаться почаще с людьми.

— Влюбись, что ли, Виторочка, женись. Романтик ты, вовсе не в меня удался, а в тетку свою Терезу, — говорила она.

— Влюбиться? Это ведь не делается по заказу. Сейчас мне не до того. Вот кончу докторскую... — отвечал он раздраженно и замыкался в себе.

Книга о буржуазной революции конца восемнадцатого века во Франции увлекла Балакова, он незаметно для себя погрузился в далекое прошлое. Чем талантливее и впечатлительнее человек, тем больше способен он к перевоплощениям. Одаренный воображением необычайной силы, Виктор часто страдал от зримости своих мыслей. Более художник и поэт, чем ученый, проникал он в эпоху, давно стертую временем... Париж Людовика XV, столько же сентиментальный, сколь жестокий, сытый, праздный и вместе безмерно нищенствующий и трудовой, оживал для Виктора, и он мог бытописать о нем как современник. Мысленно он плутал по улицам вместе с

французским писателем-историком Мерсье, воспроизведшим по свежим следам столицу королей и санкюлотов. Но нелегко было жить одновременно в двух различных столетиях — восемнадцатом и двадцатом — да еще в столь различных государствах, как феодальная Франция Людовиков и Россия двадцатого века. Виктор, как бы поселившись в кривом переулке подле серой скалы Бастилии, наблюдал за агонией королевства Бурбонов и снова возвращался оттуда на Ломоносовский проспект стремительной Москвы. И хотя быт и нравы двух эпох чудовищно разнились, некоторые встречаемые им ныне люди казались Виктору знакомыми и понятными. Его во всех, впрочем, веках привлекали с особой силой эрудиты и мыслители.

«Какие блистательные, изощренные интеллекты», — восхищался он неугасимым светом, излучаемым такими умами, как Дидро, Монтескье, Вольтер, Руссо, Гельвеций.

Немногочисленная героическая интеллигенция предреволюционной Франции казалась Виктору как бы Млечным Путем в тогдашней огромной пустоте человеческой вселенной.

Он зачитывался произведениями даровитейших одиночек, пробившихся сквозь мрак средневековья к просвещенному Возрождению. Трудные эпохи. Сложные судьбы. Впрочем, есть ли на Земле другие?! Неразрешенные вопросы жизни! Но блеск и отвага мысли предтечей французских революционеров восемнадцатого века помогли формированию сильных героических характеров тех, кто снес до основания Бастилию, создал «Декларацию прав человека» и боролся за новую жизнь.

Виктор рано поддался влечению, сошелся со случайной женщиной и, как сам говорил, «разменял отпущенный ему на любовь рубль на гроши». Так жил он, не задумываясь и презирая «устаревший институт брака», пока трагически не погибла Динария.

Когда это случилось? Не все ли равно? Время остановилось. На какой-то из условно обозначенных цифр замерла стрелка. Вечность, нечто безначальное и бесконечное, подступила вплотную. В статистическую таблицу внесли еще одно пронумерованное происшествие.

Подробности? Старший повар поднес к сигарете спичку и, не погасив, отбросил ее в сторону. Из могучей пли-

ты неприметно выбилась струйка газа. Раздался взрыв. Он ворвался в музыку джаза за тонкой стеной в зале ресторана. Огонь — быстрейшая из стихий — охватил портьеру. Казалось, багрянец солнца на закате ворвался в здание. Но никто не заметил красоты вспыхнувших красок. Испуг подавил присутствующих.

Саксофон ныл дольше других инструментов, прочерчивая какофонический лейтмотив. Посетители в панике проталкивались к выходу. В страхе тонули мысли и чувства. Юноша, с лицом растерянного инокa, оттолкнул девушку, которой твердил о неземной любви. Иные бросились тушить наступающий отовсюду огонь, забывая о смертельной опасности. Все смешалось. Люди метались, как у подножия внезапно ожившего вулкана.

А на кухне, будто в аду, боролись с потоками кипящей воды женщины и двое мужчин.

Суровые басы сирен машин «скорой помощи», надрывный фальцет сигналов пожарной команды разбудили улицы.

Вскоре жертвы взрыва были доставлены в больницу. Хирурги осторожно сняли почерневшую эпидерму и влажными бинтами с прохладной эмульсией окутали смертельные раны. Запах сгоревших волос и кожи, глаза, налитые кровью, запекшиеся раздутые губы, сморщенные пламенем лица вызывали отчаяние медсестер и санитарок. Врачи тщательно, как портные, измеряли пораженные места и диктовали:

— ...Восемьдесят три процента, семьдесят девять... Ожог третьей степени, еще более глубокий — четвертой степени.

Среди обреченных была молоденькая Динария, к имени которой всегда добавляли — красавица. Природа — гениальный скульптор — создала ее с тем неподражаемо точным знанием законов прекрасного, которые так поражают нас в цветке, зрелище горных вершин, в узоре снежинки, в мелодиях певчих птиц.

Человек вкладывает в понятие совершенства свою извечную мечту, находки в снах, а то и приобретенное извне представление, но есть и нечто непреложное. Не всех тревожила безупречная красота Динарии. Венера Медицейская и прославленные статуи-изваяния с натуры нравятся не каждому, но красота их остается несом-

нейной. Динария, по мнению ваятелей и художников, могла вдохновить Праксителя или Тициана.

Девушка умирала, долго не теряя сознания. Медленно затухающая мысль судорожно искала облегчения.

Динарии исполнилось девятнадцать лет. Она рано осиротела. Мать ее не пережила смерти мужа. Оба были градостроителями, молодыми, счастливыми. Девочка оказалась в детском доме. Сама она считала свою жизнь бесконечной и не спешила воспользоваться временем.

В агонии Динария вырвалась из рук врача. Обернутая марлей, тонкая и хрупкая, бежала она по освещенному коридору, ища спасения, которого уже не было.

— Смерть! Смерть! Кончено! — Умиравшая кричала низким утробным голосом. Он навсегда осел в памяти тех, кто его слышал.

Навстречу ей бросился молодой человек в небрежно накинутом поверх костюма белом халате.

— Динария! — хрипло позвал он, но, взглядевшись в почерпевшее, изуродованное лицо, на мгновение замер, скрывая ужас. Тщетно искал он знакомые черты. Сострадание, отчаяние, ошеломление лишили его слов и слез.

— Смерть!

Девушка упала. Наркотик, введенный под лоскуток уцелевшей кожи, стал последним благодеянием, дарованным ей жизнью.

Динария умерла на рассвете, так и не закрыв глаза. Помутневшие, они сохранили выражение внезапного познания и вечной обиды. Для чего она родилась? Что успела дать жизни и взять от нее?

В детстве Динария любила стряпать для кукол. В отрочестве начала учиться кулинарии и выказала незаурядное дарование. Ее специальностью стали сладкие блюда, башни из сахара, муки, шоколада и белковой пены, торты с мудреными орнаментами из крема. Как одержимый мечтой алхимик, искала она новых смесей, соединяла специи и фрукты, создавая сложные начинки для пирогов и пирожных.

Динария стала кондитером большого ресторана, радовала людей, считала себя счастливой. Несчастье вступает к нам в тот миг, когда мы начинаем считать себя в его власти.

Динарии все давалось легко, а будущее, хотя и представлялось смутно, обещало удачи. Она часто бывала в

кино. Всегда подражая кому-то на экране, она одевалась по моде, перенимала чьи-то жесты, улыбку. Динария искренне огорчалась, если фильм состоял из одной серии. Она могла бы целыми днями не выходить из полутемных залов кинематографов. Представлялось много случаев выйти замуж, но она ни в чем не любила торопливости. В детском доме ей понравился сверстник, как и она, сирота. Юноша ушел в армию, и она искренне верила, что дождется его возвращения. Но внезапно все изменилось в жизни Динарии. Как-то стоя в очереди, ожидая такси, она заметила впереди себя молодого и нарядно одетого молодого человека, который не сводил с нее взгляда и назвал громко Фриной. Он попросил ее сесть с ним в такси и подвез к дому. Ей хотелось узнать, кто такая Фрина.

— Поедьте ко мне. Я вчера только въехал в новую однокомнатную квартиру. Вы будете первой гостьей новосела.

Динария согласилась. Спустя несколько недель она осталась до утра у Виктора и с той поры часто приходила к нему. Иногда это было после вечерней смены, в полночь. Тогда к резким духам Динарии примешивался запах сливок, мускатного ореха, корицы, чем-то похожий на аромат левкоев. Пьянея от душистой кожи Динарии, Виктор шептал привычные слова о любви и вскоре серьезно задумался над тем, не покончить ли с холостячеством. Доверчивость, добродушие и постоянно ровное настроение Динарии пришлись ему по душе.

«Зачем мне дипломированная, умная жена? Все это придет к Динарии со временем», — думал тридцатилетний ученый.

Как и большинство мужчин, Виктор был тщеславен, Динария всюду привлекала внимание, и ему явно завидовали. Это льстило мужскому самолюбию.

Время не разъединяло, а сближало их. Случайная связь оборачивалась чем-то оправданным, нужным. Испытание близостью женщина выдержала и сумела внушить привязанность, сама того не подозревая. Привычка опутала обоих. Виктор скучал без Динарии и перестал замечать других девушек. Это удивило его, и он решил поговорить с матерью, своим лучшим другом.

Мария Павловна недоверчиво улыбнулась:



— Обожди, проверь, не одурь ли это телесная, как бывало с тобой уже не раз. Как бишь в ваших «кругах» называют это? Сексом? Но увы! Кроме зрения и осязания, людям дан слух. Недостаток ее образования скоро начнет тебя бесить. Пойдут ссоры, а это гадкие царапины, они превращаются в раны и неизлечимые рубцы. Неправисть сменит чувственность.

— Вы с отцом сверхинтеллектуалы и все же разошлись врагами,— напомнил Виктор жестоко.

Мария Павловна как-то поблекла и ответила тихо:

— Ты прав. Нет рецептов и советов в подобном случае. Действуй сам. Да и все равно никого не послушаешься. Боюсь за тебя. Слишком много горя хлебнула я из-за неразборчивости и ветрености твоего отца. Вспомни свое детство... Не все дозволено в жизни! Тут уж не интеллект, а душевная чистота и порядочность подвергаются проверке.

Материнские слова попали прямо в цель. Виктор нахмурился.

— Тем более мне нужно жениться на Динарии. Я ее действительно люблю. И женюсь! Растолстею неимоверно... Еще бы. Лучшие пирожные и торты Москвы. Жена — кондитер! — улыбнулся он.

Разговор этот произошел накануне пожара в ресторане.

...Динарию хоронили на одном из пригородных кладбищ. Проводы всегда унылы, тягостны, тягучи. Виктор стоял над глинистой ямой рядом с заведующей детским домом. Высокая, плоскогрудая седая женщина, всегда добрая, терпеливая, совестливая, жалобно оплакивала не только свою воспитанницу, но и своих мужа и сына, погибших на войне, личные горести, парализованную в течение пяти лет мать, за которой устала ходить. Зато директор ресторана, похожий на театральную знаменитость, нетерпеливо посматривал на часы. Для него погребение было «мероприятием». Старик повар, по-отечески любивший покойницу,— само здоровье и уравновешенность,— не торопился закончить надгробное слово. Прослезившись, он напомнил, что «все умрут, но только в разное время».

Директор шепнул ему: «Скорей зарывайте, ведь она умерла давно, три дня прошло. Пора кончать». Но руко-

водитель скорбной церемонии патетически ответил: «Все́му свой час».

Несколько старух из тех, кто посещает похороны, громко сморкались.

Раздался потрясший Виктора звук молотка, забивающего гвозди в крышку гроба. Подруга Динарии с лицом и телом четырнадцатилетнего подростка, веснушчатая и белесая, громко заплакала. Многие поднесли к глазам носовые платки.

Оставшись один, Виктор сел на скамейку соседней могилы. Наконец-то он мог собрать мысли. Холодной ладонью потер виски и прикрыл воспаленные глаза. Особая кладбищенская тишина успокаивала, помогала осознать случившееся. Он понял теперь, что жизнь, даже самая длинная, равна всего лишь мигу. Откладывать что-либо нельзя, но новым явилось ему чувство суровой ответственности. Все тридцать лет его жизни разомкнутой цепью лежали на земле. Много бессмысленных поступков и срама. Над мертвым телом Динарии он захотел проверить себя. Как большинство, он плыл по течению, не задумываясь над тем, почему и как возникали его знакомства и затем рвались. Что это было? Честолюбие, непротивление случаю, легкомыслие? Да, всего хватало!

Носком туфли Виктор случайно коснулся сухих комьев насыпи, отвратительных железных колющихся венков, размалеванных бумажных цветов и пыльных злых бессмертников. Только увядший букет ландышей чем-то напоминал Динарию. Чего бы не дал Виктор, чтобы вновь увидеть ее ясное лицо. Он вспомнил слова любимого романса Рахманинова, который часто пела мать:

Где звуки слов, звучавших нам когда-то,  
Где свет зари нас озаривших дней?

Глаза Виктора увлажнились. Береза в стальной броне, как средневековый рыцарь, узорчатая травинка — тончайшее плетение природы, полевая гвоздика со стрельчатыми лепестками восхваляли жизнь, свидетельствовали, что она бесконечна и прекрасна даже здесь, среди мертвых.

«Не пантеистом ли я становлюсь?» — подумал Виктор. Жалость к себе колючими веригами обхватила сердце.

«Какие мы еще маленькие в познании... Если бы предвидеть, что она умрет?» Он устыдился себя, своего эгоизма, трусости. Вспомнил, как хотелось ей в фате и свадебном платье войти с ним под руку в ресторан, где ее знали кондитершей.

— Скажи мне что-нибудь хорошее, пожалуйста, скажи,— просила она.

— Глупышка,— отвечал Виктор досадливо,— не слова, а дела, вот что важно. Разве мои ласки не убедительнее слов?

Как бездушен и себялюбив был он в каждом проявлении. Сколько обид нанес ей в то недолгое время, что они были вместе. Тогда он не уяснил еще себе, как дорога ему Динария. «Я лгал только в самом начале... — пытался он теперь оправдать самого себя. — Но ласкать без любви — это и было утонченнейшим обманом и оскорблением... Слишком часто я бездумно повторял модную сентенцию: «Физическая близость не означает любви, это скорее функция организма, она одинаково гонит женщин и мужчин друг к другу. Любовь, вероятно, нечто совсем другое, если только она вообще не измышление прежних лет, устаревшее в нашем двадцатом веке». Жалкие опустошенные сердца могли поверить этому... А я?.. Что дал Динарии? Но ведь шесть месяцев она была счастлива. Я был внимателен и, главное, ласков. Она верила мне, любила... вероятно... Знал ли я ее помыслы, чувства? Да и понимал ли вообще женщин, их внутренний мир, стремления, искания? «Голый век в сфере чувствований», — твердили мне циники. И я верил. Плоскодонный ты, животный человек, хоть и метишь в ученые. Кандидат исторических наук, знаток восемнадцатого века, уверенный в своих знаниях, уме, превосходстве... Скотина! Вскоре после знакомства ты напоил Дину коньяком...»

— Вы меня любите? — спросила девушка утром, тоскуя и надеясь. Ей хотелось оправдать свою уступчивость.

— Об этом не спрашивают. Я сам скажу тебе, когда такое чувство явится. Запомни — мы, мужчины, готовы сочинять все, что вам, девочкам, нравится, едва вы начинаете сопротивляться нашим желаниям. Я же хочу быть с тобой правдивым.

— Странно,— ответила Динария, силясь улыбнуться. — Зачем же так настойчиво звал меня к себе?

— Чудачка! Нам хорошо друг с другом, чего же еще надо?

Виктор впервые в жизни познал угрызения совести. Наклонившись над могилой, он снял уродливый венок и закрыл холмик свежими ветвями ели и березы.

— Прости меня! Если бы я знал, понимал, что такое жизнь!

Несколькими часами позже Виктор сидел у своего друга и говорил ему бессвязно, искренне о том, что испытал землетрясение, тайфун и чувствует себя душевным банкротом.

— Какая чепуха,— отвечал ему Вадим, пододвинув рюмку коньяку,— ничего особенного не случилось с тобой. Ну, красивая была девчонка, ну сгорела живьем, очень жалко ее, что и говорить. Каждый день энное число людей гибнет во всем мире из-за несчастных случаев, недосмотров техники безопасности, под автомашинами, в катастрофах. Выпей и выпись. Брось, старик. Не строй из себя сентиментального рыцаря или — что еще хуже — Нехлюдова.

— Какой еще Нехлюдов?! Не то совсем! Просто я живу на двух этажах. Верхний, так сказать, разум, слова учености, идеи; нижний — грязный подвал инстинктов и вранья. Все надвое. А считаю себя чуть ли не образцом морали и правдолюбцем.

— Увы, бедняга Виктор, ясно одно: в твоей семье есть шизофреники. Уже в девятнадцатом веке то, что ты проповедуешь, объявлено умственным хламом и выброшено на помойку. А теперь, когда женщины скоро восстановят матриархат, они менее всего поймут твои запоздалые сентенции. Мужчины же изгонят тебя из своей среды. Этой пирожнице судьба тебя, как счастье, подарила. Слышишь, под твоим дурным воздействием и я заговорил, как поэт. Так-то, деятель... Разве Казанова не был другом женщин, не помогал им самоутверждаться, знать себе цену. Но ты ему в подметки не годишься, а подавал надежды, когда читал здесь наизусть отрывки из Овидия, Боккаччо и Мазуччо. Я, братец мой, терпеть не могу постных проповедников добродетели и считаю их всех фарисеями или больными. Дам тебе дружеский совет — иди и выплачь свое горе на груди одной из твоих приятельниц. Она тебя поймет и утешит.

Виктор странно улыбался.

— Признайся, Вадим, ты так рассуждал, когда умерла твоя первая жена, Оксана?

— Что ты, я едва не спился с горя, тоски и отчаяния. Блудил безбожно несколько лет, пока не утешился. Но равной ей не нашел.

— Так вот какова была твоя тризна по любимой! Друзья расстались раздраженные.

«Какой махровый циник, что за опустошенный человек?» — думал Виктор, спускаясь по лестнице.

«Нудный, крайне ограниченный, бестактный тип. Как я проглядел это?» — удивлялся Вадим.

Виктор долго негодовал, что природа, создав так много прекрасного, затем безжалостно сама уничтожает его. Постепенно, однако, представление о жизни, как о бесконечно совершенствующейся могучей силе, смирило его, смягчило. На земле и во вселенной он видел все то же движение, созидание и распад ради нового сотворения. Жизнь побеждала. Но смерть Динарии изменила в Викторе многое.

Даже самые близкие люди не замечали чистки души, которую Виктор для себя определил. Началась нелегкая борьба с собой и привычными потребностями. Страшась вторжения чужой воли, он воздвиг скит в себе, укрылся в нем. Чаше стал он бывать у матери.

Мария Павловна, как и сын, была кандидатом исторических наук. Постоянное пребывание в архивах обесцветило ее и без того светло-пепельную кожу. Вся она была как бы окрашена различными оттенками серой краски. Особенно необычными казались ее глаза цвета освещенной солнцем тучи. Неистово и увлеченно Мария Павловна пробивалась внутрь истории, недавней, но уже, как нехоженная тропа, поросшей густой травой.

«Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в 1917 и 1918 годах» — такова была тема докторской диссертации, которую готовила мать Виктора.

Ни один поэт не смог бы так вдохновенно рассказывать о поэме, выношенной его сердцем, нежели эта женщина, худенькая и как бы всегда окутанная дымкой недокуренной папиросы.

Виктор гордился матерью. В детстве, подражая кому-то из сверстников, он называл ее маманей, а когда подрос, отбросил один слог и окрестил Маней.

— Почему ты не предупредила меня,— сказал Виктор матери после кончины Динарии,— что человек разорительно дорого платит за все свои ошибки и особенно за стремление пятиться к каменному веку? Мы не смеем, получив разум человека, превращаться вновь в животных. Поздно я многое понял. Жизнь — вот кто такая мифическая Цирцея в Одиссеевых странствиях. Это символика. Человек не смеет уподобиться ослу, свинье и хищнику. За это — отмщение. Не так ли, Маня?

Со временем Динария, теряя реальность, превратилась для Виктора в недостижимый, светлый идеал. Память о ней стала для него священной. Он награждал умершую чертами, которых, может быть, она и не имела. Красота ее физическая превратилась также и в духовную. Иногда она снилась ему.

С отцом он не делился пережитым, и отношения их при нечастых встречах напоминали приязнь двух сверстников, не переходящую, однако, в дружбу. Виктору нравилась беспечность, царившая в доме отца и особенно у дяди — Виталия Михайловича Томина, директора крупного издательства.

Со времени ухода из жизни Динарии образовался как бы темный свод над Виктором. Он чуждался прежних знакомых и веселого застолья. В семьях отца и дяди господствовала наигранность, шумливость, которых он отныне не переносил. Виктор впервые ощутил пустоту равнодушия. Вторая жена отца, Агата Акимовна, встречала его неискренним: «Витька, как давно ты не был, дорогой мальчик. Мы так соскучились». Виталий Михайлович поправлял очки на жирной переносице и, стараясь подсластить улыбкой недобрый, металлически блестящий взгляд, клал тяжелую короткопалую руку на его плечо и говорил всегда одно и то же, с интонацией остроумного откровения:

— Quo vadis, Vittorio?

Знал ли он еще что-либо по-латыни, кроме этого перефразированного затаканного «Победитель, куда идешь»? Впрочем, выучил он и злоупотреблял также «*Sic transit gloria mundi*»<sup>1</sup>, всякий раз, когда старался уклониться от собственного мнения по какому-нибудь вопросу. Он как бы обсасывал каждое слово этого

---

<sup>1</sup> Так проходит земная слава (лат.).

изречения и никогда не думал о его пророческой сути для самого себя.

Глядя на процветающего и многоликого Виталия Михайловича, Виктор удивлялся его способности сжиматься и распрямляться, будто стальная спираль, в зависимости от ситуации.

Со дня похорон Динарии Виктор долго не мог заставить себя пойти к дяде. Даже в отдалении он страдал от мысли об удивительной гибкости Томина, прикрывающей часто замораживающее равнодушие.

Виктор надолго погрузился в работу над докторской диссертацией. Он писал о деятелях Великой буржуазной революции 1789 года в Париже, во время пребывания у власти робеспьеристов, поднявшихся на вершину революции, оказавшихся всего лишь предтечами нового строя и погибших во имя народа и его прав. Тщательно отыскивая новые документы, изучал Виктор жизнь соратников Робеспьера, гильотинированных вместе с ним. Его интересовал Кутон, бесстрашный борец, один из трех диктаторов трагической и короткой поры наивысшего накала борьбы в среде якобинцев. Робеспьер, Сен-Жюст и он составили как бы триумвират в якобинском клубе и правительстве.

Кутон был калекой; подагра накрепко приковала его к самокатному креслу. Дюжий жандарм был приставлен, чтобы помогать передвижению этой необычной коляски. Бессильно свешивающиеся омертвелые ноги не мешали деятельному Кутону.

Человек неукротимого нрава и энергии, блестящий полемист и оратор, убежденный в правоте отстаиваемых им идей, он, как бы в предвидении краткости отпущенных сроков, мог подолгу не спать, стоически преодолевая болезнь и усталость, работать дни и ночи. Крайне неприхотливый и скромный, он отдавал всего себя избранной миссии — служению революционному народу.

Кутон требовал от других такого же отречения во имя большинства и будущего. Не щадя и не жалея своих слабых физических сил, он был беспощаден к другим. Подобная твердость характера, присущая гениям, особенно проявлялась в их творчестве и борьбе. В сумерки средневековья эта нестигаемость приводила на костер или в тюремные ямы. У таких людей не было посредственных судеб. Народ либо шел за ними, либо побивал их

камнями, иногда их настигало и то и другое. В эпохи войн и революций, в любом труде они бывали героичны.

Виктору объект его тщательного и долгого исследования казался все более интересным. Ни сухосердный, неподкупный Робеспьер, выдающийся вождь и тактик буржуазной революции, ни статный красавец Сен-Жюст, поверхностный и честолюбивый политик, не виделись Виктору столь внутренне значительными и убежденными вождями и затем жертвами, как страстный мечтатель и вместе трезвый практик Кутон. Сен-Жюст — в прошлом актер — говорил с народом напыщенно, как бы исполняя роль. И поведение его на трибуне было позой. Робеспьер ораторствовал весьма осторожно, наперед продумав и взвесив каждое слово, и только Кутон, обращаясь к санкюлотам, как бы отдавал им свое истекающее кровью сердце. Человек, живущий без остатка для других, обретает необычайную духовную силу. Он сбрасывает выполозину эгоизма и вызывает удивление и страх.

Когда Кутон появлялся в своей коляске, обитой рыжим пыльным бархатом, на улицах или в Конвенте, одни бросались к нему с прошениями и горестями, другие почтительно сторонились. Его звучный глубокий голос и пылающие правдивые глаза производили огромное впечатление на слушателей.

Трагедия Термидора привела Кутона на эшафот. После первого краткого ареста, освобожденный членами Парижской коммуны, в кресле, движимом двумя механическими ручками, мчался он по улице. Рядом бежал охранявший его жандарм. Через несколько часов Кутона схватили вновь. Кресла больше не было, и его таскали под мышкой, как пакет, сперва — спасая, затем — предавая. Он пытался покончить с собой, но неудачно. Казнь его была жуткой. Около четверти часа палач Сансон и его помощники прилаживали парализованное тело друга и соратника Робеспьера на платформе гильотины. Неподвижные ноги калеки скатывались и мешали.

История не сохранила портрета Кутона. Бежавшие в глухую провинцию его жена и дети вынуждены были уничтожить почти все, что грозило им преследованиями. В период кровавой реакции его изображения сожгли на площади в родном городе.

Виктор Балаков отыскал снимок столь важного для жизни Кутона кресла в коллекциях музея Великой



французской революции в Париже. Оставшаяся верной памяти мужа, жена Кутона спрятала его и хранила как священную реликвию. Спустя сто лет после казни Кутона подарок Конвента нашли в каком-то сарае и передали музею.

Нелегкий труд взял на себя Виктор, стараясь воссоздать в науке галерею портретов робеспьеристов, объяснить причины победы растленных спекулянтов и карьеристов Директории: банкира Уврара, пронырливого, юркого Барраса и трусливого предателя Тальена.

Не раз революционный шквал поднимал на гребень волны гнилой обломок разбившегося суденышка, погасшую морскую звезду и скорлупу яйца.

Прошлое человечества, отдельного народа, личности! В нем — зародыш настоящего и будущего. Колос умирает, чтобы родиться иногда более сильным, измененным. Неразрывна связь времен, событий, и бесконечно коловращение материи.

Виктор сызмала много читал. Толстой, Вальтер Скотт, Джованьоле, Сенкевич, Лажечников провели его через века, воскресили отзвучавшие было голоса и оживили события. Ночью, когда засыпала мать, мальчик вставал с постели и продолжал оборванное вечером чтение. Он перевоплощался в тех, кто, может быть, знал его предков, живших в эпохи неимоверно отдаленные и совсем близкие.

Что ведал он, Виктор Балаков, о бесчисленных поколениях, которые жили одно за другим и до появления его на свет? Легко было придумывать для себя любых предков, поскольку он понятия не имел о своем генеалогическом, могучем, как у всех людей, древе. Кто они были, эти чередовавшиеся во времени прародители Балакова? Они казались ему крепкими и бессмертными, как первобытные леса. Время скашивало деревья, но семена оставались и поднимали новых гигантов. А может быть, ветер перенес зародыш через реки, моря на другие материки, и они, его предки, начинали и умирали совсем в других краях. Поляне или древляне, а может, гунны и галлы, князья или холопы, они двигались коротким маршем по земле, чтобы уступить место следующим поколениям. И, думая об этой бесконечной рати, Виктор жадно всматривался в контуры грядущего. Закончит ли он собой крошечное ответвление рода, подобно слабой веточке, или от него пойдут сильные побеги, чтобы двигаться и

думать, радоваться и страдать — жить и жить на этой странной и чудесной планете, дающей каждому радость рождения и страдание смерти.

История безначальная и бесконечная влекла к себе Виктора как страна неизведанная и таинственная. Сколь мало знало человечество о своем прошлом!

«Доподлинно, — думал Виктор, — это все еще предыстория, даже по ничтожности дошедшего до нас знания».

Погружаясь в минувшее, Виктор как бы спускался в таинственное подземелье или, наоборот, видел перед собой неисхоженные горы, грозящие смертельными обвалами и неодолимыми подъемами. Даже столь недавняя эпоха Великой французской революции восемнадцатого века оставила много незаполненных белых мест. Радио, фото и телевидение, огромные тиражи газет и книг стали достоянием лишь двадцатого века, а многие важные факты и подробности судеб народов и личностей прошлых веков унесло в неизвестность.

От времени возвышения и падения Рима осталось лишь несколько чудодейственных книг-свидетельств и разрозненные сведения, которые историку, как мастеру мозаики, приходится складывать воедино и домысливать в зависимости от своих взглядов и желаний. Правда торжествовала лишь в тот самый миг, когда свершалось нечто определяющее ход истории. Часом позже событие, отходя, умирало и пренарировалось, как труп на столе анатома. Так исчезала подлинность ради новых обстоятельств и интересов.

Виктор убедился в этом, работая в архивах, наедине с трепещущей, потемневшей, как старческие веки, бумагой, такой хрупкой, нежной и пыльной, точно крылья ночных мотыльков. При свете особых ламп, в тщательно проверяемой температуре подвальных зал, он проводил долгие часы, забыв обо всем ином, кроме открывшейся ему былой жизни. Нелегко было разбирать стершиеся буквы и слова. Он искал не только того или иного подтверждения и обоснования своих научных предположений, он боролся в этой многозначашей тишине за правду. Истина — вот чего он хотел для истории. Сколько безвино оговоренных людей ждали его для своего оправдания.

Голова Виктора кружилась, щекотало в горле от неуловимой и стелющейся, как дым, пылицы. Лицо его желтело, и кожа становилась тонкой, точно папирус, но ему

казалось, что он дышит магическим воздухом других веков. Работа историка и архивариуса восхищала его. Так следопыт, пробивающийся сквозь заросли девственной и сердито сопротивляющейся чащобы, наслаждается одиночеством, тишью и озоном. Первопроходцев всегда поджидает непредвиденное.

Виктор Балаков с отвращением перечитывал лживые измышления о Кутоне, клевету победивших термидорианцев. Его потрясло предательство тех, кого этот суровый, самоотверженный революционер, в честной непримиримости и совершенной преданности Идее так походивший на Марата, считал своими друзьями. Мало было реакционерам гильотинировать робеспьеристов, они позорили, топтали в грязи их имена. Отступники, погубившие революцию, искали свое оправдание у потомков. Такова страшная логика измены. Как часто, идя на смерть, революционеры взывали к грядущему:

— История вынесет нам справедливый приговор.

Так говорил Герман Лопатин, выслушав смертный приговор, так возглашали у стены Пер-Лашез расстреливаемые версальцами герои Парижской коммуны.

Виктор поднял многопудовый груз ответственности, возлагаемый на него как на историка. Иногда он ярился, читая документы, заведомо лживые, иногда готов был рыдать над вопиющими и как бы писанными кровью исповедами. Наибольшей мукой для него, невольно не только ведущего летопись событий, но исследующего их, стало проникновение в подспудную сущность борьбы недавних единомышленников, которыми были в начале революции все члены клуба, расположившегося в монастыре святого Якова. Все они родились, чтобы остаться предтечами, и не личные качества, а сложные перипетии развития экономики и течения времени во Франции предрешили их единую печальную участь. Но они — начало новой Франции, и судьбы их подобны ярко сиявшим и погашенным временем светилам. Мечтая о правде, добре, справедливости, они вынуждены были, защищая Идею, быть жестокими и отдавали во имя Революции свои недолгие жизни.

Виктор писал в своих набросках к диссертации: «Декларация прав человека» стала образцом человеколюбия и свободы. И в то же время машина инженера Гильотена, изобретенная им для убиения скота, превратилась в «ма-

пину смерти». Ее «бритва» отсекала головы самых выдающихся революционеров обновленной Франции... Революция — та же война. Можно ли обвинить сражающихся революционеров в кровожадности? Они защищают не только свои жизни, но спасают Родину, Идею, людей и Свободу, на которую посягает враг. До предательства Мирабо, короля и почти всех аристократов, до зверского восстания Вандеи, до внешней войны Кутон и его единомышленники не хотели ничего, кроме райской идиллии, где пасутся в любви волки и ягнята. Этот, впоследствии подозрительный и требующий крайних мер во имя спасения Революции, член робеспьеровского триумvirата был примерным семьянином и долгое время — мягкосердечным политиком. Но борьба в Конвенте и рядах робеспьеристов обострялась. Западни, волчьи ямы чудились Кутону повсюду. Началась война — внешняя с иноземцами, внутренняя гражданская и самая жестокая из войн — внутрипартийная. Робеспьер и его политическая линия потерпели поражение. Победители, не довольствуясь их страшной казнью, принялись уничтожать самую память о них, хулить и оговаривать их жизнь, характеры, деятельность. Наиболее последовательные буржуазные революционеры-робеспьеристы были строги и чисты в быту и политике, но историки, прислуживающие реакции, изобразили Марата, Робеспьера, Кутона изуверами и кровопийцами. Клевета, въедливее ржавчины, надолго окутала имена этих отважных романтиков».

Из торжественно безмолвных архивов Виктор Балаков выходил прямо на гудящие улицы в необъяснимом оцепенении, задевал прохожих, не видя их лиц. Он шел, останавливаясь, весь во власти дум и неразрешенных загадок. Прежде прошлое казалось ему молчащим и пустынным, отныне оно наполнилось многоголосьем людских толп. По собственному желанию Виктор мог управлять своей памятью, будто кинокамерой, то останавливая движение теней, чтобы лучше всмотреться в них, то заставляя их двигаться. Документы, письма, воспоминания оживили время, как и музейные реликвии, мебель, платья, вещи давно исчезнувших людей. В прошлом Виктор настойчиво и терпеливо выискивал настоящее, а в настоящем — прошлое. Это ему удавалось. Прошлое сохранялось нетленным, как в янтаре листок, травинка или насекомое.

МАТТИОЛА

Осенью 1942 года в райвоенкомат вошла щупленькая, бледная женщина в сером платице и косынке поверх густых, заплетенных в косу и уложенных на затылке русских волос. Она не пыталась скрыть своего возбуждения и досады.

— Год уже, как в этом крае, и снова получаю направление в деревню, — гневно заявила она. — Облздрав пригвоздил меня своей бронью навечно. Да ведь это срам для медика — быть в тылу, а не на передовой в такое время!..

Пожилой майор с рукой на перевязи тяжело приподнял опухшие от бессонницы веки, всмотрелся в говорившую, как бы вникая в смысл ее слов.

— Доктор Балакова, — проговорил он устало, — который раз вы тратите свое и наше время впустую. Повторяю, в вашем военном билете сказано: «Броня Наркомата здравоохранения». Да и сколько осталось у нас врачей в области, на пальцах перечесть можно.

— Но почему именно я, — наступая, спрашивала женщина, — почему я не гожусь для фронта?! — Маленькая рука ее, сомкнувшись в кулак, мелькнула грозно перед широким носом майора.

Приподнявшись, майор попытался придать своему глуховатому тенору металлическое звучание:

— Прошу вас успокоиться. Фронт теперь везде...

Так ничего и не добившись, Тереза Павловна Балакова была вынуждена выехать в Забытово.

За нетронутой чахлой тайгой, невдалеке от этой части Архангельской области шла лютая война. Люди неистово бились за каждую пядь советской земли. Но лес со скитами староверов был тих. Только издалека доносился порой грохот падающих под топорами деревьев, напоминая о строительстве важного пути из Чебюи к столице. Нефть и руда нужны были армии и тылу.

Всей душой стремилась Тереза попасть на фронт, но ни с ее требованиями, ни с упрасиваниями не посчитались. Десятки сел нуждались в медицинских работниках. Пришлось подчиниться.

В этот первый темный, сырой вечер вспомнилось ей счастливое прошлое, как нечто потерянное навсегда, недоступное здесь, в глуши, населенной одними женщинами, детьми и стариками.

Тереза томилась. Уже несколько лет после смерти мужа страдала она оттого, что никто не ждал ее, не встречал на пороге. Не приходило писем. Не испытывала больше она и тех таинственных предчувствий, которые, как радиоволны или инфразвуки, окружают нас, не в силах сами прорваться к сознанию и слуху.

Одна! В этом коротком слове — безвыходность круга, замкнутость кольца, звено цепи. Одна! Без семьи. Иногда эта мысль разрывала ей сердце, иногда давала горькое утешение отрешенности. Такого друга, как тот, что навсегда ею потерян, найти было уже невозможно. Да и один раз в жизни встретить подобного ему человека было почти чудом. Долго Тереза верила, что мысль о нем, воспоминания могут заполнить жизнь и хоть отчасти возместить потерю. Но горечь утраты чуть не убила ее. Жить прошлым для Терезы стало равносильно длительной агонии... Однако мало-помалу она свыклась с потерей.

Одиночество подстрекает к любви. Так на камнях появляется трава и пробиваются деревья. Тереза заметила, что по-иному смотрит на людей. Нет, она не искала сходства с тем, кого не было. Знала, что это обрекло бы ее на вечные скитания. Повторение пережитого невозможно да и святотатственно. Но в человеке так много разного... Душа его, как вселенная, не изучена и обширна. Вначале Терезе казалось, что ей нужно только простое, но близкое, душевное общение с кем-либо. Пусть это будет женщина или ребенок. Чем дольше длилось одиночество, тем ощутительнее была потребность привязанности.

Годы выпали слишком мрачные. Война завертела миллионы людей, создала невиданные судьбы. Вихрь, как песчинку, вобрал в свой круговорот и Терезу. В общем горе мизерным было ее одиночество. Она работала за троих, и печаль растворялась в большой людской беде.

— Грибоцков соленых хочес, дохтурса? Цайку попей, а то ноги носить не станут,— звала Терезу к столу дородная, белокожая, с выбивающимися из-под косынки льняными волосами хозяйка. — А мозет, самогончиком

согреешься? Скуцаешь по своему дроле? Баска ты, докторса, глазки твои махоньки, длинные, длинные, а губищи толстенные.

— Что значит — баска? — улыбнулась Тереза.

— Красивая, знацит.

— Спасибо. Есть у меня хлеб. Поделимся и, пожалуйста, угостите меня грибами. Помню, как бабушка моя солила и мариновала их каждую осень.

Вечер прошел при коптилке. Читать было трудно.

Ночью врача вызвали на роды. Нелегко было исправить горизонтальное положение плода и затем вывести податливую мокрую головенку новорожденного так, чтобы не причинить ему и роженице вреда. Потная, бледная, трудно победив дрожь в руках, Тереза вытащила из материнского лона ребенка. Ей казалось, что родилось ее дитя. Это было не изведенное раньше чувство.

— Кабы не ты, — слабо выговорила колхозница, — не родить мне, задохся бы мальчонка...

Лишь в полдень вышла Тереза от роженицы.

Изо дня в день шла напряженная борьба врача с недугами, часто неизлечимыми, со смертью, шнырявшей по домам. Не хватало лекарств, бинтов, и Тереза начала применять лечение издавна проверенными травами и настоями, старалась также предотвращать хворь. Она часто собирала у себя женщин и рассказывала им, как перехитрить болезни, как избежать простуды, уберечь от них ребенка. Ей не хотелось называть такие встречи «лекциями» и «докладами», чтобы не отпугивать пациентов. Это были просто беседы за кружкой настоя из брусничных листьев (чая в деревнях не водилось), а порой и за стаканом браги, которой горемычные солдатки запивали бабье одиночество.

Иногда Тереза думала о любви. Нет большего голода, чем голод любви, и холода, чем тот, который мы испытываем в полном одиночестве. Все это уже давно утверждено поэтами и беллетристами, объяснено учеными и оплакано непосвященными.

Любовь — часть самой жизни, и бесконечно разнообразны ее проявления и законы. Она настигает нас всюду, и та, где помех больше, с мучительной силой. Как и в творчестве, в любви много таинственного.

Об этом иногда думала Тереза Павловна Балакова в маленькой избенке на краю села Забытово.

Она уже свыклась с мыслью, что здесь, в глухомани, без газет, радио, при лучинке, в труде, раздумьях и душевном одиночестве пройдет военная зима. Но вдруг в Забытово пришли лесорубы, и вскоре неподалеку на горке появились палатки, бараки, склады. Приехали рабочие, и с ними — инженеры-строители. Им предстояло быстро возвести мост над рекой, чтобы по нему двинуть поезда с нефтью.

Ранняя осень нарядно убрала лес. Красота окружающей природы, как музыка, вызывала в душе Терезы особый настрой. С удивлением она увидела в поселке строителей клумбу с цветами. Кто их привез сюда? Астры, как ей сказали, привез и высадил Анисим Иванович Елка, техник-строитель. Еще не зная его, ни разу не встретившись с ним — комендантом этого поселка, Тереза заинтересовалась Елкой. Столовую для рабочих он устроил на поросшей травой полянке. Столики-самоделки на четверых едоков украшали обернутые цветной бумагой консервные банки с букетами ярких листьев. Серый тент, укрепленный на столбах, защищал своеобразное кафе от дождя и солнца.

— Все это сделал Елка, — сказал Терезе инженер-мостовик, первым из новоприбывших навестивший доктора.

Он свалился с дамбы, изрядно ушиб плечо и ногу. Терезе предстояло отныне лечить также и строителей моста, которых было несколько сот.

Тереза увидела Елку на кухне. Он снимал пробу с пшенной каши, которую велел полить грибным наваром.

— Який ты повар, — говорил он мрачно, смешивая русские и украинские слова, — людей не любишь. Иначе такое хлебово не готовил бы им. Ведь народ придет с работы усталый, ему исты охота. А ты что на стол поставишь? Свины такого не станут хлебать. Воруешь крупу. Лучше сказал бы мне загодя, что бабе своей в деревне пшена обещал, я бы с тобой своим пайком поделился. А так — ўчти, друже, еще раз замечу, под суд угодишь. Заимел бабу — своим личным распоряжайся, а в общий мешок руку не запускай... А це шо?

Елка поднял крышку на небольшом чугунке. Там кипел жирный суп. Поспешно прикрыв его, Елка прошел в мойку и принялся проверять, как вымыта посуда, затем придирчиво оглядел разделочную, с подчеркнутым



вниманием проверил деревянные доски для разделки рыбы и овощей. Он полез под столы и открыл ящики с картофелем. Наконец, осмотрев все, вернулся в кухню, блестящую чистотой. Злополучный чугунок с супом все еще стоял на прежнем месте. На лице Анисима Ивановича появилось выражение досады.

— Вот, Петр Ефимович, — строго сказал он повару, — теперь-то уж я накажу тебя по всей форме. Обижайся на себя — полчаса я ходил окрест кухни, чтоб ты успел слить в общий котел то, что у тебя там в персональной кастрюле варится. Слепой я, что ли? Опять ты себе и твоим прихлебателям особое блюдо приготовил.

Елка грубо выругался, обернулся, увидел Терезу, и серая усталая кожа его чуть рябоватого лица стала густо-коричневой. Он смутился.

— Доктору нашему привет, — сказал Елка, поводя досадливо плечами. — Не видел вас. Выбачайте хохла.

Плохо выбритый, высокий, сухощавый, он показался Терезе совсем не таким, как ей хотелось бы. Одет был просто. У кармана гимнастерки виднелась неумело нашитая заплатка. Елка легким шагом вышел из кухни, так и не взглянув более на Терезу. Женщины, подобные ей, одновременно застенчивые и надменные, не переносят пренебрежения, и Тереза огорчилась.

«Плохой признак, — подумала она. — Какое мне до него дело? Одна из многих теней на дороге?»

Кто-то позвал ее. Грузчик уронил мешок с цементом и повредил себе ногу. Нужна была срочная помощь.

Вечером Тереза без особой нужды снова пришла на медпункт мостовиков. Она застала там Елку, веселого и как бы помолодевшего. Серые глаза его смотрели без обычного недоверия и настороженности.

— Я тут кое-что предпринял. Вот видите, перегородочку поставили, отвели вам отдельную кабинку-кабинетик. Так буде краше. Тут и топчан. Можете заночевать, если не успеете вернуться в свою деревенскую келью. Женщине всегда нужнее удобства, чем нашему брату. А вот и букет цветов, это уже последние, осенние. Шел по лесу, вспомнил вас. Не серчайте.

Тереза подметила, как вдруг исчезло ее бывшее недружелюбие к Елке. При свете чадающей керосиновой лампы его лицо казалось глаже и светлее. Понравился окаймленный небрежно отброшенными к затылку каш-

тановыми волосами выпуклый, округлый лоб Елки, ровный, расширенный книзу нос и по-детски мягкие, чуть растопыренные уши.

Встреча с Анисимом Елкой чем-то необъяснимым испугнула ее. Тереза ощутила свое бескрайнее одиночество и пожалела многие уже ушедшие годы, когда сердце ее, точно в скиту, застыло.

«Неужели он?» — подумала Тереза. И как бы примеривала его к себе, ставила рядом. А от этих несмелых еще мыслей Елка становился ей ближе и дороже.

...После посещения и приема больных в селе Тереза с необычной для себя поспешностью отправилась на медпункт строителей. Ее мучило желание видеть Елку и понять, как он к ней относится.

«А может, он женат, любит жену, детей? Я ведь о нем ничего не знаю». Она взбиралась на пригорок, задыхаясь не от скорой ходьбы, а от нелепых и кусачих мыслей.

«А если другая.., Не здесь... Все равно... Почему я должна быть всегда одна... Не могу, не хочу, невыносимо». Такой ход мыслей вовсе не был присущ Терезе, но она и не вслушивалась в себя. Что-то мощнее разума и самоконтроля гнало ее.

Анисим Иванович, серолицый и гневный, встретил Терезу возле склада.

— Что это вы, доктор, поблажку такую даете пациентам? Так мы мост и к лету не выстроим. Инженер на бюллетене, и десяток строительных рабочих по вашему разрешению в бараке в дурачка режутся. У одного, видите ли, насморк, у другого — брюшко прихватило. А время теперь какое? Вы об этом подумали? Мы здесь тоже на фронте. Доброта ваша, выбачьте за правду, на руку врагу.

Он насупился и, как показалось Терезе, зло взглянул на нее.

— Как вы смеее говорить со мной в таком тоне? — рассердилась Тереза. — Люди эти больные, понятно вам?

— Плохо вы их знаете. Есть немало лодырей в любом деле, — стал оправдываться Елка.

Тереза не слушала его. Она побежала к барaku, где находились те, кого она накануне освободила от работы. Двоих не оказалось, ушли проведать своих возлюбленных в соседнюю деревню. За длинным, тщательно выскобленным

столом действительно шла азартная игра в карты. Только один больной, закутавшись в одеяло, лежал на топчане в приступе малярии.

Шли дни. Тереза избегала Анисима Ивановича, и он, казалось, не замечал ее. Как-то они жестоко рассорились на медпункте. Спор начался из-за требований Терезы улучшить вентиляцию в жилых помещениях. К тому же Елка не хотел допустить к работе медсестру Настеньку, утверждая, что одного врача и санитаря с лихвой достаточно.

— Где много медицинских работников, там много и больных,— значит, работать некому. Кого тут лечить? Сейчас нет времени болеть. Аспирины всякие и лекарства дает врач,— сказал Елка сухо.

Словесная перепалка кончилась тем, что медсестра Настя все-таки поселилась в амбулатории, но Тереза перестала разговаривать с хозяином поселка строителей, а вскоре и вовсе объявила, что не будет больше работать врачом у мостовиков.

В тот же вечер, вернувшись поздно из дальней деревни от заболевшего скарлатиной ребенка, усталая и сама полухворая, Тереза увидела у избы, где жила, высокую узкую фигуру и узнала Елку. Не здороваясь и нервно дергая мятую кепку, он отрывисто сказал:

— Выходит, я — зверюга, со мной и ужиться в деле невозможно. Ну, куда же вы задумали уйти? Женщины, признаюсь, это не по моей части. Фокусов разных в обхождении не люблю. Человек я простой, требовательный. Вот и все. Понятно? Если ненароком где вас задел — вижусь. Выбачайте.

С этого дня что-то неуловимо изменилось в отношениях Терезы и Анисима Ивановича. Отныне она уже не рвалась прочь с медпункта мостовиков и даже страшилась разлуки с их строптивым и неразговорчивым администратором.

Как-то Елка сообщил ей, что подал снова, уже третье, заявление об отправке на фронт:

— Не могу заниматься строительством, когда война. Все понимаю: нужны нефть, железная дорога, мосты, но душа рвется в строй. Не по мне эта мертвая тишина, когда рядом фронт. Прадед мой некогда ушел к запорожцам. Непокойная у нас кровь. Вот и я не могу жить, как теперь живу. Тишина заедает.

Тереза встревожилась. «Не хочу с ним разлуки,— думала она. — А почему так? Он ведь чужой и равнодушный ко мне человек. Увы, это все тот же злой подстрекатель — одиночество».

Любимым цветком Терезы была маттиола. Ей казалось, что эти невзрачные лиловые звездочки, открывающиеся только в сумерки, издающие ни с чем не сравнимый, чудесный, остропрямый аромат, символизируют душевную чистоту. Это были цветы ночи, цветы одиночества. Тереза не могла вдоволь насладиться их запахом, берегла крошечные семена и высаживала маттиолу, как только приходила весна.

Засушенные цветы походили на ржавые крестики, панизанные на хрупкой нитке-стебле. С детства Тереза знала маттиолу. Ей казалось, что ласкающие руки матери, давно умершей, пахли этим цветком. Все, что Тереза любила, приводило ей на память хрупкую, незатейливую, окутывающую неповторимой пахучестью маттиолу.

Тереза попыталась получить разрешение уехать на фронт, но вновь ей отказали. «Врачи нужны и тылу», — сказали ей жестко.

Еще болезненнее ощутила она безлюдное, мертвящее молчание окружающего. Даже строгий порядок в светелке казался ей издевкой, насмешкой.

«Еще бы! Некому даже сдвинуть вещь, создать беспорядок, насорить, вдохнуть жизнь в этот остановившийся быт. Ох уж эти узы одиночества. Нет, хуже. Не узы, а вериги, цепи».

Ей хотелось плакать, и, как единственное утешение, она вызвала воспоминания, но они облаком проплыли мимо, исчезая вдали. И тем настойчивее маячил образ Анисима Ивановича, обидно безразличного, думающего не о ней.

Как-то Тереза нашла в груди случайно взятых с собой книг, валявшихся на дне рыжего, в пятнах чемодана, несколько увлекательных старых романов. Люди в них жили вне времени, они непрерывно эгоистически бередили свои раны, мучились и мучили других. Странно было их появление здесь, в деревне Забытово, в трагическую пору войны, среди глухих лесов, где впервые строился железнодорожный путь и гулкий выдох паровоза перекликался с колокольным звоном. Но Терезе необходимы были

советчики. Так, верно, ищут разгадки снов в столетнем «Соннике» из библиотеки прадедов.

«Чем сильнее у человека характер, тем менее склонен он к непостоянству», — как заклятие, твердила Тереза. Однако жить только размышлениями с их необманиваемыми радостями, в творческом уединении — привилегия более поздних лет, наслаждение старости.

В один из вечеров Елка вызвал к себе Терезу и сказал озабоченно:

— Главный инженер заболел. Упал в реку, промок, теперь лежит в ознобе. Вот напасть какая! Без него в срок ничего не успеем сделать. Выручайте!

Сомнений в диагнозе не возникло.

— Воспаление легких, пневмония, — сказала Тереза уверенно.

— Вот этого я и боялся. Теперь хоть топись! Слушайте, докторша, а не можете ли вы его поставить на ноги за три дня? Дело требует, война, Родина.

— Попробуем, — ответила Балакова, неожиданно загоровшись желанием одолеть недуг.

И начался невидимый, по-своему жаркий бой за быстрое выздоровление пожилого и уже изрядно изношенного человека. Двое суток не покидала Тереза узкую кабинку, в которой лежал изнуренный болезнью строитель моста. Все, что хранила память, опыт многих врачебных лет были призваны, чтобы ускорить достижение цели. Ей усердно помогала медсестра Настенька.

— Бодритесь! Улыбайтесь! Завтра будет отличное самочувствие, — настойчиво твердила Тереза, стараясь передать свою волю уставшему человеку. — Душевное состояние — один из главных опорных пунктов победы.

Первая ночь явилась испытанием характера самой Терезы. К утру лекарства и отличный уход дали результаты. Инженер почувствовал улучшение. Болезнь неохотно отступала. Выслушивая легкие, изучая причудливую кривую температуры, считая пульс, Тереза старалась предусмотреть возможное коварство гибнущих бактерий.

Прошло несколько дней, и схватку с болезнью выиграл врач. Вскоре главный инженер был на ногах.

Анисим Иванович принес Терезе корзину свежей брусники и засиделся.

Неожиданно, как это, впрочем, часто бывает, Елка сказал Терезе о том, что любит ее, и поведал скупо о своем прошлом, переходя с русского на украинский:

— Колысь в той ще жизни, до войны, булы у мене сын и жинка, но чувствую, знаю, погibli они на Украине. Кое-кто из земляков подтвердили. Трудно было свыкнуться с мыслью, ще нема того всего, о чем душа болела. А теперь, осенью, в чужом краю ожил я, точно не стужа, а весна приближается. Помолодел. Це тебя встретил да полюбил. Так-то, серденько мое, люба докторша с ненашим именем. Я тебя не Терезой, а Березонькой про себя зову. Можно? Пусть твоя бела рученька всегда будет на моем сердце...

С той поры как Тереза овдовела, не слыхала она ни одного ласкового слова.

Елка был не речист. Тереза мало узнала о нем, да и не стремилась к большему. Этот человек внушал ей веру в себя, а это было новым чувством, более сильным, чем страсть и привязанность. Вера в другого уничтожает ощущение затерянности в жизни. Тереза испытывала чувство безмерной благодарности, преданности и нежности к Елке. Настоящая любовь не мыслима без доверия. Тереза раньше думала, что прошлое, с его потерями, пришибло ее душу. Теперь ей стало ясно — только мертвые не любят.

Скрытный, молчаливый и мечтательный, Анисим все больше нравился Терезе. Он любил детей и задушевную, мелодичную музыку, особенно старинные народные песни. Мало успев в науках, он честно признался, что в школе учился с трудом и кое-как окончил техникум. Но зато практическая работа влекла его смолodu и давала большое удовлетворение. По вечерам он приходил к Терезе и приносил ей что-нибудь вкусное. Тереза догадывалась, что Анисим Иванович отдает ей все лучшее из своего пайка, хотя и отрицает это. Елка любил, опершись на руки, смотреть, как она ест. Он словно насыщался сам, глядя, как любимая женщина доедает хлеб, посыпав его сахаром и запивая кипятком.

Елка радовался каждой безделке, которую мог подарить Терезе, и охотно мастерил для нее то коробочку из бересты, то полку из фанеры. Получив фланель на портянки, он уговорил ее сшить себе теплую кофточку. Тереза читала ему вслух стихи и пела вполголоса оперные

арии, которых он не знал, но вслушивался в их мелодию с волнением и жадностью.

Днем в свободное время Тереза спешила на строительство моста. Иногда ее охватывало беспокойство — не сорвался ли Елка с дамбы? Что-то матерински-тревожное вкралось в ее отношение к этому еще так недавно совсем чужому человеку. Самыми радостными часами были их поездки в соседний тихий городок. Елка запрягал старого, но еще бойкого коня Секрета в узкую бричку, а когда повсюду улегся снег — в розвальни. Ловко правя, гнал он упряжку к лесу. Дорога — пятнадцать километров — петляла через сосновый бор, девственно дикий и суровый. Кое-где нагромоздился стеной бурелом, приходилось объезжать, сворачивая в сторону, либо ехать напрямик, как по волнам. На одном из поворотов этого таинственного, сверкающего в снежном убранстве лабиринта стояла нежилая изба, где можно было в мороз сделать остановку. У русской печи обычно наготове лежали поленья, — согласно неписаному закону, каждый нашедший в хате приют, прежде чем покинуть ее, оставлял, взамен сожженного, топливо для путников.

Тереза и Анисим чувствовали себя в этой избе как дома. Дрова разгорались не сразу, мороз еще долго продолжал шнырять по остывшим стенам. За слюдяным окном зловещим казался лес. Анисим твердо, по-хозяйски шагал из угла в угол, разводил огонь. От печи или от его присутствия — Тереза не знала — ей становилось теплее и уютнее в неубранном пустом жилье. Не хотелось покидать это пристанище, некуда было спешить. Двое, они были одним существом, одной волей и желанием. Однажды они провели в избе всю ночь, тесно прижавшись друг к другу на скамье. Их освещал огонь из печи, и Терезе казалось, что красные отблески на лбу Анисима и на ее руках струятся кровью.

— Ты не оставишь меня? — впервые робко спросила она. — Ты не уйдешь на войну один? Я пойду с тобой. Тогда и я смогу сделать для людей больше, нежели до сих пор.

— Без тебя нет жизни, — шепнул он совсем тихо и прикоснулся губами к щеке Терезы. — Мы пойдем воевать вместе.

Все самые заветные слова и мысли, годами скопленные в сердце, высказывали они друг другу в этом уеди-

нении. Очарованные, вслушивались они в мелодии зимней симфонии: звуки падающего на белоснежный покров земли снега, заунывное поскрипывание деревьев, тревожную песню ветра и ритмичные удары дятла, похрустывание веток от пробегающего зверька и поднявшейся ввысь птицы.

Терезе казалось, что никогда не была она счастливее, чем в этом лесном домике.

Большое чувство таится, скрывается от постороннего ока, боится сглаза и вторжения. О близости Терезы и Елки мало кто догадывался. В поселке строителей она никогда не ночевала, и даже ее помощница Настенька ни о чем не подозревала.

Настеньке исполнилось двадцать два года, и, по общему мнению, она считалась красавицей. Как все уроженки северного края, она отличалась завидной белизной кожи — нежно-розовой на щеках и перламутрово чистой на лбу и шее. Хороши были ее волосы цвета увядающих кленовых листьев. Рядом с этой беспечной девушкой Тереза остро чувствовала груз своих лет, потерь, житейского опыта, горести сомнений, раздумий. Ревниво подмечала она, как то ли из озорства, то ли из желания победы Настенька засматривается на Анисима Ивановича. Чем безразличнее он вел себя с нею, тем настойчивее становилось ее наивное и откровенное кокетство.

Девушка родилась в Забытове и никогда не ездила дальше Котласа. Там она окончила курсы медсестер. Елка казался ей человеком во всех отношениях необыкновенным. Разница лет не смущала ее. Часто в юном возрасте девушки тянутся к зрелости. Подсознательный страх перед трудностями жизни, перед препятствиями толкает их на поиски надежной опоры. Не всякий ищет непроторенных троп и радуется борьбе за счастье.

Как-то, узнав, что Елка собирается на санях в город, Настенька попросила взять ее с собой. Она надеялась, что сможет разрушить стену, которую возвел Елка в их отношениях. Разговор о поездке Настеньки с Анисимом Ивановичем произошел, когда Тереза закончила прием больных.

— Что ж, это можно, завтра на рассвете, — спокойно ответил медсестре Елка, пришедший, чтобы проводить Терезу в деревню.



Кровь бросилась Терезе в лицо, отлила к сердцу. Услужливая память восстановила с быстротой кинокамеры кадр за кадром недавно пережитое. В густом ельнике сторожка. Огонь, потрескивающий в печи. Слова, ласки, ожидания, надежды... Часы, проведенные в лесном домике, были теперь самым ценным вкладом в полупустой копилке счастья Терезы.

А Настенька кружилась по просторной комнате и казалась Терезе еще привлекательнее, нежели раньше. Увлечение Анисимом Ивановичем красило ее.

По дороге в деревню Тереза упорно молчала. Тщетно Елка пытался доискаться причины ее мрачного настроения. Гордость помешала женщине спросить о том, что мучило ее — поедет он в город завтра или нет?

И снова одиночество со всех сторон обступило Терезу, двинулось рядом с ней, как навязчивая злая тень. До полуночи она ощущала озноб и то проваливалась в тяжелый сон, то просыпалась, чтобы осознать надвигающееся несчастье. Много страдавшая, она верила лишь в дурной исход. В час ночи вскочила, поспешно оделась и бросилась из дома.

«Если он поедет с этой девчонкой, для меня все будет безвозвратно кончено», — с отчаянием думала она.

Кругом было еще черным-черно, когда Тереза, так и не сумев побороть себя, возбужденная, пошла в домик медпункта. Настенька проснулась и, сидя на постели, недоуменно смотрела на врача.

— Меня вызвали в деревню. Отравление грибами. По пути я решила зайти сюда, — сказала Тереза.

Мигающая, чуть светящая лампочка скрыла румянец стыда от этой невольно сорвавшейся лжи. Тереза впилась глазами в Настеньку. Припухшая, большеносая, растрепанная, она выглядела сейчас совсем непривлекательно. В ее лице проступал тот, другой образ, который ожидал Настеньку, когда юность, исчезнув, унесет с собой яркость красок и обнажит грубоватые и не освещенные внутренним горением, одухотворенностью черты. Но Тереза этого не замечала. Ревность, страх потери ослепляли ее.

— Значит, едете в город? А зачем? Пожалуйста, останьтесь, ведь у нас так много больных.

— Чего это вдруг? Лекарств нет. Надо на аптекобазу, — грубовато ответила Настенька и повалилась спать.

Рассвет показался Терезе зеленой лягушкой, выползшей из-за леса. Небо просветлело. Ровно в шесть часов утра Тереза, как в гипнозе, поднялась на пригорок. У здания базы стояли знакомые розвальни. Сухопарый конь Секрет досадливо поводил ушами. Было холодно. Тереза смотрела на сани, как на катафалк. Надежды ее рухнули.

Но вдруг из-под навеса вышел рослый белобрысый парень в тулупе и сел на облучок. Тотчас же из здания медпункта выбежала Настенька в валенках, шубке и большом сером пуховом платке. Но чем ближе она подходила, тем неувереннее становилась ее походка. Терезе вдруг захотелось громко засмеяться и обнять девушку.

— А где же Анисим Иванович? Я думала, он поедет со мной, он, а не ты, Василий, — сказала Настенька злобно, подходя к санитару, который помахивал кнутом.

— Анисим Иванович еще ночью поездом укатил. А пока мы доедем до города, он, поди, уже назад вернется.

...Наступил и канул в вечность Новый год. Тереза узнала, что беременна. Спустя месяц пришло известие — просьбу Анисима Ивановича уважили, и он стал собираться на фронт. Тереза твердила, что будет сопровождать его. Но ей предстояло стать матерью, и Елка сумел умолить ее сберечь ребенка. Он был так красноречив, так ласков, так преисполнен нежности к Терезе, что противиться было невозможно. Тереза согласилась остаться и ждать будущего. В суете последние дни пронеслись с особенной быстротой. Подошел страшный час разлуки.

Эшелон уходил утром. Стоя в толпе провожавших женщин, Тереза не сводила глаз с Елки, который примостился в дверях теплушки. Поезд дернулся и медленно пошел. Тереза побежала рядом с вагоном. Неожиданно Анисим Иванович сорвал с себя черное суконное полупальто и бросил Терезе. Это была единственная теплая вещь, которую она заставила его взять с собой. Стоял двадцатиградусный мороз. Так и уехал он в легкой гимнастерке.

Что было потом, Тереза избегала вспоминать.

Когда снова с медицинской сумкой первой помощи она пошла к строящемуся мосту, небо, затянутое низко бегущими тучами, показалось ей черной крышкой гроба, которую можно достать рукой.

Грязный мокрый снег прилипал к кожуху и валенкам. В деревне Тереза зашла в избу Авдотьи, тоже проводившей воевать любимого человека. Отныне их связывало беспокойство солдаток.

Любовь наполнила окружающий Терезу воздух, окутала землю, достигла звезд.

«Только тот постигает все бесчисленные нюансы и оттенки привязанности, кто сам любит неистово. Мы верны одному чувству потому, что находим в себе два сердца, две воли, два устремления,— думала Тереза. — Любовь, что острая болезнь, набрасывается на человека, может уничтожить его и так же, как хворь, исчезнуть без малейшего вмешательства воли. Разум способен разрушить чувство, однако он часто подогревает воображение и тем самым усиливает его».

В пору войн, грозящих вечной разлукой, любовь нередко превращается в тягостную драму. Но чувство Терезы давало ей ощущение близости любимого, его постоянного присутствия где-то рядом, неподалеку от нее. Как путник, изнывающий от жажды и усталости, Тереза верила миражу. Она много раз, словно наяву, видела Анисима Ивановича на заснеженной крутой дороге, которая вела к убогой избе — амбулатории строителей. Бригадиры стройки, десятники, заведующие базами останавливали его и отдавали ему свои табели работ. Он выписывал им зарплату и премии. Направляясь к строящемуся мосту, черневшему на фоне зимнего неба, как таинственное плетение, Тереза в каждом высоком, худощавом человеке в потертой каракулевой ушанке и черном полупальто с меховым воротником искала Елку. Вечером она ждала его на крыльце хаты и вспоминала, как Елка появлялся всегда неожиданно из-за черного сарая, легко взбегал по ступенькам и поднимал Терезу, чтобы поцеловать.

Немного шепелявя, проглатывая буквы, вставляя украинские слова в русскую речь, Елка рассказывал ей обо всем, что делал, пока они находились порознь. В избе, сбросив полупальто, он доставал из кармана гимнастерки какой-нибудь гостинец и радовался, если она перешивала себе что-либо из его вещей.

Часто они сидели молча, сплетая руки, и вдруг принимались петь в два голоса какую-нибудь песню.

С тех пор как Елка вошел в ее жизнь, Тереза никуда не рвалась из своей деревни. Мир сосредоточился для нее на этом затерянном в тайге пространстве, где жили несколько сот людей и тот единственный, который разорвал круг ее одиночества. И все это внезапно рухнуло.

Она воскрешала в памяти миг за мигом все случившееся. Терезе снова чудился нетерпеливый стук в дверь. Так приходит беда. В маленькую светелку ворвался Анисим Иванович, резким движением сбросил на табурет свое полупальто и тяжело повалился на скамью. Кутаясь в платок, Тереза села возле него, затем молча встала, чтобы приготовить ему теплой воды для мытья. Но Елка остановил ее, сказав едва внятно:

— Я уйду на фронт, серденько. Что-то будет с тобой, любя моя?.. Прошу об одном: береги ребенка и верь мне. Я не обману. Ранен я не буду, да и убит тоже не буду. Мне не пуля, а огонь — лютый враг.

Елка никогда не проявлял страха. Единственно, чего он боялся, были пожары. В детстве на его глазах сгорела в деревне родная хата и все добро его родителей. Позже он чудом спасся из уничтоженной огнем школы и чуть не задохся при пожаре леса. Пожары преследовали его всю жизнь, и нередко Тереза просыпалась от его возгласов во сне: «Горит!.. Пожар!.. Ратуйте!.. Пожар!..»

Долгими и мучительными были проводы Елки в армию. Потом исчез вдали воинский эшелон и пришло ощущение того, что Анисима Ивановича нет. Тереза бесцельно бродила по деревне. Нет, она не была одна. С ней осталась любовь, вера, ожидание...

Был ли Елка похож на тот образ, который создала для себя Тереза? Она не хотела думать об этом. Анисим был нужен ей таким, каким она его любила. Пусть тот, кто подобрал в себя ее мечту, был в чем-то не схож с Елкой, он оставался для нее самым дорогим на свете.

В разлуке Тереза с неистовством тоски отдавалась работе и служению людям.

Все реже в деревнях случались роды, но не переводились болезни. Врач был самым желанным посетителем, ему изливали свое горе одинокие женщины.

Строительство моста подходило к концу. Тереза долго оставалась на берегу замерзшей реки, глядя на высящиеся мощные дамбы и воздушные настилы. Было нечто прекрасное и возвеличивающее гений человека

в этом хрупком и столь могучем сооружении, как бы повисшем в воздухе.

Люди, как пауки, упорно ткали из металла, дерева, цемента свою чудесную паутину. Они соединили два холма, разделенные водой, одним крепким рукопожатием. Тереза испытывала наслаждение, созерцая это творение человеческих рук. Мост рос на ее глазах.

На последнем этапе работ строители поселились поближе к мосту в засыпанных снегом палатках, обогреваемых докрасна раскаленными железными печурками. Поселок на пригорке опустел, избу медпункта разобрали по бревнам.

Настенька к тому времени вышла замуж за бравого балагура монтера. Женщины сблизились. Настенька, румяная, довольная, как-то, обняв Терезу, сказала ей простодушно:

— Я не кукушка злая и в чужие гнезда не лезу. На что мне ваш Анисим Иванович, он рябенский и староват. Причуда была у меня. Обидеть вас не чаяла, не гадала. То-то вы ко мне придирались тогда стали. Доставалось мне. Помните, как меня журили? Банки, мол, не так снимаешь, надо кожу оттягивать, много лыбишься... Мужчины, бывает, если одну и ту же женщину полюбят, так еще пуще подружатся, а мы, бабы, только что в волосы друг дружке не вцепимся. Дуры! Зачем? На всех любви хватит. А мужчина что мальчишка, за ним глаз нужен, а то напроказит.

Вместо Елки на мосту орудовал и вел хозяйственные дела его заместитель Матвей Иванович,— несмотря на тучность, подвижный, благожелательный, всегда веселый человек. Тереза подружилась с ним и его женой, тоже полной, высокой, обходительной женщиной. Узнав, что врачиха, как звали Терезу мостовики, беременна, жена Матвея Ивановича приносила на работу в кастрюльке еду не только мужу, но и Терезе. Сама бездетная, она откровенно завидовала материнству и любила детей.

Первое письмо от Анисима Ивановича доставил Терезе его преемник.

— Танцуй, матушка, а то не дам,— сказал он, размахивая над головой серым треугольником.

Терезе пришлось пройтись, сплясать «барыню».

Елка писал химическим карандашом на листе разноцветной клетками бумаги:

«Сегодня, любя моя, родная, принес я военную присягу и вот теперь даю тебе клятву. Пусть фашистская пуля уложит меня насмерть, если изменю тебе и забуду тебя и нашего ребенка. Завтра выезжаем на передовую. Да сгинет скорее враг страны нашей и воцарится мир и счастье на земле».

Тереза не сомневалась в клятве Анисима, как вообще верила ему во всем. Она положила письмо в мешочек, вместе с несколькими ржавыми, как старые железные крестики, стебельками маттиолы, и носила с тех пор этот талисман всегда с собой.

Матвей Иванович был умельцем на все руки и ловко орудовал топором, пилой, бесстрашно взбирался с инструментом по строительным лесам. Он видел, как тяжело приходится рабочим при доставке баланов через реку, когда тронулся лед, и придумал сложную систему блоков и лебедек, что не только ускорило, но и облегчило труд. Инженеры столь высоко ценили его сметку и практические знания, что советовались с ним, показывали ему свои чертежи и проекты.

— Самородок. Из таких мужиков Ломоносовы получались. Тоже ведь уроженец Архангельской области,— говорили они.

Был он к тому же врожденный чуткий психолог, и Тереза ему одному поверила свою печаль.

— Теперь ты уже за двоих в ответе,— сказал ей как-то Матвей Иванович и многозначительно, округло повел рукой. — Вернется, скажем, Анисим, на что будем уповать, или нет, всякое ведь бывает — война, а ребенок для матери важнее всего прочего. Надо думать, мать моя, о человеке этом самом. Он с тебя спросит — зачем на свет произвела? Большую ответственность на себя взяли. Не куклу, чай,— человека создали. Ему, младенцу, многое потребуется. Надо, чтобы он тебя не проклял за дар сей. Как у поэта говорится: «Дар напрасный, дар случайный...» Будет человек счастливым — и тебе легче станет. Так что об одиночестве теперь не пой. Какое уж тут одиночество вдвоем... И вот еще, мать моя: лицом ты что-то чернеть стала. Значит, по ночам меньше работать надо, а больше спать, больше есть и настой из сосновых игл пить. Одними солеными грибами, моченой брусникой да клюквой не прокормишься. Мы с женой о твоём наследнике подумываем. Во что, скажем, ты его обря-

дишь попервости?.. Надо бы о пеленках потолковать в горздраве. Может, выхлопочем тебе бязи метров пятнадцать по ордеру. Оно конечно, человек рождается голым, но одежонка ему сразу же требуется.

...Весной мост был закончен. Торжественно отпраздновали строители это событие. Из Чебюи до Коноши прошел первый сквозной поезд.

Инженеры, рабочие, а вместе с ними и Матвей Иванович с женой укатили поближе к Ленинграду.

Письма от Анисима Ивановича приходили редко, и, странное дело, холодом веяло от каждой его фразы. Тереза замкнулась в себе.

«За доброе, что я имею от жизни, надо воздать сторицей,— думала она. — Слишком уж хорошо мне было. Отдохнула душой, и за то спасибо. Живет в нашем сердце сторож. Он допустил любовь, а его не обманешь, значит, не ошиблась. Вернется Анисим, вернется и любовь».

Прошла весна, мало чем отличавшаяся на Севере от зим, и началось лето, прохладное, влажное, блеклое, как медуза. Зацвела в ящике на окне Терезы лиловая душистая маттиола.

Есть своя прелесть в мягких полутонах, какими окрашена природа Севера, особенно в Приморье. Она врачует и умиротворяет душу, не мешает думать и мечтать. Нет в ней навязчивости и пестроты юга, его одуряющего запаха пышных цветов. Яркость жаркого края нестерпима для возбужденного ума, ищущего сосредоточенности, радостей мышления и творчества. На Севере господствует покой и созерцание. Но есть и у него тайная сокровищница, где собраны все драгоценные камни: алмазы, сапфиры, изумруды, рубины. Диадема из них — северное сияние. Оно ошеломляет и чарует, но, увы, исчезает, когда становится слишком ослепительным. Ни звездные южные, ни блеклые белые ночи несравнимы с осыпанным самоцветами и золотом ночным небом северного края.

Терезе полюбились мягкие тона леса, морошка и голубика, клюква, брусника, черника и бесчисленные красочные грибницы...

На смену короткому лету пришла неустанно плачущая осень. Особенно в октябре затосковала Тереза. Одиночество вновь выползло из-под оклеенных газетами стен избы, унылое и неприятное, как рыжие тараканы. В нескольких

километрах от деревни мчались поезда. Ветер доносил их гудки и шум колес. Газет почти не поступало. С уходом строителей моста исчезла и возможность узнавать по селектору новости и сводки с фронтов. В деревнях встречались еще женщины, которые, как и Тереза, тоскливо готовились к материнству. Они тревожились, не родится ли хилое дитя. Ведь никто досыта не ел, вволю не спал...

Родовые боли настигли Терезу внезапно. Закусив губы, металась она по своей комнате, чтобы прогнать страх, не закричать.

— Нет, не потревожу соседей,— твердила она.

Пот проступал на ее лбу. От прикуса на губах выступила кровь. Не в силах справиться с собой, она опустилась на пол. Смотрела на часы, считала. Боль возобновлялась каждые пятнадцать минут... десять... пять...

Хозяйка избы услышала еле сдерживаемые стоны и поспешила за Настенькой, которая жила неподалеку. В тот момент, когда они прибежали в комнату Терезы, у нее уже родилась дочь.

— Вот прелесть-то! — восхищалась Настенька, протирая ребенка.

— Заморыш, верно? Проверь, целы ли ножки, ручки,— шептала Тереза.

— Миленькая, здоровая девочка. Все у нее как надо,— успокаивали обессиленную Терезу женщины.

Так появилась на свет Наталья, крутолобая, как отец ее. Рождение дочери, словно спасательный круг при кораблекрушении, наполнило новой целью, осмыслило жизнь Терезы. Вместе с первым криком новорожденной в материнском сердце прочно обосновалась тревога за нее.

Узнал о рождении дочери и Елка. Он прислал коротенькое и ласковое письмо. Читая его, Тереза снова уловила отчужденность и обидную беспечность в наспех набросанных строчках.

«Натальей дочь назвала? Жаль. Я ведь просил Валентиной — это имя мне дорого... — писал он небрежно, раня невольным признанием Терезу. — Мы уже перешли Днестр, красивые места. Враг отступает. Скоро вернусь с победой. Целую тебя и дочь».

Все было не так, как того ждала Тереза. Уходил от нее Анисим Иванович в другую жизнь, к незнакомым ей людям. В этот вечер Тереза дольше, чем обычно, засиде-



лась в избе Авдотьи-бобылки, одной из самых красивых, работающих солдатских вдов. Муж ее недавно пал смертью храбрых в боях под Ленинградом. Так значилось в извещении о его смерти.

Авдотья, еще не залечившая свою рану, почуяла, попяла, какая печаль на сердце у Терезы, и принялась утешать ее:

— Лишь бы целешенек дроля твой остался... — Она принесла бутыль и продолжала: — Попей браски-то, на меду она. Наше вдовье утесеньице.

— Кормлю, нельзя мне, а то молоко забродит.

— Сон у дитя крепче будет.

И Тереза поддалась уговорам — хлебнула сладкого зелья.

В середине зимы принесли «похоронную» и Терезе. Не сразу дошло до ее сознания: Анисим Елка отдал жизнь за Родину. Погиб... Нет больше Анисима Ивановича...

Впервые за всю жизнь Тереза почувствовала, как рассыпались все привычные с детства представления, воспитанные строгой матерью: сдержанность, умение скрывать переживаемое, — то, что называется приличием и правилами хорошего поведения.

По-бабьи причитая, повалилась Тереза наземь. С нею вместе голосили Авдотья и все осиротевшие солдатки.

— На кого ты меня покинул, родимый, желанный?..

Потом попритихли и долго плакали, жалобно, протяжно, так, как, верно, делали это древние плакальщицы. Устроили поминки и снова до изнеможения горевали. Наталью пришлось в тот день впервые накормить коровьим молоком. Тереза тщетно давила свои опустевшие груди.

На другой день она проснулась, как после тяжелой болезни, с ощущением слабости во всем теле, с раскалывающейся головой. Но слез больше не лила.

Через неделю Тереза перевелась из Забытова в соседний городок заведовать больницей. Иногда ей казалось, что и не было вовсе Анисима Ивановича, просто приснился он ей со своими ласками, но осталась Наталья. Не знала Тереза ни места рождения отца своей дочери, ни всей его жизни до их встречи.

«Странно, — думала она, — почему я толком его ни о чем не выпросила? Верила и не нуждалась в проверке. Видно, так тому и быть».

Сохранилась у нее одна блеклая, выцветшая фотография да несколько писем. В одном была его присяга в верности.

Тереза постепенно смирялась. Не первая это была потеря дорогого ей человека...

Старушка-инвалидка, беженка из Феодосии, Елена Ивановна взялась нянчить Наталью, когда мать уходила на работу. Лицо старой гречанки, казалось, состояло из одного только носа, который все затмевал своей величиной. Но когда изумление при виде столь большого носа исчезало, обнаруживались слоновьи глазки и веселый, серпообразный рот.

Елена Ивановна родила одиннадцать детей. С начала войны она ничего о своей семье не знала и молилась множеству ей одной ведомых святых. Ее преследовали тысячи примет — она боялась дурного глаза и верила, что если запечь в тесте волос и дать его съесть мужчине, тот «иссохнет» от любви. Люто тосковала Елена Ивановна по Черному морю и Феодосии. Всем сердцем она привязалась к Наталье, и девочка отвечала ей тем же. Трудно было представить себе более уютное место для ребенка, чем огромные колени, и более успокаивающее прикосновение, чем ласка ее мягких короткопалых рук.

Чадолубие научило старую женщину понимать детский лепет. Часами она рассказывала ребенку о своей тоске, и Наталья, глядя на нее влюбленными глазами, казалось, все понимала. Тяжело больная гипертонией старуха и десятимесячный ребенок были вполне довольны друг другом. В сумерки Елена Ивановна уходила отдыхать, и Наталья оставалась с матерью. Они спали вместе, и Тереза успокаивалась, прижимая к себе маленькое родное тельце.

И наконец закончилась война. Тереза проводила в Крым Елену Ивановну.

Наташа подрастала. Приходилось думать о ее будущем.

Тереза давно мечтала посвятить себя медицинской науке — такой еще далеко не всесильной и полной неразгаданных тайн. Она побывала в Москве на курсах усовершенствования врачей, но это лишь укрепляло желание углубиться в изучение наиболее трудно постигаемого создания природы — человека. Допоздна засиживалась теперь Тереза, окружив себя учебниками и меди-

цинскими журналами. Особенно заинтересовала ее геронтология, наука о борьбе со старостью — этим, по мнению философов, адом в жизни человечества.

«Старясь, жалко молодых радостей... веселья, дружбы, любви... И не нужно лишаться их. Стареешь, живи этими радостями в молодых, переносясь в них, любя их, руководя ими», — так советовал людям Лев Толстой. «Старость не высмеивай — ведь ты идешь к ней», — замечал древний философ Менандр, а Гюго завершал: «То, что человек имеет в себе, никогда ему так не пригодится, как в старости».

Все эти мысли великих людей вспоминала Тереза, внимательно наблюдая за состоянием здоровья и поведением тех должностных, которым уже минуло восемьдесят лет. Она накапливала свои записки, готовясь к научной работе в области геронтологии.

Однажды Терезу позвали к тяжело страдавшему инвалиду, вернувшемуся из госпиталя. Больной жадно хватал воздух посиневшими губами, на лице были капли пота с горошину. Пульс то сбивался, то вовсе исчезал под пальцами врача.

Упорно боролась Тереза за жизнь своего необычного пациента. Под Берлином его изувечил снаряд: он лишился обеих ног, одной руки и получил тяжелое ранение в грудь. Впервые в жизни видела Тереза столь вдохновенное лицо, с глазами, проникающими в самое сердце собеседника. Охваченная необъятной жалостью, Тереза уговарила неизлечимого и совсем одинокого человека перебраться к ней.

— Считайте, что я забираю вас в больницу, — твердо сказала ему Тереза. А про себя подумала: «Я так и не была на войне, пусть не по своей воле, не выхаживала раненых, не спасала умирающих. Забота об этом безмерно обездоленном инвалиде будет моей лептой».

Даже у родной матери вряд ли смог бы найти Леонид Петрович, так звали искалеченного войной человека, больше внимания, чем то, которым окружили его Тереза и маленькая Наталья.

— Странно, — сказал как-то в раздумье Леонид Петрович, — судьба, оказывается, не такая уж злобная тетка. Потерял я мать, жену, детей во время ленинградской блокады, стал одинок. Мстил жестоко фашистам за Родину, за погибшую семью. Считал, что хорошая смерть лучше

жизни. А вот, оставшись обрубком, беспомощнее грудного ребенка, вдруг обрел счастье у добрых людей и даже не чувствую себя обузой, хотя несомненно я тягота для вас, да и для всех вообще. И главное — я рад, что жив.

— Вы — не обуза, а друг и незаменимый советчик, — весело сказала Тереза.

Со времени появления в ее доме Леонида Петровича она испытывала чувство облегчения, жизнь приобрела цель и новый смысл. Иногда ей казалось, что это Елка, израненный в бою, вернулся к ней. Она всячески старалась облегчить участь Леонида Петровича, переписывалась со столичными ортопедами, мечтала достать ему протезы. Нелегко было лечить легкие, пострадавшие от ранения. Но Леонид Петрович геройски переносил страдания и не поддавался унынию. Он в совершенстве научился владеть уцелевшей левой рукой, писал, мастерил для Натальи игрушки, чертил и составлял строительные проекты, которые оказались столь ценными, что ему вскоре нашлась работа по специальности. Вечерами он читал Терезе вслух или рассказывал о трагических судьбах людей на войне.

Большая голова Леонида Петровича с густой копной седых волос, сухоощавое, изборожденное сухими складками, энергичное, живое лицо осталось мужественным и красивым. До ранения Леонид Петрович был высоким, мощным человеком. Теперь под наброшенным на механически передвигающуюся коляску пледом пряталось изуродованное безногое туловище. Удручающе пустой рукав пиджака усугублял трагическое зрелище.

Тереза испытывала чувство жалости к своему новому другу. Ей хотелось отдать ему свое здоровье, чтобы он жил как можно дольше.

В теплые дни вместе с Натальей вывозили они инвалидную коляску на воздух и радовались, когда мертвенно-серый цвет лица их больного друга становился свежее, а в глазах появлялся блеск.

— Мама, — спрашивала иногда с тревогой в голосе Наталья, — Леонид Петрович ведь не умрет, правда? Ты — врач, ты этого не допустишь!

— Если бы я могла отогнать смерть, он пережил бы нас, — грустно отвечала ей мать.

Все эти годы Тереза неотрывно трудилась над своими изысканиями в геронтологии, часто ездила в Москву,

руководила больницей. Дома ее радостно встречали Леонид Петрович и Наталья, которую он воспитывал, учил, любя все больше и больше. Девочка отвечала ему привязанностью. Тереза чувствовала себя совершенно счастливой. У нее была желанная работа, цель в науке, дочь и верный, умный друг, наполнивший большим и чистым смыслом ее существование.

— Ну, как прошел день? — спрашивал приветливо Леонид Петрович Терезу, когда она с охотой и поспешностью возвращалась домой. — А мы тут с Наташей навели порядок в доме, обед приготовили...

Тереза, будто на духу, все рассказывала своему другу, спрашивала его совета. У Леонида Петровича черпала она спокойствие, уверенность в своих силах, оптимизм.

Она делилась с ним планами на будущее, умела заинтересовать его своей работой по предотвращению или хотя бы оттяжке неизбежного и разрушительного старения, рассказывала о действенности новокаиновых вливаний. При этом Тереза вспоминала пушкинские стихи:

Смотрите, как летит, отвагою пылая...  
Порой обманчива бывает седина:  
Так мхом покрытая бутылка вековая  
Хранит струю кипучего вина.

Вторя ей, Леонид Петрович тоже декламировал:

На старости я сызнава живу...

Безнадежно больной калека, он олицетворял собой человеколюбие, своеобразную мудрость и никогда не жаловался на судьбу. Жизненными правилами его были несколько простейших истин, которые не раз слышали от него Тереза и Наталья: «Не желай другому того, чего себе не желаешь», «Давая, помни, что даешь этим, во-первых, самому себе», «Принимай людей такими, какие они есть, или отойди от них», «Не поучай, ибо самому еще надо учиться».

Все немощнее становился Леонид Петрович — болезнь легких и сердца прогрессировала. Тереза ничем не могла уже предотвратить неминуемое, и тем удивительнее было видеть, как светлее и уравновешеннее он становился.

— Когда-то я был суетлив и самоуверен, — вслух принимался философствовать Леонид Петрович, — а теперь уgomонился и познал себе цену. Прямо скажем — невели-

ка. А упорядочив свое душевное хозяйство, стал спокойнее и смог наконец заглянуть в самого себя. Полезное дело. Всякая хорошая идея и служение ей требуют чистоты и самоответственности. Когда сам понимаешь что-либо, то и другому можешь разъяснить. А то, бывало, кричу, руками размахиваю, ногами топаю, только пугаю, а не убеждаю. Теперь без ног и почти без рук скорее могу уговорить словом. И страх вместе с суетой исчез.

«Какая благодать, что я встретила его. Он — добрый дух моего дома, истинный отец Наталье. Я и объять мыслью не могу все то доброе, что он для нас сделал»; — часто говорила себе Тереза.

Спустя несколько лет после того, как Леонид Петрович поселился у них, пришло время Наталье идти в первый класс.

— Неладно что-то происходит у нас, — сказала, вернувшись из школы, удрученная Тереза. — От меня требуют свидетельство о браке с Елкой. Наталье, видите ли, требуется отчество.

— Чего проще! — встрепенулся Леонид Петрович. — Почему бы тебе не взять для Натальи мое имя и фамилию? Хоть чем-нибудь дельным я отплатил бы вам обоим за доброту и ласку.

Поразмыслив, Тереза согласилась, и они заключили брачный союз с Леонидом Петровичем, фамилию которого и отчество отныне носила Наталья.

А спустя полгода Леонид Петрович умер.

Тяжело было Терезе переносить утрату. Ей казалось, что дом ее потерял лучшее, что имел, и открыт для бед. Не меньше страдала и Наталья.

В новой потере, как в фокусе, для Терезы сосредоточились все несчастья ее личной жизни. Будто в тину, погрузилась она в едкую тоску и апатию. Всю жизнь стремилась Тереза к устойчивой, спаянной семье, основанной на глубокой и чистой любви, на взаимном понимании и уважении. Тревоги и заботы не разрушали, а цементировали ее чувство. Но одна за другой рушились ее надежды, и Тереза снова оставалась одна.

Нагромождение неудач подавляет человека, как тайфун некогда угнетал его древнего предка. Тщетно старались поддержать Терезу ее друзья и многочисленные пациенты. Ничего не помогало, пережитое чуть не надломило ее.

Но удивительны и необозримы возможности воскрешения сил в человеке. Ничто не погибнет окончательно, если в душе теплится хоть маленький огонек. Опять и опять разгорится пламень с большей, нежели раньше, силой. Кажется, все кончено: физические или душевные испытания пригнули нас книзу, и конец близок. Но нет! Человек слегка распрямился, как только тяжесть уменьшилась или исчезла, и начинается новая эра в той же жизни. Незащищенный, хрупкий человек могуч своей сопротивляемостью, и мгновенно, как в паутине, чинится порванная нить, и пряжа бытия ткется дальше.

Тереза хотела поселиться отныне с отцом, но Павел Александрович отказался.

«С каждым годом родители дороже нам,— писала она ему. — Приезжай, отец, поселимся с тобой в лесной глухомани».

«По себе не суди,— отвечал ей старик Балаков. — Не все на один аршин. Каждое новое поколение видит только то, что впереди. А отцы и матери остаются на задах. Вам некогда обернуться: своих ребят устеречь надо. Всегда так, когда отпочковываются новые ростки. Я не в обиде. Чего уж! Закономерно это, может, и правильно. Живи со своей дочерью. Все зарубцуется. А из Москвы я не поеду. Ты зовешь меня в лесную чащу. Когда-то в царской ссылке работал я лесорубом. Помню лес, недобрый, мрачный. В поте лица своего добывали в нем пропитание люди. Однажды упавшая сосенка раздробила мне три ребра. Уф! Трудное житье, стужа и пурга. Нет уж, уволь! Стар я».

Понемногу вернулись к Терезе силы, а с ними воля к действию. Вместе с дочерью оставила она навсегда северный край и переехала в Москву. Там отец, сестра Мария и коллеги предоставили ей все необходимое: дружелюбие, квартиру, условия для научной работы. Трудолюбие и чувство долга решали многое в жизни Терезы. Если к этому присоединялось увлечение, она преодолевала препятствия и добивалась цели. Оставалось учиться, и тут-то ей помог характер, упорный и требовательный. Сначала она казалась себе ученицей, ежедневно идущей в школу. Потом стало легче, но со времени окончания сю института, медицина значительно обогатилась сведениями. На помощь пришла многолетняя практика, и Тереза

поверила, что может стать настоящим ученым, и с еще большим рвением, всем жертвуя, занялась наукой.

После нескольких лет напряженного исследовательского труда в экспериментальных лечебных учреждениях, изучения теоретических трудов известных ученых она защитила кандидатскую диссертацию. Но это официальное признание ценности ее научного вклада только усилило стремление продолжать проникновение в заветные глубины науки, все еще темные, неизученные и дразнящие. Терезу целиком захватила намеченная цель — добиться для преждевременно дряхлеющих людей продолжения жизни. Научная работа приносила ей удовлетворение более полное и надежное, чем любовь.

«Так вот в чем счастье! — думала она. — В постижении неведомого и служении людям. В добре».

Увядание мозга, его таинственные болезни... Похожий на сердцевину грецкого ореха, человеческий мозг казался Терезе божеством. Как расшифровать, проникнуть в секрет этого клубка мышления и чувств? Продлить его молодость — разве это задача не столь же важная, как странствия по галактике? Ведь именно мозг открыл человеку все выси, дал исполинское могущество, наполнил жизнь смыслом.

Что такое дряхлость, ослабление памяти — этой сокровищницы опыта, знаний? Миллионы клеток, как пчелиные соты, напитаны влагой жизни. Когда происходит необратимое уничтожение клетки, чем предохранить, защитить ее от распада и продлить существование этого чудейственного сосуда силы и творчества? Отдалить смерть, победить ее сподручных — болезни, — вот высший смысл медицины. Тереза, содрогаюсь, думала о тех кладах, которые забирает земля, — о недожитых жизнях, не раскрытых до конца талантах, недоданных людям мыслях, стихах, песнях. Что по сравнению с этим все богатства недр, залежи драгоценных руд и металлов! Продлить жизнь, уничтожить старость, сохранить мозг, душу людей молодыми и творчески полноценными стало ее неотвязной мечтой.

К разгадке старости, размышляя, колдуя, творя, странствуя в поисках трав и волшебного корня, стремились древние знахари, поэты и гадалки.

Старый Фауст расплатился за краткое могущество юности своей совестью и душой. Среди неотразимых соб-



лазнов дьявола было обещание метаморфозы, возвращения молодости и всех ее благ.

То, о чем мечтали средневековые философы, алхимики, буддийские монахи и египетские жрецы, занимавшиеся врачеванием,—долговечие, создание эликсира жизни,—не переставало манить умы во все века, вплоть до современных ученых.

Со времени многочисленных попыток профессоров Штейнаха и Воронова добиться омоложения путем пересадки желез, которые так и не увенчались успехом, ученые не оставляли поисков секрета вечной молодости и бодрости тела и ума.

Терезе посчастливилось познакомиться с одареннейшей румынской ученой Анной Аслан. Эта женщина в свои семьдесят пять лет сохранила не только внешность цветущей красивой женщины, но и завидную работоспособность, неугасимый творческий огонь.

Аслан рассказала Терезе о себе. Много лет назад, будучи хирургом, обратила она внимание на необъяснимую тогда исцеляющую мощь новокаина, оздоравливающего клетки и омолаживающего их. Но одного этого препарата оказалось еще недостаточно для стойкого эффекта. И началась напряженная экспериментальная работа Аслан, поиски новых средств и проверка действия их на белых мышках, кроликах, обезьянах. Позднее она начала лечить людей. Вместе с прославленным геронтологом Пархоном, затем одна, возглавив группу молодых энтузиастов-ученых, Анна Аслан пошла в поход на старость. Нелегкая началась борьба, но результаты подчас были разительные. Румынские ученые разработали целый комплекс оздоровительных мер в борьбе со старением. Тут лекарства, впрыскивания различных препаратов, диета — все применялось для остановки губительного возрастного разрушения клетки.

Большую часть дня Тереза проводила в светлых палатах геронтологической клиники, где находились долгожители. Некоторые из них сохранили чудодейственную свежесть восприятия, подвижность и ясность мышления, иные казались живыми мощами, скелетами. Увы, старость, как дьявольская агония, кладет свою ужасную печать на лицо и тело. Она уничтожает красоту и силу, обнажает уродство и разложение. Склероз, слабоумие,

размягчение мозга, параличи, перерождение тканей — таков обычный удел долголетия.

«Сила и красота суть блага юности, преимущество же старости — рассвет рассудительности», — писал Демокрит.

Среди пациентов клиники была престарелая женщина, которой исполнилось уже девяносто семь лет.

Тереза с интересом беседовала с ней.

— Я была некогда писательницей, — рассказывала старушка. — Последняя моя повесть напечатана пятьдесят лет тому назад, сразу после первой революции. Потом мне было не до беллетристики. От тифа умерла моя старшая дочь. А за ней пришлось пережить всех родных, даже внуков... Часто мне кажется, что я прожила не одну, а много совсем непохожих жизней. Я очень страшилась старости, ведь досадно быть руиной, когда душа молода и считаешь себя, право, не худшим творением природы. Но хвала богу, я не так уж страшна и в свои почти сто лет, не правда ли, доктор?

И действительно, в ней не было ничего отталкивающего.

— Я знаю, — продолжала бывшая писательница, — вы все думаете, отчего именно я, женщина с рядовой биографией, мало чем полезная людям, живу, а за это время, не дожив и до восьмидесяти, умерло столько гениев, ученых, писателей, артистов...

— Нет, — прервала ее Тереза, — живите как можно дольше, это подтверждает то, что все человечество вправе требовать удлинения жизни.

— Доктор, я все еще хочу жить. Да и есть ли, скажите, возраст, когда захочется умереть? Старики, поверьте мне, не меньше дорожат жизнью, нежели молодые. Я еще тоже способна кое-что сделать. Смотрите.

Она протянула Терезе великолепно связанный платок.

— Очень красиво! — искренне порадовалась за долгожительницу Тереза. — Вот как действуют на вас уколы геровиталя и другие процедуры.

Врача восхитили открывающиеся перед наукой новые ослепительные и бескрайние просторы.

Тереза перешагнула значительную веху в жизни — пятидесятилетие. Но нет старости у творческих душ. Время лишь закаляет их. Цель рождает энергию, дает бодрость и неутомимость. Как дальний неясный колокольный звон, отсвет угасающего костра, возвращалось к Те-

реже все реже ее прошлое, вызывая тихие сожаления и грусть. Минутная горечь воспоминаний не ослабляла, Тереза бессознательно берегла себя.

«Творчество, работа — вот покой, смысл бытия, радость», — окончательно уяснила себе она. Время больше не угнетало ее.

Мать внушила Наталье представление о Елке, как о мечтательном, глубоко чувствующем и, уж конечно, верном и любившем их до последнего вздоха человеке. Образ его с годами в мыслях дочери обретал ореол романтики и совершенства.

— Если бы мой папа был жив, — говорила иногда Наталья, — в трудные дни он был бы со мной, а без него — сиротство.

Казалось, дни Терезы освещены высокой целью и судьба не грозит новыми потрясениями. Но случается иногда нечто вихрем сметающее налаженный быт и внутреннее равновесие.

Неожиданно Тереза получила письмо. Обратный адрес, имя и фамилия корреспондента, написанные крупным почерком, произвели на нее столь оглушительное впечатление, как если бы в окно ворвался огромный шар молнии.

— Жив... Он... жив!

Тереза грузно опустилась в кресло, долго, как парализованная, ничего не ощущала и тупо смотрела на листок бумаги. Письмо было написано по-украински. Постепенно до ее сознания стал доходить смысл написанного. По-русски письмо Елки звучало так: «Простите, Тереза. Беспокоит вас Елка, Анисим Иванович. Может быть, вы забыли меня, но в годы 1942—43, в деревне Забытово, мы были вместе. Я любил вас. Зимой 1943 года я ушел на фронт, откуда писал вам. Ваша любовь помогла мне выжить, ваши письма в армию поддерживали меня в испытаниях. Вы сообщили мне, что у нас родилась дочь... Увы, всему виной война. Когда наши освободили Украину, нашли мои жена и сын... Связь с вами прервалась. Сердце болит, когда вспоминаю, как любил вас и как все получилось. В то время я не знал, останусь ли жить. Война! Но все годы я думал, что у меня есть дочь, и хотел ее видеть. Ничего не хочу — только повидать нашу дочь. Знаю, я подло поступил, что исчез, подло прятался, не писал. Я виноват. Вы так нежно ко мне относились. Простите меня и разрешите хоть одним глазом взглянуть на дочь.

Тяжко мне, прошло более двадцати лет. Ведь никто не был мне дороже вас...»

Тереза не стала читать дальше. Она бросилась к дочери и показала ей письмо Елки. Возможная встреча с родным отцом ошеломила Наталью.

Оплаканный мертвец вернулся. Но где же он был все эти годы? Почему решился открыться теперь? Зачем? — спрашивали себя Тереза и ее дочь.

— Мне так не хватало отца в детстве и юности, — говорила Наталья. — Сколько раз я горевала оттого, что он погиб, и вот, оказывается, он не только существует, но даже вспомнил о нас, вспомнил тогда, когда более не нужен нам, потерял, по существу, право называться моим отцом. А нет ли особых причин в том, что он решил скрыться от нас, считаться умершим?

Тереза старалась представить себе жизнь Елки за эти два десятилетия.

«Может быть, плен, вынужденное пребывание в чужих краях, может быть, чем провинился и не осмелился сообщить мне о своем позоре? Должна же быть какая-то веская, пусть даже страшная причина такого поступка. А что, если просто отвык, ушел, спрятался от необходимости заботы и помощи?» Эту последнюю мысль Тереза гнала, ей хотелось сохранить неприкосновенным тот образ Елки, который она берегла, никогда не изменив его памяти. Она не могла допустить, что исчезновение Елки всего лишь частый финал случайной связи.

...Встречать отца поехала на вокзал Наталья.

«Как мы узнаем друг друга?» — с беспокойством думала она. Ведь они никогда не виделись, а старенькая фотография, где Елка снят еще молодым, выцвела настолько, что едва различимы были его черты. Когда поезд подкатил к перрону, Наталья подошла к вагону, указанному в телеграмме. В освещенном окне она увидела полного, пожилого, с проседью человека, который не торопясь двинулся к выходу.

«Только бы не он», — внутренне запротестовала девушка. Но в ту же минуту поняла каким-то необъяснимым чувством, что именно этот мужчина в сером добротном пальто и шляпе, наполовину скрывшей крутой широкий лоб, ее отец Елка. Спустившись последним с подножки, он направился к Наталье.

— Доченька, я не ошибся, ведь ты и есть Наталочка? — спросил он сдавленным бесцветным голосом.

И девушка, сама не понимая отчего, заплакала, прижавшись к широкой груди незнакомого донине человека. Слово «папа» застыло в горле, и она не смогла его произнести.

В такси они почти не говорили. Растроганный встречей, Анисим Иванович прослезился и долго сморкался, а Наталья вдруг ожесточилась.

Она боролась с раздвоенным чувством к отцу: симпатией и необъяснимым, почти детским, тяготением и желанием придраться, наругать. Как часто плакала она над братскими могилами безымянных героев Отечественной войны, представляя себе мужественный и страшный час смерти отца и коря судьбу, обрекшую ее на безотцовство.

А дома Елка допытывался у Терезы:

— Одна живешь или с мужем? — Он хмуро покосился на ее все еще сохранившее молодость гладкое лицо.

— Одна, — холодно ответила Тереза, но, подумав о дочери и любимой науке, поспешно добавила: — Впрочем, не совсем. Одиночества вообще больше не знаю.

Анисим Иванович потемнел и насупился. Досада отразилась в его серых живых глазах.

— Верно, давно меня позабыла, — сказал он. — Знаю я женщин — двойная бухгалтерия. Так говорил, бывало, мой батко. Умер он недавно, девяносто шесть лет прожил. Вот какая у меня завидная наследственность. Живучий я.

Тереза ответила ему с наигранной веселостью:

— Признаюсь, я вовсе не надеялась увидеться с мертвецом. Впрочем, на покойника ты не похож. Жирноват, моложав, проживешь, как твой отец, не менее ста лет.

Елка помолчал, внезапно подошел вплотную к Терезе и попытался поцеловать ее.

— Красивая еще, даже лучше стала, — удивленно объяснил он свой порыв, вглядываясь в забытые черты.

— В оправдание своей измены ты, верно, обо мне вспоминал, как о дурнушке. Но ведь народная мудрость говорит: не по хорошему мил, а по милу хорош. Быстро же я, однако, выветрилась из твоей памяти.

Анисим Иванович и Тереза стояли рядом, думали о былой близости и о том, что жизнь, как в лесу, навалила

между ними горы бурелома и не пробраться им сквозь его густую колючую массу.

Наталья позвала родителей, и трое равно близких и далеких людей уселись за один стол.

— Батюшко мой,— начал Елка, пряча неловкость и подняв бокал в ознаменование встречи,— учил меня: «Сынок, ничего не бойся. Седеют, стареют, умирают от страха. Пей в меру, работай во всю силу». Выпьем за отвагу. Со свиданьем, мои дорогие.

Тереза не пила, только пригубила рюмку, внимательно вслушиваясь в каждое слово, сказанное Елкой.

— Хорошо живете. Очень вами доволен,— добавил он, все еще стараясь побороть возрастающее замешательство. — А я в письме все написал, шó винюсь перед вами. Война! Все она, злая, с нами наделала. Семью свою нашел, сына! Растерялся. Потом еще дети пошли. Вот и остался с первой женой. Простите меня.

— Зачем ты решил все-таки написать нам и где был адрес?

— Адрес — так это ведь чепуха его достать. Написал в адресный стол. Балакову теперь знают: кто же на свете хочет стариться? Последние года я почему-то все время вспоминал вас, во сне тебя и себя молодыми видел.

— Как ты нам с мамой был нужен тогда, давно, на Севере. Где же ты был? — жестко, глядя прямо в глаза отцу, спросила Наталья. — Сколько же у меня братьев и сестер, знают ли они обо мне?

— Две сестры и брат. Ничего они не знают,— опустив голову и не набравшись сил солгать, ответил Елка. — Нет, не знают, но я им скажу, я им всю правду расскажу.

— Не надо,— сухо вмешалась в разговор Тереза.

— Почему так?! — хмелея, крикнул Елка. — Ведь Наталья — ридна моя дочь, самая наилучшая. Пусть все знают: слабый я, плохой человек...

Он как-то обмяк, припался слезливо ворошить прошлое, просил Терезу:

— Скажи хоть словечко, отпусти мне грехи мои. Любил я тебя и сейчас люблю. Все брошу, лишь бы...

— Нет, Анисим, поздно, не склеить разбитой посуды.

— Битая посуда два века живет. Ты мне дороже всех других женщин. Будет лад, а где лад — там и клад. Жена Анка поймет, простит, отпустит. Счастья у нас с ней не было.

— Для меня ты мертв. Да и годы наши уже не те.

— Если есть у тебя другой, уйди и ты от него. Ты любила меня... У нас взрослая дочь,— твердил Елка.

— Расскажи лучше, как жил все это время? — потребовала Тереза.

Жизнь Анисима Ивановича сложилась относительно удачно. Начал Елка свой воинский путь старшиной на переднем крае. Воевал храбро. В конце сорок третьего командовал ротой. Затем, когда его часть выходила из окружения, был тяжело ранен и контужен. После полугода пребывания в госпитале Анисима Ивановича признали ограниченно годным к воинской службе. В небольшом офицерском чине он был переведен на интендантскую службу. Болезнь, инвалидность надолго притупили все чувства Елки, и он как бы позабыл Терезу. Вернувшись на фронт, он некоторое время был начфином полка и своей исполнительностью, умением припоровиться к людям понравился начальству и вскоре возглавил корпусной военторг.

Победа застала его в Вене. Располневший, веселый, вернулся он на родину и начал работать начальником ОРСа, но скоро это наскучило ему, и он уехал в село, где родился, и остался там председателем колхоза, в который вошли три окрестные деревни.

Почему Терезе из части послали «похоронку?» Это сделал не Анисим Иванович, а друг его, когда при выходе из окружения разнеслись слухи, что Елка убит.

Выйдя из вражеского кольца, Анисим Иванович мог бы написать Терезе, что жив. Но он нашел семью, которую считал погибшей, и первая жена, отец, родные места приковали его. Так и не удосужился он за долгие годы отыскать Терезу и свою дочь.

Двадцать лет работал Елка в сельском хозяйстве. Возле процветавшего, как и колхоз, сахарного завода Елка построил себе над прудом добротный дом со стеклянной террасой. По настоянию Елки, жена его, мать троих детей, оставила работу и целиком отдала себя домашнему хозяйству.

Анисим Иванович все реже вспоминал Терезу и Наталью.

«Верно, вышла замуж и воспитывает со своим мужем мою дочь,— размышлял он,— не тот отец, кто зачал, а тот, кто вырастил. Горе наше. Да, все война наделала. На что я им теперь? У меня своих детей полна хата».

Старая, Елка незаметно для себя огрубел сердцем... Но вот однажды Анисим Иванович заболел и очутился в районной больнице. И случилось так, что сосед по палате завел беседу о лечении старости.

— Вот есть у нас профессор-женщина. И на редкость сильна она в науке. Открыла какое-то средство против дряхлости. — Рассказчик назвал при этом фамилию, резанувшую слух Анисима Ивановича.

— Балакова? — переспросил Елка и едва удержался, чтобы не похвалиться тем, что он отец ее дочери.

С тех пор и потерял Анисим Иванович спокойствие. Взбунтовалась память и, непрощенная, перенесла его в далекий северный край. Один за другим всплывали давно ушедшие и, казалось, забытые дни. Вернулись любовь и тоска.

Как назло, то по радио, то в газете упоминали о работах Балаковой, получившей к тому времени правительственную награду. Имя некогда любимой женщины снова прочно утвердилось в сознании Елки.

Все чаще думал он о дочери, которую никогда не видел. Жива ли? Какова?

«Хоть выросла без меня, но все равно моя, — рассуждал он, — и, может, лицом на меня похожа. Девочки чаще в отца».

Вскоре тайком, как вор, он отправил письмо в Москву. Ответ в первое мгновение больше удивил, чем обрадовал его. Он ждал от Терезы отказа. Но она пригласила его. Анисим Иванович купил отрез на костюм, настольные часы, на которых выгравировал: «Доченьке от папы», сумку. Добавив к этому коньяк, шампанское и коробку шоколадных конфет, он отправился в столицу.

И вот Анисим Иванович в квартире Терезы.

Более недели пробыл он в Москве. Каждый день виделся с Терезой и дочерью. Наталья с трудом преодолевала отчужденность, но мало-помалу пришло к ней чувство, чем-то схожее с привязанностью к столь поздно и странно обретенному отцу.

Терезе не о чем было говорить с Елкой. Единственное, что еще связывало их, была Наталья. Но чтобы иметь возможность сосредоточиться и работать, Тереза жаждала одиночества.

Теперь, когда на ее пути снова возник, как лунный седой луч, призыв к личной, семейной жизни, она, не



задумываясь, отвергла его. Наука, творчество, замыслы, пусть недостижимые, подобно сказочной синей птице, думалось ей, спасают от разочарований, превращаются в цель бытия.

Елка упрямо добивался от Терезы прощения и согласия на совместную жизнь.

— Дети уже выросли, а люблю я только тебя,— твердил он.

Тереза настаивала на своем.

— У тебя жена, с ней ты прожил долгие годы,— увещевала она Анисима Ивановича. — Мы оба уже стары. Поздно. Останься в своей семье. Я не хочу ничьей обиды, слез, домогательств. У твоей Анки нет специальности, ничего нет, кроме тебя и домашнего хозяйства. Пусть же на старости эта женщина не потерпит из-за меня полного банкротства. Ее ведь ждет тогда глухая пустота. Это не одиночество, если человек живет с багажом мыслей, впечатлений, событий, воспоминаний, которыми обогатила его жизнь, если у него впереди заманчивая цель. А что у твоей жены? Пустота.

И Тереза отказала Елке.

— Подумай, серденько, не гони меня совсем,— твердил он и заплакал, прощаясь, как в день проводов на фронт.

После отъезда Елки Тереза загрустила. Память вернула ей любимый запах маттиолы, и с ним воскресло исчезнувшее.

«Я ведь отказываюсь от маленького во имя большого, во имя того главного, для чего стоит жить, чему надо отдавать последние силы. Узко личное часто несет нам трагедию. Отказ от него продиктован инстинктом самосохранения. Мы привязываемся по-настоящему только к тому, во что вложили всю силу мыслей и желаний, весь свой душевный капитал, к тому, за что отдаем свои слезы и кровь. В этом наша связь с детьми и делом, целиком захватившим нас. Труд, обретенный и желанный, сжигает и воскрешает нас. Когда-то я металась в поисках любви... По-разному была я нужна мужчинам, но всегда в конце концов терпела аварию и оставалась в пустоте, которую только по неопытности называла одиночеством. Убийственна пустота, а не уединение, когда мы еще способны действовать. В переполненной чувством и думой человеческой душе нет одиночества».

## ИСТОКИ

Был ли у Мурома свой Омар Хайям, чтобы оком поэта заглянуть в глубь его истории? Приходят и уходят поколения. Более тысячи лет стоит Муром, родина сказочных богатырей, упрямых превосходных умельцев, воинов, толстосумов-купцов. Былинный город сторожил некогда восточную границу Руси и победил вражью рать в долгой борьбе за Окско-Волжский путь. Позднее на клич Минина и Пожарского поднялись для защиты Руси муромские ополченцы.

Хмуро и значительно выстроились в центре Мурома солидные дома-лари с фикусами и созревающими помидорами на подоконниках. За крепкими заборами спрятались сады и огороды. Пустынно было знойным днем в поросших пахучим бурьяном переулках. Ветер безудержно мел сор по пыльным мостовым. С обрыва, близ пестрого базара и каменных торговых рядов, далеко видны приокские просторы и нетерпеливо уходящая в поле река.

В восьмидесятих годах Муром, где родился Павел Балаков, был захолустным, опоясанным лесом городком. По жестокому капризу случая отец Балакова, плотник, утонул в день появления на свет сына. Мать осталась с четырьмя сиротами в крайней нужде. Раннее вдовство и бедность искалечили ее и свели в могилу. Павла забрал дед, рабочий горного завода «Дощатое», старообрядец, принадлежавший к поморской секте. Это был честный, угрюмый, строгий к себе и другим человек. Слова: хула, согрешение, искушение, которое дед произносил — «скушение», гремели над Павлом, как и «Псалмы Давида» и «Жития святых». Мальчик рос в боязни божьей кары и готовности умереть на плахе в злом мире пороков и ереси. Староверов жестоко преследовали полицейские и поповские власти. В Павле зрел бунтарь. Это был рослый крепыш. Босоногие мальчуганы всей округи боялись вступать с ним в кулачные бои. Но без драк не обходилось. Не только детвора пререкалась и схватывалась врукопашную на просторных пыльных улицах. Свары между старообрядцами и церковниками возникали часто, и религиозный угар плыл над городом. Хула и древние молитвы звучали, как перезвон церковных колоколов,

Стойкая борьба за свои верования, двойной гнет нищеты и преследований творили сильные характеры, и Павел уже в восемь лет, когда пошел в школу, был не по возрасту развит и готов на подвижничество и сопротивление. В этот день дед поведал ему притчу.

— Бодрствуй, Павел,— начал он. — И помни — господин, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному дал пять талантов, то бишь серебряных монет, другому — два, а последнему — один. Получившие пять и два таланта употребили их в дело и собрали вдвое. Кто поимел пять — получил десять, кто два — четыре. Третий раб зарыл свою деньгу в землю и скрыл ее. Вернулся господин домой и позвал рабов. И, подошед к нему, получившие пять и два таланта вернули: один — десять, другой — четыре. Сказал им господин: «Верные, добрые рабы. В малом были вы верны, над многим вас поставлю». Раб, получивший один талант, отдал ему столько же и сказал: «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не растил. И, убоявшись тебя, скрылся твой талант в землю. Вот тебе назад твое без прибыли». И вознегодовал господин: «Злой, лукавый и ленивый раб. Возьму у тебя талант и отдам имеющему десять. Ибо всякому имеющему дается и приумножается. У кого есть уши да услышит!..» Понял ли ты меня, отрок? Приумножай талант свой во имя божье. Ступай в мир греха и разврата и сохрани душу свою.

Школа для Павла явилась горьким испытанием. Три года, пока он в ней учился, священник, преподававший закон божий, узнав, что мальчик старообрядец, заставлял его за непосещение церкви каждый послепраздничный день выстаивать три часа на коленях.

— Кайся, еретик! Авось простится,— приговаривал он, оставляя допоздна без обеда.

Учитель с особым тщанием бил Павла линейкой, поучая:

— Темень ты, лес непроходимый. Наплачутся от тебя люди, дубина стоеросовая.

Стоя без вины на коленях в неприглядном, замызганном классе, Павел убеждался, что на свете нет правды. Мечты и фанатическая вера помогали ему. Он решил, как неистовый протопоп Аввакум, отдать жизнь за истинную, старую веру. Он называл школьного попа чертушкой Ни-

коном, а учителя — еретиком царем Алексеем. Ему хотелось славы старообрядческого проповедника и мученической кончины.

Расставшись с ненавистной школой одиннадцати лет от роду, Павел вскоре схоронил деда и пошел в люди искать заработков. Он не брезгал никакой работой: чистил помойки, прислуживал купцам, собирал фрукты в садах и наконец попал на маленький завод, где просеивал песок в литейной мастерской. Пятнадцать копеек за двенадцатичасовой рабочий день для подростка считалось удачей. И постепенно уже не бесстрашным протопопом Аввакумом хотел бы стать Павел, а уверенным в своем мастерстве токарем по металлу. Детство уходило вместе с воспоминаниями о деде, строгих постах и молитвах, вместе со смутными видениями и тоской по умершей матери. Она припоминалась доброй, но раздраженной, сутулой, с тоскливо сведенными бровями, худым лицом и сине-зелеными холодными руками. До самой смерти зарабатывала мать свои гроши, стирая чужое белье на Оке.

В самом начале нового века, после недолгой работы на Сормовском заводе, юноша решил перебраться в Питер...

«Как давно это было!» — вспоминал Павел Александрович.

Старость — пора мышления и странствий по минувшей жизни, осмысление того, что стихийно, бездумно вздымало и бросало в низины. Путешествие в бездну и в поднебесье. Последняя возможность узнать себя и подвести бесстрастные итоги.

Жизнь всегда представлялась Павлу Александровичу очень краткой и вместе бесконечной. Было ли время, когда он не существовал? Это казалось таким же трудновоспринимаемым, как и будущее без него.

«Меня не было, меня не будет».

То и другое не укладывалось в сознании, но тем не менее он не бежал прочь от неизбежности, а старался вжиться в нее, чтобы понять и преодолеть холодный страх небытия. Годы торопили, но они же открывали простор его мысли. Глубокая старость, ограничивая потребности и обязанности, позволяет глубже и дальше видеть.

Павел Александрович мог уложить свою жизнь на страницах короткой анкеты и одновременно написать

о ней несколько увлекательных томов. Анкеты уныло одинаковы, а живая летопись жизни отдельного человека вызывает тысячи чувств и размышлений. Она неожиданна, сложна и непостижима, будто атомы, из которых создается все на Земле.

Подобно большинству, Павел Александрович в молодости действовал, не контролируя глубинно суть того или иного случая и причины своего поступка. Не книги, а люди воспитывали его. Не раз по закону противоположности плохие, настораживая, отталкивая, бросали его к добру и свету. Так, очертя голову начал он борьбу со штрейк-брехерами на Семянниковском заводе, где работал. Вот когда опятьгодились ему тренированные мускулы и высокий, почти двухметровый рост. Воитель с детства, он собрал вокруг себя мальчиков-сверстников из корабельных и столярных цехов. Набрав в карманы гайки, обрезки и куски железа, они направились в доки и мастерские, чтобы поддержать стачку, охватившую в 1901 году многие заводы. Они выгоняли из доков рабочих, не желавших присоединиться к протесту, и преследовали отступников и предателей. Не подчинившихся общему решению о забастовке «отряд» Павла Балакова осыпал градом мелкого лома, болтов, гвоздей. Буйная ватага появлялась на дворах Семянниковского и Обуховского заводов, призывая к протесту и освистывая маловеров и трусов. Конные и пешие полицейские гнались за рабочей молодежью и хлестали их нагайками. Но неустрашимость всегда заразительно действует на участников сражений. Пример сынов подбодрял отцов и дедов.

Павел оказался в черных списках жандармерии. Как участника стачки, сопровождавшейся кровопролитием, его изгнали с завода. Начались испытания безработицей и голодом. В мастерских платили столь мало, что не хватало на оплату ночлега и пропитания. Павел ночевал в окраинной бане, ремонт которой производил днем с другими мастерами.

Мытарства усиливались. Именно в этот трудный час Павлу попалась социал-демократическая литература, гневная и справедливая. Трудно было найти почву более восприимчивую и готовую дать всходы, чем закаленный бедностью, мечтой о равенстве, преследуемый с детства юноша. Семя бурно проросло. В это же время Павел любил,

Правда ли, что крайности сходятся и человек ищет в других то, чего сам не получил от природы? Сила тянется к слабости, простодушие — к хитрости? К двадцати годам Павел стал высоченным, широкоплечим парнем. Он стеснялся себя, своего роста и ладности.

— Экий вымахал парень, — слышал он часто.

Все в нем было широким, видным: лоб, брови, глаза, нос и даже рот. Румянец во всю щеку и улыбка приятная и располагавшая к доверию.

— Так ты муромский — Илья, значит, богатырь.

— Хороший город Муром, Ока, леса дремучие, — отвечал, улыбаясь во всю ширь лица, молодой токарь.

Он был столь же добр, сколь упорен и вспыльчив. Он еще не осознал, как былинный исполин, сколь силен был духом, волей. Все это пришло, когда окреп его ум. Знания и осознанная цель совершают с такими людьми чудо — они непоколебимы в любых боях.

Девушка, которую Павел полюбил, была чем-то похожа на его мать, так же невесела, сухощава, болезненна. Когда он предложил ей обвенчаться, она рассмеялась.

— Чудак, ты ведь никто и ничто — на что жить-то будем?

Он действительно был всего лишь безработным. Не оспаривая, не сказав ни слова, Павел собрал гроши на дорогу и направился в родной Муром. По пути заехал в Сормово, уже как член социал-демократической партии, захватил там с собой листовки, брошюры и несколько номеров подпольного журнала, выходившего в Нижнем Новгороде.

Павел Балаков, вернувшись из Питера, впервые задумался над славной и необычайной былью своего города. Затихший и дремлющий, он показался ему всего лишь курганом, покрывшим истлевшее прошлое.

«А есть ли у Муромца будущее? Есть ли будущее у меня?» — мысленно спрашивал он, оглядывая серебристую Оку и черные вокруг нее леса.

Отыскал он избу, где прошло его детство в обществе деда. Дом казался полусгнившим гробом. В нем поселились другие, со своей незавидной долей. Рядом все еще стояла хата, где мытарствовал сапожник, спившийся от тоски и неудачи. Сын его Васька, друг Павла, повесился девяти лет от роду, Павел вынимал его из петли и шел за гробом, завидуя Васькиной новой косоворотке и бумажному

венчику на лбу. Вася лежал торжественный и умиротворенный. Дед Павла, глядя на самоубийцу, осенял себя двуперстием и шептал: «Самоубийце уготован ад». Похоронили Васю за погостом.

Было детство Павла полно потерь, изнуряющего, как тяжелая болезнь, горя.

Много увлекательного рассказано о счастливой жизни, изобилующей впечатлениями, яркими встречами, радостью, путешествиями, мишурой слов и увлечений, но как уныло и скучно повествование о бедности и незадачливых судьбах. От описания несчастий бегут, как от людей, попавших в беду, погруженных в печаль.

Павел поступил на завод. Он поселился в доме почтового чиновника Мошенцева. Этот тщедушный, юркий человек, тоже член социал-демократической партии, отличался шумной говорливостью, нетерпимостью, требовал решительных политических действий и, хотя слыл трезвенником, казался всегда навеселе. Павел с первого знакомства невзлюбил его, но выбора не было, к тому же юноша вгрызся в книги, которые нашел в двух скрипучих шкафах своей комнаты. Хозяин дома получил их в приданое за женой. Классическая русская литература пробудила в Павле радость пилигрима, достигшего страны обетованной. Он сначала даже растерялся и ощутил себя безмерно жалким и невежественным. Но затем — блаженным и обогащенным. Вспыхнувшая впервые страсть к познанию несколько не охладила его трезвой привязанности к повседневности и людям, живущим в мире вечной борьбы за краюху хлеба и сносный ночлег.

Но радость общения с книгами была недолгой. Павел первым в муромской подпольной организации усомнился в Мошенцеве и его честности. Не только потому, что заметил неоправданные исчезновения почтового чиновника из дома и бодрствование по ночам за письменным столом.

— Дневничок веду, Маркса почитываю, — отвечал он на выпрашивания Павла.

— Покажите, любезный, — просил слесарь.

— Секрет, государственная тайна, — смеялся Мошенцев.

У почтового чиновника неведомо откуда появились деньги, и тщеславия ради он хвалился ими и пропивал с друзьями.

Однажды у Павла пропала листовка и тетрадка с записями. Он насторожился, встревожился.

Внук старовера сохранил навсегда некую недоверчивость к людям и не скоро сближался с ними. Он привык к ударам из-за угла, к предательству и соглядатайству.

— Мошенцев — провокатор, засланный в партию полицией, — говорил Балаков единомышленникам. Но у него не оказалось веских доказательств.

Очень скоро провокатор провалил-таки всю организацию. Павла арестовали одним из первых и увезли во Владимирскую каторжную тюрьму, где заперли в одиночке.

Там один на один с самим собой Павел смог оценить силу мышления. Он тренировал волю, как бицепсы. Никто и ничто не могло поколебать его. Сознание собственного достоинства заставляло его схватываться с тюремщиками и выдерживать допросы. Закаленный сызмала лишениями и готовый на смерть, но не на отступление, он был непобедим в любом единоборстве. А книги пришли к нему, как собеседники. Он погружался в них, как легендарные рыцари в чудодейственную реку, из которой выходят как бы в броне. Они возместили ему все, чего он не имел в камере, провонявшей аммиаком и крысиным пометом. Из-под защитных напластований — суровой замкнутости и внешней резкости — извлекли они сердечную нежность, доброжелательность и приобщили его к отдельному человеку, а не вообще к людям, безликим, как это было с ним раньше. Павел сочувствовал каждому обездоленному и задумывался о судьбе таких же, как сам. Он понял всю сложность жизни.

Павел читал без разбора все, что удавалось добыть. Книги учили его сомневаться, оспаривать, искать и находить нужное. Противоречия бурлили в нем, и в их целебном накале рождалась энергия для больших и правильных дел.

Он был тогда всего лишь маленьким животворным родничком, затерянным в песке, и лишь с годами благодаря борьбе, людям, мыслям, умным книгам превратился сначала в упрямый ручей, а потом стал даже сильной речкой. Дожди и талый снег, потоки с гор и подземные, пробившиеся на поверхность воды напоили Павла и погнали вперед по кручам и низинам. Так он вошел в жизнь.



После удачного побега из тюрьмы новые товарищи Павла помогли ему эмигрировать. Два года провел он, скитаясь в поисках работы по Франции и Англии.

— Чего только не случалось за эти годы и достойного и нехорошего со мной, — вспоминал Павел Александрович. — Все мы люди, все человеки. Идею, так сказать, не изменял — тут я чист. Нынче думается, старый большевик — чуть ли не иконописный лик. Ерунда! Есть, видно, каждому чем гордиться, есть и за что краснеть. Главное, впрочем, чтобы в человеке преобладало лучшее, настоящее. Но не споткнешься — и ходить не научишься. Вернувшись в Питер с поручением от заграничных товарищей — это было в самый разгар событий 1905 года, — шел я как-то по улице, а навстречу — один из старых друзей моих, подпольщик, а за ним некто в гороховом пальто. А может, это и привиделось мне. И что же, сам не знаю какой чертяка, а попросту страх толкнул меня в подъезд. Струхнул я. Не захотел, видно, себя подвести, побоялся ареста. Тут же, впрочем, устыдился, выбежал на улицу, от срама похолодев, а он уже и след простыл. Никогда он мне этого позора не припоминал, а я вот всю жизнь каюсь. Как следовало поступить? Знаю, что не этак...

Павел изучил за границей французский язык. Внешне он мог бы сойти за гвардейского офицера, надевшего штатское платье. Знания его были весьма многообразны.

Приехав в Питер, он вскоре отыскал там девушку, отвергшую ранее его любовь. Это была фельдшерица немного старше Павла годами. Остроносенькая, миловидная и задиристая, она посвятила себя хворой матери, брату, которого мечтала видеть врачом, и двум малолетним сестрам.

В этот раз Павел повел ее к венцу. Недолго прожил он со своей женой. В конце 1909 года его снова арестовали. Обычная участь профессионального революционера. Когда у него родилась дочь, он смог увидеть ее только через решетку тюрьмы. Жена Павла, прочитав в ту пору «Красную лилию» Франса, назвала поворожденную Терезой. Поп отказался наречь ребенка столь неправославным именем, но, получив мзду, уступил, объявив, что это имя соответствует Татьяне.

Вторая дочь Балаковых, Мария, стоила жизни жене Павла, умершей при родах. Обеих девочек взяла на воспитание бабушка, больная и дряхлая вдова мелкого чинов-

ника, окончившая некогда гимназию и хорошо игравшая на рояле. Она давала уроки музыки на дому. Павел, когда бывал на свободе, относил теще весь свой заработок и привязался к ней по-сыновьи.

За границей он подружился с Георгием Орловым, ученишим марксистом-большевиком, отринувшим среду буржуа, из которой происходил. Велико, неотразимо воздействие одного человека на другого. Был он несколько моложе Балакова, и природа и судьба щедро одарили его.

Он рос в достатке и холе. Все давалось ему настолько же легко, насколько трудно Павлу. Дружба этих совершенно разных по положению и образованию людей была, однако, понятна. Оба родились незаурядными людьми и томились сходными сомнениями, оба отличались совершенной порядочностью и тосковали по всему честному, большому. Такое не прививается одним лишь воспитанием, поучениями, угрозами — это сумма особенностей данной натуры.

Познакомились Павел и Георгий в Париже, в русской библиотеке на авеню Де-Гобелен, и в беседе провели почти всю ночь, шагая по сонным улицам столицы. Георгий, по поручению Ленина, руководил рабочим клубом «Пролетарий» и был страстно увлечен новым для него делом. Лекции, диспуты и привлекали в клуб рабочий люд разных национальностей. Павел зачастил туда же. Не только политические события во всем мире, но и история революционного движения, литература, искусство интересовали французских рабочих и русских эмигрантов.

Однажды Орлов и Павел побывали на собрании парижской большевистской группы. С докладом о двух возможных путях аграрного развития выступил Ленин. Была тяжелая пора реакции, а он предстал перед соратниками как олицетворение провидческой уверенности в скорой победе. Встреча с Лениным, о котором постоянно слышал Балаков, оказалась для него еще одним рубежом жизни. Ленин, весь движение мысли, энергии, с непрерывно меняющимся и всегда значительным чуть веснушчатым лицом, был не только удивительным, как все гениальное, а и по-человечески близким и необходимым.

Балаков ощутил гордость за то, что идет с таким командиром, и еще более уверился в грядущей победе большевиков.

В день объявления первой мировой войны Георгий разбудил Павла — они поселились вместе — и сказал ему:

— Скоро мы возвратимся с тобой в Питер. Рабочие возьмут власть, и партия возглавит революцию. Нельзя терять время впустую. Надо готовиться и быть во всеоружии.

Балаков вернулся в Россию под чужим именем с важными поручениями от Ленина, был снова арестован, препровожден в ссылку, оттуда попал в армию, а в дни свержения самодержавия оказался в Питере. Его жизнь вся без остатка принадлежала партии.

Героизм большевиков первых лет революции — особого рода. Это — настойчивый самосжигающий труд, борьба за человеческое сознание и самоотверженность без предела во имя ясной и строго выверенной цели.

Весной 1918 года Балаков — уполномоченный по заготовке хлеба для промышленных районов России — с маленьким отрядом двигался по Сибири, был ранен из-за угла. С простреленной ногой он продолжал свой путь по глухим сытым деревням, собирал крестьян и уговаривал их помочь советской власти. Не долечившись, он отправился на фронт, принял командование полком. Его давнишнее знание людей пригодилось. Ни тиф, ни голод, ни недостаток оружия — ничто не ослабило воинов. Балакову довелось оставаться в Укре-районе Орла в час сдачи города белым, а через несколько недель со своей частью занять его снова и двинуться на Курск. Снова тяжелое ранение вывело его из строя. Пуля повредила позвоночник. Отнимались ноги. Но воля не изменила, и он не ушел от борьбы. Он упорно стал учиться. Окончил рабфак, Свердловский коммунистический университет в Москве и отправился в деревню. Но в годы коллективизации его снова подстерегла вражеская месть. Кулаки напали на него из-за засады, истязали, бросили, сочтя мертвым. Более двух суток без сознания лежал он в сыром лесу. С этой поры он долго хворал и остался калекой.

Постепенно Павел Александрович смирился с постигшим его несчастьем и научился двигаться на костылях, а позднее пришлось приспособиться к передвижной ко-

ляске и привыкнуть обслуживать себя самому. Положение безногого калеки для богатыря, каким всегда был Балаков, подавляло, но и это он преодолел. В Отечественную войну людямгодились его знания и опыт. Он не остался в стороне от великой беды народной и, работая в центре по координации действий партизан нескольких областей, принес немалую пользу. Старая, Павел Александрович часто повторял слова Франсуа Ларошфуко: «Уметь быть старым — это искусство, которым владеют лишь немногие».

Жил Балаков в двухкомнатной квартире, заставленной книжными шкапами, стеллажами до потолка. Все, что надо, даже стряпать, старик старался делать сам, но убирать его скромное жилище приходила лифтерша Пелагея Ивановна, приметная своей внушительной комплекцией. Комнату в первом этаже, где проживала Пелагея, прозвали кошачьей богадельней. Действительно, Пелагея Ивановна, заботясь о питомцах, пристроила даже особую лестничку к своему окну со двора, чтобы животные могли приходить к ней беспрепятственно. Она уважала лишь тех людей, кто не обижал четвероногих. В Павле Александровиче она нашла полное понимание ее привязанности к животным. К тому же он щедро жертвовал им молоко и все остававшиеся у него продукты и терпеливо выслушивал отчеты и сетования Пелагеи Ивановны.

— Вечор,— сказала она как-то,— Муська принесла мне четверых. Один рыженький, вовсе породой не в Дымка, лохматый какой-то. Не с сибирским ли котом из дома двенадцатого крутила... А ведь ревнущая и царапает Дымка, если он шляется... Подумайте только, что ни зверь, а свой особый характер. Чем такое объяснить? Кошки, а души у них бабьи. Правда?

— Как себя чувствует Муська? — уклонился от ответа Павел Александрович.

— Слаба. Ничего удивительного. Я ведь ее не так давно подобрала совсем почти мертвой, в переулке у Елоховской церкви. Избили, верно, мальчишки. Всю ночь с ней тогда маялась. И теперь она за мной по пятам ходит.

— А Ерема каков?

— Третий день в бегах. Отъелся и убежал. Ну, да вернется, если жив будет. Соседка мне кошечку при-

несла. Выбросили какие-то бесчеловечные люди. А за что? Друзей своих... и вон?.. Жила, по всему видно, хорошо и хнычет с тоски. Можно, я у вас эту подушечку старенькую возьму? Не на что класть убогую...

Разговор иссяк. Помыв посуду и уложив в свою авоську все, что могло пригодиться для ее приюта, Пелагея Ивановна, довольная и деятельная, ушла, а Павел Александрович думал о ней, изредка покачивая остриженной под бобрик головой:

«Нет, не слабоумие это у нее, а доброта, не нашедшая иного применения. Неосознанный страх одиночества... Усердна в работе, памятлива... Нет, не маразм, конечно. Что-то рассказывала о неудачном замужестве, о долгом вдовстве... Сын пьяница... Экая пакость... Взяла в детдоме ребенка... и тут ошпарилась душевно... неудача. А нежности в этой толстухе не впрокорот».

И уже вслух Балаков добавил — старея, он часто разговаривал сам с собой:

— Вреда нет. Гете, что ли, повторял: «Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю зверей...» А жаль старуху. Экое отчуждение. Сама будто много битая, прощательная кошка: всегда наготове у ней когти для защиты. А что они, когти-то... ломкие... старые. Так-так... каждый своим путем... свои чудачества. Я ведь тоже одинок, а впрочем, зубр. Зубры тоже, дряхлея, живут в одиночку. Дети, внуки выросли. У них своя жизнь.

Семья Балаковых к шестидесятым годам состояла из трех поколений: Павла Александровича, достигшего восьмидесяти пяти лет, его двух дочерей — Терезы Павловны и Марии Павловны и их детей — Натальи и Виктора. Сестры разнились не только внешне, но и душевным строем. Мария Павловна считалась женщиной-кремнем.

В детстве, особенно когда мать разошлась с мужем, Виктор крепко прилепился душой к деду, заменившему ему отца. С годами связь слабела. Виктор скучал в обществе людей старшего поколения. Он про себя наклеивал им ярлыки «чудаков», «ретроградов», «ихтиозавров». Вместо почтительности проявлял иронизирование, вытекающее из растущего сознания силы и могущества молодости. Жестокие это годы! Виктора смешили обороты речи Павла Александровича. Дед призывал его «блюсти себя», велеречиво настаивал на том, что человек ответст-

вен не только перед обществом, природой, но и перед своей совестью, призывал к зоркому самоконтролю и борьбе с низменными, как он выражался, «душевыми подстрекателями».

— Ты будто поп с амвона,— шутил внук. — Все верно, но выражения какие-то допотопные. Все это мы знаем, и с тобой я не спорю, но пойми, слова надо бы поискать другие, а то вашенские поистерлись, в век космический не поедешь на перекладных в рединготе. А люди во многом схожи во все столетия, не то что техника и научные открытия. Тут не все понятно и в готовые формулы не ложится.

Старый и молодой Балаковы понимали, что люди меняются вместе с временем, и если не все, то большинство, во всяком случае, соответствует эпохе. Откуда бы иначе явились в мир Королев, Гагарин, Ландау и сотни других? Великие, переломные даты истории немыслимы без героев, особой редкого склада, способностей, воли и подвижничества.

— Да, скрывать нечего,— заявил деду после долгого словесного поединка Виктор,— есть люди, есть людишки. Я сам — медаль о двух сторонах. Не все мы вровень с достижениями века.

Дед добавил:

— Не спорю, великие испытания проходит человек, трудно отсеиваются плевелы, но ведь на Марс должны лететь только что небожители. Представляешь ли ты себе пассажиров вселенной развратниками, лгунами, пьяницами? Неужто развозить по планетам мерзость?

Виктор иронически сощурил глаза.

— А что же все-таки делать нам с Кантом и его мнением, что ничего путного не зачинается между калом и мочой?

Дед вздыбился:

— Экий циник нашелся! А мозг что? Он — истинный владыка природы. Всемогуший и всеблагый разум человека — вот учитель поведения и морали.

— Дедунь, ты мамонт, порождение девятнадцатого века,— захохотал смехом Виктор. — Прав ты во всем и, как обычно, нетерпим. Такие, как ты, на кострах жгли инакомыслящих. Нет ничего опаснее фанатика.

— Ну, братец ты мой, клеветешь. Я сам с собой конфликтую, за истиной идучи — к марксизму пришел

и знаю, что это, как сам Маркс учил, метод мышления и действия, а не слепая догма.

...Однажды к отцу пришла Мария Павловна. Когда в ее присутствии снова разгорелся с яростной силой спор между дедом и внуком, Павел Александрович, шуточно заломив руки, обратился к ней с просьбой:

— Ну останови, Машута, свое чадо. Выхваль, болтун, ради красного словца сам себе готов перечить. Почтения нет к моим сединым. Я, братцы мои, ведь скоро сотенку лет отпраздную.

Но дочь, смеясь, не поддержала его:

— Что это ты, папа, диктаторствуешь? Какие еще седина? Ты молод. И не для того в Октябрьскую революцию ваше поколение победило, чтобы сейчас прекращать свою плоть и кровь. Пусть пошумят, пусть, пока мы живы, нежатся и суесловят. Ведь коснись чего, опи, как и вы, бросятся в огонь и проявят не меньше вашего героизм.

— Это точно, но язык у них бесовский, непочтительный.

— Забава. Пороха еще не нюхали, наивны, сыты. А мое правило воспитателя — не вторгаться, не навязывать молодежи готовых формул. Жизнь не аксиома. Пусть сами ищут решений. Метод у них один с нами. Подстригать же под одну мерку — не значит ли создавать стандарты? Нам нужны своеобразные, сильные личности. Такие, чтобы стали опорой социального прогресса в любой области и для всего человечества.

Каждый раз, встречая внука, старик шутил:

— Здорово, кум Фаддей. Ну, как шествуешь по жизни, победитель?

Павел Александрович откровенно радовался приходу Виктора и едва скрывал в колючей щетине, покрывавшей румяное старческое лицо, улыбку.

Виктор, как на исповеди, рассказывал ему все. Он, впрочем, искал не советчика, а слушателя, доверительного и чуткого. И находил его.

— А как ты, дедунь, прожил свою жизнь? Я спрашиваю про то, что называется частной историей мужчины.

— Вызываешь на мужской разговор. Боюсь, к твоей мерке я не подойду. Хотя обет целомудрия не давал и, на мой взгляд, даже грешил, но очень уж по-разному мы

на одно и то же смотрим. К тому же, по-твоему, я — фанатик и еще что-то столь же ограниченное. Где уж мне до тебя. В наше время равнение держали не на донжуанов.

— Понятно. Моногамия, верность и т. д. и т. п., — зевнул Виктор.

— Э, нет. Ты, значит, не читал жизнеописания, переписки, скажем, Маркса с Энгельсом, дневников Толстого, писем Чехова и, согласно твоему лексикону, и т. д. и т. п. ...

— Читывал. Знаю.

— Так вот, братец мой, пойми главное — в этих людях великая искренность, никакого лицемерия и большие требования ко всему, что суть мы, люди. Человеческое обязывает. Древние говорили «ничто человеческое мне не чуждо», но они отнюдь не предполагали при этом, что все животное им присуще. Человеки мы или козлы, свиньи, быки?

— Ты хитро отмахнулся от моего вопроса о тебе самом. Кто ты?

— Любил ли я? Полюбил я первый раз без всякой взаимности девушку по прозвищу Василек. Глаза у нее были, как эти хитрые цветы. Издалека кажется она мне прекрасным, но паразитическим растеньицем. Родятся же такие и нравятся, а всего лишь красивые сорняки. Был я тогда молод и, кажется, по всем статьям то, что называется первый парень на деревне, а ей вот не понравился. Еще бы, ни денег у меня, ни приказничьего обхождения. Крутилась она вокруг всякой позолоты. И, помню, пела тоненьким голоском:

Подайте мне карету и пару лошадей,  
Я сяду и поеду к сопернице своей...

Смешная и грустная история. Однажды подарил я ей духи «Мимоза», а она мне их вернула и сказала: «Разве девушкам преподносят желтые цветы и духи, это же измена. Вот когда любил меня один студент, то подарил «Белую сирень» фабрики Брокара и вскоре повесился».

Так и не поцеловал я ее ни единого раза. Первой женой, которую я обнял, была моя жена. Оба мы ничего-то не понимали в браке и были чисты, аки агнцы. Пока бабушка твоя не скончалась, не знал я других.



Даже брезговал ими. Представь, раз по пятам нашим с товарищем — дело было в Питере — гналась полиция, и пришлось укрыться — где бы ты думал? В... публичном доме. Так вот до утра и просидели мы там, испытывая жестокое отвращение и сострадание.

— А девушки-грешницы, верно, на тебя, великана, зарились.

— Одну, помню, уговаривали мы бежать из этого содома и гоморры и обещали устроить на работу, — отказалась... Да, овдовев, годика два мучился я великой тоской по жене. Размышлял, как далее жить. Боялся жениться из-за дочерей. Так и жил схимником, а в семнадцатом встретил Варюшу, и захватила она меня всего. Сердцем, умом, телом — словом, всем существом потянулся я к ней. А время какое было... героико-романтическое. Вели мы отчаянную борьбу, и в июльские дни смертельно ранили Варю. Умерла на моих руках. Снова я овдовел. А там — подполье, октябрьские дни и ночи. Знаешь ли ты, парень, что это была за проверка души? Старого революционера хлебом не корми, а дай ему возможность поговорить о боевых минувших деньках. Каждый человек живет иногда подолгу как бы в дреме повседневности, но вот прозвучала труба — и свершилось. Минуту, а счастливым даже часы дарят праздники жизни среди долгих будней. Для меня они были в борьбе, в мечте. Вижу уличные митинги, слышу внезапные и такие убедительные импровизации ораторов в рабочих казармах, читаю правдивые листовки, — писали и печатали их мы, пролетарии, — снова пугаю филеров с приподнятыми воротниками и мутными глазами...

— Чем не эпохальный роман, дед? Пиши его. Ты — истинный романтик, не охлажденный склерозом.

— Помалкивай. Не мешай вспоминать. Смейся, если хочешь, но завидуй. Одиночное заключение. Сколько было прочитано в тюрьмах книг по философии, экономике, истории. Шахматные схватки с невидимыми соседями по камерам, методом перестукивания через стенку. Вылепил я раз шахматы из хлеба — красотища — и не одну партию выиграл ими...

Старик продолжал:

— Позднее — недолгая свобода и снова заключение. Выдал меня провокатор. Этапы, вечное поселение в Нарымском крае. Там встретил снова Георгия Орлова. Вот

был действительно орелик. Никого и ничего не страшился. И знал — о чем ни спроси. В шестнадцатом году парымчан-ссылных призвали в армию. Спорили мы до петухов — идти на фронт нам, большевикам, или скрыться. Порешили, однако же, отправиться агитировать в воинских частях против войны. Мы с Георгием оказались в одной роте и принялись сколачивать в полку военную подпольную организацию. Удалось, а вот как мы головы сохранили — трудно объяснить... Время чудес...

— Что привело тебя в начале века в партию, дед? — допытывался Виктор.

— Спроси колос, почему он летом зреет, а у ветра выведай, пошто веет? Моего сверстника-рабочего допроси, почему в эпоху эксплуатации и несправедливости боролся он за свое человеческое Я? Только слепые, глухие, кнутолюбцы и уроды не хотят воли, боятся осознать до конца свое человеческое достоинство и свои права! Мою революционную совесть, думается, разбудили сизмала нищета и безвременье, подлость и эгоизм, воспоминания о матери, страдания окружающих. Взывала она, эта моя совесть, погнала в люди, в огонь. Сострадание бросило к борьбе, а разум подсказал — учил, с кем же идти, чтобы не сгинуть бесплодно и добиться победы. А там все по-неслось, как туча в ураган...

Старик заметно устал и притих.

Но Виктор не удовлетворился рассказом. Хотел он знать все об этом человеке, который отныне уже не казался ему «археологической находкой», «ихтиозавром». Дед отложил беседу, предложил внуку партию шахмат и затем ужин, состоявший из сырых овощей и фруктов. Более тридцати лет Балаков не ел мяса и предпочитал ему, как он говорил, неиспорченную варкой пищу и сырое молоко.

— Нечего уничтожать дары природы, — обрывал он обычно расспросы и, быстро передвигаясь на своем кресле, подкатывал к холодильнику и доставал оттуда мелко нарезанную капусту, морковь, репу и различную иную зелень, из которой ловко приготавливал салаты, заливая их подсолнечным маслом или сметаной.

Особенно хороши были у него соленые и маринованные грибы, которыми он потчевал гостей, фруктовые соки, моченая брусника и слегка подслащенная клюква.

— Вот они, рецепты долгожителя, гастрономические

чудеса,— выхвалялся Павел Александрович, щуря блекло-серые глаза в глубоких излучинах, разбегающихся от век к вискам и ушам.

Его большая голова, седые волосы, остриженные бобриком, и по-детски мягкий розовый затылок вызывали чувство невольного почтительного умиления. Было что-то очень благородное, человечески сильное во всем облике старого богатыря.

Виктор, отведав «кроличьей пищи», как он называл меню деда, уходил от него с неохотой. Иногда задерживался из-за какого-нибудь неожиданного гостя. Нравилась ему приятельница деда Олимпиада Петровна Голубочкина, давнишняя знакомая всей семьи Балаковых.

Заслуженная учительница, персональный пенсионер, она отличалась непссякаемым жизнелюбием и, куда бы ни приходила, приносила с собой энергичную благожелательность и юмор.

— А, два бобра, старый и молодой! Привет и дружба! — весело говаривала деду и внуку Лампочка, как в шутку называли Голубочкину.

Однажды она принесла торт и объявила с порога:

— Поздравьте, мне сегодня шестьдесят пять.

— Девчонка. Все у тебя впереди,— морща в улыбке щеки, сказал Павел Александрович и подарил Олимпиаде Петровне кожаный портфель. — Мне бы твои лета,— продолжал он,— я, пожалуй, на Марс слетал бы. Только ты что-то толстеешь, Лампочка. Остановись, безумная!

— Э, главное — хорошее настроение и любовь к ближнему. Ем вволю, а жирею уж не от котлет, а от лет. Все у меня, чтоб не сглазить, хорошо, вроде бы ни от кого не потерпела неприятностей. Кстати, друзья, что со мной произошло намедни... Грех и смех. Не надо и в кино комедии смотреть. Водевиль.

— Выкладывай. Ох, люблю посмеяться. А какой-то эскулап, с мозгами набекрень, недавно объявил смех вредным для человека спазмом. Дурень. Я же, по Марку Твену, лечусь доброй порцией веселья. Было бы над чем похохотать от души и по-доброму.

Сидя без дела, Олимпиада Петровна не умела ораторствовать. Заметив грязную посуду на столе, она с редкой сноровкой собрала тарелки, мгновенно отыскав тряп-

ку, вытерла стол, затем подмела пол и полила цветы на подоконнике. При этом ее пухлый рот ни на мгновение не замыкался.

— Ребята, кто из вас не знает парка культуры и отдыха? — И, не ожидая ответа, тараторила дальше: — Там есть аллея старичков-пенсioenеров.

Лампочка заразительно рассмеялась.

— Стоп, тетка, не собираешься ли ты замуж? — прервал говорившую Павел Александрович. — Все аксессуары, я вижу, налицо: аллея, Москва-река, сейчас сообщишь нам о цветущем жасмине или астрах, в зависимости от сезона, и наконец мы узнаем о безлунном вечере. Ведь луна из моды вышла ныне...

— Не прерывай меня.

— Ладно, хватит вам пререкаться, — вступил в разговор Виктор.

— Молчу-с, да и что мне остается, разве женщину переговоришь.

— Устарело, — заявила Лампочка и, устав суетиться, села на диван. — Да, так на чем я, бишь, остановилась... чертов склероз.

— В аллее душистого сада...

— Не шути. Я ведь родом из Молдавии. Кровь у меня цыганская, взбешусь — плохо будет. Ты бы на нас, молдаванок, посмотрел в дни защиты города-героя Одессы.

— Ладно, старушенция, знаем, что ты — героиня двух войн.

— Какая еще старушенция? Сам ветеран трех революций, значит, к ста приближаешься. А я еще в бассейне зимой плаваю... Дышу по системе йогов. Советую тебе тоже. Вчера пионерам подшефной школы рассказывала не только про нашу молодость, но и про нашу старость. Сколь она необычна: о Стасовой говорила, как она в девяносто лет всем интересовалась, о Кржижановском... Но, чур, назад, к себе, к приключению. Сыновья мои, знаешь сам, выросли, внуки уже басом говорят, а душа, увы, не дряхлеет, молода по-прежнему! Грех это или нет, скажи, Витя?

Олимпиада Петровна на мгновение умолкла, задумалась. Виктор внезапно сквозь морщины и отвислую кожу увидел иные ее черты, юный овал лица. Она показалась ему красивой, самоотверженной.

«Как много говорится о наших дедах-борцах, — подумал Балаков-младший, — и как мало берем мы от тех немногих, кто еще жив. А ведь большинство сопричастно легенде. Действующие лица исторических взлетов, неповторимых дат».

Виктору остро захотелось взять опухшие руки старой женщины, которыми, как он знал, чистила она винтовки первых красногвардейцев, перевязывала бойцов в гражданскую и Отечественную войны. И внезапно он поклонился Олимпиаде Петровне в пояс.

— Что это ты надумал, Викторушка. Я ведь не икона. Баба я простейшая, до старости шалая, обыкновеннейшая старуха.

— У таких, как вы, нет возраста, Олимпиада Петровна. Они вне сроков и метрик, — сказал Виктор с удивившим его самого чувством.

— Кайся, неугомонная. Я ведь понимаю, в чем секрет. Всякое дыхание, как говаривали мне в юности старообрядцы, славит господа. Не так ли? — сказал дед Олимпиаде.

— Что это ты придумал, греховодник. Просто случай для юмориста. И все-то от одиночества. Во все годы оно — мытарство. Стары мы, а глупость вечно молода. Вот ты, например, мудр...

— Ты со мной не равняйся, я тебе в отцы гожусь...

— Добро! Но пойми меня тогда правильно и не потешайся. Видишь ли, Павлуша, хочется и мне словом с кем-либо перемолвиться. Давно я тебе предлагаю — позволь, я у тебя останусь, по-дружески за тобой присмотрю. Ведь детям мы уже не нужны. Горестный, но факт. А в няньки, домработницы я к ним не пойду, сил уж нет. В другом качестве, в больших дозах, я им сейчас не требуюсь. Повидаться со мной можно раз в месяц, долг, так сказать, выполнить. Спасибо им и на том. Пусть живут, как сами знают, лишь бы в здоровье и при удаче. Чем я дальше от них, тем отношения наши дружелюбнее. На своем горбу проверила. Этот мой сказ — вроде бы прелюдия. Не думай, впрочем, худого: дескать, Олимпиада из ума выживает. Скажу тебе как другу, хочется собеседника, спутника, пусть телом уже немощного — ну что ж, я за ним ходить буду, — лишь бы разумом крепкого. Тебе, старче, это невдомек, ты у нас никогда в тираж не выйдешь,

— Да ты, матушка, книгами обложись, людей поблизь, работы непочатый край для всякого возраста.

— Слова. Меряешь на свой аршин. Не всяк в тебя уродился. Ты силач был и остался. Телом слаб, а сила вся при тебе.

— Ладно. Так что ж ты все-таки в аллею отыскала?

— Лады, начнем сатирическую повесть. Сажу я на скамейке в парке и читаю. Утомившись, снимаю очки. Глазам нужен отдых, а мне — впечатления. Вижу, идет, ну точь-в-точь Вильгельм Либкнехт, сажу по портрету, только росточком пониже и годами постарше. Походка бравая, плечи в разворот — сажень. Думаю: вероятно, пенсионер из военных. Он на меня, я на него поглядываю... Ну, не фырчи, не смейся, а то замолчу.

— «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны», — не перевирая мотива, пропел Павел Александрович. — Продолжай, я пошутил, ты сама по-скоморошьи все излагала, — успокоил он рассказчицу.

— Еще бы, в том-то и суть, что всю-то жизнь вижу комическую сторону в любом происшествии. Вильгельм Либкнехт присел на скамью и спросил, что я читаю. Тут мы и разговорились. Все мы, сверстники, как известно, на одной ниве паслись. Ну и знакомых сразу же набрали полную кошелку. Все-то у нас схожее. Те же книги в юности читали, в один год учиться пошли в вузы. Мечты, стремления — все единое, и обоим стало вдруг так приятно, показалось, давным-давно мы знакомы.

— Помолодели, значит.

— Еще бы. Ведь старость приходит, когда время слизнуло твоё поколение, и всюду наталкиваешься на людей, для которых ты — нечто существовавшее задолго до их рождения и как бы неведомо зачем задержавшееся на земле. Тогда-то и начинаешь сторониться, чтобы дать им дорогу. И хотя они появились на свет при тебе, все же не ты играл с ними в разлинованные на тротуаре классы, в квача, не ты сидел с ними за одной партой. Неравное положение: ты их помнишь, знаешь о них едва ли не все, а они тяготеют твоей немощью, чураются. И чем старше ты, тем глубже, шире естественная пропасть, почти физически ощутимая между новыми посевами и хрупкой соломой, какой сделало тебя время. Ходишь вроде бы неприкаянный. И кажется тебе, что ты

помеха. А что на свете горше равнодушия и незримых обид, которые, не задумываясь о том, походя, наносит молодость старости?

— Понятно, но обобщений не делай. Не так все мрачно. Продолжай о Вильгельме, как ты окрестила старикана.

— Долго мы с ним беседовали. Болезни и те оказались у нас одинаковые. Решили вместе поужинать, папаях, так сказать. Обсудили меню. Для пира многого не хватало, а лавки уже закрылись. Пришла я к себе, не чуя ног от радости. Сунулась в шкаф, чтобы принарядиться, и нашла платье в зеленые горошины, двадцатилетней давности, когда еще муж был жив. Хотелось мне потряхнуть стариной и выглядеть покрасивее. Будто дело в тряпках... Не поможет пудра руж, когда дама стара уж... Надела платье-то, а вот туфли на каблуках не смогла. Ноги распухли... Так в тапочках и осталась. Едва успела сервиз достать и скатерть на стол накрыть, как явился мой новый знакомый. Скромнехонек, о себе ничего особенного не рассказывал, но поняла, — много заслуг у него в прошлом. Сообщил, что давно вдовееет, дети удачные, но живет не с ними, а один, книголюб.

Поставили мы с ним к ужину все, что набралось у обоих: даже и рыбу в маринаде, творог, овощи и фрукты. Нам бы сырку поесть и молоком запить... Разговор нас распалил, и принялись мы за еду, позабыв о наказах врачей быть сдержанными, и, главное, черным кофе злоупотребили. Оказалось, что мы с ним чуть не рядом Днепрогэс строили, а до того в девятнадцатом году в Четырнадцатой армии сражались с Деникиным.

«Найденыш, — сказал мне, знаешь, этак проникновенно и ласково мой гость, — Найденыш, сколько же времени искал я вас по свету. Не будем больше расставаться. Поселимся вместе».

Многое услышала я в тот вечер такого, о чем, казалось, вовсе позабыла, и, признаюсь, слезы подступили к горлу. Всплакнула. Вспомнила тех, кого любила. Умерли они. Крепко задумалась и вдруг слышу стон. Веришь ли, Пашка, посинел мой гость и сползает как бы в бесчувствии на пол со стула.

«Нитроглицерин... В правом кармане...» — шепчет он и начинает хрипеть, как в агонии. Что тебе сказать? Хвала судьбе, что не умерла я сама с перепугу... Подняла

я моего златоуста — а тяжести нам таскать нельзя — и поволокла к дивану. Уложила. Руки дробь выбивали, когда я ему грелку подала.

«Стенокардия! Что бы еще сделать?» — шепчу, а сама вот-вот преставлюсь. Чувствую в сердце спазмы. Надо бы «скорую помощь» нам обоим, а тут бес в меня вселился: «Что подумают соседи, сыновья узнают. Скажут: «Мать рехнулась». У него — тоже дети, внуки. Обоим нам, наверно, все сто сорок лет. Никто нас доселе вместе еще не видывал. Незнакомый человек. Стыд какой, на старости-то лет...»

Валидол ему и себе под язык сую. Худо. Бросилась к телефону. Чего ждать еще? Будь что будет. Не помирать же ему, милому, из-за моих предрассудков. Слышу вдруг слабенький голосок: «Не звоните. Мне лучше. Вызовите такси, а то дочь, зять всполошатся...»

Рассвело, когда я его стащила на улицу и отправила домой. Водителю наказала больного везти осторожно. А фамилию гостя не удосужилась спросить. Помнила только: Федор Иванович. Неделю провела в лихорадке. Каждый день в очереди за «Вечеркой» стояла, раскрывала газету трясущимися пальцами, искала некролог. К счастью моему, ни один Федор Иванович за это время не помер. Затем успокоилась и зажила по-прежнему. Из платья того злосчастного, в зеленые горошины, внучке сарафан сшила. И снова с книгой — очень люблю о жизни замечательных людей читать — отправилась в парк культуры и отдыха. Но в тот вечер не могла никак сосредоточиться на биографии Бальзака и, засунув книгу в авоську, решила прогуляться по аллее. Очень сладко белый табак в сумерки благоухает. Вижу, на скамеечке поодаль сидят двое... Батюшки светы, узнаю моего Вильгельма Либкнехта, свеженький, чистенький, бравый. Хотела к нему броситься, как, мол, здоровье, но с ним рядом была старушка худенькая, наруганная, в модной шляпке. Подошла я совсем близко; они меня не заметили: захватила их беседа. И, что бы ты думал, услышала я из уст моего одновечерного гостя? Сжимая женскую руку в нитяной перчатке, говорил он своей спутнице: «Найденныш вы мой. Как давно и тщетно я искал вас повсюду. И вот сегодня...» Чтобы смехом не вспугнуть их, я поторопилась уйти подальше. Вот тебе и конец истории. Что скажешь?



Павел Александрович и Виктор смеялись.

— «Найденыйш» — надо же слово такое отыскать! Прямо-таки маслом по женскому сердцу. Здорово придумал, сатанище. Ну, это, скажу я тебе, готовая новелла.

— Ты думаешь?

— Жизнь, она для всех без исключения жанров составляет превосходное литературное сырье. И лучше пусть комическое, нежели трагическое... Имеющие уши да слышат, имеющие очи да видят. Повеселила же ты нас, Лампочка. Спасибо.

— Вот она, любовь ихтиозавров, — не сдержался Виктор.

— Послушай, Пашенька, старый друг, вникни и запомни. Если занедужишь и понадобится — зови. У меня силенок побольше, чем у тебя, — возьми их, — сказала на прощание Олимпиада Петровна.

Балаков растроганно пожал ей руку.

— Не забуду, позову...

Долго после ухода Олимпиады Петровны и Виктора, все еще с тихой улыбкой, вспоминал Павел Александрович простосердечье и преданность своего старого друга.

Все это время старика, однако, беспокоили настроение внука и та глухая сердечная пустота, которую он заметил в нем после смерти Динарии.

«У молодежи всякое бывает, — думал дед. — Встряхнуло парня. Мечется. На перепутье. Но это, на мое разумение, всегда к лучшему».

## Глава четвертая

### ЧЕТКИ

Балаковы издавна состояли в приятельских отношениях с Броницкими. Вера Сергеевна Броницкая, заслуженный врач, была школьной подругой Терезы и впоследствии тесно сблизилась с ее сестрой Марией. Дочь Терезы Балаковой, в свой черед, дружила с Любашей Броницкой. Обе девушки-однолетки закончили медицинский институт. У Веры Сергеевны было еще два сына, работавших в министерстве иностранных дел, и старшая дочь Надежда — учительница.

Дом давно овдовевшей Броницкой славился хлебо-сольством, приветливостью, особой завидной атмосферой взаимной любви всех обитателей. Мать и дочери не чаяли души друг в друге.

— Сумела же мать так воспитать детей,— с неприкрытой завистью говорили знакомые Броницких,— стоит ей заболеть — и дочери с ног сбиваются, а сыновья слетаются в гнездо. Удивительное семейство. Не лгут, не ссорятся, не ворчат, и один за всех, все за одного.

Наверное, именно из-за благополучия и больших духовных запросов Любаша до двадцати семи лет не нашла себе мужа. Быстро разочаровываясь, она отказывала женихам. Сестра Надя, вышедшая удачно замуж, и мать допытывались у Любаши о ее брачных планах, но она лишь посмеивалась.

— Дело-то ведь не в замужестве, а в том, чтобы найти счастье. Может быть, я разборчива, а может, и не судьба.

Любаша работала участковым врачом и заявляла, что лучшего удела не желала. Еще бы, всегда быть рядом с людьми, иметь возможность первой прийти им на помощь!

В своем дневнике Любаша писала:

«У меня огромнейшая семья, я знаю сотни людей, и они рады, когда я переступаю порог их квартир. Жизнь во всех ее противоречиях, со всеми темными и светлыми сторонами открывается мне не как стороннему наблюдателю. Сколько людей поверяют мне свои скорби, а иные молчат, но я понимаю их и — единственное что плохо, — не всем могу помочь... Если б медицина не была еще так беспомощна, а силы мои, возможности, опыт и знания не оказывались столь малыми... С детства моей мечтой было врачевание. Но хворей оказалось неизмеримо много. Есть еще душевные болезни — следствие обстоятельств, случайностей. Врач должен, по-моему, стараться исцелять такие раны: душа человека — резервуар его исцеления... и недугов. Как досадно и больно, что я всегда тороплюсь, всегда в бегах. Мне надо посетить столько больных, что иногда ноги отказываются, и от усталости я становлюсь раздражительной. Но разве лекарь смеет нагружать пациента своим грузом, дурным настроением, плохим характером. Нет и нет!

Врач обязан всегда жертвовать собой. Мы, медики, вечные доноры благожелательности и спокойствия. До-

норы воли к жизни. Мы перекачиваем больному веру в его исцеление до последнего часа. Кто знает, не победит ли организм, даже самый изношенный, болезнь и смерть? Каждый, от санитарки до профессора, спасает жизнь, ему доверенную, и, значит, способен творить чудеса. Как часто тот, кого мы считаем обреченным, выживает, а заболевший, казалось бы, легко — гибнет. Пусть же совесть моя никогда не возропщет, не спросит: какова ты была с этим поверженным болезнью человеком? Так говорили мне мои родители — оба врачи, так учат Авиценна, Пирогов, Пастер, доктор Фрейд, первый изобретатель наркоза, Бурденко, Вишневский, Бакулев. Я счастлива, потому что нашла смысл бытия в своей чудеснейшей и человеколюбивейшей профессии».

Как-то во врачебный участковый кабинет, в часы дежурства Любаши, вошел высокий, ладный, хоть и полный мужчина того возраста, когда человек оказывается как бы на грани между молодостью и старостью. Любаша дала бы незнакомому посетителю лет около сорока, в действительности же ему минуло пятьдесят.

— Я хотел бы, — сказал пациент, — с вашей помощью, доктор Броницкая, ближе ознакомиться с работой участкового врача. Я готовлю книгу очерков о людях добрых профессий. Врачи — мои главные герои.

— Вряд ли я смогу быть натурой для ваших зарисовок. Моя работа будничная, правда, для меня лично весьма интересная. Но в ней нет внешнего блеска, эффектов. Может быть, другой участок вам больше подойдет.

— Нет, именно ваш, Любовь Ивановна, — многозначительно глядя на привлекательную девушку, заявил пришедший. — Позвольте представиться — Всеволод Борисович Душкин, журналист. Могу я сопровождать вас на вызовы, ну хотя бы на некоторые?

Так они познакомились. Душкин оказался приятнейшим попутчиком и собеседником. На другой день он принес Любаше превосходные духи и вручил их ей, несмотря на сопротивление. Взяв Любашу за руку, он сказал:

— Но ведь вы почти что мой соавтор по этой теме. И к тому же ваше, я бы сказал, энтузиастическое отношение к работе дает мне столько увлекательного материала. Вы родились врачом. Профессия по призванию. Какая прелесть.

— А как же иначе? У всех ведь так.

— Отнюдь нет! Моя дочь, простите, приемная, так сказать, дочь моей сестры, искала после окончания средней школы факультет, где не было бы математики. Только по этому принципу определила она для себя будущее...

— Но медицина отныне немыслима без математики, физики, кибернетики. В этом залог будущих побед над многими бедами, может быть, и над раком. Если бы я так не стремилась к лечебной работе, общению с людьми, то ушла бы в научный институт. Искала бы причину злокачественных опухолей. Это так насущно необходимо сейчас людям. Что может быть страшнее загадочной раковой опухоли. А куда же поступила дочь... приемная... вашей сестры?

— Девушка учится в библиотечном институте, но и там ей скучно.

Через неделю Любаша пригласила Всеволода Борисовича к себе домой. Она рассказывала о нем матери, от которой никогда ничего не утаивала.

— Понравился?.. Глаза-то как блестят. Ну что ж, в добрый час. Похоже, он человек стоящий,— сказала Вера Сергеевна и вызвала старшую дочь Надю на «смотрины».

Чайный стол, как всегда, у Броницких был заставлен всякой снедью, вазами с фруктами, круглыми блюдами с тортами и пирожными. Все Броницкие были сластенами. Ноябрьский вечер хмуро пробивался сквозь тюлевые занавески в обжитую, по-женски ухоженную и нарядную трехкомнатную квартиру в переулке подле Кутузовского проспекта. Два шпиля — гостиницы «Украина» и высотного здания на Смоленской площади — красочно светились вдали. Любаша долго прихорашивалась, но так и не решилась напудриться или подкрасить рот.

Вера Сергеевна казалась очень привлекательной в темном костюме с кружевным воротником и манжетами. Так одевалась она уже лет двадцать, удивляя всех необычайной молоджавостью пухлого лица и узких пронизательных глаз. Надя менее всех детей походила на мать. Была она приземистая, ширококостная, с задорным грубоватым лицом, покрытым румянцем, и редкими, идущими к ней, веснушками.

«Надюша — женщина с перцем и перцем посыпанная», — сказал о ней как-то друг всех Броницких Виктор Балаков.

— Сколько дней ты знаешь этого Душечкина или Душкина? — спросила Надя насмешливо.

— Уже целую неделю, — смеясь, ответила, вскинув обычно приспущенные веки, Любаша.

Сестра продолжала:

— Ты изгоняешь своих претендентов в мужья обычно не позднее чем через десять дней. Я подсчитала. Это максимум!

— Не дразни, — шутя погрозила Наде мать.

За окном было очень тихо, и никто не думал, что вечер этот запомнится Броницким, как внезапно налетевшая в сырую осень гроза.

Все на земле от людей. Они — благодать и они же — поджигающие молнии, создатели и разрушители, добро и зло.

Входит в дом человек. Кто он? С чем идет? Вера Сергеевна часто в подсознании воспринимала как бы излучение незнакомых существ. Одни освещали ей путь, другие мешали или вредили.

Всеволод Борисович Душкин, с виду обыкновенный, молодящийся мужчина с ласкающим голосом, внес, однако, с собой необъяснимое беспокойство. Встревожилась не только Вера Сергеевна, но и Надя. Любаша побледнела, погрузнела, как всегда бывает с очень морально чистыми и увлекающимися людьми при встрече с теми, кто, как им кажется, стоит внимания и даже любви.

Вера Сергеевна исподлобья рассматривала Душкина.

«Жесток и не без коварства. Самоуверен, видно, знает, как подойти к женщине... не ест мучного... боится полноты, прихорашивается, как селезень: вот я какой! Волосы хороши: ни седины, ни плеша. А на Любашу поглядывает до противности слащаво. Не то... не то... Что это я придираюсь?..»

Надя направляла, как опытный кормчий, беседу и, зная, что для каждого человека самое милое дело говорить о самом себе, привела Душкина к автобиографическим признаниям. Броницким хотелось узнать о нем побольше. Как писатель в любом своем произведении раскрывает перед читателем вольно или невольно сущность свою, так, повествуя о себе, человек сквозь ткань, подчас густую, пустых фраз, а то и фальши неизбежно обнажает сокровеннейшие черты характера. Даже в нарочитой скромности может прятаться самомнение, а под издевкой

над собой и самопридирчивостью — доброта, неуверенность, слабость.

Душкин, откинувшись в кресле с умелой небрежностью, охотно принялся расписывать родной дом, не то чтобы богатый, но и не так бедный, детство, когда он, превосходный пловец, спас дважды утопающих в бурной речке, — дело простейшее, добавил он небрежно. Потом сразу перешагнул к Отечественной войне. Чин получил майора, но где и как воевал — было неясно; будто бы награждался и знал близко выдающихся военачальников. В исходе пятидесятых годов, опять непонятно почему и откуда придя, занялся Душкин журналистикой и обрел наконец себя. Так он и выразился. И потому отправился в Сибирь, чтобы воспевать героев.

— Как приятно бывать на лесоповале, в шахтах, на новостройках, помогая людям советом и воздавая им должное в прессе. Я неизменно борюсь за этический и моральный облик человека, дарю рабочим книги, помогаю их росту, мирю с женами и схватываюсь с начальством вплоть до областного. А если требуется — добираюсь и до членов правительства. Например, один министр — мой старый друг... Меня любят и боятся. Случалось, мое вмешательство стоило мест бездарным руководителям, а назначение новых не обходилось без меня. Журналист со связями — большая сила в наше время. Я — спецкор центральной газеты. В глубинках, в тайге, на строительстве хороший человек из столицы — благо.

— Хороший человек везде и всегда — благо, — заметила Вера Сергеевна. — Кстати, Всеволод Борисович, сами-то вы откуда родом?

— Я — из Энска. Вырос, как говорится, на берегах чистойшей Ангары. В тридцать восьмом году покинул родное гнездо, аки орленок, бросился в бездну житейскую.

— Вы из Энска? — переспросили одновременно Вера Сергеевна и Надя.

Что-то необычное, трепетное прозвучало в их голосах, но Душкин этого не заметил. В Энске, небольшом сибирском городке, тридцать лет назад произошла трагедия, лишившая Веру Сергеевну самых дорогих ей людей.

— А не знали ли вы в Энске, в тридцать шестом году, геолога Дэма и его жену, врача-эпидемиолога? Оба были уже в летах, но работали. Старые большевики,

— Как не знать. Да ведь это чудеснейшие люди. Цвет партийной интеллигенции, так сказать. Им обоим я многим обязан. Меня, неученого парнишку, они приголубили. Я даже работал у Дэма, и дня не проходило, чтобы у него дома не сиживал. Сколько книг они меня заставили прочесть, сколько я у них пирогов с нельмой съел. Отец и мать отродясь со мной так не возились, как эти люди. Что за сердца и какие эрудиты. Лучшего врача, чем жена Дэма, у нас не было.

— Они ведь оба были в тридцать седьмом арестованы.

— Да, и представьте, при мне.

— При вас? Расскажите же все поподробнее. Просим вас, очень просим.

Три женщины впились глазами в увлекшегося воспоминаниями рассказчика.

— Помнится, часов до трех засиделся у стариков. Ужинали, что-то читали. Вдруг стук в дверь. Вошли шесть человек и увели Дэма с женой в тюрьму, — сухо сообщил Душкин.

— Боже... Ну, а вас? Не тронули?

— Меня? За что? Почему? Я ведь ни в чем не был виноват, — беспечно отозвался Всеволод Борисович.

— Но ведь Дэмы оба тоже невиновны.

— О нет. Вы просто не знаете. Они оказались вредителями.

— А знаете ли вы, что Сергей Иванович и Клавдия Трифоновна посмертно реабилитированы и восстановлены в партии?

Вера Сергеевна сказала это сурово, глядя в глаза Душкину, поднявшемуся с кресла.

— Этого не может быть. Вы что-то путаете. Я сам был на их процессе.

— Вы?! — охнула Любаша.

— Что же, вы меня лгуном считаете? — осерчал Душкин. — Я, если хотите знать, рядом с ними сидел. Конечно, не за решеткой под стражей. — Вдруг голос Душкина упал, он потер висок и сразу осунулся и как будто испугался. — Дэм-то был такой светлый... А она совсем поседела и как-то опухла вся... Глянул Дэм на меня своими детскими глазами...

— Вы были свидетелем обвинения, лжесвидетелем! — внезапно выкрикнула Любаша и подбежала к Душкину, готовая, казалось, ударить его.

Мать оттащила ее силой. Одновременно раздался чужой визгливый голос Душкина:

— Кто вы, чтобы меня допрашивать и грозить? Прокурор, мой друг, сказал, что они виноваты! Старуха колодцы травила, заразные болезни в Энске при ней начались. А вам-то кем приходятся эти самые Дэмы, будь они прокляты?!

— Сергей Иванович — мой отец, Клавдия Трифонова — мать, — тягуче выговаривая каждую букву, ответила Броницкая.

Любаша, прижав руки к сердцу, плакала. Надя сухо приказала:

— Вон отсюда, убийца!

Душкин, пятясь, словно ожидая удара в спину, двинулся к двери. Он казался помешанным. Волосы растрепались, усики и подбородок дрожали, приплюснутый рот открылся, серели редкие старые зубы.

«Как же это я, дурак, ничего не понял? Внуки-то — портрет деда, особенно Люба. Глаза, те же глаза...»

Он исчез, как привидение, но еще долго ужас не выветривался из комнат. Особенно была потрясена Любаша. Несколько ночей женщины семьи Броницких не находили покоя и сна.

В своем дневнике Любаша записала:

«Сколь бедна человеческая фантазия по сравнению с тем, что щедро поставляет людям величайший творец — Жизнь. Разве не злое чудо то, что произошло с нами! Человек, участвовавший в процессе против дедушки и бабушки, один из виновников их смерти, сам пришел к нам в дом... И этот Душкин любим кем-то. Нет на нем видимой каиновой печати!»

Любаша ничего не утаивала от Виктора Балакова. Они знали друг друга с детства. Виктор был старше девушки на три года, относился к ней покровительственно, немного свысока, как к доброму товарищу. В школьные годы, увлекаясь греблей и лыжным спортом, они часто соревновались на реке и в лесу.

Последний год жизни Виктора изобиловал для него, как он сам выражался, «катаклизмами», живительными вспышками чувств и напряженной работой мысли. Ранее ему казалось, что он все постиг и жизнь уже не принесет ему неожиданностей и потрясений. Но сейчас он считал себя ничтожным, полуслепым кротом, затеряв-



шимся в траншее. В этом самоуничижении крылось, однако, нечто ведущее к откровению и, главное, к желанию познать себя и свою жизненную цель. Любаша почувствовала это.

— Ты становишься другим, Вик, не знаю, впрочем, в чем именно. Но главное — не отчаивайся. Все, как дед твой говорит, утрясется. Иногда человек думает о себе, что он душевно противен, как гусеница, а вдруг из нее, лохматой и гадкой, появляется на свет красивая бабочка. Так бывает с живой, ищущей человеческой душой. А из душкиных ничего, кроме червей, не вылупится. Подлец подлецом и останется. Процесс необратимый. Как ни прячь это самое гнусное, а оно рано или поздно опять и опять вылезает на поверхность. Я пришла к выводу, не стоит мстить негодяю, — он сам себе подготовит гибель.

— Нет, — возразил Виктор, — я не такой добренький и не верю в возмездие. Сколько палачей встретили свою смерть в почете, на пуховиках.

Перебивая друг друга, они спорили о том, как же избавить общество от клеветы, лжи, трусости, от душкиных в разных обличьях, которые опасны и часто неразличимы, будто вирусы смертоносных болезней.

Обоим молодым людям хотелось душевной безупречности. Они отрекались от эгоизма, Неумирающая сказка о Синей птице волновала Любашу и Виктора. И чем старше они становились, тем труднее стало не только искать, но и определять магическое слово, ради которого странствовали, воевали, погибали люди. А поиски были благостны, и оба молодых человека осознавали, что дорога к счастью ведет не вниз, в безвоздушную пропасть, а вверх, к звездам, к человеколюбию, истине. Счастье не могло быть полным в глухой камерке быта.

Человечество в погоне за счастьем, познавая тайны природы, завоевало господство на земле, проникло во вселенную и веками гонялось за философским камнем, эликсиром, побеждающим болезни, нищету, неравенство, отодвигающим смерть. Рождались десятки идей. Гуманные — сохранялись дольше, злые — гибли в потоках крови. Фанатизм религиозный, националистический, расовый, разрушительный деспотизм проходили по планете в разные эпохи предыстории, кончающиеся в двадцатом веке. Гениальные умы человечества объясняли людям их прошлое, обозначали, как географы на со-

циальной и экономической картах, различные формации и осветили настоящее. Все это были плоды страстной тоски и вызванной ею борьбы за счастье.

Многообразие счастья необозримо. Сознание вольности и свободы, пусть в лачуге и нищете; обретенная дружба; струя воды в мертвой пустыне; уже нежданная и нужная, как воздух, встреча; кусок хлеба — в заключении; мысль, пробивающая стены и уводящая к солнцу; мелодия, воскрешающая в памяти любимые черты; победоносное научное открытие; вершина творчества; выздоровление от смертельной болезни; надежда в материнстве и любви; блаженный покой и оправданное доверие; бодрящий прибой, жизнь, которую хотелось бы задержать навсегда.

Любаша верила, что счастье — это возможность облегчить несчастье людям и любовь верная и вечная. К своей работе она относилась, как к жреческому служению, и каждая удача врача — преодоление недугов — давала ей то ни с чем не сравнимое наслаждение, которое многими зовется счастьем. Но если больной погибал, какая-то частичка ее души погибала с ним тоже.

— Я умираю с каждым пациентом, которого не могла спасти медицина, — говорила девушка матери.

— Напрасно, это недопустимо. Ты свалишься. Тяжко занедужишь. Нужно скорее выработать профессиональный иммунитет, — отвечала огорченная мать. — Врач не имеет права на такую чувствительность. Выйдешь из строя. Больных много, а врач один. Крепись.

— Так-то так... Если бы слова и ощущения совпадали. Как мы все же бессильны... Скончавшаяся сегодня женщина — моя ровесница. Мне не легче от сознания, что болезнь ее была неизлечимой. А что, если все-таки можно было продлить ей жизнь? Все ли сделано нами?

И Любаша, измученная, пожелтевшая, подгоняемая беспокойством, принималась заново изучать болезнь, которую никто еще не сумел победить. Нередко она заставляла мать выслушивать чью-то историю болезни, приведшей к кончине.

Вера Сергеевна была, как и дочь, повышенно чувствительна. Скрытность, внешняя суровость уживались в ней с нежностью и потребностью заботиться о других. После смерти мужа, врача, погибшего на фронте в полевом госпитале от вражеской бомбы в миг, когда он окон-

чил операцию, Вера Сергеевна отдалась материнству и работе. Сейчас, в преклонных летах, Вера Сергеевна сохранила действенный ум и радовалась общению с людьми. Один из бывших ее больных после выздоровления подружился со всей ее семьей и стал частым гостем в доме Броницких.

Был он на целых десять лет моложе Веры Сергеевны, вдов, бездетен и увлечен своей профессией. Неистовство необходимо в каждом деле не менее, чем врожденное дарование. Максим Иванович Альфин родился для физики, как истинно одаренный певец приходит в мир, чтобы петь. В прежние века Альфин, подобно Франклину, запускал бы в небо бумажный змей, рискуя погибнуть, лишь бы проникнуть в секрет грозových разрядов; как Ломоносов, открывал бы основополагающие законы природы, посвятил бы жизнь науке, даже если бы это привело его на костер. Мозг Альфина казался сконструированным самой природой для проникновения в ее тайны.

Он жил в своей особой сфере, слышал то, что недосыгаемо простому слуху, и проникал в незримое. Он был так поглощен наукой и своей работой, что иногда, оказавшись в обществе, казался отсутствующим и не замечал происходящего рядом, оставаясь почти глухим, слепым. Его считали странным. Вся его глубинная сущность чем-то отличалась от других. Восприятие окружающего поражало то обостренностью, то, наоборот, безразличием.

На почве острого переутомления, после очень сложного эксперимента, Максим Иванович потерял сон. Тогда-то он и познакомился с заслуженным врачом, кандидатом медицинских наук, психиатром Верой Сергеевной Броницкой. Ей удалось вернуть ему отдых. Они подружились.

Вера Сергеевна и Любаша, два врача по призванию, особенно интересовались научными достижениями в области ультразвука, так как пользовались им в медицинской практике. Альфин без усталости мог объяснять им необозримые возможности физики для лечения людей. С помощью ультразвука можно подчас надежнее, чем благодаря рентгену, диагностировать злокачественные опухоли и другие хвори в тканях человеческого организма.

— Датчик,— пояснял Максим Иванович,— и приемник ультразвука прикладывают, предварительно смазав поверхность кожи особым маслом. Акустический контакт

решает многое, и то, что недостаточно рельефно выявляют всемогущие рентгеновские лучи, доступно ультразвуку.

Альфин не скрывал гордости, когда говорил о физике.

— Мы уже несколько лет широко пользуемся в своей поликлинике ультразвуком для рассасывания инфильтратов и многих иных заболеваний, но о диагностировании я еще ничего не слыхала,— призналась Вера Сергеевна.

— Я тоже,— подтвердила Любаша.

Максим Иванович рассказал им о выпадении осадка при ультразвуковом облучении некоторых растворов. Такие рассказы весьма интересовали всех собеседников.

— Почему вы психиатр? — спросил как-то Максим Иванович Веру Сергеевну. — Что может быть хуже, нежели люди, лишившиеся разума, или алкоголики, наркоманы? Брр! Признаюсь, не нравится мне ваше занятие.

— А я, представьте, стала психиатром по призванию, как вы физиком. Не станете же вы отрицать, что нет большей трагедии в жизни, нежели душевная болезнь, потеря рассудка, часто творческого, ценного для людей? Человек — в бреду, человек — во тьме, среди чудовищных видений, слышащий пугающие голоса, человек, постепенно теряющий человеческое и возвращающийся к животным инстинктам. Жизнь хуже смерти. Вспомните, чем кончили Мопассан, Ницше, Ван-Гог, Гаршин, да я могла бы перечислить вам великое множество несчастных и одареннейших, чей мозг погас, как некогда яркая звезда. И все еще на людей льется свет этих при жизни погасших светил... А сколько живет среди нас, работает полубольных, отчаянно сражающихся с собой за то, чтобы не потерять окончательно мысль, сознание, не стать душевнобольными? Разве помогать им, предотвращать гибель, бороться за мозг — величайшее чудо, прекраснейшее из того, что создано природой,— не наш долг? Да это честь для врача и, право же, стоит любых жертв.

— Вы поэт, Вера Сергеевна.

— О нет. Просто преклоняюсь перед человеческим мозгом или душой,— называйте, как нравится,— и пытаюсь врачевать их по мере слабых своих силенок. Это ведь так важно. Впрочем, у медицины вообще нет ничего второстепенного. Наука о Жизни. Божественная медицина!

— Простите, я профан и, по правде сказать, не очень убежден в силе этой разветвленной и пока еще не ясной науки. Умолкаю, чтобы не впасть в ересь.

Отношения Веры Сергеевны и Максима Ивановича, скорее благодаря ей, стали дружескими и доверительными. Их встречи были дороги обоим. Максим Иванович постепенно привык во всем советоваться с Броницкой.

Вера Сергеевна часто думала о себе и Максиме Ивановиче: «Оба мы в позднем возрасте остались в общем-то одни, вдовы. Детей своих, хороших, любимых, я не считаю. Это — другое поколение. Мы привязываемся по-настоящему к тому, во что вкладываем капитал своих мыслей, забот, за что воюем. Старая, вероятно, мысль, а дойти до нее надо самому. Помнится, во всю свою женскую жизнь я хотела одной-единственной любви. Убеждена, что спроси по чести женщин, и как бы ни проповедовали они «свободную любовь» и частые перемены, в глубине сердца все они тоже хотели бы любить единожды, только не получалось, и в отместку ли, в утешение ли, в угоду ли дурным влияниям решались сестры мои на блуд, на то, что называется, «буду, как мужчины». Не от добра и порчи, а от досады и горя меняют они мужей и возлюбленных, и все дальше уходит от них тогда счастье. В последние годы я создала свой кумир — работу — и довольна жизнью. А труд, поглощая силы, сжигает энергию и снова возвращает ее. Чудо! Но хочется мне подчас хорошей дружбы, чтобы иногда настежь открыть душу».

Об Альфине Вера Сергеевна рассуждала так: «Максим Иванович на десять лет моложе меня. Много. Но для приязни — это не препятствие. Частенько, читая книги по истории, я плакала над ожившими в моем воображении персонажами. Нас разбросало по разным векам, и никогда мне не услышать их живое дыхание. К счастью, родившись не в одну пору, мы с Максимом Ивановичем все же смотрим, стоя рядом, на ночное небо и слушаем музыку сегодняшнего дня. Мы беспокоимся, возмущаемся и радуемся тем же событиям. Мы — современники! Будь я моложе, может, все было бы иным. Однако дружба бытует вне возраста, вне предрассудков».

Броницкая давно научилась жить одна. Примирение со старостью учит примирению с любой иной потерей. К тому же у Веры Сергеевны, как она сама уверилась, образовался стойкий «иммунитет» к страданиям — та

мощная броня, которая обеспечивает возможность существовать и трудиться.

Максим Иванович прочно привязался к семье Броницких. Два раза в неделю он посещал их, делясь своей страстью, предметом которой была физика. Как раз в ту пору он занялся сложнейшим опытом и не находил в себе сил оторваться, переключиться на что-либо постороннее. Сначала, думал он, следовало вместе с учеными его лаборатории выяснить, применимо ли уже в деле до того лишь теоретически обоснованное научное открытие? Так астроном, открывший путем математических расчетов новую планету, трепетно ждет ее появления въяве, в линзе телескопа.

Как-то Максим Иванович пригласил Веру Сергеевну на прогулку. Он показался ей необычайно мечтательным, собранным и спокойным. Научный опыт закончился успешно, еще одна тайна природы добытым кладом обогатила знания. Максим Иванович походил на могучее плодоносящее дерево, скинувшее обильный урожай, готовое после отдыха — зимы — вновь встретить весеннее возрождение. Таков постоянный круговорот творческой жизни. Для Альфина открывалась опять и опять новая страница, которую предстояло заполнить. Как во вселенной, так в науке и искусстве нет конца открытиям...

В дни недолгой передышки Максим Иванович получил письмо от молодой аспирантки-физика. Она призналась ему в любви. Девушка эта более других нравилась Альфину. Но о браке он не помышлял. Когда главное направление найдено, определено раз и навсегда, все остальное существует постольку, поскольку не мешает намеченному или даже облегчает путь к достижению.

Первым своим супружеством Максим Иванович был в общем-то доволен. Все у него тогда было размеренно, удобно. После недолгого увлечения началась для обоих супругов пора инерции, привычки. Жена не мешала Максиму Ивановичу, не отрывала его от науки, не ревновала к ней, не раздражала его своей посредственностью. Лишь овдовев, Максим Иванович понял, что прожил двадцать лет с чужим ему, случайным человеком.

«Чудно́, — думал он, — почему я женился именно на ней? Мне гораздо больше нравилась тогда другая женщина».

После смерти жены дом Альфина стал неуютным. Максиму Ивановичу остро не хватало привычного распорядка, заботы, вовремя приготовленной пищи, всего того, что называется налаженным бытом и очень важно для каждого человека, особенно поглощенного умственным трудом. Стыдясь своей беспомощности и неумения, Максим Иванович слонялся по опустевшей, быстро пришедшей в запустение квартире.

— Так вот кому мы должны посвящать свои труды, книги, симфонии — ангелам домоводства! — говорил он, прижимаясь за стирку рубашек и тщетно пытаясь приготовить себе гренки либо овсяную кашу. Но постепенно он обвыкся, научился кое-как прибирать квартиру.

«Не могу же я жениться ради того, чтобы кого-то заставить гладить мне брюки». Он твердо решил остаться холостяком и надеялся, что наука скоро создаст робота, который сможет выполнять неблагодарный труд домработницы. Одиночество имело для него неоспоримое преимущество. Он без остатка отдался любимому делу.

Немало женщин тщетно искали с ним близкого общения. Максим Иванович возводил непроходимую преграду.

«Никаких суррогатов, — как заклятие повторял он про себя. — Любовь же с большой буквы для меня не существует. Это всегда помеха, кандалы. Наука требует подвижничества и отречения, иначе она карает бесплодием».

Однако молодая аспирантка чем-то сумела пробить брешь, и Максим Иванович незаметно для себя стал скучать, когда долго ее не видел. Но он считал себя не вправе менять установившийся с годами образ жизни.

«Все новое, пусть даже хорошее, отнимает у нас силы, нарушает ритм бытия, лишает резервов, столь нужных для другой цели. Каждый входящий в нашу жизнь человек, вольно или невольно, рушит привычный уклад и потому становится бедой», — твердил Альфин упрямо.

И все же снова искал встреч с полюбившей его женщиной.

В этой сердечной сумятице он обратился за советом к Вере Сергеевне, сам не зная, хочет ли он, чтобы Броницкая отговорила его или убедила жениться.

Встретились они, как обычно, по-доброму и решили пообедать в одном из ресторанов. По дороге Максим Иванович купил букет цветов, и Вера Сергеевна растроган-

но погладила щекой розы. Говорили о своих делах точно так же, как если бы сидели в квартире Броницких.

Когда доедали мороженое, Максим Иванович сказал:

— Подумать только, что я чуть не запомнил о том, ради чего пригласил вас отобедать вместе. Вы — мой добрый советчик. Скажите прямо, стоит ли мне расстаться с холостячеством? Я, кажется, влюбился... Быть может, я даже женюсь. Что вы об этом думаете? Вы знаете меня лучше других. Я ведь спозаранку и до полуночи занят. Для жены я — существо паразитическое. Мое занятие — вне дома и на износ, оно для меня — суть, смысл, так сказать, всего бытия. Кому нужно еще в придачу к своим делам заботиться о рабе божьем Максиме? Со мной к тому же скучища. Я ведь одинокий, одержимый. А женщине нужен человек для нее самой. Простите, что делюсь с вами своими сомнениями. Я, вероятно, кажусь вам остолопом. Но, понимаете, я просто боюсь. В повседневном общении, в одной квартире, в близости постоянной я несносен. Некий немецкий мудрец сказал: брак для юноши — благо, для зрелого человека — переносим, но для старца — бедствие. Вы, может, возразите, что я — мужчина, так сказать, в цвете лет. Но ведь только дураки считают годы по метрике. Есть окостенелости в тридцать и молодые люди в шестьдесят. Одни умирают, хотя живы, другие живут, несмотря на то что мертвы. Все очень относительно, а возраст — тем более. Даже внешность не все отражает. Молодость, в моей точки зрения, — это гибкость мысли, горячность сердца, опыт, ум, память. Мы ведь живем не в средневековье, когда в женщине искали ребенка. Вкус турецких и персидских гаремов чужд мыслящему человеку... А она.. очень молода.

— Вы ошибаетесь. Недавно я слышала разговор двух неплохих в общем-то мужчин. Один из них только что женился. «Какова твоя жена?» — поинтересовался другой. «Год рождения — пятидесятый», — был ответ.

Максим Иванович рассмеялся.

— Я сожалею об этом недоумке, — пояснил он. — Ничто не проходит так быстро, как летá. К тому же муж — учитель своей жены — обычно в проигрыше. Жизнь слишком коротка, и брак должен быть самолетом, а не катафалком или скрипучей телегой, увязшей в грязи.



— Бывает нередко, что в любви один — ракета, а другой — ракетоноситель.

— Ну это было бы прекрасно, — значит, они неразделимы и необходимы друг другу. Но как раз в этом я не уверен.

— Нет, дружище, давно я поняла, что любите вы пока только свою науку. Так и живите для нее, а когда найдете достойную подругу...

Максим Иванович встревожился:

— Но эта девушка меня любит. Я должен решиться.

— Тогда женитесь...

— А как же моя работа?

Вера Сергеевна весело рассмеялась.

— Тогда не женитесь. Однако помните, жрец божественной физики, что бы вы ни предприняли, ничто не может разрушить нашей дружбы.

В дни поглощенности и глубоких размышлений Виктор если и ходил в гости, то только к Любаше Броницкой. Ее цельный внутренний мир, покой, исходящий от всего существа девушки, гармонировал с настроением Балакова. Он звонил ей из автомата.

— Можно, я приду помолчать? — спрашивал Виктор.

— Хорошо, Вик, я как раз хочу перечитать Роллана.

— «Жана Кристофа»?

— Ты угадал. Это будет в пятый раз. Дождь за окном, и так хорошо побеседовать опять с Кристофом и Грацией. Приходи, я тебе не помешаю, как и ты мне.

У Броницких всегда было тепло, по-домашнему притягательно. На диване нежилась рыжая кошка Сонька. Щуря круглые хищные глаза, она вытягивала балетным движением то одну, то другую лапу и, мурлыкая, поджимала красный рот.

Любаша всегда что-нибудь делала. Праздность как-то не вязалась с этой деятельной квартиркой, где жили одни женщины.

— Может, помочь тебе помыть посуду, почитать вслух, пока ты дошьешь свою кофточку? — спрашивал после долгой паузы Виктор.

— Ладно уж! Сиди, отдыхай. Или говори, о чем хочешь. Я читать сейчас не буду. Надо петли поднять на чулке. Сущее разорение эти нейлоновые чулки,

Но Виктор не слушал ее и продолжал говорить о своем:

— Пойми, они оболгали Кутона. Те же продажные перья, что возвеличили Шарлотту Корде, истеричку, которых так много развелось сейчас, ну хотя бы в Америке. Я убежден, что она убила Марата главным образом из честолюбия, чтобы протиснуться в анналы истории. Ради рекламы и газетного бума современные Шарлотты идут на любые преступления. Эти психопатки позируют перед фотографами, дают интервью, выпендриваются, так сказать, перед судьями. Ценой преступления хотят они удивить весь мир и крикнуть о себе. Но я отвлекся. Кутон — только один из многих. Изучая его, я кое-что понял. Со мной, вероятно, поспорят, ведь прошло почти два столетия.

— Ну, может быть, все-таки в этом была доля истины.

— Полуправда — худшая дозировка той же лжи, ее еще труднее отмывать. Как видишь, историк иногда вынужден в обзоре истории быть ассенизатором, а то случается, что и химиком, и уж всегда следователем. Муза истории, как и Фемида, с повязкой на глазах. Она подследовата.

— Ты хотел бы видеть свою возлюбленную науку воительницей, Валькирией, но она ведь богиня мертвых.

— Чудачка. История — это сама жизнь. Мать настоящего.

— А, поняла. Как сказал Соломон мудрый: «То, что было, — будет, а что будет, — было, и нет ничего нового под луной».

— И однако, ничто полностью не повторяется, и потому незаменимы ни люди, ни обстоятельства. Все то же и все другое.

Разговор прервала Вера Сергеевна, вернувшаяся с работы, позвала молодежь обедать в маленькую кухню.

Позднее Виктор уговорил Любашу отправиться с ним к дяде Вилю, как он называл брата своего отца — Виталия Михайловича Томина, постоянно проживающего не в самой Москве, а на даче, в двадцати километрах от столицы.

Поездки в Подмосковье всегда нравились Любаше. Она не задумывалась, почему, собственно, любила природу тем сильнее, чем больше тяготилась городом, по-

давившим ее. Девушка боялась одиночества в чужой толпе, страдала от шума и многолюдья улиц, чувствовала себя ничтожной и затерянной в массе высоких домов, отступала перед лавиной несущихся автомашин.

В сумерки молодые люди вышли на маленьком полустанке и отправились лесом к дому Томина, вынужденного после инфаркта поселиться в загородной тишине.

Поселок Журавли состоял из нескольких десятков удобных коттеджей, где проживали главным образом артисты, художники, писатели и ученые. Виталий Михайлович много путешествовал, и жилье его являло пестрое смешение вещей из разных стран. Предметы искусства перемежались с дешевыми случайными вещами из лавок, торгующих сомнительного качества сувенирами. Из Египта Томин привез глиняных и металлических Нефертити, Кий и Тутанхамонов, кожаные пуфы и бронзовые инкрустированные подносы, из Румынии — деревянных тотемов и вышитые салфетки, из Польши — тонкие соломенные плетения, из Венеции — люстру и винные бокалы, из Франции — несколько абстракционистских картин-ребусов и плохую копию Пикассо розового периода. ГДР и Болгария обогатили квартиру Томина множеством подсвечников и разноцветных свечей. Гонг, каминные щипцы и часы «большой Бэн» свидетельствовали, что Томин побывал в Лондоне, а проездом через Прагу он купил там игрушечного бравого солдата Швейка с суконной собакой в руках.

Дача Томина была небольшой, но одной из удобнейших в поселке. Построенная сначала как финский крестьянский домик, она показалась хозяевам тесной. С помощью четырех опорных столбов появился второй этаж. И строение напоминало отныне две поставленные одна на другую спичечные коробки. По желанию Люши, как все звали вот уже сорок пять лет жену Томина Елизавету Марковну, дом обсадили густым плющом и диким виноградом. Летом, по общему мнению, коттедж казался вывезенным из Шотландии.

День был субботний, и к Томиным съехались несколько знакомых и сослуживцев. Виталий Михайлович подчеркивал, что любит бывать в обществе и принимать друзей, но в каждом отдельном человеком он мог, и то с трудом, провести не более нескольких минут и лишь в том случае, если тот был ему почему-нибудь нужен.

— Ну, что нового? Выкладывайте, что слышали, кого видели? Понятно — ничего не знаете, — наваливался он, поблескивая глазами из-под очков.

Обескураженный собеседник пытался оправдываться и доказывать, что он в курсе всех событий, и принимался «докладывать», именно не рассказывать, а поставлять новости. Этот психологический наскок действовал безотказно на самых песхожих людей. На полном лице Виталия Михайловича с неопределенной формы носом и крепкими губами часто появлялось выражение самодовольства. Зигзагом от глаз к губам пробегала улыбочка, исчезая в углах выпяченного рта. Сам он почти никогда мнения своего не высказывал, и в этом таились его неуязвимость и умение избегать рифов.

Виктора с годами все больше интересовала особа его дяди. Он никак не мог узнать его глубже. Даже в незначущих поступках и словах нельзя было понять этого, вероятно, в действительности несложного человека. Людям, подобным Балаковым или Броницким, он казался уклончивым и непостижимым. Михаил Михайлович сказал как-то о своем брате:

— Виль умеет жить, знает, как выходить сухим из воды. Без нужды зла он не сделает, но выгодно будет — пройдет мимо родного отца, а обо мне и говорить нечего. Не только отступится, но еще и скажет: «Тебе что, легче будет, если я потеряю свое место, влияние? Так я, может, тебе когда-нибудь и помогу, а вылечу отсюда — грош мне цепа».

— Это же подлость! — возмутился Виктор, слышавший замечание отца.

— Вроде бы так. Я вот тоже не смог бы жить, как Виль, да и не хочу. Карьера-самоцель ничего не стоит. Дом на песке. Но нельзя же всех мерить на свой аршин. Дядька твой по-своему талант и трудоспособности завидной. Не наше с тобой дело, на какой энергии движется механизм, раз в итоге польза. А палец дяде в рот не клади — откусит...

Сидя в соломенном кресле на террасе дачи, Виктор молчал, развлекаясь про себя наблюдениями. Любаша, со свойственной ей доброжелательностью принялась помогать хозяйке дома Люше накрывать стол к ужину. Вдруг на лице Любаши появилось выражение негодования и растерянности, она едва не уронила тарелки.

Виктор перевел глаза на вошедшего в это время человека с темными узорчатыми усиками, не прикрывавшими, однако, расплющенных синеватых губ.

«Неужели Душкин? — подумал Виктор. — Экие у него порнографические усики и масляные глаза».

Виталий Михайлович вскинул стриженую голову и громко произнес:

— А вот и наш Душкин. Его здесь, надеюсь, все знают. Он борется за лучшее в человеке и описал уже немало достойных.

Душкин в ответ самодовольно улыбнулся, но, увидев Любашу, посерел на мгновение, затем нагло выпятил грудь, оправил вельветовый сиреневый пиджак и, поклонившись собравшимся, уселся, картинно заложив ногу за ногу. Виктор не спускал с него глаз и внутренне удивлялся, как этот человек, ничем не выделявшийся, разве только сиреневым костюмом и нафабранными усиками, в обществе производил заметное впечатление. Полностью овладев собой, Душкин почувствовал себя отлично. Зато Любаша осунулась, погрузнела.

Угощали селедкой, колбасой, капустой и огурцами. Хозяйка поставила на стол большой чугунок с отварной, «в мундире», картошкой, и этот оригинальный ужин вызвал шумные похвалы гостей.

Все принялись за еду. Хозяин дома на вопрос, бывают ли у него соседи по поселку, ответил презрительно:

— Конечно, нет. Все эти писатели и художники строчат в своих кабинетах и боятся конкурентов. У них, увы, повышенная обидчивость, болезненное самолюбие и так далее. Издателю надо держать ухо востро.

— Талант — такая редкость, — несмело вторглась Любаша.

— Я о них забочусь. Что еще им нужно?

— Конечно, конечно, — с льстивой небрежностью поддакнул Душкин. — Вы ведь кормилец всей этой братии.

Сославшись на дела, хозяин покинул застолье и исчез. Виктор тотчас же сообразил, что в этот раз «нужных» для Томина людей в его доме не было. Несколько подчиненных, родственников и приятельниц Люши не интересовали Виталия Михайловича.

Виталий Михайлович был, несомненно, личностью незаурядной и по-своему даровитой. Сам он, будучи в про-

плом журналистом, писал дельные, без особого стилистического блеска и глубины статьи, всегда, как сам выражался, «в дугу». Печатные его труды исчезали словно в никуда. Это были даже не однодневки, а одноминутки. Но у Томина, помимо понимания гибкости «дуги», смолу объявился значительный организаторский дар. Родись он раньше, до революции, наверно, стал бы крупным предпринимателем и, может быть, именно в прессе. Подобно американскому Херсту или западногерманскому Шпрингеру, он создал бы огромный, мощный концерн и разорял бы другие газеты и издания. Но Виталий Михайлович Томин был на несколько лет моложе Октябрьской революции, и его цепкий деятельный мозг развивался под иными воздействиями. Всю свою сознательную жизнь он предпочитал всему другому практическую деятельность, только по необходимости читал беллетристические книги, вовсе не терпел стихов, и когда при нем их читали, напряженно думал, о чем-нибудь очень для него важном, чтобы не зевать и не уснуть. Музыка, искусство, высокая литература казались ему выгодной необходимостью, более нужной для детей. Впрочем, он скрывал свои мысли, как прячут физические недостатки или пороки. Бывая на выставках, он хвалил произведения, которые нравились большинству и особенно влиятельным, с его точки зрения, лицам, и мог тут же охать одобренное, если замечал свою ошибку... в ориентации. Сильной стороной его ума было то, что так ценилось в Древней Греции: софизм. Вряд ли зная доподлинно, кто были софисты, он мог произнести восторженную речь в защиту какого-либо положения и тотчас же с не меньшим красноречием разбить пачисто и предать анафеме то, за что ратовал не менее страстно.

Виталий Томин обладал сложным характером, по мнению его племянника Виктора Балакова. Все непохожее на нас самих обычно попервоначально кажется трудно постижимым и значительным. Поступки и высказывания Томина разнились с установившимися представлениями Виктора, и, не будучи от природы самонадеянным, молодой человек тревожно спрашивал себя: не умнее ли и проницательнее других преуспевающий Виталий Михайлович?

Зато сводный по отцу младший брат Гена казался Виктору простецким пареньком. Виктор считал худшей

чертой характера зависть и жестоко расправлялся с ней в своей душе. Но, встречаясь с Геннадием, он часто с тревогой ловил себя на предвзятости и несправедливости к нему. Генка был тем человеком, каким хотел бы быть Виктор. Все давалось двадцатипятилетнему инженеру Геннадию Томину легко. Был он ладный, добродушный, общительный, смешливый. Все в нем улыбалось: голос, движения и лицо. Руки раскидывал широко, вверх ладонями, растопырив по-детски пальцы. Короткие губы, казалось, не смыкались вовсе.

Виктор добивался всего с трудом, в постоянной внутренней борьбе с собой, в длительных размышлениях и противоречиях. Мать звала его самоедом. Геннадий получал от жизни то, чего хотел, без напряжения, как должное. Детство его прошло в довольстве и мире слаженной семьи. В школе учился отлично, выбрал своей специальностью самолетостроение и оказался весьма даровитым в любимом деле. В двадцать пять лет был он уже нужным человеком. Обо всем судил солидно, уверенно.

Геннадий с Натальей учились в одной школе, дрались в детстве, не ладили, а потом всегда танцевали на новогодних елках. Много лет они не видались, а встретившись, полюбили друг друга. Однажды он объявил родным, что женится на Наташе, двоюродной сестре Виктора, дочери профессора геронтологии Терезы Павловны Балаковой.

— Вот не ожидал я такого именно выбора, — удивился Виктор, узнав об этом браке. — Наташа нервная, мятущаяся. Этакое неустойчивое равновесие.

Получив приглашение на свадьбу, Виктор сказал Гене насмешливо:

— Оба перешагнули уже четвертушку века. Никогда бы не поверил, что ты и Наташа впряжетесь в одну телегу. Чего ж тогда ждали?

— А куда было торопиться? Сейчас Натка — врач, я — тоже покончил с вузом. Пойду, не отрываясь от живого дела, в аспирантуру. Теперь можно без ущерба подумать о работе и семье. Не с бухты-барахты начинать же общую жизнь?.. Пойдут у нас дети... А так надежнее. Не знаю точно о ее чувствах: женщины — народ загадочный, но я только одну Натку любил во всю мою жизнь и намерен продолжать в том же роде. Еще до нас мудрецы выяснили, что понять, изучить всех женщин

можно, только любя одну. Так луч солнца отражает весь спектр.

— Смелый ты человек, Генка. Не боишься; значит, пресытиться?

— Чепуха. И на одну жену уйдет уйма эмоций. Толстой, помнится, говорил, что больше одного обеда не съешь, а переешь — выблюешь. Курящие, к примеру, тоже не охлаждаются к папиросам, хотя табак тот же.

Виктор невольно вздохнул, выслушав брата, и сказал жестко:

— Ну и трезвый же ты человечик. Мне бы хоть долю твоей прозорливости и степенности. — Некое раздражение, которое Виктор считал порождением глубоко запрятанной зависти, снова шевельнулось в нем. — Все-то, Геннадий, у тебя просто. И в голове, и в сердце — реестры, пронумерованные истины.

— В жизни, по-моему, достаточно сложного, — ничуть не обидевшись, ответил Генка, — особенно в наше время, чтобы пестить для чего упражняться в самопожирательстве и ковырянии ногтем в мозгу. Достоевщина мне всегда была и будет чуждой. Не для того мы обновляем старушку землю, чтобы засорять сердца и ум отслужившим хламом. Реминисценции, брат, — расточительство и дурь. Самая короткая линия между двумя точками — прямая. Старо, но вечно.

— Тяжело мне с твоей прямолинейностью, а впрочем, блажен и пребывай в мире, — заключил Виктор, а про себя думал другое: «Кто же такой Генка? Человек новой формации, провидец?.. Ведь все, что он делает, полезно и вовсе лишено эгоизма и позерства».

Геннадий, будто читая мысли брата, сказал ему мягко:

— Ты, Витька, по брюхо сидишь в восемнадцатом веке. Оно, может, и неплохо, век интереснейший, дал замечательных людей во всех областях знания. Да и великих революционеров тоже создал, но мне почему-то жаль тебя. Куда как тяжело перелезть с дымящего паровозика на космический корабль.

— О черт, ты читаешь в душах, а я уже хотел объявить тебя кибернетическим чурбаном, — изумился Виктор. — Кто же ты, Генка?

— Меня словом не проймешь. Считай кем хочешь. Братья рассмеялись и взялись за руки. Виктор с



облегчением ощутил, что душевно радуется общению с Геннадием.

— Как хорошо все же, что ты не плоскодонка, а, видимо, готовый ко всем бурям человек, Генка.

...Наташе Балаковой казалось, что всю свою жизнь она любила только Геннадия Томина. Все мелкие, проходящие с быстротой облака увлечения она окончательно забыла, так ничтожны они были по сравнению с откровением взаимной любви. Чем больше верила она в Геннадия, тем острее и глубже отвечала на его чувство, не замечая, что он первый вызвал в ней страсть и привязанность. До тех пор пока молодой человек, целуя, не настоял на браке, Наташа не была уверена, что именно с ним хотела бы создать семью, но горячность объяснения Геннадия перечеркнула сомнения и равнодушие. Она поверила, что любила его с детства, и вскоре опутала себя ею же самой сотканной прочнейшей паутиной.

— Я боялась быть отвергнутой и из чувства самосохранения старалась оставаться равнодушной,— призналась она матери.

Женщина, если она сохранила чувство собственного женского достоинства, не довольствуется суррогатом и хочет настоящей преданности.

Зарождаясь, любовь часто не достигает расцвета, не набирает силы и опадает, как изъеденный тлей бутон. Все на земле должно пройти положенный путь — цикл, как времена года и плодоносящий сад. Любовь зреет медленно. Губительно сорвать завязь, не дав распуститься цветку и созреть плодам.

— Берегись! Бывает, фейерверк мы принимаем за северное сияние,— предупредила Тереза Павловна дочь. — А впрочем, я рада. Жених, как говорится, всем вышел, всем взял. В добрый час, выходи замуж.

— В замуж, — пошутила Наташа.

Геннадию выпало редкое счастье полюбить. Была ли Наташа совершенна или совсем обычна и даже трудна для постоянной близости, но она явилась той единственной, искомой и обретенной женщиной, с которой Гена мог идти бок о бок в трудном жизненном походе. Единый электрический заряд или судьба, схожесть или совпадающее различие генетических начал — какое это имело значение для обоих любящих, когда они сидели рядом.

«Когда-то,— думал Генка,— я завидовал северным оленям и мудрости животных, которые тянутся друг к другу лишь в определенные им физиологией и законами природы сроки, чтобы быть затем свободными от зова плоти и носиться по лесам, охотясь и сражаясь за жизнь. Не понимал я в мальчишеском задоре, что счастье и наслаждение вовсе не столько в физической ласке. Они — в общении и освобождении от одиночества, в общности устремлений и создании родного гнезда. Незаменяемость и неповторимость, вращение друг в друга и всепознание, вечная радость встречи, точно расстались час назад навсегда,— вот она, любовь!»

Он не сомневался, что, если неповторим на земле человек, неповторимо должно быть и чувство. Предательством называл он ложь и клевету. Разве не измена себе — измена самому близкому из близких существу? Верность другому — это верность себе самому, самосохранение совести и тем самым души. С этого дня для Геннадия начиналась правда бытия. Ищите—и обрящете. Каждому человеку уготовано в мире то, что он ищет.

Предстоящее замужество закадычной подруги поразило Любашу. Она внезапно испугалась, что никогда не познает материнства, останется старой девой. Мысль эта навязчиво и цепко впиалась в нее и не оставляла, незаметно толкая к любой неосмотрительности. Думая о будущем, Любаша невольно припоминала Виктора, вопросительно всматривалась в него, тщетно выискивая какие-либо приметы его расположения к ней. Нет, он видел в Любаше только доброго приятеля, своеобразную копилку, куда он складывал свои печали, скептические догадки, сетования. Равнодушие Балакова инеем ложилось на сердце девушки, и она тревожно искала того, другого, кто мог бы стать ее мужем, отцом ее ребенка.

На свадьбу дочери Тереза Павловна пригласила лишь самых близких людей. За ужином было много съедено, выпито и сказано. Геннадий поднял бокал за «любовь одну-единственную до гроба», что вызвало шутки, но он настаивал и громко возгласил:

— За Ромео и Джульетту, за все поэтические и живые идеалы, за самых счастливых в любви. До дна!

Виктор не отрывал глаз от брата и впервые заметил, сколь широко расставлены на гладком лице его глаза. Свободно разбегаясь к вискам, брови тоже начинались

далеко по обе стороны переносицы, где-то на уровне внутренних углов век. От этого лицо Гены казалось не только добрым, но по-особому человечным. Сросшиеся брови всегда вызывали у Виктора беспокойное недоверие к их обладателю и казались ему признаком коварства, злобы и хитрости. Как и оттопыренные, высоко поставленные узкие уши, такие брови выдавали недобрые свойства характера.

После ужина мебель отодвинули к стенам, и начались танцы. Кое-кто из курящих отправился на кухню, зная о гонении на табак в семье Балаковых. Пошли туда Геннадий, Виктор и подоспевший к десерту Виталий Михайлович.

— Послушайте, почтенный издатель,— спросили Томина,— отчего столь мало интересных книг печатаете? Где же наши современные Чеховы, Лесковы? О Льве Толстом не говорю, такие не в каждое столетие появляются. Но не находите ли вы, что достигнутое за последнее время в литературе и, скажем, в химии, физике, да и в любой иной науке по качеству и количеству весьма не в пользу писателей? Ответьте, не мудрствуя лукаво, напрямик. Мы здесь все свои.

Виталий Михайлович больше всего страшился прямых ответов. Он редко читал книги, которые издавал. Если изданную им книгу критиковали в прессе или в высших инстанциях, он собирал сотрудников и сетовал, как человек, которого жестоко подвели и предали. Он говорил, положив предварительно под язык таблетку валидола:

— Не могу же я один, простите, прочесть сотни издаваемых нами книг. Судите сами, кто тогда будет добывать бумагу, бороться за полиграфию, согласовывать планы, решения? Кто — хотел бы я знать? — Голос Томина креп. — Мы работаем коллективно. — Томин патетически скидывал руки. — Как прикажете теперь быть? Должен напомнить,— все это знают,— я давно уже прошу освободить меня.

Томин сжимал пухлые руки, укладывал их на округлившемся и выпирающем из-под добротного пиджака животе и с видом глубоко скорбящего человека опускал теряющиеся в опухших веках глаза. Роль оскорбленного в своем доверии к подчиненным деятеля подходила, по его мнению, больше всего для данного случая.

Сейчас, оказавшись на свадебном вечере под напором прямых вопросов, Виталий Михайлович решил, как всегда, увильнуть.

— Прошу помнить, я — только издатель. К сожалению, продукция, получаемая издательством... Особенно художественное мастерство, увы... мы не сильны, и особенно в этом году. Но ведь не одной гениальной литературой жив человек... А вкусы у читателей разные. Кто же, как не мы, грешные, позаботится о начинающих писателях; может быть, среди них уже притаился Пушкин или Блок. Не все же создают сразу «Горе от ума».

— А знаете ли вы, — вмешался в разговор Геннадий, — что литература-то у нас просто-таки удивительно хорошая и самобытная.

— Я в этом не уверен, — возразил Виктор.

— Оспариваю, — живо отозвался Геннадий. — Ты не прав.

— Я не делаю скидок и требую качество по большому счету. Литература, по-моему, должна идти в ногу с веком. Она обязана быть интеллектуальной. Пойми — наиболее отзывчивый массовый читатель получил среднее образование, с детства он обогащен разнообразной информацией, знает, что делается на земном шаре и даже во вселенной. Для него Мексика — рядом, он мысленно, а то и наяву уже побывал там или «болел» за наших спортсменов, сидя перед телевизором; он так или иначе разгуливал по ЭКСПО в Монреале, побывал в Японии; он ярится против врагов борющегося Вьетнама, знает все большие города и особенности Африки и следит за последствиями тайфунов в Тихом океане. Его отпугнут от книг наших современников чахлые перепевы слабо одаренных литераторов.

Один писатель, — продолжал Виктор, — сказал мне однажды: «Это вам, научным работникам, надо себя обучать и прочее, а мне талант мой диктует. Наука для бездарных, а нам вдохновение и пение петухов на рассвете больше скажут». Ну и спился теперь. Иссяк, а пополнения нет. Талант без культуры, труда до пота, без знаний — мираж. В литературе не может быть скидок ни на какие обстоятельства.

— Эх, куда махнул! Стоит ли доказывать, что если нет ума, то нет и литературы. Я — не литератор, а

простой читатель, книголюб, не литературовед. Но наша литература — литература нового миропонимания, высокогуманная. Наши гении — Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, затем великие музыканты, художники появились на Руси как провозвестники новой жизни, новых чувств.

— Что-то издалека ты начал. Темна вода во облацех,— попробовал снова прервать Геннадия брат...

— Я верю, Россия даст миру таких исполинов в искусстве и литературе, каких еще не бывало на нашем шарике. Дай только срок. Прогресс в науке, технике идет быстрее, чем в литературе. Но ведь правда и то, что добытое сегодня в научно-техническом прогрессе не долго живет. А литература настоящая живет в веках! Да и материал у нее посложнее: сам человек, ум его и совесть. «Познай самого себя»,— сказано было давно. Но и сегодня это — трудно решаемая задача. Я верю — увидим и мы вселенского масштаба новаторов, ни с чем не сравнимых гениев. Готов биться об заклад — это будет...

— Да ты, племянничек,— сказал Виталий Михайлович удивленно,— хотя и технократ, а, так сказать, высоко держишь знамя семьи Томиных. Брависсимо! Ну, ребята, мне пора, дела, дела...

— Куда ты, дядя Виль, свадьба-то у меня, как у попа, одна в жизни намечается.

— Может, и так, но я что Наполеон и на балу больше получаю. Горы бумаг. Доклад. Завтра пленум...

Свадьбы, как всякие проводы, крайне утомительны. Молодожены ждут не дождутся мгновения, когда их наконец оставят одних. Переевшие и перепившие гости становятся в тягость не только хозяевам, но и самим себе. Горы грязной посуды, опустошенных бутылок и блюд, неудачные остроты и вымученные тосты...

Виктор понял состояние Наташи и Геннадия и, стараясь быть незамеченным, ушел после полуночи. Он долго бродил по безлюдной столице. Женильба брата как бы подчеркнула его личную неустроенность. Перешагнув за тридцать лет, он жил все еще бобылем. Раньше это казалось ему ловкостью, удачей, теперь — потерей. Но, думая о возможности обзавестись семьей, он вспомнил изрядно приукрашенный воображением и далью образ, единственный, манивший его, один во всей вселенной,

БЕЗЗАЩИТНОСТЬ ДОВЕРИЯ

Любаша всегда сама находила средство утешиться в личных неудачах. Она спасалась в работе. Но со времени замужества Наташи девушка почувствовала острее свою, как ей казалось, женскую обездоленность. Чаше обращалась она отныне к зеркалу, выискивая недостатки на своем по-девичьи приятном лице. Как всякая женщина, она знала лучше других свои физические несовершенства и огорчалась тем, что прозвала «недоделками природы». Веснушки, припухлую родинку, выпирающую косточку у переносицы, выпячивающуюся верхнюю губу, излишний пушок на щеках она считала чуть ли не уродством. Никто не смог бы убедить девушку, что эти ее особенности были, наоборот, привлекательны. Она считала, что именно из-за них оставалась так часто одна... А объяснение этому было просто. Строгой, серьезной, гордой и недоступной казалась Любаша окружающим. Происходило же это от ее чрезвычайной застенчивости, неуверенности и непорочности.

Воспитанная главным образом под влиянием матери, влюбленная в героинь русской классики, Любаша, среди живых людей и противоречий, витала в мире своих особых представлений, далеких от реальности. В школе, в институте она, не зная жизни, выдумывала себе людей и награждала их необыкновенными свойствами. Ей хотелось безоговорочно любить и всем верить. Она населила мир героями из мечты и книг и, наталкиваясь на острие действительности, убеждала себя, что это только редчайшее исключение, несчастье, требующее помощи.

Скромная, она боялась яркого света, шумного одобрения и успеха и отдавалась делу, стараясь оставаться незамеченной, чем охотно пользовались другие. Ее идеалом были жертвенные и героические натуры. Любаша принадлежала к тем женщинам, которые долго могут остаться нераспознанными и неоцененными. Сами того не подозревая, они отпугивают иных людей своей духовной цельностью, благородством и высотой устремлений. С ними трудно, так как приходится подбираться и прятать свою не всегда привлекательную сущность и дурные порывы. Некоторые мужчины заявляют, что такие, как Любаша,

пресны и утомительны. Часто Любаша служила живым упреком, и тогда ей мстили насмешками и ярлыками «старомодная», «ограниченная». В действительности люди, подобные Любаше, как цветы днем, очищают воздух одним своим присутствием. Они вдохновляют примером скромности и большим потенциалом добра и мужества. Люди высокого накала и пронизательной души легко их распознают и тянутся к ним, как к животворящему источнику и солнечным лучам.

Рабочий день Любаши начинался рано. Она любила серо-зеленый рассвет и заботы по хозяйству. Вера Сергеевна, проснувшись, находила на столе завтрак, приготовленный дочерью, иногда слышала, как она на цыпочках уходила, чуть скрипнув дверь. В поликлинике было многолюдно. Болезни не знают расписаний. Любаша торопилась на вызовы. Иногда, шутки ради, она считала количество ступеней, которые приходилось ей отмеривать. В пятиэтажных домах не было лифта.

— Сегодня я одолела не менее двух тысяч ступенек, — говорила она, меняя туфли на мягкие шлепанцы, — что поделаешь? Врач должен быть альпинистом и тренированным физкультурником.

Дома открывали ей свои тайны, как люди — хвори. Сколько комнат, столько было несхожих судеб. Постепенно Любаша постигала многое, о чем никогда ранее не думала: человек — самое могущественное существо на планете и, однако, до боли незащищенное перед недугами, старостью, смертью.

Будда, узнав, что люди смертны, подвержены болезням, смяты дряхлостью, ушел на многие годы в горы, чтобы освоиться и примириться с этим, — рассказывает индийская легенда.

Врач, как воин перед полчищами врагов, готов отражать удары, слепо сыплющиеся на людей. Но несовершенство медицины тяжело подавляло Любашу.

— Ну что вы, докторша, можете сделать, ежели и сама я не чуяла, как он, этот лиходейский рак, заполз в меня и высосал всю мою силушку, — говорила ей умирающая в острых муках женщина. — Кто знает, может, он и вас уже гложет, а вам невдомек. Темные вы еще все лекари, бессильные, как и мы, немощные.

Но в соседней квартире вовремя поставленный Любашей диагноз гнойного аппендицита спас жизнь четыр-

надцатилетнему мальчонке, и родители, обнимая врача, твердили наперебой:

— Вот она, наука, что сделала. Спасла сыночка нашего. Погиб бы, если б не ваши знания и не хирург в больнице.

И Любаша смущенно, растерянно размышляла, кто же более прав.

Ее особенно тревожила загадка рака. Туберкулез в девятнадцатом веке, когда он казался всем неодолимой напастью, преддверием смерти, был не менее страшен. Каких только теорий не нагромождали врачи, ученые, знахари и сами жертвы все сжигающей палочки. Где сейчас новый Кох, Пастер? Скоро ли рассеется нависший ужас гибели от рака?.. Медик, физик, кибернетик, биолог, ученый-ветеринар — кто найдет оружие против грозной опухоли?.. Скорее, скорее!

Раковая опухоль казалась Любаше той же упрямой в теле человека атомной бомбой. Что из того, что радиус ее действия — одно тело, один мозг, одна душа. Для каждого отдельного человека его смерть — смерть всего сущего, всей вселенной.

Часто Любаше не хотелось уходить от больного, чтобы лучше понять причину недуга. Отлично изучив Павлова, она понимала, сколь важна бодрость, душевное сопротивление, настрой, условия труда, отношения с окружающими, наследственность пациента. Но работы было так много, что, если даже удвоить трудовой день, ей не хватало бы времени.

Однажды на летучке в поликлинике, отчитываясь, она сказала:

— Раньше имущие обзаводились домашними врачами. Те знали и лечили всю семью и становились чем-то вроде духовника. Это давало им возможность глубже проникнуть в анамнез подопечных, изучить их психику, раздражители, наследственные и приобретенные пороки и достоинства. Наши великие врачи — Захарьин, например, лечивший замоскворецких купцов и знать, — творили чудеса именно благодаря превосходному знанию своих больных. Он был психологом и знатоком людей столько же, сколько практиком и теоретиком медицины. Его считали исцелителем, чуть ли не московским Авиценной.

— Ну, знаете, — сказал главный врач поликлиники, — Броницкая позабыла, что у нас имеются электрокардио-



граммы, любые анализы, вплоть до биохимических, аппараты, которые не спились Захарьиным.

Начался оживленный спор. Главный врач и хирург, добродушно улыбаясь, заметили, что медицина шагает семимильными шагами и врачи пока слишком загружены, чтобы тратить больше часов, чем им положено на осмотр и заполнение истории болезни каждой единицы. Они так и выразились — «единицы».

— Может быть, скоро диагностировать и лечить будут машины.

— Никогда! — вскричала Любаша. — Машина — детище ума человека и всегда останется машиной. Чтобы сформулировать данные, добытые механизмами, нужен живой мозг, ибо нет и не будет стандарта людей, как нет двух одинаковых физиономий и даже одинаково расположенных линий на ладонях и пальцах рук.

Главный врач поликлиники помрачнел.

— Медицина — самая передовая и многогранная наука. Она — жизнь, — сказал он сурово.

Схватку эту прервали пробившие десять раз часы. Летучка затянулась против правил на целых полчаса, и коридоры были битком набиты людьми... А после приема снова вызовы.

Судьбы людей. Иногда это были мелководные ручейки, едва пробивающиеся сквозь песок и камни, замутненные и грязные. Казалось, их ждет гибель. Но, вливаясь в огромные озера и моря, они очищались, вытекали из них прозрачно-чистыми и полноводными. Жизнь проявлялась для Любаши во всем, она отражалась не только в вещах, но главным образом в традициях, привычках, характерах, в сущности людей. Часто тяжело больные, готовые покинуть мир, стремились открыться, как бы исповедаться, чтобы не тащить с собой кладь долгой жизни, где, как часы суток, сменялись порывы добра, зло вынужденное и неосознанное, радости, печали, неразвевшиеся подозрения, обиды и неосуществившиеся мечты и стремления. С чем только не борется человек, чего только нет в огромном хранилище его души. Там откладываются слезы и смех, духовные находки и горечь потерь, тысячи действительных поступков и видений наяву. Каждый из подопечных Любаши говорил и мыслил своеобразно, разно, судил обо всем по-своему.

«Боже,— писала она в своем дневнике,— сколько характеров и как много различий. Вот хотя бы сегодня, я побывала в ином времени, заглянула в мир странных мыслесплетений. Умирает давнишняя моя пациентка, девяностолетняя Неонила Саввишна, в коммунальной квартире прозванная Чертополохом, женщина с лицом боярыни Морозовой, не умеющая писать. В прошлом — прачка, всю жизнь провела в дурмане мистических ужасов и богоискательства, нашла не бога, а дьявола. Сыновей за неверие, по ее выражению, от «своего сердца отлучила», но помощь деньгами от них принимает. Обязаны они, дескать. Один сын помер от сыпного тифа еще в гражданскую. Но Неонила Саввишна заверяла меня сегодня на смертном одре, что не от тифа погиб, а жена его отравила.

— Зачем,— недоумевала я,— ведь вы уже рассказывали мне, что пережить его вдова не смогла, всего год промаялась и скончалась с горя.

— Еще бы, совесть извела, что Ванечку на тот свет отправила. Я сама, к замочной скважине ухом приложась, слышала, как она брату своему признавалась: «Ведь это я муженька ядом напоила и уморила».

— Да за что же она бы это сделала,— изменял он ей или обидел? — спросила я.

— Да что ты, докторша. Это Ванечка-то? Да он ангел был сущий, и как с большевиками спознался, так и не пойму, зачем от веры отступился. Тоже ведь из-за нее. Она партийная была и его за собой потащила. Я ему сразу сказала: «Оберет тебя эта девка и отравит. У нее черт за бога». Так и вышло. Помер Ванечка, а вскорости и жену за собой увел. Сорок с лишним лет я за него свечи ставлю и панихиды заупокойные служу.

Жила, а теперь умирает эта Неонила Саввишна в самом центре Москвы: из окна ее комнаты видны большие, нереальные по легкости формы, точно макеты, дома проспекта Калинина. Смотрю на них, а бабка шепчет мне:

— Я, докторша, как внучку, тебя полюбила, мне ведь девяносто, а может, и больше, никто не считал. Я — тоже ученая, да по-другому. У меня трава-присушка есть, я кровь заговариваю. Могу тебя научить. Не веришь, милая, а ведь силища от того донебесная. Ох, если бы у меня не пищевар испортился (пищеваром зовет она

желудок), я бы еще сто лет жила в добром здравии. Хочешь, я тебе все знания передам. Не от колдовства они, не от Черного, а от Господа нашего. Пригодятся. Мужчины, что мухи, прилипать будут.

Почудилось, сцену гадания Марфы из «Хованщины» воочию увидела и в допетровской Руси побывала. Очнулась не сразу и подивилась: все вокруг иной метой обозначено. И думаю: а какова мета поставлена на человеческих душах? Кто они, люди, в самой глубинной сути своей? Не опередило ли кой-кого время? Большинство людей даже и не задают себе подобных вопросов. Но человек может не пить и не есть, а думать — обязан. Как воздух и вода, нужны ему пища для души и высокое мышление. Иначе человек ли он?

Есть у меня разные пациенты. Впору книгу писать, да нет у меня к этому ни призвания, ни дара. В четырехкомнатной квартире, над Неонилой Саввишной расположилась Тосенька, так ее все и зовут, со своими восемью детьми. Во время Отечественной войны она три года была шофером на передовой, три раза ранена, орденами и медалями украшена, а вот после войны вместо учебы, как сама мне сказала, в личную жизнь «ударилась». Теперь она дворник. Последний муж недавно умер, но Тосенька не горюет. Все дети ее в интернатах, и только в выходные дни и летом ее большая квартира напоминает утес, на который с диким гулом привалили перелетные птицы...»

С Сергеем Ивановым Любаша познакомилась, когда он слег в вирусном гриппе. Ртутный столбик термометра достиг сорока градусов. Больной стонал, просил пить, кашлял и то впадал в беспамятство, то, вздрагивая, приходил в себя и спрашивал, глядя воспаленными глазами в потолок:

— Умру или нет? — И жалобно певнятно отвечал: — Не выдюжу, умру я.

Любаша поставила ему круговые банки, ввела антибиотик, напоила теплым молоком, укутала и наказала соседке по квартире, когда давать лекарство. Но, уйдя, не могла успокоиться, все думала о нем. Иванов поразил ее редкой красотой лица, выражением мальчишеским и вместе растерянным темных глаз, показавшихся ей фиоле-

товыми, может быть, от сильного жара. Никогда не видела она такого внешне привлекательного молодого человека. Каждый несет в своей душе с детства смутный образ, который считает совершенным.

Вечером, по пути с работы домой, Любаша зашла к Сергею опять. Выслушала легкие и всполошилась. Появились редкие влажные хрипы справа.

«Неужели воспаление легкого?» — встревожилась она и, сама не зная зачем, позвонила матери, что вынуждена провести ночь подле тяжкобольного.

— Госпитализировать уже поздно. Живет он один, находится в забытии. Меня смущают перебои сердца... Пневмония. Откладывать лечение нельзя. Может быть, купирую процесс и предотвращу новый фокус,— оправдывалась она перед Верой Сергеевной. — Не волнуйся, мама.

К утру Любаше, так и не уснувшей ни на час, удалось остановить развитие болезни. К Сергею вернулось сознание. С удивлением смотрел он на усталую незнакомую женщину.

— Побриться можно? — спросил он, ощутив лицо.

— Успеете. Завтра,— решила Любаша и собралась в поликлинику.

— Уходите, а я как же? — опечалился Сергей.

— Приду снова. Раз взялась — поставлю вас на ноги. Это профессиональный, так сказать, вопрос. Надо было вас госпитализировать, но я не решилась сначала, а ночью было уже сложно.

— Ага, спорт. Кто кого? Вы — бактерии или они вас победят?

— Долг врача.

Так началось знакомство Любаши и Сергея.

Спустя несколько месяцев они решили, без всякой огласки и празднования, зарегистрировать в загсе свой брак и поселиться вместе. Вера Сергеевна не перечила, следуя постоянному своему правилу не навязывать детям собственных вкусов и мнения.

«Молодые все равно пойдут своей дорогой, да еще и корить меня будут сообща, если помешаю. Да и кто знает, как человеку лучше», — рассудила она. Сергей Иванов ей не нравился, но, проверяя себя, она усомнилась — не ревность ли к нему, забравшему у нее любимицу дочь, лишает ее объективности? Был он не только красив, но и

услужлив, даже чрезмерно, в обращении, легко все обещал, но не всегда исполнял данное слово, постоянно запаздывал и смущенно пытался объяснить свою неточность какими-то таинственными и важными причинами. Иногда вдруг исчезал на несколько дней.

Вместе с тем отличался природной сообразительностью, смекалкой и был умельцем на все руки. Рисовал, лепил, чинил, конструировал несложные машины, имел два изобретения на заводе, где работал инженером, хотя не закончил еще института и учился заочно. К Сергею как-то особенно тянулись дети, где бы он с ними ни встречался. Часами возился он со своим аквариумом, населенным диковинными рыбами. Выдрессировал рыжего сирийского хомяка Фому, который смотрел на хозяина круглыми блестящими, похожими на волчьи ягоды, глазами молитвенно и любовно. Кенар и канарейка, живущие в комнате Сергея, дружили с парой попугаев-неразлучников. Сергей знал повадки, желания, душу птиц и зверей. Было в нем что-то мальчишеское, проказливое и, однако, двоякое. И это затаенное, неясное в его душе и поведении беспокоило Веру Сергеевну.

Вскоре после свадьбы Сергей снова запропал и в течение трех дней о нем не было ни слуху ни духу. Любаша, обезумевшая от тревоги, побывала во всех больницах и даже моргах. Когда, уже неожиданный, он вернулся, выяснилось то, о чем Любаша не подозревала. Небритый, с наголо стриженной головой, с провалившимися глазами, измызганный, в рваном костюме, стоял перед нею Сергей. Недобрый, готовый к нападению, не дожидаясь вопросов, он сипло вывалил тяжкую правду:

— Подстроили нарочно. Увезли трезвого в вытрезвитель... Ну не смотри на меня так жалостно и брезгливо. Я, может, лучше тебя и талантливее других. Кто только не пил на Руси?.. Молчи ты... Маменькина дочка. Чего ревешь? Захочу — и сразу пить брошу. Я ведь сильный. Все могу, да не хочу. Зачем? Ты же меня пьяным не видела? Так о чем речь? У баб не был. Клянусь. Не был.

Так вот что тщательно скрывал Сергей... Страсть к вину. Брак Любаши с пропойцей жестоко поразил Броницких. О лечении, на котором настаивали жена и теща, Сергей не хотел и слышать. Мольбы Любаши то бесили его, то заставляли каяться; в добрые минуты трезвости он клялся бросить пить и превращался в ласкового, убе-

дительно красноречивого паренька. Любаша снова верила ему, ждала исцеления, но жизнь ее становилась испытанием. В дни заоя Сергей пропадал, а вернувшись, с распухшим лицом, оловянным взглядом пустых безумных глаз, грязный, грубый, похотливый, внушал ей непреодолимое отвращение. Особенно тяжело стало Любаше жить с ним после аборта, на который она решилась, не желая родить ребенка, зачатого во хмелю.

Как случилось, что Сергей приохотился к алкоголю? Чем объяснить: слабостью воли, податливостью, дурным влиянием, боязливостью, отсутствием чувства собственного достоинства? Любаша искала ответа в прошлом мужа. Оно не было счастливым. Отец его погиб на войне, мать тяготилась сыном, вышла вторично замуж и вскоре умерла. Тепла семьи мальчик не знал. Он отличался редкими способностями, был сызмала умельцем на все руки. Все ему давалось легко. Он мастерил зажигалки, лепил смешные фигурки, выжигал по дереву рамки, коробки, выполнял любые работы — плотницкие и слесарные. Его заметили рыночные барыги. Мальчик легко добывал деньги. Его зазывали в свою компанию предприимчивые тунеядцы и мелкие жулики. Все они любили выпить. Оказавшись среди них, Сергей вначале сопротивлялся уговорам. Его тошнило от водки, как некурящего от первых папирос. Над ним подтрунивали, издевались. Так начался духовный распад. Болото засасывало его. Он пил все больше, избегал тех, кто хулил его за пьянство; упорство в слабости Сергей считал проявлением силы воли.

Любаша, чтобы быть свободной по вечерам и оберегать мужа от соблазна «зеленого змия», поступила ординатором в больницу.

Случалось, Сергей возрождался. Тогда Любаша отдыхала. Вместе с мужем посещала кино, гуляла с ним, как до брака, по милым окраинам Москвы, бывала в театре, на спортивных соревнованиях, выставках. Дома сразу становилось весело и уютно, и верилось, что с водкой покончено навсегда. Сергей говорил, играя с ручным хомячком Фомкой, подсвистывая кенару:

— Люба моя, Любушка, ну как ты могла поверить, что я ничтожество, беспробудный пьянчужка, падший, гнусный, бесхарактерный тип. Этаким бич — бывший интеллигентный человек. С кем этого не случается, что перехватит чуток. Не могу же я отказаться, прослыть

пентюхом, скупердьяем, когда дружки приглашают поужинать. Мужчины мы, не бабы. У нас свои законы. Сам я, веришь ли, алкоголиков не выношу. Мерзость, когда человек в канаве валяется. Скотство.

На заводе, где работал Сергей, Любаше говорили:

— Башка у вашего мужа — клад. Работает он один за троих. Рационализатор, умница. И общественник хороший, когда, конечно, трезвый. Во всех мероприятиях первый. Пьет, но с кем этого не бывает. Молодо-зелено. Лишь бы знал меру. Обещал кончить вуз. Мы к нему прикрепили преподавателя. Сами знаете, муж ваш успешно сдал за три курса. Вы уж его не пишите, окружите лаской. Женщина многое может. А мы со своей стороны поддержим. Совсем не пьют только больные да эгоисты.

И Любаша смягчалась и вновь надеялась.

— Сереженька, я — твоя воля, твоя опора, возьми мои силы. Ты пьешь потому, что слаб, боишься жизни, слишком уж мягок и нервно оголен, — шептала она Сергею, баюкая его, как мать.

— Ох, добрая ты, слишком уж добрая, — отвечал он, засыпая.

Но когда Сергей запивал, его как будто подменяли. Жалость к мужу высушивала Любашу, изводила. Как ей быть? Из состояния острого отчаяния, протрации и подавленности она вытаскивала себя сама с большим трудом, как из тяжелой болезни. Изредка Любашей овладевало буйство, опасное стремление к разрушению. Жизнь теряла смысл. Хотелось смерти. Она спрашивала себя, как уничтожить причину загубленных, изуродованных человеческих судеб — водку?

Овладев собой, Любаша решила сама проникнуть за завесу мрака, где, судорожно дергаясь и погружаясь в безумие, кружатся в поисках духовного небытия пьяницы. Ей казалось тогда, что она спустилась в ад. Смерть воли, чувства человечности, сознания и целеустремленности. Уничтожение себя ради опьянения, полного отказа от стыда, совести — разве это не загадка? Желая понять, что привлекает Сергея, Любаша однажды, запершись, попробовала выпить, но, кроме ужасающей рвоты, острой головной боли, чувства изгаженности, ничего не ощутила. С возрастающей горечью замечала она, как от каждого последующего запоя мельчала, выщелачивалась душа Сергея. У него дрожали руки, появилась развинченность

в походке, отупение. Что-то гаденькое мелькало в его шныряющих глазах, избегающих прямого взгляда жены. Склонность к лжи, позе, пустословию, напыщенность, воровская уклончивость возрастали. Как-то неожиданно явившись домой, Любаша поймала его на краже денег из ее сумочки. Уговоры лечиться только раздражали Сергея.

Любаша присматривалась к алкоголикам. Отрыгивая, корчась от рвоты и бессильной мнимой чувственности, ползали они, как черви, бесновались, матерились, хрюкая, храпели в уродливом сне.

«Неужели,— думала Любаша,— эти жалкие, гибнущие существа вырастали на коленях заботливых матерей, приносили пионерские присяги, гордились алыми галстуками, а позднее — воинской формой, любили девушек, мечтали о подвигах и путешествиях, создавали мощные машины, строили дома, летали в поднебесье? Несчастные или преступные в своей слабости? Когда началось это бедствие, ползущее, как чума в средневековье, по миру и скашивающее столько светлых душ, полезных и нужных? Что их толкало? Одиночество, озорство и стадное чувство подражания, безысходность и страх перед жизнью и смертью?»

И снова Любаше привиделся дьявольский парад убийц собственного мозга, гасителей собственного света — пьяниц. Они шли, люди разных национальностей и стран, с полубезумными лицами, либо ползли, готовые на бесчисленные унижения и срам ради капли более страшной, чем цианистый калий, который убивает мгновенно, а не уносит жизнь с безжалостной медлительностью.

Возвращаясь домой, Любаша свернула к спиртной лавке и вошла в чертов круг распивающих водку «на троих». Она спросила их, для чего они избрали такой трудный способ постепенного самоубийства.

— Зачем жить, если выпить нельзя? Спирт мозги проясняет,— ответил один из пьяниц. Язык его заплетался, лицо почернело.

«Все алкоголики чем-то похожи друг на друга,— подумала Любаша, вспомнив Сергея. — Та же безжизненность опухших глаз и трупный цвет кожи. Отражение внутреннего мира человека, единственного на земле, вот, оказывается, в чем причина бесконечного разнообразия личностей. У алкоголиков гаснет интеллект, стирается



отпечаток индивидуальности, души. И лица их мертвеют, лишаются внутреннего света».

Пока Любаша размышляла, второй, пивший прямо из бутылки, вытер губы и заговорил четко. Ноги его дрожали и пританцовывали.

— Вот что, гражданочка, проповедница трезвости, в газете «Известия» я прочел несколько лет тому назад, что на каждую душу населения, если считать пьющими всех мужчин старше шестнадцати лет и десять процентов баб, приходится более трех литров водки в месяц. С учетом же пива, виноградного вина и самогона цифра эта достигает почти пяти литров — вот соображайте.

— Так сказать, пережитки капитализма, — добавил третий, громко икая. — За Бахуса и за пережитки. — Он грубо выругался. — А лучше водочки и особенно самогона ничего нет. Расширяет сосуды.

Любаша не могла заставить себя вернуться домой, хотя Сергей в эти дни, после запоя, был трезв. Ее мучила возросшая его грубость и холодность.

— Скучно жить со святошей, — сказал он ей, снова напившись. — Надоели мне твои мокрые глаза, бессловесные укоры. Мне не мать, а хорошая баба нужна. Слушать цитаты из классиков о пьянстве не желаю. Сам все знаю. То ли дело веселая, разбитная девчонка, с ней и пить меньше будешь. Ведь та же порция — да на двоих. Иди читай лекции.

Любаша ничего ему не ответила. Она действительно записывала себе в тетрадочку, с которой не расставалась, слова мыслителей. Выписала она туда и слова Ленина. «Пролетариат — восходящий класс, — говорил Владимир Ильич Кларе Цеткин. — Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало».

...Впервые Сергей ударил жену, когда узнал, что она обратилась к его заводским товарищам с просьбой убедить или заставить его лечиться.

— Предательница, стерва, паршивая интеллигентка! — кричал он. — Постница. Тебя солью присыпать надо, такая ты пресная.

Он выругался так, что Любаша отпрянула. Ей хотелось вскочить на окно и броситься вниз с пятого этажа, чтобы больше ничего не слышать, не видеть, не знать. Сергей как бы отвязал ее от себя, раз и навсегда освободил от ноющей жалости — пут, мешавших уйти,

— Убью! — кричал он, паступая, инстинктивно ощутив, что теряет власть над этой столь многим пожертвовавшей ему женщиной. — На-кося выкуси! Я любовницу заимел. Тоньку, плановика завода, у нее только и отдыхаю от твоих нравоучений. Черт с тобой. У нее тело, а ты что фанера тощая. Уходи. Дудки, не упрячешь ты меня в больницу лечиться. Я здоровее тебя, святоша.

Едва Сергей заснул пьяным, зловонным сном, Любаша ушла, перебралась к матери и тотчас же стала хлопотать о разводе. Но долго еще страдала и много думала о страшной угрозе алкоголизма. Она написала письмо министру здравоохранения. По ее мнению, следовало немедленно пойти войной на алкоголь.

«Я обращаюсь к общественному мнению всех, к матерям, женам, детям, чьи сыновья, мужья, отцы теряют образ и достоинство человека, здоровье и таланты, доброту и честность: объявим войну алкоголизму!»

Тщетно Сергей искал встречи с бывшей женой, просил выслушать, давал обещания не пить; кроме тяжелой травмы, ничего не вызывали в ней эти письма.

Несчастье, постигшее Любашу, вызвало в ней недоверие и подозрительность. Две глубокие скорбные морщины пролегли на молодом лице вдоль крыльев носа к подбородку. Как бы в гримасе боли сводила она непроизвольно брови. Лишь на работе становилась она прежней, деятельной, разговорчивой. Щедро отдавала больным время, думы, чтобы забыть о своей беде. Любаше не нравились больничные палаты, густо замазанные масляной краской, холодный, всегда немного скользкий, линолеум на полу.

В палатах, где лежали ее больные, она запретила яркий свет дневных электроламп, незримо ранящий глазное яблоко и раздражающий мозг. Хворающим нужна иллюзия родного дома, душевный покой, приятная расслабленность, которую дают им воспоминания детства и бывшего здоровья. Каждый день она приносила больным ветки хвой, берез и цветы, чтобы заставить их забыть гнетущую атмосферу больницы, запах лекарств, хлорки, поролоновых матрасов.

Любаша мечтала: «Как только государство еще больше разбогатеет, мы пропитаем воздух палат чистейшим озоном и ионами моря, наденем на больных красивое белье, халаты, усладим их зрение и слух зрелищем

прекрасного и звуками лучшей музыки. Мы, согласно учению Павлова, вызовем у больного рефлекс счастья, усилим волю к жизни. Мы пробудим в них отчаянное желание жить, быть здоровыми и шире воспользуемся лечением травами — этой аптекой земли. Древние врачи Востока учат, что сколько болезней на свете, столько же в природе средств для лечения их. На каждого врага — по другу, на каждый яд — свое противоядие».

Желая убедиться, что, вопреки ее беде, есть все-таки согласие и гармония в браке, Любаша охотно посещала Наталью и Геннадия. Их жизнь могла бы показаться монотонной, но обостренное восприятие Любаши подсказывало ей, что то была тишина счастья, наслаждение полным единением. Оба молодожена много работали и, возвращаясь вечером домой, не могли наговориться, как будто не виделись вечность. Гена участвовал в испытаниях новых самолетов и мечтал о совершеннейших их формах, небывалых скоростях и различных изменениях геометрии крыла.

— Люблю свое дело и еще люблю свою жену, — шутил он. — Один из элементов таинственной таблицы счастья — найти себе одну любовь на всю жизнь и еще второе — желанную специальность.

О несчастливом браке Любаши он сказал:

— Может, я чушь порю, но мне кажется, что пьяницы — люди, не нашедшие себя в мире. Бедняги, эти вечные странники, искатели, в чем-то главном неудачники. От колыбели и, верно, до кремационной печи я иду по своей дороге, и она становится все шире. А иные, посмотрю, плутают, меняют стежки, мечутся и, глядишь, спиваются или — что то же — трещат, как пустой бочонок, пока не рассохнутся.

Наталья никогда не задумывалась, правильно ли выбрала профессию, но, поддавшись влиянию мужа, зарядившись его могучим спокойствием, уверовала в своеобразное предопределение, которому и следовала.

— Никто не приходит в жизнь без своего маршрута, вот только найти его, определить, для чего ты предназначен наследственными генами, обстоятельствами, средой, интересами, эпохой — вот главное, — как эхо, повторяла она вслед за мужем.

Но кто действительно нашел силы и обновлял их снова и снова именно в своем деле — это Любаша.

## УХОД

Павел Александрович занемог и позвал внука к себе. Но день был присутственный, и Виктор отправился загодя в свой институт, где работал старшим научным сотрудником. Наспех сбросив плащ в раздевалке, по нарядной мраморной лестнице поднялся он в зал заседаний. Там было многолюдно и стоял особый шум, напоминавший лес в бурный ветреный день. За столом сидели видные историки и ученые.

После интересного доклада слово взял почтенный академик, похожий на кардинала при испанском дворе эпохи Филиппа II, лысый, с гладким, мягким, розоватым лицом и потухшими, ничего не выражающими глазами. Два кратера потухшего вулкана. Такие люди совершенно бесстрастны и, усвоивши какую-нибудь научную гипотезу, будут до смерти отстаивать ее истинность.

Академик говорил долго, блаженно слушая самого себя, время от времени зачитывал записи, цитаты, высказывания бесспорных авторитетов.

— Скука,— шепнул Виктору сидевший обок с ним приятель, специалист по мировой истории.

— Каждый яд имеет свое противоядие, не пройдет и четверти часа, и этот сухарь усыпит аудиторию. Все его доводы останутся только в стенограмме,— беззвучно ответил Виктор и не ошибся.

Часть слушателей, полузакрыв, как бы в размышлении, глаза, погрузилась в дремоту. Наиболее осторожные отчаянно боролись с сонливостью, что-то записывали, перешептывались.

Вот уже тридцать лет этот академик изрекал примерно одно и то же, в разных, впрочем, вариациях, как будто время остановилось и все вокруг него замерло. Монотонный, высокий, «женственный» голос и ровность интонаций действовали на присутствующих подобно пытке сном.

— Какая бездонная эрудиция,— громко, чтобы слышал оратор, выдохнула одна из «перспективных», по мнению академика, исследовательниц недавнего прошлого.

Виктор терпеливо ждал конца выступления, думая о своем.

«История — вечное поле боя.

К ней надо подходить, как к святыне... с чистой совестью и сердцем. Что мы доподлинно знаем о начале начал? Надо сорвать завесу. Она не менее тяжелая и темная, чем та, что скрывает от нас будущее. Нужны провидцы и великие ученые. Смельчаки — они мыслители, а не кроты... Чего только не было! Инквизиция сожгла не только самих гениев, но и их открытия, а монастыри в иную пору служили убежищем для вольнодумцев и скептиков. Какой парадокс... История, как искусство, литература, во все века была неотделима от политики. Объективизм — иллюзия или хитроумное прикрытие».

Виктор утвердился в мыслях, которые давно его преследовали. Да, для одних историков Наполеон — широкоплечий красавец, с антично правильным лицом, для других — прыщавый, хилого сложения, низенький человечек, носивший сапоги на огромных каблуках, чтобы казаться выше, и подкладывавший на грудь вату под мундир. Марксисты знают, что каждая личность — порождение среды, экономики, времени, отражение уровня развития народа.

Профессия так или иначе влияет на мышление человека. Историки и писатели легче других мысленно перемещаются во времени.

...В зале заседаний разгорелся спор о событиях пятидесятилетней давности, весьма важных для истории всего человечества. Их значимость нисколько не ослабили годы. Они, как открытие новых материков, космоса, на сотни лет определяют пути развития общества. Как прекрасен мог бы быть и должен стать мир. Но нет еще на планете единства, длится тяжба добра со злом...

Виктор прикрыл ладонью глаза. Смутные видения с быстротой облаков в бурю пронеслись среди золотистых бликов перед ним: полчища воинов с колчанами и луками, с копьями и мечами, с ружьями и автоматами. Огромными улитками выползли тараны, мортиры, пушки, зашуршали черепахами танки, извиваясь спрутом, шли бронетранспортеры с ракетами.

«Что это?»

Все исчезло, и к ясному небу, как бы вырвавшись из рук гиганта, всплыл дымчато-белый зонт, раскрываясь в полете. Нет, это не зонт, а куколка, превращающаяся в бабочку, будто бумажный японский цветок в воде. Еще

мгновение — и все обернется смертью. Бабочка, кружевной зонт — смерть. Белая смерть. Водородная бомба!

Балаков очнулся. Собрание продолжалось.

Виктор вспомнил деда. Всю свою жизнь старик знал то, что открывалось трудно и постепенно его внуку, как единственная истина: не допустить гибели Земли, цивилизации, Идеи, Счастья для всех живущих. Бороться подвижнически. История — не регистратор и летописец, она — учитель, боец. Каждый минувший век — мост в будущее. Эпохи революций — арсеналы с пержавеющим оружием для потомков.

А раньше Виктору казалось, что в педрах восемнадцатого века он как бы отсиживался, скрываясь от бурь. Какое недомыслие!

В два часа прения прекратились.

Улучив момент, Виктор, предупредив сослуживца о том, что должен спешить в архив, выбежал на улицу и, добравшись к станции метро, отправился к деду. Он всегда робел, когда старику делалось худо. Восемьдесят шесть лет! Грозная цифра. Она словно выведена бикфордовым шнуром и постоянно грозит гибельным взрывом. Не много людей могут сказать: «Мне без четырех лет девяносто».

«А что, если на этот раз смерть?» — трепеща от беспокойства, спрашивал себя Виктор. Он не мог представить себе полное исчезновение Павла Александровича. «Один человек уйдет, а я окажусь в пустыне».

У Павла Александровича хлопотала Пелагея Ивановна. Желая ободрить и чем-нибудь порадовать друга, она принесла ему бурую и облезлую от многих походов кошку Мурку и посадила ее в ногах его постели. Это было самое умное, по мнению лифтерши, существо на свете. Но Мурка не хотела дежурить у больного и, царапая хозяйку, спрыгнула и убежала на кухню.

— Непутевая, верно, мышей чует, а добрая, — говорила Пелагея Ивановна примирительно. — Если б тебе, Пал Александрыч, было худо, она бы и присмирела. От меня, когда я занедужу, на шаг не отойдет.

Внук увидел Павла Александровича не в привычном ему самокатном кресле, а полулежащим на кровати. Туловище старика покоилось на нескольких взбитых подушках, неприятно-торжественных, белых, в излишне накрахмаленных наволочках. Лицо его казалось тоже мелово-белым и страдальческим. Виктор подошел к деду и впервые

заметил в старческих, обесцвеченных глазах, обведенных черными кругами, выражение страха и недоумения.

«Как, уже? Пора?..» — казалось, спрашивали глаза.

Старик стыдился своей тревоги, боязни неведомого. Он не хотел потерять обычного самообладания, и Виктор мгновенно понял все это. Легче умереть в бою, сражаясь с самой смертью, получить последний удар неожиданно, но лежать как бы со связанными руками, пока она, подкодная ядовитая змея, подползет и удушит... Это слишком, тут требовались сверхмужество и воля.

— Не смерть пугает, а переход из бытия в небытие, — вдруг сказал Павел Александрович, — и что еще того хуже — испытывать страх, подленькое чувство, недостойное человека, — как бы вымолить денек-другой. Унижает это человека, да и не в природе Балаковых позорное крохоборство. Ну, еще, скажем, месяц, даже годок проскрипишь инвалидом, все это ничто в массе времени, короче чиха одного. Жаль, что до инстинкта смерти не доживаем. Мрем рано, мозг наш еще не изжил себя, горит, а тело развалилось. — И старик вдруг смачно выругался.

— Зря ты, старче, в путь собрался, — оживился Виктор, — еще не пришла пора нам расставаться. Ты у нас второй Мафусаил. Живи лет двести.

— Мало, братец мой. Предел жития человеческого — двести пятьдесят, — хитро прищурился Павел Александрович, — ты меня обсчитать хочешь. Но дурачком землю копать не хочу. То голова, то сердце из повиновения выходят. Как бы кондрашка не хватил. Я — сам по себе, а спазмы — сами по себе. Парализует — и баста. Ерундистика какая-то. Лежу, а мысли как бы в киселе тонут. Ни тебе писать, ни читать. Вот и готовлюсь, как Пелагея говорит, преставиться. Так, что ли, старуха, бабка кошачья? У ней точь-в-точь так папенька помер. А коты — те живучие. Говорят, один ее питомец с четвертого этажа свалился и прямо — на лапки. Отряхнулся и пошел.

— Ты, Пал Александрыч, моих друзей, котов, не замай. Я никакое четвероногое на человека не сменяю. Что собака, что кошка — доброты и верности необычайной. От них зла не жди, а человека бойся. Искушает насмерть.

— Так уж и всякого загрызет?

— Зачем всякого. Ты вот родился с собачьей душой, справедливый. Есть и еще такие. Сключительные... Ну, мы с Муркой уходим. И то правда, дети и внуки пынче одно

раздражение для нас, старых людей. Как моя соседка говорит — потребители они для родителей. От них мы и стареем.

— Я заметил, — сказал дед Виктору, когда Пелагея ушла, — что старики и старухи все обобщают. У них — раз дети, то все, внуки тоже гуртом, все люди, все коты... А жизнь, природа и ее творения, как и человеки, ни в какие обобщения не влезают. Особенно у нас на Руси и в наши-то дни. Что ни человек — разновидность.

— Светлая у тебя голова, дедунь.

— Нет, братец мой, уже не то. Спазмы, будь они неладны. А тебя я позвал не для того, чтобы ты мне судно подавал, хотя, или хоша, как Пелагея говорит, и это в конце жизни не последнее дело. Хочу я раскрепоститься полностью.

— Что?..

— Из праха я есмь и в прах обращусь. А следовательно, всему, что я есть, конец. Рассыплюсь, аки песок, обращусь в первичные атомы. Не утешай меня, что, дескать, не вовсе я умру, а удобрю собой землю и вскормлю корни дерева или колосьев. Сознание погаснет, как звезда, а значит, не станет меня во веки веков. Аминь! Теперь скажу тебе начистоту: трудненько бывает жить, но всего труднее от этой самой жизни оторваться, умереть. И еще запомни. Дорожим мы своим багажиком: мыслями, воспоминаниями, знаниями, ну и званиями. Кое-что понял за долгие годы, хоть и остался темный. Жизнь вроде бы длинна, а перед концом своим оглянешься назад — мгновение. Да оно так и есть на самом деле. Прости, браток, что расфилософствовался, но когда же и поговорить, как не перед вечным молчанием.

— Ты не внушай себе, дед, печальных мыслей. Разве такие, как ты, так просто умирают?

— Понимаю, тебе бы, как и мне, впрочем, хотелось, чтобы хоть гром грянул, когда смерть наступает, земля содрогнулась, небо разверзлось; разве каждый из нас — не планета, не вселенная для самого себя. И вдруг тихонечко, бесшумно задохнемся — и вся мудрость. Умираем мы в конце концов от паралича сердца. Значит, именно задохнувшись.

— Ты прав, деда. Читаешь мысли мои.

— Раньше я мнил, — продолжал Павел Александрович, — хорошо бы мне скончаться в бреду, ничего не осо-



знавая, а теперь и не знаю, как лучше. И жить и умирать надо смело. К тому же любопытство берет... по совести говорю... А каково это умирать? Хорошо академик Павлов умирал, геройски, с полным пониманием важности события, единственного, так сказать, первого и последнего. Рождаемся несведущими, умирать должны мудро. Толстой всю долгую жизнь умирать учился и не смог научиться, смириться не смог. Великий был жизнелюб. А иные, видел я, от боязни сами в петлю лезли, в воду прыгали, стрелялись. Ты, Виктор, не таков. Силу свою, впрочем, еще не осознал. В нашем роду не водилось пугливых либо отступников. Хоть и рос подле материнской юбки, знаю, не подведешь. Холили вас, приучали сызмала к мысли, что поколение ваше, как бы в законном порядке преемственности, а не за личные заслуги перед народом, все получает. Трудно выдержать такой искуc. Но вы выдержите: вы унаследовали традиции дедов — революционеров, воинов. Так издревле предки наши, темные бунтари, передавали от отца к сыну веру свою, и ничто их не сломило. Кто хоть раз испил живой воды равенства и свободы — и потомкам свою жажду передаст. Не затоптать никому ростки наши. А плевелы не страшны. Могучее, здоровое семя наше.

В коридоре слышались шаги. Появилась Олимпиада Голубочкина. Как и у других близких старику Балакову друзей, у нее имелся ключ от его квартиры. Не всегда Павел Александрович мог сам, подкатывая на кресле, открыть входную дверь, да и подумывал, что в его-то годы может как-нибудь и вовсе не проснуться, почить, как говорят, вечным сном.

Лампочка, как обычно, не вошла, а ветром ворвалась в квартиру и поставила на стол огромный желтый портфель, с которым никогда не расставалась.

— Вот, — затараторила она, — моя авоська. Магическая. В трамвае не мои седины и преклонный возраст, а именно чемодан производит неотразимое впечатление. Молодежь почтительно уступает место не мне, а портфелю. То ли за первую свою учительницу, то ли за домоуправа, а может, за начальство важное меня принимают.

Голубочкина достала из портфеля несколько бутылок молока и пирожки собственного изготовления. В особом свертке находились ее домашние туфли и бумазейный

халат. Переодевшись в кухне, старушка вернулась к больному и заявила безапелляционно:

— Хочешь или нет, а отныне я вторглась сюда надолго, остаюсь, пока не водружу тебя опять на кресло. Оккупирую раскладушку в соседней комнатке. Так-то, старикан. Моя сила, моя власть. А оставлять тебя одного не буду. Никаких протестов. Детки наши нынче о смерти родителей из некролога в «Вечерке» узнают. Заняты больно.

— Не обобщай. Я своими дочерьми вполне доволен. Только и делают, что консилиумы собирают.

— Хочешь послушать еретичку? Я, бывшая баба, заявляю, что равноправие — бич для женщин. Какое к черту равноправие, когда мы вынашиваем, рожаем, кормим грудью, воспитываем детей, а вы — нет и не будете, что же это за уравниловка?! Попробуй сравнить соловья с соловьиной, петуха с курицей. Не выйдет. Физиология, батя мой, воспротивится. От этой самой эмансипации мужчины вырождаются, а женщина скоро басом закричит. Я — против. Женщине нужно множество преимуществ, и, главное, мужчина обязан быть кормильцем гнезда, когда женщина на сносях и воспитывает детей. Мужчина обязан быть жене и детям опорой.

Виктор, не скрывая удивления, слушал неожиданные сетования Голубочкиной, и чем больше она разглагольствовала, тем меньше у него оставалось возражений против ее неожиданных воззрений. Олимпиада, казалось ему, глубоко обдумала то, о чем сейчас говорила.

— Права должны быть едины, но обязанности различны. Мы, да и это во всем мире так, смешали понятия и обеднили этим жизнь. Никто не заменит женщину в семье, ибо не только родить, но и воспитать детей она одна может наилучшим образом. Традиции отдельной ячейки — семьи — основа чистоты и высоких стремлений всего общества. Их должно укреплять; семью заменить ничем невозможно; не перечеркнуть воздействия генов и наследственных черт прошлых поколений.

Дед слушал, закрыв глаза, а Виктор думал о том, что все бывающие в этой маленькой квартирке необычны.

Разговор, как большинство импровизаций, окончился внезапно и, как ливень, напал влагой семя, дал ему рост. Павел Александрович молчал, погруженный в себя. Днем ему всегда было лучше. Он боялся приближения

ночи. Тогда он испытывал нечто похожее на ужас, объявивший его впервые много лет назад, когда, недвижимый, он лежал на болоте в лесу, где все ополчилось против него, враждовало с ним. С тех именно пор он вознегодовал на природу, особенно на тайгу и тундру. Навсегда запомнилось — были вокруг темные деревья, царапались травы, били его по больному телу сухие, падающие с высоты еловые сучья и шишки.

Ныне ночь стала для старика таким лесом-западной. Выйдет ли он из него живым, дождется ли утра или засосет, уморит тина, хитро укрывшаяся под мхом и свежими плетеньями румяной клюквы? Чего только не виделось ему во тьме. Недоволен был он собой: не дожил, не доделал, не досказал свою, единственную, правду, не боролся за нее, как надо бы, спасаясь в болезни, в проклятой хвори, давно и навсегда приковавшей его к берлоге, как он называл свой маленький мирок. О нем забыли, как о мертвом. А Павел Александрович жил тем напряженнее, что все отныне сосредоточилось для него в мышлении. Тело как бы отмерло, уступило мозгу. Порой ему казалось, что созерцание и мышление только тень жизни. Это было не так. Там, где мозг творит, нет смерти. Как бы в оправдание долгому молчанию, спасавшему его, он писал книгу, но не успел ее закончить.

Предвидя смерть и чувствуя ее приближение, Павел Александрович, как рыцарь перед турниром, готовился пасть с честью, не срамясь. В тяжкие бессонные часы, а спал он все меньше, как бы перед вечным сном, он искал способа легче умереть. Да, не легкой уже жизни, а мгновенного перехода в небытие жаждал он отныне.

«Мы опутаны множеством веревок и цепей и сами повинны в том. Таковы привычки и ненужные привязанности. Расстаться со старыми туфлями и то нелегко. А умирая — надо все потерять. Чем меньшим мы обладаем, тем меньше жалеет о пропаже. «Кто ничего не имеет, тот ничего не боится», — говорит поговорка. Перед разлукой сбрось груз, который тащил многие годы», — записал Павел Александрович,

Он торопился раздать книги, без которых ранее не мог, как ему казалось, обходиться, всякие реликвии — фетиши, ласкающие память, и, наконец, вещи. Родные не понимали его, сочли одряхлевшим. В ответ старик тихо, в жидкую седую бородку посмеивался.

— Не мешайте распорядиться своими кандалами. В могилу зато лягу раскрепощенным.

Из квартиры Балакова постепенно исчезали предметы, находившиеся там десятилетиями. Голубочкина воспротивилась его прихоти, и они едва не поссорились.

— Голым пришел, голым хочу уйти,— упрямо твердил старик.

Но хотя сорвал с себя «путы», освободился от собственности, легче ему не стало. Он по-молодому любил небо за окном, особенно в сумерки и на рассвете, радовался животным, даже облезлым кошкам неугомонной Пелагеи, но особенно тянуло его к людям, к их жизни, бурлящей, захватывающей, увлекательной. И острее, чем когда-либо раньше, захотелось ему дышать, мыслить, чувствовать. Снова осознал он, что нет ничего лучшего, нежели жизнь, как бы ее ни определяли: кратким сном ли в небытии или, наоборот, смерть — это сон после реальности жизни.

«Жить»,— твердил Павел Александрович, как заклятие, внушал себе волю быть, изгоняя бесов, какими казались ему недуги, проклиная дьявола — старость.

Жить!

Старик вызвал внука, чтобы передать ему большую, тщательно завернутую, перевязанную бечевкой и даже запечатанную сургучом папку. Виктор вопросительно разглядывал неожиданный дар.

— Это часть моей книги и, главное, переписка с женщиной, которой уже нет в живых. С бабкой твоей жили мы по-доброму, в согласии и мире. Ни разу не нарушил я данной ей клятвы верности, не блудил. Да рано овдовел. В семнадцатом потерял я и Варю. А через несколько лет жизнь свела меня с замечательной женщиной. Об этом ты и узнаешь. Письма наши все тебе расскажут. Но давай договоримся, как два верных товарища,— откроешь пакет, ознакомишься с содержимым только после моего погребения. Не задавай вопросов: кто, когда? Говорю снова: придет время — и скоро ответ сам собой найдется. Да, и еще просьба. Сожги ты мое брренное тело. Люблю всеочищающий огонь. Вот, кстати, видел я в крематории один шкафчик, стоит там маленький горшок, а на нем золотыми буквами выведено: «Зубной врач Аделаида Веняминовна Пупкина». Что уж тут добавить? Конечно, зубные врачи на том свете тоже могут понадобиться... А теперь ступай.

Устал я... Навеки не наговоришься... Клонит ко сну. Авось еще свидимся. Прощай на всяк случай.

— Да ты, дед, держись. Это главное. Живи!

— Не все я в жизни сделал, далеко не тем был, как надо бы быть. Хитрил с собой, под крылышко голову прятал... Не властен над поступками своими иногда оказывался. Слабоват, сговорчив человек. Поздно хватился. Обо всем таком прочтешь... В эту бумагу, что тебе дал, много, сынок, завернуто. Как только от груза такого не прорвалась она. А вы... вы должны быть лучше нас. И ты таким будешь. Я верю. Ну, иди, иди.

Виктор благоговейно спрятал папку, так и не почувствовав щекочущего любопытства. Где-то в подсознании боялся нарушить наказ деда и тем ускорить его смерть. Захотелось говорить еще и еще о Павле Александровиче. Не спросясь, как обычно заведено было между ними, отправился к матери. Когда в семью вползает смерть, тревога цементирует кровных родственников, смыкаются теснее узы родства, пробуждается инстинктивное тяготение друг к другу, стремление сообща защищаться, делить горе, объединиться для борьбы против бед.

## *Глава седьмая*

### МАТЬ И СЫН

Многие годы Мария Павловна жила одна.

Замкнутые натуры похожи на вершины скалистых гор: они выстаивают под натиском бурь и метелей, кажутся чище, когда рассеивается мрак, и острые горные шпильки, устремленные в небо, вновь озаряются светом. Добираться до них трудно, и они пугают своей нелюдимой, каменной оголенностью.

Мария Павловна черпала силы в умственном труде. Многим она казалась эгоистичной, суховатой, надменной. Сначала это был защитный панцирь от разочарований, постепенно сложился ее суровый характер. Привычка общаться главным образом с самой собой также отдалила ее от людей и их чувствований. Человек всегда находит для себя оправдание и постепенно перестает судить себя строго. Появляется самомнение и нетерпимость. Так сила воли творит либо людей, парящих в высях,

или одиноких, как улитки, имеющих при себе все, даже домик...

Болезнь и близкую кончину Павла Александровича по-разному восприняли его дочери. Тереза отчаянно боролась за жизнь отца и, как многие врачи, боясь лечить его сама, приводила пользующихся ее доверием коллег, доставала редкие лекарства.

Геронтолог, она считала старость своим личным врагом и всячески старалась омолодить клетки, восстановить истощенные временем силы отца. Видя, что усилия ее и выдающихся медиков тщетны, Тереза запиралась и горько плакала. Мария замкнулась в своей горе и наружно казалась спокойной и даже безразличной. Это возмущало Терезу, и сестры ссорились, что случалось вообще-то не часто.

— Рационалистка. Разум разъял твое сердце. На все случаи жизни — одни сентенции, цитаты, — возмущалась Тереза.

— Эмпирик, слащавый романтик, — не оставалась в долгу Мария. — Тебе бы муженька да десяток детишек. Создана для «счастливого бремени жены, матери» — так, кажется, писалось некогда в романах. И как ты только стала ученым, добилась профессорского звания и пишешь о высоких материях и чистой науке?! Ума не приложу. Трудно тебе, бедняжка моя. А ведь не страсть, а канцель любовная всегда прельщала тебя: письма, клятвы... Осложнили нам жизнь школа и бабушка, приучая к идеалам тургеневских неземных девушек. Главное для нас — познание сущности, вещей, разум, идея, — утверждала Мария.

Виктор застал мать за письменным столом, в ярко-зеленом халате. Зеленый цвет был всю жизнь любимым цветом Марии Павловны. В ее комнате он господствовал во всем — в обивке мебели, скатертях, шторах и занавесках. Почти все платья и верхние вещи Марии Павловны были разных оттенков все того же зеленого тона. Она называла этот цвет экстрактом жизни, приводила в пример природу и книгу о цветах Гете, восхвалявшего окраску летней листвы, хвои, лугов и даже морской воды.

— Маня, — заговорил Виктор, — неужели дед может действительно умереть?

— Ты меня удивляешь. Бессмысленный вопрос,

— Ах, пожалуйста, родительница, не говори хрестоматийных истин. Я не о том скорблю, что мы все рождаемся, чтобы умереть и даже унавозить собой почву.

— Как ты, однако, груб.

— Я, пойми, страдаю. Ведь наш родной и какой человек уходит. Не хочу, слышишь, Маня, не согласен я с этим. Он не должен умереть... Он хочет жить, боится смерти. Что же нам делать? Что делать?

— Не глупи. Детский лепет. Мы ведь делаем все, чтобы продлить его существование. И я, поверь, очень страдаю за него. Тут особое чувство... Тереза отыскала еще одно медицинское светило. Бесполезно. Валятся, согласно твоей терминологии, и дубы. Можно удивляться, что папа еще жив. Он столько раз был при смерти и пережил немало. Его поколение сгорало. Вспомни, как рано умирали в двадцатых годах старые большевики.

— Дед говорит, что лучше гореть или, если уж нет иного выхода, сохнуть, но только не гнить.

— Старик наш удивительный. Подумать только — образование каких-нибудь три класса церковноприходского училища, а так много познал. Самородок. — Мария Павловна смолкла, задумалась и продолжала тихо: — Во всяком случае, сын, не беспокойся. Я свой долг, как дочь, выполню... Мы сделаем все. Все, что может медицина.

— Ах, Маня, о каком долге ты говоришь? Разве в этом дело? О своем умирающем отце ты рассуждаешь: самообразование, три класса... да разве в этом дело? Иной с тремя дипломами — хам и тупица. Какой там интеллигент?

— Ну, друг мой, с этим я не согласна. Это было до революции. Наши нынешние учебные заведения куют мысль, и, значит, именно наука закладывает фундамент интеллигентного, мыслящего человека.

— Не о том ты говоришь. Душу не подкуешь, не превратишь в какой-то там остов, подставку. Интеллигент — это синтез высокоразвитого интеллекта и сердца. Им может быть и рабочий без диплома, и колхозник, вообще кто угодно.

— Не логично и не научно, хотя и поэтично. В наше время, как ни странно, многие из молодых не умеют пользоваться научными категориями. Мечутся, ищут то, что уже найдено до них, как слепые котята, тычутся мордочками в великие открытия, мнят себя гениями, новато-

рами и мудрецами. Позабыли простейшие критерии, бояться прослыть ретроgrадами и начетчиками, а фактически повторяют зады... Понятие интеллигенции очень широко, и надо разобраться в нем.

Виктор охнул и поник. Он боялся длинной лекции и, главное, мучился беспокойством о деде. Из-за этого он и приехал к матери. Появление Терезы Павловны обрадовало его.

— Как я и опасалась, биохимический анализ крови — самый неутешительный. Отец при смерти, — сказала тетка Тереза в явном смятении.

— Сними пальто, сестра. Помоги ей, Витюша.

— Стоит ли, я на минутку. Еду к папе. Хочу сегодня остаться у него ночевать, да боюсь — он поймет, что это неспроста и дела его плохи. Не очень-то мы отца баловали вниманием. Великий грех наш дочерний.

— Глупости, — рассердилась Мария. — Начинается нуднейшее самоедство. Что до меня — я не казнюсь. Все, что могла, делала не только для него, но и для вас всех, и часто в ущерб себе и сыну. Уж конечно, я не претендую на вашу благодарность, но и забывать не хочу, сколько сделала для тебя и твоей дочери.

— Прошу тебя, хоть сегодня, когда отец наш так болен, не предъявлять мне обвинений. Не все, увы, родятся таким совершенством, как ты...

— Я... посвятившая себя вам и науке, отказавшаяся от личной жизни! Разве я не поддержала тебя, когда ты слегла после смерти этого калеки Леонида...

Тереза, слушавшая сестру молча, резко поднялась со стула. В усталых глазах появилось выражение, испугавшее Виктора, гордо откинута голова не предвещала ничего миролюбивого. Лево́й рукой она схватила пальто, висевшее на спинке стула, а правую внезапно подняла, как бы для удара, но не опустила, а только погрозила сестре. Затем, совершенно, казалось, успокоенная, пошла к выходной двери.

— Витя, видишь, как она надменна! — заглатывая слова и сразу потеряв весь прежний апломб, крикнула Мария Павловна.

— Замолчи, Маня, не надо ссориться, — взмолился Виктор.

Ему захотелось загладить скверную вспышку матери, догнать Терезу, точно это он был виноват. И одновре-



менно жалко стало мать, которую посчитал только что нервнобольною.

Сдержанность часто оборачивается нетерпимостью и грубостью, подавленные чувства обладают взрывной силой. Но Мария Павловна овладела собой и после словесной разрядки казалась удовлетворенной.

— Давай попьем чаю. Ну чего ради возвращаться мыслями к прошлым обидам. Я ее прощаю. Вскипяти, пожалуйста, воду и достань сласти. После целого дня в архивах и библиотеке, ты же знаешь, человек становится сам не свой. Нехорошо получилось у меня с Терезой, но и она виновата. Чужие люди подчас могут стать ближе кровных. А моя родная сестра, не побоюсь признаться, фактически далекий мне во многих отношениях человек.

— Маня, умерь пыл, ну что ты говоришь?! — отрезал сын.

Он успел уже заварить чай, поставить пирожные. Одна мысль не оставляла его. Что же за характер у матери? Эта женщина, подчас сварливая, бывала чуткой, проникновенно умной. Она считалась простодушной и щедрой. И даже лицо ее, с неправильными чертами, пухлым большим ртом, нравилось нередко значительно больше, нежели у признанных красавиц. Говорила она детским, тихим голосом, смотрела прямо удивленными, широко раскрытыми, менявшими оттенок серыми глазами. Слыла «не от мира сего», олицетворением вечно женственного. Не Тереза, а именно Мария считалась не защищенной от людского зла и потому несчастливой в личной жизни. Под оболочкой слабости эта высокая, по-девичьи худенькая женщина скрывала великое упорство, целеустремленность, достойные удивления. В юности, окончив вечернюю школу, долго вынуждена была трудно зарабатывать гроши на жизнь, а не продолжать, как того хотела, учение.

Павел Александрович в некоторых вопросах воспитания был крут и несговорчив. Когда дочери подрастали, он, по собственному определению, «бросал их, не умеющих плавать, в стремнину, чтоб окрепли, всплыли сами, не заразились праздностью, паразитизмом».

Первым увлечением Марии был Томин, которого она полюбила, считая лучшим из людей. Отец для проверки чувства отправил ее на время к свояку в деревню. Но ме-

нее чем через год Мария Павловна была уже замужем за Томиным. Измена Михаила Михайловича ошеломила молодую женщину, но она быстро совладала с собой.

Все эти перипетии жизни матери Виктор хорошо знал от нее самой, но понимал, как много еще осталось скрытым. Разведясь с мужем, Мария Павловна ухватилась за Виктора, как за спасательный круг. Но не он, а наука помогла ей выстоять. Мария страстно полюбила одинокие странствия по архивным залам, рытье в папках, сопоставление дат и фактов, анализ неумирающего прошлого, буйное схлестывание политических страстей в различных веках, вплоть до нынешнего. Она любила также шумные споры, собрания, увлекалась всяческими начинаниями — культурными, деловыми. Ее выбирали во всевозможные президиумы, бюро, руководящие организации. В ней сочетались общественник и политически мыслящий ученый. Кандидатская диссертация Балаковой была замечена и вызвала одобрение. Писала ее женщина с боевым темпераментом, увлеченная темой и временем, сумевшая оживить прошлое кровью и теплом сердца и ума.

Входя в зал заседаний, Мария Павловна хорошела и радовалась возможности смотреть, слушать и, главное, соучаствовать. Всегда внешне очень спокойная и медлительная, она тогда ощущала норовистость и биение сердца. Сильная в диалектике, она обладала великолепной памятью.

Выпив чаю, Мария Павловна собралась на заседание. Сын возмутился:

— Неужели даже сегодня, когда дедушка безнадежен, ты не можешь пропустить очередное собрание? И вообще, тебе не досадно тратить так много времени на все эти словопрения, писание резолюций, проектов работ треугольника, всяческих обществ, шефств и т. д. и т. п.? Это ведь не остается во времени, не превращается в книгу. Ты — ученый, а не повседневный деятель.

— Ну, знаешь, ты меня извини, мой друг, но это разговор отсталого субъекта. Кто-то ведь должен всем этим заниматься. И, значит, ты считаешь это черной работой. А по-моему, лучшие, честные умы обязаны быть общественниками. Откуда только взялись понятия: «аристократия духа» или «плебеи духа»? Пренебрежение и заносчивость приводят к неоглядным бедам. Непонятно, почему ты, историк, кандидат наук, иногда не проявляешь

доброе классовое чутье и боевого партийного темперамента. Снобизм, барство,— извини меня,— вот что разъедает некоторых из вас, молодых. Любое собрание можно поднять до уровня высокого массового творчества или опустить...

— До морилки сном.

— Нет скучных собраний, есть индифферентность собравшихся, зеркало их пустоты и душевной мелководности. Мне же любое проявление жизни интересно и ново. Каждый из нас отвечает за все происходящее в стране. Каждый и все вместе.

И снова мать и сын спорили жарко.

Иногда, не желая накалять спора, Мария Павловна говорила полшутя, полусерьезно:

— Ничто так не приближает к истине, как умственное единоборство. Только тогда сердце бьется у бойцов в унисон, когда они не таятся и все уясняют себе. Ураган нашего спора поднимает, естественно, сор, но не сдвигает скалы. Идеи только очищаются от бурь. Где мыслят — там и спорят.

— Ты умница, хотя и странная женщина, Маня,— заключал Виктор, целуя почтительно руку матери.

— Хорошо, идем к деду... Но скажи, когда ты все-таки обзаведешься семьей? Говорят, что ребенок — последняя кукла своей родной матери и первое подлинное дитя бабушки. Я хотела бы испытать, так ли это.

— А почему ты не выходишь замуж, Маня? Тебе никто не дает более сорока. У женщины три возраста: один — метрический, второй — который она себе насчитывает и третий — соответствует ее внешности. Ты, значит, молода еще.

— Спасибо, но я вполне счастлива и останусь одной навсегда. Моя семья обширна — общество, ты, наука... А вот ты женись, Виктор, знаешь, кого я хотела бы в невестки...

Из молодых женщин, приятельниц сына, Мария Павловна особо выделяла Любашу, цельность характера которой была понятна и чем-то близка ей. Но Любаша сторонилась матери Виктора, казавшейся ей суховатой и правоучительной.

«На все у Марии Павловны готовые ответы, рецепты жизни, поведения, чувства. А по мне — все мы только люди, все человеки со слабостями, ошибками, и главное —

не судите и не судимы будете. Для себя я ничего еще не определила. Ничтожество, немощность, невежество подчас чувствую так остро, что иногда неохота и на люди казаться», — признавалась себе Любаша.

Виктору Любаша казалась простоватой, иногда суховатой. Узнав о ее неудачном браке и последующих злоключениях, он изрек:

— Иллюзия — это не облако и не перина, а острый камень, вязкая тина, водоворот, волчья яма, в которых легко погибнуть. Женщина всегда останется женщиной, тянется она к мужчине. Кто погладит — хорош.

Он не подумал о душевной боли своего давнишнего друга.

Любаша продолжала свой трудный путь и, как сама говорила, вырывала из тела одну за другой острые колючки. Сергей, оставшись без нее, покатился вниз. Его исключили из института и наконец уволили с работы. Мелкое хулиганство и кража привели к аресту. Он просил о помощи, и Любаша носила ему передачи и посылки. Кенар и попугай отныне поселились у нее. Хомяк Фома издох...

Стеклышками калейдоскопа в разных комбинациях представала перед Любашей ежедневность. Снова она работала районным врачом, но в другой части города, и каждая дверь отворяла перед ней еще одну человеческую судьбу. В этом чередовании жизней растворялась скорбь Любаши. Она находила преданных ей друзей.

Павел Александрович умирал. Надежды более не оставалось. Медленно, томительно шло разрушение его тела, и ничто не могло предотвратить гибель. Пелагея Ивановна первая заметила, как обострился, как бы усох тонкий нос старика, глубже провалились под лоб глаза. Цвет кожи напомнил ей кору мертвой яблони. Села лифтерша в ноги у больного и в святой своей простоте заговорила с ним:

— Вот точь-в-точь, как ты, и мой, помнится, отец хворал. Ноги, руки холодные, щеки синие. Мы его лечить. И медом поили, и травы разные настаивали, бутылками с горячей водой обкладывали.

Павел Александрович со слабой надеждой спросил:

— Получшало?

— Какое там! Преставился под утро. Разве с таким-то восковым лбом люди выздоравливают? Смертная уже на тебе пыльца.

— А,— покорно протянул старик,— иди-ка, Полюшка, помоги Олимпиаде, она третьи сутки не присаживается. Не спит, добрая душа, ночами. Думает, смерть мою отогнать можно бодрствованием. Разве с такими-то недугами, да в мои-то годы, землю копят? Пора на покой. Ты права. Не жилец, значит, я более. Надо и честь знать, место молодым уступить, а то если все до ста заживутся, не пройдет и сорока лет — на земле люди впритык стоять будут. Теснотища. А леса все вырубят и всюду одни только города возведут. На земле, под землей, над землей, на воде и под водой. Да еще и на другие планеты придется перебираться.

— Ну, довольно врать-то. Я хоть и не очень грамотная, но глупости от умностей отличу. Стар ты, а весельчак. Пожалуй, смерть тебя, такого шутника, и не тронет. Да, я тебе про кошку Дашку еще не сказала главного...

— Иди, иди, кошкина мама, я устал. Помолчим, старая,— задыхаясь, едва выговорил Балаков.

В кухне плакала Лампочка.

«Мы бережем камень, вещь, всякий тлен,— думала она и рыдала громче,— только потому, что он принадлежал умершим, а вот уходит навсегда большой души человек, и мы бессильны, не можем продлить его жизнь».

Утерев слезы, Лампочка шла к больному и силилась развлечь его. Она готова была отдать ему часть оставшихся ей лет.

Старик читал ее мысли. Обмануть его более не удавалось. Он говорил, что бойцы лучше других извели горечь и неизбежность смерти, не раз вступая с ней в единоборство. Бессмысленно восставать против законов жизни и гибели. Все кончено.

— Смерть и жизнь неразлучны, едины, неотделимы,— продолжал он едва слышно. — Что делали бы мы, люди, без отдыха и новых трансформаций в мире, где все без конца видоизменяется и мчится? Все — творчество и движение... Жаль, что веры в загробную жизнь нет,— шептал умирающий,— экий это бальзам. Вроде бы пересадка с одной станции на другую, смена поездов, потому что все вокруг нас и мы мчимся. Видно, не надо охаивать смерть. Все правильно в природе.

— Мудреный ты, Паша. А я готова жить вечно. Как и где угодно.

— Вечности для человека нет. Все бурлит и меняется, гибнет и воскресает. Мы однодневки, а вечность — это горение.

— Нет, дорогой дружище, я не одночаска на земле. Не согласна...

— Мышь, мошка так же рассудили бы. Тоже ведь твари живые. А довольствуются малым. Все, мать моя, относительно.

Старик умолк и, смотря перед собой, чему-то улыбался. Иногда казалось: он кого-то привечал, а то вдруг хмурился. Глаза все дни и ночи не смыкал, как бы в предчувствии того, что скоро погаснет для него свет и они сомкнутся непроизвольно, чтобы уже не открыться. Жадно ловил лучи дневного, а вечером искусственного света, просил ставить одну за другой пластинки на радиоле. Слушал любимые мелодии, звуки, голоса. Музыка вызывала в нем минувшее. Он хотел все вспомнить, пережить. Оживали давно исчезнувшие люди. Забывшись, он протягивал к ним руки и плакал то ли от радости встречи, то ли от грусти еще одной последней разлуки.

Кто и что может заменить человеку музыку? Она одна владеет магией оживления прошлого, возвращения запахов, неизменно сопровождающих ее, как аромат сопутствует цветку, его породившему. Музыка окрашивает живыми красками вчерашнее небо и умершие лица. Старинная народная песня перенесла Павла Александровича к деду-староверу, напоила его опять кисловатым яблочным квасом и вернула памяти холодное прикосновение губ матери. Музыка вела его по исчезнувшему времени, вызывая сердцебиение и радостное кружение головы, как в молодости, когда он возглавлял отряд молодых бунтарей, идя на штурм в дни революций, или смущенно говорил девушке, что сделает ее счастливой. Музыка — скрытый голос человеческих душ, чудо, спрятанное от непосвященных.

Сколько беден человеческий язык по сравнению с речью музыки. Она и есть то огромное, что, наполняя, разрывая подчас душу, не находит иного выражения себя, кроме как в звуках. Человеческий слух убог, он не схватывает инфразвуков. Он не слышит мелодий и слов, которыми переполнен воздух. Может быть, там, в эфире, но-

сятся, плавают слова отзвучавшие, песни, некогда петье, голоса не существующих уже людей. И только душа композитора собирает неслышимое и возвращает его в симфониях и бесчисленных звучаниях бессловесной и понятной всем без исключения музыке. Музыка — вечный огонь.

Так думал Павел Александрович. Припоминались трудные испытания тела и духа за долгую жизнь и то, как преодолевал их. Борец понял, что сейчас ему требовалось смирение. Люди ничем уже не могли помочь.

— Не думай о плохом,— шептала над ним Олимпиада,— не заглядывай вперед. Придет твой час сам собой. Не укорачивай жизнь мыслями о ней, проклятой, подкольной.

— А зачем тогда я живу, раз боюсь в глаза, прямо в зрачки ей, смертушке, поглядеть. Силу собираю, меч точку,— страдая все больше от одышки, тихо отвечал Павел Александрович и просил почитать ему любимые стихи или, как он говорил, «покрутить» пластинку.

Олимпиада Петровна находила утешение в суетливой деятельности.

Перед самым концом время замедлило свой полет. Так думалось всем близким старого Балакова, собиравшимся у его ложа. Замедлилось точь-в-точь, как на вокзале перед отбытием поезда.

Тереза Павловна, сидя подле отца, думала о всех, кого хоронила или потеряла. Отец ее прожил долгую жизнь и мог бы еще существовать, если бы к множеству иных недугов не присоединился рак крови, бьющий насмерть враг. Но что значат и восемьдесят пять и девяносто лет, если память и ум свежи; и разве терять родителей старых легче, чем молодых? То, чего не понимает молодость, доступно зрелости и преклонным летам.

«Я сама уже стара, и последний барьер, отделяющий меня от смерти, рушится. Первая в роду, я на очереди к небытию,— горевала Тереза. — Первый кандидат. Невесело, особенно когда мы живем под... тропиком Рака».

С отцом уходило детство, исчезали воспоминания молодости. Тревожно, подавляя желание броситься на колени, просить о прощении невольных нанесенных обид,

случайных неполадок и равнодушия, всматривалась дочь в лицо умиравшего отца, ласкала несмело его дряблую руку, ловила каждое слово, такое нужное теперь, когда приближалось вечное молчание.

Мария Павловна тяготилась атмосферой, воцарившейся вокруг Павла Александровича. Но что могла она сделать? Только дежурить у постели отца.

Виктор забросил занятия и переселился к деду. Он был так растерян, что проводил часы в молчании. Молодого человека тяжело угнетало, что ничего не менялось вокруг и монотонная каждодневность не отражала приближающейся драмы.

«Как все, однако, просто,— думал он,— родятся, умирают, а жизнь несется дальше, хотя человек неповторим. Неужели так щедра природа и столь малó чудеснейшее из ее творений — человек? Какая расточительность и жестокость. Что же такое жизнь и зачем я родился?»

Последний день для Павла Балакова настал преждевременно, хотя все готовились к нему давно. Внезапно он поднялся на постели и с хриплым: — «Я умер» — упал навзничь. Лицо его то багровело, то покрывалось сизевой. Не закрывавшиеся глаза зажглись и погасли. Любаша, вызванная Виктором, ввела под кожу агонизировавшего лекарство, хотя понимала, что может лишь ненадолго продлить его жизнь, а вернее, страдания. Но долг врача — бороться за человеческую жизнь. Агония была, как шквал. Что он ощущал — осталось тайной. Никто из умерших не возвращался, чтобы рассказать живым, что чувствовал он в последние минуты. Есть ли проблески мысли, ощущение боли перед действительной смертью? Кто знает?

Виктор впервые видел, как умирает человек. Ему стало страшно. Он едва удержался от крика, глядя на муки деда, на пленку смерти, покрывшую глаза, на то, как сжимаются, хватаясь за одеяло и халат врача, старческие, сморщенные, в желтых пятнах пигмента, руки. Вдруг они бессильно упали на постель, затихла бурно вздымающаяся худая, в седых волосках грудь. Как будто стих ветер. Мария и Тереза, думая, что скончавшийся, может быть, еще слышит их, бросились прочь из комнаты и лишь тогда, обнявшись, зарыдали. Олимпиада, стоявшая на коленях у кровати, припала головой к Павлу



Александровичу и впервые покрыла дорогое лицо поцелуями.

— Родной мой Пашенька, очнись, живи, не умирай! Что же мне-то делать без тебя, умница моя, Паша, друг... Как я-то буду?..

Согласно желанию Балакова, тело его сожгли и пепел рассыпали на лугу возле Мурома. Виктор многократно собирался открыть завещанную ему папку с письмами и бумагами старика, но благоговейно откладывал. «Я еще не готов для этого», — говорил он себе.

...Жизнь Виктора мало изменилась после смерти деда. Но он как бы стал старше и печальнее. Напряженно трудился над своей докторской диссертацией и почти никого не посещал.

У Броницких тоже, казалось, все затихло. Вера Сергеевна ждала к себе двух сыновей и подыскивала в Подмосковье дачу, где могло бы летом расположиться все ее семейство, включая и дочь Надежду с детьми. Дружба ее с Максимом Ивановичем не ослабевала.

Наталья и Геннадий ожидали первого ребенка.

— Вот добродетельнейшая, идеальная любовь, — говорил о них Виктор, но тон, каким он произносил это, был какой-то неестественно приподнятый.

Над своим рабочим столом он поместил фотографию покойной Динарии, на которой она выглядела очень красивой, но несовременной.

— Это, верно, твоя бабушка в молодости? Она похожа на Лолу Мантос, любовницу наследника королевы Виктории. Чаровница девятнадцатого века, — сказал, увидев портрет, один из друзей Виктора.

Тот не удостоил его ответом.

Иногда Виктор заставлял себя подолгу смотреть на снимок Динарии и всячески старался вернуть прежнее чувство тоски. Но с портретом случилось то, что обычно постигает картины, прибитые к стене. Они сливаются с обоями, и к ним настолько привыкают, что перестают замечать...

Жизнь влекла Виктора вперед. Он записывал в своей заветной тетради мелькнувшие мысли:

«От римского права и особенно от «Декларации прав человека» до «Коммунистического манифеста» прошло в

общем-то немного времени. А век двадцатый кажется самым стремительным и дивным, когда думаешь о достижениях мысли, науки и техники. В ураганном порыве сметает двадцатый век многие наслоения прошлого. Ища всеобщего людского счастья, продления жизни, изничтожения смертоносных педугов, выхода во Вселенную, люди тянутся друг к другу, хотят единения, но встречают дула пушек. Никогда еще не видела Земля столько великих перемен. Но и столько зла, кровопролития: фашизм, расизм искорежили души, осиротили семьи».

Виктор мечтал о победе справедливости. А перед его мысленным взором снова вставал закрывший солнце дымчато-белый зонт — взорвавшаяся водородная бомба, несшая смерть и полное уничтожение даже травам и ящерицам.

Для чего же тогда все? История Земли и ее обитателей, великие идеи, сокровища древних и поздних цивилизаций? Для чего природа дала миру величайших мыслителей, провидцев, ученых, революционеров, подвижников? Чтобы превратить бессмертное в прах, прибавить к самому мертвому из тел нашей Галактики, к Луне, обращенную в пыль Землю?

Нет, этому не быть! Не для того принесено столько жертв нашими дедами и отцами.

Восемнадцатый век, который Виктор долго считал своим прибежищем, терял прежнее очарование хорошо изученного дома. Как все там было просто, несмотря на тяготы и борьбу. То были только вехи истории Земли, азбука социальных преобразований. А двадцатое столетие, с его вселенскими катаклизмами, положило начало совершенно новой эры. И битва продолжается. Поле же боя начинается в глубинах наших душ, в ясном сознании.

Жизнь, мощнейшая из стихий и энергий, двигала вперед людей с их особыми судьбами, страстями, потерями и открытиями.

## Глава восьмая

### ЛЕТО

Васильки поседели в глиняном кувшине, и рыжий спелый колос как бы оттенял их увядание. Виктор Балаков никогда доселе не видел, как меняют окраску василь-

ки, прежде чем осыпаться, исчезнуть. Он вспомнил деда, могучего некогда Павла Александровича, и потянулся к чемодану, где лежал все еще не распечатанный пакет, завещанный ему умиравшим. Достал желтоватый, цвета старой кости, конверт, подержал его и отложил, так как вошел хозяин и позвал к реке.

— Вот, — как бы продолжая начатую беседу, толковал сухощавый пожилой человек, — смотри, Витя, в оба. Хотел поучиться — изволь. Уха рыбацкая всем кушаньям кушанье.

Хозяин выхватил из ведра живого судака и принялся счищать с него чешую. Рыба билась, отчаянно заглатывала воздух. Виктору казалось, что он слышит ее предсмертные крики. Он с трудом заставил себя усидеть на месте, боясь прослыть слабонервным. Лицо его, однако, исказилось, и он отвернулся. А хозяин, довольный собой и веселый, горделиво продолжал:

— Уха, братец мой, первейшее блюдо. Сейчас освободим рыбку от внутренностей — они ни к чему, грязь одна, — промыем легонько, чтобы не испортить ее, порежем самым что ни на есть достойным образом, ну и — в котел. Нет, лучше будет — в кастрюлю. Готовить пищу надо с умом и особенно стараться не разварить бы ее, рабу божью, а братъ затем следует половником.

— Сложная кулинария, — вяло заметил Виктор.

— Запомни правило — варить, да не переваривать, чтобы рыба осталась целехонькой. Обязательно клади лук и лавровый лист, а картофеля — ни-ни. В настоящую уху его не кладут.

— Вы, кажется, леща сейчас в кастрюлю опустили.

— А то как же. Чтобы уха была перворазрядная, ароматная, как цветущий луг, надо рыбу различных пород соединить. Скажем, судака, леща, карпа, сазана. Что ни рыба — свой запах, свой вкус. И положено враз варить не менее четырех сортов.

Вскоре Виктор наслаждался чудесным обедом. Сначала смачно ел густую и вместе прозрачную жижу — шулюм, навар ухи, который полагалось пить из чашки, как самый изысканный чай. Затем руками выхватил, подражая хозяину, один кусок, потом другой пышной и тающей во рту, будто сдоба, рыбы.

Насытившиеся гастрономическим шедевром, рыбаки лежали на берегу Волги в блаженном состоянии покоя.

Под вечер, подсчитав, что через три дня должен возвращаться в Москву, Виктор решил взяться за чтение. Вынув объемистую тетрадь, исписанную незнакомой рукой. Почерк был скорее некрасивый, размашистый, буквы бежали кверху стремительно, как бы взявшись за руки и приплясывая.

«Писал человек, устремленный вперед, несомненный оптимист», — почему-то решил Балаков. В конце тетрадки он нашел короткое письмо деда:

«Виктор, друг, впуск, рука отказывается предать сожжению эту исповедь драгоценного человека, которого я больше чем любил. Не нахожу определения должного, чтобы пояснить, как была эта женщина дорога и необходима для всей моей зрелой жизни. И, потеряв ее, жил переполненный всем, что получил и познал в общении с ней. Прочитав, думая обо мне, думай и о ней. А с тетрадью ты волен делать что захочешь».

Виктор принялся читать рукопись:

«...Зовут меня все сызмала Лала, а ведь отец нарек Евлалией. Сколь несхоже. Что-то монастырское, средневеково-тяжкое в подлинном моем имени и легкомысленно-претенциозное в уменьшительном. Родителей я потеряла в детстве и выросла у тетки, сумевшей прожить жизнь в полном соответствии с калейдоскопически менявшейся эпохой. Первый муж ее был сибиряком, золотопромышленником, восторженным слугой монархии. Она его бросила и уехала в Москву с дворянином-инженером, который причислял себя к партии кадетов и требовал в тостах за ужином конституционной монархии. В начале революции тетка увлеклась присяжным поверенным, членом эсеровской партии, и отказалась эмигрировать с мужем за границу. Как чеховская Душечка, она меняла свои взгляды в зависимости от того мужчины, в которого была влюблена. А влюблялась, согласно ее же выражению, «катастрофически теряя рассудок».

В эти-то годы я жила у нее, но, осатанев от напыщенной фразеологии, истерик и любовных стенаний тетки, ушла работать в горнаробраз. Учила рабочих читать и писать, а затем служила корректором в газете. С теткой более не встречалась.

Город наш заняли белые. В конце восемнадцатого года с друзьями-комсомольцами ушла я в подполье. Там и стала большевичкой. А спустя два года после победы

на партийной конференции в Москве услышала с трибуны Георгия Орлова, а затем познакомилась с ним. С того дня веду я свое летосчисление, так много дало мне это счастливое событие. Он оказался самым значительным человеком в становлении моей личности и судьбы. В юности, до появления Орлова, я делала все вслепую, не осознавая своих поступков. Так живет немало молодых людей, подчиняясь случаю, короткому увлечению, инстинкту, подсознательному устремлению.

Древний мудрец писал, что женщина — творение мужчины. В какой-то степени в начале нашей совместной жизни так оно и было. Разница в опыте, знаниях, мышлении сделала Орлова поводырем моим и учителем, но с годами расстояние уменьшалось, я быстро догоняла моего руководителя. Это было плодотворное соревнование. В чем-то он остался для меня недостижим, в ином я обогнала его.

Проводили большую часть времени мы вдвоем и никогда не испытывали скуки в согласных раздумьях, спорах, мечтах. Более духовно вытrenированной личности, нежели Георгий Орлов, мне так и не пришлось в жизни видеть. Никогда с его уст за все годы брака не сорвалось бранное слово или грубость. Осерчав, он замыкался в себе, и молчание его для меня было самой большой карой. Оно, казалось, разило мечом. Разъярившись, он мог, вероятно, ударить, но не давал себе воли. Зная, сколь страстны и необузданны его порывы, он старался уйти и мог всю ночь бродить по городу один. Несомненно, самыми вспыльчивыми бывают наиболее сдержанные люди, жаркими — внешне холодные, привязчивыми — те, кто склонен к одиночеству, такова своеобразная диалектика характеров. Орлов казался всем сдержаннейшим человеком. Он был суров к окружающим и сам в шутку называл себя сатурнианцем. Средневековые астрологи объявили, что родившиеся под планетой Сатурн молчаливы и скрытны. Орлов считал выдержку и приверженность к одиночеству наиболее ценными чертами характера.

В годы, когда друзья Орлова, такие же гимназисты, слагали лирические стихи или, увлекаясь музыкой, изучали нотную грамоту, завидуя славе Бальмонта, Скрябина и Дебюсси, Орлов ночи напролет штудировал философские и экономические труды Гегеля и Маркса. В по-

следнем классе гимназии он выступил перед сверстниками с речью почти зрелым марксистом. Тогда он уже работал в подпольной большевистской типографии и вступил в партию. Позже был арестован и судим. Его отправили на каторгу.

Если бы я могла нарисовать штриховой портрет этого удивительного, как все поколение первых коммунистов, молодого человека! Если б владела достаточно пером и кистью!.. Георгий оставался верен избранному делу — намеченной цели. Никогда не бросал он чего-либо, не доведя до конца. Изучая Маркса и Энгельса, он осознал провидческий гений их учения. Приняв его, открыл в себе свое второе «я» — неустрашимого борца, а не только теоретика. Самый молчаливый из людей, он был прекрасным лектором, потому что молчаливость его проистекала не от отсутствия мыслей и слов, а от сознания великой ценности дум и отвращения к пустословию. Слово, как дар, ценно само по себе. Оно ничто для фразера и средство неотразимой силы для мыслителя, теоретика, творца.

Определив свой путь, Орлов вступил в борьбу против общественного строя России. В подпольной большевистской типографии и на баррикадах Красной Пресни, в тюрьме он был непоколебим, неустрашим, храбр и тверд. Выросший в холе буржуа стал закаленным революционером. Все в детстве было открыто для него — мир для обозрения, образование и профессия по выбору, обеспеченное существование. Однако он выбрал тяжелую долю рядового первой пролетарской партии России и пошел за Лениным утверждать и приближать победу марксизма.

Такие большевики в партии встречались нередко. Они отличались хорошим воспитанием, знанием многих иностранных языков. Все это были блестящие люди, без остатка отдавшие себя избранной идее. Эти люди славились редким бескорыстием и скромностью в быту. Точность и щепетильность Георгия в обращении с деньгами были поразительны. Помню, он терпеть не мог подарков от чужих людей и решительно не принимал ничего от подчиненных. Он экономил каждую копейку советской власти и не только не тратил того, что ему выдавалось в случае командировки, но, как правило, возвращал часть полученной суммы. Всюду, на родине и за кордоном, где это не вредило престижу, он старался ездить в вагонах третьего класса, останавливаться в дешевых отелях. Ге-

оргий придирчиво проверял полученные счета и гордился экономией. Если он нуждался в деньгах, то зарабатывал их, трудясь над статьей или преподавая.

Для меня встреча с Георгием, его огромная любовь были подобны взрыву. Все с той поры переменилось: мой быт, поведение, стремления. Орлов полюбил меня, добиваясь взаимности с присущей ему силой и упорством. Мне было двадцать лет, когда мы познакомились. Вначале он мне не нравился, показался спесивым, злил явным пренебрежением к моей персоне. Я про себя назвала его «индюком». Когда мы заговорили, «индюк» оказался простым, занимательным, остроумным. После трудного рабочего дня хотя бы на несколько минут он приходил ко мне. Его всеобъемлющие знания, воля, мужское очарование и какая-то юношеская, полная романтики любовь поразили меня. Такого я еще не встречала. Он окружил меня непривычным вниманием и сумел увлечь неведомыми до того мыслями. Искусство он знал, как художник, артист. Дом наш стал для меня маленькой бухтой, крепостью духовных ценностей и благ. Георгий — неистовый библиофил — приохотил меня к книгам. Мы собирали их, но не по капризу, а согласно продуманному плану. Я искала все, что касалось революций. Позднее приобрела творения женского пера в России и Европе.

Мы читали вслух Катулла, Цицерона и Тацита. Георгий знал их с юности. Долго охотились за древнегерманскими сагами и балладами. Персы, индийцы — все пришли к нам, и необозримый мир открылся мне... Мои вечные друзья — книги помогли мне выжить во всех трудных испытаниях... Но не только книги окружали нас с Орловым. Мы интересовались живописью, ваянием, музыкой.

В чувстве Орлова ко мне соединились любовь мужчины, отца, брата, друга и учителя. Мое счастье, умственное развитие были для него во много раз важнее, нежели собственные. Он радовался каждой моей удаче. Все годы нашего брака его звали «женихом», а он говорил, что с каждым часом любит меня все больше.

Георгий не терпел праздности и не позволял ни себе, ни мне останавливаться. Он настоял на том, чтобы я серьезно училась. Меня привлекала археология. Но я еще не умела систематически заниматься. Тогда Георгий, видя мою неусидчивость, запирал меня дома, благо уходил на работу очень рано, когда я еще спала. Просыпа-

ясь, я находила письмо, написанное им почью, термос с кофе, бутерброды, учебники с отчерченными страницами. Он твердил мне постоянно: «Чем бы ты ни занялась, надо иметь систематически полученные знания. Верь в свои силы и стремись к цели. Если бы я не верил в тебя, то не стал бы упорствовать. Работай...»

Сначала я возмущалась, хватала телефонную трубку, но мне отвечали, что его нет на месте. Я впадала в ярость, угрожала разводом, немедленным отъездом из Москвы. Но вскоре пыл возмущения исчезал. Как пушкинская Людмила, я принималась есть, затем читала оставленную мне книгу и делала выписки. К возвращению Орлова не оставалось и тени недовольства. Постепенно наслаждение умственным трудом, плодотворным одиночеством стало мне необходимо. Один из труднейших барьеров благодаря мужу пал, и я полюбила часы раздумий и занятий.

Когда Георгий взял меня с собой за границу, это оказалось продолжением все той же упорной школы. Он был неиссякаемо знающим гидом. От первого и до последнего дня нашей дружбы этот человек не переставал изумлять меня обширностью, глубиной своих познаний.

В моей памяти, пока она светла, не исчезнет дорогой образ Орлова. Он, как никто, берег время и ценил одиночество.

— Как можешь ты тратить столько часов на разговоры с людьми, тянущими тебя в болото, засоряющими время? — часто спрашивал он меня и уходил к себе, чтобы остаться наедине с книгами и начатой работой.

До поздней ночи он читал и писал. Газеты на многих языках мира лежали на его письменном столе среди новейших научных статистических, экономических справочников и трудов. Он успевал также просматривать новинки литературы... мы не пропускали значительных концертов и театральных премьер...»

Виктор устало отложил рукопись. «Какой богатой была жизнь у этих людей». Ему вдруг очень захотелось увидеть фотографию Лалы Орловой.

«Она, должно быть, красива,—продолжал он мысленно говорить сам с собой.— Жива еще или уже нет? Если существует, то стара, может быть, немощна. Беспокойная женщина. И уж слишком умна. Страшно с такими. Они до самого донышка все постигают. Утомительно для



нас, грешных. Глупость в женщине иногда необходима, как отдых... Почему я никогда не видел Евлалии-Лалы у деда? Значит, ее не стало до моего рождения. Как, однако, все это странно. Завтра же снова возьмусь за записки, проясню все».

Но читать исповедь Лалы ему пришлось не скоро. На рассвете Виктор и хозяин снова отправились на рыбную ловлю. Река казалась широкой асфальтированной дорогой в неоглядной степи, сливавшейся с небом. Пейзаж был скорее неприятен для глаза, но дышалось вольготно. И в однообразии окружающего рождалось особое спокойствие, которого так хотелось Балакову.

Вокруг были серая вода и песок, поросший ковылем и пыльными непритязательными травами. Как обычно, улов удался на славу. Виктор прослушал подробное наставление, как солить икру. Мысленно винился перед собой: хотел было стать вегетарианцем, а снова смачно ел шулюм и тающие во рту куски рыбы. Хозяин, читая в его душе, сказал:

— Понял я тебя. Лещей и прочую жизнь жалеешь. Мудришь и каешься. А зачем? Как же нам быть? Сам давеча рассказывал, что деревья и даже цветы боль испытывают. Это, мол, биотоками подтверждено. Стало быть, злаки и овощи — живые и от страданий не избавлены, еще, чего доброго, размышляют. Тьфу, экая дурь!.. Достопохвально, пусть все это правда. Скажи, милости ради, чем же человеку кормиться в таком разе? А по мне, рыба — это свинья, для корма людей самой природой предназначена. У каждого дыхания на земле свой удел. А конец у всех один. Амба.

В сумерки, после многочасового блаженного ничего-неделания, Виктор хватился, что позабыл о тетради, доверенной ему покойным дедом, но быстро стемнело, и не захотелось зажигать свет. Осторожно потрогал пахнущую лежалым сеном рукопись Лалы и решил вернуться к ней позже. Мозг и тело Виктора охватила та вялость, за которой всегда следует прилив новых сил. Он стряхивал с себя душевную тяжесть многих лет. Спал у самой реки, как в младенческой колыбели.

...Прощаясь, хозяин сказал ему, хлопнув дружески по плечу:

— Усердно прошу тебя: меньше задумывайся. Короток ведь наш век, и всего не объемишь. А с природой

не расходись. С ней мы навечно соединены пуповиной. Из земли мы суть, в ней и упокоимся.

— Достопохвально,—ответил Виктор любимым словом хозяина и ребячески улыбнулся: — Быть по сему.

Вскоре он снова переступил порог своей московской квартиры. Старательно стер пыль с книг на полках, долго приводил в порядок бумаги в письменном столе и вещи в шкафу. Развесил одежду и засунул распялки в туфли, почистив их основательно. Давно уже не занимался он своим несложным хозяйством с таким рвением. «А не жениться ли мне?»—подумал он, принимаясь завтракать в кухоньке, где все показалось ему безличным и скучным. «Об этом не размышлять надо, а, вопреки себе подчас, действовать. Но если есть сомнения, то уж лучше одному». Виктор позвонил матери: она оказалась в отъезде.

На следующий день, ощущая все ту же завидную легкость и необъяснимую радость бытия, он отправился на работу. Для докторской диссертации нужно было еще немало сделать. Предстояло обозреть и понять историю Франции начала восемнадцатого века. Там залегли причины первой революции французов, прогремевшей спустя несколько десятилетий после роскошного и шумного царствования самодержца и деспота Людовика XIV.

Виктор Балаков снова принялся читать ценные, неумирающие свидетельства эпохи. Хороши мемуары отчаянного мушкетера, изысканного эрудита, юркого политика и придворного вельможи герцога Сен-Симона.

«Не все достоверно в повествовании, основанном только на памяти и воссозданном пером, движимым различными страстями, жаждой мести, честолюбием, предвзятостью. И, однако, ничто не возвращает нам ярче свет и особенности исчезнувшей эпохи. Запечатленное слово воскрешает умершие звуки, краски, события, характеры людей. Не ведая того, мемуарист тоже становится ожившим памятником своего времени.

«*Sine ira et studio*»,—гласит требование древних к летописцу—«Без гнева и пристрастия». Тщетное поучение. Любовь и ненависть, горечь обид, честь и удачливость неизбежно окрасят строки мемуаров»,—думал Виктор, но тем больше привлекали его письма, дневники и воспоминания очевидцев.

Сен-Симон ему правился остротой чувствований, темпераментом и превосходным стилистическим даром. Читая его мемуары, Виктор спорил с ним:

«Милейший, красноречивейший и хитроумный герцог, вы очень проницательны, но поверхностны. Вам не открылась суть вещей. Грызня между собой интриганов, добивающихся милостей трона, происки королевских любовниц, коварство и жестокость самодержца действительно приводили к злодеяниям, свидетелем которых вы стали. Но это лишь малая часть правды. А в чем, по-вашему, зерно зла? В чем причина непомерного расцвета и затем бурного распада разоренной монархией страны? Вам присущ дар описательства, но не широкого понимания и анализа. Однако мы, потомки, признательны вам за воссоздание среды, аромата века, голосов исчезнувших поколений, за показ их распрей и радостей».

Виктор наслаждался саркастическим пером Сен-Симона, меткостью и легкостью его стиля. Он выписывал отдельные страницы, посвященные королю, где в льстивой фразе таилась убийственная ирония.

«...Этот государь,— сообщал герцог о Людовике XIV,— был счастлив, счастлив своими подданными, которые поклонялись ему и жертвовали достоянием, кровью, дарованьями, большинство — добрым именем, а некоторые — даже честью и превыше всякой меры совестью. Особенно счастлив был он в семье... если бы удовлетворился одной законной. Его брат, растративший свою беспутную жизнь ради удовлетворения пагубных вкусов, погряз в мелочах. Его жена лишена всяких дарований, его единственный сын, которого всю жизнь водили на помочах, достигнув пятидесяти лет, умел только стонать под тяжестью стеснений. Принца окружали со всех сторон, за ним наблюдали, и он осмеливался делать только то, что ему было дозволено... Принцы крови отличались теми же чертами характера...

Вместо деловых людей,— писал далее герцог Сен-Симон,— парламенты наводнили напыщенные глупцы или невежественные педанты, скряги, ростовщики, жадные до наживы, зачастую торговавшие правосудием; во главе стояли высокомерные начальники, чванные до наглости, притом пустые во всех отношениях».

Ярость Сен-Симона, казалось, перешагнула века. «Уф, сколько яда и разрушительной ненависти»,— заключал

Виктор, перечитывая характеристику и времени и самого Людовика в воспоминаниях его подданного. Но Балакова, историка нового века, привлекал не столько образ «короля солнца», этого притворнейшего властолюбца, сколько обстоятельства и те люди, которые позволяли отсекал себе головы.

Виктору важнее всего были подспудные экономические двигатели эпохи и общественные отношения Франции, притеснители и их жертвы. Изучая документы и приметы времени, он постепенно раздвинул историческую панораму, приближаясь к пониманию законов возвышения и падения монархии. Нищета, мор и духовная тьма, войны и пожары, ужас пожизненного заточения в ямах Бастилии, длинный список мучеников точно объясняли то, что казалось загадкой Сеп-Симону. Виктор ощущал себя живущим одновременно в разных веках.

Вот уже второй год он преподавал в учебном заведении, где училась молодежь разных национальностей. Среди студентов были вьетнамцы, будущие учителя истории. Их пытливость, трудолюбие, отвага, сказывающаяся во всем особая многовековая культура нравились Виктору. Многого в них он не понимал, но чувствовал при этом не свое превосходство, а недостаток знания таинственного далекого края, его истории. Балаков старался постичь духовные запросы учеников и дать им побольше знаний своего предмета. Постепенно молодые вьетнамцы подружались с Виктором и, в свой черед, многое рассказывали о своей сражавшейся за независимость многострадальной родине. Виктор читал о прошлом и настоящем Вьетнама и, глубже постигая, удивлялся мужеству его неустрашимого народа.

Лето стояло знойное. В читальном зале, где обычно подолгу просиживал Виктор, была особая свежесть. После архивов и тишины бумажного колумбария особенно приятным казался Виктору гул улиц. Даже запах перегара автомоторов не раздражал его больше. Хорошо было отдыхать на зеленых островках среди асфальта.

С Глафирой Марковной Виктор заговорил просто оттого, что устал от одиночества. Она сидела рядом с ним на скамейке сквера подле Большого театра и рисовала кончиком зонтика чертика на песчаной дорожке. Похожая на зрелую клубнику, румяная, с несколькими родинками, разомлевшая, полноватая, невысокая, она чем-то располагала

к себе. Виктор заметил ее короткую, в складочках, шею, плотные, ровные ноги выносливого ходока. Она охотно разговаривалась и по-детски жадно принялась есть мороженое в трубочке, предложенное Виктором. Глафира Марковна, или просто Гигиша, как ее звали с детства все знакомые, была районным методистом по дошкольному воспитанию и отвечала за работу воспитательниц яслей и детских садов. В это лето она готовилась поступать в аспирантуру.

Не прошло и часа, как Виктору уже казалось, что он давно знает Гигишу. Она рассказала ему о себе. С мужем не жила уже несколько лет.

— Мы совершенно свободны и застрахованы от новых браков. Ведь это же подавление личности и, как говорил Мопассан, унижительный обмен дурным настроением.

— Точно,— оживился Балаков. — Я решил никогда не жениться.

— Как, даже и на мне? — пошутила его новая знакомая.

— И на вас тоже. Но встречаться мы будем, как единомышленники, так как оба презираем... институт брака.

— Согласна, я надежный друг, и вы, кажется, тоже. Они расстались, обменявшись номерами телефонов. Ему особенно нравилось исходившее от нее спокойствие. В этом она напомнила ему Динарию.

Следующий раз они встретились не скоро и провели вечер в незначительной беседе и прогулке по набережной.

Вкусы, понятия красоты резко меняются у людей в разном возрасте. С удивлением подчас смотрим мы на то, что привлекало нас в юности, и, случается, не находим объяснения былым своим увлечениям. Но есть нечто безусловно незаменимое, чему остаешься верен, проносишь через всю жизнь. Не всем удастся сразу найти своего спутника.

Гигиша изучала психологию ребенка до трех-четырех лет и открывала для себя мир пробуждения человеческой личности. Маленькие человечки явно не схожи, но в одном почти не разнились между собой. Память их необычайно восприимчива. Поразительна оказалась и наблюдательность ребенка: он безошибочно повторял заданное упражнение, сложные движения рукой, повороты туловища, которые с трудом запоминали взрослые люди.

— Понимаешь, дети — это крошечные гении, — восхищалась Гигиша, рассказывая Виктору о своих наблюдениях.

— Но почему, когда они вырастают, то оказываются нередко посредственностями?

— По-видимому, не выдюжили, понимаешь, отстали или, понимаешь, даже вовсе остановились, — нашла Гигиша.

— Понимаешь, понимаешь, — посмеивался Виктор, подчеркивая любимое словечко, которое обычно вставляла Гигиша, и продолжал: — Я давно заметил, что некоторые люди по степени умственных способностей остались на уровне десяти-двенадцатилетних детей. Это, впрочем, у развитого ребенка высота немалая. Все остальное они добыли опытом, подражанием, инстинктами, и только.

— А ведь ты, пони... Ой, вот навязалось!.. Пожалуй, ты прав.

Виктор привык к обществу Гигиши, внимательно выслушивал ее рассказы о работе, знал, что врач Петр Иванович несносно придирчив, но справедлив, что Соня-педиатр ленива и хочет завладеть местом Анфисы Сидоровны в райздраве, когда та уйдет на пенсию. Но «бабка Анфиса», как звали врача в районе, отпраздновала пятидесятипятилетие еще десять лет назад и очень уважаема в горздраве. Благодаря ее суровой энергии в яслях и садиках района редко болеют дети: в них господствует полный порядок.

— Понимаешь, родятся же такие многотерпеливые, добрейшие, хотя на вид грозные, женщины, подлинные матери для тысяч детей. Я не могла бы стать такой. Раздражаюсь и бушую подчас из-за ничего. Прескверный у меня характер.

На самом деле Гигиша была невозмутимейшим существом. Случалось, она прибегала к Виктору, чтобы сообщить ему свои невзгоды, и твердила, что не может работать с Петром Ивановичем, в котором желчи больше, чем крови. Но уже через полчаса, когда Виктор возвращался с хлебом и сладями, Гигиша, мирно посапывая, спала непробудным сном на его диване. Проснувшись, забывала обо всех неполадках, долго мыла лицо холодной водой и затем принималась стряпать и убирать квартирку своего друга. Осматривала его вещи, чистила их, чинила.

Это были действительно хорошие часы. Гигиша, усевшись на балконе, пришивала пуговицы и всегда почему-то отрывавшуюся от пиджака подкладку Виктора, а он по ее команде управлялся на кухне. Потом они пили кофе с пирожными и шутили, что похожи на супругов с многолетним стажем.

Однажды на прощание Виктор поцеловал Гигишу и несколько растерялся, когда она пылко ему ответила. Оставшись один, он впервые задумался над тем, как же сложатся дальше их отношения.

В ближайшее воскресенье они отправились в подмосковный лес. Гигише везло, и корзина ее быстро наполнилась разноцветными, как осенние листья, грибами. Виктор устал и был мрачен.

«Пусть все идет своим чередом. Плыдем по течению. Лучше она, чем другая».

Тогда же Виктор договорился с Гигишей встречаться не чаще дня в неделю (уловка безразличия), чтобы не мешать друг другу в работе...

Проводив Гигишу до ее дома, опустошенный и недовольный собой, Виктор заперся в своей квартире, торопливо достал завещанный дедом пакет и вновь погрузился в исповедь Лалы Орловой.

Она писала:

«Последнее лето жизни Георгия было бездождевое, зловеще ясное и знойное. Режущая синева неба, раскалывающаяся почва, рыхлеющий асфальт, утомление в природе и людях. Началась вторая половина тридцатых годов. Орлов много лет проработал в Госплане и любил тишину его кабинетов, чем-то напоминавших серьезную научную лабораторию. С председателем Госплана Глебом Максимилиановичем Кржижановским его связывала давнишняя, со времен эмиграции, дружба. Оба были борцами, учеными, романтиками.

Первый раз в жизни я увидела, сколь грозен может быть Георгий, когда он узнал об аресте своего товарища по царскому подполью и фронту. Позже, получив несколько таких же тяжелых ударов, муж мой решил действовать в защиту тех, кому верил. Но в жаркий день июля, когда Георгий возвращался с работы домой, его сшиб автобус. Мозг Георгия — погасшее солнце — растекся по асфальту. Все кончилось. Но необъяснима способность

наша оставаться без тех, кто стал подчас лучшей частью нас самих.

Над могилой Орлова я, помнится, потеряла сознание, а придя в себя, увидела рядом тебя, Павел, тебя, нашего друга. Ты был почти калекой, но, собрав последние силы, помог мне вновь обрести волю к жизни...

Мы с тобой знакомы со дня моей свадьбы с Георгием. Ты всегда оставался одним из тех, о ком он говорил мне с приязнью и требовательностью, ты и Гавриил — вот те, кого он привечал, как братьев по общему делу. И верил он вам беспредельно.

Гавриил опоздал на похороны Орлова и появился в Москве несколькими днями позже...

Теперь, когда нет Гавриила, хочу написать о нем, твоём и моём друге. В чём-то были вы похожи. Гавриила я знала с 1918 года: мы встретились с ним в редакции газеты, где я работала корректором. Он показался мне старым, сердитым, когда отчитывал одного из сотрудников.

— Революция — не сенсация, — говорил он глуховатым баритоном. — Нам не желтая, а красная пресса нужна. Журналист писать должен (он выговаривал: должен) кровью сердца, а не слюнями.

Позже, в сырой холодной столовой, мы пили кипяток, чтобы согреться. Гавриил доставал липкие леденцы из кармана старой меховой куртки и угощал нас, посмеиваясь в усы, растущие у него, как и брови, во все стороны. После фронта, куда Гавриил ушел вместе с Орловым, он работал в ВЦСПС и остался профсоюзным работником. Завидная была у этого человека биография. Молодежь из интеллигенции в двадцатые годы особенно чтила таких людей, как ты, Павел, и Гавриил.

Потомственный рабочий, Гавриил был токарем по металлу...

Родившись в Самаре, он любил Волгу, немало страствовал по ней, а в четырнадцать лет уже стоял за станком на заводе. Монгольское начало, заметно проявившееся во внешности Гавриила, сказывалось и в его тяге к созерцанию и раздумьям. Он мог часами импровизировать, сочинять невероятные приключения и события. Его прозвищем в годы подполья и юности было: «Савоська», по имени паренька с неисчерпаемым воображением из повести Глеба Успенского,



У Гавриила было широконосое лицо, немного плоское, с узкими темно-серыми глазами, исполненными ума, человечности и проницательности. Широкий лоб с лохматыми жесткими русыми бровями, неровные усы, полные веселые губы — все это было далеким от привычного понятия красоты, но придавало его облику нечто весьма приятное, располагающее.

Низкорослый богатырь с короткой шеей обладал даром привлекать к себе сердца, внушать доверие и преданность. Достигал он этого без труда, ничего не предпринимая, как если бы нес в себе магнитное поле.

Жизненным правилом Гавриила была снисходительность к человеческим слабостям, ненавязчивость, терпимость. Более всего он уважал в человеке индивидуальность и старался не подавлять ее.

Редко кто знал так людей со всеми их достоинствами и недостатками. Он принимал их такими, какие они были, не осуждая, не поучая, понимая, что и сам «не без греха». Никого он не искал, а к нему шли за советом, просто чтобы послушать его, побыть рядом. Нес он огромный заряд спокойствия, как и у Георгия и у тебя, Павел, — особого, не апатичного, а философского, мудрого.

Георгий рассказал мне, что после боевого ранения Гавриил заболел общим заражением крови. По мнению врачей, ему оставалось не более двух дней жизни. Друзья приходили к Гавриилу прощаться, так как считали обреченным. Все были подавлены, кроме самого Гавриила, который продолжал по-прежнему шутить и ободрял окружающих стоическими размышлениями вслух о жизни и смерти. Вопреки предсказаниям медиков, он остался жить.

Неисчерпаемая щедрость привлекала к нему людей. Скромная его квартира была открыта всем. Однажды около полуночи он зашел к нам поесть. Позже мы узнали, что всю свою зарплату он отдал товарищу по царскому острогу, очень нуждавшемуся в деньгах, а сам изрядно голодал до следующей получки.

Кто только не посещал Гавриила. Друзьями его были большие ученые. Встречался он с Циолковским, Тимирязевым и Мичуриным.

Гавриил умел слушать другого, не вторгаясь, не поучая. Что бы он ни думал о собеседнике, как бы хорошо ни знал его никчемность или, наоборот, значимость, он

оставался ровен и доброжелателен, как истинный философ, понимая, что не переделает на свой манер, не подстрижет по своему желанию и понятию о добре и зле доверившегося ему человека.

— В случайной беседе поучениями своими не тирань и без того отягощенного горем,— говорил он добродушно. — Поживете — поймете, научитесь жить с людьми и влиять на них не розгой, а примером, не словесной плеткой и высокомерными наставлениями. Зачем озлоблять, причинять боль? Каждый человек считает себя разве что не гением, чаще всего к тому же непонятым. И мы себя преувеличиваем тоже. Чем меньше умишко, тем больше самомнения. Пришел ко мне человек не для того, чтобы я характеристику на него писал, хочет на судьбу-злодейку посетовать. Зачем же и я его ругать должен? Пусть поплачется. Ободришь такого, поддержишь — он, глядишь, лучше станет, сам одумается.

Три человека, три проверенных испытаниями и временем друга частенько просиживали допоздна в беседе за нашим столом. Они ни в чем не таились один от другого. Это были мой Георгий, Гавриил и ты, Павел, для кого я пишу эти строки. Было много общего в ваших привычках. Все вы никогда не носили портфелей и говорили, что хороший организатор тот, кто не носит бумаг домой и умеет трудиться не только сам, но, главное, может привлечь к делу и приохотить к нему других. По утрам один и тот же старенький и пыхтящий, как примус, автомобиль, некогда сверкавший лаком, но уже отслуживший свой век «роллс-ройс», развозил трех однопольчан на работу. Георгия — в Госплан, двух других — в разные наркоматы.

Помнишь, как-то ты пришел к нам, насквозь промокший, Георгий заставил тебя раздеться, я развесила твою гимнастерку и брюки на кухне, и тебя обрядили в единственный костюм моего мужа, а он поверх исподнего белья накинул на себя пальто. На другой день Георгию не в чем было пойти на работу, и он оставался дома, пока не высохла твоя одежда.

Смерть Георгия все окрасила в черный цвет, изменила, изуродовала. Осиротела я, но Гавриил и ты, Павел, поддерживали, и что-то главное устояло, сохранилось в душе. Однако вскоре навсегда ушел Гавриил. Горе горькое.

И остались мы двое: ты, Павел, и я.

Родной мой Человечище. Не каждому, как нам с тобой, все-таки так посчастливилось в жизни. Мы родились давно, ты — еще в «тишайшее царствование» Александра III. Не было при нем войн внешних, но был он на пожах со своим народом. Сколько виселиц и казней записано в летопись этого рыхлого трубача, похожего на вепря лицом, а душой на зайца. Как ты думаешь, лучше ли было бы нам жить в мнимом покое, как нашим родителям и дедам? Нет и нет. Мы родились в тревожную и чудесную пору, когда разверзаются недра земли и небо. Меняется в нашей стране рельеф самой жизни, грохочет над миром нечто большее, чем привычная, обыкновенная, давно разгаданная гроза, — самая великая революция.

Нелегко было нам, а иной доли не надо. Человек создан для опасностей и страстей.

Родилась я в маленьком Семипалатинске. Отец называл его Семипроклятинском. Храню о городе этом нерастойные воспоминания. Неподалеку от него буйно поднялись леса. Расплескал свои воды широкий Иртыш под бугром, где мы жили, а улица наша, да и вся округа беспомощно боролись с беспокойным сыпучим песком. Ветер частенько завихрял желтую, как пшено, массу песка и бешено гнал его, творил смерчи и пыльные бури. Глаза слепило тогда от колючей, мощной желтой пурги. Зимой солнце отбеливало снега, а морозы радовали, но жгли.

В нашем гробоподобном доме мне было особенно тошно. Мать моя лишилась разума вскоре после моего рождения. Не выходила она из своей светелки, мучилась страхами, бессонницей, то истово молилась, то, преследуемая бредом, кричала, забивалась под кровать, а если смеялась, то бессмысленно и протяжно, будто подвывала.

— Во хмелю зачали бедняжку, а може, хуже того. Не жаль вина, а жаль ума. Душа дороже ковша. Ой, на нее наслано, изурочено, испорчена она, изгажена, — говорила старуха Секлетей, последняя любовница моего деда, владельца доходного трактира.

Не помню, когда и как скончалась несчастная моя мать.

По воскресеньям город запивал. Бедные и богатые, с горя ли, с веселья, предавались неопишуемому пьянству. С тех пор пуще мора боюсь я алкоголиков, их бесстыдства, мнимой удали, безумия.

Отец мой погиб где-то в Карнатах в 1915 году на первой мировой войне. Все это кажется мне рассказом не о моей жизни. Мало осталось следов в памяти и сердце. Вот только старый Семипалатинск пугает меня иногда во сне да еще хмельная Секлетей с ее причитаниями. О нас она говорила:

— Все мы тутошние, русские, от каторжников. Добрались, значит, они, беглые, из России до Иртыша, уморились, идучи, ну, и поставили, значит, семь палаток и остались, сердешные, город городить... От них и пошли мы, беспутные, безродные.

Много лет прошло, а все еще слышится мне ее голос, шипучий, змеиный. Запугала она меня надолго суевериями, которые были ее религией. «Собачий вой — на вечный покой; тринадцатый за стол не садись; переносье чешется — к покойнику».

Вымахала я почти в два метра ростом и уж очень этого стыдилась. Дичала год от году...

Что бы ждало меня, если бы время не завихрилось? Страшно думать. Величье революции, по мне, в том, что мы с тобой, Павел, и нам подобные обрели в себе человека, взяли пригоршнями созданное гениальными умами и светлыми душами. Несметно мы обогатились и премного задолжали предтечам нашим, бунтарям и мечтателям.

Как сейчас, вижу тебя, Павел, в далекий день, когда пришел ты к нам впервые. От Георгия многое я о тебе знала. Он посвятил меня в ваше эмигрантское прошлое. Муж мой верил и любил тебя, а я верила его оценкам. Не видя, стала я тебе другом.

Жили мы тогда, помнишь, в одном из московских Домов Советов. Комнату нашу безобразили выцветшие портьеры и ковры. Уродлива была и большая никелированная кровать с четырьмя потускневшими шариками по углам. На протершемся диване лежала заслуженная шинель Георгия и скрывала под собой пружины, нагло вылезшие из-под обивки.

Ты пришел к нам в праздник. Я раскатывала тесто, а Георгий послушно вырезал стаканом мучные лоскутки и лепил пельмени. Мы готовились к редкому пиру.

— Так вот какая у тебя хозяйшка-сибирячка, — сказал ты, бросив кожанку и тряхнув крепко мою руку.

Я запомнила дословно наш первый разговор.

— Коня на скаку остановит,— продолжал ты далее и, намекая на фамилию Георгия, перефразировал известные стихи: — И в клетку орла завлечет.

— Чего и говорить,— отшутился Георгий,— царь-баба наша Евлалия Тихоновна. Тебе, муромец, под стать. Моя победительница.

— В супружестве есть только побежденные.

Посмеявшись и задавая друг другу различные вопросы, вы оба отправились с кастрюлями в нашу общую на этаже кухню. Я осталась одна накрывать на стол.

До полуночи вы горячо обсуждали противоречия и трудности нэпа и упрямо, отважно старались прозреть будущее. Характерная черта тех лет — жизнь в нескольких измерениях, но главное — для грядущего. Политика была для вас с Орловым необходимее воздуха. В той или иной степени весь народ был вовлечен в ее тревожное и зыбкое течение. В трамвае женщины с невыспавшимися лицами, в старых, неведомо какой моды пальтишках и головных уборах обсуждали происки Антанты, дела Совнаркома, денежную реформу и решения последнего съезда. Все мы так или иначе соучаствовали в происходящих событиях, врывались в ток времени.

Избрав жизненное направление, хотела я прежде всего научиться понимать окружающее, осмысливать его. По сути своей в детстве чуть ли не язычница, я рвалась к учению. Георгий был развитее меня, сложнее. Ты же жадно принимал то, что я тебе могла дать. В духовной жизни очень скоро ты, Павел, стал в отношении меня почти тем, чем я оказалась рядом с Орловым. Хотя ты и сам много знал и был гораздо мудрее меня...

Между тем твоя болезнь усиливалась, сокращала твои возможности, но и освобождала время для раздумий. Толстой прав, когда пишет, что многим лучшим в себе обязан недугам. Я старалась всем делиться с тобой: думами, знанием, сомнениями, знакомила с интересовавшими нас людьми. Мы стали друг для друга чем-то вроде живой взаимной совести. В другом мы не были равней: у меня был Георгий, а у тебя — сердечное одиночество. Дочери твои рано зажили своей жизнью, ушли, и ты считал это правильным. Однажды ты особенно долго лежал в больнице, я все чаще посещала тебя. И вдруг мне открылось, что ты любишь меня. Я это почувствовала, хотя ты не посмел сознаться. Это и укрепило нашу дружбу.

Я читала тебе вслух Ремарка «На Западном фронте без перемен» и загадывала, какой может быть война для нашего поколения. Внезапно ты прижался губами к моему пуховому платку.

— Павел,— сказала я твердо,— врачи обещают поднять тебя. Пусть будут костыли, но ты не умрешь. Женись, дружище. Я и Георгий будем вашими верными друзьями. Ты ведь всем взял — умом, добротой, талантливостью. Любая с радостью пойдет за тебя.

Я торопливо назвала тебе несколько имен наших общих приятельниц и вдруг, что уж таить, почувствовала истинное беспокойство: а что, если уговорю?.. Как противоречиво наше сердце!.. Любила безмерно мужа, мыслить не могла изменить ему, а тебя все-таки тоже к себе в сердечную вотчину приписала и не хотела бы никому отдать. Не потому ли, что скрытая, так и не набравшая живой силы, любовь твоя как бы обороняла меня и самоутверждала? Не разберусь в этом никогда. До встречи нашей я считала, что никому, кроме Георгия, не нравлюсь. Когда женщина захвачена большой, единой любовью, а не иллюзией чувства, она настолько поглощена, верна себе и избраннику, что становится недосягаемой и потому далекой для всех ее окружающих мужчин. Только если появится трещина в этом бастионе, подступит охлаждение и тогда тебя как бы начинают желать другие.

Сложна душонка наша, путаннее она любого лабиринта. Ни я, ни ты не могли изменить Орлову: ты — как друг, я — как жена. Выписавшись из больницы, ты надолго уехал из Москвы. Писем нам не писал.

— Какой уж я писака,— сказал, уезжая. — Никогда вас не забуду, но мы — народ рабочий, любим верно, дело делаем, а не болтаем. Но если нужда какая — телеграфируйте, примчусь.

Увиделись мы с тобой лишь на похоронах Георгия. Ты двигался, хромя, сгорбившись, тяжело опираясь на палку-костыль. Постаревшее твое лицо многое мне поведало. Нелегко дались нам всем последние годы. Твое здоровье окончательно сдало. Ноги отказывали. Но в борьбе с лютой бедой побеждала воля.

— Смерть и жизнь всегда рядом,— сказал ты. — Нет Георгия, а в день его ухода дочь родила мне внука. Если б младенец перенял факел из рук таких, как Орлов... Ты вступаешь в зрелость, лучшую пору жизни,

а я — в преисподнюю, в старость. Эх, если бы не ноги... Заметь, у всех есть свое «если бы не...».

Мы сумерничали в комнате, где все еще твердило о Георгии. Поминали его молчанием. Убожество слов, бедность людской речи никогда так не подавляет, как в часы испытаний.

В тишине воспоминаний прошла тяжкая знойная почь. С той поры я разлюбила лето с его беспечностью и расточительностью. Одиночество гнало меня прочь из города, где я столько лет провела в счастье. Жизнь, как бездушный дровосек, вырубала вокруг меня людей. Падали крепкие дубы, шатались сосны, валялись клены, давя деревца поменьше и послабее. Не повидавшись с тобой, Павел, я уехала в небольшой южный университетский город и приняла там кафедру по археологии. Надеялась с такими же, как я, следопытами прошлого, или, как звали нас шутя, «землеройками», раскапывать клады умерших цивилизаций. Подготовительная работа была увлекательна, и мы мечтали затмить знаменитого Шлимана в находках и рассказать современникам о прошлых цивилизациях. А мир походил на минированное поле, поросшее ромашками и мятой.

Году в 1940-м я приехала в Москву провести тебя. Ты едва ходил на костылях, и я понимала, что должна остаться с тобой. Среди миллиардов людей, населяющих землю, ты был мне и остаешься всех дороже. Мы спаяны навечно общностью мыслей, привязанностей, бесконечным доверием. Даже прочитанная нами в одно время книга, увиденная картина и скульптура, услышанная симфония и песни соединяют нас, как бы превращая в единое целое. А наши мечты, иллюзии, цели, борьба! Мы — как два легких, вбивавшие один и тот же воздух, два глаза, зажгшиеся от одного и того же луча.

— Останься, если не боишься жить с калекой, — сказал ты просто, — никто не знает тебя лучше, а это ли не значит, Лалюшка-Евлалюшка, что никто не полюбит больше, — сказал ты мне и обнял.

Но, видно, так велика была твоя любовь, что не было в твоей ласке ничего плотского, а скорее почувствовала я нечто братское, отцовское.

— Когда много лет мучительно, без надежды любишь, то становишься сам каким-то бесполом, ангелом, что ли. Прикасаюсь к тебе благоговейно, как к святыне, — улыб-

нулся ты и добавил: — Ведь ни одной тучки ни разу не пронеслось на нашем небе, не было ссор, недовольства...

Ты говорил, я слушала тебя и вдруг испугалась: как бы не стало все в наших отношениях неизменно обычным...

Правильно ли я поступила? Не знаю... Георгий стоял между нами. Он слишком много дал мне, чтобы я могла заменить его даже таким, как ты. И потом, мы с тобой были так близки духовно... А вдруг после брака начались бы между нами ссоры или, что еще хуже, появилось бы скрытое сожаление о содеянном. Ведь в нашем возрасте трудно притереться, начать снова то обыденное, без чего нет совместной жизни.

Все это я сказала тебе сбивчиво.

И ты подчинился. Мы решили ничего не менять, не преодолевать дистанции, не сходиться. Обоим стало грустнее и легче.

Так, мудря и усложняя чувство, провели мы вместе всего несколько дней, о многом переговорили, передумали рядом.

А между тем время несло нас к водовороту. Удивительно, сколь непроницательны люди: человек, быть может, уже обречен, вынашивает в себе злокачественную опухоль, медленно гибнет от склеротической хрупкости сосудов и, однако, слепо предается надеждам на будущее. В 1940 году человечество несло на себе убийственную мету войны. И все-таки мы с тобой говорили, что фашисты не осмелятся напасть на нашу страну. Мы так хотели покоя, мира вовне и в себе самих... Я заставила себя уехать, оставить тебя...»

Дочитав до этих строк, Виктор в порыве неожиданного раздражения бросил в сторону тетрадь и проговорил сквозь зубы:

— Безумцы они или святые? Расстались. Для чего?

Он отправился к матери, чтобы узнать, нет ли в их семье фотографии Евлалии Тихоновны Орловой. Нет, такого портрета не оказалось.

— Может быть, ты помнишь женщину с таким именем, посещавшую деда? — настаивал он.

— Ну да, еще бы. Большущая такая. Под стать моему отцу. Румяная, большеокая и, кажется, не злая. Из купчих, хотя и партийная, не думаю, чтобы достигла высокого интеллекта. Обычно при мне она помалкивала, да и вообще отец и она вели себя вместе очень скрытно —



верно, стеснялись в нашем присутствии своих близких отношений. Не помню, отчего они так и не поселились в одной квартире. Вероятно, она боялась обузы, отец ведь тогда уже был инвалидом. По правде сказать, меня это не интересовало. Кажется, у Терезы с этой Евлалией отношения были короче. Обе сентиментальны в худшем смысле этого слова и всю жизнь усложняли простые вопросы. Спроси тетку сам.

Виктор, не оспаривая слов матери, ощутил досаду против нее и внезапно обиделся за никогда не виденную Евлалию...

Тереза при упоминании Виктором имени Орловой просветлела:

— Если бы ты знал, что́ это была за женщина! С юности я старалась хоть чем-нибудь походить на нее. Ей все было дано природой: красота лица, осанка, ум, а какой необычности и глубины душа! Когда отец привел меня к Орловым, помнится, Евлалия Тихоновна работала инструктором женотдела. Все ее помыслы были о тяжелой женской доле. Она рассказывала мне много об Арманд, Коллонтай, которых коротко знала. Позднее ушла она в науку, кажется, окончила университет и преподавала археологию.

— Расскажи о ней что-нибудь, тетя Тезя,— попросил Виктор. — Опиши внешность, характер, словом, все, что помнишь.

— Мне всегда нравились женственные красавицы с рассудком и волей мужской. Такой я видела Орлову.

— По мнению Мани, это была громоздкая бабища небольшого ума,— поддразнил Виктор.

— Чушь. Дантовская Беатриче тоже походила на античную богиню. Не слыхала, что это считается уродством. По мне, Евлалия Тихоновна могла бы позировать для статуи «Россия» — так хороша была и величава. Кстати, ты против гармоничности? А я — за. По вашим нынешним понятиям, красота — в расплуснутых огромных губах, сощуренных глазах и сутулых спинах. Прости, я воспитана на иных образцах. Духовный облик Орловой тоже не стандартен: строгий, совестливый, самоотверженный и простой. А простота ее, надземная, мудрая,— итог больших размышлений и самовоспитания.

— Где же она? Жива ли?

— Не думаю. Помню, в войну очень горевал отец, загрустил навсегда. Ведь он, увидев Евлалию, всю жизнь потом болел ею. Всех женщин отваживал. Такого целомудрия не встретишь. Была она его табу, святыней, а он в людях понимал и уж если полюбил, то стоящую.

— И ты веришь, так и остались они, связанные только духовным побратимством?

— Кто же это может знать. Но верю в такое. Была я сама замужем за человеком, у которого живыми остались только душа, мозг. Не был он мужчиной, а никогда об этом я не печалилась, так хорошо было наше высокое общение. Ты ведь слышал о Леониде Петровиче?

— Еще бы.

— Не шути, ни в какие каноны и правила любовь не уместается. Она, как люди, разнообразна.

Виктор решил, запершись, дочитать исповедь Евлалии. Продолжения рукописи, однако, не было. Но разрозненные листки, отрывки писем, тщательно подклеенные, проясняли кое-что из последней поры жизни Лалы Орловой. На одной из страниц тетради она делилась с Павлом Александровичем своими раздумьями:

«...Вокруг меня потешаются дьяволы. Фашизм черный, коричневый, голубой! Муха цеце — всего лишь стрекоза, гадюка — червячок... Нет, я не тужу, не ропщу, что в июньский знойный день очутилась, волею случая, в приграничной деревне и увидела затмение солнца. Вражеские самолеты потушили дневной свет. На моих глазах автоматная очередь насмерть пригвоздила грудного ребенка к груди кормящей его матери. Старик просился в полицаи, а девушка с лисьей мордочкой угодливо смывала детскую кровь с кителя немецкого офицера.

Я познала еще одно чудо — стихию справедливого гнева и сострадания. Война и революция, не правда ли, высевают семена, из которых поднимаются великолепные творения искусства и правды, уничтожая плевелы пустых иллюзий. Прощаясь с тобой, хочу, чтобы ты, мой возлюбленный, так и не обретенный, знал: я любила тебя. Георгий Орлов был всегда моей душой, мыслью, поводом, ты же остался навеки частью моего существа, меня самой. Мы слишком много хотели друг от друга, чтобы осмелиться сойтись.

Твоя Лала».

Виктор опечалился. «Неужели она погибла и таков конец этой странной любви?» — подумал он и нетерпеливо принялся перебирать оставшиеся недописанными страницы. Нашел конверт с письмом, которое вначале не заметил. Почерка он не знал.

«Дорогой и глубоко нами чтимый Павел Александрович, — прочел Виктор, — в самом начале войны я доставил Вам пакет от Евлалии Тихоновны и отвез ей Ваше письмо. Получив его, она очень обрадовалась, потом плакала, прежде чем сжечь: хранить письма нельзя было... Мы долго были в одной партизанской группе.

Отвечаю на Ваши вопросы. Мы виделись с Евлалией Тихоновной редко. К тому же она дважды была ранена. Как Вы, верно, знаете, война застигла Орлову на отдыхе у ее подруги, впоследствии тоже нашей партизанки, Ксении Сусликовой. Было это неподалеку от Ровно. Обе эти отважные женщины оказались на оккупированной территории. Сусликова погибла в начале 1942 года во время взрыва вражеского транспорта с оружием. Орлову выдал провокатор в Ровно, где она работала у немцев, выполняя важное задание. В гестапо ее зверски пытали. Евлалия Тихоновна осталась верна своим идеалам и себе. За несколько часов до повешения она передала нам письмо. К сожалению, оно не сохранилось, и помню я лишь несколько его строк: «Главное — победите страх. Помните, что это честь для бойца — погибнуть в схватке с врагом. Верьте, что побеждает не тьма, а свет. Ведь только под лучами солнца набирают силу цветы и деревья».

Вот такая это была женщина! Впрочем, Вы знали ее лучше всех других.

Много дней висели тела казненных партизан на площади. Я долго стоял поодаль. Все не верилось мне, что нет больше Евлалии Тихоновны, что умер смех ее, голос. И мертвая, осталась она красивой. Когда и где погребли наших героев, не удалось нам узнать. Вот и все. А еще хотелось мне присовокупить...»

На этом месте письмо оборвалось. Виктор, сам того не заметив, прикоснулся щекой к заветной тетради, вслушиваясь в тишину. Он вспомнил недавно прочитанную статью о том, что на частотах, не воспринимаемых человеческим слухом, в атмосфере витают радиоволны когда-то умолкнувших звуков. Как знать, быть может, наступит пора и с помощью какого-либо чудодейственного ап-

нарата удастся уловить голоса ушедших навсегда людей. А пока — чего бы он не дал за возможность сдвинуть время вспять.

«Вот такую можно любить всем сердцем, как никого другого», — мечталось Виктору.

Необычность характера, цельность Евлалии Тихоновны, история ее трагической гибели надолго выбили его из состояния равновесия.

— Ты совсем заучился, родненький, отдохни, — приходя к Виктору, щебетала Гигиша. — Только я терплю твою немногословность. Уф! Хорошо, что сама болтлива. И всегда ты бежишь вперед, а я семеню за тобой следом, как докучившие друг другу супруги. Ну и кавалер! Не умеешь ухаживать.

Виктор морщился. Его коробил лексикон Гигиши: «кавалер, ухаживать».

— Тебе, верно, скучно со мной, — сердилась женщина, — я ведь вправе знать, где ты бываешь. Мы не просто знакомые.

— Кроме тебя, я не вижусь ни с одной женщиной. Даже мать не навещаю.

— Но о чем ты тогда думаешь, ну хотя бы сейчас?

— О чем, о чем... Изволь, о фронде в пору Людовика Четырнадцатого и роли госпожи Ментенон в дворцовых заговорах.

— Она, верно, была красавицей?

— Сомневаюсь, когда Людовик женился на ней, мадам выглядела немолодой, тучной. Зато ума и своеобразия хватало, а это важнее красоты.

Гигише хотелось быть мадам Ментенон.

Виктор же с его проницательностью легко узнавал мысли своей подруги. «Она пошловата. Надо кончать наши отношения, и поскорее».

Как-то он решил было уйти, чтобы никогда не возвращаться, но Гигиша обхватила его шею пухлыми, ласковыми руками.

«Какие у нее короткие руки, — отметил Виктор. — Куда бежать? Я ведь вполне свободен. Лучше уж эта, чем еще какая-нибудь. Она хоть добрая, верная и любит меня».

— Бабье лето, по-моему, самая лучшая пора года, — часто повторяла Гигиша. — Но почему с некоторых пор

ты твердишь, что больше не любишь лета? Я родилась в июне, и все лучшее поджидало меня в жаркие месяцы. Вот и тебя встретила в знойный полдень. Помнишь, родненький?

Виктор с безжалостностью самоеда корил себя за бесхарактерность. Он понял, каким тяжелым бременем может стать общение с близким, но нелюбимым человеком.

А Гигиша стала намного серьезнее, душевнее, чище. Настоящая любовь освобождает от шлама душу. То, чего она не охватывала рассудком, понимала сердцем. Необдуманная, случайная близость осложнила жизнь им обоим. Мужчина невольно обижал женщину. Он обращался к ней, избегая называть ее по имени: «Алло, послушай!» Так непродуманно разрушал он большое и доброе начало в чувстве, охватившем Гигишу.

Из инстинкта самосохранения она иногда прикрывалась грубостью. Начались ссоры из-за пустяков, унижавшие обоих. Не возникло и дружбы. Оба таились, враждовали и, однако, опять сближались...

Характер Гигиши портился. Она теряла заразительное спокойствие, беспричинно оскорбляла окружающих на работе, затем каялась, плакала и заметно дурнела.

«Мы избегаем говорить о любви, я — из гордости, он — из безразличия ко мне, и, однако, не расходимся. Во всем полумерки: близость, мол, возможна, это — не ложь, не пакость, а слово «люблю» произнести — отступить от правды, лгать не хотим. Фальшь в угоду плоти дозволяется, а она хуже обмана. Дура я. А деваться некуда. Все жду, надеюсь на перемену, хоть на привычку. С первого дня родилось у меня к нему двойственное чувство: доверие, тяготение и раздражительная подозрительность. Впрочем, это, вероятно, оттого, что испугалась я себя, а главное, оскорбилась скрытым равнодушием его... Почему бы не полюбить меня? Чем я не вышла?»

Несчастье иногда слепит, а чаще ведет к прозрению.

— Мы придумали, — говорила Гигиша, — что люди однородны. Ну, а птицы, звери? Есть ведь вернейшие лебеди, преданные вóроны. Но рядом с ними летают легкомысленные, переменчивые голуби. Внешняя схожесть людей подводит нас. Вроде бы все мы те же, а нет — все разные.

Однажды Гигиша даже решилась написать Виктору:

«Прости, родненький, приступ, как ты говоришь. Беру барьер и подхожу к тебе вплотную. Что впереди? По правде говоря, я ждала, что ты предложишь мне развестись с мужем, выйти замуж за тебя. Это было бы честно. Ты всегда ратуешь за порядочность. Ведь наши отношения почти супружеские. Или нет? Однажды ты предложил поселиться рядом. Как это обрадовало меня. Но больше ни разу не повторил своего предложения, а я-то думала, это всерьез. Ты сказал тогда: «Надо бы тебе купить квартиру в одном со мной кооперативном доме. Удобно и не мешало бы работать».

Как это характерно для тебя... Но имею ли я право корить? Что делать женщине, если ее не любят? Иначе ты все решил бы стремительно... Иногда я оправдываю тебя, называя современным мужчиной. Им присуща избалованность, беззаботность. Разве ты не мог бы взять на себя заботы о нас, о моей квартире?.. Зачем нам жить порознь? Ведь разлука — мучение. Ты сказал как-то, что любовь — это силища, лучший наш советник, вечный мотор, могущественнейшая энергия на земле. Но когда ее нет, и в нас чуть чадит некое подобие чувства — вокруг одни тупики и загоны. Как видишь, я бросаюсь очертя голову, готовая разбиться, в... открытые двери. Все мне понятно. И я прошу тебя, молю — брось меня сам. Уйди — и тем сотворишь благо. А у меня нет на это воли. Ослабила меня вконец любовь без взаимности. Хотела поставить точку и запечатать конверт, но вспомнила снова вчерашний разговор.

Я спросила, есть ли у нас с тобой будущее. Ты ответил поучительно — расчленим вопрос, чтобы найти правильное решение. Надо же такое выдать — будто пощечина или град в летний день. Все равно спасибо тебе. Полюбив, я не стала беднее. Знаю, «ресурсы» моего ума не велики. «Летняя», то есть временная, как ты говоришь, я, а надо бы стать необходимой во все времена года.

Так вот, мой родненький. Хоть сердце у тебя уложено в футляр, точь-в-точь что твой очечник с бархатной стелькой, оно все-таки чуткое, человечье. Не дай ему усохнуть или, не дай бог, ожиреть. Очерствение сердца — это ведь та же потеря рассудка... И снова прошу тебя, родненький, чтобы ты сам бросил меня. Надо бы мне кончить словами: «Прощай», а я пишу люблю тебя!

*Твоя Гигиша».*

БУДНИ

Было именно так, хотя Наталья долго не хотела в этом себе признаться. Она, несомненно, не любила своей профессии, тяготилась ею и потому воспринимала жизнь как неудачу, итог непоправимой ошибки. Почему же она стала врачом? Медицина никогда ее не интересовала. Вероятно, пошла в медицинский институт по вялости желаний или подражая матери. Выбор был не верен. Не потому, что хотелось быть артисткой, инженером, педагогом или кем-нибудь другим. Нет. На вопрос, какую профессию ей избрать, она отвечала всегда: «Не знаю». Но врачевание оказалось для нее особенно утомительным и неинтересным. Первой, кому она осмелилась признаться в этом, была Любаша. Та почувствовала себя оскорбленной.

— Да ведь нет ничего увлекательнее, нежели наше дело, — сказала она порывисто.

— Кому как. А мне противно копать в человеческих телесах. Все функции так некрасивы. Особенно брезгаю, когда попадаю к дизентерикам... и чахоточным. Больные часто вызывают во мне отвращение. Неэстетично и ужасающе скучно.

— Займись теорией. Уйди с лечебной работы в исследовательский институт. Наконец, душевные болезни...

— Что ты! Это даже пугает. Я обязательно сойду с ума. Нет, нет.

Не любить медицину казалось Любаше святотатством, признаком черствости и равнодушия к людям.

А Наталья продолжала, не догадываясь о чувствах подруги:

— Жизнь — вообще не цветущий сад, и, естественно, на работе хочется забыть о людских страданиях. Не кажется ли тебе, что врач чем-то похож на рабочего ассенизационного обоза?

Любаша едва скрыла негодование.

— Тебе действительно надо бы заново избрать себе дело. Я же не перестаю восхищаться совершенством человеческого организма, мудростью и красотой, с какой создала его природа. Например, почки, сердце, не говоря о мозге. К несчастью, мои знания недостаточны, надо быть всеобъемлюще ученым, разбираться в механике,

физике, кибернетике и высшей математике. Тогда врачевание — большая наука, не только искусство. Вспомни Пастера, Коха, Бурденко, Вишневского.

— Экзальтированная пчела, Любаша! Твори! А я трезва и вонь не могу воспринимать как дыхание белых лилий, — ответила Наталья не без ехидства.

Любаша не рассердилась:

— Кстати о запахах. Я не первая из медиков заметила, что у разных болезней есть свой дух, как бы испарения.

— Уволь, Люба, тошнит от твоих важных наблюдений.

— Согласна. Откажись от терапии. Изучи, к примеру, глазные болезни. Я не раз бывала на операциях окулистов. Ни одна кружевница, даже знаменитые крепостные мастерицы, работавшие только при свечах в погребе, не достигли столь редкой уверенности пальцев, как хирург-окулист.

— Ну, знаешь, я не гожусь для резьбы по слоновой кости или вязания. Надо самой лечиться.

Наталья вздохнула печально. Ее тотчас же пожалела Любаша:

— Действительно, ты в драматическом тупике. Нелюбимая профессия, верно, то же, что постылый муж. Принуждение ничего не даст. Тут несовместимость. А продолжать подобный союз — только усиливать раздражение...

Довольная сочувствием, Наталья принялась оживленно поверять подруге свои мысли. Она завидовала прабабкам, у которых не было подобных коллизий. Женщины не имели права на высшее образование и посвящали себя дому и семье. Мужчины добывали им все необходимое и тащили в гнезда, как птицы.

— Не знаю, кто были вы, Балаковы, но мы, Броницкие, не принадлежали к тем, у кого женщина становилась куклой, — сказала Любаша хмуро. — Мой дед — сын крепостного — был дровосеком, плотником, а бабушка в лучшие времена ходила на поденщину и мечтала устроиться судомойкой. Ее в усадьбу, на кухню, не брали.

Наталья за последние годы переменила несколько медицинских учреждений, но тщетно искала труда, который пришелся бы по душе. К поликлинике, назначенная участковым врачом, она не прижилась, но оставалась на



лечебной работе, стесняясь признаться матери и мужу в своем разочаровании и желании изменить профессию. Дурное настроение ее не покидало, и, бывало, она выплескивала его на больных. Ее сторонились и не жаловали.

Однажды в конце рабочего дня врача вызвали к женщине преклонных лет, которая упала в подъезде без чувств и, когда ее принесли домой, более часа не приходила в сознание. Наталья вошла к больной крайне недовольная. Через полтора часа вместе с мужем она намеревалась отправиться в театр. «Авось ничего серьезного, не инсульт и не инфаркт», — с надеждой думала она, торопясь на вызов.

Врача ждали в тревожном молчании.

— Что с ней? — одними губами спросила дочь.

— Ни на что вроде бы не жаловалась, только была придиричивее обычного и поспорила с мужем, — охотно сообщила соседка.

Наталья наклонилась над пациенткой. Глаза больной были полуоткрыты и как бы подернуты слезой. Дышала тихо и редко, но пульс, частивший и неровный, показался врачу удовлетворительным, хотя и «нервическим».

— Скандальчик, нервы? — спросила Наталья.

В дверь просунулся старик с лысеющей, взлохмаченной головой и ответил громко:

— Да, Виктория Львовна поругалась со мной. Весь день мы ссорились по пустякам.

— Виктория Львовна, отвечайте! Вы ведь меня слышите?

Часы пробили шесть раз. «Пока я доберусь домой, переоденусь — будет поздно. Генка опять надуется».

Наталья взяла вату, налила нашатырного спирту и поднесла тампон к носу. Лицо женщины на мгновение посинело, затем снова стало пепельно-безжизненным.

— Будем говорить, Виктория Львовна? Как вы себя чувствуете? Пульс — отличный, а в глазах — слезы. Все у вас не более чем истерия.

Наталья на миг сама удивилась своей безапелляционности.

Дочь и соседка Виктории Львовны облегченно вздохнули:

— Истерия, значит, ничего серьезного.

— Конечно,— ответила Наталья, взяв руку больной. — Видите — сведенные пальцы. Это называется у нас, врачей, рукой акушерки, симптом истерии. Посмотрим ноги, они, конечно, тоже стянуты судорогой.

Но холодные отечные ступни были дряблы и бессильны. Наталья поспешно прикрыла их одеялом и распорядилась:

— Валерьянки дайте.

— Есть только с камфарными каплями...

— Ни к чему, тут ведь обыкновеннейшая истерия. Принесите чистой валерьянки.

Соседка побежала в свою комнату. Наталья еще раз пригрозила:

— Виктория Львовна, давайте же поговорим, а то я снова прибегну к нашатырю. Меня не обманешь. Вам уже лучше.

Ответа не последовало. Наталья хотела было измерить кровяное давление, но часы пробили полседьмого, и она поспешно сунула аппарат обратно в свой чемоданчик. Так и не спросив, гипертоник или гипотоник Виктория Львовна, чем болела в последние месяцы, Наталья поднялась и вышла из комнаты.

В коридоре ей встретился вызванный семьей сосед-врач, терапевт по профессии.

— Может быть, проконсультируемся, коллега? — остановил он Наталью.

Но она, солгав, что торопится на вызов, отказалась. Геннадий ждал ее, едва подавляя досаду.

— Мы никогда не успеваем в театр к первому действию,— произнес он, разводя руками. — Тебя всегда приходится ждать, ждать и ждать.

— Если б хоть задержал меня тяжелобольной, а то — семейная сцена, истерия.

Вечер прошел хорошо. Пьеса оказалась интересной, игра актеров удачной.

Утром, придя в поликлинику, Наталья узнала, что Виктория Львовна скончалась на рассвете от кровоизлияния в мозг.

Сначала Наталью охватил страх. Но ей ничего не грозило. Викторину Львовну тотчас же после ухода участкового врача, по настоянию соседа-медика, увезли в больницу, где было сделано все возможное для ее спасения. Случай оказался безнадежным. Вскрытие это подтвердило.

И, однако, Наталья не могла подавить отчаяния. Не дожидаясь вызова к заведующему поликлиникой, она отправилась к нему с заявлением об уходе, в котором, назвав себя бездушной невеждой, сослалась на свой абсурдный диагноз накануне.

— Врачом надо родиться, как художником, например. Я не гожусь и причиняю больным вред,— повторяла она, едва удерживая слезы.

Ей хотелось бы понести громкое наказание, быть осужденной и этим как бы сбросить тяжесть вины. «А вдруг она мне приснится? Я ненавижу смерть... Не хочу... не могу... Мало ли чего в юности не натворишь, вслепую выбирая дело всей жизни».

Главный врач поликлиники, видя перед собой удрученную молодую женщину, старался вернуть ей душевное равновесие.

— Это печально, но не так уж драматично, Наталья Леонидовна. Кто из нас, эскулапов, без греха? Летальный исход, право же, не ваша вина. Инсульт мы лечить пока не в силах. Я к тому же противник операционного вмешательства. В следующий раз в трудных обстоятельствах поднимайте меня в любой час ночи хоть с постели. Один ум хорошо, два лучше. У меня стаж, опыт. Примите седуксен и гоните прочь дурные мысли.

Он говорил долго, одновременно проверяя отчеты, число больных за неделю и особенно правильность выдачи им бюллетеней. Вдруг главный врач встал и показал Наталье свой протез, заменивший ему ногу по бедро.

— Поверите ли,— сказал он,— мне по ошибке отрезали не больную, а здоровую ногу, а теперь придется отхватить по колено и вторую, действительно негодную после ранения в тысяча девятьсот сорок втором. Вот вопиющая ошибка, но в то время, когда это случилось, всякое бывало, и я примирился.

Наташа опешила. «Как у него все просто и убедительно,— дивилась она. — А впрочем, это естественно, люди появляются на свет, хворают, вылечиваются или освобождают место другим».

Наташа вспомнила себя маленькой. Увидев, как резали поросенка, она перестала есть мясо. Жалостливость ее возрастала, но лет в четырнадцать что-то изменилось, и она начала терять прежнюю чувствительность и сострадание ко всему живущему. Одновременно из худенькой,

болезненной девочки Наталья превратилась в высокую, упитанную девушку. Увлеклась спортом, полюбила танцы, заливисто смеялась.

Возраст острого сочувствия к страданиям кончился для нее с отрочеством. У людей с вместительным сердцем и чувствительным умом доброта и всепонимание утверждаются в пору поздней зрелости и старости, а у иных, однажды исчезнув, никогда не появляются вновь. Дни с Геннадием стали казаться Наталье буднями, скучными, томящими. Одновременно все больше отдалялась она и от матери. Скрытная, Наталья ничего не сказала Терезе Павловне о своей врачебной оплошности и бессердечии. Дочерняя преданность ослабла. Она готова была иногда даже судить мать и высмеивать ее:

— Стара, а все еще одевается, будто молодая. Прихорашивается. Зачем ей это? Знают ведь люди, что она в годах. Как хорошо бы иметь мать простую старушку, уютную, отдающую себя детям и внукам. Придешь домой, а на столе миска дразнящего супа, шанежки. Что толку мне от ее знаний?

— Уж не завидуешь ли ты ей? — спросил Геннадий пастороженно.

Наталья вспылила:

— Старухе-то? Как ни старайся она, все равно еще несколько годов — и одряхлеет. Никакая геронтология не спасет. Просто я говорю искренне, а другие хитрят, вот ты и возмутился.

— Зная ты, Таля. Так дочь о матери не смеет говорить. Я бы никогда о своей такого не подумал.

— Вы все прикидываетесь, а я говорю честно и прямо, вот и не нравится.

Тереза Павловна гнала мысли о подлинных чувствах дочери, но Наталья все меньше щадила мать. После рождения ребенка она не только не смягчилась, а стала жестче, грубее, открыто возмущалась тем, что вынуждена недосыпать ночами.

Как уступчив и уравновешен ни был Геннадий, Наталья находила повод придираться к нему.

— Я не обязана стирать пеленки за твоим ребенком.

— Но, позволь, малец наш общий.

— Ты-то не кормишь его грудью и не рожал.

Геннадий смирился. Он оказался не самой худшей прачкой.

— Какое счастье не быть замужем,— раздраженно сетовала Наталья. — Мне надоело отчитываться в каждом шаге и стареть тебе в угоду.

По предложению Геннадия вскоре в его семье была введена «конституция», дававшая особые права женщине. По вторникам и субботам Наталья могла, благо ребенок ее был уже отлучен от груди, уходить на целый день.

— Это высший акт доверия с моей стороны, к тому же все заботы по хозяйству, уходу за Юркой я беру на себя,— великодушно заявил Геннадий, подписывая странный документ. Он надеялся, что каприз жены пройдет скорее, если не будет препятствий.

Наталья на время притихла и как бы сосредоточилась в себе. С медицинской работы она все-таки ушла. Помог ей Виталий Михайлович, дядя ее мужа.

Встретила она его случайно в метро.

— Таталечка, охота тебе глотать бактерии. Не сомневаюсь, у тебя есть прорва нераскрытых дарований. Что бы ты сказала, например, о редакторской работе? Ты человек с дипломом... Приходи ко мне в издательство. Покумекаем.

Через месяц Наталья Леонидовна была принята младшим редактором в редакцию прозы и, засунув диплом врача под стопку простынь в шкафу, начала иное существование. Она не сомневалась, что многого достигнет на этом поприще. В Библии сказано: перемена места — перемена судьбы. В данном случае это была не новая страна или город, а другой труд и другие люди.

Виталий Михайлович Томин перешагнул пятьдесят. Не имея своих детей, он заботился о племянниках.

— Старик очень мило ко мне относится,— рассказывала Наталья мужу.

— Не допускай фамиллярности. Будь строга. Дядюшка в вопросах морали — лютый пуританин. И вообще человек со всячинкой. Вспомни лицо тети: оно распухло будто от слез и от обиды, а по обеим щекам пролегли такие морщины, что никакой массаж не разгладит. Когда она хохочет, я готов лезть под диван от ужаса. Слышала ли ты, как плачет сова? Боюсь, что сказались сухость сердца и самовлюбленность ее почтенного супруга.

— Ну тебя, Гена. Бедная женщина просто искусана ревностью.

— Не скажи. Убежден, что дядюшка ей верен. Он боится скандалов, инфарктов и начальства. Правда, было время, он хотел развестись, чтобы жениться на ученой даме — этакой Марии Кюри, помню, внешность у нее была точь-в-точь одной из ведьм, подстерегших Макбета.

— Значит, он оценил интеллект.

— Дядя крайне тщеславен и падок до славы, даже чужой. Дело прошлое.

— Ты, однако, злоречив, как Виктор.

— Отнюдь нет, но надо знать своих родичей. Он ведь Томин.

На работе Виталий Михайлович всегда казался крайне озабоченным и переутомленным. Двери его кабинета были двойные, обитые дерматином, под которым слой шлаковаты должен был приглушать всякий шум. Секретарша Дуся говорила шепотом:

— Занят, очень занят. Собирается в инстанцию, говорит по другому телефону... Нет, не сегодня, конечно.

Заведующие редакциями предпочитали пореже видеть «шефа» и, толкаясь в «приемной», спорили приглушенно:

— Иди ты и передай ему эту бумагу.

— Нет, уволь, я могу и через Дусю, отправляйся сам.

— Будь что будет. Иду. Опять откажет, а что тогда я скажу авторам?

— Дусенька, кто у него?

— Конечно же, Пителицкий и Тотов.

— Этих он пока выделяет.

Раз в неделю Томин принимал писателей.

— Без вас мы, издатели, ничто, — говорил он худенькому старику с нависшими веками и тяжелым взглядом всепонимающих глаз.

— Да, — хмурился автор. — Тем не менее книга моя переходит от одного рецензента к другому. Что это, возведение плотин или защитных валов?

— Видите ли, я не успеваю читать всех книг. Дела, вызовы в большой дом, партийные обязанности, добыча бумаги, ну, и многое другое. А для вас ведь даже спокойнее, если произведение будет как следует апробировано. Я не могу один все решать. У нас тоже, можно сказать, демократический централизм. Хотя такой большой мастер и признанный писатель и не нуждается в отзывах, но сами понимаете — нельзя допустить даже маленькой ошибки. Это в ваших же интересах.

— Все это превосходно... Но читатель ждет, не говорю о себе... Хотелось бы дожить.

— Голубчик, да вы вообще бессмертны. Если б зависело от меня одного, немедленно — зеленая улица. Но Пятицкий и другие... Не хотите же вы, чтобы не издавали, например, Копарева? Таких, как вы, около сотни, и все ждут и ждут. Время, ситуация...

— Прошу не касаться планетарных тем и катаклизмов во вселенной! — вскипел писатель. — Итак, кто вам нужен, чтобы мой сборник выкарабкался из тины? — Он назвал громкое имя. — Достаточно?

— Э, друже мой, это все эфемерность...

Наталья старалась не попадаться на глаза Томину, но он сам пожелал ее видеть.

— Ну, как дела? Не боги горшки лепили. Кем тебе быть, как не редактором. Сначала младшим. Не плохо.

Наталья в выборе пути — профессии — пуще всего боялась снова пережить разочарование в себе самой. Работа младшего редактора заинтересовала ее новизной, но душа не всплеснулась, и с каждым днем открывалась ей унылая истина, что снова не нашла она пока желанного труда.

«Очевидно, я серячок, ни к чему не способная, оттого и брожу впотьмах», — печалилась она.

Непосредственным начальником Натальи был писатель Маврин, задиристый, неврастенически-подвижный человек с коротким квадратным носом, ноздри которого непрерывно шевелились. Шутки ради он мог двигать и ушами, что всегда вызывало смех у окружающих.

Незадолго до появления Натальи в издательстве женатый, имеющий двоих детей Маврин сошелся с секретаршей одной редакции, суровой на вид, гладко причесанной, иконоликой, грустной женщиной. Однажды Маврин объявил знакомым, что хлопочет о разводе, чтобы вновь жениться. От радости Маврин поюнел, останавливал в коридоре проходящих писателей и говорил:

— Никогда не отчаивайтесь, если не повезло в личной жизни. Пока человек жив, он движется к счастью.

Узнав о намерении Маврина, директор издательства возмутился:

— Это же вызов обществу, компрометация издательства! Парень явно спятил.

Но заведующий редакцией прозы не посчитался с этим мнением и вступил в новый брак. Оставленная су-

пруга подала Томину заявление о бесчестных поступках Маврина и потребовала исключить его из партии и снять с работы.

«Пусть я лишаю детей значительных алиментов, но во имя морали и правды настаиваю, чтобы тип, бывший в течение десяти лет, к несчастью, моим мужем, понес достойное наказание за разврат и разложение», — заканчивала она гневный протест.

Секретарь партийной организации созвал собрание, на нем председательствовал Тomin. Наталье довелось быть свидетелем беседы с ослушником.

Накануне заседания Виктор Балаков, знавший Маврина со школьной скамьи, пришел к Виталию Михайловичу домой, чтобы его урезонить и вступить за своего одноклассника.

— Дядя Виль, — начал он, — ты прогрессивно мыслящий человек и, надеюсь, не казнишь Маврушку за любовь и честность поведения.

Виталий Михайлович надул толстые недобрые губы и сразу же рассердился:

— Удивлен, зачем ты лезешь в это грязное дело, вступаешься за сомнительную личность. Посуди, какой пагубный пример для всей нашей молодежи. Значит, с кем хочу, с тем живу. Сам себе хозяин. Нет, братец ты мой, семья — бастион, опора государства. Мы не позволим ее безответственно рушить, и во имя чего? Ради сексуального завихрения!

— Но как же быть, если настоящая любовь пришла слишком поздно?

— Какая еще любовь? Впрочем, люби себе на укрепление здоровья, но, чур, не тронь жену и детей. Разве все следует вытаскивать на обозрение, так сказать, на базар, обнародовать?

— Понятно. Имей одну законную и в придачу к ней любовницу...

— Зачем ко всему тотчас же приклеивать ярлыки? На собрании Тomin сидел темнее пыльной бури. Первым для объяснения выступил Маврин.

— Я, э-э, — заговорил он, — женился двадцати двух лет от роду, сразу же после армии.

— Слышите, — прервал его председатель собрания, — девушка преданно и верно дожидалась возвращения жениха. Экая неблагодарность.



— Нет. С ней, э-э, мы до моего ухода в армию знакомы не были.

— Не имеет значения. Самая большая любовь — первая,— изрек мрачно директор издательства.

— Это как у кого,— овладев собой, отрезал Маврин. — Было бы большим счастьем, если бы мы действительно крепко полюбили. А то одну неделю только знали друг друга до загса. Себя не проверили, и сразу же все пошло через пень-колоду. Я, э-э, даже к чарке бросался с горя, а она подолгу жила у родных. Около года были порознь.

— А дети как же?

— Близнецы наши действительно родились, э-э вскоре после брака,— почему-то смутился Маврин. — Люблю я их и забочусь, как отцу положено. Но продолжать существовать бок о бок с нелюбимой, чужой мне по духу женщиной категорически отказываюсь. Так что, товарищи, не убеждайте меня зря, я не мальчик. Могу пожелать всем вам моего счастья.

— Цинизм какой,— рыкнул Томин,— вы ведь коммунист.

— И потому честен и правдив.

— Он прав, прав! — воскликнула секретарь комсомольской организации Таечка и вытянула вперед голубоватую ладошку с длинными, трогательно вымазанными чернилами пальцами. — Сердцу не прикажешь. Я не вижу оснований придирааться к человеку, который умеет любить. Нам так не хватает теперь глубоких, искренних чувств.

Томин почуял опасность и решил побороть возникшее сочувствие к Маврину.

— Вы меня все хорошо знаете,— начал он методично,— я никогда не был ханжой и лицемером. Даже не раз страдал за свою прямоту. Часто приходится мне смотреть сквозь пальцы на некоторые ваши поступки. Я тоже был молод,— Томин тщетно попытался придать толстому лицу романтическое выражение,— любил, однажды даже всю ночь под дождем бегал по Москве, томясь, так сказать, демонической ревностью и страхом быть отвергнутым.

— Своей женой? — ехидно спросила Таечка.

— Дело не в адресате. Поверьте, избрав подругу жизни, естественно, жену, я угомонился и считаю твердо, что брак в наши дни священен. Маврин таит в себе опасные

потенциалы. Мы должны быть нетерпимы, беспощадны... Маврин споткнулся. Он на скользкой тропе... Тут раздавались голоса сочувствия. По недомыслию, конечно. А представьте себе страдания оставленной, достойной во всех отношениях жены. Она отдала Маврину лучшие годы жизни и осталась у разбитого корыта. А ей ведь уже за тридцать. Конечно, это еще не много и можно начать жизнь заново, но травма, обида... Итак, я заканчиваю. Семья — оплот и надежда общества, а любовь, случается, всего лишь дурман. Маврин не захотел повременить, проверить себя...

Долго разглагольствовал заслушавшийся своим собственным красноречием Виталий Михайлович, прежде чем предложил вынести Маврину строгий выговор. Одновременно он сообщил, что в издательстве таким людям места нет.

Наталья наблюдала за Томиным со все возрастающим интересом. Насколько он искренен? Насколько верит в то, что говорит?

Отношения Натальи и Геннадия становились все более противоречивыми и трудными для обоих. О чем бы они ни начинали говорить, кончалось спором и взаимным отчуждением. Видя, что Геннадий уединяется с научной книгой или чертежами, Наталья принималась подзуживать:

— Опять работа. Для тебя она — все, а я — пустое место. Работа, работа... Разве человечество не мечтает до минимума свести труд и находить радость в досуге. Кто это из больших умов написал книгу «Право на лень»? Браво. Это — мой девиз.

— А для меня труд — радость. Я считаю его, во-первых, творчеством. Да и по самой своей природе люди стремятся работать и гибнут от праздности. «В поте лица своего добываем мы хлеб свой», и это наслаждение.

— Вот удивил. Городской интеллигент признается в тяге к сельской идиллии, — фыркнула Наталья и зло рассмеялась.

— Я мог бы вспомнить тщетные попытки свои заметить напряжение труда спортом. Но, право, хотя был неплохим спортсменом, не нашел ни в прыжках, ни в

теннисной ракетке, ни в мяче того удовольствия, которое испытываю, окапывая, к примеру, яблони.

— Не хватало, чтобы ты писал гимны в честь производственных процессов.

— Увы, я не родился поэтом, а то писал бы охотно. Видела ли ты доменную...

— Ой, избавь от банального пафоса: все мы, дескать, для работы, и всё для нас в работе. А в действительности правда в классическом лозунге: «Все в человеке и для человека». Неужели ты еще не понял, что даже самые выдающиеся производственные качества не охраняют нас, людей, от бед и разочарований. И превосходный производитель порой бывает в жизни несчастным, а то и жалким человеком. Избитая твоя манера мерить людей по их вкладу в сталеварение, например, по удою коров или, как у моей матери, по тому, что она сделала в геронтологии. Одна только работа не способна дать человеку счастье, исчерпать его дарования. Я встаю против этого и, значит, против тебя. Квакер ты, вот кто.

— Ну, знаешь,— развел руками Геннадий, трудно сдерживая гнев,— чего только ты ополчилась на тех, кто двигает вперед технику, науку, жизнь, улучшает твой же быт и дает возможность кокетничать ересью?

— Опять труженики. А мне, пойми, до макушки надоело все, что ты говоришь. Хочу человеческого человека без заслуг, чинов, званий, а не рационализированного робота, вроде тебя или моей мамы. Что мне до того, что вы готовы принести себя в жертву ради будущего изобилия и бессмертия. Нудно от ваших понятий о добре и зле. Хочу жить бездумно, стихийно.

— За счет труда роботов, таких, как я? — сумрачно спросил Геннадий. — Были уже такие. Есть они и сейчас и все это по большей части отбросы, а не творцы. Прицепи в волосы цветок — валяй гуляй. Так нет же, знаю, тебе чтобы в придачу комфорт и всяческие побрякушки были. В огромной куче твоих слов не нахожу я не только жемчужного зерна, но и маковой росинки. Мозговое кривлянье. Откуда оно? Неужели от отца?

— Ну вот, даже Елку вспомнил. Поздравляю, ты в своей сфере. Гори она в огне. Пропади она пропадом. Ты ищешь истоков психологии созидания, строительства, а я кричу во всю глотку: дай мне обыкновенный образец бытия.

— Ладно, без истерических воплей,— криво улыбнулся Геннадий. — Будем считать — ты запуталась. Еще бы, вокруг снобы, гении, открыватели давно открытых истин. А все вместе — фразы, фразы...

Наталья, вызываяще замолчав, уходила надолго из дома, особенно если дни были ее, «конституционные». Несколько раз она случайно встречалась с Виталием Михайловичем. Однажды он любезно предложил ей прокатиться в его машине. В другой раз они столкнулись на выставке и долго осматривали экспонаты. Наталья нашла в нем внимательного слушателя. Ей показалось, что он не только понимает, но и разделяет все ее взгляды.

— Терпеть не могу производственных романов,— призналась Наталья, когда разговор перешел на литературу.

Томин сморщил жирный нос, выпятил губы и, металлически поблескивая глазами из-под очков, сказал заговорщически:

— Самое интересное, сознаюсь, пусть это, однако, останется нашей тайной, я тоже их не люблю... К сожалению, нередко произведения этого жанра третьесортны, недозрелы, я бы сказал — неинтеллигентны.

— Голая схема,— обрадовалась Наталья. — Как можно принять за явление искусства переживание героя, у которого счастье адекватно работе и только работе. Как ни напрягай собственное воображение, а образ маячит перед тобой куцый, пустозвонный, никакой. А читатель, жуя такую пищу, думает, что это плод человековедения.

— Умничка моя. Я всегда верил в твой вкус. Но пойми и другое. В наши дни производственная тема — понятие широкое. Кто такой рабочий? Ведь любая профессия производственна. Где начало и конец профессионализма?..

— Это, конечно, верно. Но я говорю о другом. Нам нужны книги о любви, возвышенной и прекрасной. Люди должны быть полубоги, а не героизированные автоматы. Устала я от человека — показателя достигнутых норм. Ищу нового сверхчеловека или, что правильнее, просто человека.

Глаза Натальи часто меняли цвет — когда она говорила возбужденно, они становились темно-серыми, как перо синицы.

Как-то Наталью и Виталия Михайловича встретил в театре отец Геннадия, архитектор Михаил Михайлович Томин. На другой день он позвонил в издательство.

— Здравствуй, братишка. Думал, ты трудишься, как говорится, на «износ», но, оказалось, выкраиваешь-таки времечко побывать на спектакле. Кстати,— продолжал архитектор,— почему не было Генки? Понял. По-прежнему враждуют? Как бы не разошлись, чудаки.

В тот же вечер Михаил Михайлович неожиданно явился в гости к сыну.

— Соскучился по вас, ребята, особенно по внучонку,— сказал он, снимая пальто и шумно входя в спальню, где на полу резвился Юрка. — Что сооружаешь, потомок? Градо- или авиастроителем будешь? А? Смотри-ка, громоздит кубики прямо-таки по Паоло Салери, строит вертикальный город кубической формы. Я тоже охладел к горизонтальным линиям. Они напоминают пейзаж Каракумов, барханы хребты и забирают излишне много пространства.

Наталья, не поднимая глаз на свекра, позвала его ужинать. Геннадий был, как обычно, ровен и весел.

— А знаешь, Гена, какая мыслишка запала в Юркину головушку,— сказал за едой архитектор. — Взбираемся мы сейчас всё выше и выше. Вот сын твой и томится вопросом, как сделать вертолет-строитель, чтобы поднимал мгновенно целый этаж и ставил на высоту сорокового этажа. Этаким летящий кубик. А то кранам не сладить — Юрка угадал, о чем думают другие. В Приобье на вновь открытые нефтеносные и газовые участки на вертолетах доставляют всякие материалы. Человек до всего доберется. Дай срок, и самый к тому же короткий.

Томин пронзительно вглядывался в лица молодых супругов. Но спрашивать ни о чем не стал.

— Я рад, что у вас тут мир и любовь,— сказал он внезапно и обрадовался, когда сын перевел разговор на его дело — архитектуру. Это всегда было для него лучшим средством погасить тревогу.

Недавно Томину поручили архитектурный план большого квартала. Снова спозаранку он торопился в мастерскую, а затем подолгу мерил улицы Москвы. Его равно пугала и восхищала грандиозность заданной работы. Одно поколение зодчих не успеет справиться с хаосом

стилей, разноликостью архитектуры, подчас уродливой, подчас прекрасной, всего того великого и ничтожного, что осталось городу от многих веков. Найти геометрическую гармонию так трудно, как и музыкальную. Ученики и коллеги Томина жарко спорили: нужно ли сносить или переделывать старое, не лучше ли заново строить на пустырях? Каким быть городу грядущего коммунизма? Подлинно творческое градостроительство рассчитывает на века. Не раз с горечью Томин останавливался перед уныло однообразными, неустойчивыми пятиэтажными домами, строившимися в начале шестидесятых годов. Но что оставалось тогда делать? Возводились часто наспех города взамен снесенных войной, чтобы дать кров бездомным или теснящимся где попало людям. Томин вспоминал, как гнался главным образом за количеством площади, чтобы помочь бедовавшим. Было не до формулы  $N+1$  — каждому по комнате и одна общая для семьи. Метод литого строительства только еще осваивался. Теперь настало иное время. «Не только количество, но и, главное, качество, — думал архитектор. — Новые решения, размах, воплощение фантазии в явь. Но мои сроки на исходе, немощь, старость». Томин тоскливо ежился. И все-таки мечтал оставить по себе долгую память в камне, бетоне, чудесных новых материалах градостроительства.

Обо всем этом он говорил Геннадию, делясь с ним замыслами. Сын понимающе смотрел ему прямо в глаза, коротко отвечал.

Их прервала Наталья.

— Я хотела бы разрушить большие города, они умерщвляют, придавливают человека, — вызывающе заявила она. — Еще Фейербах, кажется, объявил, что город — тюрьма для мыслящих. Что вы, архитекторы, думаете об этом?

Михаил Михайлович добродушно улыбнулся.

— Споры ведутся издавна, — ответил он и признался, что в начале своей деятельности доказывал необходимость упразднения города в будущем.

Отличные дороги, транспорт могут возместить все, чего нет у живущих среди природы в домиках с садом. Автобусы и вертолеты будут отвозить детей в школы, размещенные также в лесах или полях, доставлять продукты. Но впоследствии Томин пришел к иному выводу

и присоединился к мнению известного градостроителя Жана-Клода Бернара, доказывавшего на многих примерах, что во все века культура создавалась в городах. Там собраны важнейшие коллекции, расположены библиотеки, книгохранилища, архивы и главное — сосредоточены учебные заведения. Только в больших и разных больницах можно совершенствовать врачевание, изучать человеческое тело и его недуги. Все области науки, искусства, быта требуют экспериментальных лабораторий.

— Я повторяю,— закончил Томин,— что культура расцветает там, где скапливаются люди. И хотя город обезличивает человека, он необходим. Уничтожение городов грозит гибелью наследию человеческих цивилизаций.

— Мне чудится, я чем-то сродни ящерице, пляшущей между валунов,— пошутил Гена. — Люблю, честно говоря, городские огни, сутолоку, тесноту, движение.

Наталья подавила желание поспорить с мужем. Сначала их распри, ее придирки имели какой-то «спортивный» налет, но постепенно становились сердитее. Ров между ними ширился, и пройти друг к другу делалось труднее. Гена становился угрюмее, Наталья — порывистее и раздраженнее.

Михаил Михайлович заметил это и решил предотвратить бурю. Он водрузил шарик на странное длинное сооружение, чем обрадовал внука.

— Я вижу город в форме сигарообразного небоскреба,— пояснил он. — Высота от одного до трех километров, в нем — от тридцати до трехсот ярусов и бессчетное число жилых пространств.

— Сколько же вместится там жителей?

— До двух миллионов предположительно. Но проектов с каждым днем становится все больше, и они столь различны, что перед ними блекнет любая фантазия, даже самая отчаянная.

— Что до меня,— тихо сказала Наталья,— я рада жить в нашем веке, когда земля еще не скрылась под этими страшными сооружениями. Пусть убоги порой наши домишки и смешны древние улицы, но как они дороги и близки человеческой душе. Я старомодная обительница планеты и уверена, что лучшей квартирой для нас является та, где мы рождаемся, растем, учимся, любим, болеем, радуемся, грустим и умираем. Это наш при-

чал. Прежние поколения знали секрет такой притягательности жилища и его уюта, хотя строили маленькие свои дома подчас без вас, архитекторов. А теперь? Я боюсь прозрачных и чужих для меня ваших зданий. Они, как гостиницы, необживаемы и подчеркивают наше одиночество. Их покидаешь с облегчением и тут же забываешь.

Томин с удивлением посмотрел на сноху.

— Ты сказала то, что меня особенно беспокоит в наших поисках.

— Таталя не может без оригинальничанья, — насмешливо отозвался Гена, но отец осуждающе посмотрел на него, и тот замолчал, краснея.

Вскоре Михаил Михайлович попрощался и вышел с сыном, который пошел его проводить до метро.

— Как с женой? Ладите? Начинали, словно голуби, а сейчас что ястребы.

— Ее подменили. Всегда всем недовольна и особенно мною.

— Вина обычно наша. Мы сильные и, к сожалению, грубошерстные. Царапаем женщину и не замечаем этого. Проверь себя.

— Обойдется, отец, главное в порядке. Наталье я доверяю, как и она мне, — заключил Геннадий.

Томину многое хотелось сказать сыну, но тот казался столь простодушно самоуверенным, что отец раздумал.

«Вероятно, я склонен преувеличивать, — думал Михаил Михайлович. — В мои годы все кажется темнее, чем есть на самом деле. Утрясется. Наталья капризна, но не испорчена. Не стоит вмешиваться».

В действительности Геннадий мучился, впервые за всю жизнь сочтя себя неудачником. На службе он окружен был дружеским вниманием и считался весьма перспективным конструктором. Сослуживцы и друзья по институту любили в нем доступность, внутреннюю собранность, щедрость и то, что он никогда не стремился возвыситься над ними. И вдруг в браке, в отношениях с женой Геннадий ощутил беспомощность и страх поражения.

Верный, заботливый, уравновешенный, он вызывал в женщинах зависть к Наталье. Внешность, голос, поведение его были привлекательны, хотя чем-то неуловимо



походили на многократно виденное и знакомое у других. У таких людей мало врагов, они не вызывают крайних чувств и всюду желанны. Он редко повышал голос и обладал, как говорил его отец, чисто славянской рассудительностью и склонностью к философской созерцательности.

Многочисленные положительные свойства мужа неукротимо раздражали Наталью.

— Скука с ним лохматая, — жаловалась она подружкам, — его ничем не выведешь из себя. Вероятно, он слишком хорош, я же плохая. Нет, мы не пара...

Отпуская Наталью отдохнуть от семьи, Геннадий вовсе не ревновал и не тревожился, как большинство людей. Он мерил других по себе и потому был твердо убежден, что каприз жены не заведет ее в тупик.

«Только запрещенный плод сладок, а дозволенное быстро приедается», — рассуждал Геннадий сам с собой, сидя в читальном зале Ленинской библиотеки или гуляя с сынишкой.

Наружное спокойствие Геннадия обманывало. Он был одержим многими не решенными еще наукой вопросами и жадно схватывал все новое. Его мозг не знал затишья, множество вопросов требовали ответа. Как-то он спросил одного ученого, которого особенно уважал:

— Объясните мне, как школяру, почему мы говорим научно-техническая революция? Ре-во-лю-ция?

— Удивил. А что такое революция? По Марксу, да и по Ленину, это переход количества в качество или, как выражались ранее, переход количества качества в новое качество.

— Это еще не ответ.

— В науке и технике от открытия к открытию, и тем более к применению его на практике, проходили многие десятилетия. Пятьдесят годков минуло от первого воздушного полета, передачи сигналов по радио. А что случилось за десять — двадцать лет на нашей памяти?

— Вот это мне и было нужно, — улыбнулся Геннадий. — Скачок по... Марксу. И чего только не открыто в радиотехнике, ракетостроении, космических полетах, телевидении, кибернетике, кино и так без конца. Научно-технический прогресс сегодня — передний край прогресса

са, и борьба за него — наше кровное дело. История за нас.

— Ты прав, Геннадий. Там, где господствуют собственники, технический прогресс обостряет безработицу, драку за рынки... Локальные войны, авантюры, кровь и смерть.

— Совсем недавно, — вспомнил молодой конструктор, — убирающееся крыло, стреловидной формы летательный аппарат казались мне пределом достижений века, а теперь мало, мало, мало. Я хочу ракету вместо самолета. Даже во сне, как опоенный, конструирую машины будущего. Почему бы и нет? Неостановимое движение. Революция.

А дома у Геннадия, в семье его, наступил разлад.

Геннадий ни о чем не спрашивал Наталью, ждал, когда она сама расскажет ему, как провела время. Большею частью, наскучив встречами с Броницкими и матерью, Наталья возвращалась домой ранее намеченного срока. С особым рвением занималась она тогда хозяйством. Супруги встречались, как после долгой, утомившей их разлуки, но скоро снова начинали пререкаться. Заводилой была Наталья. Как ни сопротивлялся ссорам и спорам Геннадий, он невольно падал в этот мутный водоворот. И отчужденность углублялась, как дно бурливого потока. Наталье казалось, что она ненавидит мужа.

Тереза Павловна не скоро догадалась о разладе в семье дочери. Она была слишком поглощена клиникой.

В эти дни Балакова повстречала Пелагею Ивановну — бывшую лифтершу дома, где жил Павел Александрович, прозванную им «кошачьей мамой». Она чудовищно располнела, и одышка с присвистом мешала ей двигаться. Тереза Павловна предложила старухе лечь к ней в больницу. Старуха начала издалека:

— Проведай наперед меня, Татьянашка. Ты уж не серчай, что зову тебя по-нашему, а не по-пришлому. Любую божью тварь на русской земле срамно не по-русски звать, не так, как в святцах сказано... Ну и называли тебя... Помрешь — не помянешь тебя, свечку в церкви не поставят, просфору не дадут. Эко скверное имя дали тебе родители, прости их, пресвятая богородица.

— А кошек можно по-инострannому нарекать? — пошутила Тереза.

— Это ни к чему. Души у них тоже есть, и получше, чем у какого-нибудь лиходея.

Жила Пелагея Ивановна в маленькой комнатенке. Узкая, приставленная к окну кошачья лестница спускалась во двор. На стенах висели засушенные цветы и старые поздравительные открытки с грубо намалеванными пасхальными яйцами и нарядными елками. Золотые буквы вычертили слова: «С рождеством Христовым», «С праздником святой пасхи». Особенно много было вокруг картинок, изображающих кошек. На столе, вплотную придвинутом к деревянному топчану, служившему кроватью Пелагее Ивановне и четырем кошкам, лежала разноцветная бумага, лоскутки материй, пучки проволоки, тюбики с клеем. Пелагея Ивановна не только сама мастерила бумажные цветы и венки, продавая их в дни церковных праздников у ворот кладбища, но также обучала желающих. В стеклянной вазе стояли накрахмаленные пыльные розы, шуршащие астры, небывалые хризантемы и тюльпаны. В стакане торчали провололочные стебли цветов: полотняные ландыши, бумажные незабудки и ромашки, очень похожие на живые и, однако, чем-то отталкивающие, досадные.

На двух креслах спали кошки. Одна, недавно окотившаяся, темно-серая, проснулась и угрожающе поводи-ла выпуклыми, точь-в-точь как недозрелые ягоды крыжовника, глазами, фырчала и помахивала черным пушистым хвостом. Новорожденные котята плюшевым полукругом растянулись вокруг ее набухшего живота. Сесть было не на что, и Пелагея Ивановна, гулко дыша, суетилась, перекладывая одного из котов вместе с подстилкой на столик под киотом.

— Забот с ними полон рот, спасибо, соседи жалостливые. Любят моих чадушек. Не обижают.

— Такие ли они беззащитные? — усомнилась Тереза. — Один Ерема у вас чего стоит. Тигр тигром. Но пестуны всегда кажутся нам беспомощными.

— Кошкам в городах — не рай, — ответила Пелагея Ивановна строго. — А пользу-то они какую людям приносят. Мыши и крысы давно бы все съели. Да не о том речь... Куды же ты меня, Татьяна, определить собралась?

Тереза Павловна рассказала об опытах в геронтологической клинике, о возможности победить старческие недуги, вернуть физические и душевные силы, утрачен-

ные с возрастом. Пелагея Ивановна слушала недоверчиво, молчала, сложив руки на огромном животе. Неожиданно она громко засмеялась, будто закашлялась.

— Удивила ты меня, потешила. Спасибо, Татьянушка. Только не гневайся на меня. Не пойду я к тебе. Ни за что не лягу в больницу. Так здесь с сиротами своими и останусь.

— Кошек ваших мы не бросим. Позаботимся, построим, так что об этом тужить нечего... Ожирели вы ужасающе, Пелагея Ивановна, атеросклероз у вас. А есть средства вернуть здоровье. Не отказывайтесь.

— Нет уж, своим горбом, своим домком да своим умком проживу. Благодарствуйте. Не хочу от годочков своих бежать. Всяк хромает на свою ногу и стареег в одночасье. Что же это получится? Внучка и бабка — в одну упряжку. А когда же отдыхать нам, когда помирать? Вот, к примеру, собаки или кошки, так и те дряхлеют. Душу и память ты мне ведь не заменишь. Что было — все со мной. Душе покой требуется. Сосна и та валится, когда ей срок пришел. На что я-то небо копить лишку стану? Кому нужна? Ни себе, ни людям. Вот только котам, да ведь и они не вечны. Пожила, да и будет с меня. Была молода — стала стара. Каждая собака в своей шерстке ходит. Ушла, значит, весна, пришло лето, а там и осень, а на смену ей зима. Вот и цветы, как ты им воду ни меняй, осыплются вовремя. Нет, уж ты меня не сманивай. Прости меня, старую... Добрая ты, да не все поняла. Со смертью не спорь, а со старостью и подавно. Не с хвори преставиться, а с годов — это ведь великая нам услада. Значит, нажились. Всем положена старость и смерть. Я против этого не пойду. Спаси бог от соблазна.

С этими словами Пелагея Ивановна, все шире улыбаясь, поднялась с топчана и, услышав мяуканье за оконной рамой, впустила большого кота Ерему, иронически, как показалось Терезе, глянувшего на них обеих и наострившего свои антенны-усы.

— Эх ты, гулящий, шалопутный ты, — сказала ласково старушка и налила пришедшему жирного, забеленного молоком супу. — Вот так и живу, всему рада, — перевела разговор Пелагея на другое. — За душу Павла Александровича молюсь и во сне его вижу. Таких людей нынче не сыщешь. А вот не омолаживала ты его, чай, все у

него своим чередом шло, — подкузьмила старая гостью. — Живу в любви. Цветами утешаюсь. Вот скоро пионы и нарциссы сделаю, а там и георгины... Нет ли у тебя открыточек с цветами? Мудреные эти георгины. Гармошкой иные из них приспособлены, а другие вроде бы походят на хризантемы, а то и на подсолнухи, только помельче. Вот и кошки как богом разодеты. Жаль, шляется нынче рыжий мой кот Афоня, шуба на нем, скажу тебе, чисто лисья, барская.

Тереза Павловна охотно слушала Пелагею Ивановну. И чаю с ней попила.

Распростившись, решила по пути зайти к дочери. Шла и невольно улыбалась: «Чудеса. Сегодня я — Мефистофель, отвергнутый дряхлой старухой. Не всем, оказывается, нужна молодость. И смерть им не страшна».

Ей захотелось рассказать об этом дочери и зятю, но атмосфера их дома не соответствовала философской беседе. Наталья задержалась в издательстве, а Геннадий укладывал спать сына и выглядел необычно подавленным и усталым.

— Казалось бы, что вам еще нужно, жить бы да радоваться, — начала Тереза Павловна, — а вы оба в последнее время всегда не в духе, в квартире у вас точно чей-то гроб стоит перед погребением. Кто тут из вас виноват?

Геннадий уклонился от ответа. Он был похож на человека, потерпевшего крушение. Наталья пришла готовая к бою, насупленная и молча уселась за столом.

— Ты похорошела, — начала неуверенно Тереза Павловна. — Очевидно, на работе все в порядке?

— Нормально, — отрезала Наталья.

— Может быть, все-таки я узнаю, почему вы оба так недовольны друг другом?

— Я об этом ничего не слыхала, мама. Ты, как всегда, преувеличиваешь, — грубо прервала дочь. — Это твоя особенность. С таким воображением можно сочинять романы. Тебя вообще не понять. До моей свадьбы ты не очень жаловала Генку, а теперь он у тебя самый лучший человек на свете.

— О чем ты говоришь? Не понимаю. Живите, как сами знаете, но сохраните чувство. У вас — Юрка.

— Предоставь наши дела решать нам самим, — ощерилась Наталья,

Тереза Павловна встала. Дочь истерически продолжала:

— Прошу тебя раз и навсегда — занимайся, пожалуйста, собой. Я же не интересуюсь твоими делами. Вы все мне надоели. То Михаил Михайлович, то ты. Хоть беги из Москвы. Не испытывай моего терпения!

— Кипишь! Кипишь! Но злоба еще не аргумент... Молодость всегда была небережлива и непредусмотрительна. Легче всего разрушить семью, но невозможно потом поднять ее из руин... Вспомни своего отца. Неужели его тяжкий урок прошел для тебя даром.

Тереза Павловна сочувственно взглянула на зятя, стоявшего с опущенной головой у окна, и поторопилась уйти.

Геннадий не мог объяснить самому себе того, что происходило у него с Наташей. Всю свою недолгую жизнь он был убежден во всемогуществе человека, от которого, как он всегда утверждал, зависит счастье, удача или провал намеченных стремлений. Но вот рядом с ним оказалась еще одна воля, иное, чем он, существо. Впервые Гена понял, что близкий человек порой бывает недостижим и путь к нему лежит через рвы, болота, непроходимые леса. Можно всю жизнь идти и не дойти до него, хотя он рядом.

«Да ведь это ересь какая-то, мистика, чертовщина. Таля попросту шалая, избалованная девчонка». Тоска, столь не соответствующая натуре Геннадия, подкралась и принялась точить душу, словно струйка воды, вытекающая из поломанного крана.

Он был однолюбом и никогда не допускал мысли о возможности измены или разрыва с женой. Но теперь впервые, устав от неладов, мысленно рассуждал: «Не разойтись ли? Из-за нее я никогда не добьюсь поставленной цели. Состарюсь... стану несносным брюзгой... и со зла, чего доброго, заведу интрижку. Измельчаю, опошлюсь. Какая тогда работа, творчество? С некоторых пор попросту ненавижу чертовых баб. Злыдни, помеха». Геннадий был раздражен, но взрыв еще не наступил. Возвращаясь домой, он ловил себя на приливах нежности к жене. Стоило ей отнестись к нему поласковее, он капитулировал, каялся перед Натальей, дурачился. Он любил ее.

Не менее трудными оказались для Гены и обязанности отца. Юрка не признавал никаких авторитетов, бу-

шевал, делал все наперекор указке, и первым словом, которое срывалось с его губ, было «нет». Потом, в порядке милостивой уступки, он мог заменить его на «да», если дело касалось шоколада или подарка. Но, отступив, он тут же брал реванш, отказывался идти спать и однажды сказал оторопевшим родителям, грозившим ему шлепком: «Вы не умеете меня воспитывать».

Младший отпрыск Томиных обещал превратиться либо в гения, либо в досаждающего всем бузотера и даже, по мнению Геннадия, в разбойника.

— А если Юра будет всего только посредственностью? — беспокоилась Наталья.

Одна из ее сослуживиц по издательству рьяно увлекалась астрологией и, заглянув в гороскоп, который составляла, сообщила Наталье по секрету, что сын ее родился в созвездии Весов под планетой Сатурн и будущее его исполнено тревог, честолюбивых катастроф и всяческих потрясений.

— Если он не покончит жизнь самоубийством или не станет фанатиком, то, может быть, достигнет планеты Венера, где оснует колонию землян и прославится на века. А вообще берегите его от ангин, прыжков с парашютных вышек, чтобы не сломал ногу. Трудный ребенок.

Наталья, плохо понимая, что такое «оккультные науки», все же по-матерински встревожилась. В ее чувстве к сыну не было ровности: она тяготилась им, беспокоилась о нем, дорожа ребенком, как частью себя.

Наиболее близкой и нужной Юре была бабушка по отцу, мать Гены, Агата Акимовна — баба Гаша. Жена архитектора, сама инженер-строитель, она давно пожертвовала профессией ради семьи и считала свою долю не худшей. С наслаждением обшивала детей, стряпала, стирала, утверждая, что в прачечных быстро рвется белье, вела хозяйство с настоящим природным даром, а по вечерам, одетая по моде, завитая, сопровождала мужа в театр или клуб. Никто в этой холеной и надменной даме не узнал бы «домохозяйку» в косынке, глухом переднике и резиновых перчатках, по утрам скребущую щетками сковороды, пылесосом — ковры и разделяющую с ловкостью мясника баранью ногу.

Впрочем, Агата Акимовна постоянно читала книги, посещала выставки и концерты и в свободные часы играла на аккордеоне и гитаре модные песни. С рождением

внука жизнь ее обогатилась, и она быстро поняла, что Юрка упрямец, с которым нетрудно договориться. Благодаря свекрови Наталья освободилась от многих докучливых материнских обязанностей и, хотя считала это облегчением, в действительности сильно обеднела. Никто не установил точно срока, когда неразрывным узлом затягивается невидимая прочнейшая нить между матерью и ребенком. Наука сообщает, что, если котенка в определенный день его жизни кошка не обучит ловле мышей, он никогда не сумеет восполнить этого. Так создается и таинственная связь между поколениями. Отдалившись от сына, Наталья теряла его. Она, впрочем, написала подробный распорядок дня Юры, но этим и ограничилась. Ей казалось, что правильное кормление и сон обеспечат здоровье маленького человека. Но как знать, не важнее ли ему колыбельная песня, которую поет мать, и тепло материнской груди. В какой именно миг пробуждается чувство в сердце, от которого впоследствии зависит доброта и сила?

Работа в издательстве казалась бывшему врачу интереснее, нежели в поликлинике, но Наталье снова хотелось чего-то иного. Ей опостылело отсиживать строго положенные часы в учреждении. Дисциплина, как тюрьма, думалось ей, умерщвляет душу. А что взамен? Праздность, пустота...

С Виталием Михайловичем Томиным она рассорилась, когда он пригрозил ей выговором за частое исчезновение в часы работы.

— Черт-те что,— вскипела Наталья,— да ведь вы — Генкин дядя. Я-то думала о вас, как о добром родственнике... И вправду оказался до-о-обрым, только не ко мне. Есть уже один такой в моих святцах, папенька, Анисим Иванович Елка; калибр его не тот, куда до вас, но чем-то вы оба схожи. Отец мой просит, чтобы мама помогла ему «Волгу» зеленую купить, деньги предлагает и даже клянется завещать ее мне.

— Ты груба, Наталья Леонидовна. Запомни, я не признаю семейственности. Я требую такта, а главное, дисциплины,— сердился Виталий Михайлович.

Наталья поняла, что зарвалась, и не только на работе, но и особенно в своей семье. Она испугалась, что и долготерпеливый, медлительный в выводах Геннадий, однажды решив, может уйти от нее навсегда.



ДОМ НА ОКЕ

Поколения сменяют друг друга, будто караул на посту. Было ли начало у жизни и будет ли конец? Многие профессии манят своих неофитов обещанием разгадки тайн бытия. Врач, фанатически преданный медицине, убежден, что в ней одной высшее познание; социолог, геолог, астроном верят — именно они вырвут тайны у природы и неба. Для чего создается и умирает все живое на земле? Каков высший смысл существования? Хаоса нет! Есть целесообразность в предельно слаженном, разумном живом организме. Миллиарды людей пришли и ушли, смирившись перед жестоким законом бытия. А двадцатый век, ворвавшийся во вселенную, беспощадно вторгается в «непознаваемое» и требует откровений.

Альфин думал именно так, но научная работа приучила его к частым неудачам, отступлениям и, главное, терпению. Законы борьбы в науке не менее суровы, чем в военном деле. Слабые и пылки гибнут или остаются в тылу. В войне за познание ученый — тот же стратег и тактик. Он воин в своей лаборатории, бьется над сложными расчетами и берет на вооружение все проигрыши и победы предшественников. Нет ни одной области науки, где не было бы жертв, невидимых или явных схваток, подчас жестоких и пагубных.

Творчество — поле боя. Писатель, художник, артист, ученый охвачены видениями, предвосхищениями, строгой догадкой — итогом долгого напряжения и вдохновения. Они — бойцы духа и часто первооткрыватели бессмертных человеческих ценностей.

Максим Иванович Альфин, исступленно приверженный к физике, искал ответов также на философские вопросы.

Он изучал звуки, слышимые и неслышимые обычным ограниченным людским слухом. Очарованный своей профессией, поднимаясь от темы к теме, занялся колокольным звоном, и казалось ему — очутился в дремучем лесу фантазии. Исстари могучие инструменты сопровождали жизнь во всем ее многообразии и грозно-таинственно оплакивали мертвых,

Безымянные российские умельцы были великими музыкантами. Даже знаменитый большой колокол Вестминстерского аббатства в Лондоне отлит в Москве их руками. Альфин и другие физики тщательно занялись изучением кремлевского Царь-колокола, так и не издавшего ни одного звука. Каким голосом должен был обладать этот колосс, поверженный наземь? Вес наибольшего в мире музыкального инструмента превысил двести тонн. Толщина и форма, материал, из которого его отлили, помогли понемногу открыть тайну. Основной тон царственного колокола находится в области инфразвуков, постигаемых ухом не каждого человека из-за низкой частоты.

Поглощенность расчетами, страстное желание проникнуть в загадку молчаливого великана на некоторое время захватили Максима Ивановича. Он слушал напев других колоколов, чтобы уловить возможное могучее, великолепное пение Царь-колокола. Глубина, то заунывная, то, как набат, призывная, восхищала. Из подсознания поднималось в людях навстречу звуковой стихии смутное волнение. После литофона эпохи неолита колокола стали инструментами, наиболее близкими ушедшему человечеству. Не рыком ли хищных зверей, не допотопным ли ливнем, воем выюг и гулом водопадов, шелестом непроходимых чащоб вдохновлялись первые Страдивариусы и Амати? Они преодолели барьеры, проникая в непостижимый мир инфразвуков, открыв закон, что размеры инструмента обогащают его числом октав.

Колокольный перезвон воспел зори и закаты, зачатие любви, материнство, жизнь и ее конец. Колокол, будто пение птиц, украсил землю, ободряя ее обитателей, задолго до появления ортодоксальных религий.

Максим Иванович овладевал вниманием всей семьи Броницких, когда принимался рассказывать об инфразвуках. Как настоящий ученый, он был поэтом. Поэзия — всегда одержимость.

— Низкочастотное звучание, то бишь инфразвуки, — пленительная тайна. Она проникает в вас. Даже неслышимые, они друзья и враги, они...

— Ну, держитесь, Максим Иванович оседлал своего конька и помчался вскачь, — добродушно сообщала Вера Сергеевна.

Но Альфин продолжал:

— Случалось ли вам на берегу моря, белым языком пены лижущего ноги прохожих, вдруг беспричинно испытывать тревогу? Тщетно бороться с ней. Беспокойство нарастает, вам не по себе, и вдруг вы замечаете, как приблизился горизонт, дымчатый и недобрый. Море начинает выгибать спину волн. А вы предвосхитили это. Как? Человек, как, впрочем, и медуза, чувствует, не слыша, инфразвуки — гул низкой частоты, вещающий обычно о приближении стихийных бедствий. Кошки, змеи, крысы и другие животные по этому шуму узнают о подкрадывающемся землетрясении и заблаговременно спасаются бегством. Я, например, могу безошибочно предсказать близящееся ненастье, дожди. Могу без волшебства в своей лаборатории с помощью этих же инфразвуков вызвать в вас безотчетный страх. Мне надо только воспроизвести тринадцать их колебаний в секунду.

— Отныне я боюсь инфразвуков,— сказала Любаша. Она слушала Альфина, подперев руками подбородок, не отрываясь от его запавших глаз и утомленного лица.

— Их подчас тягостное воздействие всегда парализует музыка. Включайте радио, слушайте радиолы, играйте на пианино, пойте. А теперь простите юродивого физика, я вас замучил, не правда ли?

— Нет, нет, продолжайте,— просила Любаша. — Завидую вашей увлеченности наукой.

— Вот уж зря. Мы ведь из одного племени очарованных странников, а может быть, следопытов. Что до меня — я, чего бы ни достиг, всегда хочу большего.

— Кстати,— прервала Альфина Вера Сергеевна,— как ваши планы в отношении некой особы?

— В смысле пересечения двух множеств?

— Увы, не понимаю физических терминов.

— Женюсь ли? Нет. Я слишком долго размышлял, и сия, как вы выразились, особа, наскучив ждать либо мне пазло, стала женой моего друга. Совет им и любовь. Я фаталист. Любовь ведь тирания, а я свободолюб и анахорет. Холостяцкое хозяйство свое веду сам: глаза пугают, руки делают, как говорит слесарь нашего домоуправления. К тому же повара всегда готовят пищу лучше стряпух. Все великие кулинары пока что мужчины: Гурман, Гурьев, создатель неповторимой каши, герцог Бульонский, оставшийся в веках благодаря придуманному им бульону.

Семья Броницких, куда на несколько дней приехал погостить Альфин, сняла дачу в деревушке на Оке. Большой заброшенный дом пришлось застеклить, приладить двери, почистить трубу и надраить полы. Мебель из города не привозили. Соорудили на месте. Тюфяки набили свежим сеном.

Решено было, что отпуск все члены дома Броницких проведут в этом благословенном жилище: недорого и от Москвы недалеко.

Любаша привезла с собой четвероногого любимца всей семьи, боксера Платошу. Купили его давно, на птичьем рынке, и окрестили так потому, что в его морде с собранными на лбу складками-морщинками и в человеческих скорбно-саркастических глазах все узрели склонность к философским размышлениям и воздержанности.

Боксер не чувствовал природной силы своих огромных челюстей, хватающих мертвой хваткой, и разочаровывал несоответствием своей мрачной курносой четырехугольной морды и нежности, с которой бросался к каждому входящему. Его еще не обманывали, и он всем верил. Но постепенно чутье, проникновение в самую суть души, будило в нем настороженность к некоторым посетителям. С ними он не смеялся, не лез целоваться, широко подтягивая большие отвислые губы к ушам и показывая страшные зубы, не хмурил лба, щуря глаза, не встречал их, держа палку между челюстей — самую дорогую свою игрушку, не приглашал к игре и прогулке, он их не признавал. Платоша, завидя недобрых людей, бросался как бы на защиту двух наиболее любимых им богинь — Веры Сергеевны и Любаши — и ложился на страже у их ног, не упуская из виду того, кого заподозрил в неискренности и затаенном коварстве.

На июль в дом на Оке к Броницким собирался приехать на отдых, помимо двух сыновей Веры Сергеевны с семьями и дочери Нади с мужем, также Виктор Балаков, чтобы, как он писал в письме, «доколотить» докторскую диссертацию перед защитой ее осенью.

Природа вокруг домика была тревожаще хороша. Безлюдие, столь редкое вокруг столицы, охраняло лес, луга, сохранило их первозданную чистоту. Любаша впервые испытала особую грусть и нежность запоздалого знакомства с землей. Шум леса взволновал ее более, нежели

морской прибой. Картины Левитана, Жуковского, Нестерова, любимые девушкой, были беззвучны, а в пионерских лагерях гул голосов и люди мешали ей постичь величие деревьев, цветов и травы. Ничто, казалось ей, не могло сравниться с одинокой прогулкой по мшистой и многоликой роще. Перекличка птиц, ритмичные удары трудяги дятла и перепевы ветра.

«Инфразвуки — сказал бы Альфин, объясняя таинственные мелодии вокруг, — улыбаясь, подумала Любаша, — мы умные глухари, и только».

Неужели скоро пейзаж на холсте, кусочек заповедного бора, березка и сосна на асфальте города останутся экспонатами былых веков? Кислород начнут производить только фабрики, и конденсированный воздух пропитают искусственно добытым озоном? Тоска охватывала Любашу, и она, ложась на землю, любовно прижималась щекой и руками к колющим ее стрелчатым травам. Тем крепче привязывалась девушка к природе, чем отчетливее понимала свою прямую связь с нею.

«Без этой красоты нет и жизни. Человек не поднимет меч на свою создательницу. Он и природа — одно», — успокаивала себя Любаша.

Жизнь на своеобразной даче была нелегкой: за продуктами по графику, висевшему в сенях, ходили в соседний городок с рюкзаками, корзинкой и неизбежными авоськами. Чаще всех на рынок отправлялась Надя. Преподавательница школы, она наслаждалась длительным отпуском. Надя знала толк в продуктах, не прочь была поторговаться, выбирала мясо, как никто, хорошо готовила, пекла и не только не тяготилась кухней, но любила всякую домашнюю работу.

Своим наибольшим несчастьем она считала веснушки. Борьбе с ними отдавала много времени и раздражалась, если ей говорили, что они не только не безобразят ее, а красят.

— Зебра, — отвечала она сердито, — даже не пятнистая орхидея. Веснушки хуже проказы.

На рассвете, когда все еще спали, Надя бежала к Оке купаться и затем ожесточенно терла кожу лица и рук лимонным соком и покрывала гущей из магнезии, крахмала, меда и уксуса. Ее круглое большое лицо походило тогда на маску Пьеро и темные глаза обретали трагический блеск. В белой косынке и халатике, на цыпочках,

шустрая, ловкая, она бесшумно пошла по большой горнице, к которой примыкали три клетушки-спальни, разжигала уверенно керогаз и готовила овсяную кашу, затем гренки и кофе для всех обитателей. К девяти дом пустел. Надя убирала его и шла к соседке за молоком и овощами. Ей предстояло готовить для себя, своего сынишки, пса Платоши и кошки Соньки. Остальные, уезжавшие на работу в Москву, обедали в городских столовых. Но в июле начались отпуска, и в приокском доме все изменилось.

Сначала появились из-за границы сыновья Броницкой Аскольд и Олег. Оба на дипломатической службе приобрели особые навыки поведения и держались первое время настороженно и строго. Над ними подтрунивали близкие.

Аскольд скоро преобразился и с повышенной горячностью отдался привычному родному течению жизни. Он будто вымечивался от скрытой ностальгии, тем более тягостной, что жил годами в Африке, где ничто не напоминало ему Москвы... Не только березы, северная медлительная река, но и быт без привычных удобств умиляли дипломата.

Олег был строптив, самонадеян и меньше, нежели брат, тяготился разлукой с родиной и близкими.

— Мама и Любаша, — сказал он в первое же утро, выйдя в удивительной пижаме небесного тона и протирая круглые модные очки, — как всегда, экстравагантны. Они выискали эту доисторическую развалину, в щелях которой, несомненно, проживают клопы... Здесь нет даже сносного умывальника, не говорю уж о ванне.

— Но Ока! — взмолилась Любаша.

— А если будет холодно? После речного купания тем более следует помыться теплой водой.

— Олегу негде продемонстрировать свой купальный костюм: халат и особенно неподражаемые трусы, какие носит сам Жан Габен, — язвительно заметил Аскольд. — Что до нас, мы радехоньки отдохнуть на своей земле, собирать землянику и слушать окрест не какую-нибудь, а свою, русскую речь, да еще такую веселую: «Эта река широка, как Ака-а-а».

— Ну, ты известен русофильством, а я — международник, — отшучивался Олег. — Грешен, люблю цивилизацию, как, впрочем, все лентяи. Неужели так и будем

отдыхать без телевизора? Транзистор, к счастью, я захватил.

— Это поправимо. Поставим тебе «Рубин» и даже шезлонг,— пообещала Любаша. — Возлежи и блаженствуй.

Несколькими днями позже приехал Виктор Балаков, а следом и Максим Иванович Альфин. Они поселились в сарае на сеновале...

— Прямо-таки фаланга из утопического романа,— радовалась Броницкая.

Для нее съезд всей семьи, естественно, явился редким праздником.

Лучшим кострожогом оказался Аскольд Броницкий. Чувствуя себя снова пионером и следопытом, он складывал и разжигал костры, священнодействуя. И Аскольд, будто в отрочестве, сосредоточенно выпячивал губы, насупливал брови и, поднося спичку к сухой листве, начинал напевать ту же пионерскую песенку.

— Чтобы объять всем сердцем нашу природу, надо лишиться ее и окунуться в липкий, пропитанный крахмалом воздух, скажем, Гвиней, а это еще не самый трудный по климату край... Увы, человек состоит из всей совокупности окружающих его обстоятельств. Атмосфера — не просто кислород. Можно задохнуться на морском просторе и на альпийском лугу, а дышать полной грудью в душной избе, если вокруг все твое, желанное, необходимое,— признался Аскольд.

— Атмосфера может быть безвоздушной, странно, но точно,— повторила Любаша, вспомнив невыносимые, удушшающие часы с Сергеем. Сама мысль о нем все еще причиняла ей боль, вызывала тревогу.

На костре пекли картошку, и казалось, не едали блюда вкуснее. Пели хором и в одиночку. Огонь настраивал всех на какой-то иной лад, точно бы извлекал из прапамяти давно забытое. Говорили о первобытных людях, населявших эти леса и степи, о древних цивилизациях, невольно жались друг к другу, как если бы была рядом опасность: гуртом отразить ее легче. Аскольд не уставал балагурить, доказывал, что цивилизация создает одиночество и разобщает людей.

— Не менее, чем стяжательство. Но наука снова соединяет разомкнувшуюся цепь. Люди сблизятся со временем,— возражал Альфин.

Вера Сергеевна усаживалась поодаль на пенке. Ей всегда нравились люди при свечах и костре. Они как бы освещались не снаружи ярким электрическим светом, а изнутри, становились значительнее, черты лица отчетливее выявляли характеры.

Особенно хорошела тогда Любаша. Постепенно выздоровев от тяжелого недуга — любви к Сергею, она возмужала духовно и телесно. Так, перенеся опасные инфекционные болезни, не надламываются, а крепнут дети. Выжив, они как бы начинают жизнь, а не продолжают ее; из памяти их многое безвозвратно исчезает. Прислушиваясь к оживленному разговору об одиночестве и его корнях, Любаша думала: «А горе соединяет ли людей? Страдающий часто одинок. Зато общая беда, стихийное бедствие, мор, война обычно бросают людей друг к другу. На миру и смерть красна, а дружба незыблема».

— Я предлагаю играть в «бум-бац» — бессмысленно, но занятно. К тому же проверка внимания, — заявил Олег.

Уселись в круг и принялись громко считать по очереди. Вместо трех и всех кратных к нему следовало говорить «бум», а пять заменялось словом «бац».

Надя начала — раз. Олег подхватил — два, а Любаша, споткнувшись было, выдавила «бум».

— Быстрее, — командовал Олег. — Четыре, бац.

— Шесть! — беспомощно выкрикнул Виктор и заплатил штраф.

— Эх ты, математик, — упрекнули его. — На сколько делится шесть?

— Я — историк, — взмолился Балаков и снова сбился со счета, сказав «двадцать один».

Штрафы-фанты сыпались один за другим в виде носовых платков, часов, монет.

Так и не сосчитали до тридцати: счет то и дело начинался сызнова. Но забавнее оказалась игра в фанты.

— Ну-ка, братцы древляне, что закажем владельцу этого галстука? — торжественно спрашивала Надя.

— Пусть в лицах изобразит заседание французского парламента в дни инфляции франка.

Любаше предложили петь «Очи черные». Наде — испечь пирог с клубникой. Виктор Балаков танцевал «Карманьолу», Альфин нырнул в Оку с колокольчиком на шее. Мужу Нади, Толе, заводскому мастеру, любите-



лю самодеятельности, предстояло поставить спектакль «Мы на Оке», а Вере Сергеевне — обследовать всех присутствующих на предмет установления у них шизофрении.

Олег Бропицкий, самонадеянный и поглощенный главным образом собственной персоной, с первого разговора почувствовал острую антипатию к Виктору, и тот отвечал ему тем же. Дипломат был столько же убежден в правоте каждой своей мысли, сколь историк подвержен постоянным сомнениям. Про себя Балаков называл Олега «бюрократом», а тот его «неврастеническим гробокопателем». Зато с Аскольдом Виктор быстро подружился. Оба отличные пловцы, они проводили много времени, плавая и ныряя в реке.

— Что чувствует советский человек вдали от своей Родины? — спросил однажды Виктор нового приятеля.

Не задумываясь, Аскольд ответил:

— По-разному, но раньше или позже приходит ощущение неприкаянности, покинутости. Одиночество — бич человеческий — во сто крат ощутимее на чужбине. — Говоря это, Аскольд погладил ствол березы. — Хорошо познакомиться с иными континентами. Но храни судьба от долгих отлучек, а особенно от постоянного обитания за тридевять земель. Это клетка, пусть комфортабельная, но пресекающая полет.

Жена Аскольда, переводчица Майя, после долгого пребывания в Африке, как бы по закону мимикрии, стала чрезвычайно походить на мулатку и гримом еще резче подчеркивала глаза и пунцовые выпуклые, сочные, как ломти арбуза, губы. Волосы она завивала мелкими кудельками и красила в немыслимо черный цвет, платья носила просторные, пестрые. Слушая разговор мужа, она торопилась вмешаться.

— Аскольдик всегда преувеличивает. Он хочет сочувствия. Я очень люблю страну, где мы живем. Мерзну в Москве, а люди кажутся мне бледными, как кислая капуста. Знаю, муж сейчас заявит, что наибольшее число больных воспалением легких и ревматизмом именно в Гвинее, Уганде и т. д. из-за резких переходов от жары к холоду и сырости, но зато ни один пляж не может сравниться с танганьикским. А эмоциональность, ребяческая непосредственность африканцев, любовь их к прекрасному безграничны.

Майя показывала фотографии, украшения из камешков и раковин.

— Не оспариваю, что видеть надо многое на земле, но жить — поближе к «милому пределу», — завершал Аскольд разговор о дальних землях.

Обычно день проходил незаметно в прогулках, купании и солнечных ваннах на берегу Оки, в хлопотах по ведению большого хозяйства. Майю Броницкую, по прозвищу «Жозефина Беккер», как гостью, освободили от принудительных обязанностей, жена же Олега очень скоро уехала в Ленинград к своей матери, а оттуда — в Ялту, куда усиленно звала депешами супруга. Олег Броницкий откровенно тяготился деревенской глушью, только привязанность к родным удерживала его от побега. Домоводство обрушилось на Надю и Любашу. Веру Сергеевну объявили главковерхом.

Теплыми вечерами дачники сидели на завалинке и траве, слушали многоголосье природы, дивясь окружающей красоте неба и земли. Радовались кваканью лягушек, сердитому гудению засыпающего жука. Платоша, утомившись беготней, лежал у чьих-нибудь ног, уши — топориком, готовый тотчас же вскочить и броситься грудью на опасность, защитить могущественных и вместе беззащитных своих богов.

Беседа, как волны, то лениво катится вперед и замирает, то набирает силу, превращается в шторм, гремит и бушует.

Внизу, у отслужившего, разохшегося дома, медленно шевелилась Ока, пищали комары, шуршали лапы елей, а люди поднимались во вселенную и в темноте ее искали откровения, раскрытия тайны земной жизни. И мысль их была сильна, как ракеты и спутники, созданные такими же, как они.

Вера Сергеевна не могла избавиться от цепких воспоминаний. Русская печь и ходики, коптящая керосиновая лампа, потемневшие стены были как отзвук молодости. Отсутствие удобств не раздражало. Предки Веры Сергеевны были крестьяне, дед, ротный фельдшер, часто заменял врачей в глухомани. Внучка гостила у него. Теперь ее босые ноги снова ласкались к земле, и прикосновение травы или камешка радовало. Хорошо идти не торопясь лугом к воде, отгоняя полотенцем прилипчивого лохматого шмеля или нудно распеваящую осу,

И даже заброшенный сарай за кустами калины кажется знакомым издавна.

— Скоро ничего такого не будет и в помине. Разве только в музеях, на полотнах старых живописцев да в кадрах исторических кинохроник,— с грустью заметила Любаша. Эта мысль не давала ей покоя.

Олег поморщился, не скрывая отвращения к тому, что называл «остатками дореволюционной дикости».

— Все вы сентиментальные экс-гимназистки,— заворчал он. — По доброй воле отказаться от комфорта, прятаться от дождя в этом дырявом корыте — это может пленить только Любашу и нашего почтенного главковерха. Я спалил бы без пощады все уродливые избы. Почему, хотел бы я знать, не поселились мы в селе Озеры? Отличный совхоз и агрономия соответствуют нашему веку, а главное, быт там совсем иной. А здесь наглядный пример чрезмерного воображения некоторых дам и их неправильного идейного воспитания. Смотрите на Любашу. Она оплакивает милого есенинского жеребенка и похилившиеся хаты. Воспринимает природу только через левитановскую «Осень». Прекрасно! А я человек городской, люблю метро и прочие блага атомного века. Не выйду безлюдной природы и мошек. Человечество мчится вперед, но Броницкие пятаются задом и довольны.

Спор разгорался...

— Помню, после школьных уроков по географии,— желая утихомирить молодых, рассказывала Броницкая,— мои подруги стремились на Таити и к австралийским кенгуру, а мальчики — на Южный и Северный полюсы. Полеты во вселенную казались нам тогда привилегией людей двадцать второго или двадцать третьего столетия. Но постепенно сжималась в нашем понятии Земля, убыстрился лет времени и необъятно раздвинулся космос. Родился Гагарин, чтобы поведать нам самую удивительную из былей века.

— Я уверен,— начал молчавший до того Виктор Балаков,— что мечтания — первопроходчики науки, и они нас не оставляют ни в громадных городах, ни в глухой тайге.

— Виктор не может изречь что-либо злободневное. Мечты тоже устарели. Впрочем, историк восемнадцатого века принадлежит к поколению наших прапрадедов,— с

необъяснимой враждебностью к Балакову сказал Олег. — Он жрец науки о прошлом и далек от современности.

Виктор смолчал. Про себя он подумал, что Олег человек двух измерений — ширины и длины, к тому же невежда. Избегая с ним ссоры, он отправился к реке. Как всегда, зрелище бездонности ночного неба, таинственность пейзажа и тихая береза в кружевной накидке листьев у самой воды успокоили его.

Неудержимо мчится время, и бег его ускоряется, а люди по-прежнему читают древних с таким же упоением, узнавая в них себя. Разрушаются горы, мелеют реки, меняются средства производства, транспорта, условия бытия, но, как и прежде, всем близки плач Кассандры, любовные признания Сафо, душевное смятение Сократа, поиски истины Платона. И тем прочнее незримая цепочка поколений. Упорно передавалось от дедов к внукам все лучшее, что было в людях: их духовные ценности, высокая мораль, святость чувств. Так и новые крепнущие всходы — революционеры — из поколения в поколение, как бегущий марафонец, отдают, исчезая, свой неугасимый факел потомкам. Сила их огромна! Человек ощущает ее и несет в грядущее то, что властно жило и в его предшественниках.

Накануне дня рождения Веры Сергеевны, второго августа, Виктор проснулся чуть позднее пяти часов утра и вспомнил деда. Захотелось перечитать еще раз маленькую рукопись, приложенную к заветной папке Лалы Орловой. Это было начало так и не дописанной Павлом Александровичем книги. На ней сохранилась надпись — обращение к внуку: «Наброски сии не представляют интереса. Порви, Виктор. У самого рука не поднимается уничтожить доказательство посредственности своей в литературном труде».

Виктор пожалел, что оставил рукопись в Москве, и отправился купаться. Хотя вода в реке была холодновата, он долго плавал и нырял. По солнцу судя, было уже более шести часов, когда он медленно направился кружным путем, вдоль леса к дому. И вдруг увидел неподалеку розовый, в голубых цветах, пышный сарафан — тонкую высокую фигурку, бегущую к копне сена. С размаху девушка, как в большой сугроб, раскинув руки, бросилась в сухую траву, затем, быстро разгребая ее, погрузилась вся и, смеясь, стала выбираться на поверх-

пость... Поднявшись на ноги и все еще смеясь, девушка начала отряхиваться, испытывая, видимо, большое удовольствие.

«Кто это? — Виктор не видел лица удивившей его изяществом, мелодичным смехом и странной непосредственностью поведения девушки. — Она не предполагает, что ее видят».

Девушка собиралась сбросить сарафан, чтобы заняться гимнастикой. Именно в это мгновение Виктор, не пожелав подглядывать, хотел окликнуть ее. И вдруг увидел — перед ним стояла Любаша.

— Ты?.. — едва выговорил он.

— Я кажусь тебе дурочкой. Но, право, это так здорово... — смутилась Любаша.

Она смотрела на Виктора прищуренными глазами с покрасневшими от сенной пыльцы веками, а Виктор, не слыша слов, ловил себя на том, что любит ее. Как бы впервые он увидел Любашу и пораился женской ее прелести.

«Никогда не понимал... Ведь она красавица... и умница...»

Они шли к дому вместе, не сказав больше ни слова.

В это утро Виктор брился дольше обычного, рассматривая себя в зеркале, чего ранее не делал.

«Я состарился, мне можно дать тридцать пять и больше, — досадовал он, — а Любаша будто подросток. Сутулюсь, обрюзг. Надо начать упражнения по системе йогов и ежедневно бегать...»

Максим Иванович Альфин читал на пороге сарая, не заметив подошедшего Виктора.

— Скажите, — обратился к нему Балаков, — как в столь солидном возрасте — ведь вам уже полсотни — вы так моложавы?

— Ищите способа консервации у роботов? — улыбнулся Альфин. — Извольте, я оттого так, по вашей оценке, моложав, что никогда не занимался спортом ни по Мюллеру, ни по Хатхе-Йоге, словом, согласно с Львом Толстым, не ищу обезьяньей имитации работы. Но если нужно, не откажусь и рад физическому труду и мозолям. Не брезгаю им, а чту, аки праотцы наши. Люблю я подмосковные фруктовые сады и антоновские яблоки и, не хвалясь, скажу, добивался не худших урожаев. Дерево

что конь, любит доброе с собой обращение и благодарит за него щедро.

Альфин поднялся, и они пошли к лесу. Заговорили о разном, перебивая друг друга. Вдруг Альфин остановил Виктора:

— Объясните, историк, как это происходит в веках: является этаким Муссолини, потом Гитлер — и пошло столпотворение, кровавая банька!.. А ведь они, извините, как всякий человек, подвержены гастриту, зубной боли, а помрут — червям на ужин... Гипноз? Гитлер? Гипноз?! Ведь поганенький мужичонка, трус, а какой ужас внушал! Страх, скажу я вам, — вот бич человечества. Чего только это дьявольское наваждение не творит. Оборотпей, шакалов, гиен. Начинается с пустячков, с добрых намерений, тех самых, какими дорога в ад вымощена. — Физик нервически закружил по поляне перед сидевшим на траве Балаковым.

— Так-так, а я думал, вы только ультра, инфра и прочими звуками интересуетесь и сейчас прочтете мне лекцию о том, что в Иерусалиме на христианской святыне поет колокол, литый в России. Или что-нибудь о городе Малине и знаменитом малиновом звоне... А вы вот куда вспорхнули.

— Э, нет, меня не занесло. Каждый ученый в наши дни, и особенно русский, вовсе не технократ, не узкомыслящий профессионал. Он тогда в спутники спутнику не пригодится... Надо учиться думать в том самом масштабе, что и твоя работа. В глобальном, в космическом, вооружившись прошлым, от ошибок прежних отталкиваясь, к достижениям прибегая. Таковы мы, «роботы», как ваше поколение нас подчас величает.

— Ин-те-рес-но, — растягивая буквы, вымолвил Виктор.

— Мальчики, где вы? — раздался вблизи голос Нади.

— Мальчики — как это приятно слышать, — рассмеялся Максим Иванович. — Мы здесь, девочка. Ау!

— Мальчики, завтра — пир горой. — Маме — шестьдесят. Ночью я растоплю русскую печь. Тесто уже замесила. На славу удалось. Мой Анатолий задумал плов. А вы что бездельничаете? В избе — пекло. Приводите в порядок навес у сарая: стол придется накрыть там.

Весь этот день Виктор был не в духе и несколько раз чуть не поссорился с Любашей. Что-то изменилось в от-

ношении молодых людей. Впрочем, придирки давнишнего друга не удивили Любашу.

— Как Вик раздражен,— сказала она матери.

— Старохолостяцкий эгоизм и спесь,— согласилась Вера Сергеевна.

Спали непробудно, хотя дым от печи заволок горнипу и пробился во двор. На рассвете пошел дождь. Похолодало. Надя с трудом разбудила жильцов сеновала.

— А где Любаша? — спросонья произнес Виктор. — Она тоже печет пироги?

— Уж не видел ли ты ее во сне? — удивилась Надя. — Я думала, у вас очередная размолвка. Впрочем, от ненависти до любви — один шаг.

— Какие глупости,— вскипел Виктор,— помалкивай, мы просто равнодушны друг к другу.

— А от безразличия — полшага к любви,— поддразнивала Надя.

— Сорока. Хватит трещать, а то я не пойду по воду, а физик — к соседке за молоком.

Погода капризничала, солнце то пробивалось сквозь тучи, чтобы затем, как восточная женщина, сбросившая чадру, снова спрятаться под густой сеткой.

В дни подготовки семейного торжества главенствовал Надин муж Толя: он сколотил скамьи из досок, починил навес и превратился в повара — засунул в печь чугуны с пловом и принялся готовить беляши...

Необычным человеком был этот темноглазый заводской мастер с чудодейственными руками. Он хорошо рисовал, резал по дереву и кости, был в юности лекальщиком и страстно любил механику. Не укладывающийся в обычные рамки, в отрочестве он чуть не бросил учиться, возглавив ораву отчаянных мальчишек. Из-за темного цвета кожи они прозвали его «копченым». Опомившись, Толя ушел на завод, стал слесарем. Позднее, уже после армии, Толя учился в вечерней школе. Там он встретил преподавательницу Надю Броницкую. Они поженились. Их совместная жизнь могла бы считаться образцовой, если бы не ревность и вспыльчивость обоих, подчас приводившие к шумным объяснениям.

За что бы Толя ни брался, он добивался удачи. Увлечшись любительским автостроением, получил премию за свою модель. Его усовершенствования сложных машин на заводе и конструкторские находки вызывали удивле-

ние придирчивых специалистов. Став мастером цеха, он ладил с рабочими.

В этом году Анатолий вместе с рабочей делегацией побывал в США.

— Все там было интересно и многому учило, — рассказывал он Виктору, — но с каким чувством облегчения мы летели домой. Не хотел бы я родиться ни американским негром, ни тамошним белым. В Америке не разберешь, где кончается рай и начинается ад...

— Там хаос идей, целей, — раздумчиво согласился Виктор. — Неравенство в богатстве и в бедности, в правах и бесправии. Америка видится мне мощнейшим, но разваливающимся в небе самолетом: правители в бронированных машинах, убийства, восстания студентов и негров, политические авантюры, лютые войны. Бездопный кризис душ страшнее экономического...

Беяши были готовы, стол накрыт, и Виктор вместе с Толей развешивали гирлянды из свежих листьев и цветов.

— Недурственно, недурственно, — подбадривал их Максим Иванович. — Совсем как на троицу в дни моего детства.

Обычно, когда люди загодя договариваются веселиться, им нелегко настроиться именно на такой лад. Задапность расхолаживает. Беспечность и веселье не приходят по заказу.

Сразу же после нарочито шумных поздравлений и церемоний вручения подарков, — а их решено было подпести Броницкой не менее шестидесяти, по числу ее лет, — действительно наступил спад. Правда, именинный крендель с ленточкой из свечей, испеченный Надей, оказался очень вкусным. Все изощрялись в подношениях, но очкастый Айболит в белом халате с фонендоскопом и сумкой «первой помощи», подаренный Альфиным, поправился больше других подарков.

— Поздравим любезнейшую Веру Сергеевну с тем, что, несмотря на тысячу опасностей, горестей, испытаний, она отважно и полезно прожила жизнь, сумев остаться при этом с головы до пят женщиной миловидной и ласковой. Некий мудрец сказал: «Женщина привлекательная и нежная, с мужественным умом и характером найдет у своих ног всех лучших мужчин времени». Мы, как один, покорны главоверху домика на Оке. Выпьем же кто бо-



кал шампанского, а кто хочет — пусть поднимет стакан кефиру. Каждому по способностям. — Такова была речь Альфина, сопровождаемая рукоплесканиями, объятиями и целованием «поворожденной».

Любаша добавила кратко:

— Наша мама — лучшая из матерей. Желаю всем такую же, а ей — достойных детей.

Пришла очередь высказаться сыновьям. Аскольд вдруг размяк и, умилясь, бессвязно заговорил о доброте Веры Сергеевны.

Олег вспомнил о Париже и умении французов развлекаться и праздновать.

— Если бы я мог отвезти всех вас в ресторан «Рейн Педок»! Там, поверьте, меню вровень с гастрономическими шедеврами в романах Анатоля Франса!

— О, Броницкие всегда были гурманами, — не удержалась Любаша.

— Еще бы, мы ведь из крепостных, получивших вольную в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, — рассмеялась Надя.

— Вы обе глупы, — разозлился Олег. — Наша мать заслужила не такой самодельный пирог, как твой, Надя. Мы, дети, ей стольким обязаны!.. Я, признаюсь, преклонялся перед Дантоном. Это был не только видный якобинец, но и великий чревоугодник.

— Это все, что Олег знает о деятелях революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года, — ответил Виктор. — Прямо скажем — немного и неточно.

— Я, к счастью, не историк, а международник и не питаюсь мертвечиной. Мы — хирурги в политике, которые считают за благо делать наименьшее количество операций. Дипломатия, к вашему сведению, — подлинное проникновение в душу современной политики, ее авангард. Наше дело — предотвращать схватки, войны.

— И, однако, без глубокого знания истории дипломат рискует расквасить себе нос и причинить вред делу. История — опыт классовых сражений, школа революционера и тем самым политика нового века и нового мира, — взорвался Виктор.

— Поэтому-то Балаков дезертировал в далекое прошлое, — хихикнул Олег. — Как слепой крот, роется в земле, а выдает себя за бойца переднего края на ее поверхности.

Виктор при этих словах Олега вскочил со скамьи с побелевшим лбом и сощуренными глазами.

— Пожалуйста, милые мои, не ссорьтесь,— попробовала остудить спор Любаша.

Но молодых людей нельзя было остановить.

— Невежда,— прокрипел Балаков.

— Таких компиляторов, пишущих клеем и ножницами, у нас пруд пруди. Землеройки. Ваши темы отмерли, как стиль рококо, как почтовая карета. Не кладбищенская пыль истории, а современность определяет грядущий день.

В ярости Виктор двинулся на Олега. Их давнишняя антипатия вылилась наружу. В прошлые века они скрестили бы шпаги, сошлись на дуэли, но время это кануло в вечность. Едва сдерживаясь, распаленные спором и шампанским, они пронзали друг друга взглядами.

— Олег всегда вскипает, как молоко на огне! — всплеснула руками Вера Сергеевна.

...Через два часа, несмотря на уговоры, Балаков с маленьким чемоданчиком в руке собрался на железнодорожную станцию. Вера Сергеевна обняла его, а Любаша пошла проводить до околицы. Виктору было стыдно вспышки, жалко, что огорчил Броницкую. Он готов был, уходя, зайти к Олегу, помириться с ним, но тот продолжал дуться, искал любого повода, чтобы выразить возмущение.

— Не сетуй на себя. Все по-прежнему любят тебя. Олег злится и стремится сбежать отсюда к жене, вот и нашел разрядку,— успокаивала Любаша своего друга.

— Как же быть мне теперь? Я не могу не видеть вас. Не могу, пойми, Любаша, не могу! — вырвалось у Виктора.

Если б молодая женщина была опытнее и проницательнее, то услышала бы новые, не звучавшие ранее нотки в голосе Балакова, но она их не уловила.

— Знаю, тебе дороги и наш дом, и моя мама, но ведь ничего не изменилось. Мы ждем тебя в Москве,— ответила она грустно.

Они расстались оба удрученные.

Виктор шел медленно, многократно оглядываясь назад.

«Почему на ней сарафан не тот, в цветочках?.. Но и так она лучше всех на свете».

Виктор вспоминал Любашу школьницей, студенткой,

их совместные прогулки, споры, чтение и размышления вслух. Как не похожа во всем была Любаша на сверстниц, сколь сурово оберегала и хранила в чистоте внутренний мир свой. Немногословные суждения ее отличались глубиной, будто она была старше своих лет. И всегда она что-то делала для других, радуясь этому, не требуя признания.

## Глава одиннадцатая

### МЕТАМОРФОЗЫ

Наталья любила поэзию. Она называла ее детищем истинного искусства, в противовес прозе, и читала стихи, как молитву, вкладывая душу, волнуясь и веря. Тютчев, Блок, Цветаева были ее спутниками, и Геннадий, равнодушный к тому, что называл «виршами», покорно слушал взволнованную декламацию жены:

— И должен биться я в толпе, на общем поле,  
Нарушен гордый одиночества обет,  
Со сцены сходит комнатный поэт,—  
Творить я буду в жизни с этих пор, на воле!  
Вмешавшись в гущу жизни с песней на устах,  
Я попытаюсь ложь развеять в прах!  
Она иль я!

Наталья, с голубоватыми от волнения глазами и бледным ртом, замолкла.

— Это кто еще сотворил? — попробовал пошутить Гена, но и ему понравилось стихотворение.

— Ибсен, Генрик Ибсен. Что ты о нем знаешь? Конечно же, ничего. А жаль. Великий драматург и поэт. Он написал «Строителя Сольнеса», «Дикую утку», «Нору»...

— «Нора»! Я, кажется, видел такую пьесу, — обрадовался Геннадий, — более того, знаю, что это первый писатель, которому при жизни поставлен был памятник.

— Да ты, оказывается, не только безупречный авиа-конструктор. Представь, старый Ибсен по утрам приходил к своему изваянию и носовым платком смахивал пыль с постамента. Трогательно.

— Я, пожалуй, делал бы то же самое.

Размышления над книгами, встречи с различными людьми сказались: Наталья как-то сразу повзрослела.

Поймала себя на опасении, не разочаруется ли в ней муж. «Я была несправедлива, натягивала веревочку, испытывая, сколько она выдержит. А кругом столько одиноких женщин — они не хуже меня...»

— Ты — хороший, — сказала она Геннадию, — но, прости, странноватый и слишком уж медлителен в реакциях. Лучше б громыхал, чем примирился. Мне хочется видеть силу, иногда даже грубоватость, а ты философствуешь, подчас скучновато. У других, куда менее тебя начитанных, так и расплескиваются мысли, остроты, ассоциативные сравнения. Блеск! Ты же будто ничего и не смыслишь, кроме высшей математики и техники. А вот, оказывается, многое читал и запомнил, да уложил рядком в шкаф и только случайно добываешь. Для чего же тогда копить? То, что мы не отдаем, и нам не требуется.

— Избегаю краснобайства, верхоглядства. Таким, верно, уродился. Был у меня в юности дружок, он бы тебе понравился. От его бурной эрудиции, жонглирования именами у меня начиналась морская болезнь. Однажды, помню, он ошеломил всех, рассказав, как о своем прапрадедушке, о Сулеймане Великолепном. Тут меня и осенило. Достал я только что полученный том Большой Советской Энциклопедии и сразу сообразил, откуда мой дружок тащит свои познания. Копни его — и ничего нет, кроме сведений из энциклопедии. А есть еще интеллигенты пофорсистее, обогащающиеся сообщениями из специальных справочников и научных брошюр. Тебе такие фразеры на ходу голову вскружат, а я понаторел, носом их чую... Нет, я не из их породы, слава аллаху. Скворца тоже можно обучить болтать с чужого голоса. Дорого свое, самобытное, свежее, а это легко не дается.

Геннадий действительно был не скор на решения и, главное, поглощен любимым делом. Это-то и спасло брак его с Натальей в дни яростных стычек. И первое испытание, казалось, хоть и оставило рубец, кончилось благополучно. Наталья, усмирившись, присматривалась к будням жизни и постепенно стала больше ценить свою семью.

Но неудовлетворенность все еще преследовала ее. С трудом вращалась она в новые интересы и работу. Изменив медицине, молодая женщина не обрела быстрого удовлетворения в редакторских заботах, не сразу нашла душевное спокойствие, которого ждут, закончив учебу,

профессионалы. Ведь делу человек отдает наибольшую часть своей жизни. Счастье в том, чтобы чтить свой труд и сознавать для себя его незаменимость. Наталья металась.

«Генка не устает утверждать, что труд — это лучшая часть бытия. Труд превратил обезьяну в человека, но, узкоспециализированный, он вот-вот превратит и превращает некоторых людей в усовершенствованную обезьяну, в робота. Некоторые физики мне кажутся электронно-вычислительной машиной. С ними тяжело».

На службе Наталья по-прежнему удивляла всех своими безапелляционными заявлениями.

— Бедняга читатель. Как мне тебя жалко. Мы хотим твое короткое послерабочее время занять — и чем же? Описанием производственно-творческих процессов, от которых ты только что с облегчением оторвался. Как литераторы этого не понимают?

— Злющая ты, Таля.

— Ничуть. Я только жалею книголюбов. Гонят их строчкогоны по лабиринту прописных истин и описаний из учебников по технологическому процессу того или иного производства.

Мысли Натальи складывались примерно так: «Живой человек обычно интереснее придуманных иным писателем. Подчас, читая его творение, чувствуешь себя в театре марионеток. Неопытный, доверчивый читатель тщится понять, полюбить их, но не может. Он взывает: помогите, спасите, не хочу коловращаться. В этой книге нет ни вдохновения, ни слез, ни жизни, ни борьбы и, уж конечно, нет чувств. А ведь на этом с незапамятных времен стоит литература».

Не всем присуща пронзительная зоркость. Обычно окружающее воспринимается вначале через себя: незаметная подстановка собственных свойств.

В издательство приходили десятки людей. «Кто они в действительности, почему одни подлаживаются, другие, наоборот, демонстрируют свою грубость и заносчивость? Какова степень их таланта? Может ли быть истинно одаренный писатель пошлым или льстивым?»

Однажды в отделе, где работала Наталья, появился Душкин. Она слышала о нем от Любаши и пытливо впиалась глазами в ширококостного, черноусого, нежноголового посетителя.

— Я принес плод, так сказать, труда и вдохновения о гуманизме и скромных героях одной большой северной стройки. Нам не хватает книг о доброте и жалости к единомышленникам, о справедливости и порядочности. Нужно бы призвать всех писателей заняться этой темой. Пусть в сердцах зацветут фиалки... Нашему брату журналисту удастся проникнуть в самую толщу жизни тружеников. У меня много друзей среди лучших из лучших. Истинно с самого детства везет мне на дружбу.

В таком приподнятом тоне Душкин распинаясь о мягкости своей натуры, о подвигах, которые совершил во имя блага ближнего. И пожары тушил, и утопающих вытаскивал, и с товарищем крушение поезда предотвратил, рискуя, как выразился, «своей шкурой».

— Долгое время, помимо газетных очерков, писал я для детей. А теперь вот решил призвать к доброму также и взрослых.

Наталья приняла объемистую папку — роман Душкина — и, широко раскрыв глаза, как всегда инстинктивно делала, когда оказывалась в необычных обстоятельствах, спросила:

— А город Энск и события тридцатилетней и более давности вы тоже тут описали?

Душкин мгновенно напряжился, похожий на расвирепевшего быка. Черные, будто выкрашенные, усики ошетинились, темный большой рот с опущенными книзу углами резче выпятился, и глаза потеряли приторное выражение.

— Не понимаю вашего вопроса. Я всегда был, во-первых, гражданином, преданным государству, а лишь затем — литератором. Понятия о добре и зле непрерывно меняются, и я не советую вам намекать на то, чего не знаете.

— Чудно, — с прежней наигранной беспечностью ответила Наталья, — о чем вы говорите? Почему я знаю, каковы ваши достижения в Энске.

Душкин произнес беззвучно:

— Вы, верно, из компании Дэмов-Броницких? Могу только еще раз предупредить, что вам не удастся скомпрометировать такого честного человека, как я...

Душкин умолк, натянул берет, картинно раскланялся и вышел, откинув назад плечи, как победитель в турнире.

Осенью нескольких сотрудников на две недели отправили убирать капусту в подмосковный совхоз. Кроме Натальи, все были очень довольны и веселы. Еще бы, четырнадцать дней на воздухе. Разминка, парное молоко, свежие овощи, грибы, прогулки.

В совхозе Наталья познакомилась со многими сверстниками. Тамара и Станислав, с которыми она быстро подружилась, как это только возможно в молодости, окончили Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. Не одни нефтяные разработки, подземные и подводные нефтяные богатства пленили двух специалистов. Наталья, недоумевая, слушала их. Поглощенные основной своей специальностью, они тем не менее в свободные от учебы месяцы строили поселки, выбрав глухие места в тайге и Заполярье. Инженеры превращались в каменщиков, монтажников, строителей... В далеких, недавно окрещенных и заселенных городах Тамара и Станислав оставили возведенные их руками дома. Они создавали их вместе с другими энтузиастами. Страсть к первооткрывательству гнала молодежь по непроторенным дорогам.

С тем же запалом и нежностью они говорили о нефти. Она легла перед Натальей растопленным янтарем.

Наталья прислушивалась к бурным повествованиям двух таких же, как она, интеллигентов. Но не спорить с ними все же не могла.

— Труд и труд, — сказала она как-то, утомленная работой. — Все вы поете одну песню. Мой муж и вы. Но ведь постная, горькая проповедь «Добывай хлеб в поте лица своего» появилась во времена дикости, пастушества и стала догмой наряду с другой своей ипостасью: «Не хлебом единым жив человек». Так неужто в нашем веке, когда даже икру можно создать из вашей же нефти, не говоря об иных сказочных превращениях, мы по-прежнему должны довольствоваться ну хоть не суровой библейской краюхой хлеба, так бутербродом с маслом, тоже созданным нашими руками, годными для черчения, писания, управления пультом, сложнейшей аппаратурой? Пусть хлеб и масло производят машины, не мы.

Инженеры на этот монолог дружно ответили смехом.

— Ты, Наталья, причисляешь себя, вероятно, к аристократии духа, приписалась к касте привилегированных сверхчеловеков. А нас с детства розгой от физического

труда не отгонишь. И боимся мы, как бы хитрые машины не заменили нас повсюду. Оскудеем, потеряем тогда свою статью, радость труда телесного. Одного спорта мало: противно думать об одряблевшей мускулатуре, огромных лысых головах будущих мозговиков. Пока будут родиться дети, как мы родились, а не в колбах с особым белком, мы ради себя самих не смеем брезговать физическим трудом и бежать от него. Что до библейских изречений — что же, они бывают мудрыми... Кроме серого вещества мозга, нам даны природой, и слава ей за то, крепкие ноги, руки. Им, как и мозгу, требуется зарядка, занятия, тренировка.

Наталье нечего было ответить. У нее хватило ума усомниться в своей правоте.

Как случилось, что она свысока относилась к людям физического труда и считала зазорной всякую работу, требовавшую усилия рук и мышц? Достаток сызмала или Тереза Павловна, взявшая на себя тяготы домоводства, подружки ли, избалованные в семьях, книги ли о праздном «мыслительном» существовании внушили ей, внучке рабочего, пренебрежение к физическому труду? Не всегда он давал чувство удовлетворенности и другим. Она это знала. Неблагодарной и отталкивающей была суетная загруженность домашней хозяйки. Сквозь эту призму и смотрела на мир Наталья.

Вернулась она из совхоза значительно телесно окрепшей и более успокоенной душевно. Ей теперь нравилось читать рецензии, сама бралась читать рукописи. Ей хотелось чем-то помочь человеку, создавшему хорошее литературное произведение. Случалось, что просила поправившееся ей произведение дать внимательному, доброжелательному человеку. Проникая в тайное тайных, Наталья как бы раскрывала для себя душу писателя.

«Сколько судеб, столкновений, чувств! Как удастся писателю жить, неся такой гигантский груз трагедий, радостей, забот? Входит ко мне подчас неприметный, хилый старик и говорит вяло, настороженно, а в написанной им книге бушуют страсти».

Люди, рожденные мечтой, наблюдениями, жизненным опытом писателей, открывали Наталье мир, учили труднейшему искусству — самостоятельному мышлению.

В пору ее медленного духовного становления в издательстве случилось всех всполошившее событие. Жена



директора, Елизавета Марковна Томина, потребовала, чтобы общественность учреждения обратила внимание на поведение ее мужа, будто бы осмелившегося, используя служебное положение, сблизиться со своей секретаршей Нонночкой, девушкой двадцати пяти лет, предприимчивой и настойчивой.

Виталий Михайлович неизменно придерживался правила не сближаться с женщинами, работавшими в издательстве. К Нонне, которая в течение нескольких месяцев старалась как можно чаще быть ему нужной, с рвением исполняла свои обязанности, договорилась в буфете о диетических блюдах на завтрак, он начал относиться внимательнее и даже выслушивал ее сетования на свое одиночество и чрезмерную разборчивость в выборе женихов. Зная страсть начальника ко всякого рода информации, Нонна с пчелиной неутомимостью собирала все сплетни в издательстве, среди авторов и сотрудников. Томин, покровительственно улыбаясь, подолгу выслушивал ее сообщения. Именно эти длительные и таинственные аудиенции и породили досужие разговоры о том, что Нонна скоро окажется супругой директора. Елизавете Марковне не преминули сообщить о грозившем бедствии.

Томин был из тех неистовых муравьев, которые идут к цели, магнетически их влекущей. По его мнению, ни одна женщина, вино, нажива не могли сравниться с азартом работы. Делец, он получал все те радости, которые другим дает любовь, дружба, только в кабинете над бумагами и — ради бумаг. Он хотел бы издавать все книги Советского Союза в еще более неисчислимых тиражах, соблазнив всех покупателей и дав им действительно самую новую по оформлению продукцию, втягивая их от мала до велика в круговорот книжной торговли. Это рвение открывало ему дорогу к служебным удачам. Издательство процветало. То, что называется карьеризмом, иногда только неистовство предприимчивости. Чем бы ни занимался Томин, он терял покой, не хотел отдыха, лишь бы добиться успеха для своего дела. Это было его страстью, сутью бытия.

Узнав о письме Елизаветы Марковны, Томин всплеснул руками и сказал, что супруга его вступила в тот возраст, когда ее можно только пожалеть. Он никак перед ней не провинился.

— Я читал о тяжких расстройствах психики, склонности к галлюцинациям у женщин определенных лет, — озабоченно сказал он и, вытащив носовой платок, встал от стола и подошел к окну.

— Неужели прослезился? — шепнул секретарь партийной организации председателю профкома и принялся успокаивать опечаленного Томина.

— Елизавета Марковна — лучшая из жен. Она ведь архитектор, но с тех пор, как я болею и перегружен работой, посвятила себя мне. И вдруг — бред!.. Лишь бы это не была шизофрения. Мы ведь живем вместе уже четверть века. Я даже примирился с ее бездетностью. Но в последние годы она непереносима. Ревность, мании, подозрения... Говорят, это пройдет со временем. Вот и жду. Мучаюсь. Такой друг, такая женщина!

Слова Виталия Михайловича мгновенно облетели все издательство и вызвали к нему сочувствие.

В этот же день случайно Наталья и Томин оказались вместе в клетке лифта. Узнав жену племянника, Виталий Михайлович поспешно принялся вытирать очки. Наталья поздоровалась первая.

— А! Приветствую вас. Совсем было ослеп, — нашелся Томин и в подтверждение уловки, нацепив на бесформенный жирный нос очки, нагнулся, разглядывая, какую именно нажать кнопку, чтобы подняться на седьмой этаж. Выходя из лифта, он многозначительно добавил: — Вот как можно быть оговоренным, оставаясь совершенно невиновным. Учитесь и остерегайтесь.

Дома у Томина долго не устанавливалось спокойствие. Чем больше он отнекивался, тем меньше верила ему Елизавета Марковна. Виталий Михайлович вызвал Нонну и в присутствии секретаря парткома вежливо предложил ей перевестись на работу в редакцию одной из газет.

Наконец вихрь утих. Елизавета Марковна попросила у мужа прощения. Виталий Михайлович смиренно выслушивал сочувствия сотрудников и друзей.

По-особому притягательны редакции газет, журналов и подлинные фабрики книг — издательства. Нет там суеты. Присуща им торжественная тишина, негромкие слова, шуршание печатных оттисков, гранок, рукописных листов. Но Томин не был по натуре чувствительным. Он не замечал поэтичности своего ни с чем не сравнимого предприятия. Наоборот, считал, что и сотрудникам его

изрядно приелись сотни русских и переводных книг, тем более что за каждый недосмотр, опечатку они строго отвечали. Книги были опасным, взрывчатым «товаром», как про себя называл их директор издательства. Недоглядишь, не уловишь ветра времени, и проскочит нечто вроде напалма и снесет вмиг благополучие и покой... А мысли, откровения, тончайшая пряжа мозга — творения различных писателей — непрерывно выкристаллизовывались и обретали жизнь в этом неприметном обыкновенном здании. Там подготавливались и выходили в свет произведения на различных языках, родившиеся под многими широтами, освещенные экваториальным обжигающим либо прохладным приполюсным солнцем. Книги, как невидимые протянутые руки и вновь ожившие голоса, превращали издательство в некий таинственный храм.

Наталья, взрослея душой, внезапно ощутив это, благоговейно листала сокровенные исповеди классиков, дивясь их всезнанию, сарказму, доброй шутке, сердцеведению.

«Они ли были провидцы или мы, так же как они, любим, ненавидим? Неужто чувства в веках однородны?» — терялась она в догадках.

От книги к книге что-то менялось в ней. Пласт за пластом, как большое геологическое наложение, открывала она в своем сознании. Не только люди во плоти, но и люди со страниц произведений наставляли ее, пестовали.

Был у Томина заместитель, Илья Ильич Инов, семидесятилетний низенький, согбенный старик, один из лучших знатоков книги в России. От гида нередко зависит, пройдет ли равнодушно или загорится интересом человек при виде шедевра в картинной галерее или у тяжелого шкафа-хранилища с редкими произведениями. Беседы с Иновым приохотили Наталью к книговедению.

Илья Ильич, сын сапожника, полюбил книгу, едва выучившись читать. Не имея достаточных денег, он мальчишкой рылся на книжном развале Сухаревской башни и в лавчонках, расположенных вокруг нее. Букинисты-самоучки, подчас даже малограмотные, «нюхом» чужавшие книгу, воспитывали его поначалу. Лет в пятнадцать он стал «холодным букинистом», как тогда прозывали людей с полным мешком за спиной, со связкой книг в руке, ходивших по домам собирателей литературы. Это привело его в барские усадьбы прославленных библиофилов и в особняки страстно преданных собиранию старой книги

богатейших московских купцов. Он узнал и многому научился у замечательного коллекционера и образованнейшего театроведа Бахрушина, мецената Морозова, тщеславных и переменчивых во вкусах Рябушинских.

Вечерами в замызганных трактирах, где буянили извозчики, голытьба, пьяный люд, на Трубном рынке собирались также поставщики библиографических сокровищ. Там велись нескончаемо-увлекательные разговоры о книгах самых редких и чудесных. Илья Ильич не только в мешке или коробе разносил, торгуя, свой товар, но и читал проходившее через его руки. Очень редко, но попадались и ему старинные издания в кожаных, золотом тисненых переплетах, посвященные великолепным празднествам, увеселительным прогулкам в княжеских дворцах и парках. До самого конца восемнадцатого столетия описания усадебных пиршеств представляли большую антикварную ценность, исчисляясь единицами изданий: в них были богатейшие иллюстрации.

Инов рассказал жадно слушавшей его повествования Наталье, что в наше время таких книг и вовсе не достать.

— Остались только забавные протоколы о коронациях, например, Елизаветы или Екатерины Второй, и то где-либо в далекой провинции.

Илья Ильич пояснял:

— Один из образованнейших книговедов сообщил мне, а был я тогда еще отроком, что Екатерина Вторая запретила распространять удивительное по роскоши гравюр издание, ибо ей показалось, что обряд ее коронации в нем представлен недостаточно ослепительно...

Наталья узнала многое об истории книгоиздательства прежних веков. Старый русский быт, жизнь разных сословий, иллюстрированные альбомы девятнадцатого века особенно заинтересовали ее. Много уникальных изданий хранил в своей библиотеке сам Илья Ильич. Всю свою жизнь он посвятил книгоиздательству. Книги вытеснили все из его холостяцкой квартирki, и он ютился на узком диване, к которому трудно было пробраться. Полки, столы, этажерки преграждали путь. Книги окружали входящего со всех сторон и высились до самого потолка. Илья Ильич, казалось, высох весь, чтобы легче было двигаться, наклоняться и взбираться по узенькой лесенке у шкафов.

Только материнская ласка могла сравниться с неж-

пым, осторожным прикосновением его подагрических узловатых пальцев к переплету. Закрыв глаза, он находил любую книгу среди нескольких тысяч других. Его рассказы о судьбах произведений звучали увлекательной поэмой.

У книг часто были трудные судьбы, их преследовал рок, коварство, месть, зависть. Они становились жертвами катастроф. Это прибавляло им цены во мнении книголюбов, но лишало читателей. Не только пожар 1812 года уничтожил богатства запечатленных дум и повествований. Они сгорали часто вместе с домами и дворцами, тонули, когда их, изданных за границей, везли на родину. Иных преследовали за вольнодумство и отвагу мысли, арестовывали и губили. Случалось, как с «Доном Педро Прокудеранте» Чаадаева, обличительным, убийственно-ироническим произведением против спесивого, бесчестного администратора, что все издание скупал сам мракобес, прототип главного персонажа, и помпезно сжигал на костре во дворе своего дома.

Илья Ильич обладал большой коллекцией театральных альманахов. В них нетленными остались радости ушедших поколений, их восхищение удивительными актерами, которыми издавна славилась Россия.

О каком бы произведении Наталья ни спрашивала, Инов давал исчерпывающий ответ. Он сам был как бы каталогом всех русских книг за несколько веков. Издавая переводы иноземцев, он познакомился с ними и многих полюбил. Его привлекал к себе эпос Древнего Востока, скандинавские саги, «Калевала». Старик жил в своем особом мире, где сияла отточенная мысль, философская, поэтическая, воскресающая и движущаяся в новых поколениях.

О поэтах древности Илья Ильич говорил как о современниках, повторяя:

— Жизнь писателя — это жизнь его книг. Раз их читают, они с нами. Их возвращают к жизни глаз читателя, его слеза, его благодарность, его память. Настоящий писатель не стареет. Время кует булат. Время испытывает своими хищными зубами прочность писателя и говорит ему — живи или умри. Единственное, что бессмертно, это — слово.

И Инов, у которого все было старым, кроме мысли, принимался читать стихи. Он знал их множество, и На-

талья, запоминавшая то, что ей нравилось, легко усваивала, слушая его.

Всех, кто стар и кто молод, что ныне живут,  
Всех во тьму одного за другим уведут.  
Жизнь дана не навеки: до нас уходили,  
Мы уйдем, и за нами — придут и уйдут.

— Хайям — великий мудрец, — продолжал Илья Ильич. — И главное, он победил смерть. Ушли миллиарды, но бессмертен вот уже восемнадцать веков старый Омар. Он и сегодня предостерегает нас:

Жаль, что впустую жизнь мы провели,  
Что в ступе суеты нас истолкли.  
О, жизнь! Моргнуть мы не успели глазом  
И, не достигнув ничего, ушли.

Благодаря Илье Ильичу Наталье постепенно полюбилась новая профессия, и она перестала, как говорила сама, «отсиживать часы». Каждый день нес ей новое и оставался в памяти откровением. А человек страдает и не прощает себе и другим никаких утрат и особенно потерянного времени. Неудачно выбранная профессия, не любимая и гнетущая, как постылый спутник, это постоянное осознание обобранности, невозвратно уроненных дней.

Не менее, чем работа над книгой, обогащали впечатлениями и размышлениями молодую женщину знакомства с людьми хорошими и отталкивающими. Приходили в издательство писатели, художники, переводчики, редакторы и ученые.

На первых порах Наталья стеснялась, робела. Ей казалось, что одаренность — привилегия, требующая от простых смертных почтения и дистанции. Но в действительности было не всегда так; иные писатели или поэты удивляли ее упрощенностью, недалекостью или непомерным чванством. Она искала в них простоты, ума, доброжелательства, а вместо этого находила подчас позерство, откровенную алчность, мелочность и пренебрежительность к окружающим. Один из писателей, чьи книги ей нравились, оказался комически напыщенным. Его высоко задранный длинный нос, в профиль имевший три уступа и как бы составленный из трех неровных валунов, и неумные глаза отражали упорное желание обратить на себя внимание. Наталье стало его жалко. «Удовлетворенный человек не пыжится, — думалось ей. — И когда же он подлинный: в своих книгах или паясничаящий на людях?»

Приходили ничем особым не выделявшиеся литераторы, очень скромные, отзывчивые и неуверенные в себе, а то настойчивые, какие-то даже грубоватые и предприимчивые. Рассеянные, отрешенные и, по-видимому, весьма ранимые и нервно оголенные чаще всего оказывались поэтами. Они охотно читали свои стихи в комнатах, коридорах, беспокойно ворочая головами, ловя впечатление слушателей, переминаясь с ноги на ногу, как дятлы, спустившиеся с дерева на землю.

Профессия писателя открылась Наталье в виде тяжелого труда. Илья Ильич из бездонной памяти своей извлек и прочел ей критический наскок Скабичевского на «Анну Каренину»... Ничем не защищенный писатель иногда становился мишенью честолюбивых невежд. Не признанный при жизни Стендаль и немало иных талантов, умерших в отчаянии от невыполненной миссии, прошли перед Натальей. Мир, верно, казался этим несчастным населенным глухонемыми, ведь никто не внял их зову и не принял душевных щедрот.

Инов не раз говорил Наталье об особенностях профессии писателя:

— Писатель, если он пишет по призванию и рожден для такого служения людям, отдает всего себя им без остатка. Работа его затворническая. В суеде и толпе не родятся большая проза и поэзия. Когда и как он творит? За письменным столом лишь подытоживаются мысли, проверяется ткань произведения. Пробуждение среди ночи, неожиданная находка слова, ситуации. Работа идет и в подсознании. Первоначальный хаос. Так колос зачинается, пробивая с трудом толщу земли. Из мыслей, слов, наблюдений и опыта всей прожитой жизни не одного, а многих поколений вырастает Книга — вольное детище человеческого духа.

Наталья отныне трепетно прикасалась к вечным шедеврам, переиздаваемым сотни раз. Пусть остаются всего единицы из тысяч написанных книг. Так и должно быть! Ведь и людей, оставивших о себе память в веках, не больше. Жизнь — требовательный селекционер. Она высевает миллионы злаков и растений, одно и то же солнце и добрая влага возвращают их, однако достигают зрелости не все. Этим и оправдывается расточительность творчества на земле.

Все чаще Наташа думала о себе. Может быть, не най-

дя счастья в медицине, она найдет удовлетворение в создании книги, в творческой помощи писателям.

Как-то Илья Ильич, выслушав сбивчивую, но из сердца вырвавшуюся исповедь молодого редактора, сказал:

— Наталья Леонидовна, вы пока еще мало знаете и людей, и жизнь, и свои желания. Кидайтесь из стороны в сторону, суматошнитесь, хандрите. Учитесь серьезно работать. Редакторская работа требует самоотверженности, большой культуры. В двадцатом веке каждый грамотный человек способен написать сносную и даже интересную книгу. Одну! О себе! А дальше что? Обмелевшее русло, исчерпанная шахта, опустошенный мозг. Нынче много фотографов, да мало художников: трагедия творческого обмеления. Писателем не может быть тот, кто пишет только грамотно. Главное — он мыслитель. Писатель — гигантский нефтяной пласт, алмазные копи, могучая золотоносная река! Он неиссякаемо богат и до последнего вздоха обогащает мыслью и словом человечество. Надо бы воскресить для писателя почетное звание: властитель дум, учитель, совесть народная... Каким же должен быть редактор?!

Наталья слушала старика, и ей казалось, что для нее наконец становится ясным ее будущее.

С годами, и особенно после замужества, Наталья отдалась от матери. Почему пролегла между ними межа — обе не понимали. Тереза Павловна легко обижалась, а дочь называла это причудами. Чем старше человек, тем нужнее ему забота и ласка — этого молодежь не сознает. Пожилой человек уходит вглубь, как зубр в дебри леса. Инстинкт самосохранения, ощущение нарастающей слабости, смущение от потерянной внешней привлекательности — сложный узел, перехватывающий сердце. Как ни боролась Тереза Павловна с опутывающей ее, мешающей старостью, как ни сохраняла молоджавость и свежесть мозга, само сознание лет, их гипнотическая сила меняли ее. К тому же дочь нежностью и вниманием ее не баловала.

«Поймет все, — думала Балакова, — да поздно, меня уже не будет».

Заметно охладев к матери, Наталья в то же время потянулась к Олимпиаде Петровне Голубочкиной. Старушка, скрывавшая обиды от родных детей, обрадовалась



возникшей приязни, и женщины проводили время в долгих и доверительных беседах.

— Экой черт вас попутал, меняете профессии, как стрижку. Была врачом, уж что лучше: везде и всем нужна. Так нет же, понадобилось вычеркнуть из жизни столько лет учебы, беспокойства и заняться вычитыванием всякой писанины, хорошо еще не графоманской. Нынче быть писателем каждому охота: слава, денежки, квартирка, почет — легко добытый хлеб.

— Все-то наоборот,— перебила Наталья. — Быть писателем очень нелегко. На одного даровитого десятки пописывающих так себе. Разок удастся — и похвалят, а потом напишет нечто неудобоваримое — откажут, и готова трагедия. Непонятый гений. Неприязнь к товарищам по цеху, обиженное самолюбие, зависть даже к тому, что, дескать, «такой-то всю бумагу съел».

— То есть как съел? — не поняла Лампочка.

— Переиздали, значит, снова, читатель требует. Книга хороша. А коллеги не все довольны...

— Понятно. Конкуренция. Они ж кустари-одиночки. Мы это изучали еще в двадцатом году в кружках. А ведь избранные натуры.

— К счастью, большинство не такие: чем явственнее талант, тем чище душа, глубже щедрость и самосознание. Писатель рожден для творчества, как птица для полета, — перефразировала известный афоризм Наталья. — А летать-то не все умеют. Среди них есть и случайные писатели, так же, как я, например, была случайным врачом. И у них, наверно, тот же конфликт — душевный и нравственный, — призналась Наталья.

— Да чтобы я на твоём месте, имея диплом, ушла прочь от медицины. Никогда! Переборола бы себя. Стерпится — слюбится. По недомыслию это. Не одна ты, не первая. А впрочем, тебе, поди, понадобилась отвага немалая. Свет ты мой, Наташенька! Я зря обрушилась на тебя. Иные отворачиваются побороть никак не могут и злеют год от года... Любить надо труд свой. Видно, талант твой в чем-то другом зарыт.

Наталья призналась Голубочкиной в своем недовольстве Геной.

— Сухарь он у меня. Скучно с ним... Никаких знаков внимания, любви. Жалованье, правда, он мне все отдает. А вот подарков никогда не покупает. Как-то я ему об

этом сказала, а он, чудак, удивился: «Да ты сама себе выбери что хочешь, я ведь твои вкусы не знаю. Вот кончу статью и весь гонорар, как обычно, тебе — ты и купи что хочешь». А в ваши молодые годы неужели так же было?

Олимпиада Петровна задумалась: «Любовь не измеряется внешним обрамлением, но есть естественная потребность радовать и баловать того, кто дорог. Сильный видит в женщине более слабую часть своего «я». Во всяком чувстве прячется желание восполнить недостающее. Любовь отличается щедростью, даже скупец освобождается от своего порока и готов пожертвовать самым ценным из душевной мошны».

Голубочкина вспомнила двадцатые годы и свою первую любовь. Ее подвижное лицо то становилось совсем молодым, то грустным и скорбным и, наконец, сморщивалось и старело. Наталья знала редкую способность клоунов распрямлять складки кожи на лице и снова собирать ее складочками. Превосходно вытренированная мускулатура подчинялась их воле, но то была только техника. Олимпиада Петровна как бы зажигалась либо гасла изнутри.

— Что тебе сказать, Таталя. В мои-то молодые годы романтика окутывала нас на полях гражданской войны, на стройках, рабфаках, собраниях. Мы любили отважных на любом поприще, сильных духом людей. Мы не теряли женскую стать в кожанках, сапогах, красных косынках: порой нескладные, а все же притягательные. Как в сказках, мы требовали подвигов от своих избранников. Мужчины моей юности, это я позднее поняла, были в большинстве героичны, душевно приподняты и жили во имя самых удивительных идеалов. Другим нельзя было быть в ту эпоху. То был отбор, сделанный самим временем, борьбой, историей. Если ты не такой — уходи загодя, все равно раскусим тебя, изгоним. Валяй, братец, в подворотню, в неповский притон, в обывательщину. Никто ничего и никого не боялся и не обременял себя корзиной с тряпьем, то бишь собственностью. Мы, как бы тебе сказать, были детьми бури и любили грозы. Какие годы! За них и умереть стоит. Рождение идеи, победа нови и столько надежд, сколько метеоритов во вселенной. Уф, старость склеротическая, сбилась с пути. Аи куда занеслась. Так вот, что тебе сказать... — Лампочка механически принялась вязать, собираясь с мыслями. — Слюнтяев,

приспособленцев, молчаливых мы попросту не замечали, — снова начала она. — Может, и наверно, были этакie, но они ловко прятали свои сусличьи мордочки. Время всех освещало таким ярким светом, только что не ослепни... А полюбила впервой я, еще в армии, парня постарше себя. Ничем внешне не выделялся. Совсем ничем. Этакий невысокий, широкоплечий, коротконогий, кузнецом когда-то был — они часто укороченные. Потом лекальщиком работал на заводе. Тонкая работа, красивая. Не всякому дается. Лицо у него было такое добродушное, веселое. Рабфак кончал после гражданки в один год, способный был на зависть, а там ушел в военную школу, но скоро вернулся на партийную работу. И в учебе и с товарищами самый оказался пужный человек. Есть же такие. Вот тут-то мы, в году тысяча девятьсот двадцать третьем, в райкоме встретились опять. Во всем был он отчаянной храбрости, а вот со мной струхнул. Сперва, помню, пригласил на лодке покататься. Песни пел. «Анти-Дюринга» изложил, чтобы мне понятнее было, международное положение обсудил, а потом и приумолк. А я ждала, сама не своя. Странная штука эта самая любовь, чем сильнее вонзится в тебя, тем глубже уходит внутрь. Пуля! Сушная пуля! Я ее сама извлекла из него, первая призналась. Тут-то и закружило нас. Не наглядимся, не нассоримся, не намиримся... Не удивляйся. У всех так. Со скрипом притираются друг к другу люди. Только те ссоры клейкие — не рушат, а сбивают покрепче. Их бы иначе называть надо. Срачивание тоже ведь болезненное... Все было хорошо, но внезапно вызвали моего ненаглядного в политотдел, а был он уже по тогдашним понятиям батальонным комиссаром, и предложили ему ехать далеко на восток. Любила я в ту пору, да и сейчас тоже, сирень. И что же ты думаешь? На все свои деньги скупил он звездные, ирландские эти цветы, так что на Арбате в тот день не осталось в киосках ни одной веточки, а у него — ни гроша. Всю-то комнату в общежитии моего рабфака забросал, утопил в сирени. Чего только не говорил на прощание, а какие письма писал издалека... Каждый месяц, седьмого, в это число меня впервые поцеловал, из Елисеевского цветочного магазина приносили букет цветов. Суженый мой вперед за год уплатил за них.

— И потом вы поженились? — не терпелось Наталие.

— Нет, не пришлось. Три года не возвращался он назад, не мог. — Олимпиада Петровна тихо и горестно улыбнулась. — «Ах! тот скажи любви конец, кто на три года вдаль уедет» — так, кажется, у Грибоедова... За несколько недель до его возвращения я, грешница, расписалась в загсе с другим. Дура была, осерчала, что так долго не едет. С тем, другим, жила, детей вырастила и осталась вдовой. То, что я тебе разболтала, мохом поросло. Главное, что хотела сказать: любовь — учительница, сама подскажет, все бутончики в сердце человеческом заставит цвести. А потом начнется борьба в жизни двух людей, как у тебя с Геннадием: противоречий столько же, что и в большом обществе, только масштаб иной. Люди-то ведь все разные, не на один покрой сшиты. В семье живешь, ко всем подход нужен, тактика, стратегия. Рот не разевай, но себя и другого не мучь. Порой будут и споры, они в супружестве что соляная кислота. Только чистое золото выдержит ее так, ведь оно, золото, редко. Хорошо, если на серебре с мужем проживешь или на бронзе, лихо, коли другой металл окажется, он пачкает и ржавеет.

— Вы все знаете, все пережили, Лампочка. Только сейчас-то ведь по-другому. Красота и та не прежняя, не в чести.

— Любовь всегда, ежели она настоящая, та же, а понятие прекрасного вверх дном опрокинулось; это верно. Посмотришь, обезьяница, а числится в современных Венерах Милосских. Может, где-то и получила первый приз, а на мой взгляд — одна срамота. В мою-то молодость такую кикимору жалели — экий, мол, родился урод. А теперь она и есть красавица. Помню, был у меня, да и остался, рот непомерно большой, так я его то и дело рукой прикрывала, либо соберу такой гармошечкой, чтобы казался поменьше, попримичнее. А стареть стала; мне внучка и говорит: «Бабушка, какой у тебя модный рот, большущий...» Это временная дурь. Разберутся. Красота неизменна. Зарыли античные статуи фанатики-изуверы, а пришел час — и Юлиан-отступник отрыл их. Не раз на земле подменяли уродством красоту, да надолго не удавалось. Со дна морского поднимали ее, из земли добывали.

Олимпиада Петровна как-то сурово допросила Наталью о ней самой, ее характере. Прожив долгую, умную

жизнь, она сделала немало важных жизненных выводов, которыми поделилась с Наташей.

Аттестат зрелости, выданный школой в юности, не более как скромный аванс доверия. По своему опыту старушка знала, что завершение формирования личности иногда не кончается до последнего дня жизни человека.

— Умеешь ли ты в споре не наносить другому оскорбления? — спросила Голубочкина Наталью. — И где, скажи честно, граница твоего собственного эгоизма? Требуя от Геннадия весьма много, что ты сама способна сделать для него?

Наталья молчала, вспомнив, сколь часто унижала Геннадия, старалась грубо принудить его уступить ее капризу, вытаптывала с корнем его любовь, обезличивая, не желая понять.

— Оставим этот разговор, — попросила она Лампочку, как бы признавшись в своем поражении.

— Что же, изволь, только запомни мой завет, что наиболее счастливы те семьи, где оба супруга соревнуются в щедротах душ своих и соответственно этому поступают. А диктаторы и грубияны остаются у разбитого корыта. Культура любви и культура брака — вот без чего нет счастья.

Однажды придя к Наталье, Голубочкина застыла на пороге ее комнаты, развела негодуяще руками, воскликнув свое любимое «черт-те что!».

Вся прежняя мебель, кроме низкого дивана, исчезла, а взамен прямо на полу громоздились одноярусные книжные полки, стояли страшные вазы с голыми ветками, детские столы и стульчики. Особо лежали две подушки. Со стен были сорваны картины, но зато приколоты кнопками карта Европы и Азии, а также кованое изображение какого-то готического здания.

— Вот это так ярмарка, представление. Мне с моей солидной комплекцией на этот стульчик не уместиться. Я и не турчанка, чтобы устроиться на пуфе, то бишь подушке, да и наклоняться боязно. В моем возрасте — сосуды, динамическое нарушение кровообращения или еще что-то в этом роде! — выпаливала она сердито. — Когда ни придешь — новое чудачество, то захлмила всю жилплощадь коврами, старой рухлядью, кактусами величиной с иголочные подушечки, вылинявшими салфеточками,

плохой мазней в бархатных рамах, а пыли-то, пыли. Потом все сменилось липолеумом, шкафами из прес-сованной стружки, плексигласа и еще какого-то сверх-модернового материала, ящиками из-под болгарских пер-сиков, а на стену водрузила грифельную доску и мелом чего-то начертила, а теперь извольте видеть: не то дет-ские ясли, не то палата номер шесть. А ведь все от же-лания исключительности, от претензий. Прямо-таки ма-дам Курдюкова из старой книжки Мятлева. У деда моего такая книжица была, преумная.

Наталья смутилась. Мнением Олимпиады Петровны она дорожила и вдруг, критически оглядев окружающее, поняла, что все тут напоказ и, главное, глупо.

— Черт-те что, как вы говорите. Завтра все пере-фасоню,— сказала она, краснея.

— То-то, чучело гороховое. А ведь это худший вид мещанства, подражательство. Бедняга Геня, наверное, вынужден был хвалить тебя.

— Да, ему понравилось.

— А говоришь — он тебя мало любит. Да он ангел во плоти. Терпеть такое и не разнести в щепы! Истинно мы идем к матриархату.

Круг интересов Олимпиады Петровны не только не суживался с возрастом, а расширялся. Она упрямо отка-зывалась от курортов и, скопив денег, отправлялась по местам, ее издавна прельщавшим. Кижи, Суздаль, Кост-рому, Новгород, Свердловск она смотрела, пренебрегая перебоями сердца и отеками ног.

— Только в старости ощутила я волюшку, дети ныне устроены, дом — на замке, а я куда хочу, туда и лечу, весь мой багаж при мне,— подшучивала она над собой.

— Боюсь тебя расхолаживать, Терезонька,— сказала она как-то Балаковой,— но кажется мне, что не только счастье, но и молодость внутри нас. Твое дело разгре-бать сор годочков и добираться до этой самой вечной молодости. Попробуй лечить твоих стариканов, исходя из этой истины.

С Геннадием у Лампочки давно установилась дружба, как будто между ними не высилась гора высотой почти что в сорок лет.

Приходу Голубочкиной радовались все. Юра любил ее не меньше, чем бабу Гашу. Наталья спрашивала со-ветов, Геня откладывал свои проекты и рад был беседе

с нею. Обычно они, поговорив о том о сем, увлеченно обсуждали технические достижения века. Олимпиада Петровна умела непритворно-глубоко интересоваться, жить пуждами, тревогами другого человека. Редкое это искусство, открытое только большим сердцам.

— Будь кем хочешь, только не технократом, иначе тебе каюк,— сказала ему Олимпиада Петровна за чаепитием. — Машина, милейший мой, машиной и останется и одна быстро сменит другую, за ней не поспеешь. А мозги и душа от нее оскудевают. Любое божество люди всегда очеловечивали, но рычаг или гайка для этого не годятся, даже сверхскоростной самолет тоже. Так что не кичись, не зазнавайся, не превращайся в механизм и береги в себе человеческое. Ты, Гена, душевный, теплый, не будь техроботом.

— Не страшитесь. Наука — ведь бесконечное движение, а тот, кто останавливается, будет сбит шагающим позади. Сейчас я в непрерывном полете, и в прямом и в косвенном. А тут еще постоянный обстрел информацией. Завидую я, право, Альфину. Теоретический физик, а упрямо вгрызается в технику. Без нее нет отныне развития и становления многих отраслей науки. Что там ни говори, великая наука века. Лет сто назад привилегии были на стороне инженеров-железнодорожников. А теперь головной отряд — физики, потомки Резерфорда и Курчатова, и влияние их на технический прогресс неоспоримо. Впору переучиваться. В технике будущее первенство за ними. Энергетика, создание новых материалов, сверхскоростные методы переработки, передача информации, да всего не перечесть, где без них невозможно ни одно большое открытие.

— Не трать слов, сынок, я ведь все равно не пойму премудрости этой. Не люблю слушать, разинув рот, как вот сейчас.

— Простите, для меня это сейчас самое главное.

Стремительность развития технических знаний — отличительная черта века — открывала перед Геннадием, как и перед другими учеными, большие возможности. То, что предшественникам их давалось крупицами, теперь лежало огромными пластами. Одна за другой падают завесы. Геннадию хотелось глубже, без остатка, погрузиться в эту пучину новых понятий и сведений. Он добивался возможности пользоваться наиболее современ-

ной техникой и технологией для своих работ. Конструктор и начинатель, он не считал для себя унизительным учиться всюду, где мог, посещая смежные институты, опытные производства. В противовес жене, он шел к цели, зная, в чем она заключается, и помня, что дорога без поворотов наиболее длинная. Трудности, возникавшие в пути, лишь убеждали его и воодушевляли, а не расхолаживали. Ученый стремится к препятствиям, чтобы в преодолении их найти еще одно звено истины.

Виталий Михайлович пригласил родственников на дачу в Журавли на свою серебряную свадьбу. После стычки с женой ему особенно хотелось еще раз прослыть хорошим, понапрасну оклеветанным семьянином и своим человеком. Наталья вначале наотрез отказалась от такого посещения, но Гена уговорил ее, и они отправились на электричке за город. Стояла отвратительная декабрьская оттепель. На крышах с сосулек капало, как из опрокинутых пробирок. Пахло перегнившим сеном. Деревья казались жалкими и больными.

— Чего можно ожидать от свидания с твоим дядюшкой, кроме головной боли и гриппа, — пыла Наталья.

— А ты ищи противоядия в иронии. Он будет изрекать истины, вроде того что Ока впадает в Волгу, а ты ешь теткинны пироги и посмеивайся.

Навстречу гостям вышла Елизавета Марковна. Она похудела и потеряла лучшее — уверенность в себе и довольство жизнью. Недоверчиво и суетливо обняла она молодых людей, а глаза спрашивали: «Вы меня презираете?»

Совсем некстати она сказала Наталье:

— Когда проживешь с мужчиной двадцать пять лет, ты связана прожитым временем, и деваться некуда.

— Но Виталий Михайлович был и остается хорошим другом вашим, — убеждала ее Наталья. — Поверьте мне, я знаю...

Елизавета Марковна резко побледнела под слоем румян и, схватив молодую женщину за руку, сказала:

— Ничего не говорите на эту тему. То, чего мы не знаем, не существует. А я ведь ничего не знаю. И так — все двадцать пять лет.

Раздался звонок у калитки, и хозяйка дома поспешила навстречу новым гостям. Наталья со старинным



серебряным подсвечником, привезенным в подарок, все еще стояла в прихожей, насупив брови и раздумывая над тем, что клевета может избородить жизнь и навсегда вселить недоверие.

За столом с яствами, готовить которые жена Томина была великой мастерицей, долго господствовали смущение, скука. Тосты, один банальнее другого, неизменно кончались пожеланием супругам отпраздновать и золотую свадьбу. Ели и пили много, тяжелея телом и умом. Томин не по-обычному был спокоен и не бросался неврастенически от гостя к гостю с неизменной улыбочкой в уголках жирного рта и цепким вопросом: «Ну, что нового?»

— Друзья мои,— сказал он, подняв серебряный бокал,— я желаю вам такой семейной жизни, как моя, и такой жены из чистого серебра, я сказал бы из золота, но сегодня иной металл скрепляет мое супружество. Мы поженились во время войны. Встретились в полевом госпитале. Я был ранен под Вязьмой, Лиза выходила меня. Оба мы пошли на фронт со студенческой скамьи. Такое начало не забывается. Нашу жизнь вы наблюдали годами. Брак — это страховая контора. Сколько внес — столько и получишь. Мой пай велик, и я не жалею, а считаю себя пожизненно застрахованным. Когда из соображений интриганских, подлых хотели вбить клин между мной и женой, то я впервые понял, как...

— ...опасны женщины,— прервал брата шуткой Михаил Михайлович.

— Нет, Мишутка, я учел на будущее, что человек на виду, на вышке должен быть стократ осторожен и строг в своем поведении. Когда у нас чиста совесть, мы доверчивы.

— Хорошую лошадь бьют,— опять не удержался старший Томин.

— Куда вас занесло,— зыгнул Виталий Михайлович,— просто держи секретаршу не моложе шестидесяти лет, а лучше огради себя и посади в приемной мужчину.

Мрачность застолья постепенно рассеялась, и начались шутки. В сумерки пили чай из большого бабушкиного самовара. Пожилые вспоминали детство и, умиленно причмокивая, доливали из пестрого чайника крепкую заварку в чашки. На утепленной террасе, где весь год

зеленели колючие алоэ и цвели герани, разговоры постепенно приобрели серьезность, и завязались споры. Особенно словоохотлив после рюмки коньяку стал Виктор.

Елизавета Марковна сидела в соломенном кресле, погруженная в унылое подведение итогов. С ненавистью оглядывала она свое завидное хозяйство, дачу. Зачем ей все это? Сколько времени, сил растрачено впустую. Почему вместо увлечения страшной, чтением кулинарных книг, неумных хлопот по приобретению занавесок, чехлов на мебель не занялась она более плодотворным делом, чтобы не остаться опустошенной, как проигравшийся игрок.

И вдруг она поняла, что все в жизни делала ради Виталия, пытаюсь удержать и привязать его. Но пужен ли он ей такой? Самым страшным открытием для Елизаветы Марковны была нелюбовь к мужу. «Связаны мы разве что одной бечевой. Обоим податься некуда, — чуть не сказала она вслух. — Для него главное — карьера, ничего больше, вечная погоня за успехом».

Вспомнила, как однажды сказала ему:

— А на фронте, когда жизнью рисковал, ты иным был! Такого, как ты теперь, любить нельзя. Противно смотреть! Тебе лишь бы красоваться, в начальниках ходить. Лестью подхалимов упиваться.

— Я работаю, пользу приношу, не то что ты. Миллионы книг мы издали, доход государству огромный... а ты чушь несешь, завидуешь мне, — резко ответил он.

— Тебе что книги, что колбасу или галантерею производить — безразлично. Прибыль от тебя государству есть. Да не только уметь, но любить работу надо. А ты все из расчета...

— Легче, что ли, тебе, если затрут меня? Краснобайствуешь. Пойми наконец, теперь не сороковые военные, а шестидесятые годы: страна наша — великая сверхдержава. Масштабы иные. А ты как была санструктором, так им и осталась. Моллюск.

— Спасибо на добром слове. Кроме грубости, чего еще ждать от тебя. А на людях такой сахарный, и все думают о нас: счастливая пара.

Такие перепалки, сменявшиеся долгим злым молчанием, нередко повторялись. Навест об измене Виталия Михайловича упал сичкой в ворох бумаги. Теперь

Елизавета Марковна в тайнах души жалела, что все оказалось сплетней.

— Хай гирише, та иише,— говорила она.

Голос Виктора вывел Томину из замкнутого круга ее больных неотвязных дум.

— Дядя Виль, каковы ударные вопросы литературы, как говорится в прессе?

Книгоиздатель, легко ступая толстыми ногами, прошелся по террасе и, осторожно стирая пальцем пыль с листа алоэ, ответил:

— Хотелось бы острых конфликтов, но, конечно, в пределах полезного.

— Не понимаю,— отозвался Виктор.

— Лучшее, как известно, враг хорошего. Лучшему нет предела. Об этом надо писать,— многозначительно изрек Виталий Михайлович.

— По-моему, худшее — это самодовольство, карьеризм.

— Не надо уточнять. Главное, следует помнить о нашей молодежи,— поучающе сказал книгоиздатель. — Мы о душах человеческих печемся. Дело наше такое.

В затухшую было беседу вмешался Михаил Михайлович Томин:

— Почему в полиграфии не используются для переплетов такие материалы, как береста, пластик, синтетические ткани, мягкие сплавы? Недавно я построил презабавные домики для книжек.

— Интересно. Пришлю к тебе своего заведующего художественным отделом. Мне самому выбраться сейчас некогда. Сам понимаешь — планы следующего года, бумага, полиграфические базы. Кстати, древесина нам нужна для другого.

Повернувшись к Геннадию, Виталий Михайлович спросил его с заметным любопытством:

— Что нового в авиастроительстве, конструктор?

— Не перечить. Многое быстро меняется. Подлинная революция в науке, в механической и химической технологии, биохимии...

— Ой, дядя Виль, мы пропали. Гена нас уморит. Вы нажали самую важную в его мозгу кнопку, и теперь нам не миновать лекции о том, что задел превосходит все, что внедрено уже в производство, и прочее и тому подобное. Лучше споем хором,— взмолилась Наталья.

Но Виталий Михайлович заметно оживился:

— Не мешай нам, егоза. У Гены истинно передовое мышление.

— Монополисты духовной гастрономии в лице Томина заговорили, отбросив боязнь и сомнения. Внимание, внимание! — объявил Виктор.

Геннадий, которого окрестили певцом технического прогресса и научно-технической революции, оказался красноречивейшим проповедником нови и смелых опытов. Его слушали внимательно, и даже Виктор не прерывал скептическими репликами.

Наталья боролась с пробудившейся гордостью за мужа. Напрасно она боялась, что он станет мыслящим автоматом.

Завязалась живая, острая беседа. Говорили о естественном общем настойчивом желании добиться удач в народном хозяйстве, чтобы люди скорее получили ощутимую пользу от своего труда. Соглашались, что наука не только источник технических идей, но и постоянный потребитель самой техники, нетерпеливый и придиричивый, а обогащенная техника благотворно влияет и на науку. Новые приборы помогают ученым в поиске и открытиях. Науки как бы раздробляются, многие отпочковывают более узкие специальности. И при этом ширится взаимопроникновение, отдельные звенья становятся единой цепью. Даже в школах обучение будет строиться по-новому. Самостоятельное мышление вместо механического накопления знаний.

— Научная мысль творит чудеса, — говорил Михаил Михайлович. — Одна завеса тайны падает за другой. Высокообразованные, страстно увлеченные люди пужны для великих задач познания, будь то физики, технологи, строители, механики. Творчество, а не ремесленничество равно необходимо везде и во всех областях созидательного труда.

— Верно, именно так, — оживился Виктор. — Горение нужно и нам, историкам, чтобы проявить без остатка свои способности. Мы — только одно из звеньев науки. Экономiku, философию, технику все мы должны знать — без этого нет глубокого анализа времени на этом общем пути...

— Мы часто даже не ведаем своих сокровищ — самоотверженные люди, таланты, — думая о своем, твердил Михаил Михайлович.

Постепенно разговор затихал. Виктор подсел к Наталье и спросил ее о Любаше.

— Сергей прислал письмо. Будто бы больше не пьет. Вылечился, взялся за ум, работает. Без нее жить не может... Что с тобой? Посерел, словно труп. Уж не юноша ли ты из племени азра, которые умирают от любви?

— Как тебе сказать? — с трудом улыбаясь, пробовал шутить Балаков. — Может быть.

— Так ты влюбился в Любашу? Вот паваждение. После стольких лет. А почему не раньше?

Виктор пасторожился.

— Умеешь молчать?

— Как склеп.

— Прошу, не будь бабой и помалкивай. Могут неправильно понять, осквернить то, что для меня свято.

— Бабы — по преимуществу мужчины. Никто не болтает больше их на такие темы.

— Ладно, не оспариваю.

— Я вас попяла, увы, бедный Йорик. Боюсь, тут-то тебя и ждет возмездие, бывший донжуан.

— Ты права. Она меня никогда не полюбит, я это и сам знаю. Ведь я для нее — не мужчина. Мы столько лет дружили. Сначала числился мальчишкой, потом — сухарем, книжным червем.

— А ты ее кем считал?

— Совершенством. В ней сочетание ума и вечно женственного, в равных пропорциях. Мне кажется, я знал это всегда, но обманывал себя нарочно.

«Как глупеют все влюбленные», — подумала Наталья добродушно.

Виталий Михайлович принес большой серебряный рог, и все выпили из него, провозглашая здравицу серебряным молодоженам. Связность и последовательность в беседе окончательно исчезли. Кто-то пел, аккомпанируя себе на гитаре. Молодежь, не смущаясь теснотой, принялась под ленту магнитофона лихо танцевать. Виталий Михайлович уселся в уголке, поставил перед собой торт с орехами и методически уничтожал его. Губы его блестели от крема, крошки орехов повисли на отворотах пиджака.

Михаил Михайлович чертил какие-то странные, похожие на грибы и шарики, дома, отрывался иногда от

этого занятия, чтобы, с плохо скрываемой гордостью, отыскать глазами двух сыновей. Виктор и Геннадий, казалось, не могли наговориться. Время связало их ценнейшей и крепчайшей нитью — полным доверием. Разные, они в чем-то главном были схожи. Оба ищущие истины и требующие от себя честности и отваги.

«Баба Гаша», мать Геннадия, находилась на кухне. Она старательно раскладывала удивительно сделанные и украшенные ее умелыми руками салаты и закуски. Высясь на блюдах, они напоминали богатейшие клумбы, летательные аппараты и здания. Закатав рукава бархатного платья, пряча его под глухим фартуком, она была охвачена вдохновением. Букеты укропа, петрушки, свежего лука, алые помидоры, перламутровые кочаны кислой капусты и серпантин из мелко нарезанной оранжевой моркови и багровой свеклы подле куска мяса напоминали лучшие натюрморты средневековой голландской кисти. И Агата Томина, пышно причесанная дородная брюнетка, как нельзя лучше подходила к жанровой картине той же эпохи.

До вечера присаживались к столу трижды, и раз от раза в комнате становилось шумнее. Только Елизавета Марковна не веселела, вспоминая прошлое и кляня настоящее.

— Одно утешение, что все проходит, — призналась она Наталье. — И этот день и горе мое промчится. Если раньше я готова была уцепиться за стрелку часов, чтоб как-нибудь удержать ее бег, то теперь радуюсь, когда думаю: потерпи, проскочит и это.

## *Глава двенадцатая*

### КОНТУРЫ ТЕНИ

Сергей подстерег Любашу у дверей поликлиники. Она поймала его взгляд, беспокойный, хитроватый, как у порочных мальчуганов. И увидела Сергея как-то сразу, всего. Похудевший и осунувшийся, он не постарел, но не казался больше красивым. Черты лица обострились, и на щеках появились продольные морщинки. Они начи-

пались от кончиков губ и, уходя к вискам, образовывали две четкие буквы К.

«Катастрофа, катастрофа», — завертелось в мозгу Любаши.

Она шла, опустив голову, рядом с бывшим мужем, разгоряченным, вымаливающим любовь или хоть сострадание. Косящие глаза его казались оловянными.

— Мне жизнь не нужна. К дьяволу. Я уже с ней расставался. Висел на ремне, сняли, паскуды. Теперь все, на прошлом поставил крест. Завязал... Но без тебя я пронал. Совести твоей ради — испытай... Чего молчишь? Завтра я снова у подъезда ждать тебя буду... Унижай, топчи. Заслужил. Так мне и надо, поганому. Еще разок пусти к себе. Не гад, человек я. Попяла?

Любаша молчала. На плечи, казалось, легла непосильная тяжесть.

«Умру, не пуцую его», — решила скорбно.

Едва она вошла к себе и сняла отсыревшие меховые сапоги, раздался телефонный звонок.

— Клеопатра Броницкая, это я, Наталья. Представь, вырвала у себя три седых волоса. Конец! И мы очень уж стары... Даже сорокапятилетние люди не кажутся мне отныне отставными. А помнишь, мы с тобой положили черту — сорок лет. Потом все для женщины тлен: вышла в тираж. Что с тобой? Почему не смеешься?

— Мне не до шуток.

— Что-нибудь произошло? На работе? Ошибка в диагнозе? Не дописала истории болезни? Гриппуешь? Или любовь? «Коль разум с сердцем в спор вступают, они равны в борьбе своей. Пусть разум все же уступает, ведь он умней!»

— Сергей появился.

— Гони его прочь. Мало ли алкоголиков на свете. Чепуха. Я хотела открыть тебе тайну.

— Понятно. Секрет полишинеля, который знает уже, вероятно, весь околоток, раз знаешь ты? Не так ли? Кто-то влюбился в тебя?

— Нет, в тебя.

— Неинтересно. У меня нет счастья в личной жизни, я создана быть только наперсницей.

— А Виктор?

— Балаков? Ты сошла с ума. У него новое увлечение, и, согласно его моральному кодексу, он вскоре

объявит нам о предстоящей свадьбе. К тому же мы только друзья.

— Дружба — начало или конец любви.

— Это, кажется, напечатано в игре «флирт богов».

— Истина хороша в любом издании.

— Довольно шуток. У меня болит голова и начинается насморк.

— Старики говорят: «Не дай бог увидеть невесту с сопливым носом».

— Тебе весело?

— «Не узнаю Василия Грязнова» — так, кажется, поется в «Царской невесте»? Право слово, все еще у нас впереди, а Виктора ты полюбила. Только не выдавай меня. Я же не могла от тебя таиться: ты — моя самая любимая подруга.

Цельные натуры с трудом отрываются от тех, кому верили, кого любили. Менять привязанности им несвойственно. Дольше помнят они пережитое, но, переболев, разочаровавшись, уходят навсегда.

Любаша знала, что с Сергеем все кончено. Так оно и было. Даже мысль о его прикосновении, ласке вызывала в ней отвращение, желание бежать, скрыться. Но жалость все еще оставалась. Помочь ему она считала своим долгом. Как это сделать? Душевная раздвоенность ее пришибла. Каждая встреча с бывшим мужем ранила. Слова Сергея возмущали ее пусть неосознанной, но ложью. Эгоизм животный, мелкий был основой всех его домогательств. Он нуждался в опоре, в заботе, в любви, которые некогда получал от Любаши и затем утонул в водке. Развинченность, трусость гнали его на поиски защиты от себя самого. Пройдя курс лечения от алкоголизма, он не пил, но понимал, что долго не удержится и снова потянется к вину. Он требовал от Любаши жертв. Потеряв себя, он хищно впивался в других, как упырь, брал их здоровье, силу, жизнь. Пропасть манила его, но падать Сергей хотел отныне не один. Было нечто демоническое в этом спившемся молодом еще человеке, когда-то таком одаренном и приятном.

«Падший ангел становится чертом, — думала Любаша. — В опьянении всегда что-то бесовское».

Иногда и лицо Сергея казалось ей меченым. После тюрьмы он стал развязен и подчас страшил ее недоб-



рыми намерениями, которых сам в ясные минуты стыдился.

— Поезжай к родным, в деревню, успокойся,— убеждала его Любаша.

Однажды он попросил у нее денег, немалую сумму, почти все месячное жалованье.

— Я в твоём сердце читаю. Ненавидишь меня. Укачу домой, только дай гроши на дорогу.

Любаша отдала Сергею свои маленькие сбережения и ожила, надеясь, что больше его не увидит. Действительно, недели две он не появлялся у поликлиники, не преследовал Любашу на улице. Но затем снова оказался в сумерки у подъезда ее дома.

Сергей был навеселе. Декламировал стихи Есенина. Схватил Любашу за руку и сжал до синяков, когда она попыталась вырваться.

— Деньги тебе верну. Мы — честные, почище твоих фраеров. Гуд бай!..

Не храни, запоздалая тройка!  
Наша жизнь пронеслась без следа.  
Может, завтра больничная койка  
Упокоит меня навсегда...

Сергей исчез на повороте. А Любаше казалось, что ее бьет лихорадка. Она шла по Кутузовскому мосту. Внизу чуть шевелилась черная речная вода. Мокрый снег прилипал к лицу. Подняв глаза вверх, женщина явственно увидела бледно-серое небо. Оно опухло, как щека с флюсом.

«Вся моя личная жизнь — горячечный бред. Куда же деться, на что ропщу — никому не надобна. Так, значит, на роду писано».

Дома, к ее досаде, в ожидании хозяек читал газету Максим Иванович.

— Вот усадила здесь меня ваша почтенная матушка, велела сторожить Платошу, а сама умчалась на какую-то конференцию. То ли по инзофрении, то ли по катарам дыхательных путей — не понял. Мы с Платошей неплохо провели время... но что с вами? Малярню, кажется, уничтожили в наших краях, а я по-прежнему хиной при всех хворах спасаюсь. Да перестаньте же гладить мудрейшего Платошу. Вы промокли и дрожите. Таблеточку этой самой горькой хины все-таки проглотите.

Через полчаса Любаша лежала на диване, укрытая по подбородок чудодейственным тулупом, по мнению Альфина, обладающим какими-то особыми целебными биотоками. Сам он готовил в крошечной кухне по одному ему ведомому рецепту чай, смешивая три его сорта.

— К вечеру вашу инфлюэнцу мы обратим в позорное бегство, и вы почувствуете себя здоровой,— внушал он Любаше, так и не догадавшись, что болезнь ее не бациллами вызвана.

Максим Иванович обладал волшебным даром — он мог подолгу говорить, не нуждаясь в собеседнике. Вдовство обучило его этому искусству. Случалось, он прикидывался беседовать, как это свойственно узникам одиночных камер, один на один с собою, отвечая на возможные возражения и замечания. Психика его была в полном порядке, и привычка эта выработалась в долгие годы домашнего одиночества. Альфин боялся вторжения чужой воли и помех в часы научных раздумий, сложных поисков и открытий. В обществе же он был всегда желанен благодаря уму, терпимости и такту. Присущие его характеру свойства оздоравливающе подействовали на Любашу.

Любаша рассказала Альфину о своем несчастливом браке, разводе и гнетущих отношениях с вновь появившимся Сергеем.

— Вам его жалко? А жалость,— заметил Альфин,— обычно хитрость, уловка, под которой мы прячем чувство привязанности или надежду. Значит, не все еще перегорело. Глест, видно, в сердце пусть маленькая, но любвишка.

— Нет, нет,— запротестовала решительно Любаша. — Лучше в прорубь головой. Жалость — не всегда прикрытие. Мы жалеем больных или брошенных животных, бессмысленно уничтоженные растения, растоптанные походя цветы.

— От чрезмерной чувствительности и доброты случается так. Если вас действительно страшит сей растленный тип, я, извольте, помогу. Предоставьте мне действовать и, чур, не выпытывать, как я это сделаю.

— Спасибо, согласна.

Максим Иванович, несмотря на внешнюю рассеянность и отрешенность от повседневных дел, отличался не только деловитостью, но и последовательной, а не спазматической энергией. Не прошло и недели, как Сергей

Иванов прекратил преследования бывшей жены. Любаша снова успокоилась. Возникшее чувство признательности к Максиму Ивановичу и доверие, создавшиеся благодаря ее признаниям, возрастали. Альфин ежедневно посещал Броницких: стал оживлен и насторожен.

Первая заметила нечто неувлимо новое в отношениях дочери и друга Вера Сергеевна.

«Он слишком молод был для меня и чересчур стар для нее,— подумала Броницкая печально. — Нет, не быть тут счастьем».

Виктор Балаков решил произвести генеральную очистку «авгиевых конюшен» своей души. Самым трудным оказалось прекратить связь с Гигишей. Она любила его тем сильнее, чем больше он замыкался и отходил от нее. К чувству примешались обида, оскорбленное достоинство, желание самоутвердиться. Известно, что этот горький замес иногда скрепляет сильнее самой любви.

Покуда Виктор жил в приокском доме у Броницких, Гигиша ездила туристкой в Болгарию. Она вернулась в том приподнятом настроении, которое обычно сопутствует странствиям по незнакомой приветливой стране. Впервые была она за границей и непасытимо, экзальтированно вбирала там новые впечатления. Все вокруг ей нравилось и удивляло, казалось безусловно прекрасным. Она не заметила, сколь волнующе похожи на Крымский полуостров очертания болгарского побережья. Те же родные волны, распластавшись по-медузы, умирали на песке, желтом, как пшено, у ног Гигиши. Болгары, говорящие на похожем мелодичном и все же ином языке, легко возбудимые, гостеприимные, красивые, как их щедрая растительность и горы, притягивали и покоряли душевным простодушием и южной живостью эмоций.

Несколько дней после приезда Гигиши, лукавая в отговорках, Виктор не виделся с нею. Ему было тяжело, решение приходило медленно, но зато непоколебимо, и желал он отныне одного: поскорее объясниться и прекратить былую близость.

«Человек не смеет обманывать другого и обманываться сам»,— твердил он.

Войдет ли когда-нибудь живая во плоти Любаша в жизнь Балакова, для него в этом случае уже не имело значения. Он любил и мыслил примерно так:

«Пусть она ко мне равнодушна и потому вольна в выборе, я же люблю ее и не могу изменять себе. Чего стоит мужчина, обнимающий одну женщину и думающий при этом о другой. Только подчинив себе инстинкты, я стану тем, чем должен быть хоть немного уважающий себя человек... А как же годами одни, без женщин, те, кто пускается в дальнее плавание, ледовую экспедицию?.. Верность, вот на чем проверяется человек. Это культура духа, о ней мы забываем. Снова покатился я под откос. Лгал женщине, измарал ее и себя циничной чувственностью без всякой привязанности».

Исповедуясь перед Гигишей, он нагромоздил ворох путаных мыслей и слов. Ждал ее слез, а она рассмеялась.

— Головастик, что ты мне наплел? Разве ласки — грязь? Тебе бы, как Симеону Столпнику, на столбе восседать и проповедовать воздержание. Я не такая ученая, как ты, но фанатиков-скопцов ненавижу и боюсь, как психопатов, обойденных судьбой. Не надел ли ты, бедняжечка, вериги, чтобы спастись от соблазна, искупить прегрешения плоти? Зачем же нам дано тело? Неужели только тогда мы о нем можем вспоминать, когда живот или голова заболят? Опомнись, родненький. Ты заучился. А может — другая? — Гигиша всполошилась, свела скорбным вопросительным знаком широкие брови. — Не таись, пожалуйста, родненький. Я ведь люблю тебя, вот как люблю.

Внезапно она широко, по-ребячьи, раскинула руки, будто играла в каравай.

— Моя любовь к тебе — вот такой ширины, вот такой глубины, вот такой высоты, — весело запела она, закружилась юлой, с необычайной для ее полноты легкостью.

Виктор передернул плечами и поднялся, чтобы уйти.

— Выходит, ты меня не поняла. Инфантильность какая-то... Правда, в этом и таится твоё обаяние. Оставайся ребенком и помни: я тебе верный друг, но и только. Встречаться мы пока не будем.

— Подвижничество? Муки? Во имя кого и чего?

— Себя и тебя. Разве не противно, не оскорбительно, если я назову тебя иным, истинно любимым мною

именем и, закрыв глаза, при тебе буду мечтать о другой? Где же тогда твоя женская гордость, достоинство?

— Мало ли что ты себе придумал. Я у тебя — одна реальная, остальное — плод фантазии, карусель в твоём мозгу.

Они заговорили, перебивая друг друга. Рушилось счастье, придуманное и живущее только в нехитрых мечтах Гигиши.

— Ты не смеешь бросить меня, — закричала она истерически. — Хочешь, я немедленно официально разойдусь с мужем? Или будем жить, как брат с сестрой, я согласна и на это, но только чтобы быть вместе, рядом. Ты — мой, родненький. Как же остаться без тебя? Много вокруг людей, но ты у меня один-одинешенек, мой.

— Найдется другой, ты хорошая, славная. Прости меня, Гиша, но я не могу себя принудить. Хочу жить совсем один.

— Любишь, но кого же, кого?

— Никому я не нужен. Что во мне хорошего? Ничего.

— Ты душевно болен.

— Если б так! Нет, я только хочу отныне не гнушаться самого себя, ну, словом, стать последовательным в поступках, а не только на словах. Надоело развлекаться пышной болтологией, а коснись чего — обнаруживать в себе дрянцо. Плутуем мы сами с собой, шулерничаем, по-детски в жмурки играем. Хватит. Надоело. Пусти меня! Я должен уйти.

...Через несколько дней после разрыва с Виктором Гигиша, преодолев сомнения, подошла к телефону и набрала номер. Виктор не назвал Гигише имя женщины, которую полюбил, она сама догадалась об этом.

— Когда мы сможем повидаться? Прошу вас о встрече, мне это крайне необходимо. Я — Гигиша, вернее — Глафира, Глафира Марковна.

— Вы моя пациентка? — недоумевала Любаша.

— Больная ли я? Кажется, нет. А впрочем, может быть. Но не в этом суть. Прошу вас. Умоляю свидеться.

— Хорошо, Глафира Марковна. Что же, мне прийти к вам или вы зайдёте в поликлинику? Как вам удобнее?

Они встретились в том же сквере у Большого театра, где случайно познакомились Виктор и Гигиша. Тогда был жаркий летний день. Осенний дождь помешал двум жен-

щинам остаться на скамье под увядшим деревом, и они зашли в кафе «Метрополь».

— Чем я могу быть полезной? — все еще недоумевая, спросила Любаша.

— Верните мне Виктора. Вы ведь к нему безразличны. Я все знаю, чувствую — он вам не нужен, — подавляя слезы, просила Глафира Марковна.

Беседа длилась долго. Гигиша притихла и, не отрывая мокрых добрых глаз от Любаша, вдруг сказала:

— Вам надо все знать. Он мне никогда ничего не обещал. И не любил... Может, вы будете с ним счастливее.

— Нет, нет, что вы, мы с детства только дружим. Хотите, я больше его не увижу. Постарайтесь убедить его остаться. Право, я ничем перед вами не виновата. Виктор всегда был странноват и очень романтичен.

— Если он узнает, что я виделась с вами...

— Никогда ему об этом не скажу.

— Но он вас, только вас любит... И заслуживает счастья... Я-то знаю. Перебродит, а душа у него цельная, чистая. Ко мне он больше не вернется.

До встречи с Гигишей ничто не влекло Любашу к Виктору. Так, по крайней мере, казалось ей. Она, пугливо прячась, присматривалась к Альфину. Физик приносил с собой такой оздоравливающий покой, уверенность в своих силах, организованность. Он был благоразумен, серьезен, умен. Но именно его бесспорные достоинства отталкивали молодую женщину. А Виктор...

Виктор Балаков снова остался наедине с собой и радовался, что ничто не отвлекает его отныне от работы.

Поздно вечером позвонила Мария Павловна:

— Ты, Вика, дома?

— Где же мне еще быть, мама? Как твои дела?

— Их слишком много. Но у кого их сорок, — так, кажется, говаривал Толстой, — тот сделает и сорок первое. Я избрана в два бюро, пишу, как и ты, диссертацию, роюсь в материалах о борьбе с эсерами в тысяча девятьсот восемнадцатом году. К тому же собралась покрасить масляной краской ванную. Откладывать невозможно. Потолок из-за нерадивости верхних жильцов в постыдных

пятнах. Ну почему я не поселилась на последнем этаже? Тогда не надо было бы в третий раз купоросить ванную.

— Ладно. С твоей неутомимостью и любовью к порядку действительно резонно было защитить себя подобным образом. Но это пустяки.

— Последнее время я начала завидовать инженерам-физикам. Зачем, сынуля, ты оказался в табуне гуманитариев? Их добродетели — иллюзия. В век сугубой перегруженности информацией никто не запряжет себя в отягощенный тысячелетней премудростью воз. Мы становимся исключением.

— Ты ошибаешься. Наоборот, идет сближение технических, физических и прочих наук с историей, социологией, психологией, литературой и искусством. Причем не растворение, исчезновение в них, а взаимообогащение.

— Стало быть, по-твоему, за таким синтезом будущее?

— Спасибо, ты меня поняла сразу. Все споры о показывании или рассказывании, к примеру, полный анахронизм. Когда я размышляю о литературе, ее формах, то неизменно вспоминаю слова Льва Толстого, записанные тогда Гольденвейзером: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни». Это пророчество...

— Однако ты требуешь так много от нас, грешных, что мне становится не по себе. Я однобока. Нельзя объять необъятное...

Мария Павловна позвонила на следующий день также поздно.

— Никак не стряхну с себя твоих мыслей о синтезе всех наук и, я бы сказала, своеобразной урбанизации знания. Ведь если ты прав, то требуется от нас взобраться на такие Гималаи познания, что голова кружится. Невозможного ты хочешь.

— Ничего страшного, Маля. В одиночку, конечно же, трудно. Тут понадобится какое-то новое содружество, новая систематизация, которые облегчат союз науки и искусств, ведь история, литература — дети муз и чистой науки.

— Как же творили гении?

— Они высоко поднялись над миром, и уровень их философских и социальных знаний по тому времени достигал предела. Многие таланты погибали оттого, что им не хватало крыльев знания и мышления. Двадцатый век могуч своими требованиями. Быть писателем, ученым становится трудно.

— А если от этого литература станет скучной? Что может быть противнее наукообразной дилетантской книги?

— Тогда это вина автора. Он не талантлив и далек от жизни и знания. Суррогат! Бьюсь об заклад — литература, как и физика, да и многие другие науки, стоит на пороге нового качественного изменения.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Немного. Времена самоученичества для писателя и некоторых ученых минуют.

— Уж не думаешь ли ты, что и мы, историки, должны будем трудиться согласно твоей терминологии (она добродушно рассмеялась)... на молекулярном уровне, не так ли, сын?

— Браво, Маня. Ты не ретроградка. Тогда прекратится склеивание кусочков мыслей и фактов, пудные обобщения, так называемая классификация типов. Исчезнут и прочие атрибуты серятипы. Каждый живой человек — это молекула всего общественного организма и своей эпохи... Говоря так, я вовсе не открыл ничего удивительного, а тем более — смешного. Почему же ты расхохоталась?

— Прости, вероятно, недопоняла. Привыкла пользоваться другими понятиями. Я ведь иного поколения. Впрочем, когда же ты, бродяга по векам, вспомнишь о своей матери и наведишь ее? Есть у меня сын или нет? Был ли мальчик-то? А может, мальчика-то и не было?

— Не будем чиниться. Сделай милость и не гневайся. Мой маршрут теперь — до Ленинки, читальный зал номер три, институт, где я преподаю, и моя берлога. Кстати, не волнуйся. Я обедаю почти каждый день, ужинаю и даже завтракаю. Дважды заскочил в киношку. Вечер, правда, потерял, хотя и выспался на славу на одной из двух серий. Надо уметь пользоваться любой ситуацией. А теперь — о главном, будь терпеливой. Пришел я, представь себе, к выводу, что историк, какой бы эпохой ни занимался, должен быть альпинистом и уметь взбираться



на самую труднодоступную вершину современности, иначе он только слепой крот.

— Ты, друг мой, одержим своим предметом. Завидую. На том и стой.

— Учусь видеть, думать и понимать. Зерно несет в себе тайну будущего плода. Зерно умирает, чтобы родиться. Объективно смерти нет.

— Дорогой философ, ты так перегрузил свою головушку всякой премудростью... Да, кстати, когда же я смогу прочесть тетрадочку, которую вместе с записками Орловой мой отец завещал тебе?

— Она сейчас передо мной. Дед был мудрецом. Прямо-таки Паскаль. Хочешь, прочту кое-что, например о долге писателя и гражданина? Я все чаще пуждаюсь в тебе, как рояль — в настройщике. Слушай выводы деда: «Писатель, историк да и любой иной пролетарий умственного труда, как раньше говорили, должен всегда стремиться к действию. Золя, помнится, бросился, не мудрствуя лукаво, в самую толщу бытия, то бишь боя. Он погиб не за литературу, как некоторые пишут, а за эту самую Жизнь, с большой буквы Жизнь и ее единственную правду. Байрон, известно, как-то изрек: «Кто стал бы писать, если бы мог делать что-либо лучшее». Этот вывод погнал его сражаться в Грецию, где он нашел свой конец. Такими же были Шелли, Гейне, Мицкевич... Много их! Ясно одно, что не к раю нирваны, не к мертвой зыби и отрешенности устремляются тревожные мечты способных к творчеству людей. Ведь освободить энергию мысли для пустого созерцания — то же, что отделять энергию атома от материи. А я прочитал недавно у физиков, что сие дело бесплодное. Надо «творить, бороться, мечтать и превращать мечту в явь». Вот что излагал старейшина балаковского рода.

— Пытливый ум был у моего отца.

Закончив разговор с матерью, Виктор снова погрузился в чтение заветной тетради Павла Александровича Балакова:

«По моему старческому разумению, литература никогда не требовала, а ныне тем паче, жертв от своих жрецов. Хоть и не слишком богат я знаниями, но не слыхивал ничего подобного. Жертвы этой могущественной колдунье не пристали. То же, пожалуй, и с наукой. Разве преследователи Галилея, Спинозы или палачи Джордано

Бруно дали нам право утверждать, что эти великие умы стали жертвами именно науки? Нет, они явились жертвами невежества, мрака, изуверства. Знаю, что вступаю в спор со многими, но спор освобождает золото от песка. Он полезен, если без драки. Совестно, по-моему, да и бессмысленно говорить о жертвенности во имя наивысших сфер человеческого духа. Искусство и наука — божественные дары жизни. А талант и его действие, то есть творчество, — счастье. Писатель, ученый, мыслитель в любой области не защищены от материальных бед, обид, недооценки. Многие тяжело страдали от жизненных невзгод, но они — избранники, и уже поэтому к ним не идет слово «жертва». Сродни таланту только героизм и внутренняя гармония. Поэтому противны мне издавна кликуши, вопиющие о жертвах в творчестве, как и в любимой работе или справедливой борьбе. Мое, к примеру, поколение, увы, уже сошедшее либо готовящееся в невозвратный путь, знало голод, холод, муки, а воевало с львиной хваткою и радовалось испытаниям, подчас равным огню и грозам. Много нас погибло либо дорогой ценой побеждало в открытом и праведном бою, и никто тогда нас в жертвы не зачислял.

Мы знали, как жить и умирать по-людски...

Запомни же, Виктор, сей завет: по ним, по лучшим, как по звездам мореплаватель, держи путь. А то нынешний какой-нибудь хлюпик, бывает, дежурную, рассчитанную на узкий круг потребителей, диссертацию соорудит и возгласит громоподобно — я, дескать, жертва науки, почет мне и привилегии, а то рассержусь и не буду более жертвовать собой. Экий свистун. Мецанишка. Кто, братец мой, об жизнь не раз головой стучался и сныряками украшался, тот знает, что много, очень много людей жизнь, как редут, отвоевывают. Срываются и снова карабкаются, стареют и мудреют оттого и, согласно старой доброй демократической морали, не визжат о жертвенности, не требуют сверхпочтения и тем паче какой-то обидной жалости.

— Чего лаешь на свою удачу, дурень, — хочется мне хлюпику из вашего поколения, сверхчеловечку такому сказать».

Виктор перечитывал, меланхолически улыбаясь, выпуклые, неровные, то взлетающие вверх, то падающие водопадом строчки. Чудилось ему — слышал снова

голос деда. До последнего недуга, убившего старика, он говорил звонким молодым баритоном.

Человеческий голос живуч и очень долго сохраняет свежесть и яркость юности. Не доказательство ли это врожденного долголетия людей, того, что смерть подстерегает их, как правило, преждевременно?

Остер, зорек оставался дед и в преклонном возрасте. Не было в нем тусклости, обыденности и поучительности. Если бы сила духа естественно претворялась в силу телесную! Жил бы тогда Павел Балаков не один век.

Отложив тетрадь, Виктор включил радиоприемник. Пела Клавдия Шульженко тихую песню о любви, пела по-особому, свободно и уверенно подчиняя себе матовый, нежный, неповторимый голос. Камерность и музыкальность как пельзя более ладились со словами бесхитростными и трогательно волнующими. Для одних это было их сегодня, для других — вчера. Виктор хорошо знал исполняемую ею песню. Она тотчас же вызывала в нем забытые краски, лица и события. Стало душно и горько. Торопливо он выключил аппарат и не скоро собрал рассыпавшиеся мысли.

«Ни наука в целом, ни какая-либо отдельная ее отрасль,— записал он,— не несут цели сами в себе, вне связи с обществом, временем и людьми. Разнородные тупицы и зазнайки, обалдевшие от непривычного интеллектуального груза, твердящие иное, не имеют значения, так как они обанкротились явно. Эти снобы, то бишь невежды и пустозвоны, хотят разрушить строгий классический лик науки и заменить его ими же слепленными идолами с абстракционистскими уродливыми харями. Век двадцатый — век непрерывно движущихся и ширящихся знаний. Без них нет больше ни писателя, ни историка, ни техника, ни физика. Да процветают те, кто способен не только к открытиям, но и к объяснению новизны. Не плохая копия с натуры и пустое мурлыканье и сюсюканье нужны отныне мыслящему человечеству».

Виктор сорвался с дивана, на котором улегся, и позвонил матери. Слегка шепелявя от нетерпения, он сказал ей:

— Не могу долее молчать. Эврика! Я, кажется, начал понимать свою жизненную задачу. А это уже полдела. Экая досада, что боги не дали мне литературного таланта, но все равно я проник также и в то, чего хочет от ин-

сателя читатель. Ему пужны люди вровень с двадцатым веком, а не просто его современники. Он ждет осмысленного изображения жизни, как единого сильнейшего потока, соответствующих запросам века размышлений, анализа связи поколений, преемственности. Это фундамент, корни двадцатого столетия. Мое поколение заявляет: мы хотим не рефлексором, по верхам, осветить окружающее, а, подобно взрыву атомной силы, могуществу революции, проникнуть в толщу души, земли, неба. Вот к чему стремимся мы, штурмующие Марс и Венеру, сверлящие прошлое и будущее.

Вечером зашли к Виктору Наталья и Гена, завернули, как сказали сами, на огонек, пробивавшийся сквозь льняные шторы. Виктор обрадовался, принялся кипятить чай и готовить ужин. Пригодилось, что мать снабдила его консервами и коробкой шоколада.

Заговорили о литературе.

— Человек в разные века физиологически один и тот же, — оживился Виктор, — туловище, конечности, наконец, те же внутренности, круги кровообращения и прочее «жизнеустройство». А вот мысль, творческое начало, духовные потребности, знания, уровень их, возможности искусства, литературы — иные, они неизменно видоизменяются в сути своей... Тот писатель, кто может понять душу нового человека, как астроном с помощью все более мощных стекол узнает лучше звезды. Нужно быть вровень с веком. Не правда ли, Наташа?

— По всем статьям, — насмешливо ответил за жену Гена, — историки были, есть и будут путаниками. Не слушай его, Наталья. Он в литературе ни шиша не смыслит. Да и зачем ему? Давайте же пить чай, ребята.

Расстались они в тот вечер холоднее обычного.

Второй раз в жизни женщина полонила Виктора. Но первой была Динария, и долго память об их близости жила как бы в клеточках его тела. Любашу же он никогда даже не поцеловал и помнил в разные годы жизни, совсем еще юной, ребячливой, отгороженной от подлинной жизни материнской заботой, книгами, завидной дружбой, господствовавшей в семье.

— Чучело ты, набитое книжными представлениями, как трухой, — снисходительно говорил Любаше Виктор,

выслушивая ее далекие от реальной действительности рассуждения. — Ну что ты знаешь о житье-бытье и людях? Как жить будешь?

— Чудак, скептик, — отвечала Любаша важно. — Это ты существо отвлеченное. Залез в восемнадцатый век и кричишь оттуда — чур меня! Призрак, санкюлот, мозговичок.

— А славная все-таки ты девушка, — объявил как-то Виктор, но когда Любаша спросила, что значит певнятинное слово «славная», объяснить не смог.

— Простецкая ты, словом, свой парень, — попытался он выпутаться.

Так и осталась она на многие годы «своим парнем». Видимо, давно любил Виктор Любашу, но не осознавал этого. Когда и как рождается любовь? Загадочна душа молодого человека, да еще столь беспокойная, неудовлетворенная, как у Виктора Балакова. Со времени разрыва с Гигишей, явившегося итогом своеобразного покаяния, его все чаще охватывало гнетущее сознание одиночества и никчемности. Тянуло, точно бес попутал, бродяжить, а то и пойти к Гигише, положить неприкаянную голову на ее уютные колени и говорить о своих сердечных невзгодах. Он знал, что не будет прогнан, но боялся себя и отказывался, когда она настойчиво приглашала его в гости.

Виктор усердно работал над последней частью своей диссертации.

«Все должно служить делу, творчеству, избранной цели, — думал он. — Любая встреча, событие, случайный урок, книга, беседа и весь резервуар эмоций, который прячется в каждой человеческой душе. Все для творчества».

Занимаясь своим предметом, он искал причины вражды, возникшей внутри одного братства — клуба святого Якова. Над чем бы он ни трудился, как глубоко ни проникал бы в летопись экономических трудностей Революции, вторжений, неурядиц, трагедия внутрипартийной борьбы, дружбы, обернувшейся ненавистью, жестокостью и кровопролитием побратимов и однополчан, мучила ученого превыше всего. Виктор перечитывал истории древних революций, возвышения и падения Рима. Светоний и Тацит сопутствовали ему во всех исканиях. Это они нашей-

тывали проклятия славолюбцам, узурпаторам и проходцам.

Бросаясь к трудам Маркса, он и у него находил суровое осуждение диктаторов и самовластителей прошлого. Века меняют лик Земли. Медленнее всего на планете совершенствуется человеческая сущность. Виктор отворачивался от прошлого и устремлялся к настоящему, листал хронику двадцатого века. Технический и научный прогресс ошеломлял, но какой же была людская душа?

Устоит ли часть человечества, одержимая дьяволом наживы, честолюбия, рабства, чтобы не завершить безумный свой шабаш войной? Броня не хочет ржаветь. Бактериологическое оружие, опускаемое на океанское дно, грозит всплыть и отравить человечество. Атомные свечеобразные ракеты, увы, не безобидный бенгальский огонь. Они устремляются ввысь. А если?..

Виктор видел облако разорвавшейся бомбы, серовато-белый дымок, как будто взрыв растоптанного пестрого гриба-поганки.

— Не может быть атомной войны,— заклинал он пустоту. — Не хочу, чтоб разорвалась связь времен, событий, поколений. Умрут — все, кто еще жив в потомках, исчезнут самая память, явь и сон, тайны и движение. Даже прах обретет новую формацию.

Мысль его облеклась в патетическую форму библейских сетований, ибо то, о чем он думал, было пострашнее всех бедствий Земли.

«Вы, недалёковидные, взывающие только к защите деревьев и лесного зверя, степей и вод, вы забыли об угрозе бытию. Близятся, быть может, сроки. Не дремлет враг человеческий. Будьте же готовы бороться за жизнь. Двадцатый век опасен, коварен и вместе с тем милослив и благостен. В нем, как в гильзе, притаилась атомная смерть и рядом — спасение, мир и благоденствие. Единоборство добра и зла продолжается. Каким мизерным и наивным, по сравнению с днем сегодняшним, кажется день вчерашний. На гильотине Парижа погибло всего около двух десятков тысяч человек, а в одном только Бухенвальде похоронен пепел сотен тысяч задущенных. Чудовищны цифры на сравнительной таблице, составленной социологами и историками...»

Виктор не хотел отсиживаться в минувших веках. С диссертацией скоро будет покончено. Факты, как

железная скреба, сняли наслоения времени и наветов, приблизили прошлое. Картины казней преследовали Виктора. Отличаясь повышенной остротой восприятия, он не раз видел себя сначала в тюрьме, затем в повозке палача Сансона, где-то рядом с не открывавшим глаз окровавленным, безучастным Робеспьером и другими его соратниками. Казнь, казалось, над ними уже свершилась. Отсекали головы мертвецам. Когда не остается надежды — нет более и страха. Страх — иногда последнее проявление жизни.

Толпа бушевала вокруг помоста с тем же остервенением, как в другом веке извивалась змеей у костров инквизиции. Спекулянты, психопаты, завистники, уроды, хулители всякой нови, одичалые и бездушные, кривлялись и грозили смертникам. Это были потомки инквизиторов и предки фашистов, исчадия злобы и невежества.

Увы, в каждом веке Виктор отыскивал их свирепые рожи, слышал их брань. Они оплеывали все лучшие идеи времени, а подчас господствовали. Подобно бурьяну и сорнякам, душили они молодые побеги ценных растений и цветов. Тенью ложились они на землю, скрывая животворные солнечные лучи. Прорастала духовная чернь и несла с собой мрак и патологию. Виктор мог без заминки объяснить причины, ее породившие. Но от этого не становилось ему легче. Он верил, что в будущем все это исчезнет навсегда, но в молодом своем задоре не хотел ждать и утешаться грядущим, до которого ему, может быть, не суждено дожить. Ничто не беспокоило его, кроме высокого звания «человек» и мечты увидеть людей совершенными, справедливыми.

...До защиты диссертации оставалось более месяца. Виктор работал в институте, но прежнего напряжения не испытывал. Чаще тосковал по Любаше. Однажды он увидел ее на улице. Хотел подойти, но вдруг сообразил, что веселая улыбка, которую он перехватил, относилась не к нему и не к ясному морозному небу, а к Максиму Ивановичу, шедшему с ней рядом. Они о чем-то оживленно говорили, не замечая окружающих. Виктор свернул в переулок.

«Поженятся, — решил он с поспешностью ревности, — видно, что увлечены друг другом. Ну что ж, появятся детки, он потащит авоську с апельсинами. Так ему и

надо. Вдохновенный физик до первой смазливой девушки. А впрочем... Ничего удивительного, ведь это Любаша. И мне она дорога и как еще нужна». Виктор повернул назад и убыстрил шаги.

Давно уже он не робел перед женщинами и был с ними скорее развязен, фамильярен, подчас грубоват. Но, полюбив Любашу, испытал стеснение, потерял самоуверенность и готов был прятаться от любимой. В ее присутствии и даже думая о ней, он как бы погружался в иную, ранее неведомую стихию отвлеченных чувств, расслабляющего покоя и нежности сильного к слабому.

«Я ничего не хочу от тебя, ничего, кроме постоянного общения, твоего присутствия рядом», — хотелось бы ему сказать ей.

Однако неуверенность в себе, неловкость возрастали с каждым днем. Он думал, что Любаша презирает его за былые увлечения. Раньше он слишком неосторожно посвящал ее во многое, чего обычно не рассказывают женщине.

Измученный своими сомнениями, Виктор позволил матери:

— Как жаль, что век эпистолярный навсегда канул в небытие. Почтовые кареты, езда на перекладных, керосиновая лампа и менуэт остались на театральных сценах. Разве только зимовщики в Антарктиде еще знают прелесть писем. Телеграммы, продиктованные по телефону, и те скоро станут анахронизмом. Видеотелефон — вот способ общения ближайшего будущего. Согласна, Маня?

— К чему такая длинная преамбула? Выкладывай. Я тороплюсь. Международный конгресс. Верчусь, как веретено.

— Для тебя не новость, что я полюбил, и, кажется, это уже навсегда. Никто другой — только она.

— Вот удивил. Да я ничего подобного за тобой не замечала. Конспиратор. Кто же она?

— Не могу так, сразу... Представь, словно нахожусь в гипнотическом состоянии.

— Осторожно с пороховыми словами. И затем, ты сказал мне раз, я поверила, второй — усомнилась, если еще раз, чего доброго, побожись, что влюбился, — высмею.

— Любаша.

— Любаша?! Сколько лет вы в приязни. Вот и не верь в судьбу. Как бабки говорили: всякая невеста для своего



жениха родится. Зачем же канителились? Для чего она за пьяницу выходила, маялась? Ничего не понимаю.

— Разве я знаю, что со мной приключилось. Ты, кажется, недовольна выбором. Так успокойся — Любаша на меня и смотреть не хочет. У нее есть Альфин Максим Иванович.

— Ну, друг мой, не шути. Этот крекер «Здоровье» фанатически предан всяким инфра, ультра и прочим звукам. Физик ей не пара. Старый муж, что царь Давид... Нет, Альфина я Любаше не желаю. Лучше уж ты, хоть, честно говоря, тоже ведь не клад. Карактец, как говорит Пелагея, кошкина мама, у тебя сильной, но мерзостной. Добавлю, что ты ведь еще и деспот.

— Увы, родительница, у тебя обострение холецистита. Чего только ты за две минуты не выложила.

— Любя, Викторushка. Но не материнское это дело — выбирать сыну подругу. Тебе ведь жить... Пока что, сделай милость, закинь чувствешки на чердак и защищай докторскую. Это поважнее матримониальных дел...

Врач неизбежно страж и восприемник не только жизни, но и смерти. Любаша трудно свыкалась с этим. Она ненавидела смерть, борясь с ней, как воин с врагом на поле брани. Чем больше испытаний и горечи несла собственная судьба, тем шире раскрывалось ее сердце для несчастий других. Свойство натур значительных и незаурядных. Становясь старше, Любаша добрела и стремилась жить для других. Была ли то возраставшая сила или слабость? По-разному судили о такой черте характера окружающие. Но Любаша была непреклонна. Много времени и терпения отдавала она больным.

Однажды, в сумерки, после обхода своего участка, крайне утомленная, Любаша вошла в поликлинику, но кто-то властно схватил ее за руку и с хриплым: «Скорее, доктор, скорее» — потащил к соседнему дому.

Любаша нашла больную Ольгу Ивановну Костицыну в тяжелом состоянии. Она провела немало часов у постели пожилой женщины с лицом темным, как великомученический лик на древней иконе. Лишь постепенно теплели глаза больной под чуть поседевшими дугообразными бровями и доверчиво улыбнулись искривленные губы. Но Любаша умела разжечь добротой даже чуть тлеющий огонек.

Ольга Ивановна Костицына казалась много старше своих шестидесяти с лишним лет. Один недуг за другим как бы проверяли на крепость этого немощного, но душевно непреклонного человека. Дух побеждал и подчинял себе тело.

И чем чаще Любаша вглядывалась в морщинистое и аскетическое лицо Ольги Ивановны, тем значительнее оно ей казалось.

— Как различна красота, до понимания ее тоже надо пройти непроторенными тропами. Прекрасное часто открывается нам не сразу,— говорила Любаша.

Однажды Любаша спросила Ольгу Ивановну о ее прошлом и услышала историю, показавшуюся ей сначала невероятной.

— Была я в юности недолго женой богатого сайгонского купца. Странно? Вы удивлены. Но постарайтесь понять, а может быть, и простить. Судьба что лотерейный билет. Мой отец — белогвардейский офицер — бежал с семьей после поражения Колчака в Сайгон. Мама там вскоре умерла. Жизнь обрекла нас на беды, изгнание и срам. Все это далеко позади, а вспоминать трудно, больно... Вам, доктор, немыслимо представить себе Сайгон. Содом и гоморра современности. Почему только не погибла я, как многие мои сверстницы-эмигрантки. Купец вскоре взял себе новую жену, меня прогнал на улицу. Он мог продать меня в публичный дом. Боже, вспомнить и то страшно.

— Не скрою,— продолжала старушка,— с помощью одного французского коммерсанта я добралась до Франции и поступила в Лионе на текстильную фабрику. Нет, я не пала окончательно. Бедствуя, страдая, выкарабкалась как-то и обрела постепенно человеческое достоинство. Тоска по родине все обострялась, точила. В войну повезло познакомиться с героями Сопротивления. Были среди них и русские, тоже выросшие вдали от России. Много поняла я, и нестерпимо горькой стала жизнь в чужом краю. Привел бог вернуться. Теперь не верится подчас, что та, иная жизнь на дне — моя. Старухой ступила я на московские мостовые. Но дожила. Ох, и крепко же люблю я жизнь за ее чудотворность. Но, умирая, не ропщу. Мука тоже еще жизнь. А в смерти даже и боли нет. Ну чего это я? Ведь жить в Москве и не чаяла. Родная земля. Какое счастье...

Любаша настойчиво выпрашивала Костицыну о ее молодости, о Вьетнаме. Далекий древний край давно привлекал ее, пробуждал желание узнать его, видеть. Рассказы Костицыной усиливали это чувство.

До последней минуты Любаша заботилась о бывшей эмигрантке. Ей пришлось закрыть исплаканные глаза Ольги Ивановны. Любаша полагала, что старушка так и не подозревала о близости кончины, хоть и говаривала о смерти.

— Она беспечна, и строит воздушные замки на зыбком песке,— говорила Любаша своей матери. — Очевидно, яд рака подобен чахоточному и, к счастью для смертников, вырабатывает эликсир надежды на выздоровление. Каждый надеется оказаться в числе тех уникалов, кто перебарывает недуг и выздоравливает.

Но когда Ольга Ивановна умерла, на рецептурном листке Любаша прочла: «Мне осталось жить несколько дней, а то и часов. Близится неотвратимое. Смерть, приветствую тебя. Вот оно, равенство для каждого дыхания на земле. Травы, растения, деревья, звери и люди, все мы дети Жизни и Смерти. Нет, мне не страшно. Я и так получила от судьбы отсрочку. А какое счастье умереть на родной земле...»

Вскоре в одном зарубежном журнале Любаша прочла о Сайгоне и поняла, что за несколько десятилетий ничто не изменилось там для вьетнамских женщин.

«В Южном Вьетнаме торговля девушками для нужд оккупантов ведется вполне легально. Как сообщает один американец, за двадцать пять центов в Сайгоне можно купить маленький справочник с адресами бюро, которые предоставляют девушек на срок от недели до одного месяца, а также адреса баров, домов и гостиниц, где солдат может провести несколько часов в «приятном обществе».

Автор книги «Наше преступление там» Джон Мак-Кримон писал, что в начале 1969 года в сайгонской полиции были официально зарегистрированы тридцать четыре тысячи девушек в возрасте от двенадцати лет и старше. В городе имеется более двухсот агентств, которые доставляют «пополнение» из провинции. Торговцы живым товаром нередко прибегают к насилию, а часто даже отправляют упорствующих девушек в лагерь, как «подозрительных».

Профессия участкового врача продолжала открывать Любаше все новые грани жизни. Любаша находила семьи, скрепленные большой любовью. Такую она хотела бы для себя. Счастливая семья казалась ей крепостью, высотой для обозрения, основой работоспособности, питательной средой творчества.

Поднимаясь по бесчисленным ступеням лестниц или на лифте, просматривая карточки поликлиники, заведенные для незнакомых ей людей, Любаша как бы протягивала руку за лотерейным билетом. Что она найдет за дверью с безликим номером квартиры?

Входя к незнакомому больному, Любаша словно попадала в класс, брала наглядные уроки бытия. Она радовалась проявлению добра и простым свидетельствам широты духа. Иногда ей встречались супруги, однополчане по войне. Особенно поразила ее одна пара. Жена лишилась в бою обеих ног, но никогда не ощущала себя калекой, не только потому, что двигалась на протезах, стала инженером-химиком, работала. Удачей ее жизни была любовь, то великое соединение двух жизней, ставших одним целым, которое, как талисман, охраняет во всех испытаниях и отгоняет зло.

Как-то Любаше довелось выслушать признание хворой старушки, прожившей с мужем более сорока лет:

— Спасибо моему старику. Когда вел меня в загс, сказал ненароком: «С каждым годом, родная моя, будем мы счастливее и счастливее друг с другом». И ведь не улещивал, не солгал. Так было и есть по сей день.

Всякое приходилось видеть Любаше: проявления скверности, злобы, мстительности и коварства. Порой свары начинались над еще не остывшим покойником из-за делажа ничемно-скудного наследства. Дрались, рылись в ящиках, искали сбережений, поносили друг друга и умерших...

Любаша бежала из таких семей, испытывая к ним отвращение. А бывало, не только близкие, но и чужие готовы были пожертвовать всем ради спасения и помощи другому. Один и тот же человек мог проявить жадность в одном случае и, не колеблясь, отдать все достояние при других обстоятельствах. Любаша не решалась отныне наклеивать ярлычки и осуждать.

— Хватит ли одной жизни для того, чтобы понять ее смысл? — спрашивала она себя и несмело отвечала: — Нет, мало.

Как-то вызвала ее занедужившая Тереза Павловна Балакова.

Профессор геронтологии, мать Натальи, издавна нравилась всей семье Броницких. Сердечная, мечтательная, много испытавшая, Тереза была значительно ближе, приятнее Любаше, нежели мать Виктора, Мария Павловна, не терпящая возражений, на все имевшая готовый ответ.

— Ты удивлена, что не дочь свою, а тебя, Любонька, я пригласила к себе. Мне требуется опытный лечащий врач. Я давно верю, что ты и есть лекарь, какого мне надобно.

— Что вы, Тереза Павловна. Не лучше ли вызвать профессора, знаменитость, как вы сами. А я... Хоть бы выполнить завет старого педиатра Троицкого: идя к больному — не повредить ему. И то слава богу.

— Отправная точка верна. Но скромность не всегда достоинство врача. Пора бы и дерзать. Ты многое знаешь, проверяешь на практике. Учись дальше. Наука не терпит остановки. Стоять — значит идти назад. Запомни это.

Они разговорились, как два воина одной части. В Терезе Павловне — командире — не было надменности или поучающего рвения, и для своих учеников она была незаменимым педагогом.

Балакова занемогла давно, но упрямо боролась с собой и, главное, старалась скрыть усиливающуюся немоць от окружающих. Жалости к себе она вообще не выносила, как оскорбления или попрошайничества.

— Не то еще в жизни бывало, а выдюжила, — повторяла она, просматривая новый справочник по терапии и отыскивая там симптомы своего недуга.

Она избегала патентованных, мало знакомых ей новых снадобий, предпочитала лечиться настоями трав, гимнастикой и растираниями. Но лучше ей не становилось.

— Обещай мне, Любаша, — к концу беседы потребовала Балакова, — что ни одной душе не проговоришься. Я для всех здорова, а мы с тобой одни доберемся-таки до диагноза. Кровь я сдам на анализ и сделаю все согласно твоему назначению.

— Может быть, сказать Наталье, Марии Павловне?

— Им-то в последнюю очередь,— всполошилась Балакова.

Особенно худо было Терезе Павловне бессонными ночами. Преодолевая боли, продолжала она работать над книгой по геронтологии, итогам многолетних изысканий, раздумий, наблюдений и обследований пациентов. Но мысль не подчинялась ей, уводила прочь от сопоставлений, статистических таблиц, анамнезов долгожителей, возрастных изменений их внутренних органов.

Терезу Павловну всегда манило будущее. Она хотела бы жить сотни лет, ходить по городам, таким же неожиданным и фантастическим, как Новый Арбат явился бы для современников Дмитрия Самозванца.

«Представления человека,— думала она,— меняются со временем. Ни Фламарион, ни Жюль Верн, ни даже Уэллс не способны были перешагнуть рубежи далеких грядущих веков. Для каждого времени пужны иные люди. Время все убыстряется. Полон непредвиденностей уклад земной жизни. Но мучительно сложна и медлительна эволюция личности».

Если бы геронтология смогла сорвать все завесы сроков и дать людям не десятки дополнительных лет, а сотни. Мечты! Иногда воля геронтолога слабела. Стоит ли сражаться со старостью, отбрасывая ее разрушительную силу только на годы. Правда, время мчится отныне на атомной энергии, можно многое сделать, узнать с помощью новых машин, кибернетики в течение одного мгновения. Новые сроки, понятия, расстояния.

«Жить, жить!»

Заклинания не отгоняли болезни. Мысли не успокаивали.

Как слабы люди в диагностике, сколь еще мало знают о своем теле, хотя владеют многими тайнами Земли и ключом от вселенной. Может быть, сосуды или сердечная мышца готовы уже разорваться или рак, присосавшись, умерщвляет какой-либо орган, а больной ничего не ощущает, глухой и слепой перед опасностью. Что это — защита или предательство природы? Иногда беспечная надежда облегчает существование. Смирение и воля в чем-то сродни. Но для чего жизнь, если не бороться за ее конечную победу, за физические и духовные силы?

Наступало утро, и Тереза Павловна, пряча под улыбкой гримасу боли, тщательно одетая, причесанная, от-

правлялась в клинику, чтобы, как она говорила, действовать и тем самым ощущать себя живой.

Когда становилось невмоготу, она запиралась в своем кабинете, тяжело, прерывисто дыша, открывала окно, радуясь ветру, пила настойку пустырника и валерианы, ложилась на диван, закрывала глаза и внушала себе, что ей лучше. Какие-то как бы электрические токи достигали пальцев ног и рук, тело отдыхало, дыхание выравнивалось.

С годами Тереза становилась снисходительнее к дочери и к молодежи в целом.

«Почему мы так преданно, горячо любили своих матерей? — задавала она себе вопрос. — Одна только мысль о том, что осиротеет, лишимся их, вызывала у меня горючие слезы. А стала матерью, и нет должной близости у нас с дочерью. И не у меня одной. Не оттого ли, что положение женщин изменилось? Немало матерей захвачены не семьей, а общечеловеческими делами. Нет прежней романтики домашнего очага. Детство укоротилось и протекает часто вне родного дома. Величие материнского сердца подчас остается не познанным и не оцененным детьми. Святость слова «мать» блекнет».

Балакова хотела для себя смерти на ходу, на прогулке в поле или лесу, так, чтобы последний взгляд перехватили ветви деревьев и случайные облака. «Не быть в тягость людям, Наталье».

Охлаждение дочери все сильнее удручало Терезу. Вызвав Любашу, когда ей стало худо, она надеялась побольше узнать о своей Наталье. Но женщины эти во всем разнились друг от друга.

Любаша любила свою мать самозабвенно и относилась к ней покровительственно, заботливо. Каждодневно с тревогой разглядывала она лицо Веры Сергеевны, с горечью отмечая приметы надвигающейся старости.

— Только бы не она, а я умерла раньше, — часто молитвенно шептала Любаша.

Самым большим бы несчастьем жизни она считала потерю Веры Сергеевны. Иногда та, поддразнивая, говорила:

— Но это неизбежно. Я стара и должна же умереть когда-нибудь, и, конечно же, задолго до вас, следующего поколения.

— Не говори этого. Нет и нет. — Слезы мешали Любаше возражать.

— Пошутила. Буду Мафусаилихой, — улыбалась рас-  
троганная Броницкая.

Совсем иной была Наталья, и Тереза понимала это.

Мария Павловна тоже редко виделась с сестрой. Моложе ее и физически гораздо крепче, она сохранила выносливость и здоровье, никогда не предавалась пустым, по ее определению, не связанным с действительностью мыслям и несбыточным фантазиям.

— Этим легко нагнать на себя сплин и выйти из строя, — поучала она близких, — а вокруг столько дел важных и полезных. Но моя милая сестрица Тереза способна видеть несуществующее и плакать над подохшей канарейкой.

Трудно было найти характеры более противоположные, чем у двух сестер Балаковых, и если иногда крайности, дополняя друг друга, сходятся, тут этого не произошло. Находясь врозь, они как бы даже тяготели друг к другу, но, встречаясь, враждовали. С годами разность их усиливалась. Зная это, обе предпочитали видеться реже.

С сыном Марию Павловну соединяла общая профессия. Холодность матери не беспокоила Виктора. Он боялся всякого вторжения в свою жизнь. Издавна они не мешали друг другу, сохраняя скорее товарищеские, чем родственные отношения. К тому же мужской склад характера Марии Павловны, уверенность в себе, пренебрежение к романтическим переживаниям, любовь к одиночеству способствовали почтительности и даже восхищению, которое сизмала питал к ней Виктор.

Узнав о болезни сестры, Мария Павловна позвонила Виктору.

— Отдыхаешь перед турниром, сын?

— Да, блаженствую и тренирую бицепсы для раунда с оппонентами. Докажу им единство методологии всех наук и искусств.

— Благословляю, но истина эта нелегко доказуема. Кстати, ты, кажется, сторонник совместных научных трудов? Претендуешь на то, чтобы писать, скажем, исследование о восемнадцатом веке и его деятелях коллективно?

— Нет, я не перечеркиваю индивидуальность творящего, но воспользуюсь, однако, всей суммой знаний, добытых множеством ученых. Ильф и Петров остались уникальным явлением единства. Историки лучше всего



писали в одиночку, и никто не помешает впредь ученому или художнику наедине с собой находить и совершенствовать свои творения.

— Легче стало. Боюсь постоянных многолюдных изысканий и в научной работе завидую старым зубрам.

— Неужели я такой путаник, что ты меня не поняла?

— Ей-богу, осилила. Но теперь — о другом. Тетка твоя, Тереза, слегла и, представь себе, выбрала сама себе врача. Твоя Любаша, оказывается, по мнению профессора Балаковой, одна заслуживает как специалист полного доверия... Но ближе к делу. Я эти дни перегружена работой. Побывай у Терезы.

Виктора не надо было просить. Уже через час, нагруженный пакетами с фруктами, он появился в квартире Терезы Павловны и просидел у нее до позднего вечера, развлекая беседой, читая вслух и ухаживая лучше опытной сиделки. Виктор ждал Любашу, но она дежурила в поликлинике и по телефону расспросила больную о ее самочувствии, предупредив о своем приходе на следующий день.

Утром Виктор был уже снова на посту, у постели Балаковой. В полдень вошла Любаша. А вскоре провести подругу явилась и Вера Сергеевна Броницкая.

— Как тебя лечит Любаша? — спросила она Терезу Павловну, указывая на дочь.

— Что ж, она родилась для своей профессии и отнюдь не раздавлена справочниками, рекламируемыми патентами, показателями электрокардиограммы, РОЭ и биохимических анализов. Все порознь вроде бы и верно, а в сумме — поль. Ведь человеческий организм очень сложен и своеобразен.

— «Врачу — исцелися сам!» Ничего, поправишься, — с внушительным убеждением, свойственным психиатрам, отозвалась Вера Сергеевна. — Главное, как говаривал твой папенька: держи хвост трубой и не кисни. Все ведь зависит от нас самих. Крепи душу — утетишь плоть.

Виктор не вмешивался в беседу трех врачей. Позже, вместе с Любашей, он вышел из квартиры Балаковой.

— Как твои дела? — спросил он.

Любаша рассказывала другу о своей работе торопливо, как бы стараясь помешать ему сообщить ей что-то важное для обоих.

Виктор долго не прерывал и почти не слушал.

— Я люблю тебя,— выговорил он вдруг твердо.

Любаша засмеялась.

— Ты — старый коллекционер, Вик.

— Не унижай себя.

— Нисколько. Собиранство — признак пытливости и неугомонности больше, нежели темперамента. А слово и понятие «любовь» подверглось инфляции, и мы пользуемся им часто всуе. Для чего только мать назвала меня Любовью. Какое нелепое имя.

Разговор обернулся шутками.

Расстались молодые люди, однако, недовольные собой и друг другом. Виктор пошел читать лекцию в институт.

Дружба его со студентами-вьетнамцами крепла. Они часто гуляли вместе, посещали выставки и театры. С благодарностью учились они у Балакова, читали книги по истории, которые он не уставал подбирать им. Одновременно и Виктор многое приобрел в общении с ними. Ему довелось узнать много удивительного, невообразимого о далекой земле, ее древней и своеобразной культуре. Край изнемог от колониальных вериг. Принуждение и нищета народа превосходили все, что ранее слышал Балаков. Война тайфуном неслась над Вьетнамом. Виктор восхищался мужеством многострадального народа. Он мог часами читать о Вьетнаме и признавался, что хотел бы видеть страну, которую полюбил, узнать ближе ее людей. Не наблюдать издалека, а помогать всем, чем можно. Соединиться в борьбе за свободу.

— Едем с нами. Вы будете преподавать в наших вузах,— обрадовались молодые вьетнамцы. — Нам необходимы ваши знания.

— Пока не могу,— не без сожаления отказался Виктор. — Вскоре я защищу докторскую и должен буду работать в Москве. А потом... надеюсь побывать у вас и с вами.

Однако интерес к Вьетнаму возрастал и все креп. Желания Виктора раздваивались. Не надеясь увидеть восхитительные места, он настойчиво выспрашивал новых знакомых об их жизни, семьях, о прошлом и настоящем Вьетнама.

Особенно нравился Балакову молодой учитель Буй Ван Хо. Отец его был рикшей. Так и не удалось ему купить более современную коляску, прилаженную к велосипеду. Он долго влачил бы еще жалкое существование на

улицах великолепного Сайгона, если бы не случайное спасение. Рикше встретились незаурядные, смелые люди. Презираемый, несчастный возчик стал одним из руководителей партизан.

Многие годы Нгуен Хуанг Хо успешно воевал с работодателями и получил от однопольчан громкое прозвище «Седого храбреца». В непроходимой чаще, в партизанском отряде Нгуен Хуанг Хо нашел и личное счастье — женился, стал отцом...

Гибель подстерегла бывшего рикшу в сражении с врагами Вьетнама, за несколько лет до смерти его великого наставника Хо Ши Мина.

Его сын, учитель и воин, продолжал дело отца. Широко образованный в разных областях, он успешно овладел наукой революционной борьбы и победы.

Виктор проводил свободные часы в обществе вьетнамских друзей. С Любашей он виделся редко. Досуг свой она часто делила с Альфиным. Как-то они оба отправились за город к Томиной.

Не выбирая дороги, шли Любаша и Альфин по талому снегу, унылому, как дым заводских труб. Морозы внезапно сменила оттепель. Неприятно оголенный лес сипло и протяжно подвывал, и становились понятнее леший и баба-яга. Безлистые ветви орешников царапались в чаще, ноги вязли и отпечатывались в порыжевшей скользкой земле. Грозным дискантом, вдруг сменившимся басовыми нотами, о чем-то вещал ворон. Любаша продрогла, хотя температура воздуха была выше нуля. Как недоношенное дитя, уродливо и досадно выглянула весна в дни метелей и холода. На опушке леса стояли жилые зимние дачи поселка Журавли. Скорее по обязанности, чем по тревоге, заливисто лаяла собака. Альфин, прислушиваясь, сказал:

— Знаете, Любочка, что люди разных национальностей, говорящие на иных языках, неодинаково воспринимают одни и те же звуки. Нам кажется, что пес издает гав-гав, а немецкое ухо ловит — вау-вау. Корейцу слышится ганг-ганг. То же с мяуканьем и мышинным писком. Японцы уверяют, что мышонок визжит суэ-чуэ.

— Впервые слышу об этом, — поглощенная другими мыслями, ответила Любаша. — Вот и дача Томиных. Тот удивится Елизавета Марковна. Я, впрочем, с детства зову ее тетей Люшей.

Действительно, гостей не ждали, но обрадовались им,

За столом, со спицами в руках, рядом с хозяйкой сидела Олимпиада Петровна.

— Ба, знакомые все лица. Чайку им скорее с лимоном. Преотличное средство от гриппа. А я вот до краев бочку свою медком залила. Не жила, а летала,— начала свой рассказ Голубочкина.

Вместе с несколькими сверстниками-пенсионерами она открыла в своем жакте, состоящем из шести домов, библиотеку и читальный зал, где устраивались встречи с людьми необычных судеб и труда.

Не щадя сил, Олимпиада Петровна собирала книги и покупала их на свои и собранные среди будущих читателей деньги. Определили дежурства, изучили основы библиотечного дела.

Летчик, в далекие годы спасавший экспедицию челюскинцев, явился первым гостем маленького клуба интересных встреч, не вместившего всех желавших услышать его воспоминания.

Вскоре в библиотеку записались юные и пожилые книголюбы. Работа завертелась. Олимпиада Петровна незаметно отошла, уверенная отныне в жизнеспособности своего начинания.

Ее присутствие оказалось необходимым и в семье Виталия Михайловича Томина. Там все твердило о неблагополучии. Елизавета Марковна решилась на развод с мужем. Двери дома стояли незакрытыми. Вещи, пыльные, ненужные, ждали, когда же в ящиках со стружками их отправят прочь из неуютного дома. И слякотная оттепель, грязнее пемытых окон, еще более подчеркивала быстро нараставшее разрушение.

Елизавета Марковна в черном платье, с небрежно зачесанной косой, зябко поводящая плечом, точно вдова, двигалась по комнатам и говорила много, нервно и все о том же. Олимпиада Петровна не мешала ей сбрасывать давящие душу тяжести. Жена Томина безжалостно казнила себя за прожитые впустую годы.

— Не правда ли, бессмысленна моя жизнь? И чего ради? — обращалась она почти к каждому входящему и, едва завидев Любашу с Альфиным, задавала им этот же вопрос. — Если б меня любили, нежили, считали другом, ну, добрым соседом. А то ведь ничего подобного не было. Инерция или надежда вели меня по времени. Год от года ниже и ниже в подвал какой-то спускалась. Мы вовсе

не говорили друг с другом месяцами. Только руководящие указания, так сказать, давал мне муж. По имени не называл. Скажут мне чужие «Люша», а я задумываюсь: кто это? Ах, кажется, я. Не изменял будто бы. Ловок. Выбирал на ходу... А потом сердцем заболел, стал беречь себя. Я, мол, государству нужен, издательству, без меня развалится. Чем не мания величия? Это ведь тоже делу во вред, не менее водки или карт. И смысл-то работы потерял, не она, а мелкое честолюбие толкало. Все ради этого... А я? Правдушка — горькое питье. Смотрела, как от человека одна оболочка осталась, и та заячья. Где честолюбие — там угодничество, трусость, изворотливость.

— Цепная реакция? — отозвался Альфин.

— Мы с такими, бывало, дрались, — назидательно вставила Олимпиада Петровна. — Но, друг мой Люшенька, может, ты преувеличиваешь? Пристрастна, осерчала. Не торопись с выводами. Двадцать пять лет брака в помойку выбросить хочешь. Разве любви не было? Кабы так, давно его за ворота. Горячая ты, увлекающаяся. То без меры хорош, то подлец подлецом. Все мы такие, и туда и сюда.

Но Елизавета Марковна обрушивалась на себя, на бабью свою глупость, боязнь жизни и труда. Затем решительно объявила:

— Нечего тары-бары разводить. Я уже подала на развод. Самопрезрение меня измучило. Хоть годок, да проживу по-своему, пусть трудно, но с чувством собственного достоинства.

Любаша молчала, про себя одобряя решение Томиной. Ничего не сказала более и Олимпиада Петровна.

«Не мешайте человеку осознать себя и не желайте ему того, чего не хотели бы себе», — вспомнила она один из заветов покойного друга Павла Балакова.

## *Г л а в а   ч е т ы р н а д ц а т а я*

### З А Щ И Т А

Близился день, которого Балаков ждал вот уже несколько лет. Защита диссертации! Казалось, главное уже позади, нужные факты и доказательства найдены, можно

угомониться. И, однако, не наступал покой, первые на-  
пряглись. В бессонные ночи возвращались, всплывали,  
требуя немедленного ответа, вопросы. Обычно перо сни-  
мало груз сомнений и дум, исписанная бумага как бы  
вбирала часть его самого. Творческие находки, решения,  
запечатленные слова, освобождая, охлаждали мозг. Но  
теперь этого не получалось. С бессонницей нахлынули и  
воспоминания:

«Дезертируешь в прошлое»,— доносился голос Олега  
Броницкого.

«Ложь. История — боевая наука, острая, как полити-  
ка, служит настоящему»,— протестовал Виктор.

Звено за звеном перебирал он цепь основных поло-  
жений своей диссертации. Его издавна волновала право-  
мочность применения крайних мер в борьбе за свободу  
и правду в разные века. Суровость французской буржу-  
азной революции логически оправданна. Не знающий по-  
щады, карающий Кутон сполна познал коварство врагов  
и погиб... Не потому ли, что в революционном экстазе  
опередил время?.. Или ошибался в способах борьбы?..  
Возможно ли оправдать подчас напрасно пролитую кровь?  
Виктор убеждался, что движение истории во времени ве-  
дет к иным методам. Ныне мы говорим и о возможности  
осуществить социалистическую революцию мирным пу-  
тем, и о возможности образования государств националь-  
ной демократии. Иная эпоха. С ее высоты не следует ли  
взглянуть на опыт французской буржуазной революции?  
Велико притяжение народов к идеям социализма и ком-  
мунизма. Не значит ли это, что надо избежать мер, раз-  
общающих людей, отталкивающих от революционного  
действия!

К примеру, вьетнамцы... Сколь много нового они вно-  
сят в борьбу за свободу и независимость!.. Революции  
нужна и моральная победа над врагом. Он вспоминал  
важные документы пролетарских революций: Париж-  
ской коммуны, русского Октября.

Решающими были для Балакова слова Ленина.

«Нас упрекают,— говорил Владимир Ильич,— что мы  
применяем террор, но террор, какой применяли фран-  
цузские революционеры, которые гильотинировали без-  
оружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем  
применять». Эта важная мысль прозвучала на десятый  
день Октябрьской революции. А более чем за десять лет

до этого Ленин, говоря о необходимости «плебейских» методов в революции, писал: «...не значит, конечно, чтобы мы хотели обязательно подражать якобинцам 1793 года, перенимать их взгляды, программу, лозунги, способы действия. Ничего подобного. У нас не старая, а новая программа... У нас будут, коли доживем мы до настоящей победы революции, и новые способы действия, соответствующие характеру и целям стремящейся к полному социалистическому перевороту партии рабочего класса».

Высокое человеколюбие провозгласили первые декреты Октября. То было подлинным воскресением добра и справедливости. Крови жаждали и пролили ее враги нового строя. Террор контрреволюции вызвал необходимость ответных мер. Виктор перечитывал подробности гибели Урицкого, Володарского, покушения на жизнь Ленина. Свиток жертв контрреволюции был очень длинен и мрачен. Гуманность сопутствует пролетарской и национально-освободительной революции. Коммунизм — это гуманизм. Советский историк должен смело вторгаться в прошлое. Образы Кутона и его соратников не уმაляет справедливый суд потомков. Современный земной шар, жизнь его обитателей стали иными. Балаков задумался о своих учениках и друзьях из Вьетнама, Африки. Они участники ширящейся национально-освободительной борьбы на своей земле. «Я не могу пользоваться устаревшими канонами, передавая им свои знания. Они ищут не автоматический передатчик, а мыслящего ученого. Для этого я обязан сохранять искренность всегда и во всем. И теперь, защищая свою диссертацию, — тем более. Жаль, если меня не поймут. Значит, я еще не готов... Разномыслие с оппонентами?.. Что ж! Даже то, что я думал, когда писал диссертацию, оказалось для меня утром, а сейчас — полдень».

Наступил переломный для Виктора день. Он решил не брать с собой ни написанного, ни напечатанного текста своей работы.

Не то отуманенный, не то просветленный, он убедил себя при защите отстаивать также и эти мысли, свой новый подход к теме, чего бы это ему ни стоило. Провалят — пусть. Ведь, по сути, он сам считает свою работу незавершенной. Ему нужно не звание, а утверждение себя как ученого, способного развивать науку о судьбах народов — историю. «Пусть со мной спорят. Если дока-

жут, я охотно признаю свою ошибку. Главное, что обязан сделать ученый,— это в песках прошлого найти золотые крупницы, отсеять то, что сегодня уже не имеет права жить».

Накануне вечером Мария Павловна торжествующе сказала ему по телефону:

— Сын — доктор наук, это, право же, лестно. Тьфу-тьфу, не сглазить. Как-никак много ты унаследовал от меня. Я надеюсь-таки быть матерью академика.

Виктор хотел огрызнуться, но сдержался и сказал сухо:

— На это особо не рассчитывай. Звание — не более чем завершение чего-то, а как самоцель оно для меня пустой звук.

— Ну, знаешь, друг мой, это уж слишком. Я сама — научный работник и горжусь, что стала кандидатом.

Как ни старался Виктор добиться полного спокойствия перед предстоящей защитой, ему это не удавалось. Бреясь, дважды порезал подбородок, ошибся в выборе рубахи, галстука и не смог допить чашки черного кофе. Эти приметы растерянности рассмешили его, но не помогли преодолеть бесконтрольной тревоги. Он задел столик и уронил стакан с водой. Подбирая осколки, Виктор поймал себя на мысли о том, хорошее это или плохое предзнаменование.

«Зеркало — к беде, стекло — к удаче, но разлитая вода... Фу-ты, чушь какая лезет. А все-таки...»

Чтобы меньше курить, он достал несколько мятных леденцов и положил их в карман вместе с пачкой сигарет и коробкой спичек. Наконец сборы закончились, а времени еще оставалось много. Виктор пошел пешком. Мысли, одна ничемнее и обрывистее другой, возникали в мозгу и тут же исчезали. Виктор заметил, что наблюдает за собой как бы со стороны.

Все такой же раздвоенный и заторможенный, он поднялся по лестнице института, позабыв про лифт, и вошел в конференц-зал. Виктор хорошо знал эту глубокую, квадратную, в три окна комнату, но никогда она не была столь значительна, как в этот день. Над столом, покрытым зеленым сукном, висел портрет Ленина в деревянной раме, и казалось, что Владимир Ильич, подавляя улыбку, внимательно смотрит вниз, на головы сидевших членов ученого совета, на разложенные перед ними бумаги.



Все в этот раз было обычным. За столиком поменьше уселись две стенографистки. Одна поспешно доедала кусочек бутерброда. Лицо ее, полное и синеватое под слишком ярким прямым светом, выглядело больным и усталым. Вторая, помоложе и наряднее, хмурилась и с какой-то неуловимой обидой посматривала на собравшихся. Она была хороша собой, но привыкла, что ее не замечали, как любой автомат или электронную машину. Виктору вдруг стало жалко эту незнакомую женщину, затаенную обиду которой он прочитал.

Все места в зале оказались занятыми. «Человек сто, а то и сто пятьдесят,— скорее огорчился Балаков. — Тема-то ветхая. Что их пригнало?»

До начала торжественного судилища диссертант уселся на стуле у окна, рядом с конторкой, за которой ему предстояло выступать.

«Собственно, чего я тревожусь? — мысленно внушал себе Виктор. — Диссертация уже одобрена, рекомендована к защите сектором. Все предрешено».

Он заметил у многих брошюрку в мягкой серой обложке — его автореферат. Время, казалось, едва передвигалось. Но появился председатель ученого совета, за ним — ученый секретарь института и человек тридцать ученых. Все оживилось.

«Из сорока — тридцать два члена совета. Что же, более двух третей,— значит, состоится», — как бы регистрировал происходящее Виктор. Внезапно среди присутствующих в зале он увидел ярко-зеленое пятно и узнал свою мать: Мария Павловна была в платье травяного цвета. Приподняв ладонь, она пригнула пальцы в знак приветствия. Высокая, худая, с широко раскрытыми большими светлыми глазами, Мария Павловна казалась издали совсем молодой. Но особенно удивило и раздосадовало Виктора присутствие на защите Гигиши, старавшейся быть незамеченной.

«Если б не она пришла сюда, а Любаша», — помрачнел Виктор.

Председатель ученого совета встал и, монотонно шепелявя, объявил, что на повестке дня защита докторской диссертации кандидата исторических наук Виктора Михайловича Балакова. Затем секретарь ученого совета огласил биографические сведения о диссертанте, перечис-

лил его работы по теме диссертации, уже напечатанные фундаментальные статьи и другие публикации. Назвал и передал содержание монографии Виктора о французской буржуазной революции конца восемнадцатого века.

Виктор никак не мог стряхнуть оцепенения. Он чувствовал себя, как человек, которому спится, что он проспался и борется со сном.

Председатель ученого совета и ученый секретарь заметно разнились между собой не только потому, что первый перешагнул за семьдесят, а второй не достиг и сорока пяти. Председатель был академиком, тем самым, который отличался способностью погружать в дремоту любую аудиторию.

Секретарь ученого совета был олицетворением неспокойного жадного мышления. Его мечтой было довести до всеобщего сознания истину, что история вливается в современность, как растаявший горный ледник, питающий бурную реку. Он жил всей совокупностью времени, не принимая деления на вчера и сегодня и доказывая это в своих трудах.

Виктору нравилась в ученом секретаре неутомимость мышления и своеобразная ирония.

— Мы с тобой в чем-то остались мальчуганами, возводим домики из кубиков и вот уже дошли до крыши, а вдруг разрушаем и начинаем строить сызнова, — сказал Балакову как-то ученый секретарь и, положив по-приятельски руку на его плечо, продолжал с нарочитой меланхоличностью: — Знаешь, что главное в нас с тобой? Мы лишь умозрительно рвемся к выдвижению, на словах подчас циничны, а в итоге деремся только за правые дела. Это, брат, не подлость нас иногда соблазняет — нам с ней не по пути, — это только, так сказать, что-то вроде тоски по подлости. Хорошо бы, мол, так-то и так-то поступить, легче, а на деле, наоборот, с прохвостами схлестываемся. Кровь предков, честных бойцов, во внуках, видимо, бушует. Ни подхалимами, ни трусами, ни отступниками не будем. Не получится.

— Выходит, мы идеалисты в действии, материалисты в теории.

— Нет, просто потомки рыцарей пролетариата, победителей в Октябре.

Виктор вспомнил этот разговор в час защиты диссертации.

Внезапно над головой диссертанта набатом прозвучало:

— Слово предоставляется Виктору Михайловичу Балакову.

«Как, уже? Да я ведь не подготовился... Тезисы. Где они? Неужели забыл? Смял-таки шпаргалку. Э... все равно ничего в ней не разобрать. Да... Кутон. А нужно ли? Ведь о нем так мало достоверных материалов. Один из многих... Но теперь мне ясно, он — фанатик... С чего начать? Не отказаться ли?»

Внешне спокойный и кажущийся собранным, в действительности — как роща в бурю, Виктор занял место на маленькой трибуне. Сначала речь его лилась плавно, только очень пересыхало во рту, а показать это всем, глотнуть воды не хотелось. Тихо, вяло перечислял он свидетельства и мнения видных французских историков — Мадлена, Матьеа, Мишле, Тьера, Луи Блана, часто преднамеренно и поверхностно описывающих события эпохи своих отцов и дедов. Балаков повторял неоспоримые заключения Маркса, Энгельса. Высказывания Ленина и положения советской историографии призваны были доказать его собственные мысли, созревшие в последние дни. Коротко коснулся он книг Покровского, Тарле, Фридлянда, Волгина, Манфреда и других русских знатоков вопроса. Красочно рассказал о восемнадцатом веке, в котором чувствовал себя уверенно. Но вот шквал мысли подхватил и поднял над залом три имени, три трагических образа: Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Скомкав листок, похожий на стенографическую запись с неразборчиво густой вязью букв, Виктор откинул голову, распрямил чуть сутулые плечи и, заметно похорошев, подобно каждому готовому спорить, убежденному человеку, заговорил громко и вызывающе. Его голос приобрел необычную звучность.

— Революция, — начал он, — подобна вечнозеленому дереву. Ее надо беречь. Она — надежнейший путь к свободе и правде. Историки на протяжении нескольких десятилетий шли неизменно по проторенной тропе и создали трафарет, которому вовсе не обязан, по-моему, следовать каждый научный работник.

Я не хочу канонизировать Робеспьера, хотя он был выдающимся буржуазным революционером.

К сожалению, люди часто отворачиваются от опыта истории и повторяют ошибки. Пример тому американская агрессия во Вьетнаме. Там история «повторилась», и на этот раз не только как фарс, но и как трагедия.

Снова вернувшись мыслью к французской буржуазной революции, Виктор продолжал:

— Робеспьеристы — самые передовые бойцы тысяча семьсот девяносто третьего года, но третье сословие, из которого они вышли, отшатнулось от них. Время победы их программы еще не наступило тогда. Но не только в этом дело. Они не были свободны от промахов и ошибок. Каждая ошибка — это оружие, вложенное в руки врага. Внутрипартийные распри привели к кровопролитию. Соратники стали врагами. И ведь совсем не случайным было безмолвие городских коммун в часы поражения робеспьеристов. Участь их печальна, а судьба безногого калеки Кутона особенно ужасна... Но только из-за этого им нельзя прощать политических ошибок. Я не забываю, что это была буржуазная революция. Но оправдания в этом нет... Исторически закономерно были сметены и робеспьеристы. А вслед за бесчинствующей, ошалевшей от жажды наживы Директорией и растоптавшим ростки нового правопорядка императором Наполеоном круг как бы замкнулся: вернулись ничтожнейшие Бурбоны, и началась карусельная смена режимов.

Я убежден, что революция — всегда очищение от скверны, она не прощает тем, кто пользуется ею для личных страстей. Робеспьеристы об этом забыли. Террор надо было обуздать. Рядом с Робеспьером были талантливый, но самовлюбленный Сен-Жюст и неистовый фанатик Кутон. Революция, величайшая из войн за идею, обязательно справедлива. Никогда не совершалась она во имя низменных чаяний или зла. Надо было беречь величие революции и ее притягательную, магическую силу человеколюбия, гуманности.

Балаков говорил долго и увлеченно, не замечая все нараставшего недоумения аудитории.

— Кутон слишком много думал, как все деспотические натуры, о мести своим врагам и вселял страх, забывая высокую цель свободы, — заключил Балаков. — Робеспьер, убежденный, что живет и борется за права третьего сословия, так и не смог в себе самом побороть себялюбца... Я содрогаюсь, читая подробности казни на

площади Грев, но трагический конец этих борцов не меняет моего мнения о них.

В зале зашумели. Виктор, как сквозь вату, слышал скрип голосов.

— Что он говорит? Да ведь это против фактов, — недоумевал дружелюбно настроенный к Балакову ученый секретарь.

Первый из трех оппонентов поспешно взошел на трибуну, легонько отстранив Виктора.

— Тут, мне кажется, произошло явное недоразумение. Диссертант вольно или невольно противоречит выводам своей собственной диссертации. — И оппонент зачитал несколько абзацев из автореферата.

Гул нарастал. Из зала кто-то выкрикнул:

— Каков же все-таки вывод самого Балакова? Или он попросту запутался? Пишет — одно, говорит — другое.

На пепельно-мертвенном лице председателя ученого совета появилась едва заметная кривая улыбка.

Виктор отошел к окну.

«Утоп, провалился», — подумал он, не то отчаиваясь, не то смеясь над собой.

Без малейшего сострадания оппонент обрушил на Балакова остроконечные камни критики. Затем слово взял второй оппонент. Он не скрывал растерянности и волнения и заявил между прочим:

— Признаюсь, я потрясен выступлением коллеги Балакова. Он оговаривает людей, которыми гордится передовая история, и тем льет воду на мельницу наиболее реакционных теорий. Со времен Питта по наши дни слышится клевета в адрес этих безупречных, трагически погибших революционеров. Известно ли диссертанту, что Робеспьер сам предлагал отмену смертной казни? Мы знаем по документам, что особенно неистовствовали в терроре и отправляли на гильотину часто невинных людей именно те, кто затем сбросил робеспьеристов, так называемые термидорианцы: Тальен, Фуше и другие. Эти бывшие члены Якобинского клуба — поставщики гильотины — были и палачами и предателями. Они и предали Робеспьера, Сеп-Жюста и Кутона. А стяжатели, спекулянты, такие, как Баррас, Уврар и прочая сволочь, щедро оплачивали их коварство и преступления... Робеспьеристов погубили контрреволюционеры. Разве Балаков оспаривает это где-либо? Его посланки в области эконо-

мики страны, характеристика расстановки сил были правильными. И вдруг совершенно неожиданный поворот...

Третий оппонент также резко оспаривал концепцию Балакова, отмечая, однако, некоторые достоинства его работы, особенно глубокий анализ общественных отношений, приведших Францию к революции.

— Причина падения робеспьеристов вовсе не в чертах характера Кутона или иных якобинцев, а гораздо глубже, — говорил этот ученый. — Она — в недрах страны, в окрепшей мелкой буржуазии. Это понимает и показывает нам Балаков, но дальше отстаивает какой-то надклассовый гуманизм. Правда, что внутрипартийный раздор причинил тяжкий вред и помог врагам разбить революцию. Но он имел свои корни. «Революция должна быть вне подозрений и не может быть скомпрометирована», — заявляет Балаков. Это верно. Иначе грядет чудовищная апатия и хаос, утверждается нигилизм... Однако не в этом суть диссертации, которую я ждал от Балакова. Он, идя долго правильным путем, внезапно свернул с им же проложенной дороги в чащу добрых, но, увы, исторически не оправдавшихся наивных представлений о борьбе восходящего и отжившего классов. И отошел от научной истины. Вот Балаков говорил о разочаровании коммуны в трагические дни Термидора. А ведь ему ли не знать, что на площади Грев, где казнили робеспьеристов, как раз и сошлись их сторонники. Они хотели спасти осужденных. Но силы были неравны. Войска под командой продажного Априо уничтожили бы борцов, как день за днем после Термидора новое правительство обезглавливало сотни истинных революционеров. Тюрьмы, выплеснувшие аристократов и буржуа после гибели Робеспьера, тут же наполнились трудовым людом Парижа, и расправа с ним была чудовищной. Гильотина, Кайенна, голод, бесправие...

После речи третьего оппонента Балакову предложили выступить снова. Бледный, с бисерными каплями пота на лице, неестественно громко он заявил:

— Очевидно, меня не совсем точно поняли. Суть моих выводов иная. История — великий учитель. Со времени первой классической буржуазной революции минуло почти два столетия. Таких революций на земле больше не будет. Наступила эпоха иных, пролетарских и националь-

но-освободительных революций. Мы должны из опыта прошлого пользоваться тем, что помогает развитию и углублению современных революций, привлекает народ. Мир сейчас переустраивается, и ничто уже не остановит социальных вихрей на разных континентах.

Я попытался оценить прошлое с вершины сегодняшнего дня. И пока я ничего не меняю в своих взглядах на предмет моей диссертации. Но мне думается — мысли, высказанные мною здесь, могут пригодиться в бесконечном движении науки о прошлом. Я буду продолжать свои поиски, служить истории, которая так нужна для настоящего и будущего.

Зал молчал.

Между тем процедура защиты диссертации продолжалась: определили счетную комиссию, члены ученого совета остались в зале, чтобы голосовать, а все остальные вышли в соседнюю комнату и на лестничную площадку.

Мария Павловна скрылась за завесой табачного дыма. Она едва владела собой. Большие пухлые ее губы посинели, глаза смотрели растерянno, недоуменно.

Окруженная несколькими молодыми научными работниками, шумела Гигиша.

— Страх, вот что вас губит. Привыкли к стандартам. А тут прозвучали новые мысли. Кому вы, зайцы от науки, нужны!

С Гигишей спорили, но она не отступала.

Голосование окончилось. За присуждение Балакову звания доктора исторических наук опустили всего пять белых шаров. Все остальные оказались черными. Диссертация была провалена.

Виктор попросил мать и Гигишу не провожать его. Желая уединиться, он прямо из института направился к Москве-реке, с трудом осознавая происшедшее. Усталость побеждала другие ощущения. Хотелось дремать. Виктору казалось, что после долгого и тернистого пути он добрался наконец до вершины, но внезапно с уступа полетел в пропасть. Падал медленно и никак не мог достигнуть дна. Он часто сравнивал свою волю с погонщиком, а себя с мулом. Но сейчас как бы навсегда потерял силу, движущую его вперед.

Виктор давно убедил себя, что человек не рождается для одной только стези. Его жизнь могла бы, при иных

обстоятельствах, сложиться по-другому. Сделав, однако, первый шаг в определенном направлении, каждый избирает свой жребий.

Задолго до неудачи с защитой диссертации Виктор, отдыхая, любил представлять себе пути, по которым куда не шел. Мечта эта могла бы послужить началом перемен всей жизни, ведущим к подвигу. Его пленяли образы Томаса Пейна, англичанина, боровшегося за свободу Америки, Байрона, умершего в Греции, героев революционной войны с фашизмом в Испании.

Виктор записывал в дневнике:

«История без современности не существует, как нет современности без истории. Где грань между ними? Вчера неизбежно сольется с сегодня. Итак, движение без начала и конца. История — что Земля. Все оставляет на ней след, отлагаясь пластами или штрихом. Пока жива планета, существует и ее тень — история. Диалектика нигде так отчетливо не проявляется, как в мудрой регистраторше бытия — госпоже Истории. Вот почему нельзя только созерцать, надо действовать».

Сейчас, после провала диссертации, он сначала не хотел ничего и стыдился себя.

— Э, здравствуй, старина, — раздалось вдруг рядом, и кто-то размашисто шлепнулся на скамью под кремлевской стеной. — Мыслишь? Надеешься изобрести рычаг Архимеда? Без нас, брат, найдут, но вот вопрос — для чего?

— Вадим?! Давненько не видались, — отозвался Виктор.

— Ты что-то печален? Но все проходит, синьор мой, пройдем и мы.

— Философствуешь?

— Нет, скучаю. Надоели все и всё. Кстати, вечный студент, когда же ты разделаешься с докторской? Ведь деньги на улице не валяются, а жалованье сразу поднимется, и ощутимо.

— Так вот каков твой рычаг Архимеда?

— О, ты, я вижу, не перестаешь глупеть. Готовенький утопист. Неужели всерьез тебе знания потребовались? Увы, всего не изучишь и дураком помрешь. А зарплата — это реальность, так сказать, цена жизни. Свински устаю от своих лекций и текущего момента.

Выслушав Вадима, Виктор с горечью подумал, что некоторые люди не меняются с годами, и, наверно, это



о них говорится в старинной поговорке: «Какой в колыбельке, такой и в могилке».

Вадим встал.

— Увы, ты был в последнее время медузообразным слюнтяем, им и остался. Желаю прогрессировать в том же направлении.

Он картинно помахал перед собой рукой и скрылся за выступом кирпичной сторожевой башни.

Виктор поднялся и подошел к парапету набережной. Вода Москвы-реки казалась расплавленным металлом в лучах туманной луны.

«Я — еретик, избравший свой жребий. А все-таки тошно. Что дальше? Снова двинуться по пройденному кругу?» — с мнимым равнодушием размышлял Балаков.

Он испытал прилив слабости, той, которая подчас рождает тупую силу, необходимую для самоубийства. Но это прошло. Ему захотелось увидеть секретаря ученого совета, лысеющего, умного человека, чем-то похожего курносым лицом на Сократа.

«Ну и удивил ты меня, старина, — услышал он в мыслях его голос, — поза, озорство или дурость? Что за чертовщину ты понес? Противопоставил ленинской истине абстрактный гуманизм. Знаешь ведь историю революций, к чему вели беспечность и доверие? К пуле в спину. Много погибло людей из-за благодушия и доброты. Куда ни глянь — наглядные тому уроки».

Виктор шел по безлюдной набережной. Дед Павел Александрович, стуча костылями, казалось, сопровождал его. Он остро ощутил его близость.

«Ты будто теперь отца Гамлета, но я сам призвал тебя, дед», — обратился к нему Виктор. Жизнь старого Балакова в этот слякотный, крепко пахнувший весенней травой вечер мелькнула зарницей. Чего только не пережил старый Балаков: поражение революции 1905 года, несбывшиеся ожидания, чужие страны и скитания, безработицу, борьбу во всем ее многообразии, сражение за Октябрьскую революцию, ранения, долгое ожидание смерти в болотистом лесу. Бои и самоотречение. Вспомнилась Виктору мертвая Евлалия, раскачиваемая ветром на виселице. Какой малостью была его жизнь по сравнению с ежечасным подвижничеством поколения дедов и отцов. Нужно было, не откладывая, решать — как жить дальше? Виктору ни на миг после провала диссертации не приходи-

ла мысль оставить работу над той же темой, уйти прочь от исторической науки. Но отойти на время было ему необходимо. Сейчас он хотел стать ближе к людям, их повседневности, борьбе. Такая дистанция для познания самого себя казалась молодому ученому обязательной. Он был недоволен собой, и в этом таилось самоосуждение. Он не поддавался самообольщению, считая его тормозом и даже опасностью для духовного движения.

«Я никогда не оставляю того, чем увлекся смолоду, — историю. Отойти в современность весьма поучительно. Наука не терпит отчуждения. Упал с коня — скачи дальше, проверь, чего не учел. Я защищу свое, пусть малое, но нужное людям открытие о французской революции».

Отныне получить докторскую степень становилось для него основной целью. Но чтоб собрать силы, нужно было переключить свои мысли и чувства. Стремление отдать себя на время трудному и важному делу подчинило его. Усерднее, нежели раньше, Виктор решил совершенствовать знание французского языка и изучить вьетнамский, чтобы поехать к далеким друзьям, неустанно звавшим его в Ханой.

В злосчастные дни после неудачи с диссертацией телефон в квартире Балакова молчал. Не звонила и Любаша. Виктора мучили ревнивые подозрения. Может быть, она встречается с Альфиным? Еще бы, доктор физических наук, не то что он, по собственной воле проваливший диссертацию ученый. А впрочем, почему он сетует? Уж не зависть ли? Альфин достиг научных степеней. Если любишь свой предмет — естественно совершенствоваться и ползти по отрогам, поднимаясь выше.

«А какой из меня специалист, если заглянул я в одну только скважину науки, в одно столетие? Жалкий гуманитарий узкого профиля. Находился в келье столько лет. И не стал даже доктором».

...Узнав о случившемся с Виктором, Любаша всполошилась. Еще недавно она твердо решила отдалиться от него и в тайном своем дневнике писала:

«Мне печем больше страдать. Выражаясь напыщенно, но в чем-то точно, Сергей Иванов «выклевал» мне сердце. Для новых разочарований я больше не годна. А Виктор неизбежно принесет с собой страсть, угар и... горе. Он, по его же признаниям, так часто уже влюблялся. Мечущийся, стремящийся к чему-то неясному чело-

век. Цельности в нем никогда не было. Откуда же ей взяться теперь? Витает между космосом и землей. К тому же самолюбив, думал, я брошусь к нему по первому зову,— не вышло. Словом, нашла у нас коса на камень. «Подайте мне Любашу»,— требует он. Избалован с детства, единственный сыночек и всем, как говорится, вышел.

«А ты любишь ли его? — спрашиваю я себя. — К беде своей, да». Чувство то крепнет, то слабеет. Сначала страдала от равнодушия Виктора, брак с Сергеем, казалось, уничтожил мою привязанность к Балакову. Так в лесу наступишь на блеклый, слабенький, без солнца, цветок — и раздавишь его. Кажется, кустик погиб. Так нет же, немного влаги и теплых лучей — и опять вылезает росток из того же корешка. Глубоко притаилось растеньице в земле и ждало воскрешения.

С некоторых пор поверила я в то, что человеку дано взрастить или вырвать чувство. Сколько раз за жизнь нашу извлекаем мы любовь, будто занозу из сердца. Бывает, кровоточит ранка, а то и не увидишь ее вовсе. Какая малость подчас нужна, чтобы мы перечеркнули увлечение: запах, случайная оплошность, чья-то хула. Иной мыльный пузырь — чувство,— глядишь, переливается самоцветами. Виктора я любила, люблю и сейчас. Надо ли? Нет! Ведь не нужна я ему по-настоящему, навсегда, чтобы с каждым днем быть дороже и ближе. По кусочкам он разбазарил свое сердце. Пустая, боюсь, копилка. Теперь хочет мною наполнить ее. Да я тоже не монолит. Но сильнее его в чувстве. Значит, мне решать за двоих».

С Виктором случилось несчастье, и Любаша бросилась к нему на выручку. Виктор был скорее удивлен этим, нежели обрадован. Боялся упреков, поучений или утешения, в которых не нуждался. Но Любаша угостила его любимым пирогом с яблоками и заговорила так, как в лучшие годы дружбы.

Когда Любаша собралась домой, Виктор заявил решительно.

— Ты не можешь уйти.

— Не понимаю.

— Наши отношения, ну как тебе сказать менее напыщенно, перешли в иное, новое качество. Я люблю тебя сильно, по-настоящему. Навсегда. Поверь только. Умоляю тебя. И не говори, что не любишь. Не лги. Я слишком крепко люблю и потому стал провидцем. Прости ме-

ня за долгую слепоту, за твое ожидание. Бывает, видно, и так. Я был дальнорезок, а ты всегда стояла так близко, что не видел тебя, как не видят свой висок, затылок, уши. Родная, единственная, самая лучшая.

Любаша не прерывала. Как долго ждала она этих слов.

— Лишь бы не было разочарования, неверности, — тихо сказала она. — Боюсь за тебя. Даже металлы устают от времени, а люди...

Виктор не дал ей договорить. Это были их первые счастливые минуты.

Позже Виктор рассказал ей о приглашении во Вьетнам.

— Конечно же, ты поедешь со мной. Теперь нам не зачем отказываться от этой замечательной поездки. Вместе мы сможем так много сделать полезного. Врач и преподаватель. Я принимаю любые твои условия: хочешь видеть во мне только обожающего тебя преданного друга, спутника, носильщика, буду, кем скажешь. Отдаюсь тебе и не стыжусь такого рабства. Ты должна убедиться в моей любви. Дай срок, я терпелив.

В этот вечер все было решено.

...А в квартире Броницких Максим Иванович Альфин развлекал Веру Сергеевну. Сидя, облокотившись на руку, за чайным столом, она, улыбаясь и молодея, слушала его рассказы.

Максим Иванович, как всегда, жил в мире необычайных звуков. Он знал, что вокруг нет тишины, а есть только глухота человеческого слуха. Звуки для него, как это случается со слепыми, давно приобрели краски и оттенки. Была это явь или фантазия, но Максим Иванович утверждал, что улавливает ухом многое из того, что открывается только рации и техническим уловителям. Если бы такое случилось лет сто назад, Альфина сочли бы умалишенным. И сейчас Броницкая опасливо выпытывала друга:

— Вы говорите, вам слышатся голоса. Скажите, милейший, а в роду у вас не было чудаков, людей со странностями?

— Я — не юродивый и не шизофреник, дорогая Вера Сергеевна. Вы отстали от науки. Известно ли вам, что и кибернетику некий невежда лет тридцать назад считал мракобесием и шарлатанством? Будьте же прогрессивны.

Вы боитесь эксперимента? — добивался ответа Альфин и заливался при этом высоким смехом мальчика, у которого ломается голос.

— Не гогочите, я не отсталое чудище, как вы изволите выражаться,— сердилась Броницкая. — Но чтоб слышать голоса, вовсе не обязательно быть ученым акустиком. Не оскорбляйте меня.

— Что вы, я преклоняюсь перед вами, но осмеиваю тьму. Кстати, пойдемте завтра в храм Василия Блаженного и посмотрим в башне голосники. Это всего-навсего глиняные пустые кувшины, а какое чудодейство. Голос в помещении, где в стенах с прорезами вделаны такие горшки-резонаторы, чарует силой и чистотой, а трио звучит, как мощный хор. Так-то, Фома неверующий. Вокруг нас, покрывая бураны и рев движущейся Земли, звучат симфонии, голоса, миллионы звуков, «хоры стройные светил». А мы — жалкие глухари; к счастью, не все в нас сстается безучастным к этим потокам звучаний. Внезапная беспричинная радость, необъяснимая печаль, даже смерть, связанная с ударом инфразвука,— все ведь загадка. Поверили же вы в лечебное могущество ультразвука, а сколько еще не познанных остается. Они процизывают нас, зовут, дразнят.

И внезапно приятным тенорком Альфин запел:

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел.  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

— Запомятовал, простите. Конец, кажется, таков:

Он душу младую в объятиях нес  
Для мира печали и слез...  
И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна,  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

— Лермонтов?

— Вам, психиатру, не мешает быть и поэтом. Иначе души человеческие для вас останутся не во всем постижимыми. А звуки? Их исстари пытались уловить и отраженно усилить. Ведь именно этому служили колонны, ярусы, голосники, тогдашняя простейшая, так сказать, радиофикация. По желанию мы можем изменить гул-

кость помещения. Мы побеждаем «мертвые» или акустически беззвучные зоны, поднимая шары, на которых размещены десятки громкоговорителей. Раньше зал на три тысячи человек был пределом слышимости. Правда, миланская Ла Скала вмещала почти четыре тысячи, и это, вообразите, казалось чудом, а теперь и десять тысяч посетителей уже не предел. В будущем, я уверен, человечество, в огромном земном и вселенском океане, будет собирать невообразимо большой улов звучаний. Как знать, чем мы обогатим наш слух? Фантастические романы устаревают в течение жизни одного только поколения. Теперь ведь космические темпы! Сколько обрушивается информации. Жаль, что жизнь — коротышка, меньше вздоха.

— Удивительно: то, что вы рассказываете, опрокидывает привычные наши представления, — тихо заметила Вера Сергеевна.

— Вы думаете, что погружены в молчание, — воодушевился Альфин, — вот хоть бы теперь, когда слушаете меня, или наедине с собой? Самообман. Вы непрерывно воспроизводите звуки, хотя и про себя. Не спорьте. Не сознавать что-либо — еще не дает права отрицать это. Я очень люблю наблюдать за лицами людей, за произвольными движениями их губ. Мы называем это артикулярными микродвижениями, условнорефлекторными связями. Поверьте, ведь без них мы не смогли бы понимать то, что слышим или читаем. Звук в нас не замолкает, как биение сердца и ток крови. Только смерть убивает в нас звуки.

Красноречивый, когда речь касалась родной ему стихии, Максим Иванович улиткой вползал в себя, едва начинали обсуждать что-либо иное. Впрочем, он всегда слушал других внимательно, безошибочно вылавливая в разговоре то, что как-то могло относиться и к его работе. Остальное память тут же отметала.

— Боже мой, — сказала Броницкая, — чем только в наше время не пользуется врач — ультразвуком, лазерным лучом, а вскоре, может быть, удастся заменить иглу нейрохирурга сфокусированным протонным пучком. Тогда исчезнет ужас трепанации и многое изменится в методике хирургии. Спасение придет от совместных научных усилий физиков и медиков, математиков и механиков. Как я жду этого слияния наук!

Провалив диссертацию, Виктор понял, что вокруг все продолжает вращаться в том же направлении и ничего необычайного ни с ним, ни с миром не приключилось.

Друг Виктора Буй Ван Хо прислал из Вьетнама большое письмо о последних событиях и боях на его родине. Он писал по-французски, а в конце письма, после подписи, было стихотворение по-вьетнамски. Виктор изучал этот нелегкий язык и, вооружившись словарем, с большим усердием перевел все три строфы:

Принципы должны нам во благо служить,  
Тогда заключения проще.  
И должен в делах неизменно царить  
Принцип справедливости общей.

Когда мысли сходны, нетрудно понять,  
И в этом таится условие,  
Чтоб лишних суждений легко избегать  
И прочь отгонять многословие.

Друзья, в дни весны вас в Ханое все ждут,  
А я пребываю в надежде,  
Что, лишь абрикосы опять зацветут,  
Вы будете с другом, как прежде.

Мысль о поездке во Вьетнам не оставляла Виктора и Любашу. Балаков хорошо знал французский язык и хотел стать преподавателем истории в стране, о которой многое узнал из книг, учебников и бесед. Любаша принялась изучать особенности климата и болезней далекой земли, а также хирургию. Лечить многотерпеливых и бесстрашных людей, борющихся за свою свободу, казалось ей честью и счастьем. Молодые русские люди готовились к поездке с серьезностью и упорством.

Хлопоты о командировке Виктора и Любаша во Вьетнам быстро подвигались. Готовясь к отъезду, Балаков разбирал бумаги и фотографии. Долго рассматривал портрет Дипарии, благодарный ей за пробуждение чего-то важного в себе. Письма и снимки других женщин, с которыми некогда встречался, он уничтожил. Упрямо и жестоко изгонял Виктор из памяти то, что казалось ему свидетельством мужской неразборчивости и бездумного существования.

Виктор утверждал самого себя, находил свое Я. Все заметнее стали выступать черты склада, присущие деду Павлу Александровичу.

Взбудораженный событиями последних дней, Виктор зашел к отцу в архитектурную мастерскую.

Чтобы не заговорить о неудаче сына, Михаил Михайлович, словно бы ничего не случилось, нарочито оживленно принялся рассказывать о своем новом проекте застройки квартала и предложил осмотреть зарисовки, эскизы и макеты.

— Вот видишь, Вик, как все это разумно и нужно людям. Сколько можно высвободить энергии, расходимой на бытовые нужды.

— Многих уже из вас, архитекторов, называли утопистами. Ты из их числа.

— Что ж. Неплохо оказаться в обществе великого Корбюзье. Но утопия уже частично реализована, хотя все еще далека от полного осуществления. Что тут скажешь? В год можно выпускать миллионы автомобилей. Но нигде в мире нет возможности строить столько же домов, да еще новейшей архитектуры. Градостроительство — не производство новофасонной одежды. Мы хотим возводить здания на века и такие, каких еще не видывал свет. Может быть, сотни, а то и больше поколений родятся и проживут под их сводами. Для этих-то новых людей и должны возводиться достойные их высокой цивилизации и культуры дома и города.

— Вот куда замахнулись.

— Дом — это памятник эпохи, ее отражение в веках. И одновременно может опозорить или обессмертить своих творцов. Вспомни каменные чудеса Ленинграда, бессмертные храмы и хоромы Древней Руси, монастыри Суздаля или Малоярославца, деревянные плетения Кижей. Человек бредет по свету, чтобы услышать беззвучную симфонию строений Самарканда, колонн Акрополя, развалин Сиракуз, да всего и не перечесать. Но то, что сейчас доступно любому градостроителю, могло являться лишь в мечтах Монферрану, Томону и даже гениальным Растрелли, Росси и Ринальди. Наука пришла к нам, как фея, и бросила такие материалы, что невозможное становится возможным. Мы преодолеем все, даже грядущий дефицит воды и воздуха, даже перенаселение.

— Да ты, кажется, чувствуешь себя божеством.

— Божественный век, раз открывается столько возможностей строить. Дом — это иногда вся планета, в нем человек обретает себя, силы и, главное, творчество. Не



говоря о радостях, с которыми связаны воспоминания детства, любви, зрелости и, наконец, старости. Только умирая, человек уходит из дома навсегда. Для жизни нужны наши знания, наш труд.

— Помнишь, отец, свою оду двадцатому веку? Это было не так уж давно, и, однако, столько уже пережито, отсеяно, потеряно, найдено. Я провалил диссертацию, нашел Любашу...

— Ну, диссертацию ты еще сможешь защитить не раз, — поспешил успокоить сына Михаил Михайлович. — А вот найти любимую — это не всякому дано. Поздравляю! Поздравляю! Можно всю жизнь прожить и не найти ее... — Отец снова перевел разговор на себя. — Ты еще очень молод. Завидую. Искренне завидую. Я же годен только для работы. Это стало смыслом всей жизни. Старею. Даже твоя тетка Тереза не сможет вернуть мне былой горячности. Нам после шестидесяти лет, если мы не теряем разум от склероза, легче представить себе вселенную, не двигаясь с места. Это дар природы и ее хитрость. Мышление и воображение заменяют действие. Я, словно дервиш, не делаю ошибок. Все, что остается, забирает страсть к архитектуре. Отними у меня право работать, строить — и я погиб. Тут, — Томин указал на свою мастерскую, — моя молодость, утешение, темперамент, основа моего долговечия и, главное, энергии. Как все, видимо, творчески захваченные люди, я вскакиваю ночью, чтобы набросать явившиеся мне в душе контуры строений, ансамблей и много другого, не существующего вовсе для людей, далеких от архитектуры.

Разговор отца и сына длился долго, Виктор понял, сколько еще творческой энергии у его отца. Да и внешние годы его мало коснулись — все та же прямизна спины, красота и крылатость походки, светящиеся глаза. С такими глазами человек не теряет главного — способности создавать, меняться, совершенствоваться. Дарование Томина нашло для себя ту почву, где могло укорениться, цвести.

«Вот она, гармония, в его почти детском воодушевлении. В приятности общения с ним». Долгое время Виктор считал отца легкомысленным, поверхностным.

Михаилу Михайловичу не пришлось рьяно бороться с самим собой, противиться обстоятельствам, случаю. Он принял судьбу добровольно и никогда не роптал на нее. Весь был охвачен неукротимым стремлением к созиданию.

То, чего еще не могли построить он и его коллеги, явилось, как явь, в их рисунках, планах, чертежах, расчетах. Чего же еще? Они представляли себе зримо землю иной, проникали в ее толщу, поднимались в стратосферу.

— Только так, как вы, зодчие, надо относиться к своему назначению,— сказал Виктор.

Он был взволнован.

Томин несколько растерялся от теплого течения, исходившего от сына.

— Не сутулься, ученый! Рановато. Надо бы бегать, посмотри как. — Прижав руки к груди, он трусцой пробежал по мастерской. — Ослабь мышцы, не напрягайся. Беги и дыши совсем спокойно, без напряжения. Отличный результат. Я тебе, пожалуй, одну книжицу отдам.

Архитектор, все еще явно смущенный неуловимой переменой в сыне, достал «Бег ради жизни» Гильмора и протянул Виктору.

— Гипокинез, гиподинамия, то бишь недостаток движения — беда нашего века. Ведь сто лет назад девяносто шесть процентов всей физической работы на земле выполнял человек, а сейчас он не получает даже самой маленькой дозы движения и, естественно, жиреет, дрябнет и не может побороть никакой болезни. Жировой склероз, атрофия мышц и черт его знает что только в нас не превращается в студень... По лестнице спускаться не хотим, окно открыть не можем и ездим, ездим себе на погибель. А талии наши — лучше уже не касаться этого. Уродцы какие-то. Словом, как говорят мудрецы, начинайте заботиться в двадцать лет о том, чтобы нравиться в шестьдесят. А я превратился бы в Гаргантюа, если бы не спасительный бег... Ну, а когда же свадьба?

— Никакого особого торжества не будет. После серебряной свадьбы дяди Виля, которая чуть не окончилась молниеносным разводом, у нас к этой процедуре пропал вкус.

Михаил Михайлович сразу как-то поблек.

— Да, это ужасно, ужасно!.. Ошибался и я. Но не я ушел от твоей матери. Она настояла на разводе. Молодость несговорчива. Ну, до сорока лет ошибки еще понятны, а уж позже — извините! В угоду химере, усталый, изношенный, не разрушу очага, не оттолкну прочь женщину, с которой сроднился, побратался кровью, слезами неудач и успехами... Чего не бывало за столько лет.

Дыхание наше слилось воедино. Четверть века рядом! Да ведь это почти вся жизнь. А сколько скорбей и радостей. Как же разделить нам теперь когда-то родившиеся у обоих мысли, осуществленные уже замыслы? Где была она, где я? Мы забрали друг у друга все без остатка. Мужчина, если удачлив, всегда сильнее. У него нет возраста. Для искательниц замужества он всегда молод. Жена, увядшая не без вины мужа, старела, ждала, надеялась, с годами, мол, образумится, перебесится мой Ванечка, Колечка...

— Но, отец, ты позабыл, что не дядя Виль, а Люша решилась на развод.

— Зачем же он, бродяга, довел ее до этого? Ответственность на нем. От добра добра ведь не ищут. Налаженную жизнь беспричинно не бросают. Что ей теперь делать без профессии и привычки хотя бы к канцелярской работе? Больной и стареющей. Даже пенсия покуда впереди не маячит. Годы не малые, а хватки уже нет. Да еще, посуди сам, каково ей было с нашим пузатым, самовлюбленным родичем. А? Кисло, поди. Помню, на войне был он хороший человек, отзывчивый, скромный. Откуда только берется эта зараза честолюбия? Не человек, мол, красит место, а место человека. Создал не храм искусств, а министерство какое-то. И ходит животом вперед, и улыбнуться боится. Где его учили этому? Что осталось в нем прежнего? А впрочем, остались слова, слова, слова и посулы, когда надо. Я бы своего братца да в хорошую баньку, да с веничком... А Люшу тоже стоит образумить. Развод под пятьдесят лет и выше — проигрыш для обоих. Даже если у мужчины, так сказать, в подполье уже припрятан новый объект... Какая уж там роковая любовь в такие годы. Бежал от юной девы мудрейший старый Гете. Беда тем, кто не понял, что старый миндаль если и зацветет, то единожды и на веточках не будет листьев.

— К сожалению, для дяди Виля и Люши я не авторитет. К тому же собираюсь в далекие края, отец.

— В который раз собираешься, а все остаешься в Москве.

— Теперь уже без отлагательств.

— А раньше что делал?

— Постигал науки. Но это подчас — лабиринт с пропастями. Выход — действовать и бороться. Чую, надо

забраться мне, историку, в гущу современности, тогда и как ученый пригожусь. Вместе с Любашей собираемся ехать во Вьетнам. Мы «гуманитарии», но и мы там можем быть полезны. Вернусь — и снова погружусь в глубины восемнадцатого века.

— Слыхал об этом. Что ж, поезжайте, я рад, да не верится. Пока ты будешь собираться в путь-дорогу, пожалуй, состаришься. Обычные сборы интеллигента. Всё — и художники, и ученые — рвутся к совершенству, хорошо, если достигают цели.

— Не торопи, отец, нырну в жизнь. А что касается цели, ты прав.

Известие о женитьбе Виктора и Любаши вызвало у близких изумление, но еще больше поразила всех весть о возможном отъезде молодых на долгий срок куда-то далеко. Мария Павловна несказанно возмутилась.

— Как, — повышая обычно приглушаемый мурлыкающий голос, заявила она сыну, — броситься куда-то очертя голову?! Это — мальчишество, если не авантюризм. Нельзя так реагировать на провал. Надо снова и снова добиваться защиты... Ведь, в сущности, тебе нужно изменить только выводы... А ты вдруг бросаешь институт. Не понимаю. Стыдно! Ведь ты ученый! Будь тебе двадцать пять, а то уже тридцать с гаком... Нет, это твоя невеста тебя околдовала. Узнаю фантазерку Любашу с ее опасными тенденциями чуть ли не «хождения в народ», служения человечеству и прочими отрывками прошлого века. На вас бы моего отца.

— Дед все бы понял и похвалил бы нас, — спокойно отвечал Виктор.

После регистрации брака Виктора и Любаши к Броницкой зашли друзья и новые родственники.

Новобрачные решительно отказались от шумного празднования. К тому же они собирались в дорогу.

Виталий Михайлович Томин появился у Броницких одним из первых.

Виктор, вот уже несколько дней пребывавший в не свойственном ему умилении и нежности, обращенной ко всему живому, гладил Платошу, льнущего к нему с детской доверчивостью.

— Так-то, пес, как бы это тебе объяснить: мы уезжаем, но ты не скучай, рыжик. Тут тебя все любят. Вот толь-

ко собачье время очень длинное. Тебе уже по-человечески шестнадцать лет, а по-вашему, собачьему, два. Если нас не будет здесь три года, мы встретимся с тобой с сорокалетним псом. А каково ждать, когда час за восемь?

Платоша понимающе смотрел и вдруг приоткрыл пасть, показав могучие зубы,— по-собачьи улыбнулся.

— Здравствуй, Вик,— подходя к племяннику, сказал отрывисто и мрачно Виталий Томин и брезгливо отодвинулся от готового ласково лизнуть его Платоши. — В такой тесноте еще и собаку держат. Причуды. Взяли бы ребенка.

— Разные это чувства. Наше сердце что соты: для разных привязанностей — своя каморка.

— Все чудишь. А ведь говорят — докторскую провалил.

— Говорят.

— Не хандри. Я, к примеру, без ученых степеней приношу некоторую пользу Родине, а иные даже с помощью носа лезут в большие забияки.

— Как — носа? Не понял.

— Знакомая врачиха защитила диссертацию, а тема была — «Нос». А по мне, это очковтирательство. Правда, нос носу — рознь. «Нос» Гоголя в классика попал.

— Вот уж и зря болтаете. Нос — важнейший орган. Операции на нем требуют большого мастерства, и лечить его болезни не просто,— заметила Вера Сергеевна.

— Дядя Виль — не спортсмен, оттого и не сведущ. А если бы ему, как мне когда-то, перебили этот самый нос мячом, он диссертацию оценил бы по заслугам. Дядя Виль также и не поэт. Чего бы не дал Сирано де Бержерак, если б, как это делается теперь, ему укоротили это слишком большое украшение лица. Кроме того, нос в наши дни служит для разных целей...

— Эрудиты. Где нам до вас!

Гена подошел к магнитофону и включил пленку с заготовленными шутки ради пожеланиями молодоженам. В комнате становилось многолюднее. Виктор с возрастающим интересом переводил глаза с одного пришедшего на другого. Вот снова открылась дверь, и появилась Пелагея Ивановна — кошкина мама. Она постарела и стала не только шире, но и значительно ниже ростом, походила на высеченного из пня сморщенного гнома в своем странном зеленом колпаке. Щеки, сползая тестом из квашни, касались ключиц. Шеи не было. В руках быв-

ная лифтерша держала режуще-яркий букет бумажных роз своей работы.

— Нижайшее всем почтение,— сказала старуха совсем молодым голосом. — Любашеньке цветочки сделала... То-то порадовался бы покойник Пал Александрович, что Витя такую жену нашел, да нет его. Да и чего тут. Все домой пойдем, что люди, что звери.

— Ну, ладно причитать над нами, старая, помалкивай,— сказал Виталий Михайлович.

— Ты ушами-то не пряди, Виталий Михайлович. Лучше бы жену свою в грех не вводил,— отрезала Пелагея, давно не терпевшая книгоиздателя за его отвращение к кошкам.

Голубочкина увела Пелагею в прихожую снять капор. А шуршащая магнитофонная запись не замолкала, и пожелания становились все витиеватее.

Виталий Михайлович был заметно не в духе.

— Техробот,— обратился он к Гене,— процветаешь? Это вам не книги печатать.

— Надоевшая песня, перемени репертуар. Ты, дядя, стал повторяться, примета старения... Не так ли, Тереза Павловна?

— Это бывает и от переутомления,— нашлась та.

Тереза Павловна тяготилась всегда большим обществом. Ей нравились встречи с двумя-тремя интересными людьми, где не хлебом насущным, а духовной пищей насыщались собеседники. После таких вечеров она долго берегла ощущение, как от полученного подарка или исполнения желания. Тереза была от природы застенчива. Резкое слово, жест ранили ее, заставляли сжиматься и тайком плакать. Не случайно тончайшая, легко гибнущая от сухости маттиола осталась любимейшим цветком профессора геронтологии. Поражало, что аромат, достойный роз, орхидей, больших и царственных цветов, издаст маленькая, более скромная, чем фиалка, похожая разве на отдельные звездочки сирени, едва приметная маттиола.

Тереза, любившая рукоделие, попробовала нарисовать и вышить столь дорогой ей цветок, но без запаха лиловые соцветия несколько не отражали сущность маттиолы, ее покоряющую силу, пробуждающуюся только в ночи.

Со времени тяжелой, не вылеченной болезни, так и не разгаданной медиками, после отчуждения, возникшего беспричинно между матерью и дочерью, Тереза Пав-

ловна изменилась внешне и замкнулась. Чувство гордости, постоянное нежелание вызывать жалость и сострадание подгоняли ее не только к работе, но и к кропотливому уходу за собой. Она, как ни бывала утомлена, прибегала к косметике и тщательно одевалась. Все ее духовные силы отданы были больным и науке. Дома с трудом снимала она своеобразный свой панцирь и падала в постель с тяжелыми болями сердца и отеками ступнями.

Анисим Елка трижды в год — Седьмого ноября, на Новый год и Восьмого марта — посылал Терезе и дочери поздравительные письма, пользуясь странной смесью украинского и русского языков. Орфография его не укладывалась ни в какие правила. После щедрых пожеланий он обычно перепевал одну и ту же песню.

«Я все беру на себя. Я тобі говорив коли був, що я винний. Я думав прыхати до вас але перебили свадьбы. Вира та Надия, миньши дочки, вийшли замуж. Хай Наталья не обижається, — я буду помогати їй обизательно. Я скучив за вами. Писав я тобі нащот автомобиля «Волга», бо маю трохи грошей, я б заповідав їй нашої Наталки. Правда, на свадьбу богато витратив, но ничего. Пробачь, риднесенька, мила, добра Тереза. Ще раз прошу, пиши письма, бо я переживаю, що я пишу, а ви не пишете».

Тереза, грустно улыбаясь, складывала письма Елки в особую коробку.

Только Любаша знала об одиночестве, о болезни Балаковой. Вот и сейчас она всматривалась в лицо своей пациентки. Врача беспокоил заострившийся нос, опавшие щеки Терезы Павловны. Она не постарела, но на ней была мета недуга, единая в любом возрасте. Что-то детски неуверенное, тревожное, тоже свойственное больным, появилось во взгляде Балаковой и даже чем-то молодило ее.

«Неужели она не одолеет хвори и можем не застать ее, вернувшись?» — в замешательстве подумала Любаша. Она тщетно пыталась проникнуть в будущее. Эти тяжелые мысли рассеял Геннадий. Он взял гитару и затянул песню. От него веяло благожелательным спокойствием.

Уравновешенность — отличительный признак, как говорят медики, «баланса» нервного и физического здоровья — действовала благотворно, как элениум.

Виктор спросил брата, в чем секрет этой гармонии. Авиаконструктор рассмеялся и хитро подмигнул.

— Единство и ясность цели, терпение в браке и спорт.

— Бег трусцой.

— Да, представь, отец-таки превратил меня в марафонца. Кислород. Всегда и во всем. И сгорание шлаков. Восемь километров я покрываю уже без труда, но хочу еще прибавить пяток. Дистанция не главное, как и скорость... Дядя Виль,— обратился Гена к Томину,— когда же ты составишь мне компанию? Целый день сидишь за столом, за табачной завесой не видишь собеседника и вызываешь секретаршу, чтобы открыла форточку. Бегай, а то пропадешь. Спасайся, пока можешь.

— Бежит, да только на заседания и в хорошую столовую сей почтенный администраторий,— заметил Михаил Михайлович.

— Баста. Упустил я время. Да и толст стал. Вес мой — один центнер,— уныло сообщил книгоиздатель. — Во, и боле ничего.

— Спроси Терезу,— возразил ему брат,— геронтологи знают: молодость приходит с годами.

Виктор поднялся и отошел от стола. Он задумался. Скоро все останутся в далекой Москве, в то время как он и Любаша отправятся в неизвестное. Глядя на мать, он вспомнил, с каким достоинством пронесла она свою одинокую женскую долю, воспитала его, отказавшись от помощи Томина, как неистово выполняла общественные поручения и пеклась о незнакомых людях и справедливости, и проникся к матери почтительностью. Он знал, что, уезжая, на годы оставляя институт, наносит ей рану, но что поделаешь?

Виктор перевел глаза на Веру Сергеевну и Альфина. Оба скрывали под неубедительным оживлением печаль и растерянность. Физик на этот раз совершенно не касался в разговоре ни колокольного звона, ни опытов с китами и летучими мышами, ни великолепной мощи разных звуков. И это более всего другого выдавало степень его страданий. Чтобы не выдать себя, он нарочито громко вдруг перевел разговор на... пользу пряностей.

— В «Магеллане» Цвейга я нашел красноречивую оду перцу, мускатному ореху, гвоздике и корице. В старину их у нас звали «пряным зельем». Ну как, действительно, обойтись без горчицы? Преотличная к тому же



дезинфекция. А чеснок и тмин — прелесть. Шафран применяется и как пряность, и как красящее вещество. О лавровом листе все известно. Вплоть до производного слова «лауреат».

Вера Сергеевна слушала его молча, потом внезапно спросила:

— Объясните мне: зачем надо ехать за тридевять земель помогать людям быть счастливыми? Ведь здесь, рядом, столько возможностей добиваться того же.

— Признайтесь, вы разве не мечтали в тридцатых годах поехать в Испанию, а затем не бросились ли на фронт, хоть были матерью, и многодетной к тому же?.. Не мешайте им и не топчите лучшего, что возвращает сердце. Ведь не на всякой почве растут такие цветы,— отодвинув тарелку с рыбой, ответил Альфин. — Пусть идут своей дорогой. Им виднее. Наше с вами зрение уже ненадежно.

— Да что это вы, Максим Иванович, со мной равняетесь... Я — старуха, вы же — мужчина в соку.

— Сок-то уже закисает. Среди молодежи я числюсь стариком. Спасибо, что ободрили, приписав к восходящему поколению. Тонкая это материя — поколения. Слава Перуну, я еще молод в работе, тут уж как-нибудь мы с вами потягаемся. Не правда ли, милейшая Вера Сергеевна?

— Я не отступаю. С поста не сойду, пока ноги носят, а посить не станут — сидя трудиться буду. Это для меня окно в жизнь. Несмышлениши предполагают, что работа — груз, тягота, кабала, а я скажу: с ней родилось во мне все лучшее, и она-то соединяет меня с жизнью. Куда бы подалась и нашла пристанище без общения с себе подобными, без невидимого взаимного переливания крови — таков закон бытия. И вас, мой друг, я нашла в этом некончающемся движении и созидании, которое и есть жизнь-матушка.

Виктор не смог уловить дальше слов двух собеседников.

Виталий Михайлович громко объявил, что желает произнести речь в честь племянника и его избранницы. Он встал, показав всем округло-толстую спину и грудь. Лицо его неприятно расплылось, и только мясистый нос не изменил прежней формы.

Подергав очки, книгоиздатель начал речь. Прежней его прыти как не бывало. Говорил о подкравшемся пеп-

сионном возрасте, о важности гражданского долга, по равно и об ответственности в семье. Все слушали недоуменно, и Виктор вдруг по-иному увидел этого стареющего и, очевидно, многое переоценившего человека.

— Постигание истинной сущности закореневшим бюрократом. Понял-таки, что работе время, но и размышлениям час,— прервал Михаил Михайлович. — Однако я тебя поздравляю, браток, наконец опять по-человечески заговорил.

— Все суета сует и всяческая суета и томление духа,— раздался всегда немного дрожащий голосок Натальи.

— Ишь, блоха. Берегись, Генка. Философствующая жена опаснее кочерги.

— У Наташи премия за хорошую редактуру,— не выдержал Геннадий.

— Желаю успеха,— обрадовался Виктор. — Не зазнавайся.

— Беда с Генкой, он всегда выболтает мои секреты. Ну зачем ты это? Выхваль,— шутила Наталья.

— Ты права. Жену и вино, как говорит мой папа, держи в погребе.

Надя и Олимпиада Петровна усердно возились по хозяйству. Накоротке присаживались женщины к столу, зорко оглядывали блюда и срывались с места, исчезали в кухне.

Толю заставили взять гитару и возглавить хор. Пели вразброд, с огромным старанием песни многих десятилетий.

Виктора раздражали певцы, и даже «Есть одна хорошая песня у соловушки, песня панихидная по моей головке» не уменьшила его досады.

«Раз поют, значит, говорить им не о чем, осовели от пищи и питья»,— ворчал он и оттащил отца от хористов.

— «Пойте, пейте в юности, бейте в жизнь без промаха...» — тянул Михаил Михайлович, следуя за сыном в соседнюю, Любашину, комнату.

— Какая хорошая девичья келья,— устав перевернуть мотив, сказал Томин и засмотрелся на узенькую кровать, покрытую белым кружевом.

Взбитые подушки под тюлем, салфетка на тумбочке, все было старомодно и необыкновенно притягательно. На диване лежали вышитые крестом и гладью подушки. И вазоны с цветущей геранью на подоконнике, старень-

кий туалетный столик с пуфиком, вертушка и полка с книгами, портреты на стенах в багетовых рамах дополняли обстановку.

— А ведь Любаша и не могла бы иначе обставить свою комнату. Здесь везде — она. Нередко индивидуальность в современных молодых женщинах ничемно мала. Живут, одеваются напоказ, бездумно подчиняясь деспотизму моды.

Разговор прервало появление Любаши. Томин вышел.

— Теперь уж только вместе, — сказал Виктор.

— Не расставаться никогда...

— Согласен! На жизнь и на смерть!

Правда не боится патетики.

...В полночь в квартире стало тихо. Виктор подошел к окну. Безлюдие тротуаров удивляло.

Как жаль, что сегодня не было рядом с ним Павла Александровича Балакова. Не дожил. Но разговор ведь между ними, казалось, никогда не кончится.

«Ты был прав, дед, когда верил в моих сверстников и в меня. Мы спотыкаемся, иногда теряем дороги. Но ведь, говорят, молодое вино бродит... И все-таки мы — ваши преемники, воспитанники революции. Мы принимаем вашу эстафету. Стремимся к любви и поиску, самоотверженности и стойкости.

В каждом поколении есть страстотерпцы, герои и люди обыденные. Жизнь производит естественный отбор. Она — жестокий судья и оставляет, как селекционер, только нужные семена.

Мы несем в себе традиции всех восставших против гнета. Потомки наших недругов тоже готовы сражаться под знаменами своих отцов и дедов. Но безусловная истина и, значит, победа всегда в конце концов на стороне равенства и добра, и потому перебежчиков к нам из чужого лагеря много.

Молодые летят одни или в стае таких же молодых. И все-таки родовая связь сильна. В минуты испытаний строятся, затылок в затылок, бойцы подразделения — семьи. Они — часть единой рати.

Мы плодоносные почки на могучих побегах. Оторваться от своих корней мы не можем. Они дают нам жизнь».

# Незатейливый узор

---

ПОВЕСТЬ

---

Я вышел на пенсию гораздо позже, чем положено. Впрочем, работать все равно не перестал, только занялся иным делом: решил писать о своих друзьях, движущихся, как и я, к неизлечимому и страшному недугу — к старости. Как ни боролся я с ним, этим недугом, одолевает он, треклятый. Но, лишая нас прежней силы, не может он ослабить душу, посягнуть на разум и волю. И жизнь моя прошлая возвращается ко мне в воспоминаниях, снах и встречах со сверстниками.

Кто я такой? Обыкновеннейший человек, родившийся и живший в необыкновенную пору. Родители — скромные труженики. Отца не помню, более того — не видал. Был он помощником машиниста Николаевской железной дороги и погиб еще до моего рождения, упав с тендера на ходу поезда. Мать работала прислугой, потом подучилась шить дамское белье с прошивами и кружевами. Помню ее покрасневшие от напряжения глаза и узенькое лицо с тонкой, розовой кожей да непомерно тяжелую рыжевато-коричневую косу между узкими и сутуловатыми, какими-то детскими плечиками. Вышивала и украшала кружавчиками она также пышные батистовые блузки и была в этом трудном ремесле так даровита, что к домишку нашему на окраине города часто подъезжали кареты и фэтопы богатых модниц. Мать гордилась, как врожденный художник, своим мастерством и часто показывала мне свою работу.

— Это ришелье — вроде бы дырочки, а получаются лепестки ромашки... Всего труднее английская гладь. Посмотри, красота какая, птицы только что не летят!.. А это вышивка крестом, розовыми нитками, она особенно к лицу черноволосым..,

Меня увлекала красота, сотворенная исколотыми и натруженными маленькими материнскими руками. Я благоговейно прикасался к ним. На указательном пальце у нее всегда был старый потемневший паперсток. Казалось, она и ночью не снимает его.

Неутомимая труженица, мать, однако, не могла нас прокормить. Заработка не хватало на четверых ребят. Девяти лет я ушел в соседнюю деревушку, где жил мой дед, и нанялся в подмогу пастуху. Через год я уже самостоятельно пас небольшое стадо.

Это было не худшее время моего детства. Мне во всем помогал пес Тобик, помесь низкорослой дворняжки с овчаркой. Бездомный бродячий пес, он привык ко всему. Его то ласкали, то дразнили, то пинали. Густая шерсть спасала его зимой от мороза, а быстрые ноги — от побоев. Однажды пьянчуга, забредший в деревню из города, вознамерился сдать Тобика в живодерню — «на воротник». Он тащил на веревке жалобно скулящую собаку. Городская девочка выплакала у матери деньги и выкупила Тобика.

Недолгое время девочка кормила пса удивительными блюдами: супом и котлетами. Потом она вернулась в город, а пес снова остался бездомным, презираемым, ни за что битым.

Старый пастух подобрал его. Умная собака оказалась отличным сторожем; она знала каждую корову, завязав с ней свои особые и таинственные отношения. Казалось, они даже переговаривались. Потом Тобик понал ко мне, и мы крепко сдружились. Однажды он вытащил меня, несмотря на свою малость, из быстрины, когда мы купались в опасной водоворотами лесной речке, другой раз сразился с бросившимся на меня обезумевшим от злости бычком и сам едва не повис на его рогах. Когда я делил с ним скудную пищу, Тобик ждал, пока я откушу свою краюху хлеба, и лишь тогда принимался есть. Ради меня он терпел присутствие своих злейших врагов — кошек и даже приветливо помахивал им хвостом.

Когда мне пошел одиннадцатый год, у матери после тяжелой болезни отнялись ноги, а старшему брату на фабрике машиной оторвало руку. Отныне я стал в семье единственной опорой. Теперь мы насовсем перебрались

в деревню, в плохонькую избу деда, умершего в тот же год.

В тринадцать лет старший брат начал учить меня грамоте. Я складывал в слова нарезанные карточки букв. Первой моей книгой были «Жития святых»: другой в деревне не нашлось.

Я по-прежнему пас стадо и уходил с Тобиком на поляну за негустой рощей...

Нет плохих профессий, и даже случайный труд чем-нибудь да одаривает человеческую душу и разум. Как часто возвращаюсь я мыслью к тем годам, когда был пастушонком и затем пастухом! Нет, не играл я на свирели, но встречал восход солнца и научился ценить пение птиц, различать звонкоголосых пернатых певцов и их подражателей. И, как ни странно, полюбил скучную песню кукушки, ее уныние и тревогу.

Еще я научился мечтать. Пастух всегда мечтатель, фантаст и сказочник. Долгие часы, проведенные наедине с природой, поучительные, они ведут к своеобразной мудрости, может, излишне созерцательной. Старик пастух, с которым я провел многие месяцы в лесу, научил меня различать травы и находить целебные, по шуму ветвей предугадывать погоду, отпугивать ядовитых пауков, дружить с ужами, переговариваться с птицами и не бояться леших. Он был заядлый грибник, знал повадки зверей и зверушек, дважды схватывался с медведем и шутил с зайцами. Его лес и поляны были столь многопоселенны, суетливы и полны тружеников и тунеядцев, что слова «одиночество» и «тишина» казались здесь насмешкой.

Пока коровы сосредоточенно поглощали траву, мы собирали ягоды, орехи, желуди, грибы или мечтали о мире, людях, жизни, совсем их не зная. Все переплелось в моем незрелом мозгу, и я был значительно ближе к своим предкам древлянам, чем к современности, которую видел, но не понимал.

Начитавшись «Житий святых», я возмечтал уйти в монастырь и постричься. Однажды, в лаптях и с котомкой, я ушел с богомольцами «к Сергию». Тобик следовал за мной, хотя явно не одобрял моего намерения.

Физиономии монахов «у Сергия» оказались так непохожи на лики мучеников и отрешенных, что я долго там не задержался. Направился «к Кириллу и Мефодию»,

но инок, с которым я познакомился на монастырском дворе, порассказал мне столько всякого о святой братии, что вообще отвратил меня от нее навсегда.

Судьба привела меня в зеленый тихий город Тверь, где я поступил на фабрику Морозова. В прядильном отделении работал я ставильщиком. Тогда-то я начал ходить в школу. Морозов, фабрикант особого склада, был просветителем и филантропом. Его заводская библиотека славилась изобилием и подбором книг. Библиотекарь обратил внимание на мою жадность к чтению и помогал мне странствовать по каталогам и полкам.

Помимо самообразования и школы, я усердствовал в труде и скоро перевелся в присущевщики, а затем, ради большей независимости,— в ткацкое отделение. Там я был сначала учеником, потом стал работать самостоятельно. Мне очень хотелось попытаться обслуживать сразу два станка, но в Твери это оказалось невозможным, и я отправился в Питер. Здесь, на ткацкой фабрике Воронина, мне доверили обслуживание нескольких станков. Итак, я наконец стал знающим ремесло ткачом. Профессиональная гордость утвердила сознание собственного достоинства.

Во время одной из стачек я познакомился с социал-демократами. Когда-то желание постричься в монахи привело меня на фабрику Морозова, которой я обязан был вторым, духовным, рождением и прозрением. Теперь стачка, когда во дворе фабрики меня избили нагайками конные жандармы, соединила меня с людьми, о которых мечталось как о праведниках в тихие дни и вечера на лесной поляне.

Запойное чтение значительно укрепило и взрастило мой дух. Я решил серьезно учиться, втайне надеясь когда-нибудь позже добиться диплома, сдав экстерном экзамены за гимназический курс. Среди новых знакомых, единомышленников нашелся товарищ, который понял мои стремления и занялся со мной трудными науками: математикой, химией и, главное, историей общественной мысли и революций.

Нелегко давались мне знания, но я был настойчив. И дни и ночи наполнились новым смыслом существования, передо мной открылись до этого неведомые, многообещающие дали.



Первый арест как-то логически и законопно вошел в мою жизнь. И тут рядом со мной были умные, много знающие люди... Потом меня выслали в родную деревню под надзор полиции.

Снова очутился я на родном пороге. Постаревший Тобик, прижившийся в нашей избе, встретил меня радостным визгом. Мать медленно умирала, но, прикованная болезнью к деревянному топчану, все еще вышивала. И на худеньком, синеватом пальце я увидел знакомый наперсток. Слезы подступили к горлу. Чем мог, помогал я своим близким, но бедность смотрела на меня из всех углов старенького дома, из чугунков, где варилась убогая пища. Подросли мои сестры, и брат-калека обзавелся семьей.

Постепенно я наладил неплохие отношения со сверстниками, которых знал сызмала. Да и со стариками. Но политика их пугала. Сначала они взирали на меня, ссыльного, с нескрываемой подозрительностью и прозвали насмешливо «скубенком».

— Неужто правда, что ты в бога не веруешь и царя не чтишь? — спрашивала меня мать со слезами в голосе.

При попытках завязать серьезную беседу парни и девушки, зевая и многозначительно переглядываясь, расходились, чтобы вернуться, когда затевались пляски и песни. Однако со временем я вошел в доверие к мужикам; они начали задавать мне всевозможные вопросы, охотно рассказывали о своих нуждах, откровенно выражали недовольство, только не допускали критики царя.

Долго оставаться дома я не мог. У большой семьи, включая и братнину, земли было всего на две души. Мы голодали.

Пользуясь небрежностью полиции, я выправил паспорт и уехал в Тверь. На фабрике Берга, куда я устроился, поражали произвол и самодурство высшей и низшей администрации. Более половины рабочих были женщины, и над ними нещадно издевались. Я пытался вступить за них, защитить от домогательств, обирательства, грубости мастеров и подмастерьев. Но вскоре полиция, разобравшись, наведя соответствующие справки, выслала меня в Новгород.

Город был доподлинно заштатный, без промышленности, а нравы в нем сохранялись патриархальные. В столярной мастерской я работал за гроши.

Не имея возможности помогать родным в деревне, я постарался перебраться в Питер. Здесь я восстановил свои прежние связи, вступил в партию. Но неожиданно меня снова арестовали и более года продержали за решеткой. Близился 1905 год.

Молодость, ясность духа, пайденная цель и Революция! Во все времена веяние свободы и справедливости творит чудеса с человеческой душой. Как всякая вечная истина, оно зажигает огонь веры и ожидания, и человек сознает себя могучим творцом счастья. Прекрасные мгновения! Самая мощная стихия рождается не в природе, а в сознании миллионов людей, охваченных согласным порывом к добру.

... Октябрь 1905 года застал меня в Твери. Боевые дружины, баррикады... И снова тюрьма.

Я мог бы составить неплохой путеводитель мест заключения тех лет, пройдя питерскую, московскую, тверскую, вологодскую, вятскую и разные другие тюрьмы. В Усть-Сысольске чуть не умер от тифа, в Нарымской ссылке — от цинги, в Богородске — от холода. Был я плотником, ткачом, лесорубом, слесарем, грузчиком. И все эти годы никогда не терял связи со своей партией.

Началась первая мировая война, меня отправили на фронт, но и там я продолжал подпольную работу, создавал военные кружки, вел в них занятия. 1917 год встретил в одном из батальонов, пришедших в Персию. Изпод Энзели приехал я в Петроград на партийный съезд... В Октябре с красногвардейским отрядом прибыл в Смольный. Об этих днях рассказывать не берусь. Это был и бой, и азарт, и счастье... Потом я работал в Наркомпроде, воевал на Восточном фронте и наконец смог по-настоящему взяться за учебу. Окончив без труда рабфак, поступил в Свердловку.

На каникулах навестил я свою родную деревеньку, но не нашел там никого из близких. Мать давно умерла, сестры ушли в город на фабрики, безрукого брата и его жену увес сыпняк. Остался я один на всем белом свете.

Вот именно в это время и повстречался я с Ниной Дятловой. Бобылем я оставался до сих пор потому, что не удосужился выкроить время для своей личной жизни. Да и возвел я для себя стену — теорию, что революционеру в вулканическую пору борьбы за идею нельзя, мол, обзаводиться маленьким «мелкобуржуазным» домашним

счастьем. Засосет оно тиной и, растревожив не ум, а сердце, отвлечет от борьбы, готовности к переменам, труда. Начнутся крошечные вначале, а затем опасные помехи: дети, квартира, мебель... Любовь казалась кандалами, даже тюрьмой, жена — желанным, но тянущим книзу грузом.

И вдруг эта встреча...

Нина Дятлова выросла в семье, где сдержанность, немногословие, трудолюбие передавались детям от родителей чуть ли не с колыбели. Ее отец, Федор Дятлов, во время гражданской войны был комиссаром, а когда она кончилась, ушел на работу в ЧК и там продолжал бороться за революцию. Беспощаден он был к самому себе и своим близким. Его совесть оставалась идеальной и безупречной, поступки строгими. Того же он требовал от своей семьи. Нина считала праздность и отступление от норм поведения, обязательного для коммуниста, комсомольца, пионера, преступлением. Семья ее жила в полном соответствии с временем и в быту отличалась обычной тогда нетребовательностью. Одевались более чем просто и ограничивали себя во всем. Достаток их был весьма скромный, но отец Нины решительно отвергал и отказывался от каких-либо служебных привилегий и выслуг.

— Я рядовой партии, и покуда наш народ всем не обеспечен, нечего и нам жить по-другому. А то не заметим, как разложимся, ослабеем,— поучал Дятлов своих пятерых детей и жену.

Работал он на Крайнем Севере, считая себя полезнее там для дела.

— В столице каждый готов «функционировать»,— шутил Дятлов. — А вот в глубинку поезжай, там наш брат партийный ох как нужен!

Не балуя, Федор умел быть ласковым с детьми и с теми, кому верил. Им он доверял единственное свое имущество — книги. В нечастый досуг читал он с волнением стихи Баратынского, Шевченко, Некрасова. Лермонтова предпочитал Пушкину, превыше же всех возносил Гоголя и знал многое из него наизусть.

Мать Нины была добрейшая, смешливая и деятельная женщина. Немало сил и времени уделяя домашности, она успела, однако, окончить рабфак и, недоучившись в медицинском институте, работала на медпункте

небольшого предприятия. Происходила она из уральских кержаков и, как они, считала, что любят только раз в жизни, а развод называла развратом...

Все это я узнал постепенно от Нины, в которую влюбился, едва заглянул в самую глубину ее больших и притягательных серых глаз. Было в лице ее с едва выпирающими скулами и тонким овалом нечто большее, чем красота. Совершенная форма светилась изнутри огоньком доброты и женственности. Так я и не узнал до конца характера Нины, не разгадал ее чуть блуждающей, тихой улыбки. Она осталась для меня скифской мадонной, слабовольной, скрытно-обидчивой, обожающей своих детей, считающей несчастье закономерным уделом женщины и покорно принимающей жизнь. Трудолюбивая, избегающая шума, толпы, вздрагивающая от резкого слова и рапимая, она не боялась жизненных тягот и обретала силы в тяжелую минуту. Как и мать, она стала медиком и, кроткая, как олень, занялась хирургией. Кровь на ее руках, халате так не подходила к ее нежной, материнской красоте, но именно такие женщины более других умели выхаживать больных, поддерживать дух раненых, вытаскивать из-под огня боя умирающих. Иногда она не могла скрыть слез и, как ей казалось, умирала с каждым из тех, кого тщетно пыталась отбить у смерти. Несколько дней после потери больного она чувствовала себя хворой и растерянной.

Нина была замужем за человеком пикчемным, ленивым и жалким в своей приверженности к вину. О ее беде не знали. Всю нежность, страсть, надежды она отдала материнству и с той же древней, восточной покорностью она несла, как гири, свою тоску и семейные неудачи. Я понял, что она не изменит тому, что считала долгом, и не преодолит жалости к человеку, ничтожность которого понимала. У нас с ней не было ни общего будущего, ни настоящего.

Годы идут, а передо мной явственно вырисовывается ее милое лицо, невысокая, крепкая фигура. Такая женщина легко управлялась с оленьей упряжкой, умела нацелить пулемет. Ни пурга, ни зной ей были не страшны, вот только с людскими обидами она не умела сладить, чтобы принимать их без горьких слез. Малость нужна была для ее счастья, но и того она не обрела...

Не заглох в памяти и жгучий разговор, разделивший нас навсегда.

— Поедем со мной немедленно. Сколько лет искал я тебя, да и ты ждала, сама того не ведая. Оставь этого человека. Жалость оборачивается ненавистью, эта бумажная цепь обязательно рвется. Жалость — кусты, куда мы прячемся от одиночества.

— А мои дети?

— Мы возьмем их с собой. Все, кого ты любишь, будут мне дороги.

— Но брак не пустая формальность. Я воспитана в правдивости и верности.

— В прошлом мужчины внушили женщинам сознание добродетели, которая обеспечивает им преданность и покорность жен. Они делают что хотят, пьянствуют, блудят, но требуют от женщин железного пояса целомудрия.

— Я не могу бросить человека, когда он свихнулся, запил, опустился. Это нечестно. Если б он был иным — дело другое.

— Но тогда он стоял бы, может быть, даже твоей любви!

— Вряд ли. Его характер самовлюбленный, неуравновешенный, а хвастливость и позерство всегда были мне противны. Я вышла замуж несведущей девчонкой, мерящей людей на свой аршин, а эту меру внушил мне отец. Нам просто не приходилось встречать после революции таких краснобаев гусарского пошиба. Поддалась дешевым фразам и ухарству. Родители узнали о моем браке, когда он уже совершился. Отец по сей день презирает мужа, гневается на меня. Поэтому уехали мы от него подальше.

— Все это я давно понял. Знаю, что в материнстве, домоводстве ты нашла мнимое удовлетворение. Но интересы твои маленькие. Ты катишься вниз. Я зову тебя к настоящей жизни, к людям.

— Нет и нет. Я довольна своим уделом, работа и дети дают высший смысл моему существованию.

— Ты сможешь достичь большего, — настаивал я. — Наконец, подумай обо мне. Люблю тебя, слышишь, не могу и не хочу пройти мимо счастья, столько же твоего, сколько и моего!..

— Не могу.

Нина тихо плакала. Я взглянул на ее лицо, порозовевшее, будто сквозь облако пробивались лучи солнца. Слезы не красят обычно, но ее они украшали, как улыбка.

— Не уговаривай меня. Бесцельно. Но помни, и я люблю тебя...

Она резко отстранила меня. Я понял, что бессилен победить ее решение. Мы разошлись, сознавая, что обездолили себя и обрекли на долгую сердечную пустоту. Не хотелось больше думать, отчего она так упорствовала. Воспитание ли отца, неизжитая привязанность к мужу, недоверие и сомнения в моем чувстве, страх перед неизвестностью или наследственное упорство и верность мужчине, даже самому худшему и нелюбимому?

Я снова был одинок.

Жизнь каждого из нас имеет свой календарь, карту, путеводитель. Шли мы вровень с временем, нуждами страны и партии, пока не обрушилась на нас вторая мировая война. Я успел до того основательно поработать в сельском хозяйстве, побывать и получить ранение в сугробах Финляндии во время сражений 1939 года. Молодость определяется не телом, а духом. Я чувствовал себя еще совсем молодым и жил с нагрузкой двадцатилетнего человека.

Всю Отечественную войну провел я то на фронте, то в госпиталях. Пробивался сквозь кровавое месиво по Волоколамскому шоссе, о чем так проникновенно писал Александр Бек, шел ратными дорогами от Москвы на запад. С разбитым пулей плечом оказался в разрушенном дотла Смоленске.

3-й Белорусский фронт — кто воспел до конца твоих героев, фантастическую храбрость твоих командиров и бойцов? Сколько их погребено в землях, по которым двигались войска нашего фронта!.. Я жив и склоняю седую голову перед памятью о погибших друзьях и соратниках. Они во мне, а я частицей души ушел с ними. Какое величие дружбы, жертвенности, добра увидел я в проклятые годы фашистского нашествия! Будто равновесия ради, одновременно с садизмом и злодействами нацистов люди по другую сторону огненной изгороди обнаруживали неизмеримую человечность, сложность душевной организации и высочайших стремлений. Две идеи, добро и

зло, схватились в единоборстве не на живот, а на смерть. Свет победил тьму.

В первые дни после окончания войны был я подстрелен в Берлине из подворотни ошалевшим от ненависти, переодетым в штатское эсэсовцем и, когда опасность миновала, эвакуирован на родину. В госпитале под Москвой судьба свела меня с Матреной.

Задолго до того, как мы увиделись, я слышал ее смеющийся голос, пробивавшийся в мою палату снизу, с первого этажа.

— Ну чего нюнитесь, не кошелек с деньгами — прибежит, — успокаивала она медсестер, у которых запропастился раненый. — Надоело ему здесь, комнатка да койка, ну и пошел шататься по палатам!..

Спустя несколько дней полный смеха голос Матрены раздался надо мной:

— Будем умываться. Выспались, видать. А я всю ночь на ногах. Прилегла было в сестринской, так не тут-то было. Вызвали, асмодеи.

На меня пристально смотрели глубоко посаженные, ничем не примечательные глаза, ни большие, ни маленькие, темно-карие, не блестящие, но такие умные, хитрые, веселые, что я немного растерялся. Женщина улыбнулась широко и проницательно.

— Нехороша Маша, да наша, — сказала она как бы сама себе. — Имечко у меня плоховато — Матрена. Фу ты ну ты, придумал же поп! Попу да вору — все впору. Матрена — мать... — Замолчала, устыдилась. — Что теперь поделаешь? Мотя, значит. Зовут зовуткой, а величают уткой.

Проворнее и усерднее Матрены среди санитарок не было. А на язык к ней лучше не попадаться. К каждому находила подход и главное в людях мигом подмечала.

— Воодушевить вас надобно, — говорила мне Матрена, как бы читая мои затаенные мысли.

Мне захотелось узнать, кто же она, откуда. Прищурила глаза, отчего коротенький, курносый нос ее стал еще более задиристым, и ответила кратко:

— Мне нынче надо газету в двух палатах почитать и разъяснить, что к чему, не зря ведь шестнадцать лет в партии состою.

Я едва скрыл удивление, и охота познакомиться ближе с неунывающей, быстрой и неожиданной Матреной

одолела меня с удвоенной силой. Впрочем, к ней влекло не одного меня. Стройная фигура, лицо с белой, как парное молоко, кожей нравились многим. И веселый нрав, конечно. Все ей, казалось, было нипочем. Легкость движений выдавала умение плясать и неугасимую жизнерадостность. А глаза отражали незаурядность внутреннего мира, стойкую энергию и выдержку, столь необходимые людям многотрудной жизни.

Я радовался каждому приходу Матрены и все спрашивал ее:

— Рассказывай, Матрена, о себе: кто ты, откуда? Как жила, бедовала?

— Спала на печке, на пеньке из конопли, ни простынки, ни одеяльца, в головах дерюжка,— бойко отвечала она. — Сами сучили, пряли, ткали. Стала побольше — лапти плела, чуни мастерила. А в девять годков за кусок хлеба в няньки пошла к зажиточным. В девятьсот пятом отца в Александровский централ загнали, а прежде исполосовали, обвинили вместе с другими нашими мужиками, что урядника убил. А все из-за земли. Нас-то вон сколько, а земли давали на две души. Нас у матери девятеро было. Отец, вышедши из тюрьмы слепым, народил с ней еще одного. За незрячего отца нас в деревне «слепыми» звали, да еще «побирушками». Спасла революция... «Солнце всходит и заходит,— вдруг запела Матрена,—а в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые сторожат мое окно». Так певал отец, когда воротился, искалеченный и темный, к нам. Когда брали его, я еще к материнской груди прикладывалась, а вернулся — помню, ох и маетня была, беспросветица!..

Слушал я Матрену — и казалось мне, знал ее с далекого детства. Очень уж сходны были наши судьбы. Описала она приход Октябрьской революции в их село. Отца давно уже не было в живых. Первым землю и хлеб дали им, и по сей день не могла она забыть, как насыщалась семья. Очевидно, чувство голода было самым острым и памятным в ее жизни. Потом братья ушли в Красную Армию, сестры отправились учиться. Только Матрена осталась в помощь матери. И не пришлось ей получить образование, зато понятливость и естественная приверженность новой власти, школа ликбеза развили ее мозг и жизнеощущение. Она не раз схватывалась на сходках с кулаками, у которых служила ранее нянькой и батрач-



кой, работала в сельсовете. Курносую девочку с большой, до колен косой в деревне уважали, побаивались.

Эта толстая коса, цвета спелых желудей, золотистыми нитями ниспадала вдоль спины Матрены и волновала меня, будя воспоминания. У матери моей были такие же волосы, и, когда она расчесывала их на солнце, они казались непроницаемым покрывалом из сказочной пряжи. Иногда мне хотелось попросить Матрену распустить косу, показать свое богатство, но не хватало решимости.

— Красоты мне не досталось, а парни любили, домогались,— смеялась она. И добавляла, в щелки собирая веки: — И сейчас не пожалуюсь, хватает.

— Муж-то есть?

— А почему не быть? Некаться не стану. Тогда девка родится, когда ей замуж годится. Мужем не обижена.

Почему-то ответ Матрены раздосадовал меня. Странно. Эта женщина как будто и не нравилась мне вовсе. Но я огорчился и начал мысленно придирааться к ней. Почему она не окончила рабфака, не имела высшего образования? Да и что хорошего в ее бледном лице, круглом, гладком, с некрасивыми чертами и постоянной готовностью улыбаться? А умна ли она или только хитра и припоровилась к людям и жизни?

— Ты в партии, кажется? — спросил я, сам не зная зачем.

— Давно, и пришла не с изнеженными порожними руками. Таких ненадобно. Много было мною сделано, и пользу кой-какую принесла,— с неожиданной надменностью ответила она и вышла.

Какая легкая у нее походка и стройные ноги! Да и вся ладная, хоть ершистая. Добрая и совестливая.

Человек всю жизнь, во все века копирующий природы. Нет и не было ничего выше и удивительнее того, что его пробудившееся сознание обнаружило на планете. Изящество клена и берез, печаль ивы и кипариса, потрясающее могущество гор и морей, скал и вековых дубов служат первой школой красоты. И человек хорош, когда он чем-то напоминает и дополняет окружающую неистижимую прелесть мироздания. Босоногую девочку с беспокойными глазами и волосами русалки очаровали лес, прозрачные струи воды в мелководной, извилистой речке. Город, когда она его увидела впервые, поразил ее своим безобразием. Дома казались кучами сваленных кирпичей

и камня... Постепенно она привыкла к грохоту трамваев, автобусов и, наконец, спустилась в метро и поднялась в небо на самолете. Но по-настоящему оживала и радовалась она только на природе, с деревенской поры навсегда полюбив бродить одиноко меж деревьев, любуясь кустарниками волчьих ягод и можжевельника...

Матрена Ивановна была замужем за столяром, человеком справедливым, но запальчивым и нелегкого нрава. Звали его Иваном Ивановичем. Матрена шутила: «Всякий черт Иван Иванович», «На Ваньке далеко не уедешь», «Иван — кожаный карман».

Муж был бережлив. Матрена — мотовка, широтой натуры, пробивающейся удалю привлекала людей. Она любила угостить на славу, повеселить до упаду.

Покуда муж был на войне, Матрена работала за двоих на фабрике, где дневала и ночевала. Рыла она окопы под Москвой, дежурила на крыше, обшивала и кормила детсадовских ребятишек. Ее дочь-подросток помогала ей и заменяла там воспитательницу и повариху.

В госпиталях она читала раненым газеты и постепенно научилась выхаживать тяжелых больных. Ее умение ладить с окружающими и, как она выражалась, «воодушевлять» ослабевших достигло подлинного искусства. Не только волю к жизни, убежденность в победе, но и кровь свою она отдавала с радостью: являлась универсальным донором. О Матрене говорили: «Цены ей нет, вот уж действительно — все для людей».

Любила ли она мужа? Когда он лежал раненым в одном из приграничных городков, она поехала туда и стала там работать, пока он не встал на ноги. Но в ране притаилась его скорая гибель. Он так и не оправился вовсе, был демобилизован, вернулся на мебельную фабрику, где лучше многих постиг секреты мастерства столяра-краснодеревца. Но работал с трудом, тяжело кашлял и вскоре лишился одного легкого, а затем и части желудка. Матрена знала, что ее ждет скорое вдовство, и по-матерински окружала мужа заботой и поддерживала веселостью и обнадеживающими предсказаниями. Грубоватая, она отличалась редкой способностью к состраданию и заботе. Любила же она самозабвенно только свою мать, неграмотную, верующую, робкую старушку, так и не захотевшую покинуть деревню.

— Рабочей родилась, рабочей и умру — чем не почет? И муж у меня такой-то, а проку от нас стране не меньше. Потягаемся с кем угодно — и перетянем. Все выдюжим, — говорила Матрена.

Действительно, так оно и было. Отправившись весной проводить мать, Матрена задержалась в деревне дольше обычного. Дело себе она нашла. Решила восстановить колхозный скотный двор. Оставалось там несколько чахнувших коров, телок и бешеный в ярости бык по прозвищу Зверобой. О нем ходили страшные рассказы.

Матрену предупреждали о Зверобое, но всю жизнь она ничего и никого не боялась. Убежденность в своей постоянной правоте была так откровенна, что одни считали ее упрямой и ограниченной, другие — самой умной и храброй женщиной, какую знавали.

Рано утром, помня, что доярки боятся быка, Матрена, решив сама вычистить его заут, оказалась одна, глаза в глаза, с огромным, свирепым животным. В эту минуту из-за изгороди Зверобою призывно подала голос корова. И, заподозрив преграду в Матрене, шедшей к нему с протянутыми руками, бык бросился на нее и пронзил рогами. Окровавленная, потеряв сознание, она упала. Более полугода боролась тяжело раненная скотница за жизнь — и чудодейственно поправилась. Только шрамы свидетельствовали о происшедшем.

Бедовая и в чем-то сумасбродная Матрена, по рассказам врачей, пыталась улыбаться и шутить в самые тяжкие минуты. Огромное жизнелюбие помогло ей выжить. А поправившись, она с обычным увлечением взялась за работу, повторяя: «Глаза пугают, руки делают».

Выздоровев, Матрена осталась работать в госпитале.

...Постепенно я стал поправляться. Нужно было думать, как начинать новую жизнь, куда идти работать. Да и жалел я о своей одинокой жизни. Сомнения одолевали меня. Ведь не молод я уже. Матрена поняла, чем я удручен.

— Пойми, всякая работа — радость, — сказала она, взобравшись при этом ловко на подоконник и вытирая верхнее стекло.

Чистоплотность этой деревенской женщины была чрезвычайная, почти маниакальная. Я любовался ее выбив-

шейся из-под косынки косой-змеей, перехваченной внизу бантиком. Концы волос образовали забавную кисточку, и она как бы подстегивала ее и без того бьющую через край энергию.

— Да, всякая работа — радость, пойми это хорошенько, — повторила она, обращаясь ко мне на «ты», что означало благоволение. Переход на «вы» подчеркивал, как мы все знали, что Матрена недовольна и сердится. — Вот скажем, заблестит стекло — и мне весело. Пыль ненавижу. Говорят, она даже с неба сыплется на землю. А меня зло берет. Знаю: сделаю что-нибудь, аи опять повторять надо, следа не остается, — и все равно приятно. И ты найдешь себе дело! Напрасно мыслями не удручайся. Вылечиваемся мы не от врачей, а от себя самих. Организм переборет, заставим себя жить — и живем. Я это точно на себе проверила, а вот Иванушку своего убедить не могу. Истинно говорится: «Иван, кабы не болван». Думает, операция спасет его, порошки силу вернут, а духом пал.

Я понял: Матрена отвечала на мой невысказанный вопрос, просьбу — идем, мол, со мной.

— Муж любит жену здоровую, а жена пастоящая жалует мужа хворого, несчастного. Такая судьба наша, бабья. Вам не чета, мужичью чертову. — И спрыгнула легко с подоконника. Помахивая тряпкой, вышла из палаты.

— Строптивая и языкая, — сказал один из больных. — Совсем некультурная.

— Вот уж и нет, — возразили ему. — Душа-баба, труженица и под веселой маской — большое разумение. В любом деле не подведет.

На другой день Матрена не пришла. Узнали мы, что муж ее попал в больницу и очень плох. Перевелась она туда, чтобы заодно заботиться также и о нем.

Оставив госпиталь, я вернулся в сельское хозяйство. Председательствовал в колхозе. Нелегкие это были годы. Все разрушенное восстановить, отстроить, пустить на полный ход... Но наиболее значительной и обогащающей, хотя тоже нелегкой, стала работа на целинной земле, где я обосновался позднее, в 1956 году.

Было это в Казахстане, в совхозе, неподалеку от станции Луговая и Голодной степи. Там предстояло мне не-

сколько лет руководить людьми, съехавшимися со всех концов страны, заниматься строительством, животноводством, но в первый черед — пахать нетронутую и сопротивляющуюся человеку землю.

Помню, первая ночь на целинной земле прошла подле железной дороги на незабываемой, шумной в те дни станции Луговая. Нас прибыло сразу более сотни человек, и Дом крестьянина был битком набит. Даже во дворике за шатким плетнем негде было упасть окурку. Я смотрел на небо, загадывая желания, когда катилась звезда. А звездопад в ту летнюю ночь был щедрый. Вся моя долгая прошедшая жизнь как бы низвергалась в никуда с каждым летящим светилom. А небо от такой потери не темнело и не казалось беднее.

Вот он, вечный Млечный Путь. Россыпь его удивляла меня еще в отрочестве, когда я, лежа на поляне, ощущал свою малость и вместе значительность. Пока я живу, вселенная моя. Я в ней, она во мне...

Неподалеку проходили поезда, блеяли овцы, жестко кричали утомленные ослы и ржали лошади. Завтра ничего этого не услышишь. Мы едем вглубь, в необжитые места.

Когда чуть осветился небосклон, мы погрузились в машины. Там стояли ящики с продуктами, бидоны с водой и лежало несколько гитар и балаласк. Утро было такое ветреное, что казалось, нас снесет с грузовиков да их повалит на дороге. Невыспавшиеся люди пристраивались рядом с поклажей. Они были разных национальностей: русские, украинцы, армяне и даже два цыгана и девушка-монголка. Конечно, они уже перезнакомились и переговаривались, как давнишние друзья. Все были молоды, и, хотя я считал себя только в поре зрелости, одна из девушек обратилась ко мне: «Дедунь...» Я не мог скрыть огорчения, и молодежь, подметив это, стала звать меня «дядей Васей».

Ветер креп, и машины, шедшие по бездорожью среди трав, кидало, как в шторм.

— Климат — того, помаемся, — сказал кто-то уныло.

Но в ответ цыгане ударили по струнам и запели, стараясь перекрыть шум ветра. Ураган усилился. Небо померкнуло. Пришлось остановить машины. Пыль кружилась, забивая нам легкие. Мы задыхались, ждали дождя, но тщетно.

Часа два спустя, когда пыльная буря пронеслась, машины тронулись дальше. Открыв бидон, мы разделили осторожно воду и напились. Затем закусили хлебом, посыпанным пылью.

Под вечер, в густых сумерках, прибыли на место. В темноте я шел, спотыкаясь, по пустырям. Тут было всего три деревянных строения: медпункт, детские ясли и контора будущего совхоза. Зажигая ручной электрофонарик, я обнаружил прибитые к столбикам доски, на которых значились названия будущих улиц: «Шевченко», «Пушкинская», «Гоголевская», «Партизанская», «Площадь Ленина»...

В одной из палаток было нечто вроде походного ресторана. В полутьме повара, в белых колпаках и халатах, разливали по мискам суп. Все говорили громко, возбужденно, переругиваясь, врываясь в беседу и неожиданно раскатисто смеясь каждой шутке. Не умолкали присяжные балагуры, любители привлечь к себе внимание чем угодно, даже скоморошеством. В соседних палатках, мужских и женских, на наспех сколоченных топчанах, раскладушках можно было переночевать. Но духота была настолько нестерпимой, что я вышел на воздух и, отыскав стог сена, улегся, зарывшись в его колючую, пыльную, ароматную толщу.

Уже на рассвете я пошел в контору и представился как один из присланных специалистов сельского хозяйства.

Началась долгая и суровая страда. В коротенькие досуги я помогал выпускать стенную газету и организовывать кружки художественной самодеятельности. У нас появились танцоры и певцы, оркестр струнных инструментов.

Великую радость доставлял нам каждый выраставший на негостеприимной поначалу, сопротивляющейся земле дом. Мы торжествовали, создавая подобие улицы и переулка.

Повалили к нам из города газетчики, и мы вначале принимали их охотно. Но в прессе нередко встречается трафарет. Галопом проносится по совхозу корреспондент, спешит на следующий «объект», путает виденное и слышанное и причиняет только беспокойство. Никто из нас, страстно отдавшись беспримерному делу, не жаждал ни рекламы, ни похвал. Все было покуда лишь вчерне. К до-

стижениям относились мы строго и влюбленно. А любовь не выносит ни шума, ни грубого вторжения посторонних.

Как-то я сидел в конторе, подсчитывая расходы и планируя наше ближайшее будущее, и вдруг увидел в окне двоих. Женщина, вроде чем-то знакомая, отправилась в дом напротив, где расположилась больница, а мужчина в лаковых штиблетах, в узком костюме, с фотоаппаратом через плечо, улыбаясь, обходя ящики с неразобранными книгами — основой будущей нашей библиотеки, подошел ко мне.

— Вы замдиректора... Рад, очень рад. Разрешите представиться — спецкор энской газеты. Ваш совхоз, как мне известно, опередил многие другие на целинных землях. Говорят, уже сейчас вы дали обязательство сдать двести тысяч тонн зерна и...

Не знаю, какой хмель ударил мне в голову, но всегда спокойный, я вдруг рассвирепел, особенно взглянув на запыленные и такие ненужные в наших краях лаковые штиблеты.

— Милейший представитель прессы, вы сейчас тут у нас совершенно не требуетесь. Лишняя, так сказать, единица. Приезжайте через год, а теперь не мешайте работать. Транспорт вам обеспечим. Скатертью дорога.

На пороге появился директор, тоже разъярившийся, когда узнал, что перед ним снова корреспондент.

— Предыдущий журналист в своей статье все перепутал, а нас нещадно подвел. Объявил, что обязуемся сдать две сотни тысяч тонн зерна... Это выходит, едва высунув голову из пеленок, уже начали врать государству и похваться. Как же нам теперь работать? Все вверх тормашками! А ведь мы шли не к таким, а куда большим цифрам, но в свое время... Так что сыты вами по горло. Дайте срок — и потом уже подводите итоги. А не на пустом месте... Шумим, братцы, шумим!..

Корреспондент тут же исчез, а я, вспомнив о женщине, показавшейся мне мучительно знакомой, не удержался и, перейдя через улицу, вошел в больницу. Возле пальмы, поднимавшейся из цинкового ведра — лучшего украшения нашего поселка, я, оцепенев, остановился.

— Матрена... — задохнулся я от нахлынувшего волнения.

— Давайте мне работенку позлес, — потребовала она. — Неучена, да толчена.

— Может, пищеблоком заведовать будешь?

— Ой нет! Какой из меня повар? Пекла пироги, а вышли покрышки на горшки. Не будет мне авторитета. Лучше уж на строительство железнодорожной ветки. Строится же она у вас. Хлеб вывозить — не на верблюдах. Я когда-то и грузчиком, и стрелочницей, и на первой дистанции работала. Грамот у меня — с десятков. А в войну медаль получила...

— Что же, твоя воля. Отдохни и решай.

— Чего отдыхать-то? Здесь сестра-хозяйка требуется, ну и вот она я.

— Муж как?

— Давно схоронила. Как я его у смерти ни отбивала — не смогла. Сдался, ну и организм отступился. Воодушевляла его, а он свое — умру да умру.

— Значит, не в здоровом теле здоровый дух, а наоборот.

— Перво-наперво бодрость и волю к жизни крепи — главная задача.

Зачем Матрена приехала, не решался спросить, боялся поверить в возможность того, что наконец избавлюсь от лютой боли одиночества. Сама она молчала, зато работала, как одержимая. И скоро все в больнице перестроила на свой манер. Молоденькая врачиха соглашалась со всеми ее доводами, и не успел я обдумать, что и как, а уже строилось еще одно помещение — для инфекционных больных и маленький роддом. Забором обнесли ясли, детский сад, посадили вокруг деревья.

Когда спала эта женщина, никто не мог бы сказать, а сла всегда на ходу. Отбиться от нее, если нужны были стройматериалы или рабочие, не было никакой возможности. Умела уговорить каждого, задумав какое-либо нововведение. Проектов же у нее было столько, что становилось страшно.

— Я ведь не для себя, для всех вас стараюсь, — говорила она то грозно, то ласково. И, сощутив глаза, добавляла: — Не отступлю! Права! Значит, хоть за ради бога, помогайте.

В итоге наш поселок украсился целым детским городком, во дворе которого росли цветы, а больница могла бы понравиться и в хорошем городе. Матрена же вдруг бросила больницу и ушла на строительство железнодорожной ветки. Размаху ей не хватало, что ли?..



В преклонном возрасте люди трезвые, естественно, теряют прежнюю уверенность и смелость, когда вопреки всему чувствуют себя омоложенными любовью. Я стал неувереннее юноши и, встречаясь с Матреной, не решался сказать ей ни одного слова, подготовленного загодя. Разум подсмеивался надо мной. Что мог я предложить теперь женщине, еще полной сил?

Когда-то Матрена сказала:

— Если не дай бог овдовею, нипочем не пойду снова замуж. Стара уже портки чужие стирать, грелки ставить и выхаживать, как грудного, какого-нибудь старикана. Хватит.

Я понимал, что с годами мы как бы завершаем круг и снова, слабея физически, возвращаемся к беспомощности детства. В то время как сознание наше часто до самого конца и в весьма немолодые годы сохраняет силу, мы дряхлеем телом, утомляемся, нуждаемся в заботе и уходе. Даже в выражении глаз стариков появляется нечто детское, тревожно-вопросительное. Старость, как все зависимое, обременяет более молодых людей, и многие из них, забывая, что их ждет то же самое, пытаются сбросить с себя обязанность заботиться о ней.

— Поздно,— повторял я себе,— нельзя вступать в неравный союз, где один утруждает другого с каждым годом все больше. Я очень скоро могу стать потребителем, кем-то вроде тунеядца.

Теперь Матрену я видел нечасто. Она поселилась в общежитии транспортников, на конечном пункте работ по строительству железнодорожной ветки, и приезжала в совхоз редко. При встречах, как всегда, весело балагурила, но нет-нет и поглядит на меня, пытливо сощулив глаза, будто ждет чего-то...

Однажды, придя к себе домой — у меня уже была отдельная комната,— я увидел Матрену над корытом.

— Жалею я тебя,— на мгновение смутившись, объявила она. — Заносил рубашки хуже портянок. Почему другу портки не постирать и берлогу не выскрести? Не муж, чай. Да и начальник все-таки, хоть и невеличка, а ходишь грязным-грязно. Иди отсюда. Мешаешь. А пыли, паутины везде тут — срамота. Все вы мужчины — паразиты: ждете, чтобы баба убрала, точно из другого мешка замешаны.

Когда я вернулся домой, Матрены не было, но я потерялся от небывалой чистоты моей комнатки. А белье мое высыхало на протянутой во дворе меж двух столбов веревке.

На столе лежала записка. Большими добродушными каракулями Матрена писала:

«На пороге тапочки, разувайся, приходя с работы, а то грязь на полу и ножом не отдерешь. Поливай фикус, что я поставила на табуретке у окна, только знай меру, иначе корни загниют. Пуговицы все к твоему барахлу пришпандорила. Носок заштопала. Под подушкой — гречневая каша, а масла нигде не нашла. Разведи ее сухим молоком.

С ком. приветом *Матрена Никифорова*».

Я бросился было искать свою благодетельницу и даже прихватил флакон «Красной Москвы», который так и не решился подарить ей к Первому мая. Но Матрена уже уехала в свое транспортное общежитие.

Ночью, после долгого заседания в партийном комитете, я бродил по поселку. Зашел на только что отстроенный скотный двор, полюбовался свиньями, похрюкивающими в чистом и удобном свинарнике, проверил коровник. Встретив зоотехника, долго обсуждал с ним, как бы поскорее завести нам кур, построить инкубатор.

Все здесь казалось мне своим, близким. Вокруг совхоза и далеко в глубь недавно голой, воюющей с человеком степи теперь поднялись хлеба, и в них я находил такие же розово-серые васильки, как в далеком родном селе.

Пройдя улицу Шевченко и свернув на еще не застроенную до конца Партизанскую, я дошел до своего домика, где жило еще три семьи. Лег спать в сарае, духота давила. Задумался о Матрене и решил, не откладывая, завтра же поговорить с нею. Может, не погнушается мною, крепок я еще, и порода паша прочная, выносливая... Заснул перед рассветом, а в шесть уже выехал далеко в поле.

А когда вернулся, узнал страшную весть: Матрена при смерти. Предотвратила аварию, но сама попала под паровоз.

— Когда поняла, что пришел мне конец, не уйти из-

под утюга, я подумала только о матери... Смерти не испугалась. Каюк, значит, умираешь, Матрена. Что другим помогала, безотчетно бросилась отвести беду, тоже не вспомнила. Каждый бы так сделал на моем месте. Гусеницей свернулась, когда увидела, что паровоз надо мной. Ну, а дальше ничего не знаю... Говорят, остановила криками чудовище. Машинист сообразил.

Долго болела Матрена, но, приходя к ней в больницу, я никогда не видел ее подавленной. Скорее она успокаивала меня. Я же был крайне расстроен ее бедой.

— Иная баба — что кошка: с третьего этажа швырни — на лапки станет. Я тоже уцелела и не намерена сдаваться.

Все в палате любили Матрену, веселившую их и развлекавшую рассказами и прибаутками.

— Ешь вполсыта, пей вполпьяна — и проживешь до полна, — повторяла она, отказываясь от лишней порции, и особенно от сладкого, и добавляла: — Горьким лечат, сладким калечат.

Я читал ей вслух смешные рассказы Чехова, Зощенко. Она любила слушать радио и как-то очень по-своему судила о политических сообщениях и событиях в мире. И обязательно, сама крепко пригвожденная к постели, требовала сводок погоды и отчета об урожае на целинной земле. Не имея возможности двигаться, она не могла смириться с праздностью и научилась вязать.

Я опять убедился, с каким чувством долга и любви она относилась к своей престарелой матери. Не желая ее тревожить, она сочинила в письме сложную историю, будто бы мешающую ей побывать в родной деревеньке. По просьбе Матрены я отсылал туда деньги и писал под ее диктовку письма к «родимой дорогаечке матушке», к которой она обращалась уважительно на «вы». К дочери, живущей в ее московской квартире, и внуку она писала сдержанно, и я чувствовал едва уловимую обиду, когда она отводила разговор об этих близких ей людях.

Напряженная пора в совхозе заставляла меня нередко пропускать желанные посещения соседнего городка, где лечилась Матрена. Переутомленный, я, по-видимому, казался неласковым и погруженным в свои дела, когда вырывался к ней на свидание. Иногда ее взгляд, обращенный как бы в самую глубь моей души, становился печальным, а то и злым.

«Надо все оговорить, соединить наши судьбы», — решил я по пути.

А придя в палату, вспоминал, что не добился корма для скота, цемента и теса, а тракторы все еще не умещаются под навесом и ржавеют под открытым небом. Но, любя Матрену, я надеялся, что она поймет меня, не осерчает.

— Ты уж прости, времени в обрез, надо ехать обратно.

— Еще часок, — несмело просила она.

— Что ты, да у нас сегодня такая горячка!..

— Ну и уходи. Скорее сматывайся, — вспыхивала больная.

Спустя три месяца Матрена уехала в Москву. Я был в это время по делам в Алма-Ате. На свое горе, не нашел я ее адреса и тщетно ждал письма. А рабочий запой не прекращался, и я жил буднями и праздниками отлично развивавшегося и набиравшего силу совхоза.

Прошло еще два года, прежде чем я поехал в Москву и с трудом, через адресный стол, отыскал Матрену. Помолодому взволнованный, пришел я к ней на квартиру, но, ступив в безупречно убранную комнату, понял, что опоздал. Моложавый мужчина с большой красивой головой, украшенной выющимися, чуть седыми волосами, встретил меня приветливо и назвал по имени-отчеству.

— Жена, — многозначительно и медленно произнес он, — Матрена Ивановна, не раз поминала вас добрым словом. И от меня вам благодарность. А теперь извиняйтесь, тороплюсь на завод — моя смена. Посидите, сейчас хозяйка вернется с работы.

Матренин муж надел пиджак, полюбовался на себя в зеркало и уж как-то очень заботливо причесал чуприну.

«Бабий угодник. Ишь, какой холеный! Или Матрена его так отчистила и украсила. — Злое чувство запоздалой ревности захлестнуло. Даже во рту как будто появилась желчь. — Не подождала меня. А впрочем, чем я такое заслужил? Так и не удосужился сказать ей все. Бездушный осел — так тебе и надо. Оказался снова сир и гол. Поделом!»

Вскоре пришла Матрена и как будто вовсе не удивилась, увидев меня за своим столом.

— Явился-таки... Что ж, живешь все одинешенек?

Фикус, поди, не поливал, увял он,— добавила пропиче-ски. — Есть хочешь? Не ломайся.

Лицо ее еще более побелело, но побелели и длинные волосы, собранные пучком на затылке. Не было задора в узких и глубоко запавших глазах. Впрочем, она как бы незаметно менялась, и вот уже показалась мне прежней. Обычно, встречаясь после долгой разлуки с дорогим нам по воспоминаниям человеком, мы словно возвращаемся назад, становимся такими, как в счастливые дни, воскресаем.

Матрена, оживившись, забрасывала меня вопросами о нашей целинной земле и ее обитателях, среди которых сохранила много друзей.

— Значит, вырос наш совхоз, гордость наша... Даже кладбище появилось. Отныне и во веки веков... А мать моя умерла, бедняжечка. При мне. Чем могла лечила и старалась ободрить. Уснула. И такая маленькая стала, сухонькая, словно кленовый листик. То-то наплакалась я. Счастье пропало — седины напала.

— Замуж вышла?

— Да, случился грех. Алеха не подвоха. С одним — годы не соединишься, а тут сдуру одну неделю зналась да и в загс пошла. Скоро туда же: разводиться.

— А что так?

— Плохого не скажу, но от баб прохода нет и слаб: молоденьким как не уступить. А мне поздно времечко последнее на такое тратить, переживать позор, допытываться, ночи горевать. Говорю: уйди — не хочет: ты-де лучше молодых. Любит. Не та, говорю, я Матрена, что тебе сужена. И вся недолга... Приходи развод праздновать. То-то пировать будем. Жаль, что трезвенница я, во всю жизнь вина в рот не брала.

Слушая, я не узнавал в горестно-насмешливых признаниях прежней беспечной Матрены.

— Значит, влипла, как муха в варенье, но ничего, вылезу!..

Вскоре, несмотря на увещевания, клятвы, просьбы второго мужа, Алексея Фомича, Матрена развелась с ним. И снова, как бы освободившись от тяжести и трудной болезни, она ожила и обрела покой.

Я понимал, что в такое время не следовало предлагать ей поселиться и доживать жизнь вместе. Очень уж много горечи и раздражения накопилось в Матрене про-

из брака. Она хотела одиночества и отдыхала в нем. Работая снова в больнице, всю себя вкладывала она в служение немощным людям. Дома вовсе не бывала, охотно брала лишние суточные дежурства и оставалась прикорнувши на стуле подле наиболее тяжелых больных.

Люди наслаждались чистотой, уютом, быстрее выздоравливали благодаря ее добрым заботам...

— Боюсь не старости, а того, что в тягость другим сделаюсь и, главное, не потребуюсь никому. Мы живем, пока нужны,— призналась она мне однажды. Это и была философия Матрены.

Еще год пробыл я в целинном совхозе и вопреки уговорам друзей перебрался в Москву, где вскоре вышел на пенсию. На моем небосклоне в летнюю ночь судорожно падали звезды. Уходили навсегда близкие, однополчане, сверстники. Скоро и мое светило должно было, зигзагом пересекая высоту, погаснуть, исчезнув, как миллионы других. Чтобы скоротать ожидание, я заполнял время различной работой, сажал деревья, составлял каталоги в библиотеке, выступал с докладами в школах, собирал пионеров и занимался с ними, заинтересовывая естественными и общественными науками. Я приобщал их к истории, которую охранял, как ключ к настоящему и будущему. Чтобы не чувствовать одиночества в своей однокомнатной квартире, я подобрал брошенного каким-то черствым человеком щенка и выходил его, приобретя самую верную из дружб. Названный Тобиком, он походил на друга моего детства и пастушечьих скитаний, но был сыт и ухожен.

Смолоду я не читал так много, как теперь. Все тягостнее чувствовал утрату сил и зависимость от доброты людей. Только в хилеющем теле замечал я приметы лет; мысль, стремления и даже чувства,— как думалось мне, к несчастью,— оставались молодыми, неувядающими.

Давно не видались мы с Матреной, и я вспоминал о ней, как о чем-то дорогом, но ушедшем вместе с временем. Однако болезнь догнала меня, и в больнице, в жару и полусознании, увидел я над собой милое лицо, а мягкая родная рука вытирала влажный лоб и клала на голову плоский резиновый пузырь со льдом.

Матрена, которую я знал когда-то санитаркой, была теперь опытной сестрой и, как всегда, выхаживала наиболее опасно больных. Мне казалось, что в бреду я вижу

се лицо, а говорит наяву другая женщина. И лишь когда пневмония отступила, я осознал: здесь, рядом со мной, моя Матрена. Нескорое выздоровление задержало меня на больничной постели, но я не сетовал и согревался все более теплом счастья. Возле меня была самая желанная и очень душевно близкая женщина.

Наконец осмелев, я попросил Матрену согласиться доживать наш век вместе.

— Я еще не такой развалюха, чтоб измучить тебя хозяйством. Мы с Тобиком поможем во всем. Что тебе сиротствовать? Какой-никакой мужичонка, а в доме пригодится,— шутил я просительно.

— Ненавижу старых петухов... А тебе я друг. Зачем же нам отношения портить? Чего мне надо сейчас? Почти ничего. От давления зимой лакомлюсь кислой капустой и клюквой, а летом пью помидорный сок да ем черноплодную рябину. А еще отварю картошки — и сыта. Вот только без мороженого не могу, да еще кислые конфеты — страсть моя. Невелика трата. Хорошо одной. Только редко выпадает такое удовольствие. День короток, а ночь и того меньше. Поедешь к сестрам — вовсе умаешься, они белоручки. Ну, Мотя и скребет, грязь выволакивает, на базар бежит, обед готовит, белье стирает...

Наша дружба восстановилась. Я был уже стар годами, но отшучивался, что не метрикой измеряется возраст наш. Матренин календарь отметил шестьдесят, а там ноль заменили иные цифры. Стараясь не поддаваться времени, я работал, а в свободные часы принялся за эту рукопись, посвященную моей Матрене, этой неутомимой труженице, заботливой дочери, отважной женщине, разгонявшей кулацкие сходки, спасительнице раненых... Кем только не была она, не гнушаясь никаким трудом, нагружаясь двойной, тройной ношей! Труд для таких подвижниц, как Матрена, не принуждение или расчет, а смысл жизни.

Обернувшись назад и вызвав тени людей, с которыми шел какую-то часть минувшего времени, я понял, что любил и люблю истинно только одну женщину, с которой несомненно жил бы в благоденствии,— Матрену. И так уж случилось, что мы не соединили наши доли и только иногда двигались рядом.

Матрена не захотела поселиться со мной, но и не оставляла отныне меня одного надолго. Не уходила она

и с работы. Она выбрала самое трудное отделение, где лежали больные раком и саркомой.

— Их-то и надо постоянно воодушевлять, а то не от болезни — от горести и ужаса помрут, — объясняла она свое решение. — Молодые сестры не понимают, каково им, смертникам, а пяни и подавно. А я ничем не гнушаюсь. Могу и помыть несчастного и другие процедуры проведу. Да и нервные, обидчивы больные, ко всякому подход найди.

И без Матрены не могли обходиться в отделении, прозванном «адским». Но иногда и ей становилось не по себе. Я выслушивал печальные были, свидетелем которых она была. Тайнственная покуда смертельная хворь, к счастью, была капризна и давала неожиданную отсрочку тем, кто ни на что уже не уповал, и уничтожала других. Кому предстояло вытащить счастливый билет редкого внезапного спасения? Коварная надежда убаюкивала, тем более что поначалу болезнь не причиняла никаких страданий, подкрадывалась незаметно и разила внезапно.

Матрена строила свои догадки и не боялась ничего, по сути, веря лишь в своеобразное предопределение, заложенное при рождении в теле человека.

— Все от организма, он борец, а медицина, лекарства — это так, ерунда одна.

Верила она только в хирургию, гинекологию и еще анатомопатологию.

— Тут уж без ошибки: вскрыют — и поймут, чем болел, а значит, отчего помер, — повторяла она будто бы серьезно, не подмигивая.

— Счастлива ли ты, Матрена? — спросил я как-то мою подругу.

— А чего мне? Как вспомню голодуху и детство, отца в рубцах, ослепшего от пыток, прозвища «слепые», «побирушки», — не верю себе. Всю-то жизнь и посейчас я нужна. Сущий Фигаро: Матрена — сюда, Матрена — туда. Все родные образованные, дочь тоже, одна я так и осталась Мотря. Но не дура! Ведь нужна была, может, больше их. Для чего живем? Для других. Иначе скучно было бы. Кто-то для меня, я для кого-то, и так всегда. Глядишь, и всем неплохо... Надо помогать всем, не думая об оплате. Не ради того, что «я тебе, а ты мне». Трудиться для людей. А они, в свою очередь, поддержат кого-то. И так без начала и конца. Все в одном кругу. Каждый —



для другого и тем самым обеспечен сам. Обсчитают, схитрят — не беда, на одного плохого — сотни хороших. И брешь зачинена, крепок круг добра.

Так считала Матрена. Потому с завидной легкостью отдавала она все, если требовалось, даже случайно встреченному человеку. Паутина мещанства не оплетала ее; радуясь вещам, она спокойно расставалась с ними и не становилась рабой имущества и наживы. По-детски беспечна бывала она подчас, а если серчала, то недолго. Люди, жадные и прилипчивые к вещам, угрюмы. Им всегда всего мало. Матрена тяготилась избытком и, прельстясь чем-либо, потом, со своеобразным чувством облегчения, расставалась с накопленным.

Подсознательно в имуществе и чрезмерном достатке она подмечала цепи, потерю свободы:

— Не люблю барахла. Вот, к примеру, меховая шуба. Бойся — то моль сожрет, то вор утянет, то порвешь в метро и толчее. Одна маета. А зачем? С собой не возмешь. Меня и вообще сожгите. Меньше потом возни, да и место живым требуется.

Так рассуждала Матрена, приходя ко мне, чтобы навести порядок, помыть полы, собрать белье для прачечной и проверить мои продуктовые запасы. Обязательно, сама охотница до них, пекла пироги или кулебяку и очень обижалась, если я не ел и не расхваливал ее стряпню. Но я был весьма щедр на слова восхищения.

Так шла наша жизнь: я помогал ребятам готовить уроки и объяснял им то, чего не ухватили в школе; Матрена делила время между больницей, парткомом, где всегда что-то делала, и мною. Казалось, так будет долго. Но старость все чаще давала знать о себе. Я стал сильно прихварывать.

— А я что придумала, — игриво сообщила мне однажды Матрена. — Ты все хотел жениться. Так вот, я согласна. Пойдем в загс, как молодые, распишемся, и передо мной к тебе хозяйство вести. Пироги печь буду, варенья наварю.

Я понял, сколь добра была Матрена ко мне, и ответил, сглатывая незваную слезу:

— Нет, зачем уж нам все это. Я и так тобой обласкан. Спасибо.

Матрена не на шутку разъярилась:

— Стар, что мал, — дважды глуп. Не старый мрет, а

поспелый. — И вдруг разревелась: — Захирел ты что-то, воодушевлять тебя надо. А замуж за тебя все равно пойду... Так тому и быть, три разочка в загс ходить.

И действительно, настояла на своем. Я страшился насмешек, но, наоборот, нас, седоволосых, встретили приветливо и подняли за новобрачных бокалы с шампанским. И Матрена перевезла ко мне диван-кровать, гору подушек, одеял, белья и кастрюль. По-прежнему уходила она на работу, а в свободное время кухарила и всячески заботилась обо мне. Никогда не был я так ухожен, накормлен и лечен. Но с каждым днем слабость моя возрастала. Я читал мысли подруги: в них были беспокойство и огромное сострадание. Оно-то и заставило эту удивительную женщину взять на себя такую обузу, как старик, лишившийся всего, кроме ясного понимания окружающего и молодой памяти. Я готов был молиться на Матрену, воспевать ее самоотверженность. Тобик, казалось, тоже испытывал раболенное чувство к ней, тем более что получал ежедневно похлебку с мясом.

Деспотическая хозяйка, Матрена требовала, чтобы я не вмешивался в ее домашние дела, и обижалась, если я проявлял свои привычки и нарушал распорядок. Но стоило мне пожаловаться на слабость, как гроза проходила, и Матрена изощрялась в попытках развлечь меня и подвигнуть на преодоление старости. Мы обманывали друг друга, чтобы рассеивать грусть, охватывающую обоих. Покорно пил я настои, которые, по мнению Матрены, продлевали жизнь. С некоторых пор она начала показывать меня врачам. Спасение и продление моей жизни стало ее манией, вопросом чести и самоутверждения. Я знал, что в этом она потерпит поражение. Но люди, подобные Матрепе, всегда в бою.

«Нужный человек» — было высшей похвалой в устах Матрены, и она боролась за человека как за единомышленника и брата.

На краю бытия мечта моя сбылась. Я прикоснусь, умирая, к руке одной из лучших и скромнейших женщин, каких я видел. Она украсила мою старость, ободрила и укрепила веру в людей.

Будь благословенна и счастлива, моя нужная людям, все еще работающая для них Матрена!

---

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМА 1—6

ТОМ 1 — Юность Маркса

ТОМ 2 — Похищение огня. Книга I

ТОМ 3 — Похищение огня. Книга II

ТОМ 4 — Вершины жизни. Предшество

ТОМ 5 — Женщины эпохи французской революции  
О других и о себе

ТОМ 6 — О других и о себе

Из поколения в поколение

Незатейливый узор

## О ДРУГИХ И О СЕБЕ

### П о в е л л ы

#### Т р и с о в р е м е н н и к а

Максим Горький . . . . .	7
Бернард Шоу . . . . .	25
Ромен Роллан . . . . .	42

#### Т о в а р и щ и п о ц е х у

Дмитрий Фурманов . . . . .	46
Сакен Сейфуллин . . . . .	48
Павел Васильев . . . . .	51
Сергей Есенин . . . . .	55
Эдуард Багрицкий . . . . .	57
Борис Пастернак . . . . .	59
Исаак Бабель . . . . .	64
Александр Довженко . . . . .	70
Историки . . . . .	72
Редакторы . . . . .	81
* Сабит Муканов . . . . .	91
* Захария Станку . . . . .	93

#### Д у ш а и с к у с с т в а

Д. Д. Шостакович . . . . .	98
А. В. Нежданова и Н. С. Голованов . . . . .	107
В. И. Мухина и А. А. Замков . . . . .	121
Е. В. Вучетич . . . . .	127
Л. Е. Кербель . . . . .	132
Б. В. Щербаков . . . . .	135

Б. Тулегенова . . . . .	140
* Н. Н. Жукова . . . . .	143
* Г. Л. Рошаль . . . . .	147

### Странствия по минувшим годам

Сокровищница . . . . .	151
Лондонские встречи . . . . .	159
Моя врачебная практика . . . . .	169
Мать . . . . .	176
Отец . . . . .	184
В Джамбуле . . . . .	193

### Зарисовки и раздумья

В. К. Коккинаки . . . . .	200
* Л. А. Арцимович . . . . .	203
Пылающие строки «Интернационала» . . . . .	207
Высокая страсть . . . . .	209
Как мы пишем . . . . .	212
Главная тема . . . . .	220
* Сражение за человеческое счастье . . . . .	237

### ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

<i>Общественно-семейная хроника</i> . . . . .	247
---	-----

### \* НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ УЗОР

<i>Повесть</i> . . . . .	557
Произведения, вошедшие в Собрание сочинений, тома 1—6 . . . . .	589

*Галина Иосифовна Серебрякова*

*Собрание сочинений*

*том 6*

Редактор

В. Буланова

Художественный редактор

С. Гераскевич

Технический редактор

С. Ефимова

Корректор

Г. Володина

ИБ № 1239

Сдано в набор 16.08.79. Подписано к печати 06.05.80. А 09358. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 31,08 усл. печ. л. 32,455 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Изд. № IIIб—61. Зак. 824. Цена 2 р. 50 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва 107882, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



2000